

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

при ближайшемъ участіи:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

XLIV

1937
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНІЕ

Отъ Редаціи: Т. Г. МАСАРИКЪ.

1. Н. Берберова. — ЛАКЕРИ И ДѢВКА.	5
2. Г. Газдановъ. — ВОСПОМИНАНІЕ.	51
3. Б. Темиразевъ. — ТЯЖЕСТИ.	79
4. В. Сиринъ. — ДАРЪ.	98
5. СТИХОТВОРЕНІЯ: Г. Адамовича; К. Бальмонта; А. Головиной; Вяч. Иванова; Д. Кнута; А. Ладинскаго; Ю. Мандельштама; С. Прегель; А. Присмановой; В. Смоленскаго; М. Струве; Ю. Терапіано; М. Цвѣтаевой; А. Штейгера.	151
6. Вяч. Ивановъ. — О ПУШКИНѢ.	177
7. М. Цвѣтаева. — МОИ ПУШКИНЪ.	196
8. Г. Адамовичъ. — «ТУДА».	235
9. Н. Ге. — 64 НЕИЗДАННЫХЪ ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО. Предисловіе В. Р.	246
10. Кн. О. Трубецкая. — ИЗЪ ПЕРЕЖИТОГО. Предисл. В. Руднева.	277
11. Н. Бердяевъ. — ЧЕЛОВѢЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И СВЕРХЛИЧНАЯ ЦѢННОСТИ.	319
12. Ю. Рапопортъ. — ВОЙНА И ПРОГРЕССЪ.	333
13. В. Войтинскій. — АМЕРИКА ИДЕТЪ ВПЕРЕДЪ.	347
14. Я. Папоушекъ. — ЗБОРОВЪ.	362
15. М. Вишнякъ. — О СОЦИАЛИЗМЪ, СОВѢТСКОМЪ И ИНОМЪ.	374
16. Л. Сабанъевъ. — МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЪ ЭМИГРАЦИИ.	393
КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.	
17. НѢСКОЛЬКО ИЛЛЮСТРАЦИИ КЪ ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ ВЪ СОВ. РОССИИ.	410
18. П. Биццли. — СМЕРТЬ ЕВГЕНІЯ И ТАТЬЯНЫ.	413

19. В. Вейдле. — МЫСЛИ О «РУССКОЙ ДУШѢ»	416
20. А. Ремизовъ. — СТОЯТЬ — НЕГАСИМУЮ СВѢЧУ. Памяти Е. И. Замятина.	424
21. Г. Федотовъ. — ПОСЛѢ ОКСФОРДА.	430
22. А. Керенскій. — НА СЛУЖБѢ РОССИИ.	444
23. С. Постниковъ. — ЛИТЕРАТУРА ЭМИГРАНТСКАГО СЕПАРА- ТИЗМА.	450

24. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

П. Бицилли. — Г. Ивановъ: Отплытіе на островъ Цитеру. . .	458
М. Цетлинъ. — Софія Прегель: Солнечный произволъ. . . .	459
К. Мочульскій. — Б. Зайцевъ: Путешествіе Глѣба.	461
М. Алдановъ. — И. Буниинъ: Освобожденіе Толстого. . . .	464
В. Вейдле. — В. Ходасевичъ: О Пушкинѣ.	467
Н. Кузьманъ. — П. Милоковъ: Живой Пушкинъ.	469
П. Бицилли. — А. Швкъ: Женатый Пушкинъ.	471
П. Бицилли. — Wladimir Weidllé: «Les Abeilles d'Aristée». . .	471
В. Зѣньковский. — Прот. С. Булгаковъ: Угѣшитель.	473
Н. Авксентьевъ. — Marc Vichniac: Léon Blum.	474
Б. Ижболдинъ. — Violet Conolly: Soviet trade from the Pa- cific to the Levant.	477

Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ».	479
---	-----

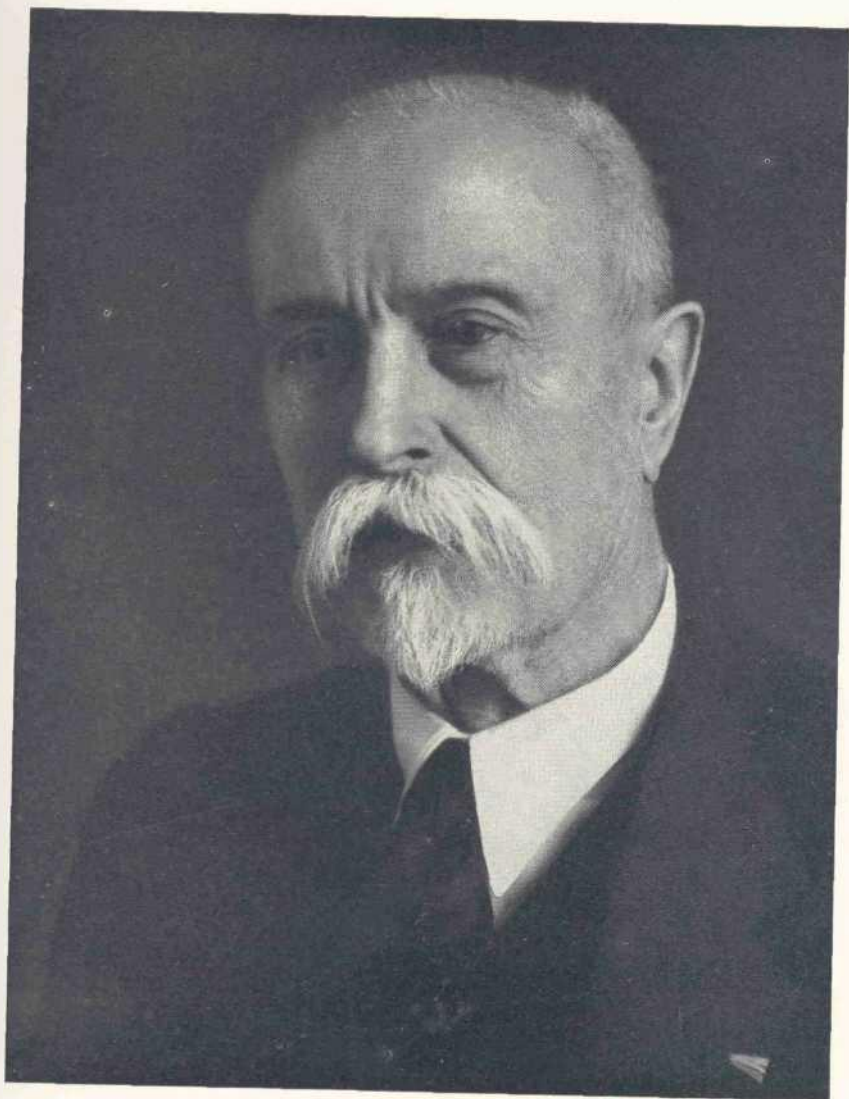
Т. Г. Масарикъ

Книга журнала уже заканчивалась печатаніемъ, когда была получена взволновавшая весь культурный міръ вѣсть о кончинѣ Т. Г. Масарика...

Передъ еще открытой могилой — не время пытаться въ немногихъ словахъ характеризовать его многогранную, сочетавшую въ себѣ столько исключительныхъ дарованій личность. О Масарикѣ — философѣ, учителѣ жизни, народномъ вождѣ, государственнымъ дѣятелѣ, наконецъ, человекѣ просто — будутъ написаны многочисленные изслѣдованія, въ дополненіе къ десяткамъ уже существующихъ. На страницахъ русскаго журнала намъ неоднократно придется возвращаться къ идеямъ и подвигу жизни Масарика. Не только потому, что такъ неразрывно въ нашемъ сознаніи отнынѣ связаны возрожденная чать Чехословакіи и наша родина. Масарикъ, воплотившій въ себѣ наиболѣе высокія, универсальныя въ своей значимости черты чехословацкаго народнаго генія, тѣмъ самымъ возвысился надъ предѣлами только національными, — онъ принадлежитъ всему культурному человечеству, является однимъ изъ его думовыхъ вождей.

Въ эти дни, когда чехословацкій народъ готовится проводить своего почиваго Президента-Освободителя къ мѣсту послѣдняго покоя, нашими помыслами мы съ нимъ въ его скорби. Его утрата — наше общее горе. Но да будетъ утѣшеніемъ всѣмъ, кто спобилъ и чтить Масарика, сознаніе, что память о немъ сохранится въ вѣкахъ, что въ грядущихъ поколѣніяхъ славное имя Масарика всегда будетъ звучать призывомъ къ борьбѣ за право, свободу и социальную справедливость, къ свѣтлой вѣрѣ въ побѣждающую силу правды.

Редакція.



Лакей и дѣвка

Повѣсть.

1.

Она была дочерью петербургскаго чиновника, дослужившагося до дѣйствительнаго статскаго совѣтника, челоуѣка съ узкимъ, длиннымъ лицомъ и грязной шеей, подозрительнаго, болѣзненнаго и всегда всѣмъ недовольнаго. Мать ея была женщина до такой степени схожая съ женами другихъ петербургскихъ чиновниковъ, что когда она умерла, Танька, которой шелъ пятнадцатый годъ, въ памяти своей уже не могла отличить ее отъ другихъ дамъ, бывавшихъ въ домѣ, больно бравшихъ ее за подбородокъ, говорившихъ другъ съ другомъ — истерически хохоча и ненатурально играя лорнетками — о прислугахъ, Гостиномъ дворѣ и благотворительныхъ комитетахъ.

Въ домѣ появилась гувернантка, но не ужилась, не совладала со старшей, съ Лилей, за которой въ гимназію приходилъ какой-то гардемаринъ. Таня и Лиля научили ее пить мадеру, произносить нецензурныя русскія слова и увѣрили, что нижній жилецъ безъ памяти влюбленъ въ нее. Однажды, когда никого не было дома, гувернантка потихоньку вынесла свои вещи, сложила ихъ на извозчика и уѣхала, оставивъ его превосходительству записку, что она больше не можетъ.

Это было за годъ до революціи. Отца назначили въ Сибирь, и всѣ трое переѣхали въ Иркутскъ. Четвертой была Элла Мартыновна, старая гувернантка матери, сухая, какъ кость, съ когда-то блудливыми, а теперь подслѣповатыми глазами. Буфеты, рояль, двѣ копіи съ картинъ

Шишкина и французскіе ковры тоже были перевезены. И началась въ Иркутскѣ, въ огромной, казенной квартирѣ, среди новыхъ знакомствъ и новыхъ удовольствій, по старому безалаберная жизнь.

Элла Мартыновна ограждала отъ отца. Впрочемъ, онъ очень скоро завелъ шашни съ вице-губернаторшей, не шашни даже, а тягучій, нервическій романъ. Пожилая, тодстая вице-губернаторша и кавалеръ Станислава второй степени встрѣчались на уединенныхъ дорожкахъ городского сада или за городомъ, на берегу пустынной Ангары. Иногда они выбирали для этого лунный вечеръ и присаживались, когда бывало не слишкомъ сыро, на травку или сухой пенскъ. Они играли въ молодость, въ Мопассана, въ беззаконность, а надъ его сюркукомъ и ея пенснэ смѣялся весь городъ.

А въ это время, въ душевной шашлычной, гдѣ звенѣла зурна, гдѣ вертлявый, безлобый, перетянутый, какъ оса, черкесь танцоваль лезгинку, Лиля, высоко заложивъ ногу на ногу (а справа напиралъ знакомый армянинъ), курила, задыхалась въ дыму, шурилась, отставляла мизинецъ отъ мокраго стакана и выходила въ уборную: еще почернить глаза, еще и еще попрыскаться духами.

Танька въ эти вечера сердитая сидѣла дома и думала. Она думала о томъ, что бы ей такое натворить? Чѣмъ бы стать? Вотъ-вотъ должна была наступить настоящая жизнь, надо было приготовиться къ ней, не прозѣвать, не попасть впросакъ. Выйти замужъ, какъ можно скорѣе? Или стать опереточной дивой? Или сдѣлаться писательницей, описать исторію собственной души? Элла Мартыновна гадала ей, мусоля длинный, жилистый палецъ, и всегда выходило одно и то же: кто-то портилъ ей, кто-то завидовалъ, кто-то становился поперекъ пути, но она преодолевала всѣ препятствія, и соединялась законнымъ бракомъ съ мужчиной темной масти и при деньгахъ.

И опять — отъѣздъ, на этотъ разъ безъ буфетовъ и копій Шишкина, — отъѣздъ въ Японию, бѣгство. Отъ ко-

го? Кстати — и отъ вице-губернаторши, но главнымъ образомъ — отъ большевиковъ. Зашиваются въ корсеты царскія кредитки, и Таня надѣваетъ корсетъ, и Лиля, и Элла Мартыновна. Въ хрустящихъ отъ кредитокъ корсетахъ, въ тяжеломъ, обвисшемъ на одну сторону сюртукѣ, опять вчетверомъ, какъ самая тѣсная и другъ безъ друга не могущая дышать семья, они ѣдутъ въ Нагасаки, они бѣгутъ. На большомъ пароходѣ, подъ вѣжливый лепетъ японцевъ, Лилю рветъ кровью, ей приходится спуститься и лечь. И Танька, поздно ночью, на палубѣ, среди какихъ-то мѣшковъ и ящиковъ, прижатая пожилымъ инженеромъ къ борту поцѣлуемъ, вдругъ понимаетъ: да вѣдь ей безъ Лили во сто разъ веселѣй, свободнѣе, легче, вѣдь она безъ Лили всѣмъ нравится. Вѣдь ей рядомъ съ Лилей житья нѣтъ.

Лиля красива, но по пріѣздѣ въ Японію, Таня замѣчаетъ, что задоръ ея начинаетъ пропадать, сдаетъ изощренная лживость, и самое лицо — правильное, блѣдное, длинное — начинаетъ становиться строгимъ и скучнымъ. По утрамъ Лиля много молится, въ медальонѣ у нея — портретъ царя. А къ веснѣ она совсѣмъ стихаетъ, не шьетъ себѣ платьевъ, ни съ не цѣлуется, закладываетъ волосы на затылкѣ трагическимъ узломъ и говоритъ, что жизни не хватитъ ей отомолить Россію.

— Съ чѣмъ тебя и поздравляю! — кричитъ ей на это сестра.

У Тани мелкіе, рѣдкіе зубы и нѣжная, неестественно нѣжная кожа, и даже когда она была подросткомъ, не было у нея на тѣлѣ шершавыхъ мѣстъ. Подъ узкими съ толстыми вѣками глазами у нея веснушки, носъ толстый, и неправиленъ овалъ широкаго лица. Она невысока и слишкомъ полногруда, руки у нея большія, хваткія, походка кренить на одну сторону. Но вотъ проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ, и кругомъ Тани — мужчины, между собой откровенно говорящіе о томъ, что она какъ-то особенно умѣетъ поддаваться всѣмъ тѣломъ, когда ее цѣлуешь, а

на Лилю никто уже и не смотритъ, и ходитъ упорный слухъ, что ей скоро тридцать лѣтъ.

Быль, однако, среди этихъ, громко ржавшихъ надъ анекдотами и много фвсихъ, пѣвшихъ романсы и хватавшихъ Таню въ объятія мужчинъ, одинъ, по имени Алексѣй Ивановичъ, готовившійся въ контръ-развѣдку и потому знавшій японскій языкъ, теперь служившій въ японскомъ банкѣ, человѣкъ кроткій, болѣзненно брезгливый къ чужимъ вилкамъ и стаканамъ, съ большими, неподвижными, почти голубыми глазами и словно нарисованными глупыми, черными усиками. Онъ приходилъ и уходилъ вмѣстѣ со всѣми. Но однажды Элла Мартыновна сказала, что «трефовый король на лѣстницѣ признался бубновому, что Танюша — прелесть, но что влюбленъ-то онъ, собственно, въ Лилишу». Въ самомъ дѣлѣ, этотъ Алексѣй Ивановичъ вообразилъ почему-то, что мелькнувшая ему два раза въ коридорѣ дѣвушка, съ трагическимъ узломъ волосъ и пездоровымъ цвѣтомъ лица, и есть именно то неземное видѣніе, воплощеніе котораго онъ ждалъ всю жизнь. На слѣдующій день Лилия вышла къ гостямъ сильно напудривъ свой правильный, хрящеватый носъ и приколовъ къ груди какую-то фарфоровую птицу. Она закидывала голову, мучила свои длинные, жилистыя руки, какъ-то особенно многозначительно кашляла, а черезъ мѣсяцъ Алексѣй Ивановичъ сдѣлалъ ей предложеніе.

Таня въ первый разъ растерялась. Она не спала ночь, закинувъ руки, ухватившись ими за спинку кровати и выгнувшись всѣмъ тѣломъ, пока не омертвѣла вся. Ей казалось немислимымъ, невѣроятнымъ, чтобы кто-то предпочелъ ей Лилию. Нравился ли ей Алексѣй Ивановичъ, она не знала, но это былъ единственный человѣкъ — изъ всѣхъ, кто къ нимъ ходилъ, — который не пытался ее цѣловать и мять, который не шепталъ ей сальностей, который вообще совершенно не обращалъ на нее вниманія. Она только теперь сообразила все это. Мысль, что кто-то обошелъ ее, что съ проигрыша начинается жизнь, была ей

невыносимой. И черные усики и неподвижные глаза постепенно стали для нея какимъ-то нечаяннымъ соблазномъ.

...Она пришла къ нему часовъ въ десять утра, въ воскресенье; онъ только что одѣлся и ходилъ по комнатѣ еще босой (у него потомъ оказалась эта привычка). «Очень радъ, Татьяна Аркадьевна. Польщенъ. Чему обязанъ такимъ счастьемъ?» — спросилъ онъ улыбаясь и большими бѣлыми руками подставляя ей кресло. Она была въ шубкѣ и мѣховой шапочкѣ и съ удивленіемъ смотрѣла на его босыя, чистыя ноги. «Я пришла на пари, — сказала она, еще не зная, какъ выпутается изъ этого, и не попадая зубомъ на зубъ, — сама съ собой пари держу». Онъ громко захохоталъ: «Сама съ собой», — повторилъ онъ вовсе не замѣчая, что она волнуется. «Смотрите!» — сказала она вдругъ глухо и распахнула шубку: чулки кончались широкими атласными подвязками (вчера купленными), потомъ шли батистовые, въ смятыхъ воланахъ, панталоны на тесемкахъ, а больше на глѣз Тани не было ничего; ея нѣжная, неестественно нѣжная кожа отливала чѣмъ-то голубымъ, а тѣни подъ грудью и соски были оранжевыми. Она сидѣла, не двигаясь нѣсколько мгновений, ноги ея были крѣпко сжаты, одинъ чулокъ былъ натянутъ выше другого. И внезапно она сдѣлала одно движеніе... Она уже не помнила, откуда взяла его: все тотъ же Молассанъ, или просто Маркъ Криницкій, или даже безымянный авторъ одной книжки, проглоченной еще въ Петербургѣ. Но главное пришло къ ней само: въ крикахъ и судорогахъ она выказала Алексѣю Ивановичу такую страсть, которой научилась въ снахъ.

Алексѣю Ивановичу всегда казалось, что жизнь состоитъ въ томъ, чтобы ступать какъ можно осторожно и преимущественно смотрѣть себѣ подъ ноги — какъ бы не провалиться въ какой-нибудь открытый люкъ. Смерть была такимъ люкомъ, и все, что неожиданно, грозно мѣняло жизнь, было такимъ люкомъ — революція воображалась дырой, куда провалились братъ и отецъ Алексѣя Ивано-

вича, и которую самъ Алексѣй Ивановичъ миновалъ. И еще были какія-то неизвѣстныя ямы, куда могла соскользнуть нога. Страсть къ Танѣ на слѣдующій же день показала ему именно такимъ страшнымъ проваломъ, куда онъ съ грохотомъ и ужасомъ, босоногій, съ перекошеннымъ лицомъ, въ разодранной рубашкѣ, провалился, пересчитавъ колѣнями какія-то ступени и больно треснувшись головой о невидимый выступъ. Это была спинка кровати, о которую онъ ударился лбомъ, послѣ чего отъ боли, ярости и счастья почти потерялъ сознание. А черезъ недѣлю къ нему вернулась его кротость, его улыбка, слюдяной блескъ большихъ, плоскихъ глазъ, и онъ женился на Танѣ, и уѣхалъ съ нею въ Шанхай — разслабленный, съ потеряннымъ выраженіемъ лица, съ внезапной худобой и дрожью въ тѣлѣ.

Она была довольна и мужемъ, и Шанхаемъ, и тѣмъ, что бросила домъ, и девять лѣтъ съ Алексѣемъ Ивановичемъ, во время которыхъ она имѣла короткую связь съ американцемъ и невеселый романъ съ женатымъ русскимъ, родила мертвую дѣвочку и однажды ѣздила къ отцу, прошли спокойно, и такъ какъ она никогда не думала о настоящемъ, а если думала, то только о будущемъ, то прошли они и вполне безслѣдно. Въ Японіи уже ничто не напоминало ей юности. Отецъ лежалъ въ параличѣ, Лиля служила переводчицей въ экспортной конторѣ, она дурнѣла и старѣла. Элли Мартыновны уже не было въ живыхъ. Къ концу девятаго года Танѣ захотѣлось въ Парижъ, куда уѣзжали многіе, и Алексѣю Ивановичу захотѣлось въ Парижъ — ему, впрочемъ, всегда хотѣлось того же, что и ей. Онъ все обдумалъ, какъ ему казалось, очень основательно (что стоило ему немалыхъ усилій); онъ бросилъ службу. И вотъ они уѣхали — искать счастья, какъ говорила Таня, все думая, все загадывая о какомъ-то будущемъ. Но не совсѣмъ ясно было, какъ именно представляетъ она себѣ это счастье, свое счастье въ частности, свое и Алексѣя Ивановича парижское счастье.

Главнымъ козыремъ, съ котораго Алексѣй Ивановичъ надѣялся ходить въ Парижъ, былъ японскій языкъ. Онъ вѣрилъ, что можетъ принести имъ кому-то тамъ огромную пользу. Но черезъ четыре мѣсяца, когда деньги были на исходѣ, работы никакой все не было, а были лишь осложненія съ визой и паспортами, и съ языкомъ французскимъ, котораго изъ нихъ обоихъ ни одинъ не зналъ, съ Алексѣемъ Ивановичемъ начали приключаться какіе-то припадки: онъ билъ и ломалъ все вокругъ себя, страшно ругаясь и сквернословя, и вовсе потерялъ сонъ. Въ бессонницу, босой, онъ шагаль по комнатѣ маленькаго отеля, гдѣ они теперь жили, а Таня билась головой по подушкамъ. И вскорѣ въ гостяхъ, у дальнихъ родственниковъ (хозяинъ былъ священникъ изъ гусаръ)¹, неудержимый, какъ приступъ рвоты, съ нимъ случился его послѣдній припадокъ.

Это было за городомъ; домъ стоялъ въ низкомъ, сыромъ саду. Окно было открыто, и комары летѣли на лампу, обжигались и падали въ вазочку съ вареньемъ. Все было очень похоже на Россію: мѣдный самоваръ стоялъ на краю стола, въ него подливали кипяткомъ изъ чайника, согрѣтаго на плитѣ. «Матушка» съ розовыми ногтями и перикисью крашенными волосами рассказывала какія-то исторіи про незнакомыхъ людей высокаго рожденія. Гости пили чай, а отъ яблочнаго пирога оставался на блюдѣ одинъ треугольный, короткій кусочекъ.

И вдругъ Алексѣй Ивановичъ прервалъ рѣчь хозяйки и звенящимъ, рыдающимъ голосомъ объявилъ, что ему жарко. «Пересядьте къ окну, — сказалъ священникъ изъ гусаръ, — ночной бризъ освѣжитъ ваше истомленное тѣло». Но Алексѣй Ивановичъ вскочилъ и крикнулъ, что къ окну его не заманишь, шалишь! Я знаю, что это такое: туда проваливаются... Нѣкоторые взглянули на него обиженно. Но онъ въ одно мгновеніе ока сорвалъ съ себя пиджакъ, жилетъ, брюки и стянулъ уже одинъ башмакъ, когда его схватили. Свѣтлыми глазами поблѣскивая во-

кругъ, онъ стоялъ весь въ бѣломъ, и снова ставъ кроткимъ и улыбающимся, чернѣлъ глупыми своими усиками. Однако, онъ отбивался такъ жестоко, что пришлось вызвать карету скорой помощи, и два санитаря накинудись на него, сбили съ ногъ, подмяли и поволокли по дорожкѣ, пока онъ громко бредилъ какой-то чепухой.

Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ въ больницѣ, въ отдѣленіи для буйныхъ, опухшій отъ побоевъ, полусъдой, со сломанными передними зубами. И Таня осталась одна въ Парижѣ, въ комнатѣ дешеваго отеля, куда пріѣхала «искать счастья».

Она осталась одна. Начинался день, какъ жизнь, сѣрый. А она не хотѣла такого дня и такой ночи, долгой и мертвой, когда въ голову шли расчеты: сколько еще осталось денегъ, и что можно на эти деньги купить, и гдѣ найти такого мужчину, за котораго можно было бы спрятаться, который бы думалъ обо всемъ, и платилъ бы за все, и дѣлалъ бы подарки, и обожалъ бы, какъ это бываетъ, какъ это, вѣроятно, бываетъ у всѣхъ, какъ это есть у встрѣченныхъ здѣсь двухъ петербургскихъ подругъ, у одной шанхайской знакомой, словомъ, у женщины, которыхъ, какъ ей казалось, она знала. Начинался день, и она принималась ходить по магазинамъ, почти никогда ничего не покупая, но выбирая, прицѣпываясь, роаясь въ чулкахъ и перчаткахъ, жалѣя денегъ и въ мечтахъ волнуясь до сердцебіенія, воображая на себѣ то эту, то ту шелковую или мѣховую тряпку. Она перебирала вороха кружевъ, пересыпала въ пальцахъ пуговицы, все сомнѣваясь и боясь купить не то, все продолжая носить на себѣ вытертую рыжую лису съ толстымъ, свалаявшимся хвостомъ, висѣвшимъ на плечѣ, и черную пыльную шляпу съ чернымъ цвѣткомъ, которая должна была изображать трауръ. Ей было теперь тридцать два года. За время замужества и послѣ мертвой дочки она потолстѣла, но лицо ея было все такъ же ослѣнительно свѣжо и теперь, грязно и неумѣло накрашенное, оно все еще обращало на себя вниманіе.

Она приходила иногда къ этимъ своимъ Надькамъ, Марусямъ, Таточкамъ, и то одна, то другая дарила ей что-нибудь: пару чулокъ, съ упавшей петлей, старую сумку, съ разбитымъ зеркаломъ. То одна, то другая, въ быстромъ, неряшливомъ разговорѣ, пріоткрывала передъ ней уголь своей жизни, и у Тани захватывало духъ отъ дикой свободы страстей, денегъ, праздности, холи и счастья; она ловила, хватала эти крохи и уносила съ собой, къ себѣ, чтобы ночью стараться понять: что-же, собственно, за жизнь — ихъ жизнь, не ея жизнь, гдѣ все такъ весело, прочно и покойно? Потомъ она шла къ другимъ, которыя ничего не дарили, жили бѣдно и работали. Среди нихъ была Бѣлова, портниха, и тема разговоровъ была всегда одна и та же: что носить? И какъ сдѣлать такъ, чтобы какъ можно дешевле и какъ можно лучше одѣться? И у Тани подкашивались ноги, когда она слышала, что отъ одной ничтожной ошибки, отъ неправильно вшитаго рукава или не такъ сръзаннаго ворота, можетъ къ чорту пойти и платье, и вся судьба. Была еще одна — высокая, крашенная, озлобленная, по имени Гуля, испробовавшая съ десятокъ профессій. Она когда-то обучалась въ институтѣ красоты, была манекеномъ, но потомъ страшная болѣзнь и два выкидыша обезсилили и скрутили ее, и теперь она подавала въ ресторанахъ, гдѣ била посуду и грубила кліентамъ.

А Таня все ходила по домамъ, по магазинамъ, по улицамъ, до одури всматриваясь во встрѣчныхъ женщинъ, вслушиваясь въ языкъ, который не всегда понимала, до полного отупѣнія мысленно вымѣривая, прилаживая что-то, перебирая безсонными ночами все, что видѣла и слышала днемъ. Надька говорила: «Милая моя, тебѣ прежде всего надо научиться мыться, ты мыться не умѣешь». Бѣлова клялась, что ей надо выкраситься въ рыжій цвѣтъ и носить одно черное. Кто-то умолялъ ее похудѣть, — но во всемъ этомъ сквозило ихъ равнодушіе, почти презрѣніе къ ней. И только Гуля никогда ничего не совѣтовала, хотя, вѣроятно, знала лучше всѣхъ, что Танѣ нужно дѣлать.

И вотъ постепенно, никому ничего не говоря, Таня стала преобразаться, помня все время, что денегъ и умѣнья хватить у нея только на то, чтобы сдѣлать себя, и къ себѣ — одну единственную раму и въ этой рамѣ выйти... куда? Въ русскій ресторанъ, гдѣ поютъ «Чарочку», и еще въ другой, гдѣ ѣдятъ осетрину и рябчиковъ, и наконецъ, въ третій, въ ночной кабакъ, гдѣ музыка уже не русская, а аргентинская, гдѣ Танька одна, ночью, съ нѣжнымъ лицомъ, грудью и руками, съ толстымъ, мягкимъ ртомъ, играя длинными ногтями, будетъ сидѣть, тянуть черезъ соломинку что-нибудь холодное и пьяное, и почти не смотрѣть вокругъ себя.

Въ этотъ ночной, очень модный и всегда полный ресторанъ ее, однако, не впустили, потому ли что она была одна, потому ли что надо было заплатить метръ-д'отелю за право завести здѣсь знакомство, но ее отстранила рука у самаго входа, и бархатный баритонъ по французски, но съ русскимъ акцентомъ, попросилъ ее уйти. Она мгновенно потеряла голосъ отъ волненія, не удержалась, сдѣлала плаксивое лицо и вышла, и пока рѣшала, на чемъ ей ѣхать домой, какой-то веселый человекъ въ разлетающемся шалоплякѣ назвалъ ее «шармантѣ» и чмокнулъ воздухъ въ верхкѣ отъ ея щеки.

Проѣзжіи автомобиль обдалъ ее водой. Ѣхать куда-нибудь въ другое мѣсто было поздно, была ночь, и она вернулась, отъ злобы расслакалась, сидя на постели, закапала черными отъ рѣсницъ слезами свѣтлое платье, стала его чистить бензиномъ, все испортила и хотѣла выброситься въ окно. Но комната была на третьемъ этажѣ (объ этомъ она потомъ всегда помнила и никогда не угрожала) и выходила во дворъ; и во дворѣ такъ нехорошо пахло, что она сейчасъ же закрыла окно.

На слѣдующій день она поѣхала въ ресторанъ — безъ музыки, безъ цыганъ, — гдѣ просто очень дорого кормили. И пока она проходила по залѣ, ей съ одного стола мелькнула карточка, и она увидѣла, что меньше чѣмъ за

сто франковъ здѣсь не поѣшь. У стѣнь сидѣли, вовсе не обращавшіе на нее никакого вниманія, мужчины, чѣмъ-то похожіе на ея отца: лысые, бородатые, жадно жующіе или уже отрыгивающіе. Она потерянно взглянула на пучеглазаго, нестарога господина, ковырявшаго въ зубахъ, сообразила, что она здѣсь никому не нужна, и сказала, что ей надо просто позвонить по телефону.

Она вышла и поняла, что ей остается одно послѣднее мѣсто: тотъ веселый, шумный цыганскій кабакъ, о которомъ ей говорила Тата. Она поѣхала туда. Ей хотѣлось ѣсть. И тутъ ее встрѣтили оркестромъ, усадили въ уголь, заботливо стянули съ нея — все ея достояніе — пальто съ горностаемъ. И сразу она почувствовала, что здѣсь она хоть на время найдетъ то, что искала — и пусть это будетъ не сегодня, не завтра даже, но это случится именно здѣсь.

Скрипачъ подъ румына и пѣвица подъ цыганку визжали надъ ней. Съ неба, гдѣ былъ потолокъ, спускалась влажная, дымная паутина. Пары, подрагивая,плыли мимо нея, а она, положивъ на столъ бѣлую руку, въ которой дымился длинный мундштукъ, выставивъ обтянутую, большую грудь и свѣтясь въ этой ресторанной мглѣ своимъ лепестковымъ лицомъ, сидѣла и смотрѣла, и не смотрѣла. И было въ ея ожиданіи, въ тайномъ голодѣ, причинявшемъ въ послѣднія недѣли почти боль въ глубинѣ ея соннаго тѣла, что-то схожее съ томленіемъ кисейной барышни въ жасминовый вечеръ, въ окнѣ спящаго родительскаго дома. Такъ же сильна была въ ней жажда чего-то, и такъ же впереди все было туманно, розово и страшно.

Потомъ, когда позади остался грубый, голодный романъ со скрипачемъ подъ румына, о которомъ она послѣ вспоминала не какъ о человѣкѣ, но какъ о человѣкообразномъ; потомъ, когда, послѣ полутора лѣтъ оскорбительной жизни съ нимъ, изъѣденная тоской, и ревностью, и ужасомъ передъ завтрашнимъ днемъ, она вышла изъ больницы послѣ операціи, похудѣвшая, нищая, съ увели-

чившимися и чѣмъ-то горькимъ и яснымъ загорѣвшимися глазами (а скрипача не было, онъ поступилъ въ оркестръ и уѣхалъ въ Лондонъ), она вернулась сюда уже догадавшись, что никто никого не обожаетъ и не любитъ до гроба, что не за кого спрятаться, что то, что случилось съ ней, случается со всѣми ея Татами и Надьками, но ни одна объ этомъ не рассказываетъ, и значить надо врать, врать, хвататься въ жизни за все, что только можно схватить, и постараться забыть, запить, задавить эту свою ошибку, эту постыдную уступку черноглазому мерзавцу, нѣсколько разъ торговавшему ею и вотъ бросившему ее.

Еще только иногда по утрамъ, просыпаясь на разсвѣтѣ отъ ранняго шума въ узкомъ, вонючемъ дворѣ, она безудержно, злобно, возвращалась къ этимъ мѣсяцамъ, къ тому, что сперва было такъ похоже на огонь бѣгущій по жиламъ цыганскій романсъ, пропѣтый шопотомъ въ самое сердце, и что потомъ отдавало запахомъ несмѣнныхъ простынь, городской канализаціей въ сырой ноябрьскій день, когда по скатамъ мостовой струится что-то оранжевое, зловонное, бѣжитъ мимо горько скрученной тряпки, и страшно ступить на нее и потонуть въ ней каблукомъ. Она лежала — часъ или два — погрузившись въ эти воспоминанія, не примѣшивая къ нимъ никакихъ другихъ, и потомъ тяжело засыпала. А днемъ старалась вернуть то утерянное свое чувство, тотъ ушедшій свой обликъ, которые когда-то вели ее — послѣ смерти Алексѣя Ивановича — на поиски чего-то, чему названія дать она не могла, но безъ чего она не представляла себѣ возможности жить на свѣтѣ: это непремѣнное, необходимое состояло изъ праздности и тѣлесной сытости, — а вмѣстѣ могло бы называться на ея языкѣ парижскимъ счастьемъ.

Но вечерами она возвращалась въ единственное мѣсто на свѣтѣ, другого у нея не было, все въ тотъ-же цыганскій кабакъ. И минутами, когда она сидѣла тамъ, подъ грохотъ музыки, въ ресторанномъ удушѣ, полномъ людей, она забывала на лицѣ выраженіе обиды, печали, страданія.

И рука протянувшаяся къ ней черезъ столикъ — плотная, короткая мужская рука съ открытымъ портсигаромъ — принадлежала человѣку, которому понравилось въ ней именно ея усталое и растерянное лицо. Она взяла папиросу, отняла и положила на скатерть портсигаръ и сжала вдругъ эту руку, и сквозь слезы вопросительно улыбнулась. «Что можетъ быть лучше русской женщины! — закричалъ человѣкъ съ акцентомъ. — Нѣтъ, скажите мнѣ, пожалуйста, что можетъ быть прелестнѣе, роскошнѣе, великолѣпнѣе русской женщины?» И съ грохотомъ и визгомъ музыка повторила этотъ вопросъ, угождая клиенту.

Четыре года. Три раза въ недѣлю — днем — онъ приходилъ «отсыпаться» отъ биржи, жены, бриджа, неоплаченныхъ векселей, дутыхъ чековъ, кризиса, отъ всей своей трудной, перебойной мужской жизни. Каждый разъ онъ оставлялъ ей сто франковъ, говорилъ, что только здѣсь, въ этой очаровательной, грязенькой, дешевенькой комнатѣ онъ чувствуетъ себя человѣкомъ, а не скотомъ: «Женится? — думала она иногда. — Разведется? Броситъ жену?» Бывало, она просила повести ее куда-нибудь: вдругъ кто-нибудь увидитъ ихъ вдвоемъ, донесетъ, и это взорветъ его жизнь. Но онъ былъ остороженъ и какъ только приходилъ, требовалъ свой халатъ, туфли, велѣлъ ставить чай и развѣртывалъ пирожныя. «Не женится, никогда не женится», — говорила она себѣ по ночамъ, глядя съ ненавистью на висѣвшій за дверью его красный халатъ съ кистями, распространившій въ комнатѣ его запахъ, сторожившій его добро. Какъ она радовалась въ день, когда онъ принесъ ей этотъ свой запахъ, принесъ пижаму и туфли. Ей казалось, что онъ почти переѣхалъ, и еще немного — она окончательно завладѣетъ имъ.

«Можно револьверомъ, — сказала однажды Гуля, — только полугатъ. Ну представь -- его переѣдетъ автомобиль? Вѣдь ты останешься ни съ чѣмъ, какъ была. А годочковъ то прибавилось».

Но револьверомъ она не грозила. И вотъ къ концу четвертаго года онъ пропалъ. Сказалъ, что уѣзжаетъ изъ Парижа по дѣлу на недѣлю, но прошелъ почти мѣсяцъ, — а его все не было. Домашній его адресъ, который она знала, былъ невѣренъ — дома съ такимъ номеромъ вовсе въ этой улицѣ не оказалось. У нея былъ телефонъ его клуба, она позвонила туда. Ей сказали, что онъ уже полгода, какъ не бывалъ.

Она потеряла голову, заметалась по городу, хотѣла бѣжать въ полицію. Денегъ у нея оставалось нѣсколько десятковъ франковъ, за комнату она задолжала, она опять была одна. «Эта сволочь даже скопить не далъ», — думала она о немъ. Въ ярости, отчаяніи, съ развитыми волосами, немтая, она пришла къ Гуля. «Ты дома? Ты не работаешь?» Гуля сидѣла у окна съ котенкомъ на большихъ своихъ колѣняхъ и вышивала крестомъ. Въ ресторанѣ ей отказали и она теперь брала вышиваніе на домъ.

«Ты тоже можешь, если хочешь, — басила она, а папироза въ это время осыпалась на красный гарусъ, на голубую канву, — можно выработать сантимовъ девяносто въ часъ. Съ голоду не подохнешь»..

«Но вѣдь есть же и другія, — думала она, — тоненькія, изящныя, веселыя, сытыя, которыя гдѣ-то служатъ секретаршами, продавщицами, живутъ съ патронами, ѣздятъ на зимній спортъ, покушаютъ все очень модно... Почему не я?» И въ черныхъ стеклахъ магазиновъ она видѣла себя, заплаканную, постарѣвшую, съ висящей грудью и низкими боками, идущую неровной своей походкой, безъ перчатокъ. «Вѣроятно, нѣту, — отвѣчала она себѣ. — На мѣсяцъ, на два... Всѣ врутъ... Всѣ такія же, какъ я, чертовки». И слезы текли по ея лицу, и она вытирала ихъ ладонью.

Рестораны? Она ихъ теперь хорошо знала. Тотъ цыганскій кабакъ закрылся, вмѣсто него открылся другой; шикарный ночной ресторанъ, куда ее когда-то не пустили, былъ все тотъ-же — туда возилъ ее однажды Таточкинъ

содержатель. Нѣсколько разъ съ Надькой онѣ обѣдали тамъ, гдѣ она такъ оробѣла когда-то и мужчины, хоть и немолодые, хоть и похожіе чѣмъ то на ея отца, были тамъ, въ концѣ концовъ, какъ и всѣ мужчины, и даже нѣкоторые довольно пристально разсматривали и Надьку, и ее.

Но идти туда въ старомъ корсетѣ, не имѣя въ сумкѣ ста франковъ, было невозможно. И она еще нѣсколько дней покидавшись по городу, еще два раза забѣжавъ къ Гулѣ, стала вышивать.

Въ первый день она наработала на девять франковъ, во второй день — на одиннадцать. Третій день она пролежала и проплакала почти весь, наработала на четыре франка и съ опухшими глазами повалилась снова въ постель. На четвертый день она купила за семь пятьдесятъ поль-омара и съѣла его съ майонезомъ — она больше всего на свѣтѣ любила омары и майонезъ. Къ вечеру четвертаго дня она была, какъ пьяная, ничего не поняла, когда съ ней заговорила хозяйка (о томъ, чтобы она не беспокоилась съ уплатой за комнату, можно и подождать). На пятый день она пѣшкомъ пошла къ Гулѣ — у нея не было на метро, и она ничего не ѣла. Работы у Гули не было, но ей дали кофе.

Сто пятьдесятъ франковъ — одну бумажку въ сто и пятьдесятъ мелочью — она взяла взаймы у Надьки въ тотъ же вечеръ, поужинала у нея, выслушала потокъ хвастливаго вранья, сама отвѣтила тѣмъ же, и съ утра, истративъ франка три на ѣду, стала думать, что ей дѣлать. У нея дрожали руки, когда она пересчитывала деньги. У нея было два проекта и одинъ исключалъ другой.

Первый былъ: кушнуть на эти деньги револьверъ, нажать и застрѣлиться. Второй былъ: пойти къ парикмахеру, завиться, сдѣлать педикюръ, одѣться къ лицу и ѣхать обѣдать, да такъ, чтобы непременно кто-то другой заплатилъ за нее, и чтобы выйти изъ ресторана вдвоемъ. Она подошла къ зеркалу и сдѣлала то лицо, которое обыкновенно дѣлала, когда на себя смотрѣла, и котораго у нея

въ другія минуты не было. И вотъ она принялась за себя со всѣмъ стараньемъ, на которое была способна.

Было восемь часовъ съ четвертью. Она немного опаздывала, она никогда никуда не поспѣвала во время. На ней было черное платье, черная шляпа открывала кверху поднятые и завитые волосы — она недавно выкрасилась въ рыжій цвѣтъ, но темные корни уже сквозили у виска. Воротникъ каракулевой шубы скрываетъ ея толстую бѣлую шею; когда она откидываетъ его вырывается душистый и теплый столбъ воздуха и облакомъ ложится на ея лицо. На ногахъ — паутина послѣднихъ цѣлыхъ чулокъ и легкія, открытыя туфли. Она опять подходитъ къ зеркалу, опять дѣлаетъ не свое лицо — довольное, спокойное, то лицо, какое хотѣла бы имѣть. Она долго смотритъ на себя. Хороша. Ей пошла бы маленькая собака — лишній поводъ къ знакомствамъ. «Дура! Почему не попросила своего жиды подарить собаку, еще вначалѣ, когда онъ былъ такой милый». Милый? Да, онъ былъ милый, — въ первый годъ и во второй годъ ихъ... любви, скажемъ, когда подарилъ ей эту шубу, когда сносилъ всѣ ея капризы, ея подозрительность, ея ужасное лицо въ слезахъ. Потомъ, когда начались упреки въ томъ, что онъ на ней не женится, угрозы прицѣпиться къ нему, онъ пересталъ быть милымъ. И онъ былъ правъ. «Можно было удержать. Сама виновата во всемъ, — сказала она себѣ вдругъ. — О несчастная, безталанная дура!» Она была наединѣ со своимъ отраженіемъ, она схватила, качнула и захлопнула дверцу осинового, скрипучаго шкафа. «Онъ былъ милымъ, онъ былъ добрымъ и онъ могъ всегда быть такимъ, — словно читала она въ себѣ самой, и что-то еще было тамъ дальше: -- а теперь ты будешь вышивать гарусомъ или станешь троттуарной дѣвкой». Она закрыла зеркало рукой, чтобы не видѣть выраженія своего рта. «Мелко плаваешь», — опять прочла она дальше и сказала это вслухъ, и сейчасъ же опять увидѣла свое искаженное лицо. Увѣренность въ себѣ, въ томъ, что то, что она сейчасъ собирается сдѣлать

—правильно, вдругъ пропала. Лечь спать; смотаться внизъ, купить полбутылки коньяку. Распить... Она заспѣшила отъ этихъ убогихъ соблазновъ, еще разъ распахнула и запахнула шубу, и ушла.

Въ ресторанной залѣ, отдѣланной съ претензіей на строгость, когда Таня вошла, было занято не болѣе трети столиковъ: справа въ углу — пожилой господинъ съ пожилой дамой, въ лѣвомъ — молодой человѣкъ съ барышней; дальше шли еще лица, мужскія, немолодые, кажется (все это надо охватить въ нѣсколько секундъ). Трое мужчинъ, занятыхъ закусками и водкой, сидѣли вдалекѣ. Метръ-д'отель хотѣлъ посадить ее рядомъ съ молодой парой, у двери, но она прошла мимо него и сѣла въ глубинѣ, за сосѣдній съ обѣдавшими мужчинами столикъ. Два лакея подбѣжали къ ней, но она осталась въ шубѣ. Сейчас же слетѣла ей въ руки карточка, замелькалъ въ воздухѣ приборъ и пришлось развернуть салфетку.

«Онъ былъ милымъ, онъ могъ быть милымъ», — повторила она себѣ и почувствовала, какъ она устала отъ всей этой недѣли, вспомнила о своемъ лицѣ и слегка улыбнулась въ сторону, но на нее не смотрѣли. Въ это время пришли еще двое (французы, кажется) и сѣли напротивъ нея. А она чувствовала, что не можетъ оживиться, что ей хочется скорѣе поѣсть и уйти, что ей нужно остаться со своими мыслями. «Додумать. Выспаться. А завтра что? — мелькнуло въ головѣ. Завтра буду, какъ Гуля, или еще что-нибудь... Служить пойду. Въ прислуги. Служать же люди. Вотъ лакеи бѣгаютъ — служить». И она стала слѣдить за однимъ изъ нихъ — немолодымъ, высокимъ, лысымъ человѣкомъ въ кургузой бѣлой курткѣ, волосатыми руками что-то дѣлающимъ надъ ея приборомъ. «Принесъ селянку. Осетрину накладываетъ».

— На лѣвый столъ грибки, — пробѣгая мимо, прошепталъ лакей помоложе, съ картоннымъ лицомъ, покачивая чистыми стаканами, ножками вверхъ.

— Даю, — отозвался лысый безъ голоса, и подставивъ

Танѣ селянку, побѣжалъ куда-то, шатаясь. Она едва не потеряла его среди четырехъ другихъ такихъ же. Она слѣдила за нимъ со смутнымъ чувствомъ. Онъ показался опять, плавая въ воздухѣ съ узкимъ блюдомъ маринованныхъ грибовъ, откупорилъ вино въ салфеткѣ, двинулъ въ дальній уголъ низкій столъ на роликахъ съ сырами. «Зачѣмъ живетъ такой человѣкъ?» — спросила она себя, а лакей опять замелькалъ туда и сюда, унося грязныя тарелки и вдругъ Таня увидѣла, какъ въ официантской, находившейся наискосокъ отъ нея, онъ что-то жадно сунулъ себѣ въ ротъ съ чужой тарелки. Она почувствовала отвращеніе.

«Зачѣмъ живетъ такой человѣкъ? Боже мой, зачѣмъ? Но зачѣмъ я сама живу? Для чего все это? — подумала она съ жалостью и къ нему, и къ себѣ. — Зачѣмъ вообще живутъ люди? — Она съ минуту соображала. — Для удовольствія. Да, это такъ. Люди живутъ для удовольствія. Но какое же въ его жизни, въ моей жизни удовольствіе?»

— Осетринка, мадамъ, не понравилась? — спросилъ онъ почтительно, видя, что она не доѣла селянки.

— Н-нѣтъ, понравилась.

Онъ, илавно дѣйствуя волосатыми руками, унесъ селянку и еще что-то, и принесъ на мельхіоровомъ овальномъ блюдѣ индюшечье крыло. Накладывалъ онъ, вытянувшись, дѣйствуя однимъ кистями рукъ.

— Прикажете красенькаго?

Она заказала полбутылки нюи. Одинъ изъ мужчинъ, сидѣвшихъ за сосѣднимъ столикомъ, поднялъ на нее соловые, выпученные глаза. Мгновеніе — онъ что-то старался связать, вспомнить. «Гарсонъ! И сюда одну нюи», — крикнулъ онъ, понявъ, наконецъ, что ему надо. Таня отвернулась.

«Зачѣмъ живетъ такой человѣкъ? — повторила она опять. — Ахъ Боже мой, гдѣ же онъ? Вотъ бѣжить съ судкомъ, качается. Какое у него лицо старое, усталое, какой черепъ странный. Онъ навѣрное много курить, зубы

прокурилъ, сердце прокурилъ... А я зачѣмъ живу? Зачѣмъ стараюсь? Куда все это?... Для чего завтра умру, и какъ умру? Успокоюсь. Не буду больше завидовать, высчитывать. Остановлюсь».

Съ необъяснимой симметрией встала пожилая, а за ней молодая пара. Пузатый шассеръ на тонкихъ, кривыхъ ножкахъ подалъ имъ одѣться. Они ушли. Сосѣди требовали счетъ, вырывали другъ у друга бумажники, опрокинули графинъ; наконецъ, главный, съ соловыми глазами, заплатилъ. Таня долго держала во рту кусокъ мороженого персика и смотрѣла — не въ лица ихъ, а на то, какъ они оставляли на чай, и какъ лысый, съ перемѣнившимся лицомъ, сгибаясь въ поясницѣ, сгребалъ деньги и благодарилъ, поспѣшно отставляя стулья отъ ихъ спинъ.

Потомъ онъ передалъ ихъ метръ-д'отелю, а метръ-д'отель — шассеру, а шассеръ — уже на улицѣ — шофферу-такси, и у лакея въ это время лицо опять стало прежнимъ.

— Кофе, пожалуйста. — сказала Таня одними губами.

Ну вотъ, и прошелъ этотъ обѣдъ, за который она сама заплатитъ. Все было очень вкусно. Какъ опустѣло кругомъ. Вотъ уже тотъ, съ картоннымъ лицомъ, и другой, помоложе, несутся съ ворохомъ салфетокъ, и опять — стаканы, но грязные, и ножками внизъ. Есть еще французы кажутся, но они теперь съ дамами. Она проглядѣла, когда онѣ пришли: нарядныя, веселыя, живучія. Вотъ онѣ такъ, «для удовольствія»... Опять бѣжить этотъ высокій — зажигаетъ спиртовку подъ фильтркомъ.

— Народу у васъ немного. — говоритъ Таня, и сама не знаетъ, зачѣмъ это говорить. — это хорошо, когда народу немного.

— Такъ точно. Это пріятно-съ.

Онъ отходитъ, спиртовка горитъ и перегоняетъ кофе. Онъ поспѣваетъ во время.

— А за завтракомъ больше бываетъ? (Зачѣмъ я его спрашиваю, я вѣдь больше все равно сюда не приду).

— Какъ же-съ. До трехъ часовъ иногда присутствуютъ.

— Утомительно, навѣрное?

— Привычка-съ. Десятый годъ служу.

— А чѣмъ вы раньше были?

Но онъ, слегка припадая, бѣжить за сахарными шипцами. Она опять смотреть на его волосатые пальцы и ей кажется, что сквозь кургузую куртку она видитъ его худую, впалую, страшно волосатую, сѣдую грудь.

— Раньше? Когда именно-съ? — и онъ, танцуя вокругъ нея кругами, смущенно пытается ослабиться.

— Раньше, въ Россіи.

— Сражался за вѣру, царя и отечество, — говоритъ онъ заговорщицки.

Она мѣшаетъ кофе и глядитъ на него. Онъ стоитъ сбоку, на вытяжку, опять насколько это возможно при его сутулости.

— Вы не изъ Петербурга?

— Какъ же-съ. Николаевского кавалерійскаго.

Въ мозгу ея образовывается что-то похожее на длинный корридоръ, она не можетъ разобрать, что тамъ, въ его концѣ.

— Я изъ Николаевского кавалерійскаго знала Ахлѣстышева и Цауне, за старшей сестрой моей ухаживали.

— Ахлѣстышева зналъ. Былъ моложе меня на четыре выпуска.

Такъ. Тепрь она даетъ ему возможность отойти, составить компотницы — одну на другую — вынести ихъ въ офиціантскую на ледъ, до завтра, вернуться, постоять у кассы, заложивъ салфетку подмышку, бѣгая глазами по послѣднимъ посѣтителямъ. Еще у дверей снуютъ другіе. Если бы она сѣла къ окну, ей подавалъ бы не онъ, а, на-примѣръ, тотъ гнилой блондинъ съ прозрачными ноздрями... Онъ можетъ отойти теперь: все извѣстно, между ними уже образовалась какая-то тонкая, слабая связь, черезъ Лильку и громаднаго, давно мертваго Ахлѣстышева, котораго Таня такъ боялась, когда была дѣвочкой, и который

однажды, схвативъ ее, протанцоваль съ ней, грубо замявъ ей платье.

Онъ взглянулъ въ ея сторону. Нѣтъ, она все еще не требовала счета. Онъ прошелся мимо нея.

— А скажите, — она думала, что онъ не услышитъ ея бормотанья, но онъ услышалъ, и опять затанцоваль кругами вокругъ, наклонивъ на бокъ свой длинный черепъ, — вы можете быть и сестру мою знали, Лилю Шабунину (а я Таня Шабунина, урожденная Шабунина, я замужемъ была). Нѣтъ? А Завертяевыхъ? (фамилія смѣшная!). Мы тамъ часто бывали. А еще такіе Филантьевы были. Тамъ елки устраивались, я помню, много было дѣтей. Всѣ — старше меня; между мной и сестрой — шесть лѣтъ. Филантьевы. Жили у Чернышева моста. Еще бывали тамъ такіе фонъ-Гогены... Отецъ мой съ Киркилевичемъ вмѣстѣ служилъ! Не знали Киркилевича? Его дочка теперь за Цвѣтковымъ... А изъ Николаевского кавалерійскаго, нѣтъ, изъ Константиновскаго артиллерійскаго, я еще помню Охотникова. Его отецъ былъ шишкой.

Онъ подставилъ пепельницу подъ ея окурокъ.

— Какъ же-съ, — механически отвѣтилъ онъ, неловко расшаркнулся и самъ пошелъ писать счетъ. Одну изъ бѣлыхъ, круглыхъ люстръ потушили, но Таня этого не замѣтила.

— Послушайте, — сказала ему кассирша, — ваша знакомая насъ ужасно задерживаетъ. Одиннадцатый часъ.

Онъ затрепаль счетнымъ листкомъ и вдругъ бросился въ официантскую: ему жадно, остро захотѣлось хоть минуту побыть одному; одиночество, тишина; возможность припомнить что-то, возможность возстановить...

Онъ открылъ дверь въ маленькую гардеробную, гдѣ было темно, пахло капустой и старой одеждой. Тутъ висѣли на худыхъ вѣшалкахъ темные лакейскіе пиджаки. Онъ узналъ свой пиджакъ по какой-то особой легкой зернистости шевиота. Онъ держался за свой пустой рукавъ, мялъ его и думаль.

Возстановить ему хотѣлось страстно, но возстановлять онъ не умѣлъ. Онъ былъ изъ тѣхъ людей, которые при словахъ: «домъ выходилъ окнами въ садъ», — всю жизнь представляютъ себѣ одинъ и тотъ же, случайно когда-то запримѣченный деревенскій домъ, обветшавшій съ годами, дежурившій въ памяти безсмѣнно. А при словахъ: «поѣздъ медленно подходилъ къ станціи», — онъ вѣчно видѣлъ все тотъ же черный паровозъ, уже остановившійся у полуразрушенной водокачки, польскую надпись на стеклѣ станціонной двери и бѣлесоватую синь за долгіе годы прѣвшагося горизонта. А что не имѣло въ памяти своего постоянного образа, то не удерживалось, то давно скользило. Но сейчасъ случилось съ нимъ что-то странное: слова «Чернышевъ мостъ», «селка», какъ обвалъ, пронесли въ мозгу и то, что осталось въ столбѣ пыли, въ грохотѣ Таниныхъ словъ, застыло и замерло, очаровывая и умиляя сердце. Стройная дѣвочка въ красномъ платьѣ тонкими, потными пальчиками давить въ труху блестящій, стеклянный шаръ съ выемкой, только что снятый съ слочной вѣтки. Онъ — въ мундирѣ, онъ чисто вымытъ, у него на золотистыхъ вихрахъ — трехъ изъ хлопушки, сбѣжающій на одно ухо — тоже чистое. Стеклянная пыльца обсыпаетъ руки и платье дѣвочки... Можетъ быть, эта дама, которая сидитъ тамъ и курить, и пудрится, эта особа и есть та дѣвочка? Нѣтъ, конечно, это не она. Тогда, можетъ быть, это ея сестра? Нѣтъ и этого не бываетъ на свѣтѣ. Тогда это кто-нибудь, кого она навѣрное знала, видѣла. Фидантъены... И больше ничего. Больше онъ ничего не можетъ ни вспомнить, ни связать. Но и этого довольно: вдругъ понеслись, покатались, помчались на него солнечные обрывки какого-то дѣтскаго лѣтняго дня, когда очь повисъ курточкой на шпингалетѣ, выпрыгивая изъ окна, и другіе — смѣшные и грустные, и пестрые, пестрые, и такіе быстрые, что нельзя было удержать ихъ. И тугія, бѣлая перчатка на маленькихъ рукахъ, и кадетская, длинная шинель, и все то гордое и жуткое, что появилось послѣ

поступленія въ корпусъ, и дикая, дивная, вольная воля весной, и опять голубая декабрьская погода, и тотъ перекрестокъ около Биржевого моста, гдѣ онъ навѣки почему-то представилъ себѣ въ туманахъ входящій въ Малую Неву океанскій пароходъ, распирающій берега, вырастающій выше Петропавловской крѣлости; еще что-нибудь; грозные, рыдательные аккорды, завивы полковыхъ трубъ надъ гробомъ отца. Песокъ и снѣгъ. И тишина. И въ черномъ, сѣверномъ небѣ какая-то комета, которую онъ углядѣлъ ночью, съ подоконника. И еще что-то, и еще... Пока не оборвалось все въ жизнь, въ войну, въ производство, въ пьянство, въ женитьбу, въ бѣгство, не привело въ этотъ чуланъ, въ чадный мракъ официантской, къ чужимъ тарелкамъ, къ горчицѣ, размазанной по краямъ, къ салатному листу, липнущему къ пальцамъ; къ недопитымъ стаканамъ, изъ которыхъ онъ не разъ хлебаль какую-то на-бѣгу слитую смѣсь. Онъ сжалъ и скомкалъ въ рукахъ на деревянномъ плечѣ худой рукавъ человѣческаго своего одѣянія, онъ дернулъ его, ожидая, что раздастся колоколъ, раздастся набатъ на всю вселенную, и можетъ быть сбѣгутся къ нему люди... Но все было тихо; глухо доносилось сюда шарканье и голоса; все было тихо.

Тогда онъ открылъ дверь и вышелъ.

Она попрежнему сидѣла тамъ, и была теперь совершенно одна въ полутемномъ ресторанѣ. Уже сдергивались скатерти со столовъ; тѣсня ее, подвигались лакеи, составляя стулья. Метръ-д'отель, безъ фрака, стоялъ передъ кассой, и появился хозяинъ — изяшный, грассирующій полякъ съ цвѣтнымъ платкомъ въ боковомъ карманѣ, со свистомъ листавшей счетную книгу. Она все еще сидѣла тамъ. Она могла уйти, но она не могла уйти. Или вѣрнѣе: онъ не могъ упустить ее; она еще что-нибудь скажетъ ему, она еще напомнитъ о чемъ-нибудь. Какая чудесная, мягкая, летучая красота въ ея лицѣ, какъ непонятно все это — ея глаза, и пальцы ея, и голосъ; и она сказала «Ахлѣстышевъ». Кто такой этотъ Ахлѣстышевъ? Можетъ быть, тотъ самый,

который въ восемнадцатомъ году... И онъ воскресъ теперь изъ мертвыхъ, воскресъ и свелъ ихъ вмѣстѣ сегодня, здѣсь...

Онъ положилъ передъ Таней счетъ.

— Позвольте откомендоваться, — сказалъ онъ, — поручикъ Бологовскій.

Она выложила на столъ бумажку, прихлопнула ее рукой, подняла лицо.

— Очень пріятно.

Онъ подбѣжалъ къ кассѣ, размѣнялъ, вернулъся.

— Такое знакомство. Удивительно. Давно покинуть изволили?... (такъ, чтобы только какъ-нибудь еще, — ну неужели ему интересно, десять, пятнадцать или сколько лѣтъ мотается она по міру?).

— Охъ, давно!

Она взяла сдачу и оставила на чай. Онъ, съ застывшей улыбкой, дернулъ головой, подавая кому-то знакъ, и пробѣгавшій мимо съ картоннымъ лицомъ, огромными темными кистями сгрѣбъ деньги, прощуршавъ благодарность.

— Разрѣшите мнѣ, — и тутъ онъ согнулся, голова ушла въ плечи, а спина стала узкой и круглой, — выйти вмѣстѣ? Поручикъ Бологовскій. Не сочтите за назойливость.

— А вамъ развѣ можно уйти?

— Моментъ.

Теперь она увидѣла, что давно пора ей отсюда; она открыла и опять закрыла пудреницу, выхватила зеркало. Отъ вина и ѣды ей было жарко.

Жизнь его была рассказана. Онъ скомкалъ что-то съ женитьбой, и выпренне выразился о замужней дочери, которая жила въ Болгаріи и все собиралась къ нему, да какъ-то не выходило. Жизнь была выболтана въ часъ времени, пока ѣхали, пока пили анилиновый ликеръ въ русскомъ ночномъ кафе, гдѣ-то въ пятнадцатомъ округѣ Парижа, гдѣ онъ былъ, какъ дома. Сердце шумѣло, руки

(забылъ вымыть, такъ спѣшилъ) подрагивали надъ папирсной коробкой, стараясь навести на столъ относительный порядокъ: вотъ тутъ ея рюмка, тутъ моя, здѣсь папирсы — тамъ спички, здѣсь перчатка ея, черная, теплая, душистая, тамъ — ея бѣлая, теплая, душистая рука. Передъ нимъ сидитъ женщина, онъ не очень ясно помнитъ, какъ это произошло, онъ много выпилъ всякой дряни, ноги его прямо-таки валяются подъ столомъ, какъ сапоги, какъ краги, и ужасно хочется плакать... Это — старость. Онъ ни за что не скажетъ ей, сколько ему лѣтъ, пусть думаетъ — сорокъ пять, пусть думаетъ даже — пятьдесятъ. Пусть думаетъ, что хочетъ.

Онъ смотритъ ей въ грудь, въ руки, почти не смотритъ въ лицо. Вотъ ему и весело. Но какъ вспомнишь, сколько было въ жизни всего! О чемъ это я? Ахъ, да, о прошломъ моемъ, зыбкомъ, дурацкомъ, жалкомъ.

— Но такого вотъ вечера, позвольте вамъ признаться, не было. Нѣтъ, такого не было. Не считите за комплиментъ.

— А хоть бы и комплиментъ, — говоритъ Танька. — Женщины любятъ комплименты. Вы — мужчина, вы должны это понимать.

Она тоже пьетъ. И такъ какъ къ полуночи онъ говоритъ, что проголодался, она вмѣстѣ съ нимъ проситъ водки и ѣды, впрочемъ только для того, чтобы закусить три своихъ рюмки. У нея ложатся двѣ широкія, темныя петли вокругъ глазъ, и ротъ отъ водки дѣлается влажнымъ и какимъ-то глубокимъ. «Куда это онъ мѣтитъ? — спрашиваетъ она себя въ пьяномъ снѣ. — Въ законные мужья, въ первые любовники или въ коты? Что если прямо спросить его объ этомъ».

Отъ этой мысли съ нею внезапно дѣлается припадокъ визгливаго, слезнаго хохота, голова ея клонится, она обѣими руками держитъ себя за лицо, чтобы оно не упало на столъ.

Ея внезапное неумѣніе совладать съ собой возбужда-

ють въ немъ страсть и нѣжность. Она тяжело всхлипываетъ, хватается стаканъ и въ бѣлыхъ, ровныхъ своихъ пальцахъ съ хрустомъ давить его.

— Ради Бога, Татьяна Аркадьевна, — кричитъ онъ, мгновенно вспотѣвъ лицомъ. — Такъ порѣзаться можно.

Руки и платье ея обсыпаны стеклянными осколками, но онъ уже ничего не говоритъ, а сжавъ кулаки подъ столомъ, съ шумомъ въ головѣ и огнемъ въ сердцѣ, сидитъ, и смотритъ, и тонетъ въ счастье, котораго она причиной, ничего не помнить, старается не дышать, не мигать, и въ маревѣ его блаженства — все пьяно, чисто, и весело, и грустно заразы.

Но ей было скучно. Трактиръ съ бывшимъ губернаторомъ за стойкой былъ пропитанъ саломъ и табакомъ. Бумажный тюльпанъ на проволокъ, который Бологовскій все переставлялъ, не зная, куда его поставить, съ чѣмъ спарить, все время лѣзъ ей въ лицо. Со стѣны смотрѣла фотографія какого-то матадора съ гитарой. Все это, и человекъ, сидѣвшій съ нею, по крахмальной груди котораго ползъ красный клопъ, казалось ей такимъ паденіемъ, такой расплатой, такимъ скорымъ путемъ къ концу, что она съ тоской и ужасомъ удивлялась: какъ жестоко и круто расправляется съ нею жизнь.

«Если полѣзеть цѣловаться, дамъ въ морду», — рѣшила она про себя.

Но онъ одной большой жесткой рукой стиснулъ обѣ ея руки, и въ ночномъ такси, обхватилъ ее и измялъ, прижимаясь жесткими губами къ ея губамъ, твердымъ лицомъ къ ея лицу. И черезъ минуту жалость и нѣжность къ себѣ залили ее — куда рваться? За чѣмъ? Боже мой, какъ все грустно на свѣтѣ... Она постаралась увидѣть его глаза въ сумракѣ, скорѣе по привычкѣ, чѣмъ изъ любопытства. Совѣмъ еще чужіе глаза блестяли металлическими слезами, и рѣдкіе волосы его (онъ снялъ шляпу) показались ей желѣзными тоже.

Молча онъ поднялся за ней и тамъ, въ комнатѣ, гдѣ

былъ такой беспорядокъ, гдѣ въ потолокъ горѣла голая лампочка, а ситцевая штора закрывала окно, онъ затолкалъ ее грубо и жадно, торопясь, падая (а она все медлила, будто обдумывая что-то). И все-таки не успѣлъ такъ, какъ хотѣлъ. И въ страшной усталости, опоенный ея теплотъ, онъ тяжело уснулъ, лицомъ въ подушку.

II.

Растрепанная, въ мятой голубой сорочкѣ, съ размазанной чернотой вокругъ глазъ, она лежала въ постели, свѣсивъ почти до полу руку со старымъ, еще русскимъ, себрюшнымъ браслетомъ.

Онъ стоялъ у окна, въ палато. За окномъ былъ дворъ ширинною въ три метра, городская расщелина, сырая и темная. Собирался дождь. Надъ собою онъ видѣлъ другія окна, и сколько ни выгибайся — неба не было. Былъ дымъ, шедшій откуда-то сверху и падавшій въ эту расщелину. Хриплымъ голосомъ онъ сказалъ, нараспѣвъ:

— Дождикъ, дождикъ, перестань,

Мы поѣдемъ въ Арестань.

Она не разслышала послѣдняго слова и повторила, зѣвая:

— ...мы поѣдемъ въ ресторанъ.

Онъ издалъ звукъ, похожій на короткій смѣхъ, оглянулся, увидѣлъ ее, и сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, поцѣловалъ ее въ голову. Рыжіе волосы ея помертвѣли и выцвѣли, проборъ былъ темень, съ просѣдью.

— Не хнычь, пожалуйста, — сказала она, поднимая съ полу руку, какъ гирию, — ну о чемъ ты опять плачешь?

Онъ не плакалъ, а смотрѣлъ сверху ей въ лицо, ожидая, когда она подниметъ глаза на него, чтобы ей улыбнуться.

— У тебя всегда такой видъ, будто ты собираешься заплакать. Вѣки красныя, должно быть глаза больные. И

такая слеза желѣзная у носа. Ну, улыбнись, чортъ возьми, развѣ тебѣ не весело?

Онъ осторожно погладилъ ее по головѣ и еще разъ поцѣловаль въ подборъ.

— Зубы плохіе улыбаться, — сказалъ онъ и черезъ силу засмѣялся.

И правда: почему ему было такъ шемяще грустно смотрѣть на нее? Чего ему было жалко? Вѣдь то, о чемъ онъ и мечтать не смѣлъ въ первый вечеръ знакомства, случилось: она была съ нимъ, ея тѣло, ея тепло были съ нимъ, у него была женщина, своя собственная, не такая, которую могъ имѣть всякій другой. Она напоминала ему что-то бывшее на яву и похожее на сонъ, ильгда (Боже мой, если бы она только знала!) ароматомъ своимъ, бѣглымъ прикосновеніемъ руки къ его затылку, она напоминала ему мать. Онъ уходилъ на работу въ одиннадцать часовъ и возвращался въ четыре, и опять уходилъ въ шесть и приходилъ къ ночи. И она всегда была тутъ, она провожала его, она ждала его. И въ постели она лежала рядомъ и грѣла его, и онъ не могъ спать отъ сознанія, что она съ нимъ, что она откуда-то какъ будто вернулась къ нему, принеся ему съ собой обратно все, что было имъ потеряно.

— Понимаешь, Тасенька, моя маленькая, моя сладенькая, — заговорилъ онъ вдругъ, — мнѣ такъ хорошо, что и не знаю, какъ. И грустно, почему то... Я все думаю, за что мнѣ это? И знаешь, я часто раньше думалъ: ну что я такое? Зачѣмъ я?.. А теперь махнулъ, не думаю больше.

— Философствовалъ.

— Ну да. Съ такимъ вотъ рыломъ философствовалъ. А теперь и желанія никакого нѣтъ.

-- И слава Богу! — и ей смутно припомнилось, какъ она въ тотъ день, въ ресторанѣ, одна, тоже философствовала.

— А теперь я пойду, — это онъ всегда говорилъ, будто подготовляя себя къ прощанію съ ней. — Надо, пора.

Она встала, накинула короткій капотъ, захлестнула у

пояса, и босая, стала ждать его ухода.

Потомъ она легла поперекъ неубранной постели и принялась за вчерашнюю газету.

Раньше ей въ руки никогда не попадались газеты. Бывало то ть оставляя ей свою — и она ее выбрасывала, не раскрывая, — ей было неинтересно знать о людяхъ, съ которыми она не была и не будетъ знакома. Но вотъ уже мѣсяць — съ тѣхъ поръ, какъ Бологовскій переѣхалъ къ ней (и разговоръ все чаще заходилъ о какихъ-то бумагахъ, которыя надо куда-то подавать, чтобы можно было, въ концѣ концовъ, повѣнчаться), съ тѣхъ поръ какъ онъ былъ съ ней, она пріохотилась къ уголовнымъ исторіямъ, о которыхъ рассказывалось подробно, смачно, съ бойкостью пера необыкновенною, и въ концѣ которыхъ всегда возникала либо кровью залитая простыня, либо заскорузлое, въ чемъ-то подозрительномъ выпачканное полотенце — непременно зловонный и безстыдный предметъ, увидившій Танино воображеніе.

И были драмы, схожія съ разниманіемъ быка въ мясной лавкѣ. И были другія — когда ночью вспухшее тѣло безшумно стлалось въ воду. Какія-то корзины отсылались неизвѣстному получателю. Люди орудовали револьверомъ, кухоннымъ ножомъ, стамезкой. Но самыми жгучими и неотвязными были преступленія, вдохновленные ложью: изъ арифметики переходъ въ алгебру. Не просто уничтожить, или уничтожиться, но еще и надуть весь міръ — хотя бы и поплатившись за это собственной жизнью. Вотъ женщина, ревнуя любовника къ собственной дочери, отравляетъ его жену. Ее приговариваютъ къ каторгѣ, но подозрѣніе въ сообщничествѣ падаетъ и на него, раскрылось еще кое-что (о, это «кое-что», которое есть за каждымъ!) и любовника ведутъ на смертную казнь. Развѣ не алгебра?... Или другая: на глазахъ у мужа стрѣляетъ въ себя и успѣваетъ шепнуть комиссару, что это не она, а онъ стрѣлялъ, чтобы отдѣлаться отъ нея. И опять «кое-что», и его шлютъ на каторгу. И уже не важно — умира-

еть сама она или выживаетъ. Важно, что есть на свѣтѣ вещи, за которыя стоитъ платить ихъ настоящую цѣну.

Хорошо, что отъ чтенія этого уходитъ время и скука. Таня лежала и представляла себѣ, ворочая лѣнивыми мыслями, какъ отчетливо, безошибочно вѣрно она могла бы тоже сдѣлать это: застрѣлить себя. Застрѣлить себя — потому что не вышло «для удовольствія», и корни растутъ сѣдые, и Бологовскій бѣденъ, скученъ и старъ, и нѣтъ другого, и впереди ничего; она лежала навзничъ, свѣсивъ босыя, холодныя ноги, закинувъ руки, выставивъ безволосыя подмышки. Но кто же виноватъ во всемъ? На кого она покажетъ? Ахъ, не все ли равно! Справедливой быть она не подрядилась. Только не надо рисковать — комиссара можетъ вѣдь и не оказаться, того самаго, который согласенъ будетъ выслушать ея предсмертную ложь. (А ужъ священника навѣрное не случится... А то хорошо было бы именно въ предсмертной исповѣди соврать разъ и навсегда)... Рисковать нельзя. Она приготовить все по своему, она, какъ мать дитѣнышу, уготовить Бологовскому его судьбу.

На сегодня довольно. Одѣвшись (дырявое бѣлье и старое, красное платье, которое почему-то такъ нравится ему), она отправляется къ Гулѣ. Тамъ опять переменна: Гуля теперь по утрамъ водить гулять богатую дѣвочку, получаетъ за это сколько-то франковъ и завтракъ.

Котенокъ подростъ, сталъ пѣгимъ, скребется, ходитъ по столу, спитъ на Гулиной подушкѣ, гадитъ подъ диваномъ. Въ комнатѣ во всю пахнетъ именно имъ, приторно-терпкій запахъ, а не Гулиными рѣзкими, напоминающими денатурать, духами.

Громадными ладонями подпираетъ Гуля блѣдныя щеки, когда-то красивое, мясистое лицо, словно раздутое болѣзнию. Подъ низкимъ лбомъ — золоokie глаза. Колѣни ея широко раздвинуты и двѣ большія, толстыя ноги въ расшлепанныхъ туфляхъ, съ торчащей внутрь костью, стоять передъ Таниными глазами, какъ два неподвижныхъ.

неживыхъ предмета. Въ длинныхъ, толстыхъ, какъ сигары, пальцахъ, Гуля держитъ грошевый мундштукъ съ погасшимъ окуркомъ. И низкимъ, почти мужскимъ голосомъ, говоритъ:

— Сегодня — лакеемъ, а завтра попрутъ, такъ засвиститъ въ кулакъ. Безъ копыя сядетъ на шомажныя. Ты требуй.

— Ревнуетъ абсолютно къ каждой собакѣ.

— По своему правъ. Ты послѣдней собакой не погнаешься.

Танька переливчато хохочетъ. Это значить, что Гуля считаетъ ее «грандъ амурезъ». Онѣ говорили какъ-то о томъ, что Надька и Тата не «грандъ амурезъ»; и Танѣ это пріятно.

— Денегъ нѣтъ, зато философствуетъ много. Да и старовать онъ немножко для меня. Ты понимаешь?

— Уже! Вотъ сукинъ сынъ. А туда же, ревновать.

Танька закуриваетъ.

— Вчера мнѣ сказалъ: убить мнѣ тебя или жениться на тебѣ?

— Это почему же?

— А такъ. Истерика.

Гуля передвигаетъ ноги.

— Для чего, спрашиваетъ, мы живемъ, и ты, и я, и всѣ люди?

— Да что онъ, Левъ Толстой, что ли? Ты скажи ему, что живетъ онъ для того, чтобы свои чаевыя получать.

Танька опять хохочетъ.

— А что, — спрашиваетъ она сквозь смѣхъ, не имѣя силъ оторвать глазъ отъ Гулиныхъ ногъ, — если онъ и вправду меня прирѣжетъ?

Гуля внезапно ложится лицомъ въ раскинувшагося на столѣ кота.

— Да зачѣмъ ему?

— Охъ, развѣ все зачѣмъ-нибудь дѣлается? Отъ скуки.

Тутъ начинается разговоръ о другомъ: о томъ, какъ

передѣлать прошлогоднюю шляпу, о Надкѣ, о спившемся Гулиномъ любовникѣ, объ одномъ вѣрномъ средствѣ... Смеркается; идетъ дождь; изъ-подъ Гулиной крыши въ маленькое окно виденъ перекрестокъ двухъ сине-лиловыхъ улицъ, трамвай бросаетъ малиновую звѣзду въ черній воздухъ, и такъ мокръ асфальтъ, что не знаешь, гдѣ верхъ, гдѣ низъ.

Проходили дни, словно кто-то сдавалъ ихъ, какъ карты, тѣ самыя, на которыхъ гадала когда-то Элла Мартыновна, въ которыя теперь иногда играли Таня съ Гулей, когда не о чемъ больше было говорить. Вторникъ, среда, опять недѣля прошла, и другая; опять какой-то четвергъ, и уже суббота. Опять малиновая звѣзда трамвая гаснетъ вдаль, когда Таня выходитъ изъ дому, и «это уже было когда-то» хочется воскликнуть, когда она приходитъ къ себѣ, зажигаетъ свѣтъ и ждетъ Бологовскаго. Съ нимъ скучно, но одной еще скучнѣй. «Моя Тасенька, — говоритъ онъ иногда, — моя, моя. Это Богъ мнѣ тебя послалъ. Ну скажи, развѣ не случай, родненькая, что ты тогда къ намъ въ ресторанъ завернула? Ахъ, и любишь же ты хорошо покушать! Послѣднія деньги, да еще вышиваньемъ сколоченныя, можешь на индюшку выбросить. Подожди, золотая моя, я тебѣ въ этомъ мѣсяцѣ непременно икорку доставлю, настоящую, зернистую, черную».

Она сладко жмурится. Онъ цѣлуетъ ее и идетъ за ширмы раздѣваться. Начинаются рассказы о томъ, кто что заказывалъ сегодня и сколько оставилъ. Она слушаетъ, слушаетъ и засыпаетъ, неумытая. Онъ боится разбудить ее, осторожно ложится рядомъ. Въ комнатѣ накурено, душно, пахнетъ ею, женщиной, его женщиной. У него есть женщина. Какъ это чудно и какъ страшно. Надо написать дочери, что онъ собирается жениться. Онъ скрылъ отъ Тани, что у дочери есть сынъ, что у него внукъ. Ему четыре года. Вотъ она удивится! Какъ-то имъ тамъ? Впрочемъ, не все ли равно? Главное — она. Не разбудить бы...

Онъ медленно (но хрустнули шейные позвонки) по-

вернулся къ ней и вдругъ увидѣлъ блескъ въ ея лицѣ, тотъ самый блескъ, что отражался въ краѣ умывальника, въ замкѣ шкафа: это былъ отблескъ свѣта, должно быть падавшего изъ окна. Глаза ея были открыты, она смотрѣла мимо него. «Тасенька», — пробормоталъ онъ, пугаясь неизвѣстно чего. Она не отвѣчала, и отъ этого ему стало еще страшнѣе. Онъ крѣпко обнялъ ее за плечо — оно было теплое, живое. «Что съ тобой?»

— Безъ. Сонъ. Ницца, — съ разстановкой процѣдила она такъ жестко, словно кто-то сказалъ это вмѣсто нея.

Онъ затихъ и весь обратился въ слухъ. Она дышетъ. Не скажетъ ли она еще что-нибудь? Не двинется ли къ нему?

— Ты когда-нибудь думалъ о томъ, что такое моя жизнь? — спросила она и положила обѣ руки себѣ на грудь. — Ты когда-нибудь думалъ, зачѣмъ все это?

Онъ почувствовалъ внутреннюю дрожь, ноющую боль между горломъ и сердцемъ и мгновенную, отъ волненія, глухоту — черезъ нѣсколько секундъ онъ уже опять слышалъ ея голосъ.

— ...невыносимо. Понимаешь, невыносимо. Надо было тогда, вмѣсто омара съ майонезомъ, револьверъ купить. Ты видѣлъ тамъ у меня халатъ съ кистями виситъ? Ты даже не спросилъ, думаешь: мужа. Какъ скучно! Отпусти ты меня, Христа ради.

Онъ присѣлъ, и въ темнотѣ она увидѣла, какъ онъ потрогалъ для чего-то руками свой длинный черепъ, и опять стали неподвижны его узкія, покатыя плечи.

— Я тебя не держу... Постой, нѣтъ я держу, я самъ держусь. Ты мое послѣднее. Вонъ у меня уже внукъ есть, Володя, Лидочкинъ сынъ. Куда же мнѣ... Тасенька? Что мнѣ сдѣлать для тебя? Чего тебѣ хочется? Можетъ быть, тебѣ ребеночка хочется? Знаешь, у каждой женщины...

Она поднялась тяжелымъ тѣломъ и тоже сѣла на постели, съ нимъ рядомъ. Съ минуту она не могла произне-

сти ни одного слова. Потомъ повалилась и, рыдая и всхли-
пывая, сказала:

— Я — о себѣ, а ты о чемъ! Все дѣлаю, чтобы не было,
а ты спрашиваешь. О, Господи, такъ не понимать! Да меня
Гуля засмѣеть.

Ея слезы, и эта темнота и духота, и блики, переползаю-
щія, какъ свѣтляки, съ одного предмета на другой, но
главное — ея слезы, мутили въ немъ все, что еще было
яснаго. Онъ зажегъ свѣтъ.

— Чего тебѣ? Ну чего? Тасенька...

Но она отъ слезъ потеряла нить мыслей, сама уже не
помнила, съ чего и зачѣмъ начался этотъ разговоръ, эти
рыданья. Не объ этомъ ли мечтала она всѣ эти годы: ря-
домъ съ ней былъ тотъ, кто готовъ былъ любить ее и за-
ботиться о ней всю жизнь. И она весь день безнаказанно
можетъ шляться, перешивать старья платья, шлепать кар-
тами. Но отвращеніе и къ себѣ, и къ нему ломало ей душу.
Она не знала, что такое жизнь, но чувствовала, что не это,
не это. И годы ушли, и теперь, съ этими тугими мысля-
ми, съ этой скукой въ сердцѣ, съ этой немолодой грудью
и злымъ лицомъ — куда ей? Кто возьметъ, кто укажетъ,
что дѣлать? Не можетъ быть, чтобы въ мірѣ такъ все бы-
ло, такъ убого, такъ горько...

— Не отпущу. Люблю тебя, буду держать тебя. За тебя
держаться, — это онъ повторялъ, и горѣла въ потолокъ
лампочка, и такъ покаты были его плечи, и сквозила въ
прорѣзи рубашки твердая, сѣдая грудь.

— Потуши свѣтъ, — сказала она тихо. — Пора спать.

Она и вправду скоро заснула.

Ночь была длинная и текла, какъ безшумная рѣка, ко-
торой, кажется, не будетъ конца, и которой никогда не
было начала. И въ первый разъ за эти мѣсяцы жизни съ
Таней, Бологовскій съ тревогой и грустью припомнилъ
свою прежнюю жизнь, и вдругъ усомнился въ томъ, что
она могла привести его къ счастью. Онъ зналъ, что у не-
го тамъ, въ этихъ воспоминаніяхъ, все приблизительно въ

такомъ же порядкѣ, какъ и у всѣхъ: чистота дѣтства и ошибки молодости, грузъ судьбы, связанной съ отечествомъ, потеря крова, семьи, смерть жены, замужество дочери. Лакейская служба десять лѣтъ. Двѣ, нѣтъ три, женщины за эти годы: одна немолодая родственница; подруга покойной жены, на которой его хотѣли женить; на бульварѣ встрѣченная француженка, подъ новый годъ — который? Тридцать второй? Тридцать четвертый?

Онъ тогда пилъ... Это былъ невеселый періодъ его жизни, впрочемъ тоже, какъ бываетъ у всѣхъ. Игралъ на скачкахъ, пилъ. Дочь прислала ему на билетъ, онъ и билетъ пропилъ. Потомъ прошло, и наступила усталость, отъ которой онъ иногда ночью не могъ заснуть, ломило спину и плечи. Особенно — это вихлянье съ тарелками. Но ему многіе завидовали.

И вотъ она появилась. Положительно, онъ не могъ теперь припомнить тотъ непохожій на другіе вечеръ; она сидѣла за столикомъ и мѣшала кофе, потомъ они сидѣли другъ противъ друга и былъ какой-то бумажный тюльпанъ, тоже напоминавшій дѣтство. Потомъ у нея подъ лѣвой грудью оказалась бѣлая горошина, — слѣдъ дѣтскаго нарыва — и двѣ крѣпкія, нѣжныя жилы подъ колѣномъ, мягкимъ и сильнымъ. Такъ вотъ оно что! Вотъ, значить, зачѣмъ были всѣ эти годы. И тѣ, и эти. Все исполнилось. Все вернулось. И, можетъ быть, даже больше обѣщаннаго.

Съ тревогой и грустью. О чемъ? Она лежала рядомъ. ей снились сны, а онъ съ тревогой и грустью вспоминалъ — вспоминалъ свою жизнь безъ нея, и когда перебрасывалъ въ мысляхъ мостъ черезъ эту ночь, льющуюся, какъ рѣка, изъ прошлаго въ будущее, то никакъ не могъ видѣть Таню рядомъ съ собой, а опять видѣлъ лишь себя одного, совсѣмъ одного, еще больше одного, чѣмъ прежде. Почему? Вѣроятно потому, что у него не было воображенія.

Утро, и опять утро, и еще новое утро, а вчерашняго уже нѣтъ, и, можетъ быть, его не было вовсе. Можетъ

быть, это все одно и то же утро, которе повторяется эхъ, разъ, еще разъ, еще много, много разъ. Это поетъ Таня: на спиртовкѣ подрагиваетъ облупленный голубой кофейникъ, въ раскрытое окно слышно, какъ по весеннему кричать воробьи. Одна мысль, объ одномъ и томъ же, перехватываетъ у Тани дыханіе. Одна единственная мысль.

Когда Бологовскій перебрался къ ней съ двумя старыми корзинами, она едва заглянула въ его вещи, брезгуя этой ветошью, всѣми его реликвіями, старой одеждой и даже засаленнымъ томомъ Куприна. Но что-то мелькнуло въ тряпкѣ тогда, очень нужное (уже въ то время!) и она рѣшила провѣрить, то ли это.

«Ну миѣ, кажется, пора», — опять, какъ часы, которые бьютъ, сказалъ онъ, и какъ только стихли его шаги, она раскрыла первую корзину, но въ ней кромѣ старыхъ крахмальныхъ, очень нечистыхъ воротникововъ, не было ничего. Зато вторая была почти полна. Таня сѣла на стулъ, повязавшись поверхъ капота платкомъ, и нырнула подъ крышку головой и руками.

Чего тамъ не было! Старыя подтяжки и дюжины двѣ ножей для безопасной бритвы — ржавыхъ и черныхъ; пустыя гильзы отъ патроновъ, масляная лампа, безъ стекла, карандаши, тряпки, куча яркихъ носковъ съ дырами, въ которыя проходилъ кулакъ; обгорѣлыя церковныя свѣчи, георгіевская лента — совсѣмъ новельская, метра полтора; въ шелковую бумажку завернутый футляръ съ офицерскимъ крестомъ, какая-то истлѣвшая на сгибахъ, великолѣпной толщины бумага съ печатями; разсыпанныя между носками письма. И въ углу — то самое, что ей казалось, она уже видѣла (она теперь вспомнила, какъ онъ сказалъ тогда: «Не мой, не мой, но стрѣляетъ отлично»), обернутый въ кусокъ бухарской цѣпкой шелковой шали (по малиновому полю голубые и желтые «глаза») — лежалъ небольшой, тяжелый, дуломъ въ уголъ корзины, давно обрусѣвшій браунингъ.

Такъ съ шалью она его и взяла, но шаль была такъ яр-

ка, что все вмѣстѣ завернула она въ газету — вчерашнюю, уже проглоченную — и когда совала пакетъ подъ бѣлье, думала, что вотъ начинается уже смахивать на одну изъ тѣхъ, о которыхъ вчера читала, чей портретъ...

У нея былъ планъ. Какъ у полководца, у путешественника и преступника, у нея былъ свой собственный планъ. Въ послѣдніе дни, когда она оставалась одна, она его выдумала, и не только мозгъ, но все нутро ея участвовало въ этомъ. Чѣмъ больше она думала, тѣмъ сильнѣе ей хотѣлось пить, и она то и дѣло подходила къ умывальнику и пила изъ крана. Теперь два дѣла надо было сдѣлать предварительно: написать письмо, всего одно письмо и все равно кому, хотя бы Бѣловой — она аккуратная и навѣрное сохранить его; пойти въ послѣдній разъ къ Гулѣ и сказать: у меня предчувствіе, я боюсь...

Нѣтъ, было еще третье: пожалуй — главное: предупредить отельную хозяйку, то-есть заронить въ ней безпокойство. «Ахъ, господинъ слѣдователь, я тогда же подумала: онъ убьетъ эту женщину, этотъ звѣрь. Она такъ кротко смотрѣла на меня, когда говорила: да, мы непременно завтра вечеромъ пойдемъ смотрѣть эту интересную картину (кинематографъ у насъ напротивъ, господинъ слѣдователь, мы ходимъ туда разъ въ недѣлю и всѣ жильцы наши ходятъ), мы непременно пойдемъ, сказала эта бѣдная русская дама, если только будемъ живы».

Но зачѣмъ, для чего ей надо быть живой? Для чего жила Лилька, сестра, засохшая въ своей экспортной конторѣ, отецъ, разложившійся въ параличъ? Да и существовала ли вообще когда-нибудь въ мірѣ та страна, гдѣ она выходила замужъ, гдѣ жила съ Алексѣемъ Ивановичемъ, измѣняла ему? Ничего въ тѣ годы не произошло такого, о чемъ стоило бы пожалѣть, что стоило бы любить, всегда ей казалось, что могло быть лучше, что будетъ лучше, что у другихъ — богаче, веселѣй, полнѣе, то, что называется счастьемъ. И раньше, въ дѣтствѣ, въ другой

странѣ, о которой она давно забыла. Не совѣмъ невинныя хитрости, мучительное тщеславіе, съ девяти лѣтъ — нечистые сны. Не стоитъ и думать. Подъ землю, подъ землю! Убраться бы поскорѣе, отомстивъ все равно кому, за всю жизнь сразу, отомстивъ Бологовскому, потому что другіе всѣ ушли, разбѣжались, попрятались, мерзавцы.

Денегъ оставлялъ онъ ей мало, не потому, что былъ скупъ, но потому, что у него ихъ не было. Когда онъ жилъ одинъ, у него водились деньги, ему хватало, и даже иногда оставалась сотня-другая, которую онъ посылалъ дочери. Теперь ему бывало трудно, и все-таки, возвращаясь домой въ метро, въ спертomъ воздухѣ, окруженный плотностью чужихъ тѣлъ и запахомъ людскаго дыханія, онъ думалъ, что есть у него что-то общее съ той потной парочкой въ углу, которая млѣветъ, обнявшись. Проѣзжали темныя, душныя станціи. Иногда онъ успѣвалъ замѣтить, какъ, не обращая никакого вниманія на проходящіе вагоны, сидѣла на скамейкѣ сгорбленная, сѣдая, нищая старуха съ клюкой и мѣшкомъ, дремалъ старикъ въ сапогахъ, подвязанныхъ веревками, жевалъ хлѣбъ безрукій рабочій. И странныя мысли шли тогда въ голову Бологовскому: страхъ какого-то конца, можетъ быть, старости, а настоящее стояло передъ нимъ, какъ тяжесть, которую сдвинуть онъ не могъ.

Все настойчивѣе, все упорнѣе, самъ не сознавая того, онъ любви своей ждалъ помощи. Онъ не могъ бы сказать, чего именно онъ требуетъ отъ этой женщины, вѣроятно, если бы его спросили, онъ бы отвѣтилъ, что ему всего довольно, но не называя словами, сердцемъ, онъ ждалъ тепла, еще тепла, ласковаго слова, понимающаго движенія въ его сторону, и можетъ быть даже... вышиванія крестомъ, которымъ, какъ онъ думалъ, она до него существовала. Какого-нибудь облегченія всей его тяжелой радости, такъ похожей, въ сущности, на безпрестанную муку, съ которой онъ, какъ накипь, снималъ и снималъ пѣну дрожащаго сво-

его блаженства — поцѣлуями, словами, глухимъ своимъ смѣхомъ.

«Можетъ быть, думалъ онъ (и эти мысли начинались обыкновенно тогда, когда онъ подходилъ къ дому), у нея послѣ мужа былъ кто-нибудь. Вѣдь прошло лѣтъ шесть или пять, какъ онъ умеръ. Въ прежнее время я не смѣлъ бы подумать такого, но сейчасъ все такъ измѣнилось, она жила одна, ей было трудно. Ну и пусть, что мнѣ за дѣло. А если она и теперь обманываетъ меня? Нѣтъ, это невозможно».

Самъ по себѣ онъ не былъ ни ревнивъ, ни подозрителенъ, ему необходима была ежедневная пища, чтобы терзаться или обнадеживаться. Но именно пищи то и не было. И каждый разъ, какъ онъ брался за входную дверь, на этомъ самомъ порогѣ сомнѣніе въ томъ, что тамъ, за нимъ, попрежнему все цѣло, спирало ему сердце; онъ боялся догадаться, что тамъ все остыло, что тамъ вообще нѣтъ ничего. И тогда онъ подъ звонъ брошенной двери бросался наверхъ, худыми, не совсѣмъ прямыми ногами перебирая ступени, что бы только убѣдиться, что Таня все существуетъ.

Она сидѣла посреди комнаты на стулѣ совершенно раздѣтая и ждала, когда высохнуть десять красныхъ ногтей на рукахъ и десять на ногахъ, только что покрашенные лакомъ. Она была очень бѣлая, и большой, круглый животъ и бедра ея мѣняли очертанія въ зависимости отъ того, какъ она сидѣла. Растительности на тѣлѣ ея почти не было — ея безбровость была тому порукой. Выставивъ передъ собой ноги и развѣсивъ руки, она ждала, и въ лицѣ ея было то выраженіе, котораго она сама никогда не видѣла, но которое видѣли въ ней другіе — тупое и старое.

— Здѣсь кто-то былъ, — сказалъ онъ, почувствовавъ въ воздухѣ чье-то присутствіе. Пепельница была полна окурковъ.

— Гуля была, — отвѣчала она, не двигаясь.

— Съ чего это?

— Безпокоилась, вотъ и зашла.

Онъ сталъ раздѣваться.

— Съ чего же она безпокоилась?

— Обо мнѣ безпокоилась. О жизни моей съ тобой.

Онъ снялъ пальто, шляпу, пиджакъ, выдернулъ деревянные отъ усталости ноги изъ башмаковъ и, сѣвъ за столъ, сталъ смотрѣть на нее, неподвижную и голую, слегка сползшую вправо со стула, на ея тяжелую грудь, на двадцать яркихъ, какъ редиска, ногтей.

«Такъ это ты? Та самая ты? — осторожно спросилъ онъ себя. — Господи, но кто же ты? Почему ты такая голая? Ахъ, закройся, ради Бога, закройся, прошу тебя!» — это онъ говорилъ самъ съ собой, про себя, и въ то же время чувствовалъ, что теряетъ даръ рѣчи, словно голосъ и языкъ отнимаются у него. Молчать. Надо молчать. Ротъ его внезапно сложился совсѣмъ по особенному, словно его прорѣзали бритвой и сейчасъ же зажали, и далеко вытянувъ по столу свои волосатые руки, Бологовскій сталъ ждать, когда же встанетъ эта женщина и закроетъ свою наготу.

Она, наконецъ, встала, нашла шлепанцы и стала одѣваться въ двухъ шагахъ отъ него, и ему не было странно, что она такъ близка, такъ доступна, а ему не хочется и смотрѣть на нее.

— Гуля безпокоится обо мнѣ и Бѣлова тоже, и даже хозяйка внизу каждый разъ, какъ видитъ меня, говоритъ: «дѣе мерси»; я по лицу ихъ вижу, что если я сдохну отъ грибовъ или тухлой рыбы, онѣ тебя заподозрятъ въ моемъ отравленіи, — она хохотнула, затягивая несвѣжій лилово-розовый корсетъ. — Ну чего ты молчишь? Вотъ умру, тогда будешь знать... Заговоришь. Охъ, надоѣло мнѣ все, надоѣло... Все — дырявое... — и она застегнула лифчикъ англійской булавкой, — и волосы висятъ, а пудры на доннышкѣ осталось... Да заговори ты! — и она въ одномъ чулкѣ застыла, со злобой глядя на Бологовскаго, — если

ужь живешь со мной, такъ говори, а не молчи... Зачѣмъ живешь-то? Зачѣмъ вообще живешь? Со мной зачѣмъ? Да ты слышишь или нѣтъ, что я спрашиваю? — плача закричала она.

Онъ пошевелилъ пальцами, но не произнесъ ничего, только по лицу его прошло какое-то движеніе и глаза стали еще болѣе металлическими.

— И съ такимъ человѣкомъ я думала какъ-нибудь... какъ-нибудь... — бормотала она, хватая себя за волосы обѣими руками въ тоскѣ. — Да ты понимаешь, что у меня кромѣ злобы ничего къ тебѣ нѣтъ? Ничего! Зачѣмъ ты три мѣсяца меня кормишь? Зачѣмъ со мной спишь? Да вотъ я сейчасъ застрѣлюсь, такъ тебя полиція схватитъ; а еще передъ этимъ самымъ я въ звонокъ позвоню... закричу...

Она вскочила, но онъ вскочилъ тоже и перегородилъ ей дорогу.

Куда она бросилась? Не къ нему. Не къ звонку, который былъ у изголовья кровати. Къ шкафу. Но онъ все не могъ преодолѣть своей нѣмоты, не могъ произнести ни единого слова, да и какія были у него слова? Ласки? Брани? Она остановилась у дверцы, полуодѣтая, съ чулкомъ въ рукѣ, и пока онъ послѣшно совалъ свои ноги въ брошенные подъ столъ башмаки, пока натягивалъ пиджакъ и пальто — все молча — она продолжала стоять у шкафа, не имѣя, казалось, силъ исполнить то, что хотѣла. Лицо ея теперь было страшно; еще четыре, три... двѣ секунды; нѣтъ, она уже не сдѣлаетъ того, что казалось ей такимъ простымъ и легкимъ. Одна секунда. Не развертывая бухарской шали, только добраться до звонка; сквозь шаль — въ животъ, въ мой теплый, мягкій животъ, трезвоня и крича на весь домъ. (А онъ въ это время уже бѣжитъ по лѣстницѣ). Что случилось? «Она застрѣлилась, говоритъ онъ бѣгущимъ навстрѣчу, — смотрите, она еще держитъ револьверъ въ рукѣ». «Ничего подобнаго, вы арестованы, — отвѣчаютъ ему. — Если бы она стрѣлялась сама, она бы не

звонила, не кричала бы о помощи, она бы не твердила всѣмъ и каждому всю эту послѣднюю недѣлю, что васъ боится. Вы убили ее». «Но я выбѣжалъ на лѣстницу до выстрѣла, спросите сосѣдей...» И вотъ кто-нибудь скажетъ (подъ присягой!), что сперва былъ выстрѣлъ, а потомъ — шаги на площадкѣ; а другой кто-нибудь (подъ присягой тоже!), что сперва были шаги, а потомъ выстрѣлъ...

Онъ былъ уже далеко, то-есть былъ уже на улицѣ, а она не двигалась все стояла у шкафа. И вмѣсто того, чтобы думать о томъ, что именно помѣшало ей исполнить то, что она хотѣла, она думала о постороннихъ вещахъ: который теперь можетъ быть часъ? Вотъ паутина виситъ съ потолка. А что это тамъ лежитъ такое? Какъ называется этотъ видъ душевной болѣзни? Манія. Какая-то манія. Лимфо... литоманія. Нѣтъ, что это я! Мифоманія, отъ слова мифъ. Я выдумала исторію, за которую, если бы написать ее, можно было бы получить деньги въ такой вотъ газетѣ. Я выдумала... Боже мой, а гдѣ же онъ-то? Боже мой, да вѣдь онъ бросилъ меня!

Шесть часовъ. У кассы горитъ лампочка подъ зеленымъ колпакомъ. Семь человекъ въ одинаковыхъ бѣлыхъ курткахъ безшумно накрываютъ столики. Изъ кухни и съ ледника съ тихимъ шелестомъ поднимаетъ подъемная машина закуску, вносятъ «тарть мэзонъ», облитый сливками. Кто-то перетираетъ стаканы — ножками вверхъ несетъ ихъ... И Бологовскій двигается туда и сюда, въ покоемъ на акваріумъ свѣтъ, перебирая тяжелыя мельхиоровыя вилки. Въ четверть восьмого начинаетъ вертѣться входная дверь, входятъ первые кліенты, за ними другіе. Сперва занимаютъ мѣста въ четырехъ углахъ зала, потомъ — въ серединѣ. Свѣтъ горитъ, голоса. Плынутъ горячія мисочки, тащутъ куда-то ведро со льдомъ, шашлыки проносятся на длинныхъ вертелахъ... Залъ наполняется. Восемь часовъ. Нѣтъ ни одного свободнаго мѣста. Фортиссимо въ невидимомъ оркестрѣ, и потомъ — постепенное стиханіе голосовъ, движенія, отливъ людей, тарелокъ и рюмокъ

(ножками внизъ); подбораніе салфетокъ, нагроможденіе стульевъ; одна лампа гаснетъ, другая, третья. Часы показываютъ десять, ровно десять. А на улицѣ лѣтняя ночь, майская ночь; Парижъ — тотъ самый. Не вѣрится какъ-то.

Онъ шелъ и думалъ, и мысли давались ему съ трудомъ. Чувство же было одно — отвращеніе къ ея наготѣ, къ ея слезамъ, и, возвращаясь памятью къ тремъ мѣсяцамъ жизни съ ней, все или почти все принимало этотъ оттѣнокъ — безстыдства, грубости и лжи, не за что было ухватиться, такъ все было скользко, такъ гадко, и самымъ невыносимымъ было сознаніе какого-то неизжитаго, напраснаго обмана передъ самимъ собой, — она была не она, и онъ былъ не онъ въ этомъ соединеніи.

Онъ шелъ по улицамъ, во мракѣ и влажности этого вечера, не замѣчая людей, шедшихъ мимо. На огни — онъ заходилъ, чтобы выпить, и душа — да-да вотъ и доказательство ея существованія! — душа его отъ спирта расправляла свои пыльные крылышки. Еще разокъ одинъ брякнуть деньгами по цинку, хлопнуть подъ языкъ, почувствовать къ плечамъ и ребрамъ бѣгущее тепло, то самое, котораго ему было такъ мало. А вотъ опять какой-то уголь, фонарь, аптека; стоитъ телѣга высокая, бѣлая, грязная, въ какой возять ледъ; стоитъ лошадь. Не путайте, пожалуйста — при чемъ тутъ артиллерія? Николаевского кавалерійскаго, славнаго училища... «Ишь ты», — говоритъ онъ, заламывая на затылокъ шляпу и обнимая смирную, каурюю лошадиную морду съ большимъ глазомъ, — «ишь ты!» И гладить, и треплетъ ее, и цѣлуетъ въ губу, и нюхаетъ воздухъ, дующій ему въ лицо изъ ея смирной ноздри. И она нюхаетъ его, и такъ они нюхаютъ другъ друга. «Ишь ты, узнала, вспомнила, — говоритъ Бологовскій, — не забыла». И щекой, щекой и всѣмъ лицомъ, онъ трется и обѣими руками гладить.

Возница, внесшій въ кафе ледяной брусь, возвращается, молча лѣзетъ на козлы, молча поднимаетъ кнутъ.

И лошадь уходит, равнодушно, покорно, оставляя Бологовскаго одного.

Таня стояла въ темнотѣ у самой двери, прижавшись къ стѣнѣ, когда онъ распахнулъ дверь и вошелъ; она сжимала обѣими руками и прижимала къ груди клубокъ бухарской шали (гдѣ и когда онъ видѣлъ эту шаль?).

— Тасенька, что ты? Будто испугать меня собралась, — сказалъ онъ и улыбнулся.

Она недовѣрчиво отодвинулась отъ него.

— Гдѣ ты былъ?

— Какъ гдѣ былъ? Работалъ. Лакействовалъ.

Отъ него пахло виномъ, шляпа была примята на бокъ.

— Скажи мнѣ, Тасенька...

Она крѣпко прижала къ груди клубокъ шали, онъ приближался къ ней, въ глазахъ его свѣтилась незнакомая ей глубина.

— Скажи, такъ ты меня не любишь? «Какъ-нибудь, какъ-нибудь»... думала... Ахъ ты! А я вотъ думалъ не «какъ-нибудь», а такъ, что даже и выговорить страшно.

Онъ вплотную всталъ къ ней, положилъ ей руки на плечи и грудью уперся ей въ грудь.

— И вотъ выходитъ зря. Скажи мнѣ, маленькая моя, который я?...

Она молчала. Револьверъ давилъ ей грудь, давилъ и ему, но онъ не замѣчалъ его.

— Скажи, который я у тебя, и я отстану. Будешь свободна, какъ была. Чортъ съ тобой, дурочка моя! Не вышло, не надо.

— Бросишь? — прошептала она испуганно, и постаралась поймать подъ шелкомъ гашетку. Онъ вдругъ отодвинулся и схватилъ дуло правой рукой.

— Это что-жъ такое? — спросилъ онъ, слегка трезвѣя, но она стала медленно падать назадъ, — нѣтъ ты сознанія-то не теряй, притворяйся ты умѣешь, я знаю. Я знаю, какъ... здорово... Такъ это что-жъ такое? — Она перестала падать, тяжело дыша прилегла къ стѣнѣ и лицо ея ста-

ло неподвижнымъ, бѣлымъ и мокрымъ. Онъ одной рукой держалъ ея кисти, въ другой вертѣлъ браунингъ, держа его за дуло, а шаль моталась, какъ флагъ. — Это что-жь? Это? Такое? — повторилъ онъ съ остановками и, выровнивъ револьверъ со стукомъ на коверъ, уже обѣими руками схватилъ ея руки; увязая пальцами въ ихъ мякоти, громко дыша, онъ пригнулъ ее и потащилъ отъ двери.

— Я закричу, — закричала она, ударившись головой о спинку кровати и слѣдя за тѣмъ, чтобы онъ опять не схватилъ оружiя.

— Убить. Меня? Хотѣла убить! — шепталъ онъ, пригнувъ ее еще ниже, волоча ее, таща, мотая такъ сильно, что она наконецъ, охнувъ, упала между кроватью и столомъ.

— Пусти, — завизжала она, и какъ большая рыба забилась, стараясь вырваться изъ-подъ него, чувствуя на себѣ его знакомое, тяжелое тѣло. Онъ давилъ ее колѣнями и грудью, сжимая, ломая ей руки: «За что же? Гадина, за что?» — бормоталъ онъ; все лицо его — такъ близко отъ ея лица — покрылось сѣтью вспухшихъ венъ, какъ сѣткой.

— Пошутила, пошутила, шутила... ила, — повторяла она бессмысленно, все пытаясь сбросить его съ себя, ударяясь затылкомъ обо что-то твердое. Онъ локтемъ повернулъ къ себѣ ея лицо, еще сильнѣе придавилъ грудью и лѣвой рукой ея руки и взялъ ее правой за бѣлое, бархатное горло, которое было такъ похоже на ощупь на то самое мѣсто подъ колѣномъ, которое онъ иногда сжималъ, надъ икрой, гдѣ двѣ упругiя жилы, и нѣжная кожа, и крѣпость, и слабость.

— А-а-а, — завыла она, выкатывая наружу два страшныхъ, безъ блеска свѣтлыхъ глаза, — а-а-а, — но этотъ второй звукъ былъ уже не вой, а хрипъ.

Да, тѣ же двѣ твердыя, сильныя жилы, — трезво понималъ онъ, — что-то круглое посерединѣ, и вокругъ все-

го — дрожащее сало, въ которомъ вязнуть его волосатые пальцы. Онъ долго сжималъ его, пока оно перестало пружинить. Не жива больше? Можетъ быть, еще жива? Онъ сдернулъ съ кровати подушку, бросилъ ей на лицо, другую на грудь, и опять легъ, придавливая, не вѣря, что она не оживетъ. Въ дверь громко грѣхнуло что-то. Подождите... Надо навѣрное постараться, чтобы не было щелей, потому что слишкомъ страшно будетъ, если она окажется живой — съ этими ногтями, съ этими словами, съ этими судорогами, съ прошлымъ, котораго онъ не зналъ, съ будущимъ... Но будущаго, слава Богу, нѣтъ.

Н. Берберова.

Воспоминаніе

«Очнусь ли я въ другой отчизнѣ,
Не въ этой сумрачной странѣ?»

А. Блокъ.

Небъяснимымъ и необыкновеннымъ событіямъ въ жизни Василя Николаевича предшествовала, какъ это ни странно, самая важная вещь, случившаяся съ нимъ за послѣдніе годы, именно счастливый бракъ съ дѣвушкой, въ которую онъ былъ очень влюбленъ и которая въ свою очередь тоже считала Василя Николаевича самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ на свѣтѣ и самымъ лучшимъ мужемъ, о какомъ только можно было мечтать. Ихъ семейное счастье находилось еще въ самомъ первоначальномъ періодѣ, они поминутно брали другъ друга за руку, почти не разлучались и глаза ихъ были туманны и невыразительны; то, что говорилось и дѣлалось вокругъ нихъ, едва до нихъ доходило и непрекращающееся состояніе этого очевидного для другихъ одурѣнія свидѣтельствовало о томъ, что то было самое настоящее счастье. Окружающіе относились къ нимъ либо съ раздраженіемъ — есть же все-таки границы, согласитесь, что... — либо съ завистью — и подумать, что и я въ свое время зналъ... нѣтъ, это все-таки лучше всего, что можетъ быть... — либо съ умиленіемъ и тихимъ востргомъ, какъ мать новобрачной, которой бѣлая фата дочери и обрядъ вѣнчанія жалобно и сладко напомнили такую же торжественную обстановку ея собственнаго брака и перваго ея романа — потому что всѣ остальные романы, будучи иногда даже болѣе пріятными, были все-таки — въ силу ихъ повтор-

ности — лишены разъ навсегда такого декоративнаго и церковно-хоровогаго сопровожденія. Въ тугомъ воротничкѣ на напряженной шеѣ, въ новомъ и неуютномъ костюмѣ Василій Николаевичъ дѣлалъ съ женой визиты, сопровождалъ ее къ портнихѣ, откуда она выходила черезъ часть и говорила сдавленнымъ голосомъ, — мой любимый, я заставила тебя ждать, — но Василію Николаевичу и ожиданіе было нипочемъ; онъ гулялъ по тротуару, немного ежась отъ холоднаго вѣтра и мечтая о томъ, что вотъ, она выйдетъ, они сядутъ въ автомобиль и поѣдутъ домой и тогда наконецъ онъ скажетъ ей, если сумѣетъ, какъ онъ ее любитъ и какъ вся жизнь, которая... Но съ разговорами все какъ-то не выходило и вообще было очевидно, что дѣло совсѣмъ не въ разговорахъ, а въ чемъ-то невыразимомъ и замѣчательномъ, для чего нѣтъ ни словъ, ни объясненій, — есть быть можетъ только музыка, — какъ однажды сказалъ, уже въ совершенномъ изступленіи, Василій Николаевичъ своей женѣ, которая съ нимъ согласилась, какъ она соглашалась со всѣмъ рѣшительно, что онъ говорилъ, никогда не вникая въ смыслъ этого и чувствуя, что это неважно.

Было пріятно еще и то обстоятельство, что матеріальная дѣла Василія Николаевича, въ послѣднее время приходившія было въ нѣкоторый упадокъ, вновь стали значительно лучше, благодаря неожиданнымъ заказамъ, — и небольшая фабрика, хозяиномъ которой онъ былъ, работала полнымъ ходомъ. Всѣмъ казалось, — и Василію Николаевичу такъ же, какъ другимъ, — что онъ, наконецъ, достигъ самаго полнаго счастья, о которомъ можетъ мечтать человѣкъ. Жизнь его была полна; онъ покупалъ женѣ цвѣты, которые она любила, и ему казалось, что эта черта въ ней тоже удивительна и замѣчательна и отличаетъ ее отъ другихъ, хотя опытъ долженъ былъ бы ему напомнить, что рѣшительно всѣ женщины любятъ цвѣты и это извѣстно уже нѣсколько тысячъ лѣтъ, но опытъ для него пересталъ существовать; она покупала ему галстуки,

которые онъ находилъ прекрасными, хотя галстуки были обыкновенные и даже скорѣе съ уклономъ къ непріятной яркости цвѣта, которой Василій Николаевичъ въ прежнія времена избѣгалъ. И наплывъ чувствъ, въ которомъ находились Василій Николаевичъ и его жена, былъ настолько силенъ, что со стороны, сквозь эту чувствительную поверхность, нельзя было — въ этомъ періодѣ — даже разсмотрѣть какъ слѣдуетъ молодоженовъ и представить себѣ, что они за люди, — такъ мутны и условны были ихъ очертанія. И хотя имъ обоимъ казалось, что это лучшее время ихъ жизни и что, стало быть, лучшія ихъ качества именно теперь проявлялись съ самой большой силой, это было вѣрно только въ одномъ и чрезвычайно ограниченномъ смыслѣ — въ той несомнѣнной и острой сладости ощущеній, которую они чувствовали, но которая зато лишила всѣ остальные стороны ихъ существованія какой бы то ни было содержательности. Жена Василія Николаевича, женщина южной, тяжелой и скоропортящейся красоты, была, казалось, создана для космическихъ переживаній, — и одно это должно было бы внушить ему нѣкоторыя опасенія, — но не внушило; напротивъ, ему самому стало казаться, что и онъ созданъ для этого. Все складывалось какъ нельзя лучше и удачнѣе; и родители его жены были милѣйшіе люди, вдобавокъ съ нѣкоторыми личными средствами; и квартира, которую они сняли, оказалась чрезвычайно подходящей во всѣхъ отношеніяхъ и недорогой, и мебель была прекрасная, и такъ уютны глубокіе диваны, и такъ выдержанъ солидный и вмѣстѣ съ тѣмъ современный стиль кабинета Василія Николаевича, и декоративно скромныя полки съ книгами, которыхъ онъ не читалъ; и пріятно было бережно внимательное отношеніе окружающихъ къ молодымъ, которые точно боялись какъ-нибудь задѣть или потревожить это безспорное счастье. И даже обычная мысль, неизмѣнная во всѣхъ обстоятельствахъ прежней жизни Василія Николаевича, — а что будетъ дальше? — теперь совершенно потеряла свой

тревожный характеръ и вообще почти исчезла, замѣнившись созерцаніемъ очень свѣтлыхъ, хотя, въ сущности, безсодержательныхъ перспективъ. Но если у Василя Николаевича было все-таки чему исчезать, то его жена, Надежда, не была обременена никакимъ душевнымъ прошлымъ, если не считать естественной жажды замужества. Все, что не касалось этого вопроса, имѣло для нея всегда лишь относительное и поверхностное значеніе. — Теперь, Надя, когда ты знаешь, что такое жизнь... — сказала ей какъ-то ея мать, — и когда ты меня поймешь... Она не ошиблась въ своихъ ожиданіяхъ, такъ какъ ея дочь имѣла о словѣ «жизнь» совершенно такое же представленіе, какъ она сама. Отецъ Надежды, — онъ былъ лѣтъ на двадцать старше своей жены, --- принадлежалъ къ числу стариковъ размякшихъ, какъ это замѣтилъ одинъ изъ пріятелей Василя Николаевича, человекъ въ общемъ неплохой, но съ неискоренимой привычкой къ уточненіямъ и формуламъ и который сказалъ Василю Николаевичу, что по его мнѣнію существуетъ два способа старѣть: -- одни, ты понимаешь, Вася, — говорилъ онъ, — къ старости точно твердѣютъ и ссыхаются, это все больше маленькіе, худые люди холерическаго, такъ сказать, характера; другіе-же, наоборотъ, распускаются, размягчаются, это, Вася, чаще всего сангвиники, которые въ свое время были очень не дураки выпить и большіе ходоки по женской части. Но и не соглашаясь вполнѣ съ этимъ сужденіемъ, теща Василя Николаевича слѣдовало отнести ко второй категоріи стариковъ. Его все умиляло, особенно счастье его дочери, онъ все обнимался и цѣловался съ молодыми, очередныя слезы появлялись на его глазахъ съ красными жилами и онъ говорилъ: вотъ, какъ хорошо, милые мои, вотъ такъ-то по-хорошему, вотъ и слава Богу. А въ Россіи что дѣлается, читали? Народъ въ церковь идетъ, сила просто. Поняли люди, одумались, — и онъ шумно сморкался и все никакъ не могъ оправиться отъ утѣшительной мысли о Россіи и отъ созерцанія счастья своей дочери. —

Ну, вотъ, милые, и хорошо, честное слово. И только однажды, въ силу какого-то случайнаго и мгновеннаго возврата мысли, когда дочь вышла изъ комнаты, онъ подмигнулъ Василю Николаевичу и сказалъ, — ну, какъ, молодецъ дѣвочка, Вася, а? — и Василій Николаевичъ, искалочно и напряженно улыбнувшись, вспомнилъ фразу о старикахъ холерическаго и сангвиническаго характеровъ. Но это было мелькомъ и всего одинъ разъ, все же остальное время старика не покидало умиленное состояніе.

Теща являлась чаще всего съ гастрономическими подарками — пирогами, кулебяками, пирожками, куличами, окороками, пасхами, колбасами, — кулинарія вообще была ея слабымъ мѣстомъ и въ этомъ она сходилась и съ мужемъ и съ дочерью и Василій Николаевичъ никогда столько не ѣлъ, какъ въ это время, но постепенно вошелъ во вкусъ этой удивительной жизни, состоящей изъ обѣдовъ, обѣдѣ и сна и вообще всего этого рубенсовскаго великолѣпія, не заключающаго въ себѣ, однако, въ противоположность вдохновенію великаго художника, ни одной отвлеченной мысли. Такъ проходили недѣли и мѣсяцы неувыдаемаго, казалось бы, счастья. Казалось, ничто, кромѣ внѣшней катастрофы, не могло бы его нарушить, но не было ни внѣшнихъ катастрофъ ни даже какой бы то ни было ихъ опасности. И нужно было рѣдчайшее и невѣроятное соединеніе давно потерявшихъ силу и исчезнувшихъ вещей, для того, чтобы судьба Василя Николаевича опредѣлилась и стала совершенно непохожа на ту, какой должна была бы быть.

Это началось съ того, что однажды утромъ Василій Николаевичъ проснулся съ сильными болями во всемъ тѣлѣ — болѣли мускулы плечъ, рукъ, ногъ и спины. Онъ помнилъ, что видѣлъ сонъ, но восстановить его не могъ, какъ ни старался. Боли, которыя прошли черезъ два часа, были приписаны простудѣ и въ теченіе нѣсколькихъ дней не повторялись. Смутный сонъ Василя Николаевича однако, не исчезъ. Ему никакъ не удавалось его вспом-

нить, но то, что сонъ былъ, онъ зналъ твердо, и даже зналъ, что какимъ-то страннымъ образомъ сонъ былъ связанъ съ этой непонятной и быстро прекратившейся болѣзью. Черезъ два дня боли опять появились. На этотъ разъ онъ запомнилъ изъ сна очень синее небо и солнце и больше ничего; въ дальнѣйшемъ исчезло и это, но теперь уже регулярно черезъ день стала повторяться эта необъяснимая усталость. Жена Василія Николаевича слышала, какъ онъ стоналъ и крихтѣлъ во снѣ. По настоянію Надежды Василій Николаевичъ обратился къ доктору по внутреннимъ болѣзнямъ, который констатировалъ незначительное нарушеніе обмѣна веществъ. И хотя гипотеза о нарушеніи обмѣна никакъ не могла объяснить состояніе Василія Николаевича, — о которомъ докторъ могъ судить съ еще меньшей достовѣрностью, чѣмъ самъ больной, — доктору былъ уплаченъ гонораръ и въ теченіе нѣсколькихъ дней соблюдалась діета, рѣшительно ничего не измѣнившая. Въ дальнѣйшемъ Василій Николаевичъ врача не звалъ и вообще не обращалъ вниманія на утреннія боли, которыя къ тому же каждый разъ быстро проходили. Но первый свой сонъ онъ никакъ не могъ ни вспомнить, ни забыть. Былъ май мѣсяцъ, солнце свѣтило по лѣтнему и жена сказала Василію Николаевичу, что онъ за нѣсколько дней загорѣлъ и похвалила кожу его лица. Василій Николаевичъ, оставшись одинъ, посмотрѣлъ въ зеркало — былъ свѣтлый день, солнце освѣщало квартиру, шевелились отъ легкаго вѣтра занавѣски окна, — и вдругъ ему показалось, что оттуда, изъ страшной стеклянной глубины на него глядятъ чьи-то чужіе, пристальные глаза на темномъ и знакомомъ и незнакомомъ лицѣ. Онъ невольно оглянулся по сторонамъ, — кругомъ было пусто, съ улицы пожилой пѣвецъ грузнаго сложенія пѣлъ глубокоимъ басомъ:

— Je me sens dans tes bras si petite...

И только тогда Василій Николаевичъ понялъ, что въ его

жизнь вошло нѣчто новое и что съ этимъ нельзя не считаться.

Счастье продолжалось попрежнему, но уже не стало той бездумности, которая была для него характерна и появились кое-какія сомнѣнія; они къ нему не относились и его, въ сущности, не задѣвали, это было о другомъ; но еще совсѣмъ недавно ничему «другому» не было доступна въ эту такую по своему законченную, такую совершенную жизнь. Мучительно было то, что Василій Николаевичъ не понималъ своего состоянія и не могъ найти даже отдаленнѣйшаго его объясненія. Такъ, счастье его, какъ бы переключенное теперь на перемѣнный токъ, продолжалось до того дня, когда онъ испыталъ сильнѣйшее потрясеніе, еще болѣе сильное, чѣмъ то, когда онъ увидѣлъ въ зеркалѣ далекіе и темные глаза. Это произошло за обѣденнымъ столомъ.

— Я сегодня сама приготовила, Васенька, — обстоятельно сказала жена, — сама, Васенька, приготовила по маминому рецепту можешь себѣ представить что? никогда не угадаешь — фасоль. Дѣлается она такъ: берется фасоль... впрочемъ ты не поймешь. Но вотъ ты попробуй.

— Мнѣ не надо пробовать, дорогая, — сказала Василій Николаевичъ, — чтобы знать, что это прелестно, какъ все, что ты дѣлаешь.

— Нѣтъ, я не хочу такого одобренія заранѣе. Я хочу, чтобы ты оцѣнилъ.

Но когда она приподняла крышку блюда, на которомъ была фасоль, приготовленная по рецепту ея матери, и горячій ея запахъ распространился въ столовой, она подняла глаза на Василія Николаевича — и замерла. Онъ поблѣднѣлъ, лицо его измѣнилось до неузнаваемости, чужой его взглядъ былъ неподвижно устремленъ прямо передъ собой. Въ эту секунду, въ яркомъ свѣтѣ весенняго дня, вдыхая давно знакомый запахъ, онъ вдругъ явственно увидѣлъ весь свой сонъ, котораго не могъ вспомнить.

Онъ увидѣлъ очень синее небо, горячее солнце, темныя тѣла вокругъ себя, почувствовалъ запахъ вареныхъ бобовъ и запахъ пота и увидѣлъ себя самого: почти обнаженный, съ ободранной кожей на плечахъ, темный, какъ всѣ остальные, онъ сидѣлъ на тепломъ, красноватомъ пескѣ и пальцами ѣлъ бобы. Издалека доходилъ гнилой и влажный запахъ воды, всплески и чей-то монотонный крикъ. Сразу заныли плечи, потомъ заговорило нѣсколько голосовъ, еще разъ сверкнуло дрогнувшее в небѣ солнце и потомъ все стало мѣрно шумѣть и растворяться въ неизвѣстно какъ надвинувшейся тьмѣ, въ которой слышались неторопливые, удаляющіеся шаги. Потомъ они стихли и только тогда Василій Николаевичъ услышалъ голосъ своей жены, которая повторяла: Васенька, Христось съ тобой, Васенька, это я, Боже мой, Вася! — Я... иди... — невѣрнымъ голосомъ сказалъ Василій Николаевичъ и потомъ — онъ давно уже стоялъ, а не сидѣлъ за столомъ — тяжело упалъ на полъ — то ли во снѣ, то ли въ обморокъ. Черезъ полчаса онъ открылъ глаза и увидѣлъ Надежду, очень обрадовавшуюся. — Вотъ все изъ-за фасоли, я говорила мамѣ, — быстро сказала она, — я ей сколько разъ говорила, все у тебя новости кулинарныя, все новости, слава Богу и такъ блюдо достаточно, Вася любитъ мясо и шоколадъ, вотъ что Вася любитъ, а ты все новости и вотъ эта несчастная фасоль, я никогда больше, Васенька, ты можешь быть увѣренъ...

На слѣдующій день Василій Николаевичъ отправился къ психіатру. Это былъ плотный немолодой человекъ съ оттопыренными ушами и чрезвычайно обильной шевелюрой, начинавшейся чуть ли не сразу отъ бровей, отчего его лобъ казался узкимъ и это впечатлѣніе еще усиливалось тѣмъ, что черепъ его былъ нѣсколько сдавленъ кверху. За стеклами черепаховыхъ очковъ было невозможно разглядѣть выраженіе его глазъ. Едва только Василій Николаевичъ вошелъ въ его кабинетъ, какъ на столѣ затрещалъ телефонъ. — Permettez, — сказалъ докторъ,

но не съ вопросительной и извиняющейся, а съ утвердительной интонаціей, Чей-то быстрый голосъ, — Василій Николаевичъ слышалъ его измѣненный звукъ, такъ какъ телефонъ былъ совсѣмъ рядомъ, — что-то безостановочно говорилъ доктору. Потомъ наступила короткая пауза и докторъ увѣренно сказалъ въ трубку тономъ, предназначеннымъ для категорической оцѣнки какихъ-то третьихъ лицъ:

— Сволочи.

Быстрый голосъ опять заговорилъ, повидимому что-то подробно излагая, и кончилъ вопросительной, высокой интонаціей.

— Сволочи, — опять сказалъ докторъ. Потомъ прибавилъ: Продолжать, усиливая. Досвиданья.

И затѣмъ, обратившись къ Василю Николаевичу, сказалъ:

— Я васъ слушаю.

Василій Николаевичъ подробно разсказалъ все, что съ нимъ случилось за послѣднее время. Докторъ слушалъ, говоря въ нѣкоторыхъ мѣстахъ: да. Конечно. Несомнѣнно. Да. — Потомъ, глубоко вдвинувшись въ кресло, онъ спросилъ:

— А въ остальномъ, такъ сказать, въ отправленіи другихъ функций организма, у васъ все обстоитъ нормально?

— Насколько мнѣ кажется, докторъ...

— Какъ ваша фамилія?

— Кобылинъ.

— Нѣтъ ли у васъ дурной наследственности?

— Насколько я знаю, нѣтъ.

Докторъ поговорилъ еще нѣкоторое время, сказалъ, что необходимо приступить прежде всего къ анализу крови, затѣмъ вообще выяснитъ картину, представить себѣ, такъ сказать, какъ бы проэктію пораженія, или, если хотите, — Василій Николаевичъ напряженно и внимательно

но слушалъ, — какъ бы нѣкоторый снимокъ тѣхъ данныхъ, совокупность которыхъ опредѣляетъ характерность тѣхъ или иныхъ группъ или признаковъ, которые и даютъ возможность если не окончательнаго, то, во всякомъ случаѣ, имѣющаго извѣстный вѣсъ сужденія; и оно въ свою очередь должно послужить базой для дальнѣйшаго слѣдованія предварительнаго анализа, который... словомъ, докторъ былъ такъ же туманенъ и многословенъ въ своихъ медицинскихъ объясненіяхъ, какъ былъ ясенъ и лакониченъ въ телефонныхъ разговорахъ. И какъ ни мало Василій Николаевичъ былъ свѣдуецъ въ медицинѣ, онъ увидѣлъ, что доктору его состояніе представляется еще менѣе понятнымъ, чѣмъ ему самому. На анализъ крови Василій Николаевичъ не возлагалъ тоже никакихъ надеждъ и, дѣйствительно, послѣ этого анализа, не обнаружившаго рѣшительно ничего ненормальнаго, психіатръ произнесъ вторую длинную рѣчь, столь же безсодержательную, какъ и предыдущая, но въ отличіе отъ нея, уснащенную трудными терминами и даже нѣсколькими цитатами, бесполезность которыхъ была, однако, настолько очевидна, что это обезкуражило Василю Николаевича и неволью смутило самого доктора.

— Да... Ну, вотъ что, — сказала докторъ окончательно на этотъ разъ тономъ, такъ, точно теперь для него все стало совершенно ясно, — дѣло, въ сущности, просто въ нѣкоторомъ ослабленіи, такъ сказать, контролирующихъ центровъ. Никакихъ иныхъ тревожныхъ признаковъ нѣтъ. Вы спрашиваете о леченіи? — сказала онъ, хотя Василій Николаевичъ не спрашивалъ о леченіи. — Оно должно заключаться въ дисциплинированной жизни, въ томъ, чтобы избѣгать излишествъ. Мойтесь холодной водой, займитесь какой-нибудь работой—статистическими статьями, на примѣръ, экономическими вопросами, даже литературой.

Вернувшись домой послѣ второго визита къ психіатру, Василій Николаевичъ пообѣдать, вечеромъ пошелъ съ женой въ кинематографъ и вообще велъ себя такъ словно ничего не случилось. Прошло два дня, въ теченіе которыхъ ничто не беспокоило Василія Николаевича. Потомъ прошла недѣля безъ сновъ и кошмаровъ и еще черезъ нѣкоторое время онъ сталъ во всемъ похожъ на прежняго Василія Николаевича и забылъ о всякихъ душевныхъ заболѣваніяхъ. Въ домѣ его продолжалась та же счастливая жизнь: утромъ Надежда въ красномъ, расшитомъ и поминутно разлетающемся халатѣ приносила ему кофе въ кровать, онъ пилъ кофе и разговаривалъ съ ней о совершенно незначительныхъ, но милыхъ вещахъ, — она рассказывала ему что-нибудь вродѣ того, что у нихъ въ Россіи былъ садъ, а въ саду текъ ручей, а на берегахъ ручья росъ французскій салатъ, а въ ручьѣ водились форели и еще какія-то рыбы, кажется, вьюны, такіе тупоголовые и желтовато-прозрачные. Она рассказывала о лошадяхъ, о собакахъ, о ежахъ, которые такъ смѣшно и тяжело ходятъ по комнатамъ, о щенятахъ, о горничной Анютѣ, о кучерахъ, пастухахъ и охотникахъ и изъ ея рассказовъ можно было судить о томъ, какъ жили въ прежнее время ея родители, — праздно, шумно и бесполезно. Затѣмъ Василій Николаевичъ вставалъ, занимался своимъ туалетомъ и ѣхалъ къ себѣ на фабрику, гдѣ оставался около часу, разговаривая по телефону и бесѣдуя съ директоромъ, человекомъ отлично знавшимъ свое дѣло, но страдавшимъ хроническими припадками печени, отчего у него было желтое лицо и странное выраженіе глазъ, представлявшее собой смѣсь любезности и мученія. Тутъ же находилась секретарша Василія Николаевича, барышня двадцати двухъ лѣтъ, точно только что сошедшая со страницы журнала, приблизительно «*La vie parisienne*» — съ длиннѣйшими рѣсницами, чрезвычайно бѣлыми волосами съ такимъ себрюнымъ отливомъ, отъ котораго у Василія Николаевича когда-то давно, когда онъ не былъ еще женатъ, тре-

можно дрогнуло сердце, и которая говорила ему — *dites, monsieur* — голосомъ, въ которомъ была идеально уравновѣшена служебная дѣловитость съ возможностью личныхъ отношеній. Затѣмъ онъ сходилъ внизъ и кончалъ свой обходъ фабрики визитомъ въ экспедицію, надъ которой начальствовалъ бывший полковникъ различныхъ русскихъ армій, лихой мужчина высокаго роста, говорившій преимущественно неопредѣленными наклоненіями и всѣмъ своимъ рѣшительнымъ видомъ соответствующій какимъ-нибудь героическимъ представленіямъ — баррикадамъ, атакамъ, артиллерійскимъ дуэлямъ; но и здѣсь, въ совершенно мирной экспедиціонной работѣ онъ чувствовалъ себя неплохо. Съ Василиемъ Николаевичемъ онъ разговаривалъ любезно-снисходительно, какъ съ абсолютно-штатскимъ человѣкомъ.

Затѣмъ Василій Николаевичъ ѣхалъ завтракать и чаще всего заставлялъ либо тещу, либо тестя и тогда начинался разговоръ общаго порядка. Тесть предпочиталъ сюжеты религиозные, теща — свѣтскіе; но и въ томъ и въ другомъ случаѣ на Василю Николаевича глядѣли бархатные, влажные глаза Надежды, съ выраженіемъ, которое каждую минуту готово было измѣниться и стать такимъ иѣжнымъ, что можно было забыть и про завтракъ и про разговоръ и вообще про все на свѣтѣ. Послѣ завтрака Василій Николаевичъ шелъ въ кабинетъ, куда черезъ полчаса приходила жена и гдѣ они продолжали тотъ же, много мѣсяцевъ тому назадъ начатый и пріятно затянувшійся, почти безсловесный разговоръ. Жена садилась Василю Николаевичу на колѣни, заглядывала ему въ лицо, говорила междометіями и смѣшными домашними словами, которыя знали только она и онъ; обсуждался вопросъ, какъ поступить, если когда-нибудь будетъ ребенокъ и какъ быть, если это мальчикъ, и какъ быть, если это — дѣвочка, и какъ воспитывать, и было рѣшено, что предпочтительнѣе всего дѣтей отправить въ Англію; затѣмъ поднимался неразрѣшимый вопросъ, какъ, съ одной сто-

роны Василій Николаевичъ, съ другой стороны Надежда, могли столько лѣтъ жить, даже не зная о существованіи другъ друга и это казалось совершенно нелѣпымъ и дикимъ, — настолько было очевидно, что они созданы для неразрывнаго, совмѣстнаго счастья, — ну, прямо, Вася, до смѣшнаго. И Василій Николаевичъ даже не вспоминалъ, что разговоръ о томъ, кто для кого созданъ, происходилъ въ его жизни уже нѣсколько разъ и что изъ этого, стало быть; слѣдовало сдѣлать выводъ, что, либо онъ былъ созданъ неоднократно, либо, что онъ былъ созданъ для нѣсколькихъ различныхъ женщинъ. Но и въ этомъ случаѣ память и разумокъ отказывались служить Василію Николаевичу, какъ для этихъ воспоминаній, такъ и для этихъ выводовъ. И если бы Василій Николаевичъ въ этотъ періодъ своей жизни обрѣлъ возможность думать, сопоставлять, сравнивать и рассуждать, онъ былъ бы глубоко несчастенъ и безсознательное пониманіе этого удерживало его отъ размышленій; такъ было нужно и именно такъ это и происходило. Совершенно въ такой же степени ему были ненужны воспоминанія о недавнихъ кошмарахъ и онъ забылъ даже число и день своего послѣдняго визита къ психіатру. Главное было все то же, найденное, наконецъ, счастье, неопредѣлимое потому, что если бы его свести къ внѣшнимъ признакамъ, о которыхъ можно рассказать въ нѣсколькихъ словахъ, то убожество его казалось бы очевиднымъ и это не соответствовало бы истинѣ.

Былъ конецъ мая, деревья давно распустились. Въ прежнія времена, весной Василій Николаевичъ обычно себя плохо чувствовалъ: болѣла голова, было неприятное ощущение во рту, какъ-то тянуло и все хотѣлось чего-то неопредѣленнаго: то ли ухъать, то ли помолодѣть, то ли заснуть и не проснуться, то ли полюбить замѣчательную женщину въ дорожномъ полуспортивномъ костюмѣ, въ маленькой шляпѣ, блондинку средняго роста, повидимому англичанку, со сверкающими зубами, синими глазами необычно

венной величины и чуть-чуть холодноватыми губами. Въ этомъ же году весна была лишена какихъ бы то ни было смутныхъ чувствъ и желаній. Василій Николаевичъ уѣзжалъ съ женой на автомобиль за городъ, въ лѣсъ, гдѣ еще оставалась уходящая прохлада въ легкихъ сумеркахъ, и однажды, на обратномъ пути, пошелъ на ярмарку; заходилъ къ предсказательницамъ, смотрѣлъ на облѣзлыхъ дикихъ звѣрей, игралъ въ рулетку и кончилъ тѣмъ, что вошелъ въ циркъ. Ему, однако, неизвѣстно отчего, стало не по себѣ, когда подъ трескучую музыку бравурнаго циркового мотива вышелъ человѣкъ, который сразу не понравился ему своей упругой и быстрой походкой, что-то смутно ему напоминавшей. Человѣкъ этотъ былъ въ бѣлой рубашкѣ и бѣлыхъ штанахъ, вокругъ его талии шелъ широкій кожаный поясъ. На французскомъ языкѣ съ сильнымъ южнымъ акцентомъ онъ произнесъ нѣсколько словъ, въ которыхъ объяснилъ, что номеръ, который онъ будетъ имѣть честь показать уважаемой публикѣ — онъ твердо выговаривалъ «р» въ словѣ *hoppeur* — чрезвычайно труденъ, требуетъ многихъ лѣтъ практики и показывается впервые во Франціи. На противоположномъ концѣ барака установили большую доску съ грубо нарисованнымъ женскимъ силуэтомъ. Музыка стихла. Человѣкъ вынулъ изъ-за пояса короткій ножъ, поднялъ его, держа черенокъ большимъ и указательнымъ пальцемъ правой руки, размахнулся и съ силой пустилъ его въ доску; — и съ глухимъ, короткимъ звукомъ ножъ вонзился надъ головой изображенія. Василію Николаевичу стало очень неприятно, онъ испыталъ непонятное раздраженіе и увелъ свою жену въ ту минуту, когда человѣкъ въ бѣломъ метнулъ слѣдующій ножъ, почти пригвоздившій правое ухо нарисованной женщины къ доскѣ.

И вотъ, глухое и непостижимое безпокойство вновь вернулось къ Василію Николаевичу. Сновъ не было, болей не было, усталости не было, но было смутное раздраженіе и тревога, похожая на предчувствіе. Но Василій Ни-

колаевичъ напрасно искалъ вокругъ себя что-нибудь, что могло бы дать поводъ къ волненію; все было хорошо и безмятежно, все успокаивало его, точно всѣмъ своимъ существованіемъ хотѣло ему показать, что нѣтъ ни предчувствія, ни страха, ни тревоги, что все уже дано и заключено въ этомъ мірѣ — душевный отдыхъ, счастье, любовь, теплый воздухъ поздней весны, ночная, глубокая тишина улицы. А тревога не прекращалась. Ночью Василій Николаевичъ иногда просыпался, зажигалъ бра надъ кроватью и подолгу смотрѣлъ на жену, которую никогда не будилъ свѣтъ, смотрѣлъ на измѣнившееся ея лицо, черные, тугіе волосы, лежавшіе на подушкѣ, на сомкнувшіяся рѣсницы надъ закрытыми глазами. Затѣмъ онъ снова засыпалъ и слышалъ сквозь сонъ чей-то низкій голосъ, пѣвшій пѣснь, словъ которой онъ не могъ разобрать. И съ каждой ночью все ближе звучалъ знакомый мотивъ, все слышнѣе становились отдѣльныя слова романса, съ каждой ночью онъ точно все глубже и глубже погружался въ неизвѣстную и темную влагу, въ далекій ночной океанъ. Иногда ему казалось, что онъ слышитъ привычный звукъ моря и всхлипывающій шумъ волны отъ удара объ отвѣсный камень. Онъ прожилъ нѣсколько ночныхъ недѣлъ въ этомъ состояніи и съ каждымъ днемъ тревога становилась ближе и очевиднѣе — совершенно такъ, какъ если бы съ нимъ что-то неминуемо должно было случиться.

Въ тотъ день, когда это произошло, онъ вернулся домой поздно, послѣ шумнаго обѣда у знакомыхъ, со множествомъ приглашенныхъ; и едва онъ раздѣлся и закрылъ глаза, какъ заснулъ глубокимъ сномъ. Черезъ нѣкоторое время, однако, онъ проснулся и прислушался. Въ домѣ было прохладно и тихо; но прошло нѣсколько секундъ и знакомый голосъ запѣлъ ту же пѣснь, которую онъ теперь ясно слышалъ. Потомъ тихо зажурчала вода, чуть слышно плеснуло весло, красное пламя озарило холодные, каменные своды, послышались крики и удары и низкій голосъ, только что пѣвшій пѣснь, захрипѣлъ въ послѣдній

разъ и умолкъ. Онъ вскочилъ съ кровати, едва одѣтый, съ обнаженнымъ торсомъ и держа въ рукѣ длинную и узкую шпагу, бросился къ открытой двери и увидѣлъ передъ собой толпу вооруженныхъ людей. Они тѣснили его, онъ отбивался, вонзилъ и мгновенно выдернулъ шпагу и постепенно отходилъ къ окну, которое квадратнымъ воздушнымъ пятномъ смутно рисовалось за его спиной. Онъ уже вплотную приблизился къ нему, не переставая отражать удары; но толпа внезапно отступила, по корридору раздались легкіе шаги и упругой походкой въ комнату вошелъ человѣкъ, одѣтый въ бѣлый шелкъ. Василий Николаевичъ ощущалъ холодъ желѣзной баллюстрады окна на спинѣ, правая рука его, державшая шпагу, была вытянута впередъ. Онъ уже почти сдѣлалъ движеніе, чтобы не смотря ни на что направиться къ двери, но въ это мгновеніе человѣкъ съ упругой походкой поднялъ руку и брошенный имъ короткій ножъ съ силой вонзился въ обнаженную грудь Василя Николаевича надъ сердцемъ. Что-то хрустнуло, потемнѣло въ глазахъ и медленно перевалившись черезъ баллюстраду, Василий Николаевичъ тяжело упалъ въ холодную воду канала.

Поздно утромъ жена его, видя, что онъ не шевелится, стала его звать и трясти, но блѣдное лицо его оставалось неподвижнымъ. Тогда она обрызгала его водой, онъ наконецъ открылъ глаза и долго смотрѣлъ на нее, не понимая. Потомъ онъ спросилъ: — они ушли? — Кто, Васенька? Но въ эту минуту онъ уже приближался съ судорожной и непостижимой быстротой — хлопали ставни, вдали умирали голоса, журчала вода вокругъ мгновенно погружающагося тѣла — къ пониманію того, что съ нимъ происходило въ данный моментъ и сказалъ, что это онъ со сна, что ему снилось, будто у нихъ много гостей, которые должны были уйти и все не уходили. — Я прямо думала, Васенька, не въ обморокъ-ли ты, — сказала Надежда, — такой ты былъ блѣдный и не просыпался.

Василій Николаевичъ хотѣлъ остаться одинъ, но это

ему удалось не так скоро. Быль праздничный день, къ завтраку пришли тестъ и теща и еще одинъ молодой человѣкъ, давнишній и безнадежный поклонникъ его жены, другъ ея дѣтства и бывший ея женихъ, за котораго она не вышла замужъ только потому, что встрѣтила Василя Николаевича, — и это нанесло молодому человѣку непоправимый ударъ, такъ какъ онъ всю жизнь чувствовалъ себя — и дѣйствительно былъ — женихомъ Наденьки; и теперь, когда это основное его качество оказалось упраздненнымъ, онъ совершенно растерялся и всѣмъ стало очевидно, что внѣ системы этихъ представленій — женихъ, невѣста, бракъ — молодой человѣкъ почти не существовалъ. Онъ вообще принадлежалъ къ той особой породѣ людей, которые становятся замѣтны лишь въ сколько-нибудь выдающихся или необычныхъ обстоятельствахъ, — какъ тусклая страница, написанная симпатическими чернилами и которой буквы выступаютъ только послѣ дѣйствія огня или химическаго реактива; какъ облака на ночномъ небѣ, видны только при свѣтѣ пожарнаго зарева. И была необходима чья-нибудь смерть или вообще большое несчастье, которое переживалъ бы этотъ человѣкъ, для того, чтобы онъ сталъ замѣтенъ и не потому опять-таки, что онъ самъ измѣнялся, но изъ-за того, что фонъ, на которомъ это происходило, придавалъ всему зловѣщую убѣдительность. Именно такъ было непосредственно послѣ свадьбы Наденьки съ Василюмъ Николаевичемъ, когда на бывшаго жениха дѣйствительно была жалко смотреть. Но мѣрѣ того, какъ проходило время, женихъ все больше тускнѣлъ и впадалъ въ прежнюю тревожную незначительность. И несмотря на то, что Наденька очень жалѣла и всячески одобряла его, — ничто уже не могло ему вернуть прежняго его смысла и его несущественная улыбка, обнажавшая игрушечные зубы, тоже никого не могла ввести въ заблужденіе. За столомъ говорилось о механическомъ прогрессѣ и сумеркахъ культуры, что тестъ объяснялъ упадкомъ религіознаго чувства, а теща раз-

нужданностью современных нравовъ; а молодой человекъ сказалъ, что человѣческія чувства такъ же подвержены смерти и забвенію, какъ живые люди, — что къ культурѣ, собственно, отношенія не имѣло, а было обращено къ Надеждѣ въ видѣ косвеннаго упрека, котораго она, однако, не поняла, такъ какъ въ эту минуту была слишкомъ занята ѣдой. Такимъ образомъ, замѣчаніе о смерти чувствъ вообще не получило должной оцѣнки ни съ чьей стороны, — на родителей Надежды рассчитывать не приходилось, особенно на мать, которая слышала и понимала, подобно большинству людей ея возраста, только то, что она говорила сама или то, что совершенно совпадало съ ея мнѣніемъ. Василій Николаевичъ тоже не обратилъ вниманія на фразу о смерти чувствъ, — а вмѣстѣ съ тѣмъ за все время завтрака это была единственная фраза, въ которую было что-то вложено, въ данномъ случаѣ все несомнѣнное отчаяніе бывшего жениха, долгія ночи съ прерывающимся сномъ, особенная, сухая жажда чувствъ и настоящая печаль. Но никто изъ присутствующихъ не могъ бы теперь это понять. Разговоръ продолжался, впрочемъ, перейдя отъ темъ отвлеченныхъ къ темамъ гастрономическимъ и тутъ главную роль стала играть теща, знанія которой въ этой области были дѣйствительно обширны, потому что на это ушла вся ея жизнь; въ то время, какъ другія занятія носили временный характеръ, это было неизмѣнно, — это и еще женскія болѣзни.

Когда послѣ завтрака тещъ и теща начали собираться, Василій Николаевичъ сказалъ женѣ, что онъ ихъ проводить, немного пройдетъ и вернется домой черезъ часъ. Разставшись съ ними у первой стоянки такси, онъ пошелъ въ небольшой скверъ, сѣлъ на скамейку и попытался обдумать и понять событія послѣдней ночи.

Василій Николаевичъ совершенно не привыкъ углублять или анализировать вещи, которыя съ нимъ происходили, и съ нимъ и не случалось ничего сложнаго. Или,

если сложность и бывала, то она была практическаго характера. Раньше, въ крайней молодости, Василій Николаевичъ испытывалъ иногда нѣчто неопредѣлимое и смутное, хотѣлось чего-то совершенно неизвѣстнаго и неизвѣстно чего. Но давно уже его желанія опредѣлились и до сихъ поръ онъ бывалъ несчастенъ, когда они не осуществлялись и счастливъ, когда осуществлялись, — словомъ, внѣшне все было просто. То же, что происходило съ нимъ теперь, не было похоже ни на одно состояніе, которое онъ зналъ или о которомъ онъ когда-нибудь слышалъ. Но онъ твердо зналъ, что это состояніе не могло быть названо сномъ. Онъ зналъ еще и то, уже совершенно необъяснимое обстоятельство, что послѣ паденія въ каналъ, онъ остался живъ, что ударъ ножа не былъ смертельнымъ. Чѣмъ больше онъ думалъ надъ этимъ, тѣмъ больше убѣждался, что это было его личное воспоминаніе или нѣчто совершенно ему тождественное. Но онъ не могъ сдѣлать никакихъ положительныхъ выводовъ изъ всѣхъ своихъ размышленій, кромѣ историческихъ: было очевидно, что это происходило въ Венеціи, повидимому, въ эпоху братоубійственныхъ распрей; онъ смутно, казалось ему, видѣлъ передъ этимъ пожилую женщину въ синемъ платьѣ, вѣроятно его мать; голосъ, который пѣлъ пѣсню, принадлежалъ, быть можетъ, его брату, убитому въ ту ночь, когда онъ самъ падалъ съ вонзившимся въ грудь ножомъ изъ окна въ каналъ. Онъ потерялъ себѣ лобъ и пошелъ, наконецъ, домой, рѣшивъ не думать и не вспоминать болѣе ничего. Но сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, онъ сразу остановился, точно его задержали, и внезапно, безъ всякаго замѣтнаго для него перехода, понялъ все. Онъ стоялъ посрединѣ троттуара и думалъ; мимо него проѣхалъ маленькій мальчикъ на *trotinette*, прошла толстая дама, отъ которой густо пахло смѣсью женскаго пота съ духами жасминоваго оттѣнка, вслѣдъ за ней, молодцеватой походкой на подозрительно прямыхъ ногахъ, прошелъ, героически покашливая, невысокій человѣкъ съ сѣдыми уса-

ми довоенного вида, мутнымъ лѣвымъ глазомъ — правый былъ красивъ и идеально неподвиженъ — и почетнымъ легиономъ въ петлицѣ, за этимъ человѣкомъ шель рабочихъ въ кепкѣ, съ открытымъ и перекошеннымъ ртомъ, на нижней губѣ котораго былъ прилипшій, коричнево желтый и пропитанный слюной окурокъ; Василій Николаевичъ видѣлъ всѣхъ этихъ людей какъ сквозь сонъ, восстанавливая въ памяти единственный разговоръ, который у него былъ однажды съ неизвѣстнымъ русскимъ, съ которымъ онъ говорилъ тогда въ первый и послѣдній разъ. Разговоръ этотъ происходилъ въ приемной врача, гдѣ имъ обоимъ пришлось ждать очень долго и неизвѣстный собесѣдникъ сразу же заинтересовалъ Василю Николаевича своей небрежной и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣдительною манерой изложенія того, что онъ высказывалъ. Рѣчь шла сначала объ одномъ нѣмецкомъ художникѣ, изображавшемъ чудовищныя привидѣнія, потомъ перешла на темы теософскія и необъяснимыя, казалось бы, явленія.

— Къ теософіи я отношусь недоувѣрчиво, — сказала собесѣдникъ Василія Николаевича; у него были сѣрые глаза, хороііій костюмъ, свѣтлые волосы, что еще? кажется, ничего замѣчательнаго — это все неудовлетворенныя дамы, знаете. Увлеченіе, которое основано на невольномъ и длительномъ воздержаніи, это можетъ быть и иной родъ неудовлетворенности, конечно, — цѣна ему небольшая. Хотя, конечно, это играетъ большую роль — взять хоть исторію святыхъ.

— Позвольте, — сказала Василій Николаевичъ, — за дамы я не заступаюсь, допустимъ, что это такъ, но святые... мнѣ кажется, что источники ихъ вдохновенія были совсѣмъ другого порядка.

— Иногда да, иногда нѣтъ. Конечно, нельзя сдѣлать такое произвольное и абсолютное обобщеніе, это была бы грубѣйшая ошибка. Но что этотъ элементъ нерѣдко входилъ въ ихъ жизнь и что онъ чрезвычайно близокъ

чувствамъ религіознаго порядка и почти, быть можетъ, идентиченъ имъ, на это есть множество данныхъ. Но въ томъ, что касается вообще необъяснимыхъ явленій... — онъ задумался. — Кажется, большинство психическихъ феноменовъ... — началъ Василій Николаевичъ. Но неизвѣстный собесѣдникъ вдругъ прямо посмотрѣлъ ему въ глаза и спросилъ:

— А знакомъ ли вамъ біологическій законъ о томъ, что филогенезисъ повторяетъ онтогенезисъ, другими словами, что исторія развитія индивидуума повторяетъ исторію его рода?

— Нѣтъ, не помню, — съ сожалѣніемъ сказалъ Василій Николаевичъ.

— Вѣдь въ концѣ концовъ, — продолжалъ собесѣдникъ, — сознанію доступна лишь незначительная часть мозга, какъ, скажемъ, небольшой секторъ въ окружности. Тамъ — всѣ наши знанія, вся наша теперешняя память, словомъ, все, чѣмъ мы живемъ. Но въ остальныхъ, въ неизвѣстныхъ намъ пространствахъ, сказалъ онъ, понизивъ голосъ, — что въ нихъ заключено? Надо думать, воспоминанія объ удаленныхъ на столѣтія временахъ, знанія забытыхъ языковъ и еще множество вещей, пребывающихъ въ тысячелѣтней летаргіи. И если бы когда нибудь могли это узнать...

Но въ это время открылась дверь докторскаго кабинета и неизвѣстный собесѣдникъ Василія Николаевича, оборвавъ свою рѣчь, быстро прошелъ туда. Когда онъ вышелъ, наступила очередь Василія Николаевича и они даже не попрощались другъ съ другомъ. Съ тѣхъ поръ Василій Николаевичъ видѣлъ этого человѣка только одинъ разъ, черезъ три года послѣ разговора у доктора; это было на одномъ изъ парижскихъ вокзаловъ, куда Василій Николаевичъ провожалъ одну даму, которая въ то время была создана для него, а онъ для нея, почти такъ же, какъ теперь Наденька — и собесѣдникъ Василія Ни-

колаевича уѣзжалъ въ томъ же поѣздѣ, но Василя Николаевича не увидалъ.

Онъ, наконецъ, обернулся по сторонамъ, и замѣтилъ, что давно стоитъ на одномъ мѣстѣ и медленно пошелъ къ дому. Тогда разговоръ съ собесѣдникомъ произвелъ на него теоретическое впечатлѣніе. Теперь это было совсѣмъ иначе и всѣ эти неопасныя и умозрительныя вещи вдругъ стали ощутительной угрозой если не его жизни, то разсудку. Онъ шелъ по парижской улицѣ опять, какъ въ первый разъ, когда увидѣлъ въ зеркалѣ глаза, солнечнымъ днемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отчетливо чувствовалъ холодную сырость каменныхъ сводовъ и неподвижную воду канала внизу и было невѣроятно и страшно, что это могло существовать здѣсь же, рядомъ, преодолевая непостижимымъ образомъ его теперешнюю жизнь, Наденьку и Парижъ. И въ силу чьего умолкнувшаго проклятiя теперь вновь, черезъ четыреста лѣтъ... Василій Николаевичъ чувствовалъ, какъ все бѣжитъ передъ нимъ, мучительно и неудержимо, въ обратномъ непреодолимомъ движеніи, — вплоть до той минуты, покуда не послышится вновь упругая походка и не засвиститъ во влажномъ воздухѣ неотразимый полетъ ножа.

Онъ не замѣтилъ, какъ подошелъ къ дому. По освѣщенной солнцемъ улицѣ проѣзжали рѣдкіе автомобили, на корѣ дерева, росшаго передъ его окномъ, застыла струя клея; подъ чугунной рѣшеткой, окружавшей его подножіе, быстро проползла черная жужелица; высоко въ синемъ воздухѣ пролеталъ аэропланъ. Надъ верхушкой одного изъ ближайшихъ каштановъ висѣлъ, зацѣпившись, дѣтскій воздушный шаръ краснаго цвѣта; вдоль троттуара, вливаясь въ горизонтальный, параллельный поверхности земли, люкъ, текла бурая вода небольшого ручейка; на стѣнѣ противоположнаго дома была афиша: *locataires, vos droits sont menacés!* Томимый непреодолимой печалью, Василій Николаевичъ открылъ ключомъ парадную дверь и вошелъ въ свою квартиру, сложно пахнущую

цвѣтами, мыломъ и нафталиномъ, въ который Наденька только что уложила зимнія вещи. Василій Николаевичъ попросилъ, чтобы ему сдѣлали кофе, сѣлъ на свое кресло въ кабинетъ и рѣшилъ, что, во-первыхъ, онъ ничего не скажетъ Наденькѣ, во-вторыхъ, сдѣлаетъ всѣ усилія, чтобы удалить отъ себя навсегда это венеціанское воспоминаніе. И закрывъ глаза, онъ еще разъ увидѣлъ передъ собой далекій городъ надъ мутными каналами, въ которые уходили ступеньки домовъ и бѣлые паруса въ вечернемъ воздухѣ, почувствовалъ тяжелый запахъ, поднимавшійся отъ загнившей воды, услышалъ еще разъ необыкновенную тишину этого города въ посвѣжѣвшихъ, ночныхъ отраженіяхъ фонарей, вздрагивающихъ отъ легкаго плеска весла или прорѣзанныхъ легкимъ журчаніемъ гондолы.

И воспоминаніе удалилось. Оно не исчезло окончательно, онъ слышалъ сквозь сонъ шумъ голосовъ и заглушенные звуки ударовъ, но это едва доходило до него, онъ просыпался отъ глубокаго вздоха и снова засыпалъ почти прежнимъ, счастливымъ сномъ. Но черезъ двѣ недѣли опять произошло нѣчто неожиданное: открывъ глаза, онъ увидѣлъ, что находится на окраинѣ деревяннаго города, лютой зимой, въ толпѣ плохо одѣтыхъ людей. Старикъ съ сѣдой бородой и худымъ лицомъ кричалъ, что наступили послѣднія времена, что всѣмъ народомъ нужно... — вѣтеръ относилъ его слова и трепалъ его бороду. Вдругъ въ толпѣ произошло движеніе; Василій Николаевичъ обернулся. Сопровождаемый нѣсколькими людьми, гораздо лучше одѣтыми, чѣмъ другіе, запинаящейся, но быстрой походкой прямо къ старику шелъ высокій человѣкъ съ дергавшимся ртомъ. — Антихристъ! — кричалъ старикъ. Страшные глаза Петра — Василій Николаевичъ сразу узналъ его — скользнули по его лицу и отвернулись, и надъ ледяной долиной, начинавшейся тотчасъ за жалкими деревянными домами, поднялся зимній густой туманъ.

Утромъ Василій Николаевичъ сказалъ женѣ, что онъ съ удовольствіемъ поѣхалъ бы на югъ, что онъ чувству-

еть себя усталымъ, — вся эта парижская сутолока, Наденька, ты сама знаешь, что это такое. И Наденька не только согласилась съ нимъ, но и сказала, что она предвидѣла это его желаніе. Это была ея любимая манера — посмотреть прямо въ глаза Василию Николаевичу и сказать — я знала, что ты это скажешь; и это лишній разъ подчеркивало то несомнѣнное и очевидное обстоятельство, что они были созданы другъ для друга и это постоянное угадываніе Наденьки Василий Николаевичъ не могъ не считать поразительнымъ. Было рѣшено ѣхать черезъ два дня, тѣмъ болѣе, что родители Наденьки уже недѣлю находились въ Ниццѣ, гдѣ у нихъ былъ домъ, купленный еще чуть ли не въ тысяча девятьсотъ десятомъ году. Василий Николаевичъ никогда еще не былъ у нихъ въ Ниццѣ; пріѣхавъ, онъ былъ пораженъ тѣмъ, что ницскій домъ въ точности походилъ на парижскую квартиру его тещи. Даже книги были тѣ же самыя, тотъ же Салиасъ, Шеллеръ-Михайловъ, Маминъ - Сибирякъ, Гусевъ - Оренбургскій, о которыхъ старикъ говорилъ съ одобреніемъ, — вотъ, батюшка, писали, не мудрили и жизнь была такая хорошая, а теперь что? У тещи, однако, были болѣе передовые вкусы: въ ея комнатѣ висѣлъ портретъ Брюсова съ небольшой бородой, тоже довоеннаго происхожденія, но уже съ нѣкоторымъ налетомъ модернизма, а среди книгъ попадались такія названія, какъ «Раскрѣпощенная женщина» и, конечно, «Обломки крушенія»; встрѣчались вообще заглавія, состоявшія, главнымъ образомъ, изъ двухъ существительныхъ, первое въ именительномъ, второе въ родительномъ надежѣ, «Ключи Счастья», «Жена министра», «Конецъ дневника» или, наконецъ, нѣсколько отсутная отъ правила о двухъ существительныхъ, — «Изъ красиваго прошлаго». Мебель была тяжелая, со скрипомъ, былъ старинный, съ надрывомъ и гуломъ, самоваръ, и, пріѣхавшій изъ Парижа, попугай, современникъ давнишней, героической жизни тещи и тещи, котораго не всегда показывали постороннимъ, потому что онъ говорилъ иногда

нехорошія слова, которымъ былъ наученъ однажды, подъ пьяную руку, лѣтъ тридцать тому назадъ, и неумолимая его птичья память бережно сохранила ихъ. Попугай былъ купленъ тестемъ Василю Николаевича еще до его женитьбы, жилъ въ его домѣ всю жизнь и въ то время, какъ все вокругъ него старилось, измѣнялось и гибло, онъ оставался такимъ же строго зеленымъ, какъ и въ первый день.

Домъ былъ двухэтажный, стоялъ въ глубинѣ сада, въ которомъ росли побурѣвшія пальмы и вся улица была застроена такими же домами; Василю Николаевичу стало казаться, что онъ попалъ въ почти позабытый, давно остановившійся міръ: здѣсь все осталось такимъ же, какъ тридцать или сорокъ лѣтъ тому назадъ. На слѣдующій день Василій Николаевичъ съ женой отправился разыскивать себѣ виллу, которую хотѣлъ снять на два или три мѣсяца и нашелъ недалеко отъ Villefranche небольшой домъ съ тремя свѣтлыми комнатами, выходившій одной стороною къ дорогѣ, другой — къ глубокому обрыву надъ моремъ. Онъ подошелъ къ окну и увидѣлъ отвѣсную скалу, вдоль которой, нѣсколько правѣе окна, росло высокое дерево, обвитое ползучими, зелеными листьями; внизу была свѣтло-синяя поверхность воды, сквозь которую на днѣ были видны темныя, овальныя плиты камней, покрытыя водорослями; налѣво были невысокіе дома Villefranche, — бухта, лодки, мачты, паруса. Въ тотъ же вечеръ онъ перѣхалъ туда.

И Наденька и ея родители считали, что съ нимъ происходитъ что-то неладное и что ему необходимъ душевный отдыхъ — и потому никто изъ нихъ не разспрашивалъ его ни о чемъ, никто не возражалъ противъ его желанія идти гулять, когда время близилось къ обѣду, только жена неизмѣнно говорила: — иди, Васенька, будь остороженъ. Но онъ зналъ, что днемъ никакая опасность ему не угрожаетъ. Онъ уходилъ изъ дому, шелъ берегомъ моря,

прыгая съ камня на камень, потомъ купался, заплывая далеко, такъ что дома начинали казаться маленькими и съ каждымъ днемъ все больше удалялся отъ той жизни, которую вель еще нѣсколько недѣль тому назадъ, въ Парижѣ. Выбравшись на берегъ, онъ лежалъ и гляделъ въ набѣгающую волну и думалъ о томъ, какъ безконечно давно знаетъ этотъ шумъ и движеніе зеленато-синей воды и шорохъ откатывающейся гальки и накренившійся, удаляющійся парусъ невдалекѣ. Съ наступленіемъ вечера онъ возвращался домой и издали видѣлъ фигуру Наденьки въ бѣломъ платьѣ, съ черными волосами; лицо ея загорѣло, зубы стали казаться бѣлѣе, губы краснѣе, она совсѣмъ стала похожа на южную красавицу и это лицо онъ зналъ тоже давно, не въ первый, конечно, разъ.

Но потомъ наступала ночь. Воспоминаніе, къ счастью, не возвращалось, но появились другія вещи. Василій Николаевичъ видѣлъ, какъ онъ идетъ по глинистой, вязкой дорогѣ, въ сандаляхъ на богу ногу и рядомъ съ нимъ, въ бѣлой одеждѣ изъ грубой ткани, шагаетъ задыхающійся старикъ и крикъ осла раздираетъ воздухъ. Онъ проходилъ сквозь дымные города, застроенные низкими домами, мѣрно бѣжалъ за высокими ногами верблюда, переплывалъ быстрюю рѣку на тяжеломъ ворономъ жеребцѣ — и все это въ крикѣ чужихъ голосовъ на понятномъ, но не родномъ языкѣ. Ему ясно запомнилось смуглое, скуластое лицо мальчишки, прискакавшего на поджарой кобылѣ, ея хвостъ былъ завязанъ узломъ и брюхо забрызгано грязью — который кричалъ ему что-то, вытягивая руку передъ собой и удерживая испуганную, прыгающую лошадь — и тишину ожиданія, которая стояла вокругъ и въ которой терялся голосъ всадника.

Онъ уже давно, почти безсознательно, отказался отъ мысли о ненормальности своего состоянія; онъ чувствовалъ, что оно было въ данное время не болѣе ненормально, чѣмъ его дневная жизнь и такъ же неизбѣжно. Ложась

спать, онъ ощупывалъ револьверъ подъ подушкой; и когда онъ закрывалъ глаза, тотчасъ возникали желтыя, осеннія поля забытой страны, бѣгъ рѣчной волны вдоль обрывистаго берега, слышался удаляющійся топотъ лошади, потомъ скрипъ мачты, — влажный широкій вѣтеръ, бившій въ лицо, и тихая вода небольшой бухты, на берегу которой были видны неторопливыя фигуры невысокихъ, темныхъ людей.

Такъ прошелъ мѣсяць. Потомъ наступилъ вѣтреный день; солнце было такое же жаркое, какъ всегда, но съ беспокойного моря тянулъ холодокъ, шла крупная волна и тѣло Василя Николаевича долго качало и оттягивало, пока ему наконецъ не удалось подплыть вплотную къ каменистому берегу; онъ плохо рассчиталъ движенія и волна ударила его раньше, чѣмъ онъ ожидалъ, онъ наткнулся бокомъ на камень и почти потерялъ сознаніе, но успѣлъ ухватиться за выступъ скалы — и вылѣзъ, усталый и ищарапанннй, съ тяжелой головой и соленымъ вкусомъ во рту. Весь вечеръ онъ плохо себя чувствовалъ, рано легъ спать и тотчасъ заснулъ глубокимъ и крѣпкимъ сномъ.

Онъ проснулся съ сознаніемъ, что было слишкомъ поздно. Подъ окномъ тихо зажурчала вода, домъ озарился краснымъ пламенемъ, захрипѣлъ и смолкъ голосъ за стѣной. Василій Николаевичъ вдругъ вспомнилъ о револьверѣ. Когда толпа людей отступила къ двери и въ тишинѣ снова раздалась знакомая легкая походка челоуѣка въ бѣломъ, онъ стоялъ у окна и едва челоуѣкъ въ бѣломъ показался на порогѣ, онъ поднялъ руку и выстрѣлилъ. Но было слишкомъ поздно; онъ увидѣлъ, какъ пошатнулась бѣлая фигура, но ножъ успѣлъ уже просвистѣть въ воздухѣ, и, тяжело перевалившись за баллюстраду, Василій Николаевичъ упалъ внизъ.

Выстрѣлъ разбудилъ Наденьку, спавшую въ сосѣдней комнатѣ; она вбѣжала къ Василю Николаевичу, но увидѣла пустую кровать. Тогда, обезумѣвъ, она бросилась

изъ дому, добѣжала до Villefranche, гдѣ сообщила въ полицію о необъяснимомъ и мгновенномъ исчезновеніи мужа и на разсвѣтъ была уже въ Ниццѣ у родителей. Никто не зналъ, что случилось съ Василиемъ Николаевичемъ, море было попрежнему бурнымъ и только черезъ три дня Наденькѣ сообщили, что трупъ ея мужа выловленъ рыбаками. Она бросилась туда, сдернула простыню, едва узнала лицо, заплакала и сквозь слезы увидѣла на почти незнакомой уже груди широкую рану, сдѣланную повидимому багромъ, которымъ рыбакъ вытаскивалъ изъ воды тѣло этого, въ сущности, неизвѣстнаго человѣка.

Гайто Газдановъ.

Тяжести *)

(Отрывокъ изъ романа).

1.

Сейчасъ мы никого не любимъ. Для любви у насъ нѣтъ ни времени, ни опыта. Мы не успѣли, намъ было некогда упражнять себя въ этомъ чувствѣ. Оно намъ кажется нежизненнымъ и неудобнымъ, какъ кринолины, какъ ѣзда на перекладныхъ, какъ религія. Чувство любви, ея вкусъ, ея формы намъ незнакомы, и мы не испытываемъ ни огорченія, ни стыда оттого, что лишены его, — какъ негры не стыдятся ходить съ обнаженными торсами до тѣхъ поръ, пока не узнаютъ о существованіи одежды.

Судя по книгамъ и по разговорамъ, слѣдуетъ любить человѣка, или еще больше: человѣчество. А мы не научились даже любить самихъ себя. Мы подозрительны: страницы, говорящія о высокихъ чувствахъ, слишкомъ часто кажутся намъ искусственными и лживыми, раздражаютъ насъ, мы провѣряемъ ими качество прочитанной книги. Любовь у насъ замѣнена злобой, которую мы изучили прилежно и постоянно совершаемъ. Чувство злобы способствуетъ нашему общенію, создаетъ единство переживаній, объединяетъ отдѣльныхъ людей въ человѣчество, отдѣльные часы — въ эпоху. Чувство злобы (какъ, говорятъ, нѣкогда — любовь) спасаетъ насъ отъ одиночества, даетъ намъ силу, диктуетъ новое право, новую нравственность, толкаетъ на подвиги, согрѣваетъ насъ, и

*) См. «Солн. Зал.» № 59.

потому къ этому чувству мы питаемъ привязанность и благодарность. Магелланъ совершилъ путешествіе вкругъ свѣта, движимый любовью къ просторамъ, къ искательству, стремленіемъ къ благу и пользѣ челоуѣчества. Нашъ Магелланъ улетитъ въ неизвѣстность, побуждаемый потребностью порвать съ тѣмъ, что его окружаетъ.

Мы обманываемъ далекихъ и близкихъ, обманываемъ женъ и мужей, мы растлеваемъ дѣвушекъ, мы грабимъ имущество, обкрадываемъ въ искусствѣ и въ помыслахъ, дѣлая все это безъ пафоса, безъ необходимости, безъ минуты раскаянія, съ равнодушіемъ и настойчивостью, потому что знаемъ, что тѣ, кто нами обмануты — обманываютъ насъ, и тѣ, что нами растлены — гордятся этимъ.

Однако, скудный запасъ необработанной нѣжности въ насъ существуетъ, но капли ея падаютъ на явленія и предметы, можетъ быть, незаслуживающіе вниманія, подобно тому, какъ въ концертѣ, слушая пѣвца, наряженнаго во фракъ, мы стараемся проникнуть въ глубину исполняемой вещи и самаго исполненія, но остаемся холодны и даже ненавидимъ этого челоуѣка или — откровеннѣе — на смѣшку надъ челоуѣкомъ, а между тѣмъ, иногда достаточно, чтобы скрипнула дверь или простучали за окномъ копыта, — и весь нашъ составъ наполнится музыкой. Мы никогда не любили, мы не знаемъ, что такое любовь, но улавливая приближеніе нѣжности — къ вечернему дождю, къ изгибу стула, къ глазамъ собаки — мы склонны думать, что когда-нибудь намъ придется любить. Съ этой мыслью, ненужной и, можетъ быть, неосуществимой, мы бережемъ нашу нѣжность, не зная, какъ съ ней обращаться и чему она будетъ служить, бережемъ, сознавая ея хрупкость и любопытствуя, судьба-ли ей погибнуть, или вырасти въ большое чувство. Такъ неотесанный каменотесъ, еще не любя, бережно, неловко и боязливо пеленаетъ окаменѣлыми руками своего лервенца.

2.

Миръ начинаетъ окрашиваться въ голубой цвѣтъ: люди, земля, предметы. Окрашивание, или — вѣрнѣе — пробужденіе цвѣта, возникаетъ незамѣтно и неожиданно, какъ болѣзнь, какъ вдохновеніе; оно пугливо подкрадывается, и лишь въ ту минуту, когда силы уже измѣрены, происходитъ первая вспышка. Мало-по-малу, развитіе цвѣта достигаетъ той степени, за которой восторгъ почти граничитъ съ головокруженіемъ.

Но легкая голубизна, впервые здѣсь отмѣченная, еще слишкомъ зыбкая, прозрачная и неотстоявшаяся, можетъ быть, является только отсвѣтомъ лѣтняго неба, только совпадениемъ, а не признакомъ надвигающагося порыва. Благодатная ласковость вѣтра, негромкій шумъ мотора, сѣрыя колокольни церковей, сиреневые крокусы альпійскихъ луговъ, далекій свистъ лѣсопилки, яблони по краямъ дороги, голубые километры асфальта, запахъ травы, цвѣтовъ и бензина. Дорогу заноситъ въ гору, на голубыхъ поворотахъ вздрагиваютъ крылья, внизу, за вѣтромъ, въ дымкѣ, ржавѣютъ черепицы селеній; долины, холмы устланы зеленью; тихія деревушки, прикрывшія истинный возрастъ шалостями рекламъ, раскрываются на минуту, пропуская машину, чтобы сомкнуться за ней и, отразившись въ зеркальцѣ надъ рулемъ, исчезнуть навсегда. Лиловая сахаристость далей, возбужденіе скоростью, картонная торжественность ветшающихъ замковъ — раскрашенные картинки изъ сказокъ Перро, пожелтѣвшія страницы сытинскихъ, сойкинскихъ изданій, когда-то разбросанныхъ по ковру въ натопленной зимней комнатѣ, гдѣ цвѣли фіолетовые замки принцессъ и королей, Золушка улыбалась въ золоченой каретѣ, запряженной цугомъ, розовая краска на лицахъ ливрейныхъ лакеевъ немного съѣзжала на небо, а синее небо — на плюмажи кареты, и Котъ въ Сапогахъ, и Ершовскій

Конекъ-Горбунокъ, — заколдованный замокъ Спящей Красавицы, встревоженный окрикомъ клаксона; дрожитъ крыло на поворотѣ, лѣтнія распушаются облака; обреченная, нескошенная десятина, бѣлая рябь маргаритокъ, красные насосы гаражей, сверкающіе по дорогамъ жуки съ марками Ситроена или Бюнка, — и бываетъ удивительно въ захудаломъ музеѣ провинціального городка, между портретомъ Сади Карно, положившаго руку на сводъ законовъ (въ которомъ, среди другихъ, заключена статья о лишении жизни) и серебряной свадьбой въ деревнѣ — неожиданно встрѣтить вѣжнѣйшій пейзажъ Сислея, а на прилавкѣ букиниста купить за полфранка вторую часть (первая безнадежно затеряна) «Господь Головлевыхъ» въ итальянскомъ переводѣ, начинающемся такъ:

Giuduccio ad ogni modo non diè i danari al figlio, benchè da padre amoroso gli facesse mettere in carozza carne, biscotti, caviale e altre provvisioni da bocca. Ah, Pietruccio, Pietruccio...

Металлически-голубые, мѣдно-красные, оранжевые, изсиня-черные, рубиновые, лимонные, скользятъ жуки по асфальту, ложатся платаны по краямъ дороги, вдали надъ Парижемъ чернѣетъ копотъ столицъ. Машины, обгоняя другъ друга, стремятся къ Парижу, пронзаютъ предмѣстья, ульчонки, застроенныя гаражами; въ шумѣ мотора и вѣтра несутся заборы; дырявые домишки окраинъ, сколоченные изъ случайныхъ досокъ; вагоны, приспособленные подъ жилье; оборванные дѣти, арабы, собаки; черная копотъ неба; фабричныя стѣны; желѣзный ломъ; порожнія бутылки; автомобильныя кладбища; радіо-сплетни; занлаты рекламъ... Пустые автобусы отдыхаютъ у конечныхъ станцій. Замедлимъ скорость, прочтемъ первыя вывѣски, услышимъ гулъ метро, брюзжанье вымирающихъ трамваевъ, узнаемъ улицы, кафэ, огни, витрины, походку женщинъ, голоса газетчиковъ — голоса катастрофъ и землетрясеній, — Парижъ...

Ничего, ровно ничего не случилось. Никакихъ событій нѣтъ. Если происходитъ революція, то въ Россіи. Если зо-

лотыхъ дѣлъ мастеръ, мясникъ, нотаріусъ рѣжутъ своихъ любовницъ на куски или топятъ ихъ въ ваннѣ, то только въ вечернихъ газетахъ. Летчики перелетаютъ океанъ, смѣняются правительства простымъ голосованіемъ, впрочемъ, тоже лишь для вечернихъ газетъ и фотографовъ. Принявъ портфель, министры спѣшатъ въ Бурбонскій дворецъ, чтобы вернуться подъ утро домой, можетъ быть, безъ портфеля... Мурадьянъ далъ въ морду поэту Пумпянскому. Пумпянскій колебался — отвѣтить-ли тѣмъ-же, заплакать-ли, составить протоколъ или вызвать Мурадьяна на дуэль. Но Пумпянскій крикнулъ Мурадьяну «сволочь» и сѣлъ за столикъ. Сережа Милютинъ держалъ Мурадьяна за руки, хотя тотъ уже вполнѣ успокоился; инженеръ Ксавье платилъ за кофе и разбитую посуду; художникъ Райкинъ тасовалъ колоду картъ для новой сдачи. Игра продолжалась, выкуривались сотни папиросъ, и когда гарсоны уже ставили стулья на столы, игроки голубой гурьбой переходили въ соседнее кафэ, которое въ этотъ предутренній часъ едва успѣвало раскрыть двери. Игра продолжалась — въ белотѣ и въ покеръ, — инженеръ Ксавье платилъ за пиво, тянулись ночи, дни, вечера, наступилъ ноябрь, пошли дожди, было тепло и удобно сидѣть на плюшевыхъ диванахъ за стаканомъ пива, ненавидѣть другъ друга, подозрѣвать и завидовать, бросая карты на суконную подстилку. Менѣе удобно слѣдить за чужой игрой изъ-за спинки дивана, не смѣя присѣсть, — но въ кафэ тепло и сухо даже въ ноябрѣ, и потому зрители, не имѣвшіе франка на кофе, томилась дни, вечера, ночи, прислонившись къ центральному отопленію и стараясь не заснуть и не уласть отъ голода, тоски и бездѣлья. Шли дожди, Мурадьянъ далъ въ морду инженеру Ксавье и выбылъ изъ компаніи. Декабрь удивительно похожъ на ноябрь, холодный вѣтеръ на улицахъ дирижируетъ складками платьевъ, идутъ дожди, что очень неприятно, но климатически неизбежно. Инженеръ Ксавье купилъ новый автомобиль, по воскресеньямъ ѣздилъ въ Шартръ съ Зиной Каплунъ, гдѣ они вкусно обѣдали, ходи-

ли въ кинематографъ и плохо спали въ гостиницѣ. Горфункель вечерами диктовалъ наставленія домашней прислугѣ. По пятницамъ у мадамъ Шацкой составлялись все тѣ-же партіи въ бриджъ: мадамъ Федюкина, Семень Ивановичъ Лапчинскій - Негорѣло, Фанни Браиловская, профессоръ Скороходовъ, мадамъ Хаимзонъ, мадамъ Фишзонъ, Савелій Абрамовичъ Зонъ, Ленуся Фишъ, супруги Шаховскіе, супруги Новосельцевы, Моника Гелпенеръ — противница высокихъ каблучковъ и живописи Бориса Григорьева, Асназія Спиридоновна Теофилактисъ и мадамъ Шкафъ. Въ монпарнасскихъ кафэ метались гарсоны, табачный дымъ ложился голубымъ туманомъ на мраморъ столиковъ, на красный сафьянъ сидѣній, на лица, раненая скукой ежедневныхъ встрѣчъ. Шли дожди. Художникъ Райкинъ получилъ — наконецъ-то! — заказъ на портретъ кинематографической артистки Эдвижъ Марэна и даже присутствовалъ у нея на раутѣ, взявъ пиджачный костюмъ у Ксавье, но съѣлъ излишнее количество тартинокъ съ зернистой икрой и, почувствовавъ себя плохо, послѣшилъ незамѣтно уйти. Художникъ Райкинъ — только случайность, только орнаментъ, стилистическій завитокъ: икра попадала въ его ротъ мимоходомъ, по сосѣдству, и можетъ-быть, именно потому, что икра предназначалась для иныхъ желудковъ, художникъ Райкинъ не сумѣлъ ее какъ слѣдуетъ переварить.

3.

— Я постоянно думаю о Россіи, живу Россіей, зачитываюсь книгами о Россіи, русской литературой, русской исторіей. Хотя-бы горсточку русской земли! Но, разумѣется, Россіи до-петровской, остальное для меня не существуетъ. Я имѣю мысль, что Петръ Великій передѣлалъ все, что имѣло внѣшность: костюмы, картины, поэзію. Только музыка, слава Богу, не имѣла внѣшности, музыка

— наша душа, и Петръ Великій съ ней оказался безсилень.

Такъ говорила мадамъ Шацкая, и всё въ одинъ голось признали, что это — золотыя слова. Мадамъ Шацкая разливала чай, предлагая гостямъ пти-фуры и кэксъ своего изготовленія; скатерть на столъ была собственно-ручно вышита по рисунку Стелецкаго, и гости утверждали, что у мадамъ Шацкой — золотыя руки. На стѣнахъ висѣли акварели Билибина и Судейкина, въ простѣнкахъ между оконъ — гелиография васнецовской «Старой Москвы».

— Я рѣшаюсь высказать то, о чемъ другіе не смѣютъ даже думать, но думаютъ такъ всё. Русская музыка держитъ національные корни, отсюда — Рахманиновъ и вся могучая кучка... Ахъ, между прочимъ, Лейтонъ и Джонсонъ пѣли вчера, положительно, какъ взрослые дѣти. Я заночевала-бы въ саль Плефель, если-бы они согласились пѣть у моего изголовья. Это было очарованіе. Господа, я не мечтаю, къ одной вещи: дадимъ сегодня клятву, что въ слѣдующій разъ мы всё вмѣстѣ пойдемъ на ихъ концертъ.

Гости клялись. Мадамъ Федюкина сказала:

— Я слышала ихъ только на пластинкѣ. Не кэксъ, а мечта!

— Мнѣ передавали, что одинъ изъ нихъ невѣроятно волосатый: кто-то видѣлъ его голымъ.

— Да! Это вамъ — не Гитлеръ!

— Вы острите, потому что вы ихъ не слышали. Ихъ пѣніе похоже на плачь Ярославны.

— А я думалъ, что они поютъ фокстроты.

— Ну да — фокстроты! Въ исполненіи негровъ даже фокстроты напоминаютъ религіозное пѣніе.

— Псалмы.

— Счастливые негры! Не то, что Гитлеръ: онъ заѣдаетъ даже католиковъ.

— Когда народъ лишаютъ религіи, онъ костенѣетъ въ

коротъ. Мнѣ говорилъ одинъ прїѣзжій изъ Россіи, что церковь тамъ ушла въ подполье. Я ее вполне понимаю. Онъ рассказывалъ, что въ деревняхъ крестьяне на ночь переворачиваютъ портретъ Сталина, а съ обратной стороны — икона. Какъ это правдиво и величественно...

Голубые сумерки струились по окнамъ. Въ сосѣдней комнатѣ лакей разставлялъ столы для картъ.

— Господа, — произнесла мадамъ Шацкая, — я приготовила вамъ сюрпризъ. Догадайтесь!

Никто не догадался. Мадамъ Шацкая продолжала:

— Я хочу, чтобы сегодняшній бриджъ явился для насъ не только удовольствіемъ, но и подвигомъ. Мы всѣ такъ любимъ искусство, даже наша вѣчная оригиналка, Моника Христіановна. Такъ вотъ: художникъ X, нашъ молодой талантъ, положительно голодаетъ, что при его туберкулезѣ очень плохо пахнетъ. Бѣдняжка мечтаетъ зажечь моря! Я предлагаю сегодняшній выигрышъ передать въ его пользу...

Декабрьскіе сумерки дождливы, они потоками стекаютъ по окнамъ. Снизу доносится вечерняя грызня автомобилей. День законченъ, надвигается темнота, пора начинать еще одну ненужную, бродяжную, неизбежную монпарнасскую ночь, безсонную, пустую, страшную, какъ санитарный поѣздъ, и грустную, какъ цыганскій романсъ. Надо снова идти, среди несвѣтлыхъ фонарей и царапающихъ вывѣсокъ, по черной, липкой, горгуловской мостовой — завидовать, подозревать и ненавидѣть. Художникъ X голодаетъ въ своей неоплаченной, неотопленной мастерской безъ воды, безъ уборной, газа и электричества. Въ такомъ-же положеніи находятся художники Y и Z, не говоря о другихъ буквахъ латинскаго алфавита, — терзаемые неправдоподобнымъ желаніемъ зажечь моря. Голодный человѣчекъ въ потертомъ костюмѣ, плохо выбритый, завистливый, не научившійся любить и нелюбимый, борясь съ туберкулезомъ, торопится окончить начатую вещь, которая въ неповторимые часы работы бываетъ страш-

нѣе, взыскательнѣй и полновлѣстнѣе туберкулеза. Моря пылаютъ холоднымъ блескомъ, масляныхъ красокъ. Газетчики кричатъ о войнахъ, революціяхъ и казняхъ, о преступникахъ и о вождахъ, Иванъ Константиновичъ Данько-Даньковскій, заблудившійся въ трехъ соснахъ, ходитъ на диспуты, въ метро цѣлуются по вечерамъ подростки, идутъ дожди, но огонь пробивается сквозь улицы, сквозь толпы, сквозь войны, страны и революціи. Со временемъ краски тускнѣютъ, но ни желтизна столѣтій, ни сквозняки музейныхъ залъ не въ силахъ загасить пожара.

4.

Къ счастью, люди начинаютъ обезличиваться. Черты лица стираются, отдѣльная жизнь проходитъ незамѣченной, становится фономъ, грунтомъ, прокладкой. Отъ этого зрѣлище несомнѣнно выигрываетъ, въ глазахъ не такъ рябитъ, краски плотнѣютъ, вырабатывая собственную прямую рѣчь, поверхность пріобрѣтаетъ ровную ткань, которую можно разсматривать безъ микроскопа — по метрамъ, по верстамъ, по десятилѣтіямъ. Намъ извѣстна изо дня въ день вся жизнь Леонардо-да-Винчи, мы знаемъ всѣ приключенія Челлини, Виллона, Лермонтова, Рэмбо. Когда Рафаэль появлялся на улицахъ Рима, любой бродяга узнавалъ его по походкѣ. Что можемъ мы сказать о величайшемъ художникѣ нашихъ дней? Что онъ испанецъ родомъ, что онъ живетъ на улицѣ Бозси, брюнетъ — теперь уже посѣдѣвшій, женатъ на русской? Кто узнаетъ его на улицѣ? Сосѣдняя молочница? Торговецъ его картинами? Случайно встрѣченный художникъ, и то не каждый? Что мы знаемъ о другомъ современникѣ, живущемъ, вѣроятно, рядомъ съ нами? Отъ его картинъ намъ трудно оторваться, мы помнимъ наизусть ихъ грязно-оранжевыя, розовыя, голубыя пятна, въ которыхъ мерцаютъ цвѣтныя точки и нетвердые призраки комнатъ, людей, садовъ. Мы знаемъ только, что онъ — старикъ.

Такая неосвѣдомленность наполняетъ насъ радостью. Къ біографіямъ мы относимся недовѣрчиво. Больше того: біографіи вызываютъ въ насъ чувство брезгливости, мы давно сравнивали біографію со сплетней, съ праздною рыночною болтовней. Если подробности жизни изобрѣтателя оптическихъ стеколъ, бумаги или двигателя внутреннего сгорания не вліяютъ на степень полезности этихъ изобрѣтеній, то по какому праву человѣкъ, пишущій картины, симфоніи или романы, считаетъ возможнымъ навязывать въ качествѣ приложеній къ нимъ свой туберкулезъ или безудержность поступковъ, заботливо подкрашенную святость (святость въ людяхъ всегда раздражаетъ) или несчастную любовь къ блондинкѣ? Отвлеченное наше вниманіе къ произведеніямъ художника, иногда — восторгъ передъ ними, — выше, чище и безкорыстнѣе, чѣмъ любовь къ человѣчеству. Біографическія декорации мы оставляемъ въ утѣшеніе звѣздамъ экрана и тенорамъ, вообще — представителямъ низшей расы.

Но надо-ли говорить о современникахъ, незнакомыхъ намъ лично? Возьмемъ хотя-бы Ивана Константиновича Данько-Даньковского, съ которымъ мы встрѣчаемся почти ежедневно на улицахъ, въ кафэ, на диспутахъ, въ коридорѣ уцѣлѣвшаго до нашихъ дней на улицѣ Сены отельчика «Марокъ», гдѣ когда-то жили герои бесконечной лѣсковской повѣсти «На ножахъ», а нынѣ проживаетъ Данько-Даньковскій. Мы не помнимъ его лица. Онъ уподобился Саиду Бенъ Аршану — съ того дня, когда араба обезглавили. Мы помнимъ потрепанный пиджачекъ, помнимъ широкія, влажныя ладони, но надъ плечами, надъ полосатенькимъ несвѣжимъ воротничкомъ — пустота, то-есть — дома, деревья, обои, — въ зависимости отъ обстановки встрѣчи, словомъ, все, что угодно, кромѣ головы. Иногда, если бесѣда затягивается, надъ полосками воротничка начинаютъ проявляться слабо очерченные объемы, нѣчто вродѣ скуль, носа, округлости лба, но достаточно отвернуться на секунду — и видѣніе позабыто. А

между тѣмъ, мы очень коротко знакомы съ Данько-Даньковскимъ. Мы ясно представляемъ не только его пиджакъ, воротничекъ и ладони, но даже визитную карточку, на которой подъ фамиліей прибавлено мелкимъ шрифтомъ слово «монистъ». Такое близкое знакомство не мѣшаетъ нашему полному незнанію надплечной конечности Ивана Константиновича Данько-Даньковского. Что это? отсутствіе зрительной памяти? Правильнѣе предположить обратное: отсутствіе зрительныхъ признаковъ...

Мы никого не знаемъ въ лицо и гордимся тѣмъ, что насъ никто не узнаетъ. Похожіе одинъ на другого, мы ходимъ по улицамъ. Въ угловомъ бистро художникъ Райкинъ съ Сережей Милютинымъ катаютъ шары на «русскомъ» билліардѣ, хотя такихъ билліардовъ никогда не бывало въ Россіи, какъ не было «французскихъ» булокъ во Франціи. За столикомъ все тотъ-же французъ курить синюю папиросу. Пиджакъ виситъ на спинкѣ стула. Три нижнихъ пуговицы жилета и двѣ верхнихъ пуговицы брюкъ растегнуты, чтобы не стѣснять живота. Десятка полтора безцвѣтныхъ волосъ приклеилось къ очень блѣлому темени надъ очень краснымъ лицомъ. Желтый стаканъ Перно отбрасываетъ отъ себя лучи — вродѣ тѣхъ, что каррикатуристы рисуютъ, изображая брилліантовые кольца и браслеты...

Гости мадамъ Шацкой нашли ея сюрпризъ весьма остроумнымъ и, рѣшивъ въ одинъ голосъ, что у нея — золотое сердце, охотно играли въ бриджъ, хоть и по болѣе мелкой, чѣмъ обычно.

5.

Фанни Браиловская, личная секретарша Горфункеля, по утрамъ записываетъ подъ его диктовку ежедневныя наставленія шофферу Гришѣ, горничной Мэри (Марья Васильевна Струнникова) и кухаркѣ за повара, мадамъ Бушуевой, — подъ общимъ заголовкомъ:

**Меморандумъ
моихъ людей по менажу.**

Горфункель сидитъ въ сафьяновомъ креслѣ, откинувшись на спинку. Пунцовый шелковый халатъ распахивается, открывая голде колѣно и волосатые икры, опутанные проволокой вѣнь; пятки выскальзываютъ изъ пунцовыхъ туфель. Фанни Браиловская пишетъ, ея ногти лоснятся бронзовымъ лакомъ.

**Меморандумъ
отъ 12-го декабря.**

1. Необходимо просмотрѣть прошлые костюмы бывшихъ шофферовъ и выдать ихъ носить Гришѣ. Они безусловно подойдутъ. Вдобавокъ дать ему одинъ прошлогодній мой костюмъ синій (я укажу). Передѣлать уже долженъ онъ самъ, либо я готовъ дать на это максимумъ 10 фр. Я ему также дамъ мой галстухъ (одинъ) и перчатки, чтобы онъ всегда былъ элегантенъ и производилъ эффектное впечатлѣніе-гала (это не для меня лично, сколько для кліентуры).

2. Чтобы Гриша и Мэри сдѣлали слѣдующее: а) граммофонъ и радіо въ окончательный порядокъ (мембрану занять у моего шурина); в) повѣсить картину съ оленемъ въ корридорѣ; с) вызвать отъ Фурмана и поставить въ салонъ; д) въ моемъ отсутствіи отъ Парижа я приглашу мою бель-сэръ провѣрить весь инвентарь и количество старыхъ газетъ въ шкафу въ корридорѣ, которыя всегда пригодятся и сдѣлать точную опись, равно какъ и газетамъ и потомъ сдать Гришѣ и Мэри подъ расписку, равно какъ сдѣлать опись инвентаря въ ихъ комнатахъ и что есть въ догребѣ и гардь-манжѣ (консервы).

3. Мэри должна давать мои распоряженія (инструк-

дин) шофферу и записывать точно, когда онъ становится на работу и когда кончаетъ. Недостаточно, давать только шофферу, надо обязательно давать обратно мнѣ, чтобы я могъ въ любую минуту проверить.

4. Когда я, сходя съ машины, надо открывать дверцу и обязательно снимать фуражку съ поклономъ, какъ другіе. Къ этому вопросу болѣе не возвращаться...

Шофферъ Гриша — штабсъ-капитанъ изъ союза галиполійцевъ и холостякъ. Точнѣе говоря — не холостякъ, а женатый, но его жена съ пятилѣтнимъ сыномъ давно затерялась гдѣ-то въ Россіи. Иногда, разъ въ два-три мѣсяца, а то и разъ въ полгода, шофферъ Гриша вскакиваетъ ночью съ постели и грузно рыдаетъ. Въ такія минуты онъ даетъ себѣ клятву бросить машину Горфункеля подъ автобусъ. Утромъ, забывъ клятвы, шофферъ Гриша степенно отправляется въ гаражъ. Еще рѣже, не болѣе одного раза въ годъ, шофферъ Гриша наряжается въ походную форму своего полка (на груди — двѣ медали и орденъ Станислава 4-ой степени, оставленный ему приятелемъ Карпенко, уѣхавшимъ въ Парагвай, чтобы тамъ сѣсть на землю) и въ рядахъ русскихъ воинскихъ организацій и уцѣлѣвшихъ однополчанъ маршируетъ вдоль Елисейскихъ Полей къ могилѣ неизвѣстнаго солдата. Полное соблюденіе установленной формы не достигнуто, парадные мундиры движутся въ сосѣдствѣ съ защитными гимнастерками, эполеты — съ погонами, кое-гдѣ не хватаетъ оружія, кое-кто явился въ гражданскомъ платьѣ, но при военной фуражкѣ и знакахъ отличія. Впереди — сѣрая тѣнь Триумфальной арки — гигантская буква П на краю земли, ворота, уводящія въ небо. Лаютъ автомобили. Елисейскія Поля съ холоднымъ любопытствомъ пропускаютъ шествіе, похожее на довоенный фильмъ, и шофферу Гришѣ минутами отчетливо, до испарины стыда, начинаютъ казаться, что въ его рукахъ и вокругъ него — балабайки, домбры, гитары, и что шагающій въ первомъ

ряду генераль-майоръ Груздевичъ вотъ-вотъ обернется, взмахнётъ рукой, и всё запоютъ съ цыганской задумчивостью:

Дорогой дальнею, да ночью лунною,
 Да съ пѣсней той, что въ даль летитъ, звеня,
 Да съ той старинною, да семиструнною,
 Что по ночамъ такъ мучила меня...

5. Вчера было куплено мяса на 14 фр. и куда оно дѣлось? Только на бѣфъ-строгановъ? Совершенно невѣроятно. Для прислуги нужно готовить, что не стоить дорого и максимумъ 2 раза въ недѣлю немного мяса отъ моего стола.

6. Необходимо завести тетрадку для записи пустыхъ бутылокъ, которыя пригодятся (для принципа).

7. Почему вы не отсолили селедку, такъ какъ я страдаю диабетомъ?

8. Абсолютно натирать до блеска полъ въ W. C. и вѣшать изящную салфетку и бумагу двухъ сортовъ, что-же касается до анчоусовъ, то ихъ слѣдуетъ покупать въ итальянскомъ магазинѣ, п. ч. въ бочкахъ они дешевле, чѣмъ въ коробкахъ.

9. Всегда помнить, что вы живете во Франціи на положеніи рефюжье и что я дѣлаю для васъ больше, чѣмъ вся Лига Націй.

10. Проявлять инициативу.

.....

6.

Въ который разъ Сережа Милютинъ повторяетъ, что можетъ строить доходные дома, больницы, банки, вокзалы, кинематографы, отели, закупать матерьялы и техниче-

скія оборудованія для строительныхъ фирмъ, отдѣлывать и обставлять квартиры, магазины, выставочныя помѣщенія, писать декорации, чертить...

Господинъ Вормсъ, смотрѣвшій въ пространство, прерываетъ объясненія Милютина и, обращаясь къ сидящему рядомъ человѣку въ роговыхъ очкахъ, изучающему собственные ногти, то поднося пальцы къ лицу, то отодвигая ихъ на всю длину руки, — начинаетъ собственный рассказъ о банкирѣ Гордонѣ, о женѣ Гордона, мадамъ Гордонѣ, объ ихъ замкѣ на Изерѣ, гдѣ они познакомились съ Вормсомъ, такъ какъ на Изерѣ Гордоны и Вормсы — сосѣди. Вормсъ, кстати, предлагаетъ человѣку, изучающему собственные ногти, совершить совмѣстную поѣздку на Изеръ и по дорогѣ обсудить подробности ихъ общаго плана, а также отобѣдать съ юрисконсультomъ Шрамеромъ, и что къ обѣду они закажутъ форели и курицу, хотя онъ нигдѣ не ѣлъ такой форели, какъ въ Лионѣ, у матушки Фью. Сережа Милютинъ сидитъ, тягостно улыбаясь и все еще вѣря, что рассказъ господина Вормса будетъ имѣть къ нему, Милютину, какое-то отношеніе. Вообще, форель матушки Фью, связанная кольчикомъ и поданная съ отварнымъ картофелемъ въ растопленномъ маслѣ... Господинъ Вормсъ оживляется, и теперь его слова обращены не только къ человѣку съ ногтями, но отчасти и къ Сережѣ Милютину... Конечно, рыба рыбъ — рознь. Рыба бываетъ живая, уснувшая и замороженная. Доброкачественность уснувшей рыбы узнается по слѣдующимъ признакамъ: глаза должны быть полные, выпуклые и блестящіе; кожа — твердая и гладкая, безъ слизи и налета; мясо должно плотно прилегать къ костямъ; жабры должны быть внутри краснаго цвѣта. Чтобы убѣдиться, что жабры не подкрашены, надо потереть ихъ влажной бѣлой тряпочкой. Доброкачественность замороженной рыбы узнается также по выпуклости глазъ...

Несмотря на странный и не подходящий къ случаю предметъ разговора, посѣщеніе Милютинымъ господина Вормса надо признать удачнымъ, такъ какъ обычно въ свобод-

ныя минуты Вормсъ болѣе всего любилъ изобрѣтать ка- ламбуры; игру словъ, въ чемъ считалъ себя непревзой- деннымъ мастеромъ, какъ, впрочемъ, и въ дѣлахъ (ре- кламное агентство въ области мелкой и крупной промыш- ленности — отъ пилки для ногтей и противогазовыхъ ма- сокъ до гигантскихъ турбинъ и судостроительныхъ вер- фей). Противогазовую маску господинъ Вормсъ непре- мѣнно изображалъ розовой краской, на туалетномъ сто- ликѣ рядомъ съ зеркаломъ, пудреницей и томикомъ сти- ховъ графини де Ноайль; для пароходныхъ линій появля- лись счастливые молодожены на палубѣ; для охотничь- ихъ принадлежностей — заяцъ, восхищенно заглядываю- щій однимъ глазомъ въ дуло двухстволки; для средства противъ мозолей — обнаженная женщина, поставившая ногу въ тазъ; надъ которымъ паръ принималъ формы ро- зовыхъ лепестковъ; для искусственнаго кофе снова по- являлись молодожены; молодожены служили также ре- кламой для рисовой пудры, для спальныхъ вагоновъ, для курортныхъ гостиницъ; для зимняго спорта, для шерстя- ныхъ фуфаякъ, для грѣлокъ въ постели, для дѣтскихъ колясокъ, для двуспальныхъ кроватей, именуемыхъ «на- циональными», для газовыхъ плитъ, для ваннхъ комнатъ; для граммофоновъ и радіо, для автомобилей, электриче- скихъ станцій, порнографическихъ изданій, фотографиче- скихъ аппаратовъ, собачьихъ выставокъ, домостроитель- ныхъ компаній, универсальныхъ магазиновъ, лотерейныхъ билетовъ... Не менѣе часто господинъ Вормсъ прибѣгалъ къ изображенію Наполеона, или отдѣльныхъ частей На- полеона: прядь на лбу — для фиксажура; рука, просуну- тая въ разрѣзъ жилета — для пуговицъ; нога въ ботфор- тѣ, поставленная на барабанъ — для сапожной мази; На- полеонъ въ зеленыхъ очкахъ отъ яркаго свѣта; запасись Наполеонъ во-время такими очками, его не ослѣпило-бы солнце Аустерлица; Наполеонъ съ таблеткой аспирина, которая, несомнѣнно, спасла-бы его отъ пораженія при Ватерлоо. Какой-бы продуктъ не предлагали заботамъ

господина Вормса, въ его представленіи тотчасъ выступали молодожены, Наполеонъ и голая женщина — цѣлая или разрѣзанная на куски, какъ быкъ въ поваренной книгѣ.

7.

Тѣмъ временемъ Иванъ Константиновичъ Данько-Даньковскій въ полнѣйшемъ одиночествѣ мечтаетъ о подвигахъ. По своей природѣ Иванъ Константиновичъ — общественникъ. Онъ поправляетъ передъ зеркаломъ галстухъ. Покончивъ съ галстухомъ, Иванъ Константиновичъ придаетъ своему лицу надменное выраженіе, затѣмъ выраженіе тонкой ироніи, иронію смѣняетъ глубокомысліе, потомъ — стремительный поворотъ головы въ сторону, снисходительная улыбка, и въ зеркалѣ еще разъ отражается холодное, надменное лицо, видимое, впрочемъ, одному Ивану Константиновичу, потому что въ комнатѣ, кромѣ него, никого нѣтъ. Онъ беззвучно произноситъ длинную рѣчь, отражаетъ выпады невидимыхъ, но несомнѣнно существующихъ противниковъ, нетерпѣливо слушаетъ рукоплесканія. Иванъ Константиновичъ надѣваетъ пальто, шляпу и захвативъ листокъ бумаги для замѣтокъ, отправляется на диспутъ. Въ метро Ивану Константиновичу кажется, что люди, стѣснившіе его въ вагонѣ, прислушиваются къ рѣчи, и потому онъ улыбается, беззвучно продолжая говорить: «Предвидя новую атаку уважаемаго докладчика, я, все-же, постараюсь точнѣе отшлифовать мое положеніе, заключающее въ себѣ если не всѣ звенья, то...» Но страннымъ образомъ въ этомъ мѣстѣ рѣчь Ивана Константиновича включается въ громыханіе вагоновъ, и онъ никакими усиліями не можетъ ее оттуда извлечь. Онъ безпомощно повторяетъ «звеньето, звеньето, звеньето...» — непонятное слово, отставшее отъ мысли и вызывающее тоску.

Иванъ Константиновичъ выходитъ на бульваръ и тутъ же встрѣчаетъ Наталью Ильинишну Корсакъ.

— Вы, конечно, на диспутъ? — спрашиваетъ онъ.

— Нѣтъ, я на минутку въ аптеку: у Шурочки что-то съ желудкомъ...

Иванъ Константиновичъ машетъ рукой, бѣжитъ и у витрины «100.000 рубашекъ» (различимыхъ между собой только по номерамъ) нагоняетъ огромнаго Тошу-Картошу.

— Ты на диспутъ?

— На диспутъ.

— Будетъ бой! — начинаетъ Иванъ Константиновичъ, но Тоша-Картоша прощается: ему не по пути, онъ спѣшитъ, ну да — на диспутъ, но на другой.

Сидя въ пятомъ ряду, Иванъ Константиновичъ слушаетъ человѣка, въ очкахъ котораго отражается люстра. Надъ головой председателя виситъ, сбившись на бокъ, портретъ Пастера. Иванъ Константиновичъ дѣлаетъ замѣтки: на его потной ладони — листокъ бумаги, карандашъ чертитъ крестики, потомъ кружочекъ, точку; точка протыкаетъ бумагу. Руки дрожатъ, воротникъ давитъ горло, распалются уши. Третій ораторъ сходитъ съ эстрады, и тогда председатель, неумолимый и безпощадный къ Ивану Константиновичу, произноситъ, читая его записку:

— Слово предоставляется господину Дятло-Дятловскому. Кажется, такъ?

Иванъ Константиновичъ подымается, не чувствуя своихъ движеній; его несутъ, его сейчасъ бросятъ въ пропасть. Собравъ послѣднія силы, послѣднюю долю сознанія, ухватившись за послѣдній выступъ скалы, оказавшейся плечомъ сосѣда, Иванъ Константиновичъ чужимъ и пронзительнымъ голосомъ снимаетъ свою записку. Степанида Маврикиевна Бланшъ со вторымъ мужемъ, еще кто-то — почему, да почему вы раздумали говорить? На-

ступая на ноги, Иванъ Константиновичъ пробирается къ выходу и больше уже ничего не слышитъ, кромѣ собственнаго сердца. По складкамъ ладоней текутъ ручейки. На кафельныхъ станціяхъ метро мелькаютъ афиши: пятна, линіи, буквы, виноградныя лозы, газовыя плиты, пивныя стаканы, а также — молодожены и Наполеонъ.

Б. Темиряевъ.

Д а р ь

Глава II *).

Еще леталъ дождь, а уже появилась, съ неувимой внезапностью ангела, радуга: сама себѣ томно дивясь, розово-зеленая, съ лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошеннымъ полемъ, надъ и передъ далекимъ лѣскомъ, одна доля котораго, дрожа, просвѣчивала сквозь нее. Рѣдкія стрѣлы дождя, утратившаго и строй, и вѣсъ, и сноспособность шумѣть, невпопадъ, такъ и сякъ вспыхивали на солнцѣ. Въ омытомъ небѣ, сияя всѣми подробностями чудовищно-сложной лѣпки, изъ-за вороньего облака вырастывалось облако упоительной бѣлизны.

«Ну вотъ, прошло», — сказалъ онъ вполголоса и вышелъ изъ-подъ навѣса осинъ, столпившихся тамъ, гдѣ жирная, глинистая, «земская» (какой ухабъ былъ въ этомъ прозваніи!) дорога спускалась въ ложбинку, собравъ въ этомъ мѣстѣ всѣ свои колеи въ продолговатую выбоину, до красвъ налитую густымъ кофе со сливками.

Милая моя! Образчикъ элизейскихъ красокъ! Отецъ однажды, въ Ордосѣ, поднимаясь послѣ грозы на холмъ, ненарокомъ вошелъ въ основу радуги, — рѣдчайшій случай! — и очутился въ цвѣтномъ воздухѣ, въ играющемъ огнѣ, будто въ рая. Сдѣлалъ еще шагъ — и изъ рая вышелъ.

Она уже блѣднѣла. Дождь совсѣмъ пересталъ, пекло, оводъ съ шелковыми глазами сѣлъ на рукавъ. Въ рощѣ закуковала кукушка, тупо, чуть вопросительно: звукъ

*) См. «Совр. Зап.» кн. 63.

вздувался куполкомъ и опять — куполкомъ, никакъ не разрѣшаясь. Бѣдная толстая птица вѣроятно перелетѣла дальше, ибо все повторилось сызнова, вродѣ уменьшеннаго отраженія (искала, что-ли, гдѣ получается лучше, грустиѣ?). Громадная, плоская на лету, бабочка, изсиня-черная съ бѣлой перевязью, описавъ сверхестественноплавную дугу и опустившись на сырую землю, сложилась, тѣмъ самымъ исчезла. Такую иной разъ приносить, зажавъ ее обѣими руками въ картузь, сопящій крестьянскій мальчишка. Такая взмываетъ изъ-подъ сѣменящихся копытъ примѣрной докторской поньки, когда докторъ, держа на колѣняхъ почти ненужныя вожжи, а то просто прикрутивъ ихъ къ передку, задумчиво ѣдетъ тѣнистой дорогой въ больницу. А изрѣдка четыре черно-бѣлыхъ крыла съ кирпичной изнанкой находишь разсыпанными какъ игральныя карты на лѣсной тропѣ: остальное съѣла не-извѣстная птица.

Онъ перепрыгнулъ лужу, гдѣ два навозныхъ жука, мѣшая другъ другу, цѣплялись за соломинку, и отпечатавъ на краю дороги подошву: многозначительный слѣдъ ноги, все глядящій вверхъ, все видящій исчезнувшаго чело-вѣка. Идя полемъ, одинъ, подъ дивно несущимися облаками, онъ вспомнилъ, какъ съ первыми папиросами въ первомъ портсигарѣ подошель тутъ къ старому косарю, попросилъ огня; мужикъ изъ-за тощей пазухи вынулъ коробокъ, далъ его безъ улыбки, — но дулъ вѣтеръ, спичка за спичкой гасла, едва вспыхнувъ, — и послѣ каждой становилось все совѣстиѣ, а тотъ смотрѣлъ съ какимъ-то отвлеченнымъ любопытствомъ на торопливыя пальцы расточительнаго барчука.

Онъ углубился въ лѣсокъ; по тропѣ проложены были мостки, черныя, склизкія, въ рыжихъ сережкахъ и приставшихъ листкахъ. Кто это выронилъ сыроѣшку, разбившую свой бѣлый вѣрокъ? Въ отвѣтъ донеслось аukaanъ: дѣвчонки собирали грибы, чернику, — кажущуюся въ корзинѣ настолько темнѣе, чѣмъ на своихъ кусты-

кахъ! Среди березъ была одна издавна знакомая, — съ двойнымъ стволомъ, береза-лира, и рядомъ старый столбъ съ доской, на ней ничего нельзя было разобрать кромѣ слѣдовъ пули,—какъ то въ нее палилъ изъ браунинга гвернеръ-англичанинъ, тоже Браунингъ, а потомъ отецъ взялъ у него пистолеть, мгновенно-ловко вдавилъ въ обойму пули и семью выстрѣлами выбилъ ровное К.

Дальше, на болотцѣ, запросто цвѣла ночная фіалка, за нимъ пришлось пересѣчь проѣзжую дорогу, — и справа забѣлѣлась калитка: входъ въ паркъ. Извнѣ отороченный папоротникомъ, снутри пышно подбитый жимолостью и жасминомъ, тамъ омраченный хвоей елей, тутъ озаренный листвою березъ, громадный, густой и многодорожный, онъ весь держался на равновѣсїи солнца и тѣни, которыя отъ ночи до ночи образовали переменную, но въ своей переменности одному ему принадлежащую гармонїю. Если на аллеѣ, подъ ногами, колебались кольца горячаго свѣта, то вдалькѣ непремѣнно протягивалась поперекъ толстая бархатная полоса, за ней опять — оранжевая рѣшетка, а уже дальше, въ самой глуби, густѣла живая чернота, которая на бумагѣ пребывала похожей лишь покуда краски были еще мокры, такъ что приходилось накладывать слой за слоемъ, чтобы удержать красоту, — тутъ же умиравшую. Къ дому приводили всѣ тропинки, — но, вопреки геометріи, ближайшимъ путемъ казалась не прямая аллея, стройная и холеная, съ чуткой тѣнью (какъ слѣпая, поднимавшейся навстрѣчу, чтобы ощупать тебѣ лицо) и со взрывомъ изумруднаго солнца въ самомъ концѣ, а любая изъ сосѣднихъ, извилистыхъ и невыполотыхъ. Онъ шелъ къ еще невидимому дому по любимой изъ нихъ, мимо скамьи, на которой по традиціи сживали родители наканунѣ очереднаго отбытія отца въ путешествіе: отецъ, разставивъ колѣни, вертя въ рукахъ очки или гвоздику, опустивъ голову, съ канотье сдвинутымъ на затылокъ, и съ молчаливой, чуть насмѣшливой улыбкой около прищуренныхъ глазъ и въ мягкихъ угляхъ

губъ, гдѣ-то у самыхъ корней бородки; а мать, говорящая ему что-то, сбоку, снизу, изъ-подъ большой дрожащей бѣлой шляпы, или кончикомъ зонтика выдавливающая хрустящія ямки въ безотвѣтномъ пескѣ. Онъ шелъ мимо валуна со взлѣзшими на него рябинками (одна обернулась, чтобы подать руку меньшей), мимо заросшей травой площадки, бывшей въ дѣдовскія времена прудкомъ, мимо низенькихъ елокъ, зимой становившихся совершенно круглыми подъ бременемъ снѣга: снѣгъ падалъ прямо и тихо, могъ падать такъ три дня, пять мѣсяцевъ, девять лѣтъ, — и вотъ уже, впереди, въ утыканномъ бѣлыми мушками просвѣтѣ, намѣтилось приближающееся мутное, желтое пятно, которое, вдругъ попавъ въ фокусъ, дрогнувъ и уплотнившись, превратилось въ вагонъ трамвая, и мокрый снѣгъ полетѣлъ косо, залѣпляя лѣвую грань стекляннаго столба остановки, но асфальтъ оставался черенъ и голъ, точно по природѣ своей неспособенъ былъ принять ничего бѣлаго, и среди плывущихъ въ глазахъ, сначала даже непонятныхъ надписей надъ аптекарскими, писчебумажными, колоніальными лавками только одна единственная могла еще казаться написанной по-русски: Ка к а о, — между тѣмъ какъ кругомъ все только-что воображенное съ такой картинной ясностью (которая сама по себѣ была подозрительна, какъ яркость сновъ въ неурочное время дня или послѣ снотворнаго) блѣднѣло, раздѣдалось, разсыпалось, и, если оглянуться, то — какъ въ сказкѣ исчезаютъ ступени лѣстницы за спиной поднимающагося по ней, — такъ все проваливалось и пропадало, — прощальное сочетаніе деревьевъ, стоявшихъ какъ провожающіе и уже уносимыхъ прочь, полинявшій въ стиркѣ клочокъ радуги, дорожка, отъ которой остался только жестъ поворота, терхкрылая, безъ брюшка, бабочка на булавкѣ, гвоздика на пескѣ, около тѣни скамейки, — еще какія-то самыя послѣднія, самыя стойкія мелочи, — и еще черезъ мигъ все это безъ борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо изъ вос-

поминанія (быстраго и безумнаго, находившаго на него какъ припадокъ смертельной болѣзни въ любой часть, на любомъ углу), прямо изъ оранжерейнаго рая прошлаго, онъ пересѣлъ въ берлинскій трамвай.

Онъ ѣхалъ на урокъ, какъ всегда опаздывалъ, и, какъ всегда, въ немъ росла смутная, скверная, тяжелая ненависть и къ неуклюжей медлительности этого бездарнѣйшаго изъ всѣхъ способовъ передвиженія, и къ безнадежно-знакомымъ, безнадежно-некрасивымъ улицамъ, шедшимъ за мокрымъ окномъ, а главное — къ ногамъ, бокамъ, затылкамъ туземныхъ пассажировъ. Онъ разсудкомъ зналъ, что среди нихъ могутъ быть и настоящія, вполне человѣческія особи, съ безкорыстными страстями, чистыми печалями, даже съ воспоминаніями, просвѣчивающими сквозь жизнь, — но почему-то ему сдавалось, что всѣ эти скользящіе, холодные зрачки, посматривающіе на него такъ, словно онъ провозилъ незаконное сокровище (какъ въ сущности оно и было), принадлежать лишь гнуснымъ кумушкамъ и гнилымъ торгашамъ. Русское убѣжденіе, что въ маломъ количествѣ нѣмецъ пошль, а въ большемъ — пошль нестерпимо, было, онъ зналъ это, убѣжденіемъ, недостойнымъ художника; а все-таки его пробираала дрожь, — и только угрюмый кондукторъ съ загнанными глазами и пластыремъ на пальцѣ, вѣчно-мучительно ищущій равновѣсія и прохода среди судорожныхъ толчковъ вагона и скотской тѣсноты стоящихъ, внѣшне казался, если не человѣкомъ, то хоть бѣднымъ родственникомъ человѣка. На второй остановкѣ передъ Федоромъ Константиновичемъ сѣлъ сухощавый, въ полупальто съ лисьимъ воротникомъ, въ зеленой шляпѣ и потрепанныхъ гетрахъ, мужчина, — сѣвши, толкнулъ его колѣномъ да угломъ толстаго, съ кожаной хваткой, портфеля — и тѣмъ самымъ обратилъ его раздраженіе въ какое-то ясное бѣшенство, такъ что, взглянувъ пристально на сидящаго, читая его черты, онъ мгновенно сосредоточилъ на немъ всю свою грѣшную ненависть (къ жалкой, бѣдной, вымирающей націи) и отчетливо

зналъ, за что ненавидѣть его: за этотъ низкій лобъ, за эти блѣдные глаза; за фольмильхъ и экстраштаркхъ, — подразумѣвающіе законное существованіе разбавленнаго и поддѣльнаго; за полишинелевый строй движеній, — угрозу пальцемъ дѣтямъ — не какъ у насъ стойкомъ стоящее напоминаніе о небесномъ Судьѣ, а символъ колеблющейся палки, — палецъ, а не перстъ; за любовь къ частоколу, ряду, заурядности; за культъ конторы; за то, что если прислушаться, что у него говорится внутри (или къ любому разговору на улицѣ), неизбѣжно услышишь цифры, деньги; за дубовый юморъ и пипифаксовый смѣхъ; за толщину задовъ у обоего пола, — даже если въ остальной своей части субъектъ и не толстъ; за отсутствіе брезгливости; за видимость чистоты — блескъ кастрюльныхъ днищъ на кухнѣ и варварскую грязь ваннхъ комнатъ; за склонность къ мелкимъ гадостямъ, за аккуратность въ гадостяхъ, за мерзкій предметъ, аккуратно нацѣпленный на рѣшетку сквера; за чужую живую кошку, насквозь проткнутую въ отместку сосѣду проволокой, къ тому же ловко закрученной съ конца; за жестокость во всемъ, самодовольную, какъ-же-иначе-нужно; за неожиданную восторженную услужливость, съ которой человѣкъ пять прохожихъ помогаютъ тебѣ подобрать оброненные гроши; за... Такъ онъ нанизывалъ пункты пристрастнаго обвиненія, глядя на сидящаго противъ него, — покуда тотъ не вынулъ изъ кармана номеръ васьильевской «Газеты», равнодушно кашлянувъ съ русской интонаціей.

«Вотъ это славно», — подумалъ Федоръ Константиновичъ, едва не улыбнувшись отъ восхищенія. Какъ умна, изящно лукава и въ сущности добра жизнь! Теперь въ чертахъ читавшаго газету онъ различалъ такую отечественную мягкость — морщины у глазъ, большія ноздри, по-русски подстриженные усы, — что сразу стало и смѣшно, и непонятно, какъ это можно было обмануться. Его мысль ободрилась на этомъ нечаянномъ привалѣ и уже потекла иначе. Ученикъ, къ которому онъ ѣхалъ, мало образован-

ный, но любознательный старый еврей, еще въ прошломъ году вдругъ захотѣлъ научиться «болтать по-французски», что казалось старику и выполнимѣе, и свойственнѣе его лѣтамъ, характеру, жизненному опыту, чѣмъ сухое изученіе грамматики языка: эти графы переплыли эти рѣки. Незамѣнно въ началѣ урока, крихтя и примѣшивая множество русскихъ, нѣмецкихъ словъ къ шепоткѣ французскихъ, онъ описывалъ свое утомленіе послѣ дня работы (завѣдывалъ крупной бумажной фабрикой), и отъ этихъ длительныхъ жалобъ переходилъ, сразу попадая съ головой въ безвыходныя потемки, къ обсужденію — по-французски — международной политики, при чемъ требовалъ чуда: чтобы все это дикое, вязкое, тяжкое, какъ перевозка камней по размытой дорогѣ, обратилось вдругъ въ ажурную французскую рѣчь. Вовсе лишенный способности запоминать слова (и любящій говорить объ этомъ не какъ о недостаткѣ, а какъ объ интересномъ свойствѣ своей натуры), онъ не только не дѣлалъ никакихъ успѣховъ, но даже успѣлъ за годъ ученія позабыть тѣ нѣсколько французскихъ фразъ, которыя засталъ у него Федоръ Константиновичъ, и на основѣ которыхъ старикъ мнилъ построить за три-четыре вечера свой собственный, легкій, живой, переносный Парижъ. Увы, бесплодно шло время, доказывая тщетность усилій, невозможность мечты, — да и преподаватель попался неопытный, неувѣренный, совершенно терявшійся, когда бѣдному фабриканту вдругъ требовалась точная справка (какъ по-французски «ровница?»), отъ которой, впрочемъ, спрашивающій тотчасъ изъ деликатности отказывался, и оба приходили въ минутное смущеніе, какъ въ старой идилліи невинные юноша и дѣва, невзначай коснувшіеся другъ друга. Мало-по-малу становилось невыносимо. Оттого, что ученикъ все удрученнѣе ссылался на усталость мозговъ и все чаще пропускалъ уроки (небесный голосъ его секретарши по телефону, — мелодія счастья!), Федору Константиновичу казалось, что онъ наконецъ убѣдился въ неумѣлости учите-

ля, но изъ жалости къ его поношеннымъ штанамъ длить и будетъ длить до гроба эту взаимную пытку.

И сейчасъ, сидя въ трамваѣ, онъ такъ несбыточно ярко увидѣлъ, какъ черезъ семь-восемь минутъ войдетъ въ знакомый, съ берлинской животной роскошью обставленный кабинетъ, сядетъ въ глубокое кожаное кресло подлѣ низкаго металлическаго столика съ открытой для него стеклянной шкатулкой, полной папирось, и лампой въ видѣ географическаго глобуса, закуритъ, дешево бодро закинетъ ногу на ногу и встрѣтится съ изнемогающимъ, покорнымъ взглядомъ безнадежнаго ученика, — такъ живо услышалъ его вздохъ и неискоренимое «ну, вуй», которымъ тотъ уснащалъ свои отвѣты, что вдругъ неприятное чувство опозданія замѣнилось въ душѣ Федора Константиновича отчетливымъ и какимъ-то нагло-радостнымъ рѣшеніемъ не явиться на урокъ вовсе, а слѣзть на слѣдующей остановкѣ и вернуться домой, къ недочитанной книгѣ, къ виѣ-житейской заботѣ, къ блаженному туману, въ которомъ плыла его настоящая жизнь, къ сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вотъ уже около года. Онъ зналъ, что нынче получилъ бы за нѣсколько уроковъ плату, зналъ, что иначе придется опять въ долгъ курить и обѣдать, но совершенно мирился съ этимъ ради той дѣятельной лѣни (все тутъ, въ этомъ сочетаніи), ради возвышеннаго прогула, который онъ себѣ разрѣшалъ. И разрѣшалъ не впервые. Застѣнчивый и зыскаательный, живя всегда въ гору, тратя всѣ свои силы на преслѣдованіе безчисленныхъ существъ, мелькавшихъ въ немъ, словно на зарѣ въ мифологической роцѣ, онъ уже не могъ принуждать себя къ общенію съ людьми для заработка или забавы, а потому былъ бѣденъ и одинокъ. И, какъ бы на зло ходячей судьбѣ, было пріятно вспоминать, какъ однажды лѣтомъ онъ не поѣхалъ на вечеръ въ «загородной виллѣ» исключительно потому, что Чернышевскіе предупредили его, что тамъ будетъ человѣкъ, который «можетъ быть ему полезенъ», или какъ прош-

лой осенью не удосужился снестись съ бракоразводной конторой, гдѣ требовался переводчикъ, — оттого что сочинялъ драму въ стихахъ, оттого что адвокатъ, сулившій ему этотъ заработокъ, былъ докучливъ и глупъ, оттого, наконецъ, что слишкомъ откладывалъ, а потомъ ужъ не могъ рѣшиться.

Онъ выбрался на площадку вагона. Тотчасъ же вѣтеръ грубо его обыскалъ, послѣ чего Федоръ Константиновичъ потуже затянулъ поясокъ макинтоша, поправилъ шарфъ, — но небольшое количество трамвайнаго тепла было уже у него отнято. Снѣгъ валить пересталъ, а куда пропалъ — неизвѣстно; оставалась только вездѣсушая сырость, которая сказывалась и въ шуршащемъ звукѣ автомобильныхъ шинъ, и въ какомъ-то по-свински рѣзкомъ, терзающемъ слухъ, рваномъ воплѣ рожковъ, и въ темнотѣ дня, дрожавшаго отъ холода, отъ грусти, отъ омерзѣнія къ себѣ, и въ особомъ желтомъ оттѣнкѣ уже зажженныхъ витринъ, въ отраженіяхъ, въ отливахъ, въ текущихъ огняхъ, — во всемъ этомъ болѣзненномъ недержаніи электрическаго свѣта. Трамвай выѣхалъ на площадь и, мучительно затормазивъ, остановился, но остановился лишь предварительно, такъ какъ впереди, у каменнаго островка, гдѣ тѣснились осаждающіе, застряли два другихъ номера, оба съ прицѣпными вагонами, и въ этомъ косномъ нагроможденіи тоже какъ то сказывалось гибельное несовершенство міра, въ которомъ Федоръ Константиновичъ все еще пребывалъ. Онъ больше не могъ, онъ выскочилъ и зашагалъ черезъ скользкую площадь къ другой трамвайной линіи, по которой обманнымъ образомъ могъ вернуться въ свой районъ съ тѣмъ же билетомъ, — годнымъ на одну пересадку, а отнюдь не на обратный путь; но честный казенный расчетъ, что пассажиръ будетъ ѣхать только въ одномъ направленіи, подрывался въ нѣкоторыхъ случаяхъ тѣмъ, что, при знаніи маршрутовъ, можно было прямой путь незамѣтно обратить въ дугу, загибающуюся къ отправной точкѣ. Этой остроумной си-

стемъ (пріятно доказывавшей нѣкій чисто-нѣмецкій по-рокъ въ планировкѣ трамвайныхъ линий) Федоръ Константиновичъ слѣдовалъ охотно, однако, по разсѣянности, по неспособности длительно ласкать мыслью выгоду, и думая уже о другомъ, машинально платилъ наново за билетъ, который намѣревался съэкономить. И все-таки процвѣталъ обманъ, все-таки не онъ, а вѣдомство городскихъ путей сообщенія оказывалось въ накладѣ, — и при томъ на гораздо, гораздо большую сумму, чѣмъ можно было ожидать: перейдя площадь и свернувъ на боковую улицу, онъ пошелъ къ трамвайной остановкѣ сквозь небольшую на первый взглядъ чащу елокъ, собранныхъ тутъ для продажи по случаю приближавшагося Рождества; между ними образовалась какъ бы аллея; размахивая на ходу рукой, онъ кончиками пальцевъ задѣвалъ мокрую хвою; но вскорѣ аллея расширилась, ударило солнце, и онъ вышелъ на площадку сада, гдѣ, на мягкомъ красномъ пескѣ, можно было различить помѣтки лѣтняго дня: отпечатки собачьихъ лапъ, бисерный слѣдъ трясогузки, данлоповую полосу отъ Танинаго велосипеда, волнисто раздвоившуюся при поворотѣ, и впадинку отъ каблука тамъ, гдѣ она легкимъ, нѣмымъ движеніемъ, въ которомъ была какая-то четверть пируэта, вбокъ соскользнула съ него и сразу пошла, все держась за руль. Старый, въ елочномъ стилѣ, деревянный домъ, выкрашенный въ блѣдно-зеленый цвѣтъ, съ зелеными же водосточными трубами, съ узорными вырѣзами подъ крышей и высокимъ каменнымъ основаніемъ (гдѣ въ сѣрой замазкѣ мерещились словно круглые, розовые крупы замурованныхъ коней), большой, крѣпкій и необыкновенно выразительный домъ, съ балконами на уровнѣ липовыхъ вѣтокъ и верандами, украшенными драгоценными стеклами, плылъ навстрѣчу, облетаемый ласточками, идя на всѣхъ маркизахъ, чертя громоотводомъ по синевѣ, по яркимъ бѣлымъ облакамъ, безъ конца раскрывавшимъ объята. На каменныхъ ступеняхъ носовой веранды, въ упорѣ освѣ-

шенные солнцемъ, сидятъ: отецъ, явно съ купанья, въ мохнатомъ полотенцѣ чалмой, такъ что не видать — а какъ хотѣлось бы! — его темнаго бобрика съ просѣдью, низко, мыскомъ, находящаго на лобъ; мать, вся въ бѣломъ, глядящая прямо передъ собой и какъ-то молодо обхватившая колѣни руками; рядомъ — Таня, въ широкой блузкѣ, съ концомъ черной косы на ключицѣ, опустившая гладкій проборъ и держащая на рукахъ фокс-терьера, во весь ротъ улыбающагося отъ жары; повыше — невышедшая почему-то Ивонна Ивановна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талія, кушачекъ, цѣлочка часовъ; бокомъ, пониже, полулежа и опираясь головой на колѣни круглолицей барышни (бантики, бархатка), учившей Таню музыкѣ, — братъ отца, толстый военный врачъ, балагуръ и красавецъ; еще ниже — два кисленькихъ, неподлобья глядящихъ гимназиста, двоюродные братья Федора: одинъ въ фуражкѣ; другой безъ, — тотъ, который безъ, убитъ спустя лѣтъ семь подъ Мелитополемъ; совсѣмъ низко, уже на песокъ, точь-въ-точь въ позѣ матери — самъ Федоръ, какимъ онъ былъ тогда, — впрочемъ мало съ тѣхъ поръ измѣнившійся, бѣлозубый, чернобровый, коротко остриженный, въ открытой рубашкѣ. Кто снималъ, забылось, но эта мгновенная, блеклая, негодная даже для переснятія и въ общемъ незначительная (сколько было другихъ, лучшихъ) фотографія, одна, чудомъ сбереглась и стала безцѣнной, доѣхавъ до Парижа въ вещахъ матери, которая на прошлое Рождество ему и привезла ее въ Берлинъ, — ибо теперь, выбирая сыну подарокъ, она руководилась уже не тѣмъ, что всего дороже приобрести, а тѣмъ, съ чѣмъ всего труднѣе разстаться.

Она тогда пріѣхала къ нему на двѣ недѣли послѣ трехлѣтней разлуки, и въ первое мгновеніе, когда, до смертной блѣдности напудренная, въ черныхъ перчаткахъ и черныхъ чулкахъ, въ распахнутой старой котиковой шубкѣ, она сошла по желѣзнымъ ступенькамъ вагона, смотря одинаково быстро то себѣ подъ ноги, то на него, и

вдругъ, съ лицомъ искаженнымъ мукой счастья, припала къ нему, блаженно мыча, цѣлуя его въ ухо, въ шею, ему показалось, что красота, которой онъ такъ гордился, выцвѣла, но по мѣрѣ того, какъ его зрѣніе приспособлялось къ сумеркамъ настоящаго, столь сначала отличнымъ отъ далеко отставшаго свѣта памяти, онъ опять узнавалъ въ ней все, что любилъ: чистый очеркъ лица, суживающійся къ подбородку, измѣнчивую игру зеленыхъ, карихъ, желтыхъ восхитительныхъ глазъ подъ бархатными бровями, легкую, длинную поступь, жадность, съ которой она закурила въ такси, вниманіе, съ которымъ вдругъ посмотрѣла — не ослѣпнувъ, значитъ, отъ волненія встрѣчи, какъ ослѣпла бы всякая — на обоими замѣченный гротескъ: невозмутимый мотоциклистъ провезъ въ прицѣпной кареткѣ бюстъ Вагнера; и уже, когда приблизились къ дому, прошлый свѣтъ догналъ настоящее, пропиталъ его до насыщенія, и все стало такимъ, какимъ бывало въ этомъ же Берлинѣ три года назадъ, какъ бывало когда-то въ Россіи, какъ бывало и будетъ всегда.

У фрау Стобой нашлась свободная комната, и тамъ, въ первый же вечеръ (раскрытый несессеръ, снятыя кольца на мраморѣ умывальника), лежа на диванѣ и быстро-быстро поѣдая изюмъ, безъ котораго не могла прожить ни одного дня, она заговорила о томъ, къ чему постоянно возвращалась вотъ уже скоро девятый годъ, снова повторяя — невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь въ чемъ-то таинственномъ и ужасномъ, — что все больше вѣрить въ то, что отецъ Федора живъ, что трауръ ея нелѣпость, что глухой вѣсти о его гибели никто никогда не подтвердилъ, что онъ гдѣ-то въ Тибетѣ, въ Китаѣ, въ плѣну, въ заключеніи, въ какомъ-то отчаянномъ омутѣ затрудненій и бѣдъ, что онъ поправляется послѣ долгой-долгой болѣзни, — и вдругъ, съ шумомъ распахнувъ дверь и притопнувъ на порогѣ, войдетъ. И въ еще большей мѣрѣ, чѣмъ прежде, Федору отъ этихъ словъ становилось и хорошо, и страшно. Поневолѣ при-

выкинувъ за всё эти годы считать отца мертвымъ, онъ уже чуялъ нѣчто уродливое въ возможности его возвращенія. Допустимо ли, что жизнь можетъ совершить не просто чудо, а чудо, лишенное вовсе (непремѣнно такъ, — иначе не вынести) малѣйшаго оттѣнка сверхестественности? Чудо этого возвращенія состояло бы въ его земной природѣ, въ его уживчивости съ разсудкомъ, въ немедленномъ введеніи невѣроятнаго случая въ условно-понятную связь обыкновенныхъ дней; но чѣмъ больше росло съ годами требованіе такой естественности, тѣмъ становилось жизни труднѣе исполнить его, — и теперь не просто призракъ было представить себѣ страшно, а призракъ, который бы страшнымъ не былъ. Бывали дни, когда Федору казалось, что внезапно на улицѣ (есть въ Берлинѣ такіе тупички, гдѣ въ сумерки душа какъ бы распыляется) къ нему подойдетъ, въ сказочныхъ отрепьяхъ, нищій старикъ лѣтъ семидесяти, обросшій до глазъ бородой, и вдругъ подмигнетъ, и скажетъ, какъ говаривалъ нѣкогда: здравствуй, сыне! Отецъ часто являлся ему во снѣ, будто только что вернувшійся съ какой-то чудовищной каторги, перенесшій тѣлесныя пытки, о которыхъ упоминать заказано, уже переодѣвшійся въ чистое бѣлье, — о тѣлѣ подъ нимъ нельзя думать, — и съ никогда ему несвойственнымъ выраженіемъ непріятной, многозначительной хмурости, потный и слегка какъ бы оскаленный, сидящій за столомъ, въ кругу притихшей семьи. Когда же, превозмогая ощущение фальши въ самомъ стилѣ, навязываемомъ судьбѣ, онъ все-таки заставлялъ себя вообразить пріѣздъ живого отца, постарѣвшаго, но несомнѣнно родного, и полнѣйшее, убѣдительнѣйшее объясненіе нѣмого отсутствія, его охватывалъ, вмѣсто счастья, тошный страхъ, — который, однако, тотчасъ исчезалъ, уступая чувству удовлетворенной гармоніи, когда онъ эту встрѣчу отодвигалъ за предѣлы земной жизни.

А съ другой стороны... Бываетъ, что въ теченіе долгаго времени тебѣ общается большая удача, въ которую

съ самага начала не вѣришь, такъ она не похожа на прочія подношенія судьбы, а если порой и думаешь о ней, то какъ бы со снисхожденіемъ къ фантази, — но когда наконецъ, въ очень будничнѣй день съ западнымъ вѣтромъ, приходитъ извѣстіе, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдругъ съ удивленіемъ понимаешь, что, хоть и не вѣришь, а все это время жилъ ею, не сознавая постояннаго, домашняго присутствія мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, такъ что теперь никакъ не вытолкнешь ее изъ жизни, не сдѣлавъ въ жизни дыры. Такъ и Федоръ Константиновичъ, вопреки разсудку и не смѣя представить себѣ ея воплощенія, жилъ привычною мечтой о возвращеніи отца, таинственно украшавшей жизнь и какъ бы поднимавшей ее выше уровня сосѣднихъ жизней, такъ что было видно много далекаго и необыкновеннаго, какъ когда его, маленькаго, отецъ поднималъ подъ локотки, чтобы онъ могъ увидѣть интересное за заборомъ.

Послѣ перваго вечера, освѣживъ надежду и убѣдившись, что въ сынѣ та же надежда жива, Елизавета Павловна больше не упоминала о ней словесно, но, какъ всегда, она подразумѣвалась во всѣхъ ихъ разговорахъ, особенно потому, что не такъ ужъ много они разговаривали вслухъ: часто случалось, что послѣ нѣсколькихъ минутъ оживленнаго молчанія Федоръ вдругъ замѣчалъ, что все время оба отлично знали, о чемъ эта двойная, какъ бы подтравная рѣчь, вдругъ выходящая наружу однимъ ручьемъ, обоимъ понятнымъ словомъ. И бывало, они играли такъ: сидя рядомъ и молча про себя воображая, что каждый совершаетъ одну и ту же лѣшинскую прогулку, они выходили изъ парка, шли дорожкой вдоль поля (слѣва, за ольшаникомъ, рѣчка), черезъ тѣнистое кладбище, гдѣ кресты въ пятнахъ солнца показывали руками размѣръ чего-то пребольшаго, и гдѣ было какъ-то неловко срывать малину, черезъ рѣчку, опять вверхъ, лѣсомъ, опять къ рѣчкѣ, къ Pont des Vaches, и дальше, сквозь

соснякъ, и по Chemin du Pendu, — родныя, не рѣжущія ихъ русскаго слуха прозванія, придуманныя еще тогда, когда дѣды были дѣтьми. И вдругъ, среди этой безгласной прогулки, которую двѣ мысли продѣлывали, пользуясь по правиламъ игры мѣрой человѣческаго шага (хотя въ одинъ мигъ могли бы облетѣть свои владѣнія), оба останавливались и говорили, гдѣ кто находится, и когда оказывалось, какъ это бывало часто, что ни одинъ не обогналъ другого, остановившись въ томъ же перелѣскѣ, — у матери и сына вспыхивала одна и та же улыбка сквозь общую слезу.

Очень скоро они опять вошли въ свой внутренній ритмъ общенія, ибо мало было новаго, чего бы они уже не знали изъ писемъ. Она доразсказала ему о недавней свадьбѣ Тани, которая теперь, съ незнакомымъ Федору мужемъ, ладнымъ, спокойнымъ, очень вѣжливымъ и ничѣмъ незамѣчательнымъ господиномъ, «работающимъ въ области радіо», уѣхала до января въ Бельгію, и что, когда вернется, то она поселится съ ними на новой квартиркѣ, въ огромномъ домѣ у одной изъ парижскихъ заставъ: рада была выѣхать изъ маленькой, съ крутой темной лѣстницей, гостиницы, гдѣ до того жила съ Таней въ крохотной, но многоугольной комнатѣ, цѣликомъ поглощаемой зеркаломъ и посѣщаемой разнокалиберными клопами — отъ прозрачно-розовыхъ малютокъ до коричневыхъ, дубленыхъ толстяковъ, — жившими семьей то за стѣннымъ календаремъ съ левитановскимъ видомъ, то поближе къ дѣлу, за пазухой рваныхъ обоевъ, прямо надъ двуспальной кроватью; но радуясь новоселью, она и опасалась его: зять не пришелся ей по душѣ, и было что-то притворное въ Таниномъ бодромъ, показномъ счастьѣ, — «ну, понимаешь, онъ несовѣмъ нашего круга», — какъ-то сжавъ челюсти и глядя внизъ, выговорила она, — но это было не все, да впрочемъ Федоръ уже зналъ о томъ другомъ человѣкѣ, котораго любила Таня, который не любилъ ея.

Они довольно много выходили, Елизавета Павловна

какъ всегда будто искала чего-то, быстро обводя мѣръ летучимъ взглядомъ переливчатыхъ глазъ. Нѣмецкій праздничекъ выдался дождливымъ, панели отъ лужъ казались дырявыми, въ окнахъ тупо горѣли огни елокъ, кое-гдѣ на углахъ рекламный рождественскій дѣдъ въ красномъ зипунѣ, съ голодными глазами, раздавалъ объявленья. Въ витринахъ универсальнаго магазина какой-то мерзавецъ придумалъ выставить истуканы лыжниковъ, на бертолетовомъ снѣгу, подъ Виолеттской звѣздой. Какъ то видѣли скромное коммунистическое шествіе, — по слякоти, съ мокрыми флагами — все больше подбитые жизнью, горбатые, да хромые, да кволые, много некрасивыхъ женщинъ и нѣсколько солидныхъ мѣщанъ. Отправились по-смотреть на домъ, на квартиру, гдѣ втроемъ два года прожили, но швейцаръ уже былъ другой, прежній хозяинъ умеръ, въ знакомыхъ окнахъ были чужія занавѣски, и какъ то ничего нельзя было сердцемъ узнать. Побывали въ кинематографѣ, гдѣ давалась русская фильма, причемъ съ особымъ шикомъ были поданы виноградины по-та, катящіяся по блестящимъ лицамъ фабричныхъ, — а фабрикантъ все курилъ сигару. И конечно онъ ее повелъ къ Александрѣ Яковлевнѣ.

Знакомство несовсѣмъ удалось. Чернышевская встрѣтила гостью со скорбной ласковостью, явно показывая, что опытъ горя давно и крѣпко связываетъ ихъ; а Елизавету Павловну больше всего интересовало, какъ та относится къ стихамъ Федора, и почему никто не пишетъ о нихъ. «Можно васъ поцѣловать?» — спросила Чернышевская на прощаніе, уже привставая на цыпочки, — была на голову ниже Елизаветы Павловны, которая и склонилась къ ней съ какой-то невинной и радостной улыбкой, совершенно уничтожавшей смыслъ объята. «Ничего, надо терпѣть, — сказала Александра Яковлевна, выпуская ихъ на лѣстницу и прикрывая подбородокъ краемъ пухового платка, въ который куталась. — Надо терпѣть, — я такъ научилась терпѣть, что могла бы давать уроки тер-

нѣнія, но я думаю, вы тоже хорошо прошли эту школу».

«Знаешь, — сказала Елизавета Павловна, осторожно-легко сходя съ лѣстницы и не оборачивая опущенной головы къ сыну, — я, кажется, просто куплю гильзы и табакъ, а то такъ выходитъ дороговатенько», — и тотчасъ добавила тѣмъ же голосомъ: «Господи, какъ ее жалко». И точно, нельзя было Александру Яковлевну не пожалѣть. Ея мужъ вотъ уже четвертый мѣсяцъ содержался въ пріютѣ для ослабѣвшихъ душой, въ «желтоватомъ домѣ», какъ онъ самъ игриво выражался въ минуты просвѣта. Еще въ октябрѣ Федоръ Константиновичъ какъ то и посѣтилъ его тамъ. Въ разумно обставленной палатѣ сидѣлъ пополнѣвшій, розовый, отлично выбритый и совершенно сумасшедшій Александръ Яковлевичъ, въ резиновыхъ туфляхъ и непромокаемомъ плащѣ съ куколемъ. «Какъ, развѣ вы умерли?» — было первое, что онъ спросилъ, — скорѣе педовольно, чѣмъ удивленно. Состоя «предсѣдателемъ общества борьбы съ потустороннимъ», онъ все изобрѣталъ различныя средства для непропусканія призраковъ (врачъ, примѣняя новую систему «логическаго потворства», не препятствовалъ этому) и теперь, исходя вѣроятно изъ другой ея непроводности, испытывалъ резину, но повидимому результаты до сихъ поръ получались скорѣе отрицательные, потому что, когда Федоръ Константиновичъ хотѣлъ было взять для себя стулъ, стоявшій въ сторонкѣ, Чернышевскій раздраженно сказалъ: «Оставьте, вы же отлично видите, что тамъ уже сидятъ двое», — и это «двое», и шуршащій, всплескивающій при каждомъ его движеніи плащъ, и безсловесное присутствіе служителя, точно это было свиданіе въ тюрьмѣ, и весь разговоръ больного показались Федору Константиновичу невыносимо карикатурнымъ огрубленіемъ того сложнаго, прозрачнаго, еще благороднаго, хотя и полубезумнаго, состоянія души, въ которомъ такъ недавно Александръ Яковлевичъ общался съ утраченнымъ сыномъ. Тѣмъ ядрено-балагурнымъ тономъ, который онъ прежде

приберегаль для шутокъ — а теперь говорилъ всерьезъ, — онъ сталъ пространно сѣтовать, все почему-то по-нѣмецки, на то, что люди-де тратятся на выдумываніе зенитныхъ орудій и воздушныхъ отравъ, а не заботятся вовсе о веденіи другой, въ миліонъ разъ болѣе важной борьбы. У Федора Константиновича была на окатѣ виска запекшаяся ссадина, — утромъ стукнулся о ребро парового отопленія, второпяхъ доставая изъ-подъ него закатившійся колпачекъ отъ пасты. Вдругъ оборвавъ рѣчь, Александръ Яковлевичъ брезгливо и безпокойно указалъ пальцемъ на его високъ. «Was haben Sie da?», — спросилъ онъ, болѣзненно сморщась, — а затѣмъ нехорошо усмѣхнулся и, все больше сердясь и волнуясь, началъ говорить, что его не проведешь, — сразу призналъ, молъ, свѣжаго самоубійцу. Служитель подошелъ къ Федору Константиновичу и попросилъ его удалиться. И идя черезъ могильно-роскошный садъ, мимо жирныхъ клумбъ, гдѣ въ блаженномъ успеніи цвѣли басисто-багряныя георгины, по направленію къ скамейкѣ, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившая къ мужу, но дѣльные дни проводившая въ непосредственной близости отъ его жилья, озабоченная, бодрая, всегда съ пакетами, — идя по этому пестрому гравію между миртовыхъ, похожихъ на мебель, кустовъ и принимая встрѣчныхъ посѣтителей за параноиковъ, Федоръ Константиновичъ тревожно думалъ о томъ, что несчастье Чернышевскихъ является какъ бы издѣвательской вариацией на тему его собственнаго, пронзеннаго надеждой, горя, — и лишь гораздо позднѣе онъ понималъ все изящество королларія и всю безупречную композиціонную стройность, съ которой включалось въ его жизнь это побочное звучаніе.

За три дня до отъѣзда матери, въ большомъ, хорошо знакомомъ русскимъ берлинцамъ залѣ, принадлежащемъ обществу зубныхъ врачей, судя по портретамъ маститыхъ дантистовъ, глядящихъ со стѣнъ, состоялся открытый литературный вечеръ, въ которомъ участвовалъ и Федоръ

Константиновичъ. Народу набралось мало, было холодно, у дверей покуривали все тѣ же примелькавшіеся представители мѣстной русской интеллигенціи, — и, какъ всегда, Федоръ Константиновичъ, увидѣвъ то или иное знакомое, симпатичное лицо, устремлялся къ нему съ искреннимъ удовольствіемъ, смѣнявшимся скукой послѣ перваго разгона бесѣды. Къ Елизаветѣ Павловнѣ присоединилась въ первомъ ряду Чернышевская; и по тому, какъ мать изрѣдка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федоръ, витавшій по залу, заключалъ, что ей мало интересно общество сосѣдки. Наконецъ начали. Сперва читалъ писатель съ именемъ, въ свое время печатавшійся во всѣхъ русскихъ журналахъ, сѣдой, бритый, чѣмъ-то похожій на удода старикъ, со слишкомъ добрыми для литературы глазами; онъ прочелъ толково-бытовымъ говоркомъ повѣсть изъ петербургской жизни наканунѣ революціи, съ героиней, нюхавшей эфиръ, шикарными шпіонами, шампанскимъ, Распутинымъ и апокалиптически-апоплексическими закатами надъ Невой. Послѣ него нѣкто Кронъ, пишущій подъ псевдонимомъ Ростиславъ Странный, порадовалъ насъ длиннымъ рассказомъ о романтическомъ приключеніи въ городѣ стоокомъ, подъ небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительныхъ, глаголы тоже куда-то улетали, и почему-то разъ десять повторялось слово «сторожка» («она сторожка улыбку роняла», «защѣтали каштаны сторожка»). Послѣ перерыва густо пошелъ поэтъ: высокій юноша съ пуговичнымъ лицомъ, другой, низенькій, но съ большимъ носомъ, барышня, пожилой въ пенснэ, еще барышня, еще молодой, наконецъ — Кончевъ, въ отличіе отъ побѣдоносной чеканности прочихъ тихо и вяло пробормотавшій свои стихи, но въ нихъ сама по себѣ жила такая музыка, въ темномъ какъ будто стихѣ такая бездна смысла раскрывалась у ногъ, такъ вѣрилось въ звуки, и такъ изумительно было, что вотъ, изъ тѣхъ же словъ, которыя нанизывались всѣми, вдругъ воз-

никало, лилось и ускользало, не утоливъ до конца жаж-
ды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся въ сло-
вахъ, своеобразное совершенство, что впервые за вечеръ
рукоплесканія были непритворны. Послѣднимъ выступилъ
Годуновъ-Чердынцевъ. Онъ прочелъ изъ сочиненныхъ за
лѣто стихотвореній тѣ, которыя Елизавета Павловна такъ
любила, — русское:

Березы желтыя нѣмѣютъ въ небѣ синемъ...

и берлинское, начинающееся строфой:

Здѣсь все такъ плоско, такъ непрочно,
такъ плохо сдѣлана луна,
хотя изъ Гамбурга нарочно
она сюда привезена...

и то, которое больше всего ее трогало, хотя она какъ-то
не связывала его съ памятью молодой женщины, давно
умершей, которую Федоръ въ шестнадцать лѣтъ любилъ:

Однажды мы подвечеръ оба
стояли на старомъ мосту.
Скажи мнѣ, спросилъ я, до гроба
запомнишь — вонъ ласточку ту?
И ты отвѣчала: еще-бы!

И какъ мы заплакали оба,
какъ вскрикнула жизнь налету...
До завтра, навѣки, до гроба, —
однажды, на старомъ мосту...

Но было уже поздно, многіе продвигались къ выходу,
какая-то дама одѣвалась спиной къ эстрадѣ, ему аппло-
дировали жидко... Чернѣла на улицѣ сырая ночь, съ бѣ-
шенымъ вѣтромъ: никогда, никогда не доберемся домой.
Но все-таки трамвай пришелъ, и, повисая въ проходѣ на
ремнѣ, надъ молчаливо сидящей у окна матерью, Федоръ
Константиновичъ съ тяжелымъ отвращеніемъ думалъ о
стихахъ, по сей день имъ написанныхъ, о словахъ-щеляхъ,

объ утечкѣ поэзіи, и въ то же время съ какой-то радостной, гордой энергіей, со страстнымъ нетерпѣніемъ, уже искалъ созданія чего-то новаго, еще неизвѣстнаго, настоящаго, полностью, отвѣчающаго дару, который онъ какъ бремя чувствовалъ въ себѣ.

Наканунѣ ея отъѣзда они вдвоемъ поздно засидѣлись въ его комнатѣ, она, въ креслѣ, легко и ловко (а вѣдь прежде вовсе не умѣла) штопала и подшивала его бѣдныя вещи, а онъ, на диванѣ, грызъ ногти, читалъ толстую, потрепанную книгу; раньше, въ юности, пропускалъ нѣкоторыя страницы, — «Анжелло», «Путешествіе въ Арзрумъ», — но послѣднее время именно въ нихъ находилъ особенное наслажденіе: только-что попались слова: «Граница имѣла для меня что-то таинственное; съ дѣтскихъ лѣтъ путешествія были моею любимой мечтой», какъ вдругъ его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, онъ отложилъ книгу и слѣпными пальцами полѣзъ въ картонку съ набитыми папиросами. Въ ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала: «Что я сейчасъ вспомнила! Смѣшныя двустушья о бабочкахъ, которыя ты съ нимъ вмѣстѣ сочинялъ, когда гуляли, — помнишь, — Надѣтъ у fraxini подъ шубой фракъ синій». «Да, — отвѣтилъ Федоръ, — нѣкоторыя были прямо эпическія: То не листъ, даръ Борея, то сидитъ arborea». (Что это было! Самый первый экземпляръ отецъ только-что привезъ изъ путешествія, найдя его во время передняго пути по Сибири, — еще даже не успѣлъ описать, — а въ первый же день по пріѣздѣ, въ лѣшинскомъ паркѣ, въ двухъ шагахъ отъ дома, вовсе не думая о бабочкахъ, гуляя съ женой, съ дѣтьми, бросая теннисный мячъ фоксъ-терьерамъ, наслаждаясь возвращеніемъ, нѣжной погодой, здоровьемъ и вселостью семьи, но безсознательно, опытнымъ взглядомъ ловца, замѣчая всякое попадавшееся на пути насекомое, онъ внезапно указалъ Федору концомъ трости на пухленькаго, рыжеватаго, съ волнистымъ вырѣзомъ крыльень, шелкопряда изъ рода листоподобныхъ, спав-

шаго на стебелькѣ, подѣ кустомъ; хотѣлъ было пройти мимо, — въ этомъ родѣ виды другъ на друга похожи, — но вдругъ самъ присѣлъ, наморщилъ лобъ, осмотрѣлъ находку и вдругъ сказалъ яркимъ голосомъ: «Well, I'm damned! Стоило такъ далеко таскаться». «Я тебѣ всегда говорила», — смѣясь вставила мать. Мохнатое, крошечное чудовище въ его рукѣ было какъ разъ привезенная имъ новинка, — и гдѣ, въ Петербургской губерніи, фауна которой такъ хорошо изслѣдована! Но какъ часто бываетъ, разыгравшаяся сила совпаденія на этомъ не остановилась, ея хватило еще на одинъ перегонъ, — ибо черезъ нѣсколько дней выяснилось, что эта новая бабочка только-что описана, по петербургскимъ же экземплярамъ, однимъ изъ коллегъ отца, — и Федоръ всю ночь проплакалъ: опередили!).

И вотъ она собралась обратно въ Парижъ. Въ ожиданіи поѣзда они долго стояли на узкомъ дебаркадерѣ, у подъемной машины для багажа, а на другихъ линіяхъ задерживались на минуту, торопливо хлопая дверьми, грустные городскіе поѣзда. Влетѣлъ парижскій скорый. Мать сѣла и тотчасъ высунулась изъ окна, улыбаясь. У сосѣдняго добротнаго спальнаго вагона, провожая какую-то простенькую старушку, стояли блѣдная, красноротая красавица, въ черномъ шелковомъ пальто съ высокимъ мѣховымъ воротомъ, и знаменитый летчикъ-акробатъ: всѣ смотрѣли на него, на его кашнэ, на его спину, словно искали на ней крыльевъ.

«Хочу тебѣ кое-что предложить, — весело сказала мать на прощаніе. — У меня осталось около семидесяти марокъ, онѣ мнѣ совершенно не нужны, а тебѣ необходимо лучше питаться, не могу видѣть, какой ты худенькій. На, возьми». «Avec joie», — отвѣтилъ онъ, заразъ вообразивъ годовой билетъ на посѣщеніе государственной бібліотеки, молочный шоколадъ и корыстную молоденькую нѣмку, которую иногда, въ грубую минутку, все собирался себѣ подыскать.

Задумчивый, разсѣянный, смутно мучимый мыслью, что матери онъ какъ бы не сказалъ самаго главнаго, Федоръ Константиновичъ вернулся къ себѣ, разулся, отломилъ съ обрывкомъ серебра уголь плитки, придвинулъ къ себѣ раскрытую на диванѣ книгу... «Жатва струилась, ожидающая серпа». Опять этотъ божественный уколъ! А какъ звала, какъ подсказывала строка о Терекѣ («то-то былъ онъ ужасень!») или — еще точнѣе, еще ближе — о татарскихъ женщинахъ: «Онѣ сидѣли верхами, окутанныя въ чадры: видны были у нихъ только глаза да каблукки».

Такъ онъ вслушивался въ чистѣйшій звукъ пушкинскаго камертона — и уже зналъ, чего именно этотъ звукъ отъ него требуетъ. Спустя недѣли двѣ послѣ отъѣзда матери онъ ей написалъ про то, что замыслилъ, что замыслить ему помочь прозрачный ритмъ «Арзрума», и она отвѣчала такъ, будто уже знала объ этомъ. «Давно я не бывала такъ счастлива, какъ съ тобой въ Берлинѣ, — писала она, — но смотри, это предпріятіе не изъ легкихъ, я чувствую всей душой, что ты его осуществишь замѣчательно, но помни, что нужно много точныхъ свѣдѣній, и очень мало семейной сентиментальности. Если тебѣ что нужно, я сообщу тебѣ все, что могу, но о специальныхъ свѣдѣніяхъ самъ позаботься, вѣдь это главное, возьми всѣ его книги, и книги Григорія Ефимовича, и книги великаго князя, и еще, и еще, ты конечно разберешься въ этомъ, и непременно обратись къ Крюгеру, Василию Германовичу, разыщи его, если онъ еще въ Берлинѣ, онъ съ нимъ разъ вмѣстѣ ѣздилъ, помнится, а также къ другимъ, ты лучше меня знаешь къ кому, напиши къ Авинову, къ Верити, напиши къ нѣмцу, который до войны пріѣзжалъ къ намъ, Бенгасъ? Бонгасъ? напиши въ Штуттгартъ, въ Лондонъ, въ Трингъ, всюду, débrouille-toi, вѣдь сама я ничего въ этомъ не смыслю, и только звучать въ ушахъ эти имена, а какъ я увѣрена, что ты справишься, мой милый». Но онъ еще ждалъ, — отъ задуманнаго труда вѣяло счастьемъ, онъ сплнкой боялся это счастье испортить, да и

сложная отвѣтственность труда пугала его, онъ къ нему не былъ еще готовъ. Въ теченіе всей весны продолжая тренировочный режимъ, онъ питался Пушкинымъ, вдыхалъ Пушкина, — у пушкинскаго читателя увеличиваются легкія въ объемъ. Учасъ мѣткости словъ и предѣльной чистотѣ ихъ сочетанія, онъ доводилъ прозрачность прозы до ямба и затѣмъ преодолевалъ его, — живымъ приѣромъ служило:

«Не приведи Богъ видѣть русскій бунтъ
безсмысленный и безпощадный».

Закаляя мускулы музыки, онъ какъ съ желѣзной палкой, ходилъ на прогулку съ цѣлыми страницами «Пугачева», выученными наизусть. Навстрѣчу шла Каролина Шмидтъ, дѣвушка сильно нарумяненная, вида скромнаго и смиреннаго, купившая кровать, на которой умеръ Шонингъ. За груневальдскимъ лѣсомъ куриль трубку у своего окна похожій на Симеона Вырина смотритель, и такъ же стояли горшки съ бальзаминомъ. Лазоревый сарафанъ барышни-крестьянки мелкалъ среди ольховыхъ кустовъ. Онъ находился въ томъ состояніи чувствъ и души, когда существовавшая, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ видѣніяхъ первосонья.

Пушкинъ входилъ въ его кровь. Съ голосомъ Пушкина сливался голосъ отца. Онъ цѣловалъ горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную, пахнущую утреннимъ калачомъ. Онъ помнилъ, что няню къ нимъ взяли оттуда же, откуда была Арина Родіоновна, — изъ-за Гатчины, съ Суйды: это было въ часъ ѣзды отъ ихъ мѣстъ — и она тоже говорила «эдакъ пѣвкомъ». Онъ слышалъ, какъ свѣжимъ лѣтнимъ утромъ, когда спускались къ купальнѣ, на дощатой стѣнкѣ которой золотомъ переливалось отраженіе воды, отецъ съ классическимъ пафосомъ повторялъ то, что считалъ прекраснѣйшимъ изъ всѣхъ когда-либо въ мірѣ написанныхъ стиховъ: «Тутъ Апполонъ — идеаль, тамъ Нюбея — печаль», — и ры-

жимъ крыломъ да перламутромъ ніобея мелькала надъ скабюзами прибрежной лужайки, гдѣ въ первыхъ числахъ іюня попадался изрѣдка маленькій «черный» апполонъ.

Безъ отдыха, съ упоеніемъ, онъ теперь (въ Берлинѣ съ поправкой на тринадцать дней уже тоже было начало іюня) по-настоящему готовился къ работѣ, собиралъ матеріалы, читалъ до разсвѣта, изучалъ карты, писалъ письма, видался съ нужными людьми. Отъ прозы Пушкина онъ перешелъ къ его жизни, такъ что вначалѣ ритмъ пушкинскаго вѣка мѣшался съ ритмомъ жизни отца. Ученыя книги (со штемпелемъ берлинской бібліотеки всегда на девяносто девятой страницѣ), знакомые тома «Путешествія натуралиста» въ незнакомыхъ черно-зеленыхъ обложкахъ, лежали рядомъ со старыми русскими журналами, гдѣ онъ искалъ пушкинскій отблескъ. Тамъ онъ однажды наткнулся на замѣчательные «Очерки прошлаго» А. Н. Сухощкова, въ которыхъ были между прочимъ двѣ-три страницы относившіяся къ дѣду, Кириллу Ильичу (отецъ какъ-то говорилъ о нихъ — съ неудовольствіемъ), и то, что мемуаристъ касался его въ случайной связи съ мыслями о Пушкинѣ, теперь показалось какъ-то особенно значительнымъ, даромъ, что тотъ вывелъ Кирилла Ильича хватомъ и шелопаемъ.

«Говорятъ, — писалъ Сухощковъ, — что человѣкъ, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущаетъ ее, чевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующія мышцы. Такъ и Россія еще долго будетъ ощущать живое присутствіе Пушкина. Есть нѣчто соблазнительное, какъ пропасть, въ его роковой участи, да и самъ онъ чувствовалъ, что съ рокомъ у него были и будутъ особые счеты. Въ дополненіе къ поэту, извлекающему поэзію изъ своего прошедшаго, онъ еще находилъ ее въ трагической мысли о будущемъ. Тройная формула человѣческаго бытія: невозвратимость, несбыточность, неизбежность, — была ему хорошо знакома. А какъ же ему хотѣлось жить! Въ уже упомянутомъ альбомѣ моей «ака-

демической» тетки имъ было собственноручно записано стихотвореніе, которое до сихъ поръ помню умомъ и глазами, такъ что вижу даже положеніе его на страницѣ:

О нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла,
Я жить хочу, я жить люблю.
Душа не вовсе охладѣла,
Утрата молодость свою.
Еще судьба меня согрѣеть,
Романомъ генія упыюсь,
Мицкевичъ пусть еще созрѣеть,
Еще я самъ кой-чѣмъ займусь.

Ни одинъ поэтъ, кажется, такъ часто, то шутя, то суевѣрно, то вдохновенно-серьезно, не вглядывался въ грядущее. До сихъ поръ у насъ въ Курской губерніи живеть, переваливъ за сто лѣтъ, старикъ, котораго помню уже пожилымъ человѣкомъ, придурковатымъ и недобрымъ, — а Пушкина съ нами нѣтъ. Между тѣмъ, въ теченіе долгой жизни моей встрѣчаясь съ замѣчательными талантами и переживая замѣчательныя событія, я часто задумывался надъ тѣмъ, какъ отнесся бы онъ къ тому, къ этому: вѣдь онъ могъ бы увидѣть освобожденіе крестьянъ, могъ бы прочитать «Анну Каренину»!... Возвращаясь теперь къ этимъ моимъ мечтаніямъ, вспоминаю, что въ юности однажды мнѣ даже было нѣчто вродѣ видѣнія. Этотъ психологическій эпизодъ сопряженъ съ воспоминаніемъ о лицѣ, здравствующемъ понынѣ, которое назову Ч., — да не посѣтуетъ оно на меня за это оживленіе далекаго прошлаго. Мы были знакомы домами, дѣдъ мой съ его отцомъ водили нѣкогда дружбу. Будучи въ 36 году заграницей, этотъ Ч., тогда совсѣмъ юноша (ему и семнадцати не было), повздорилъ съ семьей, тѣмъ ускоривъ, говорятъ, кончину своего батюшки, героя отечественной войны, и въ компаніи съ какими-то гамбургскими купцами преспокойно уплылъ въ Бостонъ, а оттуда попалъ въ Техасъ, гдѣ успѣшно занимался скотоводствомъ. Такъ прошло лѣтъ

двадцать. Нажитое состояніе онъ проигралъ въ экартэ на миссисипскомъ кильботѣ, отыгрался въ притонахъ Нового Орлеана, снова все просадила и послѣ одной изъ тѣхъ безобразно-продолжительныхъ, громкихъ, дымныхъ дуэлей въ закрытомъ помѣщеніи бывшихъ тогда фашіонбельными въ Луизианѣ, — да и многихъ другихъ приключеній, онъ заскучалъ по Россіи, гдѣ его кстати ждала вотчина, и съ той же безпечной легкостью, съ какой уѣзжалъ, вернулся въ Европу. Какъ-то въ зимній день, въ 1858 году, онъ нагрязнулъ къ намъ на Мойку; отецъ былъ въ отъѣздѣ, гостя принимала молодежь. Глядя на этого заморскаго щеголя въ черной мягкой шляпѣ и черной одеждѣ, среди романтическаго мрака коей особенно ослѣпительно выдѣлялись шелковая, съ пышными сборками, рубашка и сине-сиренево-розовый жилетъ съ алмазными луговицами, мы съ братомъ едва могли сдержатъ смѣхъ, и тутъ же рѣшили воспользоваться тѣмъ, что за всѣ эти годы онъ ровно ничего не слыхалъ о родинѣ, точно она куда провалилась, такъ что теперь сорокалѣтнимъ Рипъванъ-Винкелемъ проснувшись въ измѣнившемся Петербургѣ, Ч. былъ жаденъ до всяческихъ свѣдѣній, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причемъ ввали безбожно. На вопросъ, на примѣръ, живъ ли Пушкинъ, и что пишетъ, я кощунственно отвѣчалъ, что «какъ же, на-дняхъ тиснулъ новую поэму». Въ тотъ же вечеръ мы повели нашего гостя въ театръ. Вышло, впрочемъ, несовсѣмъ удачно. вмѣсто того, чтобы его попотчевать новой русской комедіей, мы показали ему «Отелло» со знаменитымъ чернокожимъ трагикомъ Ольдриджемъ въ главной роли. Нашего плагатора сперва какъ бы разсмѣшило появленіе настоящаго негра на сценѣ. Къ дивной мощи его игры онъ остался равнодушенъ и больше занимался разглядываніемъ публики, особливо нашихъ петербургскихъ дамъ (на одной изъ которыхъ вскорѣ послѣ того женился), поглощенныхъ въ ту минуту завистью къ Дездемонѣ.

«Посмотрите, кто съ нами рядомъ, — вдругъ обратился вполголоса мой братецъ къ Ч. — Да вотъ, справа отъ насъ».

Въ сосѣдней ложѣ сидѣлъ старикъ... Небольшого роста, въ поношенномъ фракѣ, желтовато-смуглый, съ растрепанными пепельными баками и просѣдью въ жидкихъ, взъерошенныхъ волосахъ, онъ преоригинально наслаждался игрою африканца: толстыя губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иныхъ пассажахъ онъ даже подскакивалъ и стучалъ отъ удовольствія по барьеру, сверкая перстнями.

«Кто же это?» — спросилъ Ч.

«Какъ, не узнаете? Вглядитесь хорошенько».

«Не узнаю».

Тогда мой братъ сдѣлалъ большіе глаза и шепнулъ:

«Да вѣдь это Пушкинъ!»

Ч. поглядѣлъ... и черезъ минуту заинтересовался чѣмъ-то другимъ. Мнѣ теперь смѣшно вспоминать, какое тогда на меня нашло странное настроеніе: шалость, какъ это иной разъ случается, обернулась не тѣмъ бокомъ, и легкомысленно вызванный духъ не хотѣлъ исчезнуть; я не въ силахъ былъ оторваться отъ сосѣдней ложи, я смотрѣлъ на эти рѣзкія морщины, на широкой носъ, на большія уши... по спинѣ пробѣгали мурашки, вся отеллова ревность не могла меня отвлечь. Что если это и впрямь Пушкинъ, грезилось мнѣ, Пушкинъ въ шестьдесятъ лѣтъ, Пушкинъ, пощаженный лудей рокового хлыща, Пушкинъ, вступившій въ роскошную осень своего генія... Вотъ это онъ, вотъ эта желтая рука, сжимающая маленькій дамскій бинокль, написала «Анчаръ», «Графа Нулина», «Египетскія Ночи»... Дѣйствіе кончилось; грянули рукоплесканія. Сѣдой Пушкинъ порывисто всталъ и все еще улыбаясь, со свѣтлымъ блескомъ въ молодыхъ глазахъ, быстро вышелъ изъ ложи».

Сухощоконъ напрасно рисуетъ моего дѣда пустоголовымъ удалцомъ. Интересы послѣдняго находились про-

сто въ другой плоскости, чѣмъ мысленный быть молодого петербургскаго литератора-дилетанта, какимъ былъ тогда нашъ мемуаристъ. Если Кирилль Ильичъ и кудесиль въ молодости, то, женившись, не только остепенился, но поступилъ на государственную службу, за одно удвоилъ удачными операціями унаслѣдованное состояніе, затѣмъ, удалясь въ свою деревню, выказалъ необыкновенное умѣніе въ хозяйствѣ, изобрѣлъ мимоходомъ новый сортъ яблокъ, оставилъ любопытную «Записку» (плодь зимнихъ досуговъ) о «Равенствѣ передъ закономъ въ царствѣ животныхъ», да предложеніе остроумной реформы подъ моднымъ тогда замысловатымъ заглавіемъ «Сновидѣнія Египетскаго Бюрократа», а уже старикомъ принялъ важнѣйшій торгово-дипломатическій постъ въ Лондонѣ. Онъ былъ добръ, смѣль, правдивъ, съ причудами и страстями, — чего еще надобно? Въ семьѣ осталось преданіе, что заклывшись играть, онъ физически не могъ пребывать въ комнатѣ, гдѣ лежала колода картъ. Старинный косятъ, хорошо послужившій ему, и медальонъ съ портретомъ таинственной женщины притягивали неизъяснимо мечты моего отрочества. Онъ мирно завершилъ жизнь, сохранившую до конца свѣжесть своего грозоваго начала. Въ 1883 году, воротясь въ Россію, уже не луизианскимъ бретѣромъ, а російскимъ сановникомъ, онъ, въ іюльскій день, на кожаномъ диванѣ, въ маленькой, синей угловой комнатѣ, гдѣ потомъ я держалъ собраніе моихъ бабочекъ, безъ мученій скончался, въ предсмертномъ бреду все говори о какихъ-то огняхъ и музыкѣ на какой-то большой рѣкѣ.

Мой отецъ родился въ 1860 году. Любовь къ бабочкамъ ему привилъ нѣмецъ-гуверниеръ (кстати: куда дѣвались нынче эти учившіе русскихъ дѣтей природѣ-чудаки, — зеленый сачекъ, жестянка на перевязи, уколотая бабочками шляпа, длинный ученый носъ, невинные глаза за очками, — гдѣ они всѣ, гдѣ ихъ скелетики, — или это была особая порода нѣмцевъ, на русскій выводъ, или я

плохо смотрю?). Рано, въ 1876 году, окончивъ въ Петербургѣ гимназію, онъ университетское образованіе получилъ въ Англии, въ Кембриджѣ, гдѣ занимался биологіей подъ руководствомъ профессора Брайта. Первое свое путешествіе, кругосвѣтное, онъ совершилъ еще до смерти своего отца, и съ тѣхъ поръ до 1918 года вся его жизнь состоитъ изъ странствій и писанія ученыхъ трудовъ. Главныя эти труды суть: «*Lepidoptera Asiatica*» (8 томовъ, выпусками, съ 1890 года по 1914 годъ), «Чешуекрылыя Россійской Имперіи» (вышли первые 5 томовъ изъ предполагавшихся 12-ти, 1903-1916 гг.) и, наиболѣе извѣстная широкой публикѣ, «Путешествія Натуралиста» (7 томовъ, 1892-1912 гг.). Эти труды были единогласно признаны классическими и еще въ молодые годы имя его заняло одно изъ первыхъ мѣстъ въ изученій состава русско-азиатской фауны, наряду съ именами зачинателей, Фишера-фонъ-Вальдгейма, Менетріэ, Эверсмана.

Онъ работалъ въ тѣсной связи со своими замѣчательными русскими современниками. Холодковскій называетъ его «конквистадоромъ русской энтомологіи». Онъ былъ сотрудникомъ Шарля Обертюра, вел. кн. Николая Михайловича, Лича, Зайтца. Въ специальныхъ журналахъ разсѣяны сотни его статей, изъ коихъ первая, — «Объ особенностяхъ появленія нѣкоторыхъ бабочекъ въ Петербургской губерніи» (*Horae Soc. Ent. Ross.*) относится къ 1877 году, а послѣдняя, — «*Austautia simonoides n. sp., a Geometrid moth mimicking a small Parnassius* (*Trans. Ent. Soc. London*) — къ 1916-му. Онъ ѣдко и вѣско полемизировалъ со Штаудингеромъ, авторомъ пресловутаго «*Catalog*». Онъ былъ вице-президентомъ Русскаго Энтомологическаго Общества, дѣйствительнымъ членомъ Московскаго О-ва Испытателей Природы, членомъ Императорскаго Русскаго Географическаго О-ва, почетнымъ членомъ множества ученыхъ обществъ заграницей.

Между 1885-ымъ годомъ и 1918-ымъ онъ обошелъ пространство невѣроятное, производя съемки пути въ пяти-

верстномъ масштабѣ на протяженіи многихъ тысячъ верстъ и собирая поразительныя коллекціи. За эти годы онъ совершилъ восемь крупныхъ экспедицій, длившихся въ общей сложности восемнадцать лѣтъ; но между ними было еще множество мелкихъ путешествій «диверсій», какъ онъ ихъ называлъ, причемъ этой мелочью почиталъ не только поѣздки въ наименѣе изслѣдованныя европейскія страны, но и то кругосвѣтное путешествіе, которое продѣлалъ въ молодости. Взявшись серьезно за Азію, онъ изслѣдовалъ Восточную Сибирь, Алтай, Фергану, Памиръ, Западный Китай, «острова Гобійскаго моря и его берега», Монголію, «неисправимый материкъ» Тибета — и въ точныхъ, полновѣсныхъ словахъ описалъ свои странствія.

Такова общая схема жизни моего отца, выписанная изъ энциклопедіи. Она еще не поетъ, но живой голосъ я въ ней уже слышу. Остается сказать, что въ 1889 году, имѣя 38 лѣтъ отроду, онъ женился на Елизаветѣ Павловнѣ Вѣжиной, двадцатилѣтней дочкѣ извѣстнаго государственнаго дѣятеля, что у него было отъ нея двое дѣтей, что въ промежуткахъ между его путешествіями — —

Мучительный, едва выразимый словами, чѣмъ-то кощунственный вопросъ: хорошо ли ей жилось съ нимъ, врозь и вмѣстѣ? Затронуть ли этотъ внутренній міръ, или ограничиться лишь описаніемъ дорогъ — *arida quaedam viarum descriptio*? «Дорогая мама, у меня уже есть къ тебѣ большая просьба. Сегодня 8-ое іюля, его день рожденія. Въ другой день я бы не рѣшился объ этомъ обращаться къ тебѣ. Напиши мнѣ что-нибудь о немъ и себѣ. Не такое, что могу найти въ нашей общей памяти, а такое, что ты одна перечувствовала и сохранила». И вотъ отвѣтный отрывокъ: «...представь себѣ — свадебное путешествіе, Пиренси, дивное блаженство отъ всего, отъ солнца, отъ ручьевъ, отъ цвѣтовъ, отъ снѣжныхъ вершинъ, даже отъ мухъ въ отеляхъ, — и оттого что мы каждое мгновеніе вмѣстѣ. И вотъ, какъ то утромъ, у меня разболѣлась, что-ли, голова, или было ужъ черезчуръ для ме-

ня жарко, онъ сказалъ, что до завтрака выйдетъ на полчаса прогуляться. Почему-то запомнилось, что я сидѣла на балконѣ отеля (кругомъ тишина, горы, чудныя скалы Гаварни) и въ первый разъ читала книгу не для дѣвицъ, «Une Vie» Мопассана, мнѣ тогда она очень понравилась, помню. Смотрю на часики, вижу уже пора завтракать, прошло больше часа съ тѣхъ поръ, какъ онъ ушелъ. Жду. Сперва немножко сержусь, потомъ начинаю тревожиться. Подаютъ на террасѣ завтракъ, не могу ничего съѣсть. Выхожу на лужайку передъ отелемъ, возвращаюсь къ себѣ, опять выхожу. Еще черезъ часъ я уже была въ неописуемомъ состояннн ужаса, волненнн, Богъ знаетъ чего. Я путешествовала впервые, была неопытна и пуглива, а тутъ еще «Une Vie»... Я рѣшила, что онъ бросилъ меня, самыя глупыя и страшныя мысли лѣзли въ голову, день проходилъ, мнѣ казалось, что служащне смотрятъ на меня съ какимъ-то злорадствомъ, — ахъ, не могу тебѣ описать, что это было! Я даже начала совать платья въ чемоданы, чтобы уѣхать немедленно въ Россню, а потомъ рѣшила вдругъ, что онъ умеръ, выбѣжала, начала что-то безумное лепетать людямъ, посылать въ полицію. Вдругъ вижу, онъ идетъ по лужайкѣ, лицо веселое, какимъ я его еще не видала, хотя все время былъ веселъ, идетъ, машетъ мнѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, свѣтлыя штаны въ мокрыхъ зеленыхъ пятнахъ, панамы исчезла, пиджакъ на боку порванъ... Я думаю, ты уже понимаешь, что случилось. Слава Богу по крайней мѣрѣ, что онъ ее наконецъ все-таки поймалъ, — въ платокъ, на отвѣсной скалѣ, — а то заночевалъ бы въ горахъ, какъ онъ мнѣ и объяснилъ преспокойно... Но теперь я хочу тебѣ рассказать другое, изъ немного болѣе поздняго времени, когда я уже знала, что такое всамдѣлшняя разлука. Вы были тогда совсѣмъ маленькими, тебѣ шелъ третнй годокъ, ты не можешь этого помнить. Онъ весной уѣхалъ въ Ташкентъ. Оттуда перваго юня долженъ былъ отправиться въ путешествнн и отсутствовать не меньше двухъ лѣтъ. Это уже

быль второй большой отъездъ за наше съ нимъ время. Я теперь часто думаю, что если сложить всё тѣ годы, которые онъ со дня нашей свадьбы провелъ безъ меня, то выйдетъ въ общемъ не больше его теперешняго отсутствія. И еще я думаю о томъ, что мнѣ тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастіе было одной изъ красокъ счастья. Словомъ, я не знаю, что со мной случилось въ ту весну, я всегда была какъ шалая, когда онъ уѣзжалъ, но тогда нашла что-то прямо неприличное. Я вдругъ рѣшила, что догоню его и поѣду съ нимъ хоть до осени. Я тайкомъ отъ всѣхъ накупила тысячу вещей, я абсолютно не знала, что нужно, но мнѣ казалось, что покупаю все очень хорошо и правильно. Я помню бинокль, и альпенштокъ, и походную койку, и шлемъ отъ солнца, и заячій тулупчикъ изъ «Капитанской Дочки», и перламутровый револьверчикъ, и какую-то брезентовую махину, которой я боялась, и какую-то сложную фляжку, которую не могла развинтить. Однимъ словомъ, вспомни снаряженіе *Tartarin de Tarascon*! Какъ я могла васъ маленькихъ оставить, какъ я прощалась съ вами, — это въ какомъ-то туманѣ, и я ужъ не помню, какъ выскользнула изъ-подъ надзора дяди Олега, какъ добралась до вокзала. Но мнѣ было и странно и весело, я себя чувствовала молодцомъ, и на станціяхъ всѣ смотрѣли на мой англійскій дорожный костюмъ съ короткой (*entendons-vous*: по щиколку) клетчатой юбкой, съ биноклемъ черезъ одно плечо и сакошкой черезъ другое. Такой я выскочила изъ тарантаса въ посылкѣ за Ташкентомъ, когда увидѣла, при яркомъ солнцѣ, никогда не забуду, въ ста шагахъ отъ дороги, твоего отца: онъ стоялъ, поставивъ ногу на бѣлый камень, а локоть на изгородь, и разговаривалъ съ двумя казаками. Я побѣжала по щебню, крича и смѣясь, онъ медленно обернулся, и когда я вдругъ какъ дура остановилась передъ нимъ, то всю меня осмотрѣлъ, прищурился и сказалъ ужаснымъ неожиданнымъ голосомъ, всего два слова:

маршъ домой. И я сразу повернулась, и пошла къ своей повозкѣ, и сѣла, и видѣла, какъ онъ совершенно такъ же опять поставилъ ногу, и облокотился, продолжая разговоръ съ казаками. И вотъ я ѣхала назадъ, въ оцѣпенѣннѣ, каменная, и только гдѣ-то далеко внутри меня шли уже приготовления къ бурѣ слезъ. Ну а черезъ версты три (и тутъ въ строкѣ письма вдругъ пробивалась улыбка) онъ меня догналъ, въ облакѣ пыли на бѣломъ конѣ, и ужъ простились мы съ нимъ совсѣмъ иначе, такъ что потомъ я ѣхала обратно въ Петербургъ почти такая же бодрая, какъ уѣзжала, только все волновалась, что съ вами, какъ вы, но ничего, были здоровеньки».

Нѣтъ, — мнѣ почему-то кажется, что я все-таки помню все это, можетъ быть потому, что впоследствии о немъ часто говорилось. Вообще весь нашъ бытъ былъ проникнутъ рассказами объ отцѣ, тревогой о немъ, ожиданіемъ его возвращенія, скрытой грустью проводовъ и дикой радостью встрѣчъ. Отсвѣтъ его страсти лежалъ на всѣхъ насъ, по разному окрашенный, по разному воспринимаемый, но постоянный и привычный. Его домовый музей, гдѣ стояли рядами узкіе дубовые шкапы съ выдвигаемыми стеклянными ящиками, полными распятыхъ бабочекъ (остальное — растенія, жуковъ, птицъ, грызуновъ и змѣй — онъ отдавалъ на изученіе коллегамъ), гдѣ пахло такъ, какъ пахнетъ должно-быть въ раю, и гдѣ у столовъ вдоль цѣльныхъ оконъ работали препараторы, былъ какъ бы таинственнымъ срединнымъ очагомъ, освѣщавшимъ внутри весь нашъ петербургскій домъ, — и только гулъ Петропавловской пушки могъ вторгаться въ его тишину. Наши родственники, не энтомологическіе друзья, прислуга, смиренно-обидчивая Ивонна Ивановна говорили о бабочкахъ, не какъ о чемъ-то дѣйствительно существующемъ, а какъ о нѣкомъ атрибутѣ моего отца, существующемъ только поскольку онъ самъ существуетъ, или какъ о недугѣ, съ которымъ всѣ давно привыкли считаться, такъ что энтомологія у насъ превращалась въ какую-то

обиходную галлюцинацію, вродѣ домашняго, безвреднаго привидѣнія, которое, никого уже не удивляя, каждый вечеръ садится у камелька. И вмѣстѣ съ тѣмъ никто среди нашихъ несмѣтныхъ дядьевъ и тетокъ не только не интересовался его наукой, но врядъ ли даже прочелъ тотъ его общедоступный трудъ, который десятки тысячъ интеллигентныхъ русскихъ людей читали и перечитывали. Я-то самъ и Таня съ самаго ранняго дѣтства оцѣнили отца, и онъ намъ казался еще волшебнѣе, чѣмъ, скажемъ, Гаральдъ, о которомъ онъ же рассказывалъ намъ, Гаральдъ, который дрался со львами на Цареградской аренѣ, преслѣдовалъ разбойниковъ въ Сирии, купался въ Иорданѣ, бралъ штурмомъ восемьдесятъ крѣпостей въ Африкѣ, «Синей Странѣ», спасалъ исландцевъ отъ голода, — и былъ славень отъ Норвегіи до Сициліи, отъ Юркшира до Новгорода. Затѣмъ, когда и я подпалъ подъ обаяніе бабочекъ, въ душѣ у меня что-то раскрылось, и я переживалъ всѣ путешествія отца, точно ихъ самъ совершалъ, видѣлъ во снѣ вьющуюся дорогу, караванъ, разноцвѣтныя горы, завидовалъ отцу безумно, мучительно, до слезъ — горячихъ и бурныхъ, которыя вдругъ вырывались у меня за столомъ, при обсужденіи писемъ отъ него съ дороги или даже при простомъ упоминаніи далекой-далекой мѣстности. Каждый годъ, съ приближеніемъ весны, передъ переѣздомъ въ деревню я чувствовалъ въ себѣ бѣдную частицу того, что испыталъ бы передъ отбытіемъ въ Тибетъ. На Невскомъ проспектѣ, въ послѣднихъ числахъ марта, когда разливъ торцовъ синѣлъ отъ сырости и солнца, высоко пролетала надъ экипажами вдоль фасадовъ домовъ, мимо городской думы, липокъ сквера, статуи Екатерины, первая желтая бабочка. Въ классѣ было открыто большое окно, воробьи садились на подоконникъ, учителя пропускали уроки, оставляя вмѣсто нихъ какъ бы квадраты голубого неба, съ футбольнымъ мячомъ, падавшимъ изъ голубизны. Почему-то по географіи у меня былъ всегда дурной баллъ, а вѣдь съ какимъ

выраженіемъ нашъ географъ, случалось, упоминалъ имя моего отца, какъ прі этомъ обращались ко мнѣ любопытные глаза моихъ товарищей, какъ у меня самого отъ стѣсненнаго восторга и боязни восторгъ выказать приливала и отливала кровь, — и нынѣ, когда я думаю о томъ, какъ мало знаю, какъ легко могу совершить гдѣ-нибудь дурацкій промахъ, описывая изслѣдованія отца, я вспоминаю себѣ на пользу и утѣшеніе его смѣшнѣйшій смѣшокъ, когда, просмотрѣвъ мимоходомъ книжонку, рекомендованную намъ въ школѣ тѣмъ же географомъ, нашель очаровательный ляпсусъ, сдѣланный компиляторшей (нѣкой госпожей Лялиной), которая, невинно обрабатывая Пржевальскаго для средне-учебныхъ заведеній, приняла, видимо, солдатскую прямоту слога въ одномъ изъ его писемъ за орнитологическую деталь: «Жители Пекина льютъ всѣ помои на улицу, и здѣсь постоянно можно видѣть, идя по улицѣ, сидящихъ орловъ, то справа, то слѣва».

Въ началѣ апрѣля, открывая охоту, члены Русскаго Энтомологическаго Общества по традиціи отправлялись за Черную Рѣчку, гдѣ, въ березовой рошѣ, еще голой и мокрой, еще въ проплѣшинахъ ноздреватаго снѣга, водилась на стволахъ, плашмя прижимаясь къ берестѣ прозрачными слабыми крыльцами, излюбленная нами рѣдкость, специальность губерніи. Раза два они брали съ собой и меня. Среди этихъ пожилыхъ, семейныхъ людей, сосредоточенно и осторожно колдующихъ въ апрѣльскомъ лѣсочкѣ, былъ и старый театральнй критикъ, и врачъ-гинекологъ, и профессоръ международнаго права, и генераль, — я почему-то особенно ясно запомнилъ фигуру этого генерала (Х. В. Барановскаго — въ немъ было что-то пасхальное), низко согнувшаго толстую спину, одну руку за нее заложившаго, рядомъ съ фигурой отца, какъ то легко, по-восточному, присѣвшаго на корточки, — оба со вниманіемъ разсматриваютъ вырытую совкомъ горсточку рыжей земли, — и до сихъ поръ меня занима-

еть мысль, что думали обо всемъ этомъ ожидавшіе на дорогѣ кучера.

Случалось, лѣтнимъ утромъ, вливала въ нашу клас-
сную бабушка, Ольга Ивановна Вѣжина, полная, свѣжая,
въ митенкахъ и кружевахъ: «Bonjour, les enfants», — вы-
пѣвала она звучно, и затѣмъ, дѣлая сильное удареніе на
предлогахъ, сообщала: «Je viens de voir dans le jardin,
près du cèdre, sur une rose un papillon de toute beauté:
il était bleu, vert, pourpre, doré, — et grand comme ça.
«Живо бери карпетку, — продолжала она, обращаясь ко
мнѣ, и ступай въ садъ. Можетъ; еще застанешь», — и
уплывала, совершенно не понимая, что поладись мнѣ та-
кое сказочное насѣкомое (даже не стоило гадать, какую
сидонную банальность такъ украсило ея воображеніе), то я
бы умеръ отъ разрыва сердца. Случалось, француженка
наша, желая мнѣ сдѣлать особое удовольствіе, выбирала
мнѣ для выучиванья наизусть басню Флоріана о столь же
искусственно нарядномъ птн-метрѣ мотылькѣ. Случалось,
какая-нибудь тетка мнѣ дарила книгу Фабра, къ полу-
лярнымъ трудамъ котораго, полнымъ болтовни, неточ-
ныхъ наблюденій и прямыхъ ошибокъ, отецъ относился
съ пренебреженіемъ. Помню еще: хватился я однажды
сачка, вышелъ искать его на веранду и встрѣтилъ откуда-
то возвращавшагося съ нимъ на плечѣ, раскраснѣвагося,
съ ласковой и лукавой усмѣшкой на малиновыхъ губахъ,
деньщика моего дяди: «Ну ужъ и наловилъ я вамъ», —
сообщилъ онъ довольнымъ голосомъ, какъ-то сваливъ
на полъ сачекъ, сѣтка котораго была поближе къ обручу
перехвачена какой-то веревочкой, такъ что получился мѣ-
шокъ, въ которомъ кишѣла и шуршала всякая живность,

и Боже мой, что тутъ была за дрянь: штукъ тридцать
кузнечиковъ, головка ромашки, двѣ стрекозы, колосья,
песокъ, обитая до неузнаваемости капуста да еще под-
осиновый грибъ, замѣченный по пути и на всякій случай
прибавленный. Русскій простолюдинъ знаетъ и любитъ
родную природу. Сколько насмѣшекъ, сколько предполо-

женій и вопросовъ мнѣ доводилось слышать, когда, преодолевая неловкость, я шелъ черезъ деревню со своей сѣткой! «Ну это что, — говорилъ отецъ, — видѣлъ бы ты физиономіи китайцевъ, когда я однажды коллекціонировалъ на какой-то священной горѣ, или какъ на меня посмотрѣла передовая учительница въ городѣ Вѣрномъ, когда я объяснилъ ей, чѣмъ занятъ въ оврагѣ».

Какъ описать блаженство нашихъ прогулокъ съ отцомъ по лѣсамъ, полямъ, торфянымъ болотамъ, или постоянную лѣтнюю мысль о немъ, если былъ въ отъѣздѣ, вѣчное мечтаніе сдѣлать какое-нибудь открытіе, встрѣтить его этимъ открытіемъ, — какъ описать чувство, испытываемое мной, когда онъ мнѣ показывалъ всѣ тѣ мѣста, гдѣ самъ въ дѣтствѣ ловилъ то-то и то-то, — бревно полусгнившаго мостика, гдѣ въ 71-омъ поймалъ павлиній глазъ, спускъ дороги къ рѣкѣ, на которомъ однажды упалъ на колѣни, плача и молясь: промахнулся, и навсегда улетѣла! А что за прелесть была въ его рѣчи, въ какой-то особой плавности и стройности слога, когда онъ говорилъ о своемъ предметѣ, какая ласковая точность въ движеніи пальцевъ, вертящихъ винтъ расправилки или микроскопа, какой поистинѣ волшебный міръ открывался въ его урокахъ! Да, я знаю, что такъ не слѣдуетъ писать, — на этихъ возгласахъ вглубь не уѣдешь, — но мое перо еще не привыкло слѣдовать очертаніямъ его образа, мнѣ самому противны эти вспомогательные завитки. О, не смотри на меня, мое дѣтство, этими большими, испуганными глазами.

Сладость уроковъ! Въ теплый вечеръ онъ водилъ меня на прудокъ, наблюдать какъ осиновый бражникъ маячитъ надъ самой водой, окунаетъ въ нее кончикъ тѣла. Онъ показывалъ мнѣ боковое и плоское препарированіе генитальной арматуры для опредѣленія видовъ, по внѣшности неразличимыхъ. Онъ съ особенной улыбкой обращалъ вниманіе мое на черныхъ бабочекъ въ нашемъ паркѣ, съ таинственной и граціозной нежданностью появившихся только въ четные года. Онъ мѣшалъ для меня патоку съ пивомъ,

чтобы въ страшно холодную, страшно дождливую осеннюю ночь ловить у смазанныхъ стволовъ, блестявшихъ при свѣтѣ керосиновой лампы, множество большихъ, нырявшихъ, безмолвно спѣшившихъ на приманку ночницъ. Онъ то согрѣвалъ, то охлаждалъ золотыя куколки моихъ крапивницъ, чтобъ я могъ получать изъ нихъ корсиканскихъ, полярныхъ и вовсе необыкновенныхъ, точно испачканныхъ въ смолѣ, съ приставшимъ шелковымъ пушкомъ. Онъ училъ меня, какъ разобрать муравейникъ, чтобы найти гусеницу голубянки, тамъ заключившую съ жителями варварскій союзъ и я видѣлъ, какъ, жадно щекоча сяжками одинъ изъ сегментовъ ея неповоротливаго, слизнеподобнаго тѣльца, муравей заставлялъ ее выдѣлить каплю пьянаго сока, тутъ же поглощаемую имъ, — а за то предоставлялъ ей въ пищу свои же личинки, такъ, какъ если бы коровы намъ давали шартрезъ, а мы — имъ на сѣденіе младенцевъ. Но сильная гусеница одного экзотическаго вида до этого обмѣна не снисходитъ, запросто пожирая муравьиныхъ дѣтей, и затѣмъ обращаясь въ непроницаемую куколку, — которую наконецъ, къ сроку вылупленія, муравьи (эти недоучки опыта) окружаютъ, выжидая появленія безпомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на нее; бросаются, — а все-таки она не гибнетъ: «Никогда я такъ не смѣялся, — говорилъ отецъ, — какъ когда убѣдился, что ее снабдила природа клейкимъ составомъ, отъ котораго слипались усики и лапки рьяныхъ муравьевъ, теперь уже валявшихся и корчившихся вокругъ нея, пока у нея самой, равнодушной и неуязвимой, крѣпли и сохли крылья».

Онъ рассказывалъ о запахахъ бабочекъ, — мускусныхъ, ванильныхъ; о голосахъ бабочекъ: о пронзительномъ звукѣ, издаваемомъ чудовищной гусеницей малайскаго сумеречника, усовершенствовавшей мышинный пискъ нашей адамовой головы; о маленькомъ звучномъ тимпанѣ лѣкоторыхъ арктидъ; о хитрой бабочкѣ въ бразильскомъ лѣсу, подражающей свиресту одной тамошней птички. Онъ

разсказывалъ о невѣроятномъ художественномъ остроуміи мимикріи, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спѣшкой чернорабочихъ силъ эволюціи), излишне изысканна для обмана случайныхъ враговъ, пернатыхъ, чешуйчатыхъ и прочихъ (мало разборчивыхъ, да и не столь ужъ до бабочекъ лакомыхъ), и словно придумана забавникомъ-живописцемъ какъ разъ ради умныхъ глазъ человѣка (догадка, которая могла бы далеко увести эволюціониста, наблюдавшаго питающихся бабочками обезьянъ); онъ разсказывалъ объ этихъ магическихъ маскахъ мимикріи: о громадной ночницѣ, въ состояніи покоя принимающей образъ глядящей на васъ змѣи; объ одной троллической пяденицѣ, окрашенной въ точное подобіе опредѣленнаго вида денницы, безконечно отъ нея отдаленной въ системѣ природы, причемъ ради смѣха иллюзія оранжеваго брюшка, имѣющагося у одной, складывается у другой изъ оранжевыхъ паховъ нижнихъ крыльевъ; и о своеобразномъ гаремѣ знаменитаго африканскаго кавалера, самка котораго летаетъ въ нѣсколькихъ мимическихъ разновидностяхъ, цвѣтомъ, формой и даже полетомъ подражающихъ бабочкамъ другихъ породъ (будто бы несъѣдобнымъ), являющимся моделью и для множества другихъ подражательницъ. Онъ разсказывалъ о миграціи, о томъ, какъ движется по синевѣ длинное облако, состоящее изъ миллионувъ бѣлянокъ, равнодушное къ направленію вѣтра, всегда на одномъ и томъ же уровнѣ надъ землей, мягко и плавно поднимаясь черезъ холмы и опять погружаясь въ долины, случайно встрѣчаясь быть можетъ съ облакомъ другихъ бабочекъ, желтыхъ, просачиваясь сквозь него безъ задержки, не замаравъ бѣлизны, — и дальше плывя, а къ ночи садясь на деревья, которыя до утра стоятъ, какъ осыпанныя снѣгомъ, — и снова снимаясь, чтобы продолжить путь, — куда? зачѣмъ? природой еще не досказано — или уже забыто. «Наша репейница, — разсказывалъ онъ, — «крашенная дама» англичанъ, «красавица» французовъ, въ отличіе отъ родственныхъ

ей видовъ у насъ, не зимуетъ въ Европѣ, а рождается въ африканской степи; тамъ, на зарѣ, удачливый путникъ можетъ услышать, какъ вся степь, блистая въ первыхъ лучахъ, трещить и хруститъ отъ несчетнаго количества лопающихся хризалидъ». Оттуда безъ промедленія она пускается въ сѣверный путь, ранней весной достигая береговъ Европы, вдругъ на день, на два оживляя крымскіе сады и террасы Ривьеры; не задерживаясь, но всюду оставляя особей на лѣтній разводъ, поднимается дальше на сѣверъ и къ концу мая, уже одиночками, достигаетъ Шотландіи, Гельгоганда, нашихъ мѣстъ, а тамъ и крайняго сѣвера земли: ее ловили въ Исландіи! Станнымъ, ни на что не похожимъ полетомъ, блѣдная, едва узнаваемая, обезумѣлая бабочка, избравъ сухую прогалину, «колеситъ» между лѣшинскихъ елокъ, а къ концу лѣта, на чертополохъ, на астрахъ, уже наслаждается жизнью ея прелестное, розоватое потомство. «Самое трогательное, — добавляя отецъ, — это то, что въ первые холодные дни наблюдается обратное явленіе, отливъ: бабочка стремится на югъ, на зимовку, но разумѣется гибнетъ, не долетѣвъ до тепла».

Одновременно съ англичаниномъ Tutt, въ швейцарскихъ горахъ наблюдавшимъ то же, что и онъ въ Памирѣ, мой отецъ открылъ истинную природу роговистаго образования, появляющагося подъ концомъ брюшка у оплодотворенныхъ самокъ апполоновъ, выяснивъ, что это супругъ, работая шпорами лапокъ, налагаетъ на супругу настоящій поясъ вѣрности собственной ковки, получающійся другимъ у каждаго изъ видовъ этого рода, то дочкой, то улиткой, то — какъ у рѣдчайшаго темно-пепельнаго *opifera Godunov* — на подобіе маленькой лиры. И какъ *frontispiece* къ моему теперешнему труду мнѣ почему-то хотѣлось бы выставить именно эту бабочку, — ахъ, какъ онъ говорилъ о ней, какъ вынималъ изъ шести плотныхъ треугольныхъ конвертовъ шесть привезенныхъ экземпляровъ, приближалъ къ брюшку единственной са-

мочки лупу, вставленную въ глазъ, — и какъ набожно его препараторъ размачивалъ сухія, лоснистыя, тѣсно сложенныя крылья, чтобы потомъ гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее въ пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрѣпить на дощечкахъ какъ-то откровенно-беззащитно-изящно распахнутую красоту, да подложить подъ брюшко ватку, да выправить черныя сяжки, — чтобы она такъ высохла навѣки. Навѣки? Въ берлинскомъ музеѣ многочисленныя бабочки отцовскаго улова такъ же свѣжи сегодня, какъ были въ восьмидесятихъ, девятидесятыхъ годахъ. Бабочки изъ собранія Линнея хранятся въ Лондонѣ съ восемнадцатаго вѣка. Въ пражскомъ музеѣ есть тотъ самый экземпляръ популярной бабочки-атласъ, которымъ любовалась Екатерина Великая. Отчего же мнѣ стало такъ грустно?

Его-проимки, наблюденія, звукъ голоса въ ученыхъ словахъ, все это, думается мнѣ, я сберегу. Но это такъ еще мало. Мнѣ хотѣлось бы съ такой же относительной вѣчностью удержать то, что быть можетъ я всего болѣе любилъ въ немъ: его живую мужественность, непреклонность и независимость его, холодъ и жаръ его личности, власть надъ всѣмъ, за что онъ ни брался. Точно играючи, точно желая мимоходомъ запечатлѣть свою силу на всемъ, онъ, тамъ и сямъ выбирая предметъ изъ области внѣ энтомологіи, оставилъ слѣдъ почти во всѣхъ отрасляхъ естествовѣдѣнія: есть только одно растение, описанное имъ, изъ всѣхъ имъ собранныхъ, но это зато — замѣчательный видъ березы; одна птица — дивнѣйшій фазанъ; одна летучая мышь — но самая крупная въ мірѣ. И во всѣхъ концахъ природы безконечное число разъ отзывается наша фамилья, ибо другіе натуралисты именемъ его называли кто паука, кто рододендронъ, кто горный хребетъ, — послѣднее, кстати сказать, его сердило: «Выяснить и сохрानить давнее туземное названіе перевала, — писать

онъ, — всегда и научнѣе и благороднѣе, чѣмъ нахлобучить на него имя добраго знакомаго».

Мнѣ нравилась, — я только теперъ понимаю, какъ это нравилось мнѣ, — та особая вольная сноровка, которая появлялась у него при обращеніи съ лошадыю, съ собакой, ружьемъ, птицей или крестьянскимъ мальчикомъ съ верицковой занозой въ спинѣ, — къ нему вѣчно водили раненыхъ, покалѣченныхъ, даже немощныхъ, даже беременныхъ бабъ, воспринимая должно быть его таинственное занятіе, какъ знахарство. Мнѣ нравилось то, что въ отличіе отъ большинства не-русскихъ путешественниковъ, на примѣръ Свень Гедина, онъ никогда не мѣнялъ своей одежды на китайскую, когда странствовалъ; вообще держался независимо; былъ до крайности суровъ и рѣшителенъ въ своихъ отношеніяхъ съ туземцами, никакихъ не давая поблажекъ мандаринамъ и ламамъ; на стоянкахъ упражнялся въ стрѣльбѣ, что служило превосходнымъ средствомъ противъ всякихъ приставаній. Этнографія не интересовала его вовсе, что нѣкоторыхъ географовъ весьма почему-то раздражало, а большой пріятель его, ориенталистъ Кривцовъ, чуть ли не плача укорялъ его: «Хоть бы ты одну свадебную пѣсенку привезъ, Константинъ Кирилловичъ, хоть бы одежду какую изобразилъ». Былъ одинъ казанскій профессоръ, который особенно нападалъ на него, исходя изъ какихъ-то гуманитарно-либеральныхъ предпосылокъ, обличая его въ научномъ аристократизмѣ, въ надменномъ презрѣніи къ Человѣку, въ невниманіи къ интересамъ читателя, въ опасномъ чудачествѣ, — еще во многомъ другомъ. А какъ-то, на международномъ банкетѣ въ Лондонѣ (и этотъ эпизодъ мнѣ нравится всего больше), Свень Гединъ, сидѣвшій съ моимъ отцомъ рядомъ, спросилъ его, какъ это такъ случилось, что неслыханно свободно путешествуя по запретнымъ мѣстамъ Тибета, въ непосредственной близости Лхассы, онъ не осмотрѣлъ ея, на что отецъ отвѣчалъ, что ему не хотѣлось пожертвовать ни однимъ часомъ охоты ради посѣщенія

еще одного вонючаго городка (one more filthy little town), — и я такъ ясно вижу, какъ онъ должно быть прищурился при этомъ.

Онъ былъ надѣленъ ровнымъ характеромъ, выдержкой, сильной волей, яркимъ юморомъ; когда же онъ сердился, гнѣвъ его былъ какъ внезапно ударившій морозъ (бабушка, за его спиной, говорила, что: «Всѣ часы въ домѣ остановились»), и я хорошо помню эти внезапныя молчанія за столомъ, и сразу появившееся какое-то разсѣянное выраженіе на лицѣ у матери (недоброжелательницы изъ нашей родни увѣряли, что она «трепещетъ передъ Костей»), и какъ въ концѣ стола иная изъ гувернантокъ поспѣшно прикрывала ладошкой зазвенѣвшій было стаканъ. Причиной его гнѣва могъ быть чей-нибудь прамыхъ, просчетъ управляющаго (отецъ хорошо разбирался въ хозяйствѣ), легкомысленное сужденіе о близкомъ ему человѣкѣ, политическая пошлость въ базарно-патріотическомъ духѣ, развиваемая незадачливымъ гостемъ, и наконецъ — какой-нибудь мой проступокъ. Онъ, перебившій на своемъ вѣку тьму тьмущую птицу, онъ, привезшій однажды, только-что женившемуся ботанику Бергу, цѣликомъ въ сѣ растительный покровъ горной разноцвѣтной лужайки величиною съ площадь комнаты (я его и представилъ себѣ такъ — свернутымъ въ ящикѣ, какъ персидскій коверъ), найденный гдѣ-то на страшной высотѣ, среди голыхъ скалъ и снѣговъ, — онъ не могъ мнѣ простить лѣшинскаго воробья, зря подстрѣленнаго изъ монте-кристо, или шашкой изрубленную мною осинку на берегу пруда. Онъ не терпѣлъ мѣшканья, неувѣренности, мигающихъ глазъ лжи, не терпѣлъ ничего приторнаго и притворнаго, — и я увѣренъ, что уличи онъ меня въ физической трусости, то меня бы онъ проклялъ.

Я еще не все сказалъ; я подхожу къ самому можетъ быть главному. Въ моемъ отцѣ и вокругъ него, вокругъ этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговорен-

ность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было такъ, словно этотъ настоящій, очень настоящій человекъ, былъ овѣянъ чѣмъ-то, еще неизвѣстнымъ, но что можетъ быть было въ немъ самымъ-самымъ настоящимъ. Оно не имѣло прямого отношенія ни къ намъ, ни къ моей матери, ни къ внѣшности жизни, ни даже къ бабочкамъ (ближе всего къ нимъ, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль, — и нѣтъ у меня способа объяснить то впечатлѣніе, которое производило на меня его лицо, когда я извнѣ подсматривалъ, сквозь окно кабинета, какъ, забывъ вдругъ работу (я въ себѣ чувствовалъ, какъ онъ ее забылъ, — словно провалилось или затихло что-то), слегка отвернувъ большую, умную голову отъ письменнаго стола и подперевъ ее кулакомъ, такъ что отъ щеки къ виску поднималась широкая складка, онъ сидѣлъ съ минуту неподвижно. Мнѣ иногда кажется теперь, что, какъ знать, можетъ быть, удаляясь въ свои путешествія, онъ не столько чего-то искалъ, сколько бѣжалъ отъ чего-то, а затѣмъ, возвратившись, понималъ, что оно все еще съ нимъ, въ немъ, неизбывное, неисчерпаемое. Тайнѣ его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого то и получалось то особое — и не радостное, и не угрюмое, вообще никакъ не относящееся къ видимости жизненныхъ чувствъ, — одиночество, въ которое ни мать моя, ни всѣ энтомологи міра не были вхожи. И странно: можетъ быть нашъ усадебный сторожъ, корявый старикъ, дважды опаленный почной молніей, единственный изъ людей нашего деревенскаго окруженія научившійся безъ помощи отца (научившаго этому цѣлый полкъ азиатскихъ охотниковъ) поймать и убить бабочку, не обративъ ее въ кашу (что, конечно, не мѣшало ему дѣловито совѣтовать мнѣ не торопиться весной ловить мелкихъ бабочекъ, «малаявокъ», какъ онъ выражался, а дожждаться лѣта, когда онъ подростутъ), именно онъ искренне и безъ всякаго страха и удивленія считавшій, что мой отецъ зна-

еть кое-что такое, чего не знаетъ никто, былъ по-своему правъ.

Какъ бы то ни было, но я убѣжденъ нынѣ, что тогда наша жизнь была дѣйствительно проникнута какимъ-то волшебствомъ, неизвѣстнымъ въ другихъ семьяхъ. Отъ бесѣдъ съ отцомъ, отъ мечтаній въ его отсутствіе, отъ сосѣдства тысячи книгъ, полныхъ рисунковъ животныхъ, отъ драгоценныхъ отливокъ коллекцій, отъ картъ, отъ всей этой геральдики природы и каббалистики латинскихъ именъ, жизнь приобрѣтала такую колдовскую легкость, что казалось — вотъ сейчасъ тронусь въ путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья. Въ кабинетѣ отца, между старыми, смиренными семейными фотографіями въ бархатныхъ рамкахъ, висѣла копія съ картины: Марко Поло покидаетъ Венецію. Она была румяна, эта Венеція, а вода ея лагунъ — лазорева, съ лебедями вдвое крупнѣе лодокъ, въ одну изъ коихъ спускались по доскѣ маленькіе фиолетовые люди, чтобы сѣсть на корабль, ждущій поодаль со свернутыми парусами, — и я не могу отдѣлаться отъ этой таинственной красоты, отъ этихъ древнихъ красокъ, плывущихъ передъ глазами какъ бы въ поискахъ новыхъ очертаній, когда теперь воображаю снаряженіе отцовскаго каравана въ Пржевальскѣ, куда обычно самъ онъ прибывалъ изъ Ташкента на почтовыхъ, вперёдъ отправивъ на протяжныхъ грузахъ запасовъ на три года. Его казаки по сосѣднимъ ауламъ закупали лошадей, ишаковъ, верблюдовъ; готовились вьючные ящики и сумы (чего только не было въ этихъ вѣскахъ испытанныхъ сартовскихъ ягтанахъ и кожаныхъ мѣшкахъ, отъ коньяка до дробленаго гороха, отъ серебра въ слиткахъ до гвоздей для подковъ); и послѣ панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальскаго, увѣнчанной бронзовымъ орломъ — вокругъ котораго безбоязненно располагались мѣстные фазаны — караванъ трогался въ путь.

Я вижу затѣмъ, какъ, прежде чѣмъ втянуться въ горы, онъ вѣется между холмами райски-зеленой окраски, столь-

ко-же зависящей отъ ихъ травяного покрова, кипца, сколько отъ яблочно-яркой породы, эпидотового сланца, слагающей ихъ. Идутъ гуськомъ, эшелонами, плотныя, сбитыя калмыцкія лошади: парные, ровнаго вѣса вьюки охвачены арканомъ дважды, такъ, чтобы не ерзало ничто, и каждый эшелонъ ведетъ за поводъ казакъ. Впереди каравана, съ берданкой за плечомъ и сѣткой для бабочекъ наготовѣ, въ очкахъ, въ коломянковой блузѣ, верхомъ на бѣломъ своемъ тропотунѣ ѣдетъ отецъ въ сопровожденіи джигита. Позади же отряда — геодезистъ Куницынъ (такъ я это вижу), величавый старикъ, невозмутимо пространствовавшій полвѣка, со своими инструментами въ футлярахъ — хронометрами, буссолями, искусственнымъ горизонтомъ, — и когда онъ останавливается, чтобы дѣлать засѣчки да записывать азимуты въ журналъ, его лошадь держитъ препараторъ, маленькій, анемичный нѣмецъ, Иванъ Ивановичъ Вискоттъ, бывший гатчинскій аптекарь, котораго мой отецъ когда-то научилъ приготовленію птичьихъ шкурокъ, и который съ тѣхъ поръ участвовалъ во всѣхъ его экспедиціяхъ, пока мѣсть не померъ отъ гангрены лѣтомъ 1903 года въ Дынъ-Коу.

Далѣе я вижу горы: хребетъ Тянь-Шань. Въ поискахъ переваловъ (нанесенныхъ на карты по разспроснымъ даннымъ, но впервые изслѣдованныхъ отцомъ) караванъ поднимался по кручамъ, по узкимъ карнизамъ, соскальзывалъ на сѣверъ, въ степь, кишѣвшую сайгачатами, и поднимался опять на югъ, тутъ перѣходя вбродъ потоки, тамъ стараясь пройти въ полную воду, — и вверхъ, вверхъ, по едва проходимымъ тропамъ. Какъ играло солнце! Отъ сухости воздуха была поразительно рѣзка разница между свѣтомъ и тѣнью: на свѣту такія вспышки, такое обиліе блеска, что порой невозможно смотрѣть на скалу, на ручей; въ тѣни же — мракъ, поглощающій подробности: такъ что всякая краска жила волшебнo умноженной жизнью, и мѣнялась масть лошадей, входившихъ въ тополевою прохладу.

Отъ гула воды въ ущельѣ челоуѣкъ обалдѣвалъ; какимъ-то электрическимъ волненіемъ наполнялись грудь и голова; вода мчалась со страшной силой, гладкая однако, какъ раскаленный свинецъ, но вдругъ чудовищно надувалась, достигнувъ порога, громоздя разноцвѣтныя волны, съ бѣшенымъ ревомъ падая черезъ блестящія лбы камней, и съ трехъ саженой высоты, изъ-подъ радугъ рухнувъ во мракъ, бѣжала дальше, уже по другому: клопоча, вся сизая и снѣжная отъ пѣны, и такъ ударялась то въ одну, то въ другую сторону конгломератоваго каньона, что казалось, не выдержитъ гудящая крѣпъ горы; по скатамъ которой, межъ тѣмъ, въ блаженной тишинѣ цвѣли ирисы, — и вдругъ, изъ еловой черни на ослѣпительную альпійскую поляну вылетало стадо мараловъ, останавливалось трепеща... нѣтъ, это лишь воздухъ трепеталъ, — они уже скрылись.

Особенно ясно я себя представляю — среди всей этой прозрачной и перемѣнчивой обстановки, — главное и постоянное занятіе моего отца, занятіе, ради котораго онъ только и предпринималъ эти огромныя путешествія. Я вижу, какъ, наклоняясь съ сѣдла, среди грохота скользящихъ каменьевъ, онъ сачкомъ на длинномъ древкѣ зацѣпляетъ съ размаху и быстрымъ поворотомъ кисти закручиваетъ (такъ, чтобы полный шуршащаго бѣненія конецъ кисейнаго мѣшка перелегъ черезъ обручъ) какого-нибудь царственнаго родственника нашихъ апполоновъ, рыщущимъ полетомъ несущагося надъ опасными осыпями; и не только онъ самъ, но и другіе наѣзтники (младшій урядникъ Семень Жаркой, на примѣръ, или буряты Буянтуевъ, или еще тотъ представитель мой, котораго въ теченіе всего моего отрочества я посылалъ вдогонку отцу), безстрашно лѣпясь по скаламъ, преслѣдуютъ бѣлую, многоочитую бабочку, ловятъ ее, наконецъ; — и вотъ она въ пальцахъ отца, мертвая, съ загнутымъ книзу, желтоватоловостнымъ, похожимъ на вербную сережку, тѣломъ и

съ кровавымъ крапомъ у корней сложенныхъ крыльевъ, глянцеви́то хрусткихъ съ исподу.

Онъ избѣгалъ мѣшкать, особенно для ночевокъ, на китайскихъ постоянныхъ дворахъ, не любя ихъ за «суету, лишнюю души», т. е. состоящую изъ однихъ криковъ, безъ малѣйшаго намека на смѣхъ; но странно, — потому въ его памяти запахъ этихъ таней, этотъ особый воздухъ всякаго мѣста китайской ослѣдлости — прогорклая смѣсь кухоннаго чада, дыма отъ сжигаемаго назема, опія и конюшни — говорилъ ему больше о его любимой охотѣ, нежели вспоминаемое благовоніе нагорныхъ луговъ.

Передвигаясь съ караваномъ по Тянь-Шаню, я вижу теперь, какъ близится вечеръ, натягивая тѣнь на горные скаты. Отложивъ на утро трудную переправу (черезъ бурную рѣку переброшенъ ветхій мостъ съ каменными плитами поверхъ хвороста, а на той сторонѣ подъемъ крутенекъ, а главное — гладокъ, какъ стекло), караванъ расположился на ночлегъ. Пока еще держатся закатныя краски на воздушныхъ ярусахъ неба, и готовится ужинъ, казаки, снявъ съ животныхъ сперва потники, а погода и войлочные подкидки, промываютъ имъ раны, набитыя вьюками. Въ потухающемъ воздухѣ стоитъ чистый звонъ ковки поверхъ широкаго шума воды. Совсѣмъ стемнѣло. Отецъ поднялся на скалу, ища мѣста, гдѣ приладить калильную лампу для ловли ночницъ. Оттуда, въ китайской перспективѣ (сверху) виднѣется въ глубокомъ ущельѣ прозрачная среди мрака краснота костра; сквозь края его дышащаго пламени какъ бы плаваютъ плечистыя тѣни людей, мѣняющія безъ конца очертанія, и красный отблескъ дрожить, но не трогается съ мѣста, на клокочущей подѣ рѣки. А наверху тихо и темно, только изрѣдка позваниваетъ колокольчикъ: это межъ гранитныхъ осколковъ бродятъ лошади, уже выстоявшіяся и получившія свою дачу сухого фуража. Надъ головой, въ какой-то страшной и восхитительной близости, вызвѣздило, да такъ, что каждая звѣзда выдѣляется, какъ живое ядрыш-

ко, ясно обнаруживая свою шарообразную сущность. Начинается летъ ночныхъ бабочекъ, привлеченныхъ лампой: онѣ описываютъ бѣшеные круги вокругъ нея, ударяясь со звономъ въ рефлекторъ, падаютъ, ползаютъ въ кругу свѣта по разложенному полотну, сѣденькія, съ горящими угольками глазъ, трепеща, снимаясь и падая снова, — и неторопливо-ловкая, большая, яркая рука съ миндалевидными ногтями совку за совкой загребаешь въ морилку.

Иногда онѣ бываешь совершенно одинъ, — не было даже и этого сосѣдства спящихъ людей въ походныхъ шатрахъ, на войлокахъ, вокругъ верблюда, уложеннаго на кострищѣ. Пользуясь продолжительными стоянками въ мѣстахъ, богатыхъ кормомъ для караванныхъ животныхъ, отецъ на нѣсколько сутокъ уѣзжалъ на развѣдки и при этомъ, увлекаясь какой-нибудь новой пьеридой, не разъ пренебрегалъ правиломъ горной охоты: никогда не двигаться по пути, по которому нѣтъ возврата. И нынѣ я все спрашиваю себя, о чемъ онѣ бывало думалъ среди одинокой ночи: я страстно стараюсь учуять во мракѣ теченіе его мыслей и гораздо меньше успѣваю въ этомъ, чѣмъ въ мысленномъ посѣщеніи мѣстъ, никогда невиданныхъ мной. О чемъ, о чемъ онѣ думалъ? О недавней поминкѣ? О моей матери, о насъ? О врожденной странности человеческой жизни, ощущеніе которой онѣ таинственно мнѣ передалъ? Или можетъ быть я напрасно навязываю ему заднимъ числомъ тайну, которую онѣ теперь носить съ собой, когда, по новому угрюмый, озабоченный, скрывающій боль невѣдомой раны, смерть скрывающій, какъ нѣкій стыдъ, онѣ появляется въ моихъ снахъ, но которой тогда не было въ немъ, — а просто онѣ былъ счастливъ среди еще недоназваннаго міра, въ которомъ онѣ при каждомъ шагѣ безымянное именовалъ.

Проведя все лѣто въ горахъ (не одно, а нѣсколько, въ разные годы, которые накладываются другъ на друга просвѣчивающими пластами), нашъ караванъ направился на востокъ и вышелъ по сквозному ущелью въ камени-

стую пустыню. Тамъ мало-по-малу исчезли и русло ручья, разбиваясь на вѣтеръ, и до послѣдней крайности вѣрная путнику растительность: чахлый саксауль, чій, хвойникъ. Завьючивъ верблюдовъ водою, мы углубились въ эти призрачныя дебри, гдѣ крупная галька кое-гдѣ сплошь покрывала вязкую, красно-бурую глину пустыни, испещренной тамъ и сямъ налетами грязнаго снѣга да выщѣтами соли, которые мы принимали издали за стѣны искомаго города. Дорога была опасна вслѣдствіе страшныхъ бурь, когда въ полдень все застилала соленая коричневая мгла, гремѣль вѣтеръ, по лицу хлестала мелкая галька, верблюды лежали, а нашу брезентовую палатку рвало въ клочки. Изъ-за этихъ бурь поверхность земли измѣнилась невѣроятно, представляя диковинныя очертанія какихъ-то замковъ, колоннадъ, лѣстницъ; или же ураганъ выдувалъ котловину, — словно тутъ, въ этой пустынѣ, еще дѣйствовали сгоряча стихійныя силы, лѣпившія міръ. Но бывали и дни чуднаго затишья, когда мимическими трелями задивались рогатыя жаворонки (отецъ мѣтко звалъ ихъ «смѣшливыми»), и сопровождали нашихъ похудѣвшихъ животныхъ стаи обыкновенныхъ воробьевъ. Бывало, мы дневали въ одинокихъ селеніяхъ, состоявшихъ изъ двухъ-трехъ дворовъ и развалившейся кумирни. Нападали, бывало, тангуты — въ бараньихъ шубахъ и красно-синихъ, шерстяныхъ сапогахъ: мгновенный пестрый эпизодъ среди пути. Бывали и миражи, причемъ природа, эта дивная обманщица, доходила до сущихъ чудесъ: видѣнія воды стояли столь ясныя, что въ нихъ отражались сосѣднія, настоящія скалы!

Далѣе шли тихіе гобійскіе пески, проходилъ барханъ за барханомъ, какъ волны, открывая короткіе охряные горизонты, и только слышалось среди бархатнаго воздуха тяжелое, учащенное дыханіе верблюдовъ да шорохъ ихъ широкихъ лапъ. То поднимаясь на гребень бархановъ, то погружаясь, шелъ караванъ, и къ вечеру тѣнь его принимала огромные размѣры. Пятикратный алмазъ Венеры на

западъ исчезалъ вмѣстѣ съ вечерней зарей, которая все искажала бланжевымъ, оранжевымъ, фіолетовымъ свѣтомъ. И отецъ любилъ рассказывать, какъ однажды на такомъ закатѣ, въ 1893 году, въ мертвомъ сердцѣ Гобійской пустыни онъ повстрѣчалъ, — сначала принявъ ихъ за призраки, занесенные игрою лучей, — двухъ велосипедистовъ въ китайскихъ сандаляхъ и круглыхъ фетрахъ, американцевъ Сахтлебена и Аллена, невозмутимо совершавшихъ спортивную поѣздку черезъ всю Азію въ Пекинъ.

Весна ждала насъ въ горахъ Нань-Шаня. Все предвѣщало ее: журчаніе воды въ ручейкахъ, далекій громъ рѣки, свистъ пищухъ, живущихъ въ норкахъ на скользкомъ, мокромъ косогорѣ, и прелестное пѣніе мѣстнаго жаворонка, и «масса звуковъ, происхожденіе которыхъ трудно себѣ объяснить» (фраза изъ записокъ друга моего отца, Григорія Ефимовича Грумъ-Гржимайло, запомнившаяся мнѣ навѣки, полная удивительной музыки правды, именно потому, что это говорить не невѣжда-поэтъ, а гениальный естествоиспытатель). На южныхъ склонахъ уже попадалась первая интересная бабочка — потанинская разновидность бутлеровой бѣлянки, — а въ долину, куда мы спустились ключевымъ логомъ, мы застали уже настоящее лѣто. Всѣ склоны были затканы анемонами, примулой. Газель Пржевальскаго и фазанъ Штрауха соблазняли стрѣлковъ. И какіе бывали разсвѣты! Только въ Китаѣ ранній туманъ такъ обаятеленъ, все дрожить, — фантастическіе очерки фанзъ, свѣтающія скалы... Точно въ пучину, уходитъ рѣка во мглу предутреннихъ сумерекъ, которая еще держится въ ущельяхъ; а повыше, вдоль бѣгущей воды, все играетъ, все мрѣетъ, и уже проснулось на ивахъ у мельницы цѣлое общество голубыхъ сорокъ.

Въ сопровожденіи человѣкъ пятнадцати пѣшихъ китайскихъ солдатъ, вооруженныхъ аллебардами и несущихъ громадныя, дурачки-яркія знамена, мы пересѣкли множество разъ хребетъ по переваламъ. Несмотря на се-

редину лѣта, тамъ ночью стоятъ такіе морозы, что утромъ цвѣты подернуты инеемъ и становятся столь хрупкими, что ломаются подъ ногами съ неожиданнымъ, нѣжнымъ звономъ, а черезъ два часа, лишь только обогрѣетъ солнце, вновь сіяетъ, вновь дышитъ смолою и медомъ замѣчательная альпійская флора. Лѣпясь по крутоярамъ, продвигались мы подъ жаркой синевой; прыскали изъ-подъ ногъ кузнечики, собаки бѣжали, высунувъ языки, ища защиты отъ зноя въ короткой тѣни, бросаемой лошадьми. Вода въ колодцахъ пахла порохомъ. Деревья казались ботаническимъ бредомъ: бѣлая съ алебастровыми ягодами рябина или береза съ красной корой!

Поставя ногу на обломокъ скалы и слегка опираясь на древко сѣтки, отецъ смотритъ съ высокаго отрога, съ гольцевъ Таягмы, на озеро Куку-Норъ, — огромную площадь темно-синей воды. Тамъ, внизу, въ золотистыхъ степяхъ, проносится косякъ кіанговъ, а по скаламъ мелькаетъ тѣнь орла; наверху же — совершенный покой, тишина, прозрачность... и снова я спрашиваю себя, о чемъ думаетъ отецъ, когда не занятъ охотой, а вотъ такъ, замедивъ, стоитъ... появляясь какъ бы на гребнѣ моего воспоминанія, муча меня, восхищая меня — до боли, до какого-то безумія умиленія, зависти и любви, раздражая мнѣ душу своимъ неуязвимымъ одиночествомъ.

В. Сиринъ.

(Продолженіе настоящей главы будетъ напечатано въ слѣдующей книжкѣ журнала).

«О, если правда, что въ ночи...»
Не правда, не читай, не надо.
Все лучше — жалобы твои,
Слезъ ежедневные ручьи,
Чѣмъ эта лживая услада.

Но если... о, тогда молчи.
Еще не время — рано, рано!
Какъ голосъ изъ-за океана,
Какъ зовъ, какъ молнія въ ночи,
Какъ въ подземельи свѣтъ свѣчи,
Какъ избавленіе отъ бреда,
Какъ исцѣленье... видитъ Богъ,
Онъ самъ всего сказать не могъ,
Онъ самъ въ сомнѣньяхъ изнемогъ...
Тогда конецъ, безсмер... побѣда,
Ну, какъ тамъ у него... «залогъ»!

Георгій Адамовичъ.

СОНЪ НАЯВУ.

Равномѣрный, глухой и сердитый шумъ вы-
велъ меня изъ оцѣпенѣнія... То шумѣло и
гулѣло море...

И. С. Тургеневъ. «Сонъ».

Расколебленная бурей ночью
Волны бились, отъ меня невадалекъ, —
Круто вставши, гребни мчались предо мною,
Оставляя слѣдъ на рубчатомъ пескѣ.
Крыла дюны эмбевидная осока,
И тягучихъ длинныхъ водорослей ткань, —

А въ воздушной безднѣ чайки, тамъ высоко,
 Острокрылыя, зари будили рань.
 И зоря проснулась вдругъ окровавленной,
 Надъ безлюдной желтой скатертью песковъ, —
 Чайки стаю неслись посеребренной,
 Указуя что-то межъ солончаковъ.
 Распростертое утопленника тѣло,
 Я узналъ его знакомое лицо, —
 Я съ мизинца снялъ, — о, какъ оно блестяло! —
 Мой матери завѣтное кольцо.
 Обручальный ея перстень драгоценный,
 Воромъ чести тайно взять съ ея руки,
 И съ руки его, теперь кроваво-пѣнной,
 Мною снятъ, въ часъ — рану утренней тоски!
 Утонуль-ли онъ, убить-ли былъ Арабомъ,
 Что когда-то дверь сокрытую открылъ?
 Вдругъ мертвецъ вздохнулъ чуть слышно, вздохомъ
 слабымъ,
 И на мигъ, раскрывъ глаза, въ меня вперилъ...
 Я застылъ, полупривставъ на черномъ камнѣ,
 И, не вѣрящій, испуганно глядѣлъ, —
 Онъ шепнулъ: « — Мой сынъ... Любилъ ее... Тоска
 мнѣ...»
 И пошелъ, качаясь, въ призрачный предѣлъ...
 Онъ дошелъ до дальнихъ волнъ, и съ ними слился,
 Оставляя слабый слѣдъ въ морскомъ пескѣ, —
 И, сверкая, — Ангелъ Мщенія, — свѣтился
 Перстень Матери моей — въ моей рукѣ!
 1936. 18 сентября.

ВСХОДЯЩИЙ ДЫМЪ.

Восходящій дымъ уводитъ душу
 Въ Огнеспоклоннический храмъ,
 И никогда я не нарушу
 Благоговѣнія къ кострамъ.

Въ страстяхъ всю жизнь мою сжигая,
Иду путемъ я золотымъ,
И радъ, когда, во тьмѣ сверкая,
Огонь возноситъ легкой дымъ.
Когда, свиваясь, дымъ взовьется
Надъ крышей снѣжной изъ трубы,
Онъ въ синемъ небѣ разольется
Благословеніемъ Судьбы.
Во всемъ слѣдить намъ должно знаки,
Что посылаетъ случай намъ,
Чтобъ вѣрной поступью во мракъ
Идти по скользкимъ крутизнамъ.
Дымокъ, рисуя кругояры,
То здѣсь, то тамъ, слабѣй, сильнѣй,
Предвозвѣщаетъ намъ пожары
Неумирающихъ огней.

1936. 4 октября.

К. Бальмонтъ.

ЛИЛОВЫЙ КАМЕНЬ.

I.

Понапрасну рядомъ ходишь,
Понапрасну устаешь,
Глазъ печальныхъ не отводишь
И покоя не даешь.
Камень розово-лиловый
Аметистовый
На рубашечкѣ на новой,
На батистовой.
Этотъ камень утишаетъ
Жаръ любовнаго огня,
Этотъ камень утѣшаетъ
Нелюбимую меня.

Изъ персидской изъ сирени
 Розовато-голубой
 Пало счастье на колѣни,
 Счастье выпало съ тобой.
 Только счастье не досталось,
 Сколько счастья не ждала,
 А ужъ какъ бы цѣловалась,
 Какъ бы вечеромъ ждала.
 Не досталось, почему бы?
 Не досталось, а кому,
 Эти брови, эти губы,
 Да въ дѣвичьемъ терему?...
 Проходи съ обманнымъ словомъ,
 Хоть насвистывай.
 Камень-холодень лиловый
 Аметистовый...

II.

Изсушили, измучилъ взглядомъ,
 Только я была слѣпой.
 Проходила со мною рядомъ,
 Только разною тропой.
 Не со мною благосклонный,
 Благосклоннымъ будетъ вновь,
 Картой розовой, червонной
 Для разлучницы — любовь.
 Такъ оставь меня до срока,
 До того какъ подойду,
 И сама я черноока
 Уродилась на бѣду...
 Угасить ли мнѣ обновой
 Аметистовой
 Жаръ послѣдній, жаръ суровый —
 Жаръ неистовый?

**

Серебряному горлу подражай,
Что въ небѣ запрокинуто и плачетъ.
Давно остылъ въ амбарахъ урожай,
И всюду заколачиваютъ дачи.
А журавли летятъ, и угловой
Скликается съ другими вожаками,
Скликается съ послѣдней синевой,
Съ моими утомленными руками...
И замыкая занесенный клинъ,
Я только лѣтней памяти отвѣчу:
Печаль сама уже плыветъ навстрѣчу,
Ты не страшись и голову закинь.

**

Уже твой ликъ неповторимъ,
Тамъ черный ангелъ тронулъ воды,
Легко отсчитываю годы,
О сколько лѣтъ, о сколько зимъ...
Стояла ночь... Но нѣтъ, ее
Уже не помню и не знаю,
Глаза твои, лицо твое
Уже часами вспоминаю.
Неуловимыя черты
Мутятся, ихъ заноситъ иломъ,
И ангелъ привникаетъ къ жиламъ,
Къ послѣднимъ снамъ, къ послѣднимъ силамъ.
И съ ними исчезаешь ты...

Алла Головина.

DE PROFUNDIS AMAVI.

I.

О, сновидѣнне жизни, долгій морокъ!
 Къ чему ты примечталось? И къ чему
 Я ближнему примнился моему?
 Къ добру-ли? Къ лиху ль? . Расточися, ворогы!

Воскресни, Богъ! Уже давно не дорогъ
 Очамъ узоръ, хитро заткавшій тьму.
 Въ пещерѣ пробудясь, яснѣй пойму,
 Что, алча, грезилъ дней обѣтныхъ сорокъ:

Какъ буйной плоти голодъ и пожаръ
 Духовный взоръ мутилъ мнѣ наважденьемъ,
 Подобнымъ куреву восточныхъ чаръ.

И былъ я гордъ и мертвъ, и сиръ, и старъ, —
 Но живъ Любви въ могилу нисхожденьемъ:
 Любить изъ преисподней — былъ мой даръ

II

Когда бъ изъ горняго монастыря
 Не вышелъ я, любовью обаянный
 Къ душѣ, Творцомъ въ творенье изліянной,
 За ней скитаться безъ поводыря

О блудномъ сынѣ притчу повторя
 И болью нѣгъ и болью покаянной,
 Надъ разрушеньемъ персти изваянной
 Я не рыдалъ бы, тварь боготворя.

И если-бы въ юдоли сердца бѣдной
 Вновь жить былъ осужденъ, я бъ жизнь замкнулъ,
 Какъ древній царь Данаю, въ замокъ мѣднымъ
 Чтобъ милыи взоръ въ тайникъ не заглянулъ

И страсть, расплава сводъ, слѣлая, дивнѣй
Сходила золотомъ безликихъ ливней

III

Какіе, мѣсяць, юный жнецъ, дары
Ты мнѣ пожнешь серпомъ, сверкнувшимъ справа?
Персей ли ты, чья быстрая расправа
Снесла наотмашь голову Мары?

Скоси мнѣ жизнь, гонецъ благой поры!
Дабы воскресла, вновь цѣла и здрава,
Душа въ тотъ миръ, гдѣ страстная отравя
Ея не тмила огненной игры.

Тамъ, не томясь, блаженная любила,
Змѣя-Вина той цѣлосной любви
Не жалила, и Кара не губила

Но смертью въ тѣлѣ, страстію въ крови
Прозябла персть И долу, другъ вечерній,
Нѣтъ иглъ острѣй Любви дикихъ терпей

IV

Надеждъ нестройный хоръ, изъ голосовъ
Младенческихъ и старческихъ, изъ встрѣчныхъ
Желаній однодневокъ и сердечныхъ
Завѣтныхъ умысловъ, — какъ шумъ лѣсовъ

И въ немъ рога и лай проворныхъ псовъ, —
Доносится до крышъ остроконечныхъ
Той башни, гдѣ, межъ камней вѣковѣчныхъ,
Мнѣ ощутимѣй листопадъ часовъ

Тамъ похоронной Вѣчности мѣриломъ
Земные сроки мѣрять роковой
Курантовъ древнихъ однозвучный бой

Всечасно тамъ учусь прощаться съ милымъ

Персть медленный свершить урочный кругъ, —
И молотъ по сердцу ударить вдругъ.

V.

Когда бъ я жилъ въ Капрейской голубой
Подводнымъ озареніемъ пещеръ,
Чье устье, вѣренъ вѣковѣчной мѣрѣ,
То пріоткроетъ, то замкнетъ приборъ:
Умильно взмолилась бы мольбой,
Какъ ласточка, душа, вѣясь у двери,
Къ лазурнымъ Нереидамъ, чтобы въ сферѣ
Иной лазури снова быть собой.

Такъ жизнь меня плѣнила, чаровница,
Крылатаго. Крыламъ любви тѣсна
Небесныхъ сводовъ синяя темница.

Съ главы стяхнуть я силось волны сна:
Любимая больного тихо будить
И жаркій лобъ дыханьемъ тонкимъ студить.

VI.

О, сердце, — встарь гостепріимный станъ,
Шатеръ широкій на лугу цвѣтистомъ,
Огней веселье въ сумракѣ душистомъ,
Кочующій дурбаръ *) волшебныхъ странъ,
Гдѣ каждому одръ пиршественный стланъ
И каждого царевичъ, съ аметистомъ
Въ тюрбанѣ бѣлоснѣжномъ и съ монистомъ
Изъ лотосовъ, привѣтствуетъ: «ты званъ!» —
Какъ ты любовь спасло?... Увы, ты нынѣ
Въ желѣзномъ, крѣпко скованномъ тыну
Затворѣ, подобный башенной твердынѣ.

*) Княжескій пріемъ подъ палатками, въ Индіи.

Съ ея зубцовъ на ниръ у стѣнь взгляну —
И снова духомъ въ Божіей пустынѣ
За тихими созвѣздьями тону.

VII.

Свѣтило дня сіяющей печатью
Скрѣпляетъ въ небѣ приговоръ судебъ:
И то, что колосъ было, стало хлѣбъ;
Закономъ то, что было благодатью.

И Фебову послушное заклятью,
Возможно е, какъ тѣнь, бѣжить въ Эребъ;
Лишь нужное для роковыхъ потребъ
Поощажено лучей коньистой ратью.

Но духу чуждъ, враждебенъ этотъ судъ, —
И крылья Памяти меня несутъ
Въ край душъ, вослѣдъ несбыточной Надеждъ.

Тамъ обнимаю мертвую Любовь,
И въ частіи сердца, трепетныя прежде,
Лью жаркихъ жилъ остаточную кровь.

VIII.

Изъ глубины Тебя любилъ я, Боже,
Сквозь бредъ земныхъ пристрастій и страстей.
Меня томилъ Ты долго безъ вѣстей,
Но не былъ мнѣ никто Тебя дороже.

Когда лобзалъ любимую, я ложе
Съ Тобой дѣлалъ. Привѣтствуя гостей,
Тебя встречалъ. И чѣмъ Тебя святѣй
Я читалъ, тѣмъ взоръ Твой въ духъ вперялся строже.

Так не ревнуй же!...

Вячеславъ Ивановъ.

I.

ПРОГУЛКА.

Несложная мучительная повѣсть
 О деревенской ночи --- въ сентябрѣ:
 Ты рядомъ шла, моя живая совѣсть,
 Ты прижималась горестно ко мнѣ.

Свѣтлѣла ночь, высокая, пустая,
 Ты шла со мной, и за тобою вслѣдъ
 Кружились — тайной и пугливой стаей —
 Безумье, грусть, какой-то дивный свѣтъ,

Какъ будто слабый отблескъ скорбныхъ крыльевъ...
 Ты — рядомъ, ты, о другъ любимый мой...
 Мы молча шли. О, страшное безсмылье
 Затерянныхъ въ пустынѣхъ міровой.

Два человѣка — въ роковомъ круженьи
 Ночныхъ всепожирающихъ стихій...
 И каждый вздохъ, и каждое движенье —
 Любовь --- любви --- любовью — о любви.

О, какъ любили мы, о, какъ жалѣли
 Всѣхъ обреченныхъ гибели и тьмѣ,
 И тѣхъ, что плакали, и тѣхъ, что лѣли,
 Тѣхъ, кто беспомощенъ, и тѣхъ, кто гордъ и смѣлъ...

...Вверху все тѣ же трепетали звѣзды
 Надъ всѣмъ, что въ мірѣ надо пожалѣть.
 Мы шли въ ночи, торжественной и грозной.
 Хотѣлось жить, хотѣлось умереть.

II.

ОДИНОЧЕСТВО.

Тише... Что-жь, что оказалось ложью
 Все, чѣмъ жилъ, все, отъ чего умрешь!

Вѣдь, никто тебѣ помочь не сможетъ,
Ибо слово «помощь» тоже — ложь.

Все въ порядкѣ. Улица и небо...
Тотъ же звонъ трамваевъ и авто,
Грустно пахнетъ зеленою и хлѣбомъ.
Все, какъ было: все — не то, не то.

Ты забылъ, что наша жизнь смертельна,
Ты кричишь въ надеждѣ беспредѣльной.
Не услышитъ — никогда — никто.

— Другъ мой...

Нѣтъ ни друга, ни отвѣта.
О, когда бы могъ не быть и я.

За домами, въ пыльные просвѣты,
Сквозь деревья городского лѣта,
Проступаетъ, чуть катимый вѣтромъ,
Бѣлый океанъ небытія.

Довидъ Кнуть.

КОЛОДА КАРТЪ.

Въ колодѣ 52 карты.
Это — Наварра и Арагонъ,
Франція — роза Декарта,
И — Кастилія, гитарный звонъ.

Четыре короля и дамы,
Строй пикъ и сердцець.
Зеленые поля и храмы,
Гдѣ золотой телець.

Четыре игральныхъ масти:
Кастиліи каравельный флотъ,

Въ Атлантикѣ божьи страсти,
Гдѣ «Санта-Марія» плыветь,

И въ золоченой каретѣ
(Не профиль — богъ, медаль)
Людовигъ — какъ на монетѣ —
Бдетъ въ прохладный Версаль.

О, лиліи тучныхъ Бурбоновъ!
А подъ глазами мѣшки!
Фаворитокъ и троновъ
Въ темныхъ боскетахъ грѣшки!

А если звонъ шпаги,
Взмахъ шляпы съ перомъ и поклонъ,
Глотокъ изъ плетеной фляги,
Это — Наварра и Арагонъ.

Но смерть голубую колоду
Тасуетъ костяшками рукъ.
Ставка — жизнь за свободу.
Угодно, любезный другъ?

И, потирая руки,
Садится блѣдный игрокъ.
Сначала такъ — отъ скуки,
Потомъ вызывая рокъ.

И въ этой схваткѣ съ рокомъ
Все кажется сквозь туманъ,
Что золото, вотъ, потокомъ
Потечетъ въ дырявый карманъ.

Но смерть прикупаетъ къ восьмеркѣ!
Тузъ! И во цвѣтѣ лѣтъ
Гибнешь на апельсиновой коркѣ.
Девятка, и вашихъ нѣтъ!

И республика въ бурѣ ломаетъ
Лиліи или дубы,

Карточный домикъ сдуваетъ
Съ зеленыхъ полей судьбы.

*
**

Гдѣ теперь эти тонкія смуглыя руки,
Жарь пустыни и тѣла счастливаго зной?
Гдѣ теперь караваны верблюдовъ и вьюки,
Гдѣ шатры и кувшины съ прекрасной водой?

Ничего не осталось отъ счастья въ Дамаскѣ.
Караваны верблюдовъ ушли на востокъ,
И резинка на розовой женской подвязкѣ
Натянула на стройную ногу чулокъ.

Но ты плачешь и въ мірѣ холодныхъ сіяній
Говоришь, что тебѣ, какъ родная сестра, —
Эта женская страсть аравійскихъ свиданій,
На соломѣ и въ тѣсномъ пространствѣ шатра.

*
**

Можетъ быть, ты живешь въ этомъ домѣ,
Надѣваешь прекрасное платье
Въ этотъ часъ, въ этомъ мірѣ зеркаль?
Къ волосамъ изъ пшеничной соломы
Такъ подходитъ открытое платье,
Чтобы ѣхать въ театръ или на балъ.

Ничего. Ни жестокихъ мученій.
Ничего. Ни высокихъ сомнѣній.
Ни заломленныхъ въ ужасъ рукъ.
Только сердца спокойнаго стукъ.

Только чистый провѣтренный воздухъ,
Только въ оранжерейномъ морозѣ
Плечи — мраморъ, какъ въ холодкѣ.

Только капля духовъ. Этотъ воздухъ
Сталь подобень химической розѣ.
Одуванчикъ — пуховкѣ на жаркой щекѣ...

Ант. Ладинскій.

Пронзительность со мною распрощалась.
Еще вчера она была средь насъ,
Въ друзей, въ стихи и въ женщинъ воплощалась
И пѣла за виномъ въ полночный часъ.

Я съ нею жилъ, какъ съ нѣжною женою,
Которою былъ нехотя любимъ.
И вотъ она прощается со мною,
И таетъ въ пустотѣ прозрачный дымъ.

Что-жь, уходи — вѣдь мы свободны оба:
Нелюбящій не въ правѣ обвинять.
Я не просилъ о вѣрности до гроба,
Я все могу, я долженъ все принять.

Но буду я, одинъ во всей вселенной,
Надъ строчкою стиховъ иль за виномъ,
Въ средѣ друзей, уже невдохновенной,
Грустить, и ждать, и думать объ одномъ

Ты не совсѣмъ со мною распрощалась:
Тебя здѣсь нѣтъ, но ты во мнѣ навѣкъ —
Пронзительность, бессмыслица, усталость,
Послѣдній лучъ, осенній мокрый снѣгъ.

Юрій Мандельштамъ.

На солнцѣ густѣеть гречиха,
И травы стоятъ высоко.
Струится полдневно и тихо
Небесное молоко.

По краю дороги этой
Бѣжитъ голубая вода,
Лежать, разомлѣвши отъ свѣта,
Безлюдные города,

Гдѣ станція дремлетъ уныло,
И старый кряхтитъ паровозъ,
Гдѣ только ушедшее мило,
Гдѣ птицы поюгъ надъ могилой
Въ сіяньи фарфоровыхъ розъ.

*

**

На солнцѣ безжалостномъ рдѣли
Причесанныя стога,
Безвѣстныя рѣки шумѣли
И вздрагивали луга,

И каждый листикъ былъ нуженъ
Въ тѣнистомъ горномъ раю.
Крестьянинъ снималъ неуклюже
Зеленую шляпу свою,

И темныя кланялись ели,
На бѣлоснѣжной зарѣ
Покатыя крыши блестяли,
И дѣвочекъ косы желтѣли
Въ прозрачной іюньской жарѣ.

*

**

Низко-низко летали птицы,
Неостывшій клубился жаръ.

Вечерами шипѣлъ краснолицый
И начищенный самоваръ.

И звучаль всё громче и чаще
Настѣкомыхъ согласный хоръ,
И прислуги въ ситцѣ хрустящемъ
У калитокъ вели разговоръ.

И откуда то, съ поля, изъ сада ли
Заглушенное пѣнье текло,
И пушистыя бабочки надали
На сіяющее стекло.

Софія Прегель.

ЦЕРКОВНЫЯ СТЕКЛА

По лужайкамъ Нормандіи яблонь идетъ чередою,
по витражамъ — сіянье, страданье небесныхъ пословъ.
Въ сердцѣ яблокъ заложено сѣмя неожиданной звѣздой,
въ нашемъ сердцѣ заложено бремя несказанныхъ словъ.

Долго сердцу немислимо въ собственномъ сокѣ варить-
ся,
скоро, сердце, тобою совѣмъ нерсполнится любовь.

Это можетъ-быть въ первомъ изгнаньѣ о насъ говорит-
ся,

это можетъ-быть первое яблоко гонить насъ въ гробъ.

Вотъ качается плодъ, называемый бѣлымъ паливомъ,
вотъ срывается онъ и плѣнительно падаетъ внизъ
на карнизъ, гдѣ Адамъ и жена его жмутся пугливо,
треугольнымъ листкомъ создавая подобіе ризъ.

О тяжелые роды, о тяжкіе своды Руана,
музыкальные храмы, донашивающіе крестъ.

Надъ холодной эмалью — служанки, встающія рано,
дождевыя погоды и жирныя воды окрестъ.

И обиліе памятныхъ мѣстъ. Ничего не считая,
не гуляя почти и почти что совсѣмъ не дыша,
лишь однѣхъ похоронъ поучительный звонъ почитая,
продолжительно къ праху готовится наша душа.

ЛИСТЬ

Мы знаемъ листъ (бездушный) для письма,
и листъ, рожденный деревомъ деревни.
Онн теперь расходятся весьма,
но былъ межъ нихъ звеномъ папирусь древній.

Вотъ новый мѣсяцъ кажетъ намъ рога,
и новый листъ рожкомъ рождаютъ почки.
Весною птицѣй видъ у лирога,
и даже Диогенъ снѣшитъ изъ бочки.

Рога вола причастны къ рождеству,
но смерть межъ нихъ вгоняютъ на разсвѣтъ.
Крушеніе существъ, по существу —
единое, что держится на свѣтъ.

О кривизна забытаго креста,
о бѣлизна волны за пароходомъ...
О бѣлизна бумажнаго листа,
оставленнаго нами предъ уходомъ.

Анна Присманова

1.

Уходитъ жизнь, слабѣютъ силы,
И всё невыносимѣй жить,
Но голосъ музы, голосъ милый,
Не въ силахъ сердце разлюбить.

Всё призрачно, всё безнадежно...
 Но иногда, но иногда,
 Далекій голосъ, голосъ нѣжный,
 Оттуда долетитъ сюда

И сердце вздрагиваетъ. Жадно
 Прислушивается. — Едва,
 Едва онъ слышенъ. Безпощадный
 Шумъ заглушающій слова

Межъ Ней и мною. О, какъ трудно,
 Мучительно и сладко мнѣ,
 Чуть слышный отзвукъ пѣсни чудной
 Въ блаженномъ слушать полуснѣ,

И словъ, разорванныхъ на части,
 И звуковъ смыслъ возсоздавать,
 И тѣни свѣта, тѣни счастья
 Во мглѣ и боли прозрѣвать.

2.

Всё давнымъ давно просрочено,
 Пронито давнымъ давно,
 Градомъ бито, червемъ точено,
 Свѣтомъ звѣзднымъ сожжено.

Всё давнымъ давно раздарено,
 Вымѣнено на гроши,
 Выкрадено, разбазарено,
 Брошено на дно души.

Всѣ законы непреложные
 Твердо знаетъ нищета:
 Каждая надежда ложная,
 Каждая любовь — не та...

Только смутное томленіе,
 Темныя, въ бреду, слова,

Темный сонъ о пробужденіи...
И на самомъ днѣ паденія
Ожиданье торжества.

3.

Уходи навсегда, исчезай безъ слѣда въ темнотѣ,
Изъ которой я вызвалъ тебя вдохновеньемъ и страстью,
Я не въ силахъ тебя удержать на такой высотѣ —
На такой высотѣ разрывается сердце на части.

На такой высотѣ слишкомъ страшно, и трудно дышать,
Я тебѣ возвращаю свободу, моя дорогая, —
Такъ срываются звѣзды, что больше не въ силахъ сиять,
Такъ снижается пламя, въ ночи ледяной догорая.

Я прощаюсь съ тобой, я тебѣ улыбаюсь въ слезахъ,
Я тебѣ улыбаюсь, отъ сердца тебя отрывая, —
Ты сияла надеждой въ моихъ безнадежныхъ мечтахъ,
Я прощаюсь съ тобою, любя и уже забывая...

4.

Какъ высказать тебя, любовь?
Какимъ молчаньемъ, крикомъ, пѣньемъ,
Иль бредомъ, иль стихотвореньемъ, —
Съ какимъ безумнымъ напряженьемъ
Пытался и пытаюсь вновь...
Какъ высказать тебя, любовь?

Какія темныя слова
Ждутъ своего преображенья,
Какое испытать томленье,
Какое пережить мгновенье,
Чтобъ только намекнуть едва... —
Какія темныя слова!

Что надо знать, какъ надо жить,
Чтобъ словъ чудеснымъ сочетаньемъ,

Чтобъ звука тайнаго звучаньемъ,
 Однимъ огнемъ, однимъ дыханьемъ
 Тебя съ собой соединить?
 Что надо знать, какъ надо жить!

Влад. Смоленскій.

Ты смѣешься, моя дорогая.
 Какъ люблю я Твой смѣхъ золотой!
 Что-жъ такое, что ты не такая,
 Какъ мечталось мнѣ ночью одной.

Что-же такое, что лжешь мнѣ порою
 Съ безмятежнымъ сияньемъ чела.
 Развѣ дѣвочкой баловною
 Ты не такъ же и мамѣ лгала?

Что-жъ такое, что въ юбкѣ зеленой,
 И въ потертомъ платочкѣ простомъ,
 Обернувшись на мигъ Сандрильоной
 И склонившись надъ уютгомъ,

Ты притворно вздыхаешь, и брови
 Хмуришь важнымъ движеніемъ лба:
 Мы съ Тобой одинаковой крови
 И похожая наша судьба.

Пошутили — и баста. Разстаться —
 Такъ спокойно. Но знаешь ли Ты,
 Что не могутъ, не могутъ уняться,
 Тѣ, давнишнія наши мечты.

И сильнѣе т о й радости малой
 И мгновѣній безоблачнѣй т ѣ х ѣ
 Я люблю Твой порою усталый,
 Твой порою тускнѣющій смѣхъ.

М. Струве.

ПИСЬМО.

1.

Воскресный день, сырой и душный.
Что дѣлать мнѣ? Вездѣ тоска,
Свинцово-сѣрый сводъ воздушный,
Деревья, люди, облака —

Весь міръ, какъ будто поневолѣ,
Томится въ скучномъ полуснѣ.
Поѣхать въ лѣсъ? Поѣхать въ поле?
Теперь все безразлично мнѣ.

2.

Еще недавно такъ шумѣли
Вити наши обо всемъ,
Еще недавно «къ свѣтлой цѣли»,
Казалось намъ, что мы идемъ,
Что мы «горимъ», что вправду «пишемъ»,
Что «дѣло насъ въ Россіи ждетъ»,
Что «воздухомъ мы вольнымъ дышимъ»,
Что мы «въ посланіи» — и вотъ

Лишь скудное чужое небо,
Чужая чахлая трава
И, словно камень вмѣсто хлѣба,
Слова, газетныя слова.

3.

Я вѣрилъ въ тайное сближенье
Сердецъ, испытанныхъ въ бѣдѣ,
Я думалъ — горнее служенье
Дано изгнаннику вездѣ.

Но вѣрность — высшая свобода,
 Измѣной вѣрныхъ смущена.
 — Безсонной ночью, до восхода...
 Паденье до конца, до дна.

Лишь пѣна, что въ песокъ прибрежномъ
 Кипитъ, несомая волной,
 Лишь горы, что видѣнемъ снѣжнымъ
 Вдали стоятъ передо мной...

4.

Безъ «возвышающихъ обмановъ»,
 Гостями странными вездѣ,
 Чужіе — среди различныхъ становъ
 И не любимые нигдѣ —

Вы, обреченные судьбою,
 Друзья, хранители огня,
 Друзья, гонимые со мною
 Враги сегодняшняго дня.

5.

Куда намъ, съ нашей нищетою,
 Въ сегодняшній стучаться день?
 Надъ стадомъ — вѣщей чернотою
 Орлиная несется тѣнь.

Война. Гражданское волнение...
 — Но прочь! Вдоль темныхъ береговъ
 Люблю воды глухое пѣнье,
 Сіянье горныхъ ледниковъ.

Тропой кремнистой надъ обрывомъ
 Иду одинъ. Настрѣчу мнѣ
 Неумолкаемымъ приливомъ
 Несутся тучи въ вышинѣ.

СТИХИ КЪ ПУШКИНУ.

Станокъ.

3.

Вся его наука —
 Мошь. Свѣтло — гляжу:
 Пушкинскую руку
 Жму, а не лижу.

Прадѣду — товарка:
 Въ той же мастерской!
 Каждая помарка —
 Какъ своей рукой.

Вольному — подъ стопки?
 Мнѣ, въ котлѣ чудесь
 Семь — открытой скобки
 Вѣдающей — вѣсь,

Мнящейся описки —
 Смысль. Короче — всё.
 Ибо нѣту сыска
 Пуще, чѣмъ родство!

Пѣлось какъ — поется
 И понынѣ — такъ.
 Знаемъ, какъ «дается»!
 Отъ тебя, «пустякъ»,

Знаемъ — какъ потѣлось!
 Отъ тебя, мазокъ,
 Знаю — какъ хотѣлось
 Въ лѣсъ — на балъ — въ
 возокъ...

И какъ — спать хотѣлось!
 Надъ цвѣткомъ любви

Знаю какъ скрипѣлось
 Негрскими зубми!

Перья на востроты —
 Знаю какъ чинилъ!
 Пальцы не просохли
 Отъ его чернилъ.

А зато — межъ талыхъ
 Свѣчъ, картежныхъ свѣчъ
 Знаю — какъ стрясалось!
 Отъ зеркаль, отъ плечъ

Голыхъ, отъ бокаловъ
 Битыхъ на полу —
 Знаю какъ бѣжалось
 Къ голому столу!

Въ битву безъ злодѣйства:
 Самого — съ самимъ!
 — Пушкинымъ не бейте!
 Ибо бью васъ — имъ!

4.

Преодолѣнье
 Косности русской —
 Пушкинскій геній?
 Пушкинскій мускуль!

На кашелотей
 Тушъ судьбы —
 Мускуль полета,
 Бѣга,
 Борьбы.

Съ утренней нѣгой
 Бившійся — бодро!
 Ровнаго бѣга,
 Долгаго хода
 Мускуль, побѣговъ,
 Мускуль, степныхъ,
 Шлюпки, что къ берегу
 Тщится сквозь вихрь.

Не онедужень
 Русскою кровью —
 О, не верблюжья
 И не воловья
 Жила (усердство
 Изъ-подъ ремня) —
 Конскаго сердца
 Мышца — моя!

Больше балласту —
 Краше осанка!
 Мускуль гимнаста
 И арестанта,
 Что на канатѣ
 Собственныхъ жилъ

Изъ каземата —
 Соколомъ взмыль!

Пушкинъ — съ
 монаршьихъ

Рукъ руководствомъ
 Бившійся такъ же
 На-смерть — какъ бьется
 — Мощь — прибывала,
 Сила — росла —
 Съ мускуломъ вала
 Мускуль весла.

Кто-то, на фуру
 Несшій: — Атлета
 Мускулатура,
 А не поэта!

То — серафима
 Сила — была:
 Несокрушимый
 Мускуль — крыла.

Марина Цвѣтаева.

1.

Слезы... (Но ѣдкія взрослыя слезы).
 Розы... (Но въ общемъ бываютъ, вѣдь, розы —
 Въ Ниццѣ и всюду есть множество розъ).

Слезы и розы... Но только безъ позы,
 Трезво, безцѣльно. И очень всерьезь...

2.

На прошлое давно поставлень крестъ,
(Такой — что годы, вотъ, не разогнуться...)
Но проѣзжая мимо этихъ мѣстъ,
Онъ далъ себѣ зарокъ: не оглянуться.

Широкий берегъ, пальмы, казино
И сразу тамъ... За этимъ поворотомъ.
Закреть глаза. Закрыль... Но всё равно,
Раскрывши ихъ, ошибся онъ расчетомъ.

И непонятно, какъ не грянулъ громъ,
Не наступило окончанье свѣта?
Стекло машины обожгло какъ льдомъ...

— обыкновенный двухэтажный домъ,
Гаражъ и садъ... Большой плакатъ «въ наёмъ»...
(Одно мгновенье, въ общемъ, длилось это).

3.

Конечно, счастье только въ маломъ...
— «Намъ нуженъ миръ». Не нуженъ. Ложь.
Когда движеніемъ усталымъ
Ты руки на плечи кладешь...

И на лицѣ твоёмъ ни тѣни
Того, что предвѣщаетъ страсть,
Но смѣсь заботы, грусти, лѣни...

— зарыть лицо въ твои колѣни,
Къ твоимъ ногамъ ничкомъ припасть...

4.

У насъ теперь особый календарь
И тайное свое лѣтосчисленье —
Въ тотъ день совсѣмъ не 1-й былъ Январь,
Не Рождество, не Пасха, не Крещенье.

Не видно было праздничныхъ одеждъ,
Ни суеты на улицѣ воскресной.
И не было особенныхъ надеждъ...
Быль день, какъ день. Быль будній день безвѣстный.

Онъ, несиѣша, ужъ подходилъ къ концу,
Какъ вдругъ случилось то, что вдругъ случилось...
(О чемъ года — и ночь, и день — Творцу
Молилось сердце... Какъ оно молилось!).

А. Штейгеръ.

О Пушкинѣ

I.

Романъ въ стихахъ.

1.

Въ ноябрѣ 1823 года Пушкинъ пишетъ Вяземскому: «Что касается до моихъ занятій, я теперь пишу не романъ, а романъ въ стихахъ — дьявольская разница! Вродѣ Донъ-Жуана». Итакъ, ему приходится овладѣвать новою формою поэтическаго повѣствованія. На мысль о возможности этой новой формы навело его изученіе Байронова «Донъ-Жуана», въ которомъ она не осуществлена, но уже намѣчена.

Что «Евгеній Онегинъ» — романъ въ стихахъ, объ этомъ авторъ объявляетъ въ заглавіи и не разъ упоминаетъ въ самомъ текстѣ произведенія. На это же указываетъ и раздѣленіе послѣдняго на «главы», а не на «пѣсни», вопреки давнему обычаю эпическихъ поэтовъ и примѣру Байрона. «Романъ въ стихахъ» — не просто поэма, какою до сихъ поръ ее знали, а нѣкій особый видъ ея, и даже нѣкій новый родъ эпической поэзіи: поэтъ имѣетъ право настаивать на своемъ изобрѣтеніи. Изобрѣтена имъ для его особой пѣли и новая строфа: октава «Донъ-Жуана» причисляется романтической поэмѣ, не роману.

Въ самомъ дѣлѣ, «Евгеній Онегинъ» — первый и, быть можетъ, единственный «романъ въ стихахъ» въ новой европейской литературѣ. Говоря это, мы придаемъ слову «романъ» то значеніе, какое нынѣ имѣетъ оно въ области прозы. Иначе разумѣлъ это слово Байронъ, для котораго оно звучало еще отголосками средневѣковой эпохиры: присоединяя къ заглавію «Чайльдъ-Гарольда» архаическій подзаголовокъ «a romance», онъ указываетъ на рыцарскую генеалогію своего творенія. Пушкинъ, напротивъ, видѣлъ въ романѣ широкое и правдивое изображеніе жизни, какою она представляется наблюдателю въ ея двойномъ обликѣ: общества, съ его устойчивыми типами и

правами, и личности, съ ея всегда новыми замыслами и приязаніями.

Эта направленность къ реализму совпадала съ выражающимъ духъ новаго вѣка, но въ двѣдцатыхъ годахъ еще глухимъ тяготѣніемъ европейской мысли, утомленной мечтательностью и чувствительностью. Пушкинъ не только отвѣчаетъ на еще не сказавшейся опредѣлительно запросъ времени, но дѣлаетъ и иѣчто болѣе: онъ находитъ ему образъ воплощенія въ ритмахъ поэзіи, дотолѣ заграждавшейся въ своихъ строгихъ садахъ (кромя развѣ участковъ, отведенныхъ подъ балаганы сатиры) отъ всякаго вторженія низменной дѣйствительности, и тѣмъ открываетъ новые просторы для музы эпической.

2.

Преодоленіе романтизма, которому Пушкинъ въ первыхъ своихъ поэмахъ принесъ щедрую дань, сказывается въ объективности, съ какою ведется разсказъ о происшествіяхъ, намѣренно приближенныхъ къ обиходности и сведенныхъ въ своемъ ходѣ къ простѣйшей схемѣ. Сказывается оно и въ значеніи изображенныхъ участей. Татьяна — живое опроверженіе болѣзненного романтическаго химеризма. Въ Онѣгинѣ обличены надменно самоутверждающееся себялюбіе и нравственное безначаліе — тѣ яды, которые гонящаяся за модой блистательная чернь успѣла впитать въ себя изъ гениальныхъ твореній, приятыхъ за новое откровеніе, но въ ихъ послѣднемъ смыслѣ непонятыхъ.

Вчерашній ученикъ и энтузіастъ уже готовъ объявить себя отступникомъ. Впрочемъ, ученикомъ еще надолго остается. Порою почти рабски подражаетъ Пушкинъ своимъ равнымъ отступленіямъ разсказчика фантастическихъ похощеній Донъ-Жуана: эти отступленія, правда, служатъ у Пушкина его особенной, тонко разсчитанной дѣли, но они нравятся ему не принужденною и самоувѣренною позой, отпечаткомъ Байронова дендиизма. Учится онъ у Байрона и неприкровенному реализму, но опять съ особымъ разчетомъ, намѣреваясь дать ему другое примѣненіе и вложить въ него совсѣмъ иной смыслъ. Натурализмъ Байрона, насмѣшливый и подчасъ циническій, остается въ кругѣ сатиры, корни же свои питаетъ въ такъ называемой «романтической ироніи», болѣзненно переживаемомъ сознаніи непримиримаго противорѣчія между мечтой и дѣйствительностью. Пушкинъ, напротивъ, привыкъ невзначай заглядѣться, залюбоваться на самую прозаическую, казалось бы,

дѣйствительность; сатира отнюдь не входила въ его планы, и романтической ироніи былъ онъ по всему своему душевному складу чуждъ.

Во многомъ разочарованный и многимъ раздраженный, вольнолюбивый и заносчивый, дерзкій насмѣшникъ и вольнодумецъ, онъ, въ самомъ мятежѣ противъ людей и Бога, остается благодушно свободенъ отъ застоявшейся горечи и закоренѣлой обиды. Къ тому же не былъ онъ ни демиургомъ грядущаго міра, ни глашатаемъ или жертвою міровой скорби. Надъ всѣмъ преобладали въ немъ прирожденная ясность мысли, ясность взора и благодатная сила разрѣшать, хотя бы цѣною мукъ, каждый разладъ въ строй и изъ всего вызывать наружу скрытую во всемъ поэзію, какъ нѣкоторую другую и высшую, потому что болѣе живую жизнь. Его мѣрилами въ оцѣнкѣ жизни, какъ и искусства, были не отвлеченныя построения и не самодержавный произвольтъ своего я, но здравый смыслъ, простая человѣчность, добрый вкусъ, прирожденный и заботливо воздѣланный, органическое и какъ-бы эллинское чувство мѣры и соответствія, въ особенности же изумительная способность непосредственнаго и безошибочнаго различенія во всемъ — правды отъ лжи, существеннаго отъ случайнаго, дѣйствительнаго отъ мнимаго.

3.

Байронъ открылъ Пушкину невѣдомый ему душевный міръ — угрюмый внутренній міръ человѣка титаническихъ силъ и притязаній, снѣдаемаго бесплодной тоской. Но то, что въ устахъ британскаго барда звучало личною исповѣдью, для русскаго поэта было только чужимъ признаніемъ, постороннимъ свидѣтельствомъ.

Далекій отъ мысли соперничать съ «пѣвцомъ гордости» въ его демоническомъ метаніи промежъ головокружительныхъ высотъ и мрачныхъ безднъ духа, Пушкинъ, выступая простымъ бытописателемъ, уменьшаетъ размѣры гигантскаго Байронова самоизображенія до рамокъ салоннаго портрета: и вотъ, на насъ глядитъ, въ вѣрномъ спискѣ, одинъ изъ рядовыхъ люциферовъ обыденности, разбуженныхъ льявнымъ рыкомъ великаго мятежника, — одна изъ безчисленныхъ душъ, вскрутившихся въ ураганъ какъ сухіе листья. «Молодой пріятель», «причуды» котораго поэтъ рѣшилъ «воспѣть» (на самомъ дѣлѣ, онъ его изслѣдуетъ), — человѣкъ недюжинный, по энергіи и изяществу ума его можно даже причислить къ людямъ высшаго типа; но, разслабленный праздною нѣгой, омраченный гор-

достью, обдѣленный, притомъ, даромъ самопроизвольной творческой силы, онъ беззащитенъ противъ демона тлетворной скуки и бездѣтельнаго унынія.

Столь безпристрастный портретъ и столь взглядчивый анализъ едва ли могутъ составить предметъ поэмы; зато они даютъ вполне подходящую тему для одного изъ тѣхъ романовъ, въ которые самъ Онѣгинъ, будь то изъ самодовольства или изъ самомучительства, глядѣлся, какъ въ зеркало, — одного изъ романовъ, «въ которыхъ отразился вѣкъ и современный человекъ изображенъ довольно вѣрно»... Такъ въ незамысловатый свѣтскій рассказъ, анекдотическая фабула котораго могла бы въ восемнадцатомъ вѣкѣ стать сюжетомъ комедии подъ заглавиемъ, примѣрно: «Урокъ Наставнику», или «Qui refuse pense», вмѣщается содержаніе, выражающее глубокую проблему человеческой души и переживаемой эпохи.

«Донъ-Жуанъ» Байрона, очередной списокъ его самого въ разнообразныхъ и ослѣпительныхъ по богатству и яркости фантазіи маскарадныхъ нарядахъ, есть произведеніе гениальное въ той мѣрѣ, въ какой оно субъективно. Автору чужда та объективная и аналитическая установка, которая обратила бы романтическую поэму въ романъ. «Донъ-Жуанъ» еще не былъ «романомъ въ стихахъ», какимъ сталъ впервые «Онѣгинъ». Съ другой стороны, «Бенпо» Байрона, другой образецъ Пушкина, есть стихотворная новелла, написанная, какъ на то указываетъ самъ авторъ, по итальянскимъ образцамъ. Послѣдніе не остались неизвѣстными и Пушкину: свѣтскій день Евгенія (въ первой главѣ) рассказанъ подъ впечатлѣніемъ «Дня» Парини

4.

Есть еще и другой, прямой признакъ принадлежности «Онѣгина» къ литературному роду романа. Поэтъ не ограничивается обрисовкой своихъ дѣйствующихъ лицъ на широкомъ фонѣ городской и деревенской, великосвѣтской и мелкопомѣстной Россіи, но изображаетъ (что возможно только въ романѣ) и постепенное развитіе ихъ характеровъ, внутреннія перемѣны, въ нихъ совершающіяся съ теченіемъ событій: достаточно вспомнить путь, пройденный Татьяной.

Лирическія, философическія, злободневныя отступленія въ «Донъ-Жуанъ» всецѣло произвольны; у Пушкина они подчинены объективному заданію реалистическаго романа. Поэтъ выступаетъ пріятелемъ Евгенія, хорошо освѣдомленнымъ какъ объ немъ самомъ, такъ и о всѣхъ лицахъ и обстоятельствахъ

случившейся съ нимъ исторіи; ее онъ и рассказываетъ друзьямъ въ тонѣ непринужденной, довѣрчивой бесѣды. И такъ какъ, особенно въ романѣ, хотящемъ оставить впечатлѣніе достовернаго свидѣтельства, рассказчикъ долженъ не менѣе живо предстать воображенію читателей, чѣмъ сами дѣйствующія лица, то Пушкину, для достиженія именно объективной его цѣли, ничего другого не остается какъ быть наиболее субъективнымъ: быть самимъ собою, какъ бы играть на сценѣ себя самого, казаться безпечнымъ поэтомъ, лирически откровеннымъ, своевольнымъ въ своихъ приговорахъ и настроеніяхъ, увлекающимъ собственными воспоминаніями порою до забвенія о главномъ предметѣ. Но — чудо мастерства — въ этомъ постановнѣмъ разсказу и отдѣльно отъ него привлекательномъ обрамленіи съ тѣмъ большею выпуклостью и яркостью красокъ, съ тѣмъ большею свободой отъ рассказчика и полнотой своей самостоятельной, въ себя погруженной жизни выступаютъ лица и происшествія. И, быть можетъ, именно эта мгновенная, трепетная непосредственность личныхъ признаній, какою-то таинственною алхиміей превращенная въ уже сверхличное и сверхвременное золото недвижной памяти, являетъ предка русской повѣствовательной словесности столь неуядаемо и обаятельно свѣжимъ, болѣе свѣжимъ и молодымъ чѣмъ нѣкоторые поздніе его потомки.

5.

Съ «Евгенія Онѣгина» начинается тотъ расцвѣтъ русскаго романа, который былъ однимъ изъ знаменательныхъ событій новѣйшей европейской культуры. Историко-литературныя изслѣдованія съ каждымъ днемъ подтверждаютъ правду словъ Достоевскаго о томъ, что и Гоголь, и вся плеяда, къ которой принадлежалъ онъ самъ, родились какъ художники отъ Пушкина и воздѣлывали полученное отъ него наслѣдіе. Отраженія и отголоски пушкинскаго романа въ нашей литературѣ безчисленны, но большею частью они общезвѣстны. Мнѣ бросилось въ глаза (кажется однако, что и это уже было къ-то замѣчено), что точная и даже дословная программа Раскольниковова содержится въ стихахъ второй главы: «всѣхъ предразсудки истребя, мы почитаемъ всѣхъ нулями, а единицами себя; мы всѣхъ глядимъ въ Наполеоны; двуногихъ тварей милліоны для насъ орудіе одно».

На Западѣ находили въ русскихъ романахъ сокровища чистой духовности. Если эта похвала заслужена, то и здѣсь про-

является ихъ семейственное сходство съ предкомъ. Есть подлѣгкимъ и блистательнымъ, какъ первый снѣгъ, покровомъ онѣгинскихъ строфъ, «полу-смѣшныхъ, полу-печальныхъ», — неизслѣдимая глубина. Я укажу только на одну мысль романа, еще почти не разслышанную. Пушкинъ глубоко задумывался надъ природой человѣческой грѣховности. Онъ видитъ ростъ основныхъ грѣховъ изъ одной стихіи, ихъ родство между собою, ихъ круговую поруку. Такъ изслѣдуетъ онъ чувственность въ «Каменномъ Гостѣ», скупость въ «Скупомъ Рыцарѣ», зависть въ «Моцартѣ и Сальери». Каждая изъ этихъ страстей обнаруживаетъ въ его изображеніи свое убійственное и богоборческое жало. «Евгеній Онѣгинъ» примыкаетъ къ этому ряду.

Въ «Онѣгинѣ» обличено «уныніе» (*acedia*), оно же — «то-сующая дѣнь», «праздность унылая», «скука», «хандра» и — въ основѣ всего — отчаяніе духа въ себѣ и въ Богѣ. Что это состояніе, человѣкомъ въ себѣ терпимое и дѣлаемое, есть смертный грѣхъ, какимъ признаетъ его Церковь, — явствуетъ изъ романа съ очевидностью: вѣдь оно доводитъ Евгенія до Каинова дѣла. Приближается къ этой оцѣнкѣ Достоевскій, но въ то же время затемняетъ истинную природу хандры-унынія, какъ абсолютной пустоты и смерти духа, смѣшивая ее съ хандрою-тоскою по чьей-то, которая не только несетъ смертный грѣхъ, но свидѣтельство жизни духа. Вотъ подлинныя слова Достоевскаго изъ его Пушкинской Рѣчи: «Ленскаго онъ убилъ просто отъ хандры, почему знать? — можетъ быть, отъ хандры по міровому идеалу, — это слишкомъ по нашему, это вѣроятное».

II.

Два маяка.

1.

«Снова тучи надо мною собралися въ тишинѣ», — записываетъ Пушкинъ въ свою черновую тетрадь 1828-го года, томимый тягостнымъ «предчувствіемъ»... «Можетъ быть, еще спасенный, снова пристань я найду»... Найти прочную пристань дано ему не было; но когда тучи стужались до потемокъ и душа его омрачалась до ночи, зажигались передъ нимъ два маяка: одинъ — близкій, свѣтящійся ровнымъ, постояннымъ свѣтомъ; другой — далекій, какъ будто и нездѣшній, то робко теплящійся и надолго вовсе исчезающій, то вдругъ вспыхива-

ющій на одно только мгновеніе, какъ дальняя молнія, какъ мечъ херувимскій у дверей запретнаго рая.

Первымъ маякомъ было «непостижное видѣніе» Красоты, когда-то однажды — и на всю жизнь — возсіявшее въ душѣ поэта. Другимъ — его вѣра въ святость, въ дѣйствительность святой жизни избранныхъ людей, скрывшихся отъ міра «въ соудство Бога». Вѣра эта утверждала и бытіе Бога, но не непосредственно и не въ силу собственного опыта, а через посредство, опытъ и ручательство святыхъ людей, живущихъ съ Богомъ и въ Богѣ. Существенная, не мечтательная, не мнимая правда такой жизни и была предметомъ этой вѣры поэта, свѣтомъ его другого маяка.

2.

Видѣніе Красоты, открывшейся Пушкину, было столь же «непостижно уму», какъ и то видѣніе, отъ котораго «сгорѣлъ душою» его Бѣдный Рыцарь, — хотя оно и не сжигало души, какъ слишкомъ близкое солнце, а оживляло ее, какъ солнце весеннее. Непостижны были существо, происхождение, смыслъ его: вѣдь дѣло шло не о художнической чувствительности къ тому, что красиво, и не объ отвлеченномъ понятіи Прекраснаго, занимающемъ философа. Особенно непостижимо было то, что оно не связывалось ни съ какимъ опредѣленнымъ образомъ, впечатлѣвшимся въ воспоминаніи. Нѣтъ, оно не было похоже на видѣніе молчаливаго рыцаря, чью тайну поэтъ выдать было обмолвкой: «путешествуя въ Женеву, онъ увидѣлъ у креста на пути Марію Дѣву, Матерь Господа Христа». Оно не воспроизводило въ душѣ поэта и явленія какой-либо встрѣченной имъ въ жизни женщины, показавшейся ему воплощеніемъ его идеала. Напротивъ, даже изображая «красавицу», его всецѣло плѣнявшую, предметъ его пламенныхъ вождельній, онъ невольно различаетъ отъ ся вождельній вѣщественности какъ бы другое, изъ нея лучащееся и ее облекающее начало («она поконитъ стыдливо въ красѣ торжественной своей»), — начало «высшее міра и страстей», ту «святыню Красоты», передъ которой даже любовникъ, послѣщающій на условленное свиданіе, вдругъ останавливается и «благоговѣть богомольно». Такъ въ гомеровскомъ гимнѣ къ Деметрѣ сказано о явленіи богини: «ее обвѣвала Красота».

Что такое это начало по существу, оставалось загадкой; но его живое присутствіе въ мірѣ, «обвѣвающее» мірѣ, какъ бы ручалось за общій смыслъ бытія. Маякомъ служило оно въ су-

меркахъ сомнѣній и для «Гамлета»-Баратынского. Это чувствованье — совсѣмъ не то, что разумѣть Ницше, говоря: «только какъ эстетическій феноменъ жизнь и мѣръ навѣки оправданы». Тутъ красота — творимая духомъ цѣнность; тамъ — открывающаяся духу, хотя и непостижимая ему, дѣйствительность.

3.

«Онъ звалъ прекрасное мечтою»... Это «язвительное» слово «злобнаго гѣнія», повадившагося навѣщать молодого поэта, кажется, возмутило и смутило его больше всѣхъ другихъ неисчислимыхъ клеветъ, какими его Демонъ, отрицатель и растлитель, съ изобрѣтательностью опытнаго софиста, «Провидѣнье искушалъ». Но скоро всяческіе «уроки чистаго аэеизма» оказались «чуждыми красками», спадающими съ души «ветхой чешуей», какъ еще девятнадцатилѣтній поэтъ съ непостижимо раннею зрѣлостью и прозорливостью мысли это предусмотрѣлъ въ стихотвореніи, носящемъ столь же несоответственное возрасту заглавіе: «Возрожденіе». Среди возродившихся «видѣній первоначальныхъ чистыхъ дней» было и исконное видѣніе Красоты, которая была вѣдома поэту, по его особенному внутреннему опыту, не какъ «мечта», а какъ «явная тайна» (слово Гете), являющая мѣръ знаменательнымъ и любезнымъ. Вѣдь и тотъ другой демонъ, «мрачный и мятежный», который увидѣлъ у вратъ Эдема ангела нѣжнаго и опечаленнаго, по тому одному «жаръ невольный умиленья впервые въ сердцѣ» познаеть, по тому одному произносить свое невольное признаніе: «не все я въ мѣръ ненавидѣлъ, не все я въ мѣръ презиралъ», — что есть въ мѣръ лицезримая имъ воочію Красота, ея-же нельзя ни презирать, ни ненавидѣть.

Такъ и строки «Предчувствія», съ напоминанія о которомъ мы начали наше разсужденіе, — строки столь созвучныя «Ангелу», написанному за годъ до того («ангелъ кроткій, безмятежный, тихо молви мнѣ: прости; опечалься; взоръ свой нѣжный подыми иль опусти»), не столько рисуютъ женщину, съ которой поэтъ разстается, сколько относятся къ идеальному образу Красоты, просквозившей какъ бы черезъ нее передъ духовнымъ взоромъ поэта при разлукѣ; и «воспоминаніе», которое будетъ потомъ укрѣплять его, покажетъ ему за туманнымъ обликомъ покинутой тотъ лучъ «гѣнія чистой Красоты», чтó мелькнуло въ ея чертахъ въ одно завѣтное мгновенье. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, психологическая разгадка и сти-

хотворенія «Къ А. П. Кернъ» («Я помню чудное мгновенье»); въ этомъ внутренній смыслъ — и оправданіе — сонета «Мадонна».

Это видѣніе Красоты, въ мірѣ сухой, но какъ бы гостыи міра, не связывалось, какъ мы сказали, у Пушкина ни съ какимъ отдѣльнымъ, однимъ образомъ; скорѣе, оно открывалось ему въ томъ стройномъ согласіи многого, которое онъ называлъ восхищенно Гармоніей. Это согласіе казалось ему само по себѣ «дивомъ». «Въ ней все гармонія, все диво». «Свѣтилъ небесныхъ дивный хоръ плыветъ такъ тихо, такъ согласно»... Благодатное состояніе души, когда Красота, какъ гармонія, входитъ въ непосредственное съ нею общеніе, именовалъ Пушкинъ «вдохновеніемъ».

4.

Въ «Моцартъ и Сальери» встрѣчаемъ глубокія размышленія о Красотѣ, какъ началъ трансцендентномъ. Сальери — ревностный строитель красоты, созидаемой многовѣковымъ преемствомъ умѣнья и дарованія. Это преемство поколѣній въ стремленіи къ высшему совершенству, въ искусствѣ достижимому, создаетъ нѣкую движимую единымъ духомъ общину, какъ бы художническую церковь, но церковь исключительно человѣческую, или гуманистическую, для которой ея совокупное дѣло есть утвержденіе человѣческой духовной мощи. Таковы пламенная и подвижническая вѣра, духовная гордость, титанической мятежъ этого работника упорнаго и плодовитаго, этого художника строгаго и непогрѣшимаго, но никогда не знавшаго посященія Благодати, этого суроваго жреца Красоты, ея безкорыстнаго служителя, ни разу въ жизни не испытывающаго зависти, даже послѣ триумфовъ Пиччини и Глюка.

Но вотъ онъ встрѣчается съ Моцартомъ, чья музыка его потрясаетъ; онъ влюбляется въ нее со всею, долго сдерживаемой холодомъ ремесла, страстью; восторженно славить и превозносить ее во всеуслышанье, горько негодуетъ на общее, какъ ему кажется, непониманіе божественной вѣсти, принесенной этимъ избранникомъ, — и въ то же самое время чувствуетъ себя впервые во власти чуждаго и страннаго ему демона зависти, столь яростнаго и мощнаго, что онъ уже не въ силахъ противиться его внушенію отравить своего боготворимаго друга. Эта не заурядная художническая ревность, не личная зависть, ищущая обезцѣнить соперника, но зависть трагическая, ибо соединенная въ противоборствѣ съ любовью, и метафизическая, потому что на-

правлена она уже не на человѣка, а на сверхличное начало, въ немъ воплощенное: Сальери завидуетъ благодати, отпущенной Моцарту не по заслугамъ (ихъ у Сальери несравненно больше), а даромъ, и завистникъ дѣлается уже не человѣкоубійцей только, но богоубійцей.

И безъ всякаго лицемѣрія Сальери-сатана пытается оправдать свой умыселъ при помощи разсужденій, остріе которыхъ обращено противъ вмѣшательства божественной благодати въ дѣла человѣческія. Геній Моцарта — чудо, сверхъ-естественное его происхожденіе слишкомъ очевидно; но чудо — насильственный перерывъ естественнаго порядка вещей, даръ Божій — роковой даръ, онъ нарушаетъ строй и разрываетъ цѣпь человѣческихъ усилий. Устранить чудотворца — «тяжелый долгъ». Мотивъ противленія человѣка, алчущаго нераздѣльно владычествовать надъ міромъ, божественному нисхожденію въ міръ прозвучитъ позднѣе въ поэмѣ Достоевскаго «Великій Инквизиторъ», гдѣ Христосъ, снова появившійся среди людей, объявленъ нежелательнымъ гостемъ.

Нельзя съ большею убѣжденностью свидѣтельствовать о пугосторонней природѣ Красоты, чѣмъ это дѣлаетъ Сальери въ словахъ о неизбежномъ паденіи искусства послѣ того, какъ уйдетъ изъ міра Моцартъ, которому наслѣдника уже не будетъ: «Какъ нѣкій херувимъ, онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ, чтобы, возмутивъ безкрылое желанье въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть». Но мало этого свидѣтельства, — поэтъ провозглашаетъ также и единоприродность Красоты и Добра: когда уже все свершилось, убійца нравственно уничтоженъ своимъ послѣднимъ сомнѣніемъ — сомнѣніемъ въ совѣстимости генія и злодѣяства. Итакъ, по Пушкину, Красота открывается черезъ посредство генія, геній же есть даръ Божественной Благодати, не иначе дѣйствующей, какъ въ согласіи съ Добромъ.

5.

Но развѣ Красота не бываетъ соблазнительна? И если да, — какъ можетъ она соблазнять ко злу, будучи союзницею Добра? Мы знаемъ, какъ эта проблема волновала и мучила Достоевскаго. Не Пушкину, поэту, предлежало рѣшать ее, но онъ ее впервые ставитъ, и — что для него показательно — ставитъ ее не въ общей формѣ, а въ ея историческомъ воплощеніи и въ эпической отъ насъ удаленности. Въ рафаэлевски-ясныхъ терцинахъ фрагмента «Въ началѣ жизни школу помню я» онъ

изображаетъ душевную тревогу, порожденную этимъ противорѣчiemъ въ переходное время между христіанскимъ Средне-вѣковьемъ и оглянувшимся на язычество Возрожденіемъ. «Смиренная, одѣтая убого, но видомъ величаява жена» подь монашескимъ покрываломъ, съ небеснымъ свѣтомъ очей и словами «полными святости» на устахъ, есть олицетвореніе Теологии, «священной доктрины» схоластиковъ. Мечтательный отрокъ, убѣгающій отъ уроковъ прекрасной, но строгой наставницы въ «великолѣпный мракъ чужого сада», чтобы за его оградой «праздномыслить» и «превратно толковать» про себя преподанное, плѣненъ волшебною красотой двухъ мраморныхъ кумировъ — двухъ обожженныхъ древностью бѣсовъ: это — подрастающій гуманизмъ. Самые страшные для христіанина грѣхи — гордость, гнѣвъ, сладострастіе — окружены въ чародѣйныхъ идолахъ неотразимымъ обаяніемъ. Два нравственныхъ міра противопоставлены одинъ другому и борются между собою подъ знакомъ единой Красоты: какъ рѣшится споръ, загадочный отрывокъ не говоритъ.

Но, помимо опасностей, какія таитъ въ себѣ отвлеченное служеніе Красотѣ (геній избѣгаетъ ихъ, благодаря очистительной силѣ вдохновенія), Красота, какою видитъ ее Пушкинъ, остается, особенно въ своихъ наиболѣе возвышенныхъ и чистыхъ проявленіяхъ, до такой степени внѣмірной и надмірной, что не можетъ прямо воздѣйствовать на міръ и непосредственно преобразовать его. Недвижная двигательница любви, она относится къ поэту, движимому платоновскимъ эросомъ, какъ Роза, въ мистической поэзіи Персіи, ко влюбленному въ нее Соловью (см. стихотвореніе «Соловей»): «она не слушаетъ, не чувствуетъ поэта; глядишь — она цвѣтетъ, взываешь — нѣтъ отвѣта». Замкнутая въ своей божественной потусторонности, она все влечетъ къ себѣ и все озаряетъ, но не освобождаетъ. Изступленныхъ словъ Достоевскаго: «Красота спасетъ міръ» — Пушкинъ не повторилъ бы, даже, быть можетъ, не понялъ бы. Этотъ трезвый и по-эллиниски уравновѣшенный умъ, этотъ талантъ, скорѣе склонный воздѣлывать рай искусствъ, нежели раздвигать его предѣлы, не зналъ мечтаній объ искусствѣ «теургическомъ», которое призывалъ Владиміръ Соловьевъ, — объ искусствѣ, «выводящемъ родъ человѣческой изъ состоянія нищеты къ состоянію счастья», какъ того ждалъ Данте отъ задуманной имъ поэмы о трехъ мірахъ.

6.

Вслѣдъ за Мишквичемъ, который въ самомъ себѣ чувствовалъ (отчего и своему русскому брату по Музѣ приписалъ) нѣчто пророчественное, толкователи Пушкина привыкли видѣть въ его «Пророкъ» идеальный образъ Поэта. Нѣтъ ничего менѣе согласнаго со всѣмъ строемъ пушкинской мысли, чѣмъ это смѣшеніе двухъ въ корнѣ различествующихъ понятій и типовъ. «Пророкъ» ость образъ цѣлостнаго и окончательнаго перерожденія личности, которое въ нѣкоторомъ смыслѣ равносильно смерти. Избранникъ становится безличнымъ носителемъ вложенной въ него единой мысли и воли. Если-бъ онъ раньше былъ художникомъ, то, конечно, пересталъ бы имъ быть. Онъ не искалъ бы уже творческаго уединенія, въ тишинѣ котораго рождались его сладкіе звуки и медленно воплощались имъ задуманные міры, но обходилъ бы моря и земли съ проповѣдью, иноприродною искусству. вмѣсто того чтобы двигать сердца благотворными чарами пѣсни и сновидѣнія, онъ бы жегъ ихъ глаголомъ. Его благословляющій, славящій языкъ сталъ бы горькимъ жаломъ мудрой змѣи. Его отзывчивое, послушливое, солнечную силу излучающее сердце стало бы непреклоннымъ в саблѣ горящимъ, какъ пылающій уголь. Само всечувствіе духа, на все прозрѣвшаго и все, до прозябанія дольныхъ лозъ, разслышавшаго, было бы не всечувствіемъ поэта, цѣлью въ себѣ самомъ, но средствомъ дѣйствія, рычагомъ мощнаго сдвига. Между посвященіемъ пророка и высшимъ духовнымъ пробужденіемъ поэта, несомнѣнно, есть черты общія; но преобладаетъ различіе двухъ разныхъ путей и двухъ разныхъ видовъ божественнаго посланничества.

Поэта Пушкинъ никогда не превозносилъ сверхъ мѣры, но изучалъ его и изображалъ безпристрастно, какимъ зналъ его въ себѣ по опыту, какими чувствовалъ его призваніе, его мощь и достоинство, его немощность. Отличительны для поэта, прежде всего, прерывность вдохновенія, но зато всякій разъ и непредвидѣнная, негаданная новизна его. И отличительна для него мгновенность «ординаго» пробужденія при первомъ дальнемъ зовѣ бога-вдохновителя, мгновенность чудеснаго измѣненія, въ немъ тогда совершающагося, такъ что онъ, одержимый богомъ, уже не свой и не прежній. Тогда нѣтъ для него и другого закона, кромѣ внушаемаго ему вдохновеніемъ: «гордись, таковъ (какъ вѣтеръ) и ты, поэтъ, и для тебя закона нѣтъ». Если онъ, свободный отъ всякаго искусству внѣположнаго ве-

лѣнія, пробудитъ тѣмъ не менѣ въ людяхъ «добрія чувства» и тѣмъ станетъ «любезенъ народу», то это будетъ только слѣдствіемъ внутренней сопримродности Красоты и Добра; главное же его дѣло, собственное дѣло Красоты, можетъ быть, окажется и мало доступнымъ народу въ цѣломъ и будетъ по достоинству оцѣнено только немногими, посвященными въ таинства поэзіи («и славенъ буду я, пока въ подлунномъ мірѣ живъ будетъ хоть одинъ пійтъ»). И какъ сама Красота не воздѣйствуетъ прямо на міръ, такъ и служитель ея пусть лучше не вмѣшивается въ дѣла мірскія: «не для житейскаго волненія, ни для корысти, ни для битвъ, — мы рождены для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ».

7.

Но прерывность творческаго подъема, обусловленная самою природою поэтическаго творчества, предполагаетъ промежуточныя состоянія творческаго истощенія, которое будетъ переживаться какъ общая духовная опустошенность, какъ потемки души «безъ божества, безъ вдохновенія», если нѣтъ передъ ней другого маяка, кромѣ видѣнія Красоты, открывающей только въ часы вдохновенія. Въ оазовъ творческаго оживленія жизнь неизбѣжно представится мрачною пустыней, въ которой поэтъ влачится, «духовной жаждою томимъ». Но это томленіе все же великое благо: въ немъ жива память. Окончательное состояніе духовной опустошенности — забвеніе, забвеніе о самой Красотѣ, тотъ «хладный сонъ», въ которомъ поэтъ поистинѣ дѣлается ничтожнѣйшимъ «межъ дѣтей ничтожныхъ міра». Этотъ «хладный сонъ» всего страшнѣе и ненавистнѣе Пушкину, онъ его главный врагъ, злѣйшій изъ бѣсовъ: поэтъ зоветъ его «скукой», «тайною скукой», «тоскою», «уныніемъ». «Уныніе» есть его каноническое имя въ спискѣ смертныхъ грѣховъ.

Отсюда склонность къ общей пессимистической оцѣнкѣ жизни у Пушкина. «Даръ напрасный, даръ случайный» видитъ онъ въ ней, и уже не въ раннія мятежныя лѣта, а въ 1828-омъ году, когда, въ день своего рожденія, упрекаетъ Бога, какъ силу ему враждебную, за произвольное и насильственное его созданіе. «Цѣли нѣтъ передо мною, сердце пусто, празденъ умъ, и томитъ меня тоскою однозвучной жизни шумъ»: пустота сердца, праздность ума и «тоска» для Пушкина нераздѣлимы. И, несмотря на мелодическую палинодію, на торжественное и

смирненное опроверженіе своей хулы («Въ часы забавъ иль праздной скуки»), поэтъ не можетъ заклясть демона унынія внѣ идеальнаго круга своего творчества. Нѣтъ у него прочной духовной основы: не окрѣпла въ немъ вѣра.

Взаимнѣ, дѣйствіе Благодати побуждаетъ его изслѣдовать собственную тоску, внутреннюю природу страстей, замутяющихъ и истязующихъ его душу, тѣхъ бурь, которыя, пролетѣвъ, оставляютъ въ опустошенной душѣ только содроганіе ужаса и боль. Никто изъ поэтовъ — развѣ лишь Бодлэръ и Верленъ — не выразилъ съ такою силой, какъ Пушкинъ, мукъ раскаянія и душевнаго сокрушенія. Прозорливо всматривается онъ въ темную глубину, гдѣ питаютъ свой корень убійственныя страсти, расцвѣтающія адскимъ садомъ смертныхъ грѣховъ.

8.

Пушкинъ не имѣлъ правильнаго и духовно-образующаго религіознаго воспитанія. Въ его средѣ господствовалъ духъ Вольтера. Мальчикъ восхищался его стихами и искалъ въ своихъ подражать ихъ ясности, легкости, умной заостренности. Вкусъ къ Вольтеру долго чувствуется въ творествѣ молодого Пушкина и послѣ того, какъ онъ испыталъ другія поэтическія вліянія. Напротивъ, Руссо, который оказалъ столь ощутительное воздѣйствіе и на Толстого и на Достоевскаго, никогда не былъ ему такъ дорогъ, какъ нѣкоторымъ изъ его раннихъ наставниковъ и позднѣйшихъ пріятелей. Не оптимистъ и не мечтатель, умъ острый, быстрый и пронизательный, болѣе напоминающій своимъ критическимъ складомъ «охлажденный» умъ Онѣгина нежели легковѣрный и льдкій Ленскаго, Пушкинъ никогда не думалъ о воспитаніи или совершенствованіи человѣчества. Прямой реалистъ, онъ предпочиталъ гаданіямъ о будущемъ изученіе прошлаго, и идиллія естественнаго совершенства — познаніе глубинъ человѣческаго сердца.

Въ тишинѣ вынужденнаго одиночества созрѣли въ немъ и художникъ, и мыслитель. Въ «Цыганахъ» былъ развѣчанъ «гордый человекъ» Байрона. Въ работѣ надъ «Борисомъ Годуновымъ» найденъ идеаль Пимена. Замѣтка на поляхъ въ черновой рукописи сцены между дѣтописцемъ и Григоріемъ: «приближаюсь къ тому времени, когда перестало земное быть для меня занимательнымъ» — согласуется, какъ бы мы ее ни толковали, съ тогдашнимъ умонастроеніемъ поэта, впервые познающаго — и именно черезъ созданіе Пимена — красоту духов-

наго трезвенія и смиренномудрой отрѣшенности. Тутъ, повидому, блеснулъ передъ нимъ впервые его другой маякъ.

Одновременно создается «Онѣгинъ», и анализъ героя непримѣтно обращается для автора въ испытаніе собственной совѣсти: онъ уже умѣетъ назвать по имени, изображая его челоуѣкоубійственные происки, слишкомъ близко извѣстнаго ему бѣса брезгливой лѣни и замаскированного надменностью унынія. Тоска по далекой, чистой, святой жизни слышится въ заключительныхъ словахъ Татьяны; а въ ослѣпительныхъ, какъ молніи, строкахъ «Пророка» сказалась, съ мощною силой призыва, вся истомившая духъ жажда цѣлостнаго возрожденія.

9.

Въ томъ-же 1828-омъ году, когда предсталъ поэту этотъ образъ высокаго посвященія, а работа надъ романомъ продвинулась до изображенія поединка, онъ набрасываетъ сцену между Фаустомъ и Мефистофелемъ. Этотъ Фаустъ—какъ бы другой списокъ съ идеальнаго лица, вызваннаго гениемъ Гете, и мы находимъ въ его чертахъ новое выраженіе. Искатель жизни, достойной этого имени, мучимъ, какъ и Евгений, скукой; а его ненавидимый спутникъ, съ палаческою изощренностью, утѣшаетъ его доказательствами, что скука есть основное содержаніе и весь смыслъ бытія. Любопытно, что при этомъ Мефистофель заявляетъ себя «психологомъ» и рекомендуетъ эту «науку» особливому вниманію своего многоученаго собесѣдника: можно было бы подумать, что Пушкинъ предчувствовалъ новѣйшія заслуги двусмысленной и опасной дисциплины передъ ея дальновиднымъ цѣнителемъ.

Отъ общихъ разсужденій психологъ переходитъ къ анализу увлеченій и разочарованій Фауста, чтобы показать ему, что общій законъ бытія — скука — оправдывался на немъ самомъ въ любое мгновеніе его жизни, — даже въ такое мгновеніе, «когда не думаетъ никто», когда онъ былъ наконецъ въ объятіяхъ вождельниной Гретхень. Чтобы прекратить пытку и вмѣстѣ сорвать свой гнѣвъ на міръ, столь явно подтверждающій теорію бѣса, Фаустъ отсылаетъ своего мучителя съ порученіемъ утопить показавшійся на морѣ корабль, везущій изъ Новаго Свѣта старое золото и новую заразу.

Скука, какъ общій законъ живущаго, означаетъ общее латгаргическое забвеніе смысла жизни, параличъ духа и растлѣніе плоти. Изъ этого гнѣнія встануть ядовитыми произростаніями грѣхи, которые такъ сплетены между собою корнями, что

чувственная похоть, напримѣръ, расцвѣтаетъ убійствомъ. Въ своемъ психологическомъ разслѣдованіи Мефистофель успѣлъ напомнить Фаусту, что, едва насладясь желанною добычей, онъ уже глядѣлъ на милое тѣло «съ неодолимымъ отвращеніемъ», какъ убійца въ лѣсу косится на ободранное тѣло своей жертвы. Образъ убійцы, находящаго «въ убійствѣ пріятность», встаетъ въ душѣ Скупого Рыцаря, когда онъ влагаетъ ключъ въ замокъ завѣтнаго сундука съ такимъ чувствомъ, какъ если-бъ онъ воззаль ножъ въ живое тѣло: «пріятно и страшно вмѣстѣ». Если плотская похоть убійственна, то и скупость роднится со сладострастіемъ, роднится съ убійствомъ.

Какъ возставшая на Бога зависть въ «Моцартъ и Сальери», гдѣ убійца произноситъ то же признаніе: «и больно, и пріятно», — какъ чувственность въ «Каменномъ Гостѣ», толкающая Донъ-Жуана, послѣ ряда преступленій, бросить открытый вызовъ Небу, — такъ скупость въ «Скупомъ Рыцарѣ» принимаетъ сверхчеловѣческіе размѣры сатанинскаго мятежа. Безумный старикъ ни на что не употребляетъ накопленныхъ богатствъ, они нужны ему для невещественнаго утвержденія достигнутой имъ потенциальной моши: «съ меня довольно сего сознанія». Воля къ могуществу сосредоточена здѣсь въ состояніи чистой возможности и бонится расточить себя въ дѣйствіи. Скупецъ хочетъ, чтобы золото уснуло на днѣ его сундуковъ, «какъ боги спятъ въ глубокихъ небесахъ»: онъ соперничаетъ съ богами, недвижимыми, потому что всемогущими. Въ глубинѣ каждаго грѣха поэтъ, вмѣстѣ съ древними, видитъ надмившуюся гордость и бунтъ противъ божества.

10.

Пушкину духовная гордость была чужда. Въ изступленіи пирующихъ во время чумы онъ видитъ не вызовъ Небу, а нѣкое діонисійское «упоеніе» и, слѣдовательно, «залогъ безсмертія». Въ стихотвореніи «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума», гдѣ описаніе безумія порой дословно совпадаетъ съ изображеніемъ экстаза въ «Вакханкахъ» Эврипида, поэтъ признается, что самъ не дорожитъ разумомъ и былъ бы радъ съ нимъ разстаться для жара и забытій «нестройныхъ, чудныхъ грезъ». Міръ утомилъ его; онъ усталъ отъ жизни, равно мертвой духовно въ своихъ стоячихъ заводяхъ и въ своемъ мутномъ потокѣ. «Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ» (1836 г.).

Еще въ 1829 году, завидѣвъ изъ долины монастырь на Казбекѣ, онъ восклицаетъ: «туда бѣ, въ заоблачную келью, въ со-

сѣдство Бога, скрыться мнѣ». И за шесть мѣсяцевъ до смерти перелагаетъ въ стихи великопостную молитву, отгоняющую «духъ праздности унылой» (въ церковномъ текстѣ: «духъ праздности, унынія...»), говоря такъ объ этой молитвѣ: «всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на уста и падшаго свѣжить невѣдомою силой». Мало-по-малу религіозное расположеніе души становилось обычнымъ и находило себѣ единственно довлѣющее выраженіе въ формахъ церковныхъ.

11.

Итакъ, ужь не оказывается ли Пушкинъ, по мѣрѣ того какъ въ немъ растутъ ужасъ грѣха и сознаніе запредѣльной тайны, въ конечномъ итогѣ моралистомъ, метафизикомъ, мистикомъ? Но не кажутся ли ему, и не безъ основанія, нравоучительныя проповѣди и житейскіе образцы безукорыненной добродѣтели смѣшными и несносными? Не почитаетъ ли онъ, вмѣстѣ съ Евгениемъ, слушающимъ шедлигянца Ленскаго, празднымъ занятіемъ «ломать голову надъ загадкою жизни» и «чудеса пододѣрывать»?.. И однако, какъ жутко-чудесно было все то, что творилось потомъ съ самимъ Онѣгинымъ, отъ появленія «кровавленной тѣни», которая гонитъ его изъ деревни въ безцѣльное странствіе, до его страннаго появленія въ петербургскихъ гостиницъ, гдѣ всѣ сторонятся отъ него, какъ отъ одержимаго какою-то темною силой, и до загадочныхъ состояній его, уже безумно влюбленнаго въ Татьяну, въ затворѣ его комнаты, когда говорятъ съ нимъ голоса его подсознательной памяти, «тайныя преданья сердечной темной старины»!

Пушкинъ не былъ моралистомъ, потому что не имѣлъ въ себѣ необходимой для того оптимистической наивности. Но не былъ ли онъ въ превосходной мѣрѣ метафизикомъ, когда пытался въ часы безсонницы разгадать «темный языкъ» шепчущей ночи или когда «тѣни милыя» говорили ему «мертвымъ языкомъ» о «тайнахъ вѣчности и гроба» — и онъ съ полною отчетливостью ощущалъ и сознавалъ всю несоизмѣримость нашего земнаго языка и нашихъ впечатлѣвшихся въ немъ понятій съ откровениями міра потусторонняго? Какъ бы то ни было, онъ былъ не въ меньшей мѣрѣ философъ, чѣмъ, напримѣръ, Шекспиръ или любой другой изслѣдователь человѣческаго сознанія, вышедшій на розыски заказанною отвлеченному мышленію тропой искусства.

Пушкинъ опредѣляетъ поэта какъ всемірное эхо. Это душевное эхо отвѣчаетъ на всѣ звуки міровой души и оттого

остаётся всегда чистымъ и гармоническимъ. Мы же не слышимъ большей части этихъ звуковъ: ихъ заглушаетъ для насъ наружный шумъ. Пушкинъ, эго, не могъ не откликаться на всѣ порывы молодой, вольной, буйно-избыточной жизни. Въ немъ видѣли поэтому пѣвца наслажденій. Но его не на долго соблазняетъ и подъ конецъ опредѣленно отталкиваетъ всякая разсчитанная погоня за наслажденіями. Онъ прощаетъ молодости всѣ ея увлеченія подъ условіемъ стихійной самопроизвольности, цѣльности, полноты страстнаго пыла. Страсть должна быть жива, какъ поэзія; не-живая поэзія — не поэзія вовсе, а въ живой все живо и тѣмъ оправдано.

Но и цѣльные упоенія дѣйствительно живой молодости скоротечны, и послѣ нихъ настанетъ «смутное похмелье»: поэтому «блаженъ, кто праздникъ жизни рано оставилъ, не допивъ до дна бокала полнаго вина». Изъ трехъ ключей, пробившихся «въ степи мірской печальной и безбрежной», ключъ юности скоро изсыкаетъ, и «слаще всѣхъ», конечно, утолить сердечную жажду «холодный ключъ забвенья», но есть еще и кастальскій ключъ вдохновенія, и самыми счастливыми днями своей жизни поэтъ считаетъ дни, посвященные вдохновенному труду. Въ этомъ трудѣ онъ единственно и всецѣло находилъ себя самого, и не только все важное и торжественное, что открывалось ему въ жизни, но и всю ея причудливую игру. Безпечность, которая посѣщала его на дружескихъ пирушкахъ, вбѣгала смѣясь и въ его рабочую келью: въ немъ жила Аріостова веселость. Какъ всякое истинное дарованіе, всеотзывчивость была его внутреннею потребностью: «такоевъ прямой поэтъ; онъ сѣтуетъ душой на пыльных играхъ Мельпомены и улыбается забавѣ площадной и вольности лубочной сцены». И хотя «прекрасное должно быть величаво», не поэтъ тотъ, кто не слышалъ, какъ смѣются олимпийскіе боги.

Отсюда меланхолически благодушная улыбка, съ какою поэтъ совѣтуетъ друзьямъ: «покажѣсть упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья; ея ничтожность разумію и мало къ ней привязанъ я». Такъ мало, что хотѣлъ бы вовсе отъ нея уйти. Въдъ каждый новый допросъ совѣсти предлагаетъ ему неоплаченный счетъ. Онъ видитъ свои лучшіе годы растраченными «въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумствѣ гибельной свободы». «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье мнѣ тяжело, какъ смутное похмелье; но, какъ вино, печаль минувшихъ дней въ моей душѣ, чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй».

Пушкинъ, столько разъ и такъ страстно влюбленный, не имѣлъ въ жизни опыта негншиной большой любви. Постоянное

разочарованіе обостряло въ немъ чувство зла. Разумѣніе «ничтожности» жизни, отъ которой отрада убѣгать въ пріюты вдохновенія, доказывало существованіе иной, спасенной жизни.

12.

Пушкинъ не былъ «мистикомъ», особенно въ современномъ смыслѣ этого неразборчиво употребляемаго слова. Какъ «отцы-пустынники», онъ предпочиталъ духовному хмелю духовное трезвеніе. Не былъ онъ, несмотря на метафизическіе моменты, и метафизикомъ: довольно съ него было разума Красоты и разумнаго нравственнаго; его «спекулятивный» разумъ не искалъ переступить положенныхъ ему предѣловъ.

Его вѣру отличаетъ чистый дуализмъ, какъ его юношеское въ его поэзіи и тѣни пантеистическихъ чувствованій; Байронъ, сынъ восемнадцатаго вѣка, былъ ему и въ этомъ отношеніи близокъ. Пушкинъ любилъ Коранъ; дышавшая пустою азіатскою степью строки: «Въ тридцатомъ государствѣ, противъ неба на землѣ жилъ мужикъ въ своемъ селѣ» — случайно выдають, въ какой мѣрѣ пушкинское мироощущеніе бывало порою созвучно съ мусульманскимъ противоположеніемъ Аллаха и «дрожавшей твари».

Пушкинскую тоску по святой жизни Достоевскій, его постоянный ученикъ и въ нѣкоторомъ смыслѣ продолжатель, положилъ въ основу своего истолкованія русской религіозности: какъ нѣкій сокровенный, но все же близкій и доступный рай, на землѣ пребывающее царство святыхъ «сквозить и свѣтить» у него сквозь ночь ада и сумерки чистилища душъ заблудившихся и мятежныхъ. Съ другой стороны, проникновеніе учителя въ темныя глубины грѣха побудило ученика-психолога, въ изслѣдованіи корней преступленія, перейти за границы психологіи въ метафизическую сферу умопостигаемаго самоопредѣленія личности.

Вячеславъ Ивановъ.

Мой Пушкинъ

Начинается какъ глава настольаго романа всѣхъ нашихъ бабушекъ и матерей — Jane Eyre — Тайна красной комнаты. Въ красной комнатѣ былъ тайный шкафъ.

Но до тайнаго шкафа было другое, была картина въ спальнѣ матери — Дуэль.

Снѣгъ, черные прутья деревецъ, двое черныхъ людей проводятъ третьяго, подъ мышки, къ санямъ — а еще одинъ, другой, спиной отходить. Уводимый — Пушкинъ, отходящій — Дантэсъ. Дантэсъ вызвалъ Пушкина на дуэль, то-есть заманилъ его на снѣгъ и тамъ, между черныхъ безлистныхъ деревецъ, убилъ.

Первое, что я узнала о Пушкинѣ, это — что его убили. Потомъ я узнала, что Пушкинъ — поэтъ, а Дантэсъ — французъ. Дантэсъ возненавидѣлъ Пушкина потому-что самъ не могъ писать стихи и вызвалъ его на дуэль, то-есть заманилъ на снѣгъ и тамъ убилъ его изъ пистолета въ животъ. Такъ я трехъ лѣтъ твердо узнала, что у поэта есть животъ, и — вспоминаю всѣхъ поэтовъ, съ которыми когда-либо встрѣчалась, — объ этомъ животѣ поэта, который такъ часто несетъ и въ который Пушкинъ былъ убитъ, пеклась не меньше чѣмъ о его душѣ. Съ пушкинской дуэли во мнѣ началась сестра. Больше скажу — въ словѣ животъ для меня что-то священное, — даже простое «болитъ животъ» меня заливаешь волной содроганнаго сочувствія, исключаннаго всякнмъ юморъ. Насъ этимъ выстрѣломъ всѣхъ въ животъ ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо привѣтствую такое умолчаніе матери. Мѣщанская трагедія обрѣтала величіе мнѣа. Да, по существу, третьяго въ этой дуэли не было. Было двое: любовью и одинъ. То-есть вѣчныя дѣйствующія лица пушкинской лирики: поэтъ — и чернь. Чернь, на этотъ разъ въ мундирѣ кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, какъ и Николай I-ый — всегда найдется.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, ты только представь себѣ! — говорила мать, совершенно не представляя себѣ этого ты — смертельно раненый, въ снѣгу, а не отказался отъ выстрѣла! Прицѣлился, попалъ, и еще самъ себѣ сказалъ: браво! — тономъ такого восхищенія, какимъ ей, христіанкѣ, естественно бы: — Смертельно раненый, въ крови, а простилъ врагу! Отшвырнулъ пистолетъ, протянулъ руку — этимъ, со всѣми нами, явно возвращая Пушкина въ его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урокъ — если не мести — такъ страсти на всю жизнь даетъ четырехлѣтней, еле-грамотной мнѣ.

Черная съ бѣлымъ, безъ единого цвѣтного пятна, материнская спальня, черное съ бѣлымъ окно: снѣгъ и прутья тѣхъ деревецъ, черная и бѣлая картина — Дуэль, гдѣ на бѣлизнѣ снѣга совершается черное дѣло: вѣчное черное дѣло убійства поэта — черню.

Пушкинъ былъ мой первый поэтъ и моего перваго поэта — убили.

Съ тѣхъ поръ, да, съ тѣхъ поръ, какъ Пушкина на моихъ глазахъ на картинѣ Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, дѣтство, юность — я подѣлила мѣръ на поэта — и всѣхъ, и выбрала — поэта, въ подзащитные выбрала поэта: защищать поэта — отъ всѣхъ, какъ бы эти всѣ ни одѣвались и ни назывались.

Три такихъ картины были въ нашемъ трехпрудномъ домѣ: въ столовой — Явленіе Христа народу, съ никогда не разрѣшенной загадкой совсѣмъ маленькаго и непонятно-близкаго, совсѣмъ близкаго и непонятно-маленькаго Христа; вторая, надъ нотной этажеркой въ залѣ — Татары — татары въ бѣлыхъ балахонахъ, въ каменномъ домѣ безъ оконъ, между бѣлыхъ столбовъ убивающіе главнаго татарина (Убійство Цезаря) и — въ спальнѣ матери — Дуэль. Два убійства и одно явленіе. И всѣ три были страшныя, непонятныя, угрожающія, и Крещеніе съ никогда не видѣнными черными кудрявыми орлоносными голыми людьми и дѣтьми, такъ заполнившими рѣку, что капли воды не осталось, было не менѣе страшное тѣхъ двухъ, — и всѣ онѣ отлично готовили ребенка къ предназначенному ему страшному вѣку.

Пушкинъ былъ негръ. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негровъ и у старыхъ генераловъ), у Пушкина были волосы вверхъ и губы наружу, и черныя, съ синими бѣлками,

какъ у щенка, глаза, — черные вопреки явной свѣтлоглазости его многочисленныхъ портретовъ. Разъ негръ — черные*).

Пушкинъ былъ такой же негръ, какъ тотъ негръ въ Александровскомъ пассажѣ, рядомъ съ бѣлымъ стоячимъ медвѣдемъ, надъ вѣчно-сухимъ фонтаномъ, куда мы съ матерью ходили посморѣть: не забилъ ли? Фонтаны никогда не бьютъ (да какъ это они бы дѣлали?), русский поэтъ — негръ, поэтъ — негръ и поэтъ — убили.

(Боже, какъ сбилось! Какой поэтъ изъ бывшихъ и сущихъ и с негръ, и какого поэтъ — не убили?)

Но до Дуэли Наумова — ибо у каждаго воспоминанія есть свое до-воспоминаніе, предокъ — воспоминаніе, пращуръ — воспоминаніе, точно пожарная лѣстница, по которой, спускаешься спиной, не зная, будетъ ли еще ступень — которая в сегда оказывается — или внезапною ночное небо, на которомъ открываешь все новыя и новыя, высочайшія и далечайшія звѣзды — но до Дуэли Наумова былъ другой Пушкинъ, Пушкинъ — когда я еще не знала, что Пушкинъ — Пушкинъ. Пушкинъ не воспоминаніе, а состояніе, Пушкинъ — всегда и отвсегда. — до Дуэли Наумова была заря, и изъ нея вырастая, въ нее уходя, ее плечами разсѣкая какъ пловець — рѣку — черный челоуѣкъ выше всѣхъ и чернѣе всѣхъ — съ наклоненной головой и шляпой въ рукѣ.

Памятникъ Пушкина былъ не памятникъ Пушкина (родительный надежь), а просто Памятникъ-Пушкина, въ одно слово, съ одинаково-непонятными и порознь не существующими понятіями памятника и Пушкина. То, что вѣчно, подъ дождемъ и подъ снѣгомъ — о, какъ я вижу эти нагруженныя снѣгомъ плечи, всѣми російскими снѣгами нагруженныя и ослепленныя африканскія плечи! — плечами въ зарю или въ метель, прихожу я или ухожу, убѣгаю или добѣгаю, стоитъ съ вѣчной шляпой въ рукѣ, называется «Памятникъ Пушкина».

Памятникъ Пушкина былъ цѣль и предѣлъ прогулки: отъ памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятникъ Пушкина былъ и цѣль бѣга: кто скорѣй добѣжитъ до Памятникъ-Пушкина. Только Асиа нянька иногда, по простотѣ, сокращала: «А у Пушкина — посидимъ», чѣмъ неизмѣнно вызвала мою педантическую поправку: — Не у Пушкина, а у Памятникъ-Пушкина.

Памятникъ Пушкина былъ и моя первая пространственная мѣра: отъ Никитскихъ Воротъ до памятника Пушкина — вер-

*) Пушкинъ былъ свѣтловолосъ и свѣтлоглазъ. — М. Ц.

ста, та самая вѣчная пушкинская верста, верста Бѣсовъ, верста Зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и нашихъ дѣтскихъ хрестоматій, полосатая и торчащая, непонятная и принятая *).

Памятникъ Пушкина былъ -- обиходъ, такое же дѣйствующее лицо дѣтской жизни, какъ рояль или за окномъ городской Игнашевъ -- кстаги, стоявшій почти такъ же непреложно, только не такъ высоко -- памятникъ Пушкина былъ одна изъ двухъ, третьей не было, ежедневныхъ неизбежныхъ прогулокъ -- на Патриаршіе Пруды -- или къ Памятникъ-Пушкину. И я предпочитала -- къ Памятникъ-Пушкину, потому что мнѣ нравилось, раскрывая и даже разрывая на бѣгу мою бѣлую дѣлушкину карльсбадскую улавочную «кофточку», къ нему бѣжать и добѣжавъ обходить, а потомъ поднявъ голову смотрѣть на чернолицаго и чернорукаго великана, на меня не глядящаго, ни на кого и ни на что въ моей жизни не похожаго. А иногда просто на одной ногѣ обскакивать. А бѣгала я, несмотря на Андришину долговязость и Асину невѣсомость и собственную толстоватость -- лучше ихъ, лучше всѣхъ: отъ чистаго чувства чести: добѣжать, а потомъ ужъ допнуть. Мнѣ пріятно, что именно памятникъ Пушкина былъ первой побѣдой моего бѣга.

Съ памятникомъ Пушкина была и отдѣльная игра, моя игра, а именно: приставлять къ его подножью мизинную, съ дѣтскій мизинецъ, бѣлую фарфоровую куколку -- онѣ продавались въ посудныхъ лавкахъ, кто въ концѣ прошлаго вѣка въ Москвѣ росъ -- знаетъ, были гномы подъ грибами, были дѣти подъ зонтами, -- приставлять къ гигантову подножью такую фигурку и постепенно проходя взглядомъ снизу вверхъ весь гранитный отвѣсъ, пока голова не отваливалась, росъ -- сравнивать.

Памятникъ Пушкина былъ и моей первой встрѣчей съ чернымъ и бѣлымъ: такой черный! такая бѣлая! -- и такъ какъ черный былъ явленъ гигантомъ, а бѣлый комической фигуркой, и такъ какъ непременно нужно выбрать, я тогда же и

* Тамъ версегою небывалой

Опъ торчалъ передо мной... (Бѣсы).

Пушкинъ здѣсь говорить о верстовомъ столбѣ. -- М. Ц.

Ни огня, ни черной хаты...

Глазъ и свѣсъ... Налстрѣчу мнѣ

Только версегы полосаты

Поведаются одиѣ... (Зимняя дорога).

навсегда выбрала черного, а не бѣлаго, черное, а не бѣлое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятникъ Пушкина былъ и моей первой встрѣчей съ числомъ: сколько такихъ фигурокъ нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятникъ Пушкина. И отвѣтъ былъ уже тотъ, что и сейчасъ: — Сколько ни ставь... съ горделиво-скромнымъ добавленіемъ: — «Вотъ если бы сто меня, тогда — можеть, потому-что я вѣдь ещё вырасту...» И, одновременно: — а если одна на другую сто фигурокъ, выйду — я? И отвѣтъ: — нѣтъ, не потому-что я большая, а потому-что я живая, а онѣ фарфоровыя.

Такъ-что Памятникъ-Пушкина былъ и моей первой встрѣчей съ матеріаломъ: чугуномъ, фарфоромъ, гранитомъ — и своимъ.

Памятникъ Пушкина со мной подъ нимъ и фигуркой подо мной былъ и моимъ первымъ нагляднымъ урокомъ іерархіи: я передъ фигуркой великанъ, но я передъ Пушкинымъ — я. То есть маленькая дѣвочка. Но которая вырастетъ. Я для фигурки — то, что Памятникъ Пушкина — для меня. Но что же тогда для фигурки — Памятникъ Пушкина? И послѣ мучительнаго думанья — внезапное озареніе: а онѣ для нея такой большой, что она его просто не видитъ. Она думаетъ — домъ. Или — громъ. А она для него — такая ужъ маленькая, что онѣ ее тоже — просто не видитъ. Онѣ думаетъ — просто блоха. А меня — видитъ. Потому-что я большая и толстая. И скоро ещё подросту.

Первый урокъ числа, первый урокъ масштаба, первый урокъ матеріала, первый урокъ іерархіи, первый урокъ мысли и, главное, наглядное подтвержденіе всего моего послѣдующаго опыта: изъ тысячи фигурокъ, даже одна на другую поставленныхъ, не сдѣлаешь Пушкина.

...Потому-что мнѣ нравилось отъ него внизъ по песчаной или снѣжной аллеѣ идти и къ нему, по песчаной или снѣжной аллеѣ, возвращаться, — къ его спинѣ съ рукой, къ его рукѣ за спиной, потому-что стоялъ онѣ всегда спиной, отъ него — спиной, и къ нему — спиной, спиной ко всѣмъ и всему, и гуляли мы всегда ему въ спину, такъ же какъ самъ бульваръ всѣми тремя аллеями шелъ ему въ спину, и прогулка была такая долгая, что каждый разъ мы съ бульваромъ забывали, какое у него лицо, и каждый разъ лицо было новое, хотя такое же черное. (Съ грустью думаю, что послѣднія деревья до него такъ и не узнали, какое у него лицо.)

Памятникъ Пушкина я любила за черноту — обратную бѣ-

дизнѣ нашихъ домашнихъ боговъ. У тѣхъ глаза были совсѣмъ бѣлые, а у Памятникъ-Пушкина — совсѣмъ черные, совсѣмъ полные. Памятникъ Пушкина былъ совсѣмъ черной, какъ собака, еще чернѣй собаки, потому что у самой черной изъ нихъ всегда надъ глазами что-то желтое или подъ шеей что-то бѣлое. Памятникъ Пушкина былъ черной какъ роуль. И если бы мнѣ потомъ совсѣмъ не сказали, что Пушкинъ — негръ, я бы знала, что Пушкинъ — негръ.

Отъ памятникъ Пушкина у меня и моя безумная любовь къ чернымъ, пронесенная черезъ всю жизнь, по сей день польщенность всего сущаго, когда случайно, въ вагонѣ трамвая или иномъ, окажусь съ чернымъ — рядомъ. Мое бѣлое убожество бокъ-о-бокъ съ чернымъ божествомъ. Въ каждомъ негрѣ я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, — черной памятникъ Пушкина моего дограмотнаго младенчества и вся Россіи.

...Потому-что мнѣ нравилось, что уходимъ мы или приходимъ, а онъ — всегда стоитъ. Подъ сѣномъ, подъ летящими листьями, въ зарѣ, въ снѣгѣ, въ мутномъ молокѣ зны — всегда стоитъ.

Нашихъ боговъ иногда, хоть рѣдко, но переставляли. Нашихъ боговъ, подъ Рождество и подъ Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили вѣтра. Этого — всегда стоялъ.

Памятникъ Пушкина былъ первымъ моимъ видѣніемъ неприкосновенности и непреложности.

— На Патріаршіе Пруды или...?

— Къ Памятникъ-Пушкину!

На Патріаршихъ Прудахъ — патріарховъ не было.

Чудная мысль — гиганта поставить среди дѣтей. Чернаго гиганта — среди бѣлыхъ дѣтей. Чудная мысль бѣлыхъ дѣтей на черное родство — обречь.

Подъ памятникомъ Пушкина росшіе не будутъ предпочитать бѣлой расы, а я — такъ явно предпочитаю — черную. Памятникъ Пушкина, опережая событія — памятникъ противъ расизма, за равенство всѣхъ расъ, за первенство каждой — лишь бы давала генія. Памятникъ Пушкина есть памятникъ черной крови влившейся въ бѣлую, памятникъ сліянія кровей, какъ бываетъ — сліянію рѣкъ, живой памятникъ сліянія кровей, смѣшенія народныхъ душъ — самыхъ далекихъ и какъ будто бы — самыхъ несліянныхъ. Памятникъ Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ей обратнаго. Пушкинъ есть фактъ опро-

кидывающей теорію. Расизмъ до своего зарожденія Пушкин-нымъ опрокинуть въ самую минуту его рожденія. Но нѣтъ — раньше: въ день бракосочетанія сына арана Петра Великаго, Осипа Абрамовича Гашибада съ Марьей Алексѣевной Пушкиной. Но нѣтъ, еще раньше: въ неизвѣстный намъ день и часъ, когда Петръ впервые остановилъ на абиссинскомъ мальчикѣ Ибрагимѣ черный, свѣтлый, веселый и страшный взглядъ. Этотъ взглядъ былъ приказъ Пушкину быть. Такъ-что дѣти, подъ петербургскимъ фальконетовымъ Мѣднымъ Всадникомъ росшіе, тоже росли подъ памятникомъ противъ расизма — за генія.

Чудная мысль Ибрагимова правнучка сдѣлать чернымъ. Отлить его въ чугуунѣ, какъ природа прадѣда отлила въ черной плоти. Черный Пушкинъ — символъ. Чудная мысль — чернотой изваянія дать Москвѣ доскутъ абиссинскаго неба. Ибо памятникъ Пушкина явно стоитъ «подъ небомъ Африки моей».

Чудная мысль — наклономъ головы, выступомъ ноги, снятой съ головы и заведенной за спину шляпой поклона — дать Москвѣ, подъ ногами поэта, море. Ибо Пушкинъ не надъ песчанымъ бульваромъ стоитъ, а надъ Чернымъ моремъ. Надъ моремъ свободной стихіи — Пушкинъ свободной стихіи.

Мрачная мысль — гиганта поставить среди цѣпей. Ибо стоитъ Пушкинъ среди цѣпей, окруженъ («огражденъ») его пьедесталь камнями и цѣпями: камень — цѣпь, камень — цѣпь, камень — цѣпь, все вмѣстѣ — кругъ. Кругъ Николаевскихъ рукъ, никогда не обнявшихъ поэта, никогда и не выпустившихъ. Кругъ, начавшійся словомъ: — «Ты теперь не прежній Пушкинъ, ты — мой Пушкинъ» и разомкнувшійся только дантэсовымъ выстрѣломъ.

На этихъ цѣпяхъ я, со всей дѣтской Москвой прошлой, будущей, будущей, качалась — не подозрѣвая, на чемъ. Это были очень низкія качели, очень твердыя, очень желѣзныя. — «Ампиръ»? — Ампиръ. — Empire — Николая I-го Имперія.

Но съ цѣпями и съ камнями — чудный памятникъ. Памятникъ свободѣ — неволѣ — стихіи — судьбѣ — и конечной побѣдѣ генія: Пушкину возставшему изъ цѣпей. Мы это можемъ сказать теперь, когда человѣчески-постыдная и поэтически-бездарная подмѣна Жуковского:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,

Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,

Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ...

— съ такимъ не-пушкинскимъ, анти-пушкинскимъ введеніемъ пользы въ поэзію — подмѣна, позорившая Жуковскаго и Николая I-го безъ малаго нѣкъ и имѣющая ихъ позорить во вѣки вѣковъ, пушкинское же подножье пятнавшая съ 1884 года — установки памятника — наконецъ замѣнена словами пушкинскаго Памятника:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
 Что чувства добрыя я лирой пробуждаю,
 Что въ мой жестокой вѣкъ возславилъ
 я свободу
 И милость къ надшимъ призывалъ.

И если я до сихъ поръ не назвала скульптора Опекушина, то только потому что есть слава бoльшая — безымянная. Кто въ Москвѣ знаетъ, что Пушкинъ — Опекушина? Но опекушинскаго Пушкина никто не забылъ никогда. Мнимая неблагодарность наша — взятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мнѣ, въ однихъ моихъ юношескихъ стихахъ, удалось ещѣ разъ дать его черное дѣтище — въ словѣ:

А тамъ, въ поляхъ необозримыхъ
 Служа небесному Царю —
 Чугунный правнукъ Ибрагимовъ
 Зажегъ зарю.

А вотъ какъ памятникъ Пушкина однажды пришелъ къ намъ въ гости. Я играла въ нашей холодной бѣлой залѣ. Играла, значить — либо сидѣла подъ роялемъ, затылкомъ въ уровень калекъ съ филодендровомъ, либо безмолвно бѣгала отъ ларя къ зеркалу, лбомъ въ уровень ползеркальнику.

Позвонили и залой прошелъ господинъ. Изъ гостиной, куда онъ прошелъ, сразу вышла мать, и мнѣ, тихо: — Муси! Ты видѣла этого господина? — Да. — Такъ это — сынъ Пушкина. Ты вѣдь знаешь памятникъ Пушкина? Такъ это его сынъ. Почетный опекунъ. Не уходи и не шуми, а когда пройдетъ обратно — гляди. Онъ очень похожъ на отца. Ты вѣдь знаешь его отца?

Время шло. Господинъ не выходить. Я сидѣла и не шумѣла и глядѣла. Одна на вѣскомъ стулѣ, въ холодной залѣ, не смѣя встать, потому-что вдругъ — — — пройдетъ.

Прошелъ онъ — и именно вдругъ — — — но не одинъ, а съ отцомъ и съ матерью, и я не знала, куда глядѣть, и глядѣла на мать, но она, перехвативъ мой изглядъ, гнѣвно отшвырнула

его на господина и я успѣла увидѣть, что у него на груди — звѣзда.

— Ну, Муся, видѣла сына Пушкина? — Видѣла.

— Ну, какой же онъ? — У него на груди — звѣзда. — Звѣзда! Мало ли у кого на груди звѣзда! У тебя какой-то особенный даръ смотрѣть не туда и не на то...

— Такъ смотри, Муся, запомни, — продолжалъ уже отецъ, — что ты нынче, четырехъ лѣтъ отъ роду, видѣла сына Пушкина. Потомъ внукамъ своимъ будешь рассказывать.

Внукамъ я рассказала сразу. Не своимъ, а единственному внуку, котораго я знала — няниному: Ванѣ, работавшему на оловянномъ заводѣ и однажды принесшему мнѣ въ подарокъ собственноручнаго серебрянаго голубя. Ваня этотъ, приходившій по воскресеньямъ, за чистоту и тихоту, а еще и изъ уваженія къ высокому сану няни, былъ допускаемъ въ дѣтскую, гдѣ долго пилъ чай съ баранками, а я отъ любви къ нему и его птичкѣ отъ него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

— Ваня, а у насъ былъ сынъ Памятникъ-Пушкина. — Что, барышня? — У насъ былъ сынъ Памятникъ-Пушкина и папа сказалъ, чтобы я это тебѣ сказала. — Ну, значить что-нибудь отъ папаши нужно было, разъ пришли... — неопредѣленно отовзался Ваня. — Ничего не нужно было, просто съ визитомъ къ нашему барину — вмѣшалась няня. — Небось сами — полный енераль. Ты Пушкина то на Тверскомъ знаешь? — Знаю. — Ну, сынокъ ихъ, значить. Уже въ лѣтахъ, вся борода сѣдая, на двое расчесана. Ваше Высокопревосходительство.

Такъ, отъ материнской обмолвки и няниной скороговорки, и отъ родительскаго приказа смотрѣть и помнить — связаннаго у меня только съ предметами — бѣлый медвѣдь въ пассажѣ, негръ надъ фонтаномъ, Мининъ и Пожарскій, и т. д. — а никакъ не съ человѣками, ибо Царь и Иоаннъ Кронштадтскій, которыхъ мнѣ, вознеся меня надъ толпой, показывали, относились не къ человѣкамъ, а къ священнымъ предметамъ — такъ это у меня и осталось: къ намъ въ гости приходилъ сынъ Памятникъ-Пушкина. Но скоро и неопредѣленная принадлежность сына стерлась: сынъ памятникъ-Пушкина превратился въ самъ памятникъ Пушкина. Къ намъ въ гости приходилъ самъ памятникъ Пушкина.

И чѣмъ старше я становилась, тѣмъ болѣе это во мнѣ, сознаниемъ, укрѣплялось: сынъ Пушкина — тѣмъ, что былъ сынъ Пушкина, былъ уже памятникъ. Двойной памятникъ его славы и его крови. Живой памятникъ. Такъ-что сейчасъ, цѣлую

жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что въ нашъ трехпрудный домъ, въ концѣ вѣка, въ одно холодное бѣлое утро при- шелъ Памятникъ Пушкина.

Такъ у меня, до Пушкина, до Донъ-Жуана, былъ свой Ко- мандоръ.

Такъ и у меня былъ свой Командоръ.

А шель, вѣрнѣй вѣхаль въ нашъ трехпрудный домъ сынъ Пушкина мимо дома Гончаровыхъ, гдѣ роилась и росла буду- щая художница Наталья Сергѣевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сынъ Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая можетъ-быть на него — не зная, не узна- вая, не подозревая — въ ту минуту изъ окна глядѣла.

Наша дома съ Гончаровой — узнала это только въ Пари- жѣ, въ 1928 г., — оказались сосѣдними, нашъ домъ былъ вось- мой, своего номера она не помнить.

Но что же тайна красной комнаты? Ахъ, весь домъ былъ тайный, весь домъ былъ — тайна!

Запретный шкафъ. Запретный плодъ. Этотъ плодъ — томъ, огромный сине-диловый томъ съ золотой надписью вкось — Собраніе сочиненій А. С. Пушкина.

Въ шкафу у старшей сестры Валеріи живетъ Пушкинъ, тотъ самый негръ съ кудрями и сверкающими бѣлками. Но до бѣлковъ — другое сверканіе: собственныхъ зеленыхъ глазъ въ зеркалѣ, потому-что шкафъ — обманный, зеркальный, въ двѣ створки, въ каждой — я, а если удачно помѣститься — носомъ противъ зеркальнаго водораздѣла, то получается не то два но- са, не то одинъ — неузнаваемый.

Толстаго Пушкина я читаю въ шкафу, носомъ въ книгу и въ полку, почти въ темнотѣ и почти вплотъ и немножко даже удущенная его вѣсомъ, приходящимся прямо въ горло, и почти ослабленная близостью мелкихъ буквъ. Пушкина читаю прямо въ грудь и прямо въ мозгъ.

Мой первый Пушкинъ — Цыганы. Такихъ именъ я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще — Старикъ. Я стариковъ знала только одного — сухорукаго Осниа въ тарусской бога- дѣльницѣ, у котораго рука отсохла — потому-что убилъ брата огурцомъ. Потому-что мой дѣдушка, А. Д. Мейнъ — не ста- рикъ, потому-что старики чужіе и живутъ на улицѣ.

Живыхъ цыганъ я не видѣла никогда, зато отродясь слы- шала про цыганку, мою кормилицу, такъ любившую золото,

что когда ей подарили серьги и она поняла, что онѣ не золотыя, а позолоченныя, она вырвала ихъ изъ ушей съ мясомъ и тутъ же втоптала въ паркетъ.

Но вотъ совсѣмъ новое слово — любовь. Когда жарко въ груди, въ самой грудной ямкѣ (всякій знаетъ!) и никому не говоришь — любовь. Миѣ всегда было жарко въ груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всѣхъ такъ, всегда — такъ. Оказывается — только у цыганъ. Алеко влюбленъ въ Земфиру.

А я влюблена — въ Цыганъ: въ Алеко, и въ Земфиру, и въ ту Мариюлу, и въ того цыгана, и въ медвѣдя, и въ могилу, и въ странныя слова, которыми всё это рассказано. И не могу сказать объ этомъ ни словомъ: взрослымъ — потому что краденое, дѣтямъ — потому что я ихъ презираю, а главное — потому-что тайна: моя — съ красной комнатой, моя — съ спичкѣю томомъ, моя — съ грудной ямкой.

Но, въ концѣ концовъ, любить и не говорить — разорваться, и я нашла себѣ слушательницу, и даже двухъ — въ лицѣ Асиной няньки, Александры Мухиной, и ея пріятельницы — швеи, приходившей къ ней, когда мать заѣдомо-уѣзжала въ концертъ, а невинная Ася — спала.

— А у насъ Мусенька — умница, грамотная, говорила нянька, меня не любившая, но при случаѣ мною хваставшаяся, когда исчерпаны были всѣ разговоры о господахъ и выпиты были всѣ полагающіяся чашки. — А цу-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того барабанщика.

(Господи, какъ каждому положена судьба! Я уже пяти лѣтъ была чьимъ-то духовнымъ ресурсомъ. Говорю это не съ гордостью, а съ горечью.)

И вотъ, однажды, набравшись духу, съ обмирающимъ сердцемъ, глубоко глотнувъ:

— Я могу рассказать про Цыганъ.

— Цы -- ыганъ? нянька, недоувѣрчиво — про какихъ такихъ цыганъ? Да кто жъ про нихъ книжки то писать будетъ, про побирохъ этихъ, руки ихъ загребущія?

— Это не такіе. Это — другіе. Это — таборъ.

— Ну, такъ и есть таборъ. Всегда возлѣ усадьбы таборомъ стоять, а потомъ гадаль приходитъ — молодая чертовка: — «Дай, барынька, погадаю о твоёмъ талантѣ...» а старая чертовка — бѣлье съ веревки, али ужъ прямо — брилліантовую брошь съ барынина туалета...

— Не такіе цыгане. Это — другіе цыгане.

— Ну, пушай, пушай расскажетъ! — пріятельница, чуя въ

моемъ голосѣ слёзы — можетъ и вправду другіе какіе... Пушиай расскажетъ, а мы — слушаемъ.

— Ну, былъ одинъ молодой человѣкъ. Нѣтъ, былъ одинъ старикъ и у него была дочь. Нѣтъ, я лучше стихами скажу. Цыганы шумною толпой — По Бессарабии кочуютъ — Они сегодня надъ рѣкой — Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ — Какъ вольность весель ихъ почлесть — и такъ далѣе — безъ передышки и безъ серединныхъ завѣтыхъ — до: з в о н ѣ п о х о д н о й н а к о в а л ь н и, которую можетъ-быть принимаю за музыкальный инструментъ, а можетъ-быть просто — принимаю.

— А складно говорить! какъ по писаному! восклицаетъ швея, тайно меня любящая, но не смѣющая, потому-что нянька — Асица.

— Мед—вѣ—едь... осуждающе произноситъ нянька, повторяя единственное домашнее до ея сознанія слово. — А вправду — медвѣдь. Маленькая была, старики рассказывали — за-всегда пѣганае медвѣдя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса—аль.

— Ну, а дальше то, дальше то что было? (швея.)

— И вотъ, къ этому старикъ приходитъ дочь и говоритъ, что этого молодого человѣка зовутъ Алэко.

Нянька: — Ка-акъ?

— Алэко!

— Ну ужъ и зовутъ! И имени такого нѣтъ. Какъ говоришь, зовутъ?

— Алэко.

— Ну и Алека — калѣка!

— А ты — дура. Не Алека, а Алэко!

— Я и говорю: Алека.

— Это ты говоришь: Алека, я говорю: Алэко: э—э—э! о—о—о!!

— Ну, ладно: Алека — такъ Алека.

— Алѣша, значить, по нашему (пріятельница, примиряющая). Да дай ей, дура, сказать, — о п а вѣдь сказывается, не ты. Не сердчай, Мусенька, на няньку, она дура, неучѣная, а ты грамотная, тебѣ и знать.

— Ну, эту дочь звали Земфира (грозно и громко:) Земфира — эта дочь говоритъ старикъ, что Алэко будетъ жить съ ними, потому-что она его нашла въ пустынь:

«Его въ пустынь я нашла

И въ таборъ на-ночь зазвала».

А старикъ обрадовался и сказалъ, что мы всё поѣдемъ въ одной телѣгѣ: — «Въ одной телѣгѣ мы поѣдемъ — та-та-та-та, та-та-та-та. — И села обходить съ медвѣдемъ»...

— Съ медвѣ—едемъ — нянька, эхомъ.

— И вотъ они поѣхали, и потомъ очень хорошо всё жили, и ослы носили дѣтей въ корзинахъ...

— Какъ это — въ корзинахъ...?

— Такъ: «Ослы въ перекидныхъ корзинахъ — Дѣтей играющихъ несутъ — Мужья и братья жены дѣвы — И старъ и младъ вослѣдя идутъ — Крикъ шумъ цыганскіе припѣвы — Медвѣдя ревъ его цѣпей».

Нянька: — Да ужъ будетъ про медвѣдя! Со старикомъ то — что?

— Со старикомъ — ничего, у него молодая жена Мариула, которая отъ него ушла съ цыганомъ, и эта, тоже, Земфира — ушла. Сначала все пѣла: — Старый мужъ, грозный мужъ! Не боюсь я тебя! — это она про него, про отца своего, пѣла, а потомъ ушла и съѣла съ цыганомъ на могилу, а Алеко спалъ и страшно хрипѣлъ, а потомъ всталъ и тоже пошелъ на могилу, и потомъ зарѣзалъ цыгана ножомъ, а Земфира упала и тоже умерла.

Обѣ въ голосъ: — Ай-а-ай! Ну и душегубъ! Такъ и зарѣзалъ ножомъ? А старикъ-то — что?

— Старикъ — ничего, старикъ сказалъ — Оставь насъ, гордый человекъ! и уѣхалъ, и всё уѣхали, и весь таборъ уѣхалъ, а Алеко одинъ остался.

Обѣ, въ голосъ: — Такъ ему и надо. Не побивши — убивать! А вотъ у насъ въ деревнѣ одинъ тоже жену зарѣзалъ, — да ты, Мусенька, не слушай — (громкимъ шепотомъ) засталъ съ подлюбовникомъ. И его въ разъ, и ее. Потомъ на каторгу пошелъ. Васильемъ звали. Да-а-а... Какой на свѣтѣ бѣды не бываетъ. А всё она, любовь.

Пушкинъ меня заразилъ любовью. Слово мѣ — любви. Въдѣ разное: вещь, которую никакъ не зовутъ — и вещь, которую такъ зовутъ. Когда горничная походя сняла съ чужой форточкы рыжаго кота, который сидѣлъ и зѣвалъ, и онъ потомъ три дня жилъ у насъ въ залѣ подъ пальмами, а потомъ ушелъ и никогда не вернулся — это любовь. Когда Августа Ивановна говоритъ, что она отъ насъ уѣдетъ въ Ригу и никогда не вернется — это любовь. Когда барабанщикъ уходилъ на войну и потомъ никогда не вернулся — это любовь. Когда розовогазовыхъ нафталиновыхъ парижскихъ куколъ весной по-

слѣ перетряски опять убирають въ сундукъ, а я стою и смотрю и знаю, что я ихъ больше никогда не увижу — это любовь. То-есть это — отъ рыжаго кота, Августи Ивановны, барабанщика и куколь такъ же и тамъ же жжетъ, какъ отъ Земфиры и Адеко и Мариулы и морины.

А вотъ волкъ и ягненокъ — не любовь, хотя мать меня и убѣждаетъ, что это очень грустно. — Подумай, такой бѣлый, невинный ягненокъ, который никакой воды не мутить... — Но волкъ — то же хороший!

Все дѣло было въ томъ, что я отъ природы любила волка, а не ягненка, а въ данномъ случаѣ волка было любить нельзя, потому-что онъ съ вѣдъ ягненка, а ягненка я любить — хотя и съдѣннаго и бѣлаго — не могла, вотъ и не выходила любовь, какъ никогда ничего у меня не вышло съ ягнятами.

«Сказать и въ темный дѣсь ягненка поволокъ».

Сказавъ волкъ, я назвала Вожатаго. Назвавъ Вожатаго — я назвала Пугачева: волка, на этотъ разъ ягненка пошадившаго, волка, въ темный дѣсь ягненка поволокашаго — любить.

Но о себѣ и Вожатомъ, о Пушкинѣ и Пугачевѣ скажу отдѣльно, потому-что Вожатый заведетъ насъ далѣко, можетъ быть еще далѣе чѣмъ подпоручика Гринева, въ самыя дебри добра и зла, въ то мѣсто дебрей, гдѣ они неразрывно скручены и скрутыя образуютъ живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатаго я любила больше всѣхъ родныхъ и незнакомыхъ, больше всѣхъ любимыхъ собакъ, больше всѣхъ закаченныхъ въ подвалъ мячей и потерянныхъ перочинныхъ ножиковъ, больше всего моего тайнаго краснаго шкафа, гдѣ онъ былъ — главная тайна. Больше Цыганъ, потому-что онъ былъ — чернѣйшій цыганъ, темнѣйшій цыганъ.

И если я полнымъ голосомъ могла сказать, что въ тайномъ шкафу жилъ — Пушкинъ, то сейчасъ только шепотомъ могу сказать: въ тайномъ шкафу жилъ... Вожатый.

Подъ вліяніемъ непрерывнаго воровскаго чтенія естественно обогатился и словарь.

— Тебѣ какая кукла больше нравится: тѣтина нюренбергская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому-что у нея глаза страстные.

Мать, угрожающе: — Что-о-о?

Я, спохватываясь: — Я хотѣла сказать: страшные.

Мать, еще болѣе угрожающе: — То-то же!

Мать не поняла, мать слышала смысл и можетъ-быть вознегодовала правильно. Но поняла — неправильно. Не глаза — страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мнѣ этими глазами (и розовымъ газомъ, и нафталиномъ, и словомъ Нарижъ, и дѣломъ сундукъ, и недоступностью для меня куклы) приняла — глазамъ. Не я одна. Всѣ поэты. (А потомъ стрѣляюся — что кукла не страстная!) Всѣ поэты — и Пушкинъ первый.

Немного позже — мнѣ было шесть лѣтъ, и это былъ мой первый музыкальный годъ — въ музыкальной школѣ Зографъ-Плаксиной, въ Мерзляковскомъ переулкѣ, былъ, какъ это тогда называлось, публичный вечеръ — рождественскій. Давали сцену изъ Русалки, потомъ Рогнеду — и:

Теперь мы въ садъ перелетимъ,

Гдѣ встрѣтилась Татьяна съ нимъ.

Скамейка. На скамейкѣ — Татьяна. Потомъ приходитъ Онѣгинъ, но не садится, а она встаетъ. Оба стоятъ. И говорить только онъ, все время, долго, а она не говоритъ ни слова. И тутъ я понимаю, что рыжий котъ, Августа Ивановна, куклы — не любовь, что это — любовь: когда скамейка, на скамейкѣ — она, потомъ приходитъ онъ, и все время говорить, а она не говоритъ ни слова.

— Что же, Муся, тебѣ больше всего понравилось? мать, по окончаніи.

— Татьяна и Онѣгинъ.

— Что? Не Русалка, гдѣ мельница, и князь, и лѣшій? Не Рогнеда?

— Татьяна и Онѣгинъ.

— Но какъ же это можетъ быть? Ты же тамъ ничего не поняла! Ну, что ты тамъ могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе: — Ага, ни слова не поняла, какъ я и думала. Въ шесть лѣтъ! Но что же тебѣ тамъ могло понравиться?

— Татьяна и Онѣгинъ.

— Ты совершенная дура и упрямѣ десяти ословъ! (Оборачиваясь къ подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу) — Я ее знаю, теперь будетъ всю дорогу на извозчикѣ на всѣ мои вопросы повторять: — Татьяна и Онѣгинъ. Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку міра изъ всего видѣннаго бы не понравилось «Татьяна и Онѣгинъ», всѣ

бы предпочли Русалку, потому-что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мнѣ съ ней дѣлать!!!

— Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онѣгинъ»? съ большою добротой директоръ.

(Я, молча, полными словами: — Потому-что — любовь.)

— Она навѣрное уже седьмой сонъ видит! подходящая Надежда Яковлевна Брюсова *), папа лучшая и старшая ученица, — и тутъ я впервые узнаю, что есть седьмой сонъ, какъ мѣра глубины сна и почвы. — А это, Муся, что? говоритъ директоръ, вынимая изъ моей муфты вложенный туда мандаринъ, и вновь незамѣтно (замѣтно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онѣмѣла, скаменѣла, и никакія мандаринныя улыбки, его и Брюсовой, и никакіе страшные взгляды матери не могутъ вызвать съ моихъ губъ — улыбки благодарности. На обратномъ пути — тихомъ, позднемъ, савномъ — мать ругается: — Опоэорила! Не поблагодарила за мандаринъ! Какъ дура — шести лѣтъ — влюбилась въ Онѣгина!

Мать ошибалась. Я не въ Онѣгина влюбилась, а въ Онѣгина и въ Татьяну (и можетъ-быть въ Татьяну немножко больше), въ нихъ обоихъ вмѣстѣ, въ любовь. И ни одной своей вещи я потомъ не писала, не влюбившись одновременно въ двухъ (въ все — немножко больше), не въ нихъ двухъ, а въ ихъ любовь. Въ любовь.

Скамейка, на которой они не сидѣли, оказалась предопредѣляющей. Я ни тогда, ни потомъ, никогда, не любила, когда цѣловались, всегда — когда разставались. Никогда — когда садилась, всегда — когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: онъ не любить (это я поняла), потому и не съѣлъ, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вмѣстѣ, ничего вмѣстѣ не дѣлали, дѣлали совершенно обратное: онъ говорилъ, она молчала, онъ не любить, она любила, онъ ушелъ, она осталась, такъ-что если поднять занавѣсъ — она одна стоитъ, а можетъ-быть опять сидитъ, потому-что стояла она только потому-что онъ стоялъ, а потомъ рухнула и такъ будетъ сидѣть вѣчно. Татьяна на той скамейкѣ сидитъ вѣчно.

Эта первая моя любовная сцена предопредѣляла всѣ мои послѣдующія, всю страсть во мнѣ несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я съ той самой минуты не захотѣла быть счастливой и этимъ себя на н е л ю б о в ь — обречла.

*) Сестра Валерія Брюсова. — М. Ц.

Въ томъ-то и все дѣло было, что онъ ея не любилъ, и только потому она его — такъ, и только для того его, а не другого, въ любовь выбрала, что втайнѣ знала, что онъ ея не сможетъ любить. (Это я сейчасъ говорю, но знала уже тогда, тогда — знала, а сейчасъ научилась говорить.) У людей съ этимъ роковымъ даромъ несчастной — одиночной — всей на себя взятой — любви — прямо геній на неподходящіе предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопредѣлилъ во мнѣ Евгений Онѣгинъ. Если я потомъ всю жизнь по сей послѣдній день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда — то только потому, что на зарѣ моихъ дней лежащая Татьяна въ книгѣ, при свѣчкѣ, съ растрепанной и переброшенной черезъ грудь косой, это на моихъ глазахъ — сдѣлала. И если я потомъ, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслѣдъ рукъ, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, въ саду, Татьяна застыла статуей.

Урокъ смѣлости. Урокъ гордости. Урокъ вѣрности. Урокъ судьбы. Урокъ одиночества.

У кого изъ народовъ — такая любовная героиня: смѣлая и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая.

Вѣдь въ отвѣди Татьяны — ни тѣни мстительности. Поэтому и получается полнота возмездія, поэтому-то Онѣгинъ и стоитъ «какъ громомъ пораженный».

Всѣ козыри были у нея въ рукахъ, чтобы отмстить и свести его съ ума, всѣ козыри — чтобы унижить, втоптать въ землю той скамьи, сравнять съ паркетомъ той залы, она всё это уничтожила одной только обмолвкой: — Я васъ люблю, — къ чему лукавить?

Къ чему лукавить? Да къ тому, чтобы торжествовать! А торжествовать — къ чему? А вотъ на это, дѣйствительно, нѣтъ отвѣта для Татьяны — внятнаго, и опять она стоитъ, въ зачарованномъ кругу залы, какъ тогда — въ зачарованномъ кругу сада, — въ зачарованномъ кругу своего любовнаго одиночества, тогда — непонадобившаяся, сейчасъ — вождельнная, и тогда и нынѣ — любящая и любимой быть не могущая..

Всѣ козыри были у нея въ рукахъ, но она — не играла.

Да, да, дѣвушки, признавайтесь — первыя, и потомъ слушайте отвѣди, и потомъ выходите замужъ за почетныхъ раненыхъ, и потомъ слушайте признанія и не снисходите до нихъ

— и вы будете в тысячу разъ счастливѣе нашей другой героини, той, у которой отъ исполненія всѣхъ желаній ничего другого не осталось, какъ лечь на рельсы.

Между полнотой желанія и исполненіемъ желаній, между полнотой страданія и пустотой счастья мой выборъ былъ сдѣланъ отродясь — и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дѣдъ, А. Д. Мейнъ, поставилъ ее между любимымъ и собой, она выбрала — отца, а не любимаго, и замужъ потомъ вышла лучше чѣмъ по татьянински, ибо «для бѣдной Тани в сѣ были жребіи равны» — а моя мать выбрала самый тяжелый жребій — вдвое старшаго вдовца съ двумя дѣтьми, влюбленнаго въ покойницу, — на дѣтей и на чужую бѣду вышла замужъ, любя и продолжая любить — того, съ которымъ потомъ никогда не искала встрѣчи и которому, впервые и печально встрѣтившись съ нимъ, на лекціи мужа, на вопросъ о жизни, счастьѣ, и т. д., отвѣтила: — Моей дочери годъ, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива... (Боже, какъ въ эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидѣть за то, что я — не его дочь!)

Такъ, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый фактъ моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня.

Ибо женщины такъ читаютъ поэтовъ, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной и не назвала должно-быть всё-таки — пожалѣла дѣвочку...

Съ младенчества по сейчасъ, весь Евгений Онѣгинъ для меня сводится къ тремъ сценамъ: той свѣчи — той скамьи — того паркета. Иные изъ моихъ современниковъ усмотрѣли въ Евгенинѣ Онѣгинѣ блистательную шутку, почти сатиру. Можетъ-быть они правы, и можетъ-быть не прочтя я его до семи лѣтъ... но я прочла его въ томъ возрастѣ, когда ни шутокъ ни сатиры нѣтъ: есть темные сады (какъ у насъ въ Тарусѣ), есть развороченная постель со свѣчей (какъ у насъ въ дѣтской), есть блистательные паркеты (какъ у насъ въ залѣ), и есть любовь (какъ у меня въ грудной ямкѣ).

Быть? («Быть русскаго дворянства въ первой половинѣ XIX вѣка».) Нужно же, чтобы люди были какъ-нибудь одѣты.

Послѣ тайнаго сине-лиловаго Пушкина у меня появился другой Пушкинъ — уже не краденый, а дарѣнный, не тайный, а явный, не толсто-синій, а толко-синій, — обезвреженный, приру-

чѣнный Пушкинь изданія для городскихъ училищъ съ негрскимъ мальчикомъ подпирающимъ кулачкомъ скулу.

Въ этомъ Пушкинѣ я любила только негрскаго мальчика. Кстати, этотъ дѣтскій негрскій портретъ по сей день считаю лучшимъ изъ портретовъ Пушкина, портретомъ далекой африканской души его и еще спящей — поэтической. Портретъ въ двѣ дали — назадъ и впередъ, портретъ его крови и его грядущаго генія. Такого мальчика вторично избралъ бы Петръ, такого мальчика тогда и избралъ.

Книжку я не любила, это былъ другой Пушкинь, въ немъ и Цыганы были другіе, безъ Алеко, безъ Земфиры, съ однимъ только медвѣдемъ. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но, помимо содержанія, отвращало уже само названіе: для городскихъ училищъ, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно — лица учениковъ городскихъ училищъ, — бѣдные лица: некормленныя, грязныя, посинѣвшія отъ мороза, какъ самъ Пушкинь, лица — внушавшія бы жалость, если бы не пара угрожающихъ кулаковъ классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, навѣрное кому-нибудь жалость внушавшія, но любви внушить не могшія. Тощія, синія и злобныя. Два кулака. Поперекъ запавашаго живота — съ огромной желтой бляхой, городскихъ училищъ, ремень.

Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свиваетъ
Долговѣчнаго гнѣзда.

Такъ что же она тогда дѣлаетъ? И кто же тогда вьетъ гнѣздо? И есть ли вообще такія птички, кромѣ кукушки, которая не птичка, а цѣлая птичица? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напѣва, что никому, кажется, за больше чѣмъ сто лѣтъ, въ голову не пришло эту птичку провѣрить — и меньше всего — шестилѣтней тогдашней мнѣ. Разъ сказано, такъ — такъ. Въ стихахъ — такъ. Эта птичка — поэтическая вольность. Интересно, что думаютъ объ этой птичкѣ трезвые школьники Совѣтской Россіи?

«Зима, крестьянинъ торжествуя» на второй страницѣ городскихъ училищъ Пушкина я средне-любила, любила (разъ стихи!), но по домашнему, какъ Августу Иванову, когда не грозитъ уѣхать въ Ригу. Слишкомъ ужъ всё было похоже. «Въ тулупѣ, въ красномъ кушачкѣ» — это Андриуша, а «крестьянинъ торжествуя» — это дворникъ, а дровни — это дрова,

а мать — наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку къ Намянникъ-Пушкину, ѣдимъ снѣгъ или лижемъ ледъ. Еще стихи возбуждали зависть, потому-что мы во дворъ никогда не играли — только имъ проходили — потому-что вдругъ у андреевскихъ дѣтей (семья снимавшей флигель) окажется скафлатина? И жучку въ салазки не сажали, а салазки — были, снѣжная, бархатная, съ темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказаннаго, «Зима, крестьянннѣ торжествуя» подъ видомъ стиховъ были басня, котормя, подъ видомъ стиховъ — проза и котормя я въ каждой новой хрестоматіи неизмѣнно читала — послѣдними. Сейчасъ же скажу: «Зима, крестьянннѣ торжествуя» были — идиллія, то-есть та самая счастливая любви, ни смысла, ни дѣли, ни наполненія котормя я такъ некогда и не поняла.

Чтобы кончить о снѣгѣ, городскихъ училищѣ, Пушкинѣ: онъ для любви былъ слишкомъ худъ, — ни съ трудомъ поднимать, ни тяжело вздохнувъ обнять, прижать къ неизмѣнно-швейцарскому и неизмѣнно-гѣсному фартуку, — ни въ рукахъ ничего, ни для глазъ ничего, точно уже прочелъ.

Я вещи и книги, а потомъ и своихъ дѣтей, и вообще дѣтей, неизмѣнно любила и люблю — еще и на вѣсь. И понянѣ, слушая расхваливаемую новую вещь: — А длинная? — Нѣтъ, маленская повѣсть. — Ну, тогда читать не буду.

Андрюшина хрестоматія была несомѣнно-толстая, ее расшарало Багровымъ-внукомъ и Багровымъ-дѣдомъ, и анхораящей матерью, дышавшей прямо въ грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливымъ молодымъ отцомъ, и «Ты опять не спишь?» — Циклонецкой, и всѣми тѣми гончими и борзыми, и всѣми лирическими поэтами Россіи.

Андрюшиной хрестоматіей я завладѣла сразу: онъ читать не любилъ и даже не терпѣлъ, а тутъ нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, а же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматія была — только любовь. Мать не отнимала: разъ хрестоматія — ничего преждевременнаго. В сѣя литература для ребенка преждевременна, ибо в сѣя говорить о вещахъ, котормя онъ не знаетъ и не можетъ знать. Напримеръ:

Кто при звѣздахъ и при луиѣ
Такъ поздно ѣдетъ на конѣ?

(Андрюша, на вопросъ матери: — А я почѣмъ знаю?)

...Зачѣмъ онъ шапкой дорожить?
 Затѣмъ, что въ ней доносъ зашить.
 Доносъ на Гетмана-злодѣя
 Царю-Петру отъ Кочубея.

Не знаю, какъ другія дѣти: такъ какъ я изъ всего четверостишія понимала только злодѣя, и такъ какъ злодѣи здѣсь въ окруженіи трехъ именъ, то у меня злодѣя получалось — три: Гетманъ, Царь-Петръ и Кочубей, и я долго потомъ не могла понять (и сейчасъ не совсѣмъ еще понимаю), что злодѣи — одинъ и кто именно. Гетманъ для меня по сей день — Кочубей и Царь-Петръ, а Кочубей — по сей день Гетманъ, и т. д., и три стало одно, и это одно — злодѣи. Доносъ я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы — не поняла бы, внутренне не поняла бы, какъ и сейчасъ не понимаю — возможности написать доносъ. Такъ и осталось: летитъ казакъ подъ несуществующеяркимъ (сповидѣннымъ!) небомъ, гдѣ одновременно (никогда не бываетъ!) и звѣзды, и луна, летитъ казакъ, осыпанный звѣздами и облитый луною — точно чтобы его лучше видѣли! — а на головѣ шапка, а въ шапкѣ неизвѣстная вещь доносъ, — доносъ на Гетмана-злодѣя Царю-Петру отъ Кочубея.

Это была моя первая встрѣча съ исторіей, и эта первая историческая исторія была — злодѣйство. Больше скажу: когда я во время Гражданской Войны слышала Гетманъ (съ добавленіемъ: Скоропадскій), я сразу видѣла того казака, который — падаетъ.

Но съ Царемъ-злодѣемъ у меня была еще другая хрестоматическая встрѣча: «Кто онъ?» И опять мать Андриушъ: — Ну, Андриуша, кто же былъ — онъ? И опять Андриуша, честно, то скливо и даже возмущенно: — А я почѣмъ знаю? (Что за странный міръ — стихи, гдѣ взрослые спрашиваютъ, а дѣти отвѣчаютъ!) — Ну, а ты, Муся? Кто же былъ — онъ? — Великанъ. — Почему великанъ? — Потому что онъ сразу всё починилъ. — А что значить «И на счастье Петрово»? — Не знаю. — Ну, что значить Петрово? (Въ головѣ ничего, кромѣ начертанія слова: Петрово.) — Ты не знаешь, что такое Петрово? — Нѣтъ. — А Андриушино — знаешь? — Да. Андриушинъ штекенфердъ, Андриушинъ велосипедъ, Андриушины салазки... — Довольно, довольно. Ну и Петрово то же самое. Петрово — понимаешь? Счастье — понимаешь? (Молчу.) Счастья не понимаешь? — Понимаю. Счастье, это когда мы пришли съ прогулки и вдругъ дѣдушка пріѣхалъ, и еще когда я нашла у себя въ кровати... — Достаточно. На счастье

Петрово значить на Петрово счастье. А кто этот Петръ? — Это — Кто онъ? — Что? — То-есть чудесный гость. «Смотри! долго въ ту сторонку — Гдѣ чудесный гость исчезъ...» — А какъ этого чудеснаго гостя зовутъ? Я, робко: — Можетъ-быть — Петръ? — Ну, слава Богу!.. (съ внезапной подзрительностью). Но Петровъ — много. Какой же это былъ Петръ? (И отчаявшись въ отвѣтъ!) Это былъ тотъ самый Петръ, который...

Доносъ на Гетмана-злодѣя
Царю-Петру отъ Кочубея.

Поняла?

Еще бы! Но и уши! Только, было, начавшій проясниться Петръ опять былъ свергнутъ въ ту мрачно-сверкающую звѣдно-лунную казачье-скачущую шапочно-доносную ночь и, что еще хуже, этотъ Петръ, который починилъ старику челнъ, значить какъ будто бы сдѣлать доброе дѣло, оказался тѣмъ самымъ злодѣемъ Кочубеемъ и Гетманомъ. И опять всталъ полъ гигантскій — въ новый мѣсяць! — вопросительный знакъ: Кто? Когда Петръ — то всегда: кто? Петръ, это когда никакъ нельзя догадаться.

Но и обратное: какъ только въ стихахъ звучалъ вопросъ, сразу являлось подозрѣнiе на Петра.

Отчего пальба и клики
Въ Петербургъ-городкѣ?

Отвѣтъ: — Поняно, Петръ! Но что же онъ именно сдѣлалъ, ибо разъ подсказываютъ — не то, всё, что подсказываютъ — не то. Особенно же и до смѣшнаго не то:

Родила-ль Екатерина,
Имениница-ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Родила я не понимала, понимала только родилась, ни о какой Екатеринѣ, женѣ Петра, я никогда не слышала, а чудотворецъ былъ Николай-Чудотворецъ, то-есть старикъ и святой, у котораго пить жены. А въ стихахъ — есть. Ну, женатый чудотворецъ.

Но, Боже, какое облегченiе, когда послѣ столькихъ отчего и столькихъ явно-ложныхъ подсказокъ — наконецъ блаженное оттого! «Оттого-то шумъ и клики—Въ Петербургъ-городкѣ—».

Только сейчасъ, проходя пядь за пядью Пушкина моего

младенчества, вижу, до чего Пушкинъ любилъ пріемъ вопроса: — Отчего палба и крики? — Кто онъ? — Кто при звѣздахъ и при лунѣ? — Черногорцы, что такое? и т. д. Если бы мнѣ тогда совѣтъ повѣрить, что онъ дѣйствительно не знаетъ, можно было бы подумать, что поэтъ изъ всѣхъ людей тотъ, кто ничего не знаетъ, разъ даже у меня, ребенка, спрашиваетъ. Но раздраженный ребенокъ чуждъ, что это — нарочно, что онъ не спрашиваетъ, а знаетъ, и чуя, что онъ меня ловить, и ни одной подсказкѣ не вѣря, я каждую, неволью, видѣла, — строка за строкой, какъ умѣла, по-своему, стихи — видѣла. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видѣніями.

Но не могу, отъ своего тогдашняго и своего теперешняго лица не сказать, что вопросъ, въ стихахъ — пріемъ раздражительный, хотя бы потому-что каждое отчего требуетъ и сулить оттого и этимъ ослабляетъ самоцѣнность всего процесса, все стихотвореніе обращаетъ въ промежутокъ, приковывая наше вниманіе къ конечной виѣшной цѣли, которой у стиховъ быть не должно. Настоячивый вопросъ стихи обрабааетъ въ загадку и задачу, и если каждое стихотвореніе само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка и не та задача, на которую отвѣтъ въ задачникѣ.

Зато въ Утопленникѣ — ни одного вопроса. Зато — сюрпризы. Во-первыхъ, эти дѣти, то-есть мы играемъ одни на рѣкѣ, во-вторыхъ, мы противно зовемъ отца: тятя! а, въ-третьихъ, — мы не боимся мертвеца. Потому-что кричать они не страшно, а весело, вотъ такъ, даже подпѣваютъ: «Тятя! Тятя! Наши сѣти! Притащили! Мертвеца!» — «Врите, врите, бѣсенята, заворчалъ на нихъ отецъ. Охъ, ужъ эти мнѣ ребята! Будеть вамъ, ужо, мертвецъ!» Этотъ ужо-мертвецъ былъ, конечно, немножко ужь, ужь, котораго, потому-что стихи, зовутъ у жо. Я говорю: немножко — ужь, ужь, котораго я никогда не додумывала и, изъ-за его не совѣтъ-опредѣленности, особенно громко выкрикивала, произносилъ такъ: — Будеть вамъ! У жо-мертвецъ! Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: въ землѣ живутъ ужь — и мертвецъ — а этого мертвеца зовутъ у жо, потому-что онъ немножко ужинный, ужѣвый, съ ужемъ рядомъ лежалъ.

Ужей я знала по Тарусѣ, по Тарусѣ и утопленниковъ. Осенью мы долго, долго, до раннихъ черныхъ вечеровъ и позднихъ темныхъ утръ заживались въ Тарусѣ, на своей одинокой — въ двухъ верстахъ отъ всякаго жилья — дачѣ, въ единственномъ сосѣдствѣ (намъ — минуту сбѣжать, тѣмъ — ми-

путь взойти) рѣки — Оки — «Рыбы мало ли въ рѣкѣ!» — но не только рыбы, потому-что лѣтомъ всегда кто-нибудь тонуть, чаще мальчишки — опять затянуло подь протъ — но часто и пынные, а часто и трезвые, — и однажды затонулъ, пѣлый плотогонъ, а тутъ еще дѣдушка Александръ Даниловичъ умеръ, и мать съ отцомъ уѣхали на сороковой день, и потомъ остались изъ-за завѣшанія, и хотя я знала, что это грѣхъ -- потому-что дѣдушка любилъ меня больше Аси -- и глупость — потому-что дѣдушка совсѣмъ не утонулъ, а умеръ отъ рака... — отъ рака? но въдь:

И въ распухнувшее тѣло
Раки черные впились!

...словомъ, сквозь стеклянную дверь столовой -- привидѣнскіе столбы балкона, а подь ними, со всей рѣкой притащившейся по пятамъ:

Ужь съ утра погода злится,
Ночью буря настанетъ,
И утопленникъ стучится
Подь окномъ и у воротъ.

— Ужо-мертвень съ неопредѣленнымъ двоящимся лицомъ дѣдушки Александра Даниловича и затонувшаго плотогона.

Заго другіе страшные стихи Вурдалакъ были совсѣмъ не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоватъ и съ первой строки — своимъ потомъ и отъ страху бѣдностью — возбуждастъ презрѣніе, которое, какъ извѣстно, лѣчитъ отъ всѣхъ страстей, вплоть до сильнѣйшей изъ нихъ (во мнѣ) страсти страха. «Это вѣрно кости гложетъ красногубый вурдалакъ». Кто, вообще, гложетъ кости? Собака. Вурдалакъ — собака, съ красными губами. Черная (потому-что — ночь) собака съ красными губами. А дуракъ (бѣднякъ) испугался. Весь эффектъ страха пропадалъ отъ этихъ глодаемыхъ костей, которыя ребенокъ не можетъ не приписать собацѣ. Страшилище-вурдалакъ сразу оказывается той собакой, которой у Пушкина оказывается только въ послѣдней строкѣ, т. е. ни секунды не пребываетъ вурдалакомъ. Такъ-что, отъ всего страха, остается только слово вурдалакъ, т. е. названіе стихотворенія. Конечно, слово вурдалакъ — непріятное (немножко лакающее), и та самая собака — не совсѣмъ собачья, иначе бы не называлась вурдалакъ, и красныя губы ея, видныя даже ночью, сомнительны, и занятіе ея — приносить свою кость именно на могилу — нѣсколько гадостное, но все

это отнюдь не оправдывало въ моихъ глазахъ Ваннинаго страха. Вотъ если бы Ваня шелъ черезъ кладбище безъ всякой собаки — тогда было бы страшно. А такъ собака, наоборотъ, оживляетъ. (То же, что въ Виѣ, гдѣ страшно только одиночество Хомы съ покойницей и гдѣ страхъ — явленіемъ Віа, а погомъ и вѣвъ — разряжается. Когда много — всегда весело.)

Ну, странная подозрительная собака, а Ваня — явный безсомнительный дуракъ — и бѣднякъ — и трусь. И еще — злой: «Вы представьте Вани злость!» И — представляемъ: то есть Ваня мгновенно даетъ собакѣ сапогомъ. Потому что — злой... Ибо для правильнаго ребенка большаго злодѣйства нѣтъ, чѣмъ побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчикъ и собака — дѣйствіе этимъ соседствомъ предуказано.

И кончалось, какъ всегда со всѣмъ любимымъ, — слезами: такая хорошая сѣро-коричневая, немножко черная собака съ немножко красными губами украла на кухнѣ кость и ушла съ ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдругъ какой-то трусь Ваня шелъ мимо и далъ ей сапогомъ. Въ ся чудную мокрую морду. У—у—у...

Но самое любимое изъ страшныхъ, самое по-родному страшное и по-страшному родное были — Бѣсы. «Мчатся тучи, вьются тучи — Невидимкою душно...

Всѣ страшно — съ самаго начала: луны не видно, а она — есть, луна — невидимка, луна въ шапкѣ-невидимкѣ, чтобы всѣ видѣть и чтобы ее не видѣли. Странное стихотвореніе (состояніе), гдѣ сразу можно быть (нельзя не быть) всѣмъ: лунной, ѣздокомъ, шарахающимся конемъ и — о сладкое обмирание — и м и! Ибо нѣтъ читателя, который одновременно бы не сидѣлъ въ саняхъ и не пролеталъ надъ санями, тамъ, въ безпредѣльной вышинѣ, на разные голоса не вылъ, и тамъ, въ саняхъ, отъ этого воя не обмиралъ. Два полета: саней и тучъ, и въ каждомъ ты — летишь. Но помимо ѣдущаго и летящихъ я была еще третьимъ: луною, — той, что, невидимая, видитъ: Пушкина, надъ нимъ — Бѣсовъ, и надъ Пушкинымъ и Бѣсами — сама летитъ.

Страхъ и жалость (еще гнѣвъ, еще тоска, еще защита) были главныя страсти моего дѣтства, и тамъ, гдѣ имъ пищи не было — меня не было. Но какая иная жалость нежели къ Вурдалаку заливала меня въ Бѣсахъ и къ бѣсамъ! Собаку я жалѣла — утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью прева, жалостью — защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собакѣ всю плиту со сковородками и кострюльками, а можетъ-

быть и самого Ваню на съѣденіе. Бѣсовъ же — жалостью высокою, жалостью — восторгомъ и восхищеніемъ, какъ потомъ жалѣла Наполеона на Св. Еленѣ и Гѣте въ Веймарѣ. Я знала, что «домового ли хоронять? Вѣдьму-ль замужъ выдаютъ?» — только такъ, что никого они не похорони и не выдѣли замужъ — всё равно будутъ жаловаться, что дѣдушку то они хоронять и дѣвушку замужъ выдаютъ — чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что —, а потому-что они — они и никогда другими не будутъ и быть не могутъ. (Шепотомъ: потому-что Богъ ихъ проклялъ!) Любовь къ проклятому.

И еще: я вѣдь знала, что они — тучи! Что они — сѣрые, мягкіе, что ихъ даже какъ-то иѣтъ, что ихъ пронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, съ ними, и ми — можно только мчаться! Что это — воздухъ, который востъ! Что ихъ — иѣтъ.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» — опять пробирается, какъ кошка, какъ воровка, какъ огромная воллина въ стадо спящихъ барановъ (бараны... туманы...) «На печальныхъ поляхъ льетъ печальный свѣтъ она...» О, Господи, какъ печально, какъ дважды печально, какъ безысходно, безнадежно печально, какъ навсегда припечатано — печалью, точно Пушкинъ этимъ повтореніемъ печаль луною какъ печатью къ полямъ припечаталъ. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное въ вольныхъ пѣсняхъ ямщика», то сразу попадала въ:

Вы, очи, очи голубья,
 Зачѣмъ стубили молодца?
 О, люди, люди, люди злые,
 Зачѣмъ разрознили сердца?

И эти очи голубья — опять были луною, точно луна на этотъ разъ въ два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они подъ черными бровями у дѣвицы-души, можетъ-быть той самой, по которой плачутъ бѣсы, потому-что се замужъ выдаютъ.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи-очи голубья» — не Пушкинъ, а пѣсня, а можетъ-быть и романсъ, но тогда я этого не знала и сейчасъ внутри себя, гдѣ всё — еще всё, этого не знаю, потому-что «разрывая сердце мнѣ» и «сердечная тоска», молодая бѣсовка и дѣвица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь — одно. Всё это называется Россія и мое младенчество, и если вы меня взрѣжете, вы, кромѣ бѣсовъ, мчащихся тучами, и тучъ, мчавшихся бѣсами, обнару-

жите во мнѣ еще и тѣ голубыхъ два глаза. Вошли въ составъ.

«Подруга дней моихъ суровыхъ — Голубка дряхлая моя!» — какъ это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, съ противной фамиліей Мухина, какъ это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И какъ это походило на нашу ключущій и воркующій, ключущій и рокочущій, сизо-голубой голубиный дворъ. (Моя няня была бы — голубка, а Асина — Мухина.)

Голубка я слово знала, такъ отецъ всегда называлъ мою мать (— А не думаешь ли, голубка? — А не полагаешься ли, голубка? — А Богъ съ ними, голубка!) — кромѣ какъ голубка не называлъ никакъ, но подруга было новое, мы съ Асей росли одиноко и подругъ у насъ не было. Слово подруга — самое любовное изъ всѣхъ — впервые прозвучало мнѣ обращенное къ старухѣ. — «Подруга дней моихъ суровыхъ — Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка — значить очень пушистая, пышная, почти мѣховая голубка, почти муфта — голубка, вродѣ маминной котиковой муфты, которая была бы голубою, и такъ Пушкинъ называлъ свою няню потому-что ее любилъ. Скажу: подруга, скажу: голубка — и заболитъ.

Кого я жалѣла? Не няню. Пушкина. Его тоска по нянѣ превращалась въ тоску по нему, тоскующему. И потомъ, все-таки, няня сидитъ, выжеть, мы ее видимъ, а онъ — что? А онъ — гдѣ? «Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ — Давно, давно ты ждешь меня». Она — одна, а его совсѣмъ нѣтъ! Лѣса сосновые я тоже знала, у насъ въ Тарусѣ, если идти пачѣвской ивовой долиной — которую мать называла Шотландіей — къ Окѣ, вдругъ — цѣлый красный островъ: сосны! Съ шумомъ, съ трескомъ, съ краской, съ запахомъ, послѣ ивового однообразія и волнообразія — цѣлый пожаръ!

Мама изъ коры умѣетъ дѣлать лодочки, и даже съ парусомъ, я же умѣю только ѣсть смолу и обнимать сосну. Въ этихъ соснахъ никто не живетъ. Въ этихъ соснахъ, въ такихъ же соснахъ, живетъ пушкинская няня. «Ты подъ окномъ своей свѣтлицы»... — у нея очень свѣтлое окно, она его все время протираетъ (какъ мы въ залѣ, когда ждемъ дѣдушкинаго экипажа) — чтобы видѣть, не ѣдетъ ли Пушкинъ. А онъ все ѣдетъ. Не пріѣдетъ никогда.

Но любимое во всемъ стихотвореніи мѣсто было «Горюешь будто на часахъ», при чемъ «на часахъ» конечно не вызывало во мнѣ образа часового, котораго я никогда не видѣла, а именно часовъ, которые всегда видѣла, вездѣ видѣла... Соот-

вѣтствующихъ часовыхъ видѣній — множество. Сидитъ няня и горюетъ, а надъ ней — часы. Либо горюетъ и вяжетъ и всё время смотритъ на часы. Либо — такъ горюетъ, что даже часы остановились. На часахъ было и подь часами, и на часы, — дѣти къ надеждамъ нетребовательны. Нѣкая же, все же, смуглость этого на часахъ открывала всё часовая возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманнаго видѣнія: есть часы зальные, въ ящикѣ, съ маятникомъ, есть часы надъ ларемъ — душевые, и есть въ материнской спальнѣ кукушка, съ домикомъ, — съ кукушкой выглядывающей изъ домика. Кукушка изъ окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня вѣдь съ первой строки — голубка...

Такъ, на часахъ было и подь часами, и на часы и, въ концѣ концовъ, немножко и въ часахъ, и всё эти часы еще подтверждались послѣдующей строкою, а именно — спицами, этими стальными близнецами стрѣлокъ. Этими спицами въ наморщенныхъ рукахъ няни и кончалось мое хрестоматическое «Къ нянѣ».

Составитель хрестоматіи очевидно усумнился въ доступности младшему возрасту понятій тоски, предчувствія, заботы, тѣсенія и всечасности. Конечно, я кромѣ своей тоски изъ двухъ послѣднихъ строкъ не поняла бы ничего. Не поняла бы, но — запомнила. И — запомнила. А такъ у меня до сихъ поръ между наморщенными руками и забытыми воротами — секундная заминка, точно этотъ пушкинскій конецъ къ тому хрестоматическому — приращенъ. Да, что знаешь въ дѣтствѣ — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь въ дѣтствѣ — не знаешь на всю жизнь.

Изъ зимаго же съ дѣтства: Пушкинъ изъ всѣхъ женщинъ на свѣтѣ больше всего любилъ свою няню, которая была и е женщина. Изъ «Къ нянѣ» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину — потому-что родная — можно любить больше чѣмъ молодую — потому-что молодая и даже потому-что — любимая. Такой нѣжности словъ у Пушкина не нашлось ни къ одной.

Такой нѣжности слова къ старухѣ нашлись только у недавно умчавшагося отъ насъ генія — Марселя Пруста. Пушкинъ. Прустъ. Два памятника синоновности.

Глядя назадъ, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за рѣдкими исключеніями чистой лирики, которой въ моей хрестоматіи было мало, для меня до-семилѣтней и семилѣтней были — рядъ загадочныхъ картинокъ, — загадочныхъ

только отъ материнскихъ вопросовъ, ибо въ стихахъ, какъ въ чувствахъ, только вопросъ порождаетъ непонятность, выводя явленіе изъ его состоянія данности. Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то-есть и понимать не думала, а просто — видѣла. Но къ счастью мать не всегда спрашивала и нѣкоторые стихи оставались понятными.

Делибашъ. «Перестрѣлка за холмами — Смотритъ лагерь ихъ и нашъ — На холмѣ предъ казаками — Вьется красный делибашъ». Делибашъ — бѣсъ. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются — казакъ съ бѣсомъ. Каково же было мое изумленіе, и огорченіе, когда я въ Прагѣ, въ 1924 г. сначала отъ одного русскаго студента, потомъ отъ другого, потомъ отъ третьяго, услышала, что делибашъ — черкесское знамя, а вовсе не самъ черкесъ (бѣсъ). — Помилуйте, вѣдь у Пушкина «Вьется красный делибашъ!» Какъ же черкесъ можетъ витьсѣя? Знамя — вьется! — Отлично можетъ витьсѣя. Весь черкесъ со своей одеждой. — Ну, ужъ это модернизмъ. Пушкинъ отъ модернистовъ отличается тѣмъ, что пишетъ просто, въ этомъ и вся его гениальность. Что можетъ витьсѣя? Знамя. — Я всегда понимала «Делибашъ уже на пикѣ, а казакъ безъ головы» — что оба одновременно другъ друга уничтожили. Это-то мнѣ и нравилось. — Чистѣйшая поэтическая фантазія! Бѣдный Пушкинъ въ гробу бы перевернулся! «Делибашъ уже на пикѣ» значитъ — знамя уже на пикѣ, а казакъ въ эту минуту знаменосцемъ обезглавленъ. — Ну, такъ мнѣ что-то обидно: почему казакъ обезглавленъ, а черкесъ живъ? И какъ знамя можетъ быть на пикѣ?? Мнѣ по-моему больше нравилось. — Ужъ это какъ Вамъ угодно, а Пушкинъ такъ написалъ. Не будете же Вы исправлять Пушкина, какъ большевики!

Такъ я и осталась въ огорченномъ убѣжденіи, что делибашъ — знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоничтоженія — выдумала, и вдругъ — въ 1936 г. — сейчасъ вотъ — глазами стихи перечла и — о радость!

Эй, казакъ, не рвися къ бою!
Делибашъ на всемъ скаку
Срѣжетъ саблею кривою
Съ плечъ удалую башку!

Это знамя-то срѣжетъ саблею кривою казаку съ плечъ башку??

Такъ, бѣдный семилѣтній варваръ правильнѣе понялъ умнѣйшаго мужа Россіи, нежели въ четырежды его старшіе воспитанники Пражскаго Университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Кто такое? — Бонапарте спросилъ» -- съ двумя неизвѣстными, по одному на каждую строку: Черногорцами и Бонапарте, Черногорцами, усугубленно-неизвѣстными своей неизвѣстностью второму неизвѣстному — Бонапарте.

— «А Бонапарте — что такое?» -- нѣтъ, я этого у матери не спросила, слишкомъ памятуя одну съ ней нашу для меня злощастную прогулку «на леньки»: мою первую и единственную за все дѣтство попытку вопроса: — Мама, что такое Наполеонъ? -- Какъ? Ты не знаешь, что такое Наполеонъ? — Нѣтъ, мнѣ никто не сказалъ. — Да нѣтъ это же -- въ воздухѣ носится!

Никогда не забуду чувства своей глубочайшей безнадежнѣйшей опозоренности: я не знала того — что въ воздухѣ носится! При чемъ въ воздухѣ носится я, конечно, не поняла, а увидѣла: что-то, что называется Наполеономъ и что въ воздухѣ носится, что очень вскорѣ было подтверждено тѣми же хрестоматическими Воздушнымъ Кораблемъ и Почнымъ Смотромъ.

Черногорцевъ я себя конечно представляла совершенно черными: неграми — представляла, Пушкиными — представляла, и горы, на которыхъ живетъ это племя злое — совершенно черная: черные люди въ черныхъ горахъ: на каждомъ зубцѣ горы — какъ дѣти рисуютъ — по крохотному злому черному черногорчику (просто — чортику). А Бонапарте навѣрное красивый. И страшный. И одинъ на одной горѣ. (Что Бонапарте — тотъ же Наполеонъ, который въ воздухѣ носится, я и не подозревала, потому-что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, отвѣтить — забыла.)

Не мать и никто другой. Мнѣ на вопросъ, что такое Наполеонъ, отвѣтить самъ Пушкинъ.

— Ася! Муся! А что я вамъ сейчасъ скажу-у-у! — это длинный, быстрый, съ немножко-волчьей -- быстрой и смущенной -- улыбкой Андрюша, греми всей лѣтнншей ворвался въ дѣтскую. — У мамы сейчасъ былъ докторъ Ярхо -- и сказалъ, что у нея чахотка -- и теперь она умретъ -- и будетъ намъ показываться вся въ бѣломъ!

Ася заплакала, Андрюша запрыгалъ, я -- я ничего не уснула, потому-что слѣдомъ за Андрюшей уже входила мать.

--- Дѣти! Сейчасъ у меня былъ докторъ Ярхо, и сказалъ, что у меня чахотка, и мы все поѣдемъ къ морю. Вы рады, что мы ѣдемъ къ морю?

— Нѣтъ! — уже всхлипывала Ася — потому-что Андриуша сказать, что ты умрешь и будешь намъ показываться...

— Вреть! вреть! вреть!

— ...вся въ бѣломъ. Правда, Муся, онъ говоритъ?

— Правда, Муся, что я не говорилъ? Что это она сказала?

— Во всякомъ случаѣ — кто бы ни сказалъ — и сказать конечно ты, Андриуша, потому-что Ася еще слишкомъ мала для такой глупости — сказалъ глупость. Такъ сразу умереть и показываться? Совсѣмъ я не умру, а наоборотъ мы всѣ поѣдемъ къ морю.

Къ морю.

Все предшествовавшее лѣту 1902 г. я переписывала его изъ хрестоматіи въ самосшивную книжку. Зачѣмъ въ книжку, разъ есть въ хрестоматіи? Чтобы всегда носить съ собой въ карманѣ, чтобы съ Моремъ гулять въ Панѣво и на пеньки, чтобы мѣне было, чтобы я сама написала.

Всѣ на волѣ: я одна сижу въ нашей верхней балконной клеткѣ и обливаясь потомъ — отъ юля, полдня, чердачнаго верха, а главное отъ позапрошлогодняго предсмертнаго дѣдушкинаго карльсбадскаго добереженнаго до неносимости платья — обливаясь потомъ и разрываясь отъ восторга, а немножко и отъ всюду врѣзающагося ликэя, переписываю чернымъ отѣснымъ круглымъ крупнымъ и все же тѣснымъ почеркомъ въ самосшивную книжку — Къ Морю. Тетрадка для любви худа, да у меня ихъ и нѣтъ: мать мнѣ на писаніе бумаги не даетъ, даетъ на рисованіе. Книжка — дестъ писчей бумаги, сложенной восьмеро, гдѣ нужно разрѣзанной и проинтой посреднѣй только фразъ, отъ чего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается — врѣдъ меня въ моихъ цикэяхъ и шевіотахъ — какъ я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное отъ писанія время сидя на ней всѣмъ вѣсомъ и напоромъ, а на-ночь кладя на нее мой любимый булыжникъ — съ искрами. Не на нее, а на нихъ, ибо за лѣто — которая?

Перепису и вдругъ увижу, что строки къ концу немножко клонятся, либо переписывая пропущу слово, либо кликсу посажу, либо рукавомъ смажу конецъ страницы — и конечно: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная дѣтская мазия. Листъ вырывается, но книга съ вырваннымъ листомъ — гадкая книга, берется новая (Асиа или Андриушина) дестъ — и терпѣливо, неумѣло, огромной вышивальной иглой (другой у меня нѣтъ) шьется новая книжка,

въ которую съ новымъ усердіемъ: — Прощай, свободная стихія!

Стихія конечно — стихи, и ни въ одномъ другомъ стихотвореніи это такъ ясно не сказано. А почему прощай? Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предѣлъ желаній» — предѣлъ, это что-то твердое, каменное, очень прочное, навѣрное его любимый камень, на которомъ онъ всегда сидѣлъ.

Но самое любимое слово и мѣсто стихотворенія:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще -- это туда. Куда? Туда, куда и я. На тотъ берегъ Оки, куда я никакъ не могу попасть, потому что между нами — Ока, еще въ *La Chaix de Fonds*, въ тетинно дѣтство, гдѣ по ночамъ ходитъ сторожъ съ доской и поетъ: — *Guc, bon gué! Il a Garré dix heures!* — и всѣ тушатъ огни, а если не тушить, то приходитъ докторъ или сажаютъ въ тюрьму, вотще -- это въ чужую семью, гдѣ я буду одна безъ Аси и самая любимая дочь, съ другой матерью и съ другимъ именемъ — можетъ-быть Каія, а можетъ-быть Рогнеда, а можетъ-быть сынъ Александръ.

Ты ждалъ, ты звалъ. Я былъ окованъ.

Вотще рвалась душа моя!

Могучей страстью очарованъ

У береговъ остался я.

Вотще это туда, а могучей страстью -- къ морю,

конечно. Получалось, что именно изъ-за такого желанія туда Пушкинъ и остался у береговъ.

Почему же онъ не поѣхалъ? Да потому-что могучей страстью очарованъ, такъ хочется -- что прирость! (Въ этомъ мѣнѣ утверждалъ весь мой опытъ съ моими дѣтскими желаніями, то-есть полный физическій столбнякъ.) И, со всѣмъ вѣсомъ судьбы и отказа:

У береговъ остался я.

(Боже мой! Какъ человекъ теряетъ съ обрѣтеніемъ пола, когда вотще, туда, то, тамъ начинаетъ называться именемъ, изъ всей синевы тоски и рѣки становится лицомъ, съ носомъ, съ глазами, а въ моемъ дѣтствѣ и съ пенснэ, и съ усамъ... И какъ мы этого ошибаемся, называя это — тѣмъ, и какъ не ошибались -- тогда!)

Но воги имя — безъ огчества, имя, къ которому на могиль-

ной плитѣ послѣдніе вѣрныя съ непогрѣшимымъ чутьемъ малыхъ сихъ отказались приставить фамилію (у этого человѣка было два имени, фамиліи не было) — и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...

Тамъ погружались въ хладный сонъ

Воспоминанья величавы:

Тамъ угасаль Наполеонъ...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: — «Мама, что такое Наполеонъ?» Наполеонъ — тотъ, кто погибъ среди мученій, тотъ, кого замучили. Развѣ мало — чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,

Другой отъ насъ умчался геній,

Другой властитель нашихъ думъ.

Вижу звѣздочку и внизу сноску: Байронъ.

Но уже не вижу звѣздочки; вижу: надъ чѣмъ-то, что есть — море, съ головой изъ лучей, съ тѣломъ изъ тучи, мчится геній. Его зовутъ Байронъ.

Это была апогей вдохновенія. Съ «Прощай же, море...» начинались слѣзы. «Прощай же, море! Не забуду...» вѣдь онъ же это морю — общается, какъ я — моей березѣ, моему орѣшнику, моей ѣлкѣ, когда уѣзжаю изъ Тарусы. А море, можетъ-быть, не вѣрнѣе и думаетъ, что — забудетъ, тогда онъ опять общается: — «И долго, долго слышать буду — Твой гулъ въ вечерніе часы...» (Не забуду — буду —)

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полнъ,

Твои скалы, твои заливы,

И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

И вотъ — видѣніе: Пушкинъ переносящій, проносящій надъ головой — всё море, которое еще и внутри него (тобою полнъ), такъ что и внутри у него все голубое — точно онъ весь въ огромномъ до неба хрустальномъ продольномъ яйцѣ, которое еще и въ немъ. (Моресводъ.) Какъ тотъ Пушкинъ на Тверскомъ бульварѣ держитъ на себѣ все небо, такъ этотъ перенесетъ на себѣ — все море — въ пустыню и тамъ прольетъ его — и станетъ море.

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полнъ,

Твои скалы, твои заливы

И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

Когда я говорила в о л н ѣ, слезы уже лились, каждый разъ

лились, и отъ этого тоже иногда приходилось начинать новую дѣсть.

Объ этой любви моей, именно изъ-за явности ея, никто не зналъ, и когда въ ноябрѣ 1902 г. мать, войдя въ нашу дѣтскую, сказала: къ морю — она не подозрѣвала, что произноситъ магическое слово, что произноситъ Къ Морю, т. е. дать объщаніе, котораго не можетъ сдержать.

Съ этой минуты я ѣхала Къ Морю, весь этотъ передъотъѣздный, уже внѣшкольный и бездѣльный, безконечный мѣсяцъ одиноко и непрерывно ѣхала Къ Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всѣмъ и каждому: — «Давай помечтаемъ!» Подъ бредъ, кашель и задыханіе матери, подъ гулы и скрипы сотрясаемаго отъѣздомъ дома — упорное — сонambuлическое — и диктаторское и нищенское: — «Давай помечтаемъ!» Ибо прежде, чѣмъ поймешь, что мечта и одинъ — одно, что мечта — уже вещественное доказательство одиночества, и источникъ его и единственное за него возмѣщеніе, равно какъ одиночество — драконовъ ея законъ и единственное поле дѣйствія — пока съ этимъ смиришься — жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая дѣвочка.

— Ася, давай помечтаемъ! Давай немножко помечтаемъ! Совсѣмъ немножко помечтаемъ!

— Мы уже сегодня мечтали и мнѣ надоѣло. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебѣ дамъ то, Сергѣй-Семёныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно цѣлое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаемъ, потому-что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тутъ же и отбиралось, потому-что у Аси кромѣ камешковъ и ракушекъ въ резервѣ морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

Съ Асей Къ Морю дробилось на гравій, со старшей сестрой Валеріей, море знавшей по Крыму, превращалось въ татарскія туфли — и дачи — и глицинии — въ скалу Дѣву и въ скалу Монахъ, во всё что угодно превращалось — кромѣ самого себя, и отъ моего моря послѣ такихъ «давай помечтаемъ» не оставалось ничего, кромѣ моего тоскливаго неузнаванія.

Чего же я отъ нихъ — Аси, Валеріи, гувернантки Маріи Генриховны, горничной Ариши, тоже ѣхавшей — хотѣла?

Можетъ-быть — памятника Пушкина на Тверскомъ бульва-

рѣ, а подъ нимъ — говора волнь? Но нѣтъ — даже не этого. Ничего зрительнаго и предметнаго въ моемъ къ морю не было, были шумы — той розовой австралийской раковины прижатой къ уху, и смуглыя видѣнія — того Байрона и того Наполеона, которыхъ я даже не знала лицъ, и, главное — звуки словъ, и — самое главное — тоска: пушкинскаго призванія и прощанія.

И если Ася, кѣмъ-то наученная, говорила «каменки, ракушки», если Валерія, крымскимъ опытомъ наученная, называла глицинии и Симензъ, я, при всемъ своемъ желаніи, не могла сказать — назвать — ничего.

Но въ самую послѣднюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достовѣрность: синія открытка отъ Надн Иловайскій изъ того самаго Negvi, куда ѣхали — мы. Вся — синія: такихъ сплошныхъ синихъ мѣсть и открытокъ я еще не видѣла и не знала, что они есть.

Черно-синія сосны — свѣтло-синія луна — черно-синія тучи — свѣтло-синій столбъ отъ луны — и по бокамъ этого столба — такой ужъ черной синевы, что ничего не видно — море. Маленькое, огромное, совсѣмъ черное, совсѣмъ невидное — море. А съ краю, на тучахъ, которыми другой отъ насъ умчался геній, немножко задѣвая око луны — лиловымъ черниломъ, кудрявыми, какъ собственные волосы, буквами: — Пріѣзжайте скорѣе. Здѣсь чудесно.

Этой открыткой я завладѣла. Эту открытку я у Валеріи сразу украла. Украла и зарыла на днѣ своей черной парты, немножко какъ дѣвушки дитя любви бросаютъ въ колодець — со всей любовью! Эту открытку я, держа лбомъ крышку парты, постоянно молніеносно глядѣла, прямо жгла и жрала ее глазами. Съ этой открыткой я жила — какъ та же дѣвушка съ любимымъ — тайно, опасно, запретно, блаженно.

На днѣ чернаго гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На днѣ чернаго гроба и грота парты у меня лежало — море. Мое море, совсѣмъ черное отъ черноты парты — и дѣла. Ибо украла я его — чтобы не видѣли другіе, чтобы другіе, видѣвшіе — забыли. Чтобы я одна. Чтобы — мое.

Такъ, съ глубоко и жарко-розовой австралийской раковинной у уха, съ сине-черной открыткой у глазъ я коротала этотъ самый длинный, самый пустынный, самый полный мѣсяцъ моей жизни, мой великій канунъ, за которымъ никогда не наступилъ — день.

— Ася! Муся! Смотрите! Море!

— Гдѣ? Гдѣ?

— Да — вотъ!

— Вотъ — частый лысый дѣсь, весь изъ палокъ и веревокъ, и гдѣ-то внизу — плоская стѣна, бѣлая вода, водичка, которой такъ же мало, какъ той на картинѣ явленія Христа народу.

Это — море? И переглянувшись съ Асей, откровенно и презрительно фыркаемъ.

Но — мать объяснила, и мы повѣрили: это Генуэзскій заливъ, а когда Генуэзскій заливъ — всегда такъ. То море — завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвѣсъ генуэзской гостиницы въ ущельѣ узкой улицы, съ такой тѣсоты домами, что море, если и было бы — отступило бы. Прогулки съ отцомъ въ портъ были не въ счетъ. На то «море» я и не глядѣла, я вѣдь знала, что это — заливъ.

Словомъ, я всё еще Къ Морю ѣхала, и чѣмъ ближе подъѣзжала — тѣмъ меньше въ него вѣрила, а въ послѣдній свой генуэзскій день и совсѣмъ извѣрилась и даже мало обрадовалась, когда отецъ повеселявъ отъ чуть-подавшейся ртуги въ градусникъ матери, намъ — утромъ: — «Ну, дѣти! Нынче вечеромъ увидите море!» Но море — все отступало, ибо, когда мы наконецъ послѣ всѣхъ этихъ гостиницъ, перроновъ, вагоновъ, Моданъ и Викторовъ-Эммануиловъ «нынче вечеромъ» со всѣми нашими сундуками и тюками ввалились въ первійскій «Pension Russe» — была ночь и страшнымъ глазомъ горѣлъ и мигаль никогда не виданный газъ, и мать опять горѣла какъ въ огнѣ, и я бы лучше умерла, чѣмъ осмѣлилась попроситься «къ морю».

Но будь моя мать совсѣмъ здорова и такъ же проста со мной, какъ другія матери съ другими дѣвочками, я бы все равно къ нему не попросилась.

Море было здѣсь и я была здѣсь, и между нами — ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдетъ — и будутъ наши оба здѣсь.

Море было здѣсь и я была здѣсь, и между нами — все блаженство отъяжки.

О, какъ я въ эту ночь къ морю — ѣхала! (Къ кому потомъ такъ — когда?) Но не только я къ нему, и оно ко мнѣ въ эту ночь — черезъ всю черноту ночи — ѣхало: ко мнѣ одной — всѣмъ собой.

Море было здѣсь и завтра я его увижу. Здѣсь и за-

в т р а. Такой полноты владѣнія и такого покоя владѣнія я уже не ощутила никогда. Это море было въ мою мѣру.

Море здѣсь, но я не знаю гдѣ, а такъ какъ я его не вижу — то оно совсѣмъ вездѣ, нѣтъ мѣста гдѣ его нѣтъ, я просто въ немъ, какъ та открытка въ черномъ гробу парты.

Это былъ самый великій канунъ моей жизни.

Море — здѣсь, и его — нѣтъ.

Утромъ, по дорогѣ къ морю, Валерія: — Чувствуешь, какъ пахнетъ? Отсюда — пахнетъ!

Еще бы не чувствовать! Отсюда пахнетъ и повсюду пахнетъ, но... въ томъ, то и дѣло, что не узнаю: свободная стихія такъ не пахла, и синяя открытка такъ не пахла.

Настораживаюсь.

Море. Гляжу во всё глаза. (Такъ я, восемнадцать лѣтъ спусти, во всё глаза впервые глядѣла на Блока).

Черная приземистая скала съ высокимъ торчкомъ желѣзной палки. — Эта скала называется лягушка, торопливо знакомить рыжій хозяйскій сынъ Володя. Это — наша лягушка.

Отъ меня до лягушки — немножко: немножко очень чистой, очень свѣтлой воды: на днѣ камешки и стѣклышки (Асины).

— А это — гротъ, поясняетъ Володя, глядя себѣ подъ ноги, — тоже нашъ гротъ, здѣсь всё наше, — хочешь, полѣземъ! Только ты провалишься!

Лѣзу и проваливаюсь, въ своихъ тяжелыхъ русскихъ башмакахъ, въ тяжеломъ буромъ, вродѣ какъ войлочномъ, платьѣ сразу падаю въ воду (въ воду, а не въ море), а рыжій Володя меня вытаскиваетъ и выливаетъ воду изъ башмаковъ, а потомъ я рядомъ съ башмаками сижу и въ платьѣ сохну — чтобы мать не узнала.

Ася съ Володей, сухіе и уже презрительные, лѣзутъ на «пластину», гладкую шиферную стѣну скалы, и оттуда изъ-подъ сосенъ швыряютъ осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка — еще вода, много, чѣмъ дальше тѣмъ блѣднѣй и что кончается она бѣлой блестящей линейной чертою — того же серебра, что всё эти точки на маленькихъ волнахъ. Я вся соленая — и башмаки соленые.

Море голубое — и соленое.

И внезапно повернувшись къ нему спиной, пишу обломкомъ скалы на скалѣ:

Прощай, свободная стихія!

Стихи длинныя и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такіе длинныя, что никакой скалы не хватитъ, а другой, такой же гладкой, рядомъ — нѣтъ, и все мельчу и мельчу буквы, тѣсно и тѣсно строки, и послѣднія уже бисеръ, и я знаю, что сейчасъ придетъ волна и не дастъ дописать, и тогда желаніе не сбудется — какое желаніе? — ахъ, къ морю! — но значить ужь никакого желанія нѣтъ? но все равно — даже и безъ желанія! я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идетъ и я какъ разъ еще успѣваю подписаться:

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ

— и все смыто, какъ языкомъ слизано, и я опять вся мокрая, и опять гладкій шиферъ, сейчасъ уже черный, какъ тотъ гранитъ...

Моря я съ той первой встрѣчи никогда не полюбила, я постепенно, какъ всѣ, научилась имъ пользоваться и играть въ него: собирать камешки и въ немъ плескаться — точь-въ-точь какъ юноша, мечтающій о большой любви, постепенно научается пользоваться случаемъ.

Теперь, тридцать съ лишнимъ лѣтъ спустя, вижу: мое къ морю было — пушкинская грудь, что ѣхала я въ пушкинскую грудь, съ Наполеономъ, съ Байрономъ, съ шумомъ и плескомъ и говоромъ волнь его души, и естественно, что я въ Средиземномъ морѣ со скалой лягушкой, а потомъ и въ Черномъ, а потомъ и въ Атлантическомъ, этой груди — не узнала.

Въ пушкинскую грудь — и въ ту синюю открытку, всю синеву міра и моря вобравшую.

(А вѣрнѣе всего — въ ту раковину, шумѣвшую моимъ собственнымъ слухомъ.)

Къ морю было: море+любовь къ нему Пушкина, море+поэтъ, нѣтъ! — поэтъ+море, двѣ стихіи, о которыхъ такъ незабвенно — Борисъ Пастернакъ:

Стихія свободной стихіи
Съ свободной стихіей стиха.

— опустивъ или подразумѣвъ третью и единственную: прилическую.

Но Къ морю было еще и любовь моря къ Пушкину: море — другъ, море — зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкинъ — забудетъ и которому, какъ живому, Пушкинъ общается, и вновь общается. Море — взаимное, тотъ единственный случай взаимности — до краевъ и черезъ морской край наполненной, а не пустой, какъ счастливая любовь.

Такое море — мое море — море моего и пушкинского Къ морю могло быть только на листкѣ бумаги — и внутри.

И еще одно: пушкинское море было — море прощанія. Такъ — съ морями и людьми — не встрѣчаются. Такъ — прощаются. Какъ же я могла, съ моремъ впервые здороваясь, ощутить отъ него то, что ощущала Пушкинъ — навсегда съ нимъ прощаясь. Ибо стояла надъ нимъ Пушкинъ тогда въ послѣдній разъ.

Мое море — пушкинской свободной стихіи — было море послѣдняго раза, послѣдняго глаза.

Оттого ли, что я маленькимъ ребенкомъ столько разъ своей рукой писала: «Прощай, свободная стихія!» — или безъ всякаго оттого — я всѣ вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощаніемъ, а не встрѣчей, разрывомъ, а не слияніемъ, не на жизнь — а на смерть.

И, въ совсѣмъ уже иномъ смыслѣ, моя встрѣча съ моремъ именно оказалась прощаніемъ съ нимъ, двойнымъ прощаніемъ — съ моремъ свободной стихіи, котораго передо мной не было и которое я только повернувшись къ настоящему морю спиной восстановила — бѣлымъ по сѣрому — шиферомъ по шиферу — и прощаніемъ съ тѣмъ настоящимъ моремъ, которое передо мной было и которое я, изъ-за того перваго, уже не могла любить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческаго отождествленія стихіи со стихами оказалась — прозрѣніемъ: «свободная стихія» оказалась стихами, а не моремъ, стихами, то-есть единственной стихіей, съ которой не прощаются — никогда.

Марина Цвѣтаева.

« Т у д а »

I.

Письмо перестаетъ быть частнымъ, разъ оно напечатано. Не знаю, къ кому обращены были ваши письма «оттуда», не знаю и кто вы, человекъ, писавшій ихъ. Но теперь всякій вправъ отвѣтитъ вамъ. Даже не вамъ, въ сущности, не только вамъ, а черезъ васъ другимъ. Дойдетъ ли отвѣтъ, — какъ знать? До кого-нибудь дойдетъ, «дойдетъ». На мраморъ пишутъ «неизвѣстному Богу» или «неизвѣстному солдату», на этомъ листкѣ бумаги можно было бы написать «неизвѣстному другу». Кстати, дружба — мужского, интеллектуального, а не женственного, любовнаго оттѣнка, — укрѣпляется и очищается именно въ письмахъ, потому что разговоръ устный почти всегда сбивается на споръ, а споръ почти всегда бесплоденъ, безтолковъ, торопливъ, нервень, пусть. Дружба укрѣпляется въ молчаливыхъ монологахъ, мысленно обращаемыхъ къ тому-то или тому-то, въ смутно-твердой увѣренности, что если бы не самолюбіе, упрямство или случайныя пристрастья, спорить было бы не о чемъ.

Съ этой увѣренностью я и принимаюсь писать, еще не зная, еще не видя—сквозь «магическій кристалль»—что именно, но давно уже чувствуя, о чемъ. Простите за «я», — оно будетъ часто повторяться. Но развѣ не глупѣе и не манернѣе было бы «пнишущій эти строки»? Пишу вамъ я, стремлюсь къ чему-то я, боюсь чего-то я, — никакъ не могу сдѣлать, чтобы это былъ безличныи Иванъ Ивановичъ, и не хочу стилистическаго плутовства въ угоду мнимой «корректности».

Еще два слова, — важнѣе.

Повѣрьте, я понимаю, что въ намѣренія моемъ, даже въ заголовкѣ этого письма, есть что-то претенціозное. Но только внешне, — не внутренне. Придраться, если есть желаніе придраться, усмѣхнуться, если усмѣшка заранѣе, на всякій случай, заготовлена, — легко. Въ самомъ дѣлѣ, нашелся какой-то развязный болтуниъ, выскочилъ и отвѣчаетъ, видите-ли, «туда», отъ всѣхъ насъ имъ всѣмъ! Кто его уполномочилъ? Какъ

онъ самъ не чувствуетъ? И такъ далѣе, и такъ далѣе. Была бы охота, найдется и негодованіе, и краснорѣчье. Но я вовсе не отвѣчаю «имъ» отъ «насъ», а хочу только поговорить съ вами, съ «неизвѣстнымъ другомъ», на общія наши, неотступно за нами слѣдующія темы. Не больше. Отвѣтить «имъ всѣмъ» отъ «всѣхъ насъ»... Да, многимъ это вѣроятно не разъ приходило въ голову. Многие объ этомъ мечтали. Иногда я видѣлъ въ воображеніи огромный залъ въ Москвѣ, набитый «до отказа» самыми что ни на есть совѣтскими людьми, но, конечно, не пройдохами или всезнайками, а честными, восторженными, доверчивыми, пусть и убѣжденными, что у нихъ все самое лучшее и самое гениальное во всѣхъ рѣшительно областяхъ. А на эстрадѣ кто-нибудь, нами посланный, — и чтобы обезпечено ему было два часа полного вниманія, чтобы его не перебивали и не останавливали. Кого бы мы туда послали? Сумѣлъ ли бы этотъ лучший, единственный нашъ избранникъ сказать все, что надо, и потрясти сердца? Вѣдь тутъ не докладъ надо было бы прочесть, а именно «потрясти сердца», чтобы камни «возопіяли», чтобы правда «возсіяла», и какъ послѣ рѣчи Достоевскаго, всѣ обнимались и плакали — или уже чтобы такая настала тишина, которую никто не рѣшился бы нарушить.

Но эта мечта поистинѣ «безмысленная», какъ бы ни казалась она соблазнительна. Во-первыхъ — «не судите, да не судимы будете», вѣчныя, на вѣки вѣковъ вѣчныя слова, а на эстрадѣ этотъ нашъ златоустъ-посланецъ, кого бы мы въ Москву ни отправили, навѣрно не удержался бы отъ того, чтобы не удариться въ обличенія, какъ дипломированный представитель общественной морали и чистоты. (Мимоходомъ: написалъ про «не судите» — и хочу подѣлиться съ вами тутъ же мелькнувшей мыслью. Если бы на московскую эстраду вышелъ человекъ и вмѣсто всякой рѣчи прочелъ, какъ новое, вотъ это «не судите» и еще два-три особенно нужныхъ мѣста изъ той же книги, ничего не добавляя, — но прочелъ бы такъ, чтобы слушатели вновь, какъ въ первый день, поняли, что онъ читаетъ, о чемъ это, надъ чѣмъ это, можетъ быть тогда и стоило бы затѣвать всю эту затѣю. Тогда и обниматься стоило бы! Если въ дружбѣ споры безмысленны, то потому, что втайнѣ надѣешься на согласіе въ этомъ. Истинный споръ — т. е. споръ-ссора — возникаетъ изъ-за этого, какъ бы ни былъ далекъ непосредственный предметъ его. Для меня, для всѣхъ «насъ», — тутъ, конечно, надо было бы объяснить, кто такое мы: не паспортъ же считать объединяющимъ признакомъ! — поиски «правды» сводятся къ поискамъ координаціи съ этимъ, во всѣхъ отрас-

ляхъ жизни, потому что нѣтъ ничего другого, что стоило бы хранить и беречь. «Это не можетъ быть превзойдено», какъ въ восемьдесятъ лѣтъ сказалъ канцлеру Мюллеру вашъ же любимый Гете, слишкомъ взыскательный и духовно опытный чело-вѣкъ, чтобы сдѣлать — хотя бы только теоретически, «плато-нически» — иной выборъ»).

А, во-вторыхъ... во-вторыхъ, боюсь, что избранникъ нашъ не вспомнилъ бы главнаго въ своей рѣчи, пропустилъ бы мно-гое, что для него «само собой разумѣется», а тамъ было бы, по-жалуй, особенно важно. Читали вы когда-нибудь исторію о Ми-хайловскомъ, который растерялся, когда ему предложили напи-сать для какого-то сборника статью въ защиту свободы сло-ва — и не зналъ, съ чего начать? Казалось бы, только объ этомъ онъ и думалъ всю жизнь. Но именно изъ за долгой при-стальности взгляда онъ пересталъ видѣть то, куда смотрѣлъ, и забылъ слова, которые въ безспорности своей представлялись ему лишними въ дѣлѣ. Что-то подобное произошло съ нами. Кажется, мы уже не всегда знаемъ то, что надо бы вамъ ска-зать, о чемъ надо бы васъ спросить, — вѣрнѣе, не можемъ безъ усилія вспомнить это. За двадцать лѣтъ размолвки въ долгихъ раздуміяхъ и сомнѣніяхъ мы забрели въ послѣдніе, тончайшія развѣтвленія доводовъ — и оставили ихъ «истокки». Ну, да свобода творчества, незыблемая права личности! Вооб-ще личность какъ цѣль, а не какъ средство. Формулы всѣмъ извѣстны. Но истинное содержаніе ихъ уже еле-еле уловимо. И показательно, что особенно охотно щеголяютъ этими фор-мулами люди, которымъ все безразлично и у которыхъ поэто-му завидная четкость эмигрантскаго міровозрѣнія естествен-но укладывается въ ораторски-эффектныя формулы. Образецъ кошмара: на московской эстрадѣ чело-вѣкъ, «окидывающій» взоромъ слушателей и, послѣ паузы, бархатисто - адвокатскимъ баритономъ, съ предчувствіемъ будущихъ, близкихъ раскатовъ, начинающій: «Чаша переполнена! Священные права лич-ности...», или — про «карающій мечъ Немезиды». Немезида, сказать по правдѣ, не столько «караетъ», сколько рубить ку-да попало, но у насъ многіе увѣрены, что вскорѣ она образу-мится.

Безполезное занятіе — упрекать другъ друга, въ особен-ности претендуя и злѣсь и тамъ на обладаніе истиной. Нужна бесѣда, пусть даже въ укороженномъ или недоумѣвающимъ тонѣ, но съ предварительнымъ откровеннымъ признаніемъ, что заблудились и вы, и мы. Если бы существовалъ какой-нибудь сверхъ-высшій трибуналъ, гдѣ слѣдовало бы выиграть споръ-

ное дѣло, и гдѣ ваше осужденіе было бы нашимъ оправданіемъ, или наоборотъ, — пришлось бы изощряться въ аргументаціи. Но вѣдь въ исторіи трибуналовъ нѣтъ. Исторія не судить, а перемалываетъ, и «гопить въ пропасти забвенья народы, царства и царей» по Державину, и «всѣхъ равно привѣтствуетъ своей всепоглощающей и миротворной бездной», по Тютчеву. Именно — миротворной. Не будетъ ни оправданій, ни осужденій, а будетъ жизнь, смерть, и опять жизнь, на фонѣ которой кто-нибудь восприметъ, наконецъ, какъ чудовищную, «трагическую» чепуху, — нашъ затянувшійся раздоръ. Здѣсь, у насъ вспоминаютъ иногда Бога и дьявола, между которыми пресерьезно предлагается выбрать. Будто дьяволъ, предполагаемый вашъ патронъ, ужъ такъ глупъ, что станетъ вести свое дьявольское наступленіе громяхая и бахая, безъ «защитной формы», не брезгая даже гѣмъ, чтобы организовывать вечерніе курсы по безбожію и агитировать среди комсомольцевъ. Будто дьяволъ, если только онъ существуетъ, не гѣмъ прежде всего и уподобится Богу, что станетъ нездѣсьсуще-невидимъ и не ошутимъ. (Если только онъ существуетъ... Ничего нѣтъ труднѣе, какъ вѣра въ его реальное существованіе. Ничто такъ не противорѣчитъ всей современной культурѣ, всему привычному для современности строю мыслей. Оттого, кажется, христіанство и сдѣлалось мало-по-малу скорѣй жизнеощущеніемъ, нежели вѣрой, — музыкой, а не системой, — что изъ него выпалъ дьяволъ. Не съ кѣмъ бороться, нечего искупать). Мнѣ пришлось здѣсь какъ-то слышать, что большевизму можно было бы, и даже надо было бы по присущей намъ кротости духа отпустить всѣ его грѣхи, если бы онъ возсталъ только на насъ, людей! Но, понимаете, онъ возсталъ на Бога — и поэтому прощать мы не вправѣ. О, вотъ это скорѣй дьявольская работа, «shade in prison» — по тонкости и чистотѣ отдѣлки. Тонкая выдумка, не придерешься: марксистамъ остается лишь жалѣть, что для ихъ арсенала непригодна эта усовершенствованная мотивировка классовой ненависти. Всякому дестно прикинуться идейнымъ мученикомъ, обдѣлая свои личныя дѣла.

Трибуналь... Если это предчувствіе какихъ-то неизбѣжныхъ неминуемыхъ судовъ надъ и чуждо, то боюсь, не по безразличію ли къ гѣмъ, съ кѣмъ пришлось бы вамъ судиться. Особенно сейчасъ, когда съ равнодушіемъ побѣдителей (мнимыхъ или подлинныхъ) — все равно; побѣдителей — въ собственномъ ощущеніи) съ безотчетно-пренебрежительнымъ всепрощеніемъ, отъ избытка успѣховъ, которые будто всѣхъ должны обезоружить, многіе изъ васъ уже готовы раскрыть объятія. Перекла-

дываю на логическую рѣчь благопріятнѣйшіе для насъ, лучшіе изъ доходящихъ мотивовъ, среди всѣхъ тѣхъ, которые въ совокупности составляютъ сейчасъ «тему Россіи», — и получаю приблизительно слѣдующее: «возвращайтесь, пожалуйста! Только не мѣшайте намъ! А будете ли вы помогать, это дѣло ваше, мы то справимся и одни...» За приглашеніе принято благодарить, но на это приглашеніе хочется возразить, — тѣмъ болѣе, пока оно такъ еще невнятно! Препятствіе вовсе не въ насъ самихъ, не въ эмигрантскихъ обидахъ или безсильномъ брюзжаніи, какъ можно было думать. Препятствіе въ томъ, что вамъ, — по вашему убѣжденію, — кажется, вообще никто не нуженъ. Это-то и ужасно! Это вообще одна изъ самыхъ удивительныхъ и жалкихъ чертъ въ совѣтскомъ обликѣ. Я говорю вовсе не о казенномъ, обязательномъ бахвальствѣ, а о томъ, что за нимъ, не объ оболочкѣ, а о подлинныхъ и, повидимому, все растущихъ настроеніяхъ, эту оболочку укрѣпляющихъ, позволяющихъ ей держаться, благодарно «ее питающихъ. Болшевиизмъ оттого и выродился въ Россіи, оттого и погибъ, что ленинская «проплеванная душонка» была все-таки душонкой природно-недовольной, неудовлетворенной. Она во всѣхъ своихъ проявленіяхъ давно была обречена. Намъ право не пристало оплакивать ее, но у насъ нѣтъ и основаній восхитаться тѣмъ, въ чемъ она почти безъ остатка растворилась, — какъ изъ того, что марксизмъ плохъ, вовсе не слѣдуетъ, что хорошъ націонализмъ. Одно другого стоитъ! О націонализмѣ, впрочемъ, потомъ. Это одинъ изъ самыхъ болѣзненныхъ (и засушенныхъ) сейчасъ вопросовъ. Касаясь его, думаешь иногда: не иду ли я противъ Россіи, противъ «родины», не толкаю ли ее обратно отъ начавшагося возрожденія къ безжизненному, разсудочному, порочно-«интеллигентскому» бреду о международномъ раѣ? Сейчасъ весь міръ, всѣ глубокія подводныя теченія, какъ будто за націонализмъ — не поправка ли это къ недавнимъ ошибкамъ? Много надо твердости, чтобъ устоять и не соблазниться.

Вполнѣ возможно, до крайности вѣроятно даже, что мы ничему научить васъ не въ силахъ. Но у кого-то вы все-таки учиться должны, кто-то долженъ помочь вамъ многое вспомнить. Хотя бы то, что помощь нужнѣй всего тогда, когда человекъ всего менѣе ее ищетъ.

Молодежь, «русская молодежь».

Это магическія слова, магически дѣйствующія. Магія мѣшаетъ разсмотрѣть или почувствовать то, что вносится въ нихъ жестокаго.

Если признать человѣка «мѣрою вещей», то возрастъ лишается значенія. Если человѣкъ цѣненъ самъ по себѣ, «самъ въ себѣ», то не все ли равно — реально, конкретно, въ данный моментъ, — старъ онъ или молодъ? Повѣрьте, «неизвѣстный другъ» мой, въ томъ, что мнѣ хотѣлось бы сейчасъ сказать, нѣтъ ни малѣйшаго стремленія шегольнуть парадоксомъ; нѣтъ, парадоксы отвратительны, и всякое оригинальничаніе отвратительно и плоско, — но подумайте серьезно, безъ предвзятости: сколько глупѣйшихъ, безошибочно-выигрышныхъ, льстивыхъ гимновъ сочинено въ честь молодежи, къ ея услугамъ, — и какой ущербъ наносится въ нихъ идеѣ человѣка! Если въ человѣка вѣрить и его чтить, послѣдній нищій, доживающій свой никчемный вѣкъ въ грязномъ углу, заслуживаетъ того же вниманія, той же «культурной заботы», какъ и блестящій и гениальный Алкивиадъ, какъ любой герой въ древнемъ или новомъ обличьи, перелетающій черезъ полюса, охраняющій границы, побивающій трудовые рекорды. Потому, что нѣтъ ничего, чѣмъ можно было бы значеніе жизни измѣрить — и еще потому, что фактъ ея не исчерпывается тѣмъ, на что могла бы она быть использована. Объ этомъ даже неловко писать, настолько все тутъ «дважды два четыре». Но это «дважды два четыре» лишь изрѣдка поражаетъ сознаніе, какъ несомнѣнная истина, — а обыкновенно сознаніе наше настолько забито условными предствленіями, что изъ ихъ власти и не выходитъ.

Нельзя быть противъ молодежи, и противъ молодости вообще, — но вѣдь не о томъ и рѣчь! «Сварливый старческій задоръ» — еще разъ вспомню Тютчева — дѣйствительно былъ бы при одномъ только предположеніи такой борьбы зловѣще-комичень, глубоко-аморалень... Но нельзя и создавать изъ молодости ненасытнаго, слѣпago идола и одобрять все, что во имя ея совершается, — хотя бы изъ вѣрности другому «во имя», болѣе широкому и священному. И, что скрывать, какъ часто молодежь сама пользуется своимъ состояніемъ, будто оружіемъ, требуетъ, претендуетъ, отстраняетъ, — и какъ нестерпимо это!

Nous, les jeunes, — это мы постоянно слышимъ здѣсь во Франціи, какъ читаемъ о «молоднякѣ» въ Россіи. Хорошо быть молодымъ, никто не споритъ. Мускулы, зубы, нерастраченная энергія. Но можно ли молодостью гордиться? Всѣмъ было двадцать лѣтъ, всѣмъ будетъ шестьдесятъ. Какое основаніе у молодежи думать, что она знаетъ что-то недоступное другимъ? Вѣчная, смѣшная сказка о «новомъ человѣкѣ», вотъ уже сколь-

ко десятилѣтій, горделиво появляюшемся — и затѣмъ конфузливо отступающемъ передъ очередными самозванцами.

Къ чему я пишу все это? Попробую объяснить.

Кажется, Россія живетъ сейчасъ подъ гипнозомъ «молодости», съ демонстративно-молодецкой похвалой, — какъ и нѣкоторыя другія страны въ Европѣ. Конечно, вы можете мнѣ отвѣтить, что это лучше, чѣмъ жить подъ гипнозомъ старости, — но оставимъ митинговья реплики: такого гипноза не существуетъ, онъ невозможенъ. Еще разъ повторю, «во избѣжаніе недоразумѣній», что молодость прекрасна. Но какъ чловѣкъ, что-то ужъ слишкомъ настойчиво кричащій о своемъ возрастѣ и вытекающихъ изъ него преимуществахъ, внушаетъ подозрѣнія, — и почти всегда ихъ оправдываетъ, — такъ и страна. Нѣтъ ли контрабанды подъ неприкосновенной оболочкой? Юношѣ, имѣющему умъ, честь, достоинство, сердце, было бы стыдно козырять такимъ доводомъ, какъ молодость, — и потому, когда слышишь о «nous, la jeunesse», хочется отвѣтить: ну да, вы молоды, но изъ васъ никогда ничего не выйдетъ... Обратите вниманіе, что жестокая государственность, безчеловѣчные и безсовѣстные режимы неизмѣнно къ молодости апеллируютъ, передъ ней заискиваютъ, — и наоборотъ, въ тѣхъ странахъ, которыя становятся мишенью для ихъ насмѣшекъ, въ миломъ, «дряхломъ», въ какомъ-то кутузовски-мудромъ мірѣ, дышать легче. Да, мы съ интересомъ, даже съ волненіемъ смотримъ въ кинематографахъ на московскіе парады, и спортивные празднества. Отрадное зрѣлище! «Эхъ, орлы», крикнулъ какъ-то при мнѣ въ темномъ залѣ расчувствовавшійся эмигрантъ. Но что за этими фееріями, — какой тонъ и строй въ воспріятіи жизни? Мы безъ колебаній привѣтствовали Громова: да, безъ колебаній, — но, право, и безъ умоизступленія, и даже, даже, съ затаенной, молчаливой опаской. Авіація и подвиги сами по себѣ, разумѣется, не при чемъ: говорю о направленіи возбуждаемыхъ ими восторговъ, — противъ чего они? «Громовъ — лучший сынъ Россіи», какъ было гдѣ-то написано. Но Россіи нужны и другіе сыновья, у Россіи были другіе сыновья, и если Громовъ, лично, конечно, ни за что не отвѣтственный, Громовъ нарицательный, ихъ такъ легко отгѣснилъ, нечего этому му радоваться.

О радости тоже надо было бы поговорить.

Въ письмѣ моемъ нѣтъ послѣдовательности. Но представьте себѣ, что вы издалека, будто сквозь пелену, вглядываетесь

въ дорогое, давно не видѣнное, не то, что забытое, но какое-то ускользящее, утраченное сердцемъ, очень измѣнившееся лицо — и стараетесь разсмотрѣть, что въ немъ чуждаго и что прежняго: будете ли вы переходить отъ примѣты къ примѣтѣ, «носъ такой то», «глаза каріе съ искрой»? Думая о Россіи, вспоминая ее, мы всѣ приблизительно въ такомъ положеніи. Кромѣ того, не стоитъ подгонять мысль къ мысли, какъ бревно къ бревну при постройкѣ избы, — ради внѣшней стройности. Если изъ мыслей, внѣшне-беспорядочныхъ, можно извлечь планъ — тѣмъ лучше. Но то или иное расположеніе безсильно придать имъ единство, если его не было въ волѣ, вызвавшей ихъ къ жизни. Кстати, въ понятіи «плана» — одно изъ самыхъ глубокихъ и основныхъ нашихъ расхожденій. Отложу его до слѣдующаго письма, иначе скачекъ въ сторону былъ бы слишкомъ ужъ рѣзокъ.

Радость. Все входящее «оттуда» какъ будто навсквозь ею пронизано, все настойчиво и вызывающе о ней говорить. (Подчеркиваю — входящее. Другое не доходить, молчать). Радость на фотографіяхъ, въ стихахъ, на лицахъ двухъ допотопныхъ истукановъ съ крыши Совѣтскаго павильона на здѣшней выставкѣ, — и даже въ вашихъ письмахъ.

Простите, «неизвѣстный другъ» мой, — про радость эту больно было у васъ читать. Не сомнѣваюсь, вы поймете, почему. Съ тѣхъ, съ «молодняка» не спросится. Но съ васъ, съ такихъ какъ вы спросится. Помните, князь Андрей говоритъ о Наташѣ, — удивительная по интонаціи фраза:

— Я говорилъ, что можно простить. Но я не говорилъ, что я могу простить.

Если слово «простить» измѣнить здѣсь на слово «забыть» — вамъ все станетъ ясно. Хотѣлось бы думать, такіе люди какъ вы понимаютъ, что забыть можно. Но сами забыть не могутъ. Ну, хотя бы не такъ ужъ окончательно, чтобы предаваться безоблачной радости. Увѣренъ, увѣренъ, что тутъ какое-то недоразумѣніе.

Но какъ забывчивъ вообще человѣкъ, и какъ онъ въ забывчивости этой живучъ! Знаете, иногда глядишь на здѣшнихъ нашихъ монархистовъ, тоже по своему радующихся и возбужденно-суесящихъ, — глядишь и думаешь: если бы царь всталъ изъ гроба, а въ особенности она, царица, ограниченный, но прямой и чистый человѣкъ, если бы они увидѣли, что ихъ друзья, клявшіеся имъ въ вѣрности, не только не сошли съ ума послѣ ужасной ихъ гибели, не только не облачились въ вѣчный трауръ, не умерли съ тоски, какъ собака послѣ хозяи-

на, а устраиваютъ благотворительные балы, или «чашки чая» — какъ бы они были оскорблены! Царица довѣрчиво ждала личной вѣрности, себѣ, ему, — и ей именно о личной вѣрности говорили. А тѣ, которые теперь утверждаютъ, что «мы вѣрны идеѣ», убаюкиваютъ сами себя, оправдываютъ свое цѣпкое, уклончивое малодушіе, желаніе жить во что бы то ни стало, стремленіе отдѣлаться отъ мѣшающихъ жить воспоминаній. Не думаю, чтобы монархисты и придворные были хуже другихъ людей. Значить — всѣ таковы. Но въ совѣтской радости есть что-то не только слабое, а и беспощадное.

Конечно, самъ по себѣ, тамошній оптимизмъ, этотъ «мажоръ», окрашивающій все міроощущеніе — понятенъ. Не знаю, можно ли сказать, что въ Россіи еще живы иллюзіи, а у насъ имъ пришелъ конецъ, — но разница именно такова, и дай Богъ, чтобы иллюзіи ваши не оказались только иллюзіями. У васъ, напримѣръ, открывается новый заводъ, или повышается выработка алюминія, или происходитъ еще что-нибудь въ томъ же родѣ — и въ отвѣтъ всѣ вѣрятъ, что это шагъ на пути къ окончательному устроенію міра. У васъ крѣпка вѣра въ измѣненія, въ основную перемѣну, въ самую возможность ея — и, конечно, оттого вамъ и весело «строить». Понятіе государства, какъ небо послѣ грозы, омыто революціей и стало снова привлекательно, какова бы ни была власть. Есть въ совѣтскомъ словарѣ эпитетъ «міровой», «мировое», психологически на рѣдкость характерный и очень популярный. У васъ все теперь «міровое». Открыли новую больницу — «мировое, товарищи, дѣло!» Мы посмѣиваемся: какъ, въ самомъ дѣлѣ, упустить случай улыбнуться! Но, право, улыбаясь, мы не смѣемъ надъ тѣми смутными надеждами, которыя въ это слово вкладываются. Имъ не суждено осуществиться, — но... вѣдь если въ исторіи ничего полностью не удается, то ничего полностью и не пропадаетъ. Крушенія абсолютныхъ — нѣтъ. Какъ на войнѣ: нѣтъ ни совершенныхъ пораженій, ни совершенныхъ побѣд. Наполеонъ при Аустерлицѣ потерялъ извѣстное число солдатъ, — значить на какую-то долю своей мощи ослабѣлъ. Человѣкъ непрерывно терпитъ пораженія. Но непрерывно, въ степеняхъ едва-едва уловимыхъ даже «вооруженнымъ глазомъ», онъ и побѣждаетъ. Можетъ быть, въ этомъ и состоитъ «прогрессъ».

Пишу это — и думаю о столь рекомендуемой (и у васъ, и у насъ) «четкости міровоззрѣнія». Откуда ей взяться, — если только не признать слѣпоту, обязательнымъ ея условіемъ? Тысячи доводовъ «за» и «противъ» всего, что сейчасъ совершается, — въ частности, совершается въ Россіи, — можно ли ихъ

не видѣть? Нѣтъ ли своего рода подвига въ обычно-презираемомъ «соглашателствѣ», которое неизбежно при зрячести и честности съ собой? Не нужно ли отстаивать растерзанную истину, какому бы лагерю ни принадлежали ея части, — съ однимъ лишь принципомъ: «advienne que rougga», т. е. не заботясь о непосредственныхъ послѣдствіяхъ вмѣшательства? Не связано ли реально-боевое, партійное участіе въ борьбѣ, — идеологическій «активизмъ», вашъ и нашъ, — съ ограниченіемъ разума и даже совѣсти? Не должно ли бы настоящее расслоеніе произойти по линіи, которая отдѣлила бы людей, ищущихъ добра для себя вмѣстѣ съ другими — отъ людей, ищущихъ добра для себя противъ другихъ? Но осуществимо ли это?

Одинъ вопросъ останется все-таки навсегда безъ отвѣта. Въ порядкѣ «перемальванія» жизнь сниметь его когда-нибудь съ повѣстки дня. Но, пожалуй, не раньше, чѣмъ «миротворная бездна» поглотить и насъ, и васъ.

Какъ могло случиться, что въ Россіи, на русской почвѣ, не для того, казалось бы, подготовленной, привилась и мало-помалу вошла въ обиходъ детально-разработанная теорія эгоизма и корысти, вся новѣйшая волчья этика? Ну, «нисходящій классъ». Допустимъ. Одни восходятъ, другіе нисходятъ. Что же изъ этого? Что же, значитъ надо нисходящихъ подтолкнуть, чтобы они «низошли» совсѣмъ? Допустимъ, цѣлый классъ — «паразитичень». Что же, можно его на что угодно употребить, имъ можно какъ угодно пользоваться, ради вяшаго величья строительства, подъ несмолкаемая рукоплесканія добродѣтельныхъ, усердныхъ, сознательныхъ, завѣдомо-праведныхъ?

Не буду продолжать — и промолчу о худшемъ. Вопросъ — не къ власти, конечно. Онъ къ тѣмъ, кто въ своемъ естественномъ, понятномъ увлеченіи несущимся надъ страной вихремъ, ея подъемомъ, ея глубокимъ и широкимъ пробужденіемъ, не пожелалъ (или оказался не въ состояніи) обратить достаточно вниманія на цѣну, на изнанку всего этого — будто имѣеть значеніе только итогъ, выгодно сведенный цифровой балансъ. Истолкователей и лирическихъ комментаторовъ свершившагося много, притомъ искреннихъ. Но неужели въ русской литературѣ никогда не прозвучитъ голосъ «нисходящаго класса», даже совсѣмъ уже низошедшаго, столкнутаго, гибнущаго, а проше — людей, у которыхъ за двадцать лѣтъ полужизни, полу-смерти въ ликующей Россіи накопилось, чѣмъ поѣлится? Неужели ихъ душевный опытъ исчезнетъ вмѣстѣ съ

ними, безслѣдно? И отъ всего, что они могли бы сказать, не увянетъ сразу, «на корню» ничей энтузіазмъ, и никто не выблиуетъ, какъ мерзости, будущаго земнаго рая со всѣми его метафизическими, социальными и философскими обоснованіями?

Поправка, разъясненіе: вопросъ обращенъ, разумѣется, не только къ вамъ, но и къ намъ, къ каждому изъ насъ, къ самому себѣ, наконецъ. Иначе безсовѣстно было бы его ставить. Очевидно, на экзаменѣ революціи провалился человекъ вообще, да и не только по этому основному предмету, а если насъ у стола не было, то другіе — по природѣ, такіе же какъ мы — сплеховали за всѣхъ.

Знаете ли вы, что многіе эмигранты не только ждутъ возвращенія «туда», но и тайнѣмъ страшатся его?

О, если бы я въ силахъ былъ рассказать вамъ, какъ они ждутъ этого дня, а въ особенности, какъ мало-по-малу они перестаютъ ждать его — тоже камни «возопіяли» бы. Но у насъ нѣтъ нужныхъ — не слезливыхъ и не мертвыхъ — словъ. У насъ это понимается само собой, а надъ скорбно-патріотической декламацией морщатся даже наименѣе взыскательные. У насъ нѣтъ даже ни одного стихотворенія о Россіи, — кромѣ такихъ, которыя стыдно читать. Нельзя найти выраженій, нельзя найти тона. Повѣрьте, вѣрность не слабитъ въ разлукѣ.

Но нѣкоторые уже готовы махнуть рукой. Поздно, — чувствуютъ они, — прошли сроки. Кого мы тамъ найдемъ? Узнаемъ ли Россію? Что это будетъ за встрѣча?

Пора кончатъ письмо, а упоминаніе о возможности будущаго свиданія толкаетъ снова къ бесѣдѣ. О эмиграціи, которую бранить и поносить каждый, кому не лѣнь, — исходя не изъ идеи жизни, а изъ идеи пользы. О ея слабостяхъ и достоинствахъ. О насъ, о васъ, о томъ, что дѣлается въ мірѣ. О революціи, которой суждено намъ было оказаться свидѣтелями. «Блаженъ, кто посѣтилъ сей міръ...» Да, блаженъ, хоть и дорого дается это блаженство.

Съ революціей счеты особенно сложныя. О ея дѣйствіяхъ двухъ мнѣній быть не можетъ. Но нельзя все-таки остаться равнодушнымъ, нельзя «повернуть спину» къ явленію, въ основномъ замыслѣ котораго — образъ справедливости. Революція рвется къ справедливости, — во всякомъ случаѣ рвалась къ ней. Оттого, вѣрно, человекъ любить ее — и любя, ее ненавидитъ.

Георгій Адамовичъ.

Неизданные письма Л. Н. Толстого



И. Ге.

Л. Н. Толстой
(1884 г.)

Авторъ помѣщаемыхъ ниже воспоминаній о Толстомъ — сынъ замѣчательнаго русскаго художника Николая Николаевича Ге (1831-1894), тоже Николай Николаевичъ Ге. Ему адресованы всѣ эти шестьдесятъ четыре письма, писанныя Л. Н. Толстымъ на протяженіи почти четверти вѣка (1885-1909 гг.). Впервые здѣсь публикуемыя въ ихъ русскомъ оригиналѣ, они несомнѣнно являются весьма цѣннымъ вкладомъ въ литературное наслѣдство Толстого.

Семьѣ Ге, въ двухъ ея поколѣніяхъ, почти случилось близко подойти къ Толстому. Л. Н. высоко цѣнилъ Н. Н. Ге-отца какъ художника, уважалъ и любилъ какъ человѣка. Съ сыномъ его, несмотря на разницу лѣтъ и положенія (въ началѣ ихъ знакомства знаменитому, съ мировой славой писателю было уже 56 лѣтъ, а младшему Ге всего 27), Толстого связывала самая нѣжная дружба. Сердечно были привязаны къ обоимъ Ге и молодые Толстые. «Мы любили Ник. Николаевича» (младшаго), — вспоминаетъ А. Л. Толстая («Совр. Зап.» кн. 45), — «точно всю привязанность, которая была въ нашей семьѣ къ «Дѣдушкѣ», перенесли на Количку... Н. Н. былъ похожъ на отца: та же мягкость, доброта, веселость».

Нѣсколько чертъ изъ біографіи Н. Н. Ге-младшаго, въ дополненіе къ тому, что онъ сообщаетъ о себѣ въ текстѣ, необходимы для представленія объ авторѣ воспоминаній.

Въ 1855 г. его отецъ, по окончаніи Петербургской Академіи Художествъ, былъ командированъ въ Италію для усовершенствованія. Пребываніе его въ Италіи вышло длительнымъ: въ Римѣ и Флоренціи онъ почти безотлучно провелъ шестнадцать лѣтъ. Въ Римѣ же, въ 1857 году, родился сынъ его Николай. До 14-лѣтняго возраста Н. Н. Ге-младшій прожилъ въ Италіи и, естественно, очень мало чувствовалъ себя русскимъ. (Напомнимъ, что и вообще семья Ге — не русскаго происхожденія: отецъ художника — французскій эмигрантъ (de Gay), переселившійся въ Россію въ царствованіе Екатерины II, мать — полька, дочь сосланнаго, послѣ пораженія Костюшки, повстанца. Самъ художникъ Ге былъ женатъ на польской литовкѣ, его старшій братъ участвовалъ на сторонѣ поляковъ въ возстаніи 1863 года). Когда въ 1871 г. Ге рѣшилъ возвратиться съ семьей въ Россію, для его сына разлука со второй родиной была большимъ горемъ. Обстановка и люди въ Петербургѣ оказались для него настолько чужды, что приспособиться къ нимъ юноша такъ и не смогъ: въ 1879 г., бросивъ Ларинскую гимназію, гдѣ онъ обучался, онъ возвратился во Флоренцію. Здѣсь онъ поступилъ было въ Академію Художествъ, но, разочаровавшись въ своихъ способностяхъ, переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ записался въ Сорбонну.

Впрочемъ, вскорѣ (въ 1880 г.) ему пришлось, по вызову отца, вновь поѣхать въ Россію, въ виду опасной болѣзни матери. Въ это время художникъ Ге, отказавшись отъ предложенной ему кафедры

въ Петербургской Академіи, жилъ на Украинѣ, въ купленномъ имъ небольшомъ имѣніи въ Черниговской губерніи. Около 1880 г. начинается его сближеніе съ Толстымъ, въ семьѣ котораго онъ часто и подолгу гоститъ. Тогда же происходитъ, отчасти повидимому подъ влияніемъ религіозной философіи Толстого, знаменательный поворотъ въ его творчествѣ. Последнія картины Ге на сюжеты изъ священной исторіи («Что есть истина?» и особенно «Распятіе») пріобрѣтаютъ все болѣе реалистическую, далекую отъ церковной традиціи, трактовку. Правительство запретило принимать ихъ на выставки.

Вынужденный остаться въ Россіи, Н. Н. Ге-младшій поступилъ на юридическій факультетъ Кіевского университета Лекціи проф. Владимірскаго-Буданова по русскому обычному праву впервые открываютъ ему невѣдомый до того самобытный міръ русскаго народнаго сознанія. Встрѣча съ Толстымъ (осенью 1880 г.) довершаютъ переломъ въ его душѣ. Черезъ Толстого онъ научается любить Россію. Вместе съ тѣмъ, на него производитъ глубокое впечатлѣніе толстовская критика современной культуры, ея соціальной неправды, и стремленіе Толстого приблизиться къ простому крестьянскому образу жизни и міросозерцанію. Н. Н. рѣшаетъ бросить университетскую науку и поселяется съ семьей Толстого.

О дальнѣйшихъ взаимоотношеніяхъ Н. Н. Ге съ Толстымъ читатель болѣе подробно узнаетъ изъ его воспоминаній и изъ писемъ къ нему Л. Н. Забота о старѣющихъ родителяхъ заставляетъ его покинуть Ясную Поляну и взяться за веденіе хозяйства въ имѣніи его отца. Но и вдали отъ Толстого онъ долгіе годы поддерживаетъ переписку, изрѣдка видится съ нимъ. Дружескія отношенія между ними сохраняются до самой смерти Толстого.

Правда, съ теченіемъ времени у Н. Н. назрѣваетъ извѣстное разочарованіе то ли въ окруженіи Толстого, то ли въ самихъ идеяхъ его. Къ этому присоединяется растущее сознаніе невозможности для него полнаго слиянія съ русской народной стихіей. Европейца тянетъ домой, къ себѣ на Западъ. Потерявъ на протяженіи немногихъ лѣтъ своихъ близкихъ — мать, отца и жену, Н. Н. Ге рѣшаетъ окончательно ликвидировать свои дѣла въ Россіи и въ 1899 г., съ двумя малолѣтними сыновьями, уѣзжаетъ въ Женеву. Онъ счелъ нужнымъ прекратить формальную связь съ Россіей, подавъ заявленіе о выключеніи его изъ русскаго подданства. Съ 1906 г. внукъ французскаго эмигранта возвращается въ гражданство родины его предковъ — Франціи. Но годы, проведенные въ Россіи, удивительная встрѣча съ Толстымъ навсегда останутся въ его душѣ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, драгоценныхъ воспоминаній въ жизни.

L'édition originale de ces lettres de Tolstoy a paru chez la Maison d'Édition G. C. Sanaoui, Florence à laquelle sont réservés tous les droits de reproduction et de traduction.

Посвящаю этот трудъ съ искренней признательностью и уваженіемъ госпожѣ Беатрисѣ де Ваттаиль.

Я познакомился съ Л. Н. Толстымъ въ 1884 году. Онъ жилъ въ Ясной Полянѣ среди многочисленной семьи. Домъ, окруженный яблочнымъ садомъ, за которымъ тянулся чепыжъ и лѣсъ, находился на холмѣ, съ котораго тропа спускалась съ одной стороны къ рѣчкѣ Воронкѣ, а съ другой къ пришепкту — такъ называлась широкая аллея, приводившая къ проселочной дорогѣ, ведущей къ шоссеиной дорогѣ въ Тулу.

Чтобы добраться до Ясной Поляны, надо было сойти на полустанкѣ Козловкѣ Застѣкѣ и оттуда по запущенной старой дорогѣ, по оба бока которой тянулся молоднякъ, пересѣчь шоссе и дойти до Ясной Поляны. Названіе это, такъ же, какъ и Ясенки, происходитъ отъ слова ясень, какъ при мнѣ не разъ объяснялъ Л. Н. Не доходя до деревни, состоящей изъ немногихъ и бѣдныхъ избъ, надо было взять вправо и, пройдя межъ двухъ кирпичныхъ сторожекъ, подняться по аллеѣ, приводившей къ дому.

Когда я вошелъ въ домъ и былъ принятъ Софьей Андреевной, окруженной дѣтьми, на меня повѣяло словно чѣмъ то знакомымъ, точно я издавна зналъ эту семью. Левъ Николаевичъ пригласилъ меня пройтись съ нимъ и мы отправились. Стоялъ августъ: все было ярко, зелено. Завязался на ходу интересный разговоръ. Во всемъ, что говорилъ Левъ Николаевичъ, чувствовалась необходимость для него выразить то, что его самого глубоко захватывало. Въ его словахъ сказывалось желаніе не столько передать свою мысль другому, сколько проверить ее для себя самого.

«Среда не оказываетъ никакого вліянія на совѣсть отдельныхъ живыхъ людей», — говорилъ онъ. — «Общество состоитъ изъ множества Ивановъ, но они все же остаются тѣмъ, чѣмъ были независимо отъ общества. Десять, сто, тысяча Ивановъ — всѣ различны и каждому предстоитъ ужиться съ другими».

Посѣщеніе Льва Николаевича и бесѣды съ нимъ мнѣ объяснили многое, чего я, родившійся и проведшій дѣтство въ Ита-

ли, не понималъ. Въ Россіи все мнѣ было чуждо и я плохо разбирался въ окружающей меня обстановкѣ. Я сталъ понимать теперь, отчего все, что я слышалъ раньше, отдавало теоріей. Я понялъ, что имѣлъ въ виду Герцень, когда писалъ о пропасти, раздѣлявшей Россію. Крестьяне, составлявшіе почти все насе-



Н. Ге.

С. А. Толстая
съ дочерью Александрой (1884 г.)

леніе страны, не интересовались знать, почему господа на нихъ не похожи; эти же послѣдніе обуреваемы были желаніемъ внушить народу вкусы и представленія, чуждые условіямъ его жизни.

Я часто слышалъ отъ Льва Николаевича сравненіе народной жизни съ пирамидой. Тѣ, кто живетъ за счетъ народнаго труда, желали бы перевернуть пирамиду и поставить ее на вершину. Толстой никогда не думалъ видоизмѣнить жизнь народа; напротивъ, онъ хотѣлъ только, чтобъ крестьяне получили право на землю и не нуждались бы; къ концу же своей жизни онъ самъ хотѣлъ приблизиться къ крестьянской жизни. Толстой впоследствии писалъ: «Предметъ мой — это русскій народъ, не тотъ народъ, который побѣждалъ Наполеона, завоевывалъ и подчинялъ себѣ другіе народы; не тотъ, который, къ несчастью, такъ скоро научился дѣлать и машины, и желѣзныя дороги, и революціи и парламенты со всѣми возможными подраздѣленіями партій и направленій, а тотъ смиренный, трудовой, христіанскій, кроткій, терпѣливый народъ, который вырастил и держитъ на своихъ плечахъ все то, что теперь такъ мучаетъ и старательно развращаетъ его» *).

Несмотря на свой возрастъ (ему въ то время было 56 лѣтъ), Толстой былъ молодъ, что и обусловливало не только возможность, но и интересъ бесѣды съ нимъ. Въ немъ не чувствовалось грани между человѣкомъ и писателемъ. Все, что онъ говорилъ или писалъ, было искренно и непосредственно.

Всѣ, знакомившіеся съ Львомъ Николаевичемъ, познакомились и съ Софьей Андреевной и съ дѣтьми. Семья была очень дружная, благодаря прямотѣ родителей и дѣтей всякая фальшь была исключена какъ въ семьѣ, такъ и въ отношеніяхъ съ знакомыми и друзьями. Эта же прямота была причиной той независимости, которою пользовался Толстой въ странѣ, гдѣ полицейскій надзоръ не имѣлъ границъ. Эта независимость установилась гораздо раньше, чѣмъ Толстой получилъ всесвѣтную извѣстность. Онъ не стѣсняясь отклонялъ отъ себя все, что его не интересовало и занимался лишь тѣмъ, что его интересовало. Это создало въ Ясной Полянѣ родъ экстерриториальности. Когда я тамъ находился, я забывалъ, что я въ Россіи.

Припоминаю кстати одинъ характерный случай. Какой-то молодой человѣкъ явился въ Ясную Поляну, чтобы познакомиться съ Толстымъ и остановился въ деревнѣ. Послѣ двухъ или трехъ посѣщеній, онъ признался, что его послала полиція,

*) Предисловіе къ альбому «Русскіе мужики» Н. Орлова.

чтобы наблюдать за Толстымъ. Это заявленіе не произвело никакого впечатлѣнія. Онъ понялъ и исчезъ.

Во время моего отсутствія изъ Ясной Поляны, продолжавшагося довольно долго, я получилъ длинное письмо отъ Толстого. Онъ почти никогда не помѣчалъ на письмахъ числа, мѣсяца и года. Ставлю число на основаніи штемпеля конверта *).

4 февраля 1885.

Милый другъ Николай Николаевичъ.

Я въ деревнѣ и пробылъ тутъ одинъ недѣлю, завтра возвращаюсь въ Москву. Я не вызвалъ Васъ во-первыхъ потому что былъ полонъ мыслями, касающимися продолженія моей статьи, а во-вторыхъ п. ч. былъ огорченъ. Семейные мои огорчились тѣмъ, что я писалъ въ статьѣ о своей жизни и потому о нихъ и мнѣ это было больно и я все думалъ объ этомъ и былъ не спокоенъ духомъ. Теперь все прошло. Не помню говорилъ ли я вамъ про ту опору въ жизни, к. мнѣ съ каждымъ днемъ яснѣе и яснѣе становится, именно про посланничество. Вотъ это что. Я пишу вамъ въ сыромъ видѣ какъ оно мнѣ чувствуется теперь и увѣренъ что вы поймете меня п. ч. мы сходимся центрами. Одна сторона ученія Христа связанная со всѣмъ остальнымъ и даже основная была совѣмъ затемнена даже скрѣпая отъ насъ обоготвореніемъ его, именно его ученіе о посланничествѣ. Вспомните сколько разъ съ разныхъ сторонъ онъ говоритъ о томъ, что онъ творить волю пославшаго его, что онъ самъ ничто, но что онъ посланникъ и сливаетъ свою жизнь съ тѣмъ кто послалъ, что вся жизнь его, весь смыслъ ея есть исполненіе посланничества. Только признаніе его особеннымъ существомъ а не человѣкомъ какъ мы могло скрыть отъ насъ эту основу его ученія. Я теперь пришелъ къ ней и понялъ ее — боками, т. е. своей жизнью. Безконечныя сомнѣнія неясности въ жизни, при исполненіи ученія Хр. всегда мучали меня. Я разрѣшалъ ихъ какъ умѣлъ, но всегда чувствовалъ неясность, нетвердость свою. И только теперь мнѣ ясно стало, что разрѣшеніе всѣхъ сомнѣній и трудностей при исполненіи ученія въ этомъ — въ томъ что мы не признали въ жизни тотъ смыслъ единственный к. она имѣетъ и который указанъ Христомъ; служеніе истиннѣ (той высшей, котор. ты понялъ) и вселеніе ея не только

*) Во всѣхъ письмахъ орфографія и знаки препинанія сохранены какъ въ подлинникахъ. — Н. Г.

въ людей но во весь міръ. Жизнь на то только дана тебѣ съ твоимъ разумомъ, чтобы ты вносилъ этотъ разумъ въ міръ и потому вся жизнь есть ничто иное какъ эта разумная дѣятельность проявляющаяся во внѣ. Христось себя понималъ какъ посланника и этому училъ насъ. Каждый изъ насъ сила сознающая себя, сознающая свою общую цѣль и потому радостно стремящаяся къ этой цѣли, — летящій камень который знаетъ куда онъ летитъ и радуется тому что онъ летитъ и знаетъ что самъ онъ ничто — камень, а что все его значеніе въ этомъ полетѣ. —

Стоитъ только усвоить себѣ это воззрѣніе на жизнь (а именно чему училъ Хр.) чтобы исчезли всякіе страхи и сомнѣнія.

Дѣло мое главное — не только то, чтобы исполнять 5 заповѣдей, не то чтобы не имѣть собственности, не грѣшить — это все не дѣла, а только условія при к. я могу быть увѣренъ, что я исполняю свое призваніе и формы моего воздѣйствія на другихъ, а дѣло мое жить внося разумное начало въ міръ всѣми средствами какія даны мнѣ. Я могу падать, грѣшить, ошибаться, дѣло моей жизни не измѣняется отъ этого и счастье и спокойствіе моей жизни также. Только при этомъ взглядѣ уничтожаются праздныя сожалѣнія и желанія и страхъ смерти и вся жизнь переносится въ одно настоящее. Если жизнь моя вся въ томъ чтобы свѣтитъ тѣмъ свѣтомъ какой есть во мнѣ то есть жизнь моя въ свѣтѣ то смерть моя не только не страшна но радостна, п. ч. каждый изъ насъ своею личностью затемняетъ тотъ свѣтъ к. носить. И умереть физически часто содѣйствуетъ тому свѣту въ которомъ сосредоточена жизнь.

Практическое приложеніе то, что каждый изъ насъ долженъ всѣ интересы своей жизни вложить въ пронесеніе черезъ жизнь истины въ вселеніе ея въ другихъ и тогда для него не будетъ сомнѣній и страданій и не будетъ праздности — каждый всегда съ людьми, и потому всегда можетъ исполнять свое дѣло жизни. Пишите мнѣ подробно о себѣ.

Я жилъ въ Москвѣ и часто ѣздилъ въ Ясную Поляну. Толстые купили въ Хамовникахъ домъ. При этомъ домѣ былъ флигель и сарай. За домомъ тянулся большой садъ, окруженный другими садами. Сады эти были полны галокъ, которыя наполняли своимъ крикомъ всю окрестность, напоминая деревню.

Софья Андреевна задумала издать полное собраніе сочиненій Льва Николаевича. Она мнѣ предложила взять на себя сно-

шенія съ цензурой, типографіями и завѣдывать продажей книгъ подписчикамъ. Я ѣздилъ въ почтамтъ получать денежные пакеты по повѣсткамъ, и привозилъ на извозникѣ эти пакеты въ мѣшкѣ. Дома я провѣрялъ полученную сумму и вносилъ ее въ банкъ на имя графини Толстой.

Осенью, въ отсутствіе Толстыхъ, я написалъ масляными красками домъ. Двойное маленькое окно въ верхнемъ этажѣ, это окно кабинета Л. Н.



Домъ Толстыхъ въ Хамовникахъ

Чтобы добраться до него, надо было подняться по лѣстницѣ и, взявъ влѣво, пройти по корридору, въ концѣ котораго открывалась дверь въ маленькую комнатушку, служившую прихожей его кабинета. Въ этой маленькой комнаткѣ Левъ Николаевичъ тачалъ сапоги. Кабинетъ тоже не былъ великъ и былъ загроможденъ книжнымъ шкапомъ, письменнымъ столомъ, большимъ, крытымъ черной клеенкой диваномъ и кресломъ. Вся эта часть дома пахла камфорой и разными снадобьями противъ моли.

Часто Левъ Николаевичъ, въ халатѣ, спускался въ часъ но-

чи въ маленькую гостиную, смежную съ большой залой, и заставлялъ насъ за работой. Софья Андреевна была неутомимой работницей, умъ у нея былъ ясный и методичный. Я питалъ къ ней большое уваженіе и остался ей вѣренъ до конца ужаснаго испытанія, которое ее убило. Она была предана и Льву Николаевичу и дѣтямъ, на ней лежалъ весь трудъ по уходу за семьей и за домомъ. Она пострадала за свою неспособность строить жизнь на отвлеченной идеологии, что и поставило ее въ невыгодное положеніе сравнительно съ окружавшими Толстого поклонниками.

Лѣтомъ Толстые покидали Москву. Я одинъ оставался въ городѣ съ мальчиками, державшими свои экзамены. Къ этой эпохѣ относятся слѣдующія письма Льва Николаевича.

Милый другъ

Письмо это вамъ передастъ очень замѣчательный человекъ Спиглазовъ. Онъ теперь нишій, а вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ, стихотворенія котораго печатались въ Современникѣ и Русск. Мысли.

Моя просьба 1) къ Русской Мысли, къ Лаврову и Гольцеву не помѣстятъ ли его стихотворенія (они много лучше тѣхъ к. сплошь печатаются въ журналахъ) 2) сведите его къ Гатцуку, я бы написалъ ему да не знаю имени и отчества — не дасть ли ему Гатцукъ, к. я очень уважаю и к. всегда былъ ко мнѣ расположенъ — не дасть ли ему работу въ газетѣ. Мое здоровье не хуже и мнѣ хорошо. Помню Эпиктета и люблю Васъ.

Левъ Толстой.

Въ томъ же конвертѣ письмо Соф. Андреевны:

Еще къ вечеру набрались разныя статьи, о которыхъ я должна написать вамъ, Николай Николаевичъ. Не знаете ли вы, гдѣ Настасія Павловна Виноградова, та милая бѣлокурая курсистка, которая учила Мишу въ прошломъ году? Такъ какъ я остаюсь въ Ясной, то мнѣ нужна русская учительница для Маши и Андриуши, жить въ Ясной. Не знаетъ ли Гольцевъ гдѣ она и не спросите ли ее, согласна ли она пожить въ Ясной и сколько хочетъ въ мѣсяцъ? Я знаю, что она кончила курсы, а гдѣ, и что она дѣлаетъ — не знаю. Очень бы мнѣ ее хотѣлось: учить хорошо и сама милая. Простите — все вамъ навязываю. Право, еслибы не болѣзнь Льва Николаевича, сама бы пріѣхала и все сдѣлала; а вѣдь его нельзя оставить: и по сердцу нельзя и никто такъ не уходитъ, какъ я. Теперь все.

Сережа спрашивает поѣдете ли вы на хуторъ и когда именно, ему бы хотѣлось это знать навѣрное, по какимъ то его ображеніямъ.

Дальше рукою Льва Николаевича приписка карандашемъ:

1. Le Boudha et sa religion par I. Barthélemy St-Hilaire.
2. The romantic legend of Sakya Buddha by Samuel Beal.

Эти двѣ книги взяты мною въ Румянцевскомъ музеѣ и меня мучить за нихъ совѣсть: не понадобились бы онѣ кому-нибудь. А мнѣ онѣ нужны а потому спросите пожал. спрашивали ли ихъ и есть ли у нихъ другое изданіе. Тогда бы я ихъ подержалъ пока вы купите мнѣ эти 2 книги. Взятая же вами вновь посылаю съ Лелей (Религія востока и Gil Blas.) Спрашивалъ Готье, о 5 вы не ошиблись но безъ нихъ я обойдусь. Данила Агинскаго пришлите. Обо мнѣ физически замъ вѣрно пишетъ жена, духовный же я все такой-же какъ прежде — желающій быть сильнѣе, и недовольный собой и потому совершенно довольный вѣшними условіями. О васъ вспоминаю безпрестанно и всегда съ внутренней улыбкой радости. — Цѣлую милого друга Илью. Хорошо ли ему? Напишу ему другой разъ. Хочется съ нимъ по душѣ говорить. Пускай онъ начнетъ. А не онъ я начну. Работъ въ головѣ растетъ много. И очень опредѣленныя. Все перебираю ихъ и пытаюсь уяснить настоящія ли или нѣтъ — не знаю.

Письмо передано не по почтѣ и написано на лоскуткѣ бумаги.

Вотъ что дорогой другъ! О. пишетъ, что написано въ записочкѣ. Простите голубчикъ что утруждаю васъ. На Софійскѣ (на улицѣ паралельной Кузнецкому мосту) лучшій магазинъ. Купите молотковъ, клещей, шильевъ, форштиковъ, ножей, инструментъ соскробать гвозди и т. п.: но хитрыхъ штукъ для эlegantной обуви не покупайте, колодки купите или тамъ же или въ переулкѣ съ Арбата загнутымъ ходомъ выводящимъ на подновинскъ, въ подвалѣ на право живеть колодникъ. Если останутся деньги купите пряжи, щетинокъ, гвоздей, вару. Эти хорошія вещи нужны. — Отъ Т. вчера получилъ письмо. Онъ съ Ник. Ник. въ азартѣ складываетъ печи и очень кажется болды и добры. Я все лежу и жду у моря погоды, смерти или жизни. А теперешнее состояніе почти не жизнь. Впрочемъ прѣшу

говоря это. И такая полусонъ полужизнь хороша, да еще плохо я научился ею пользоваться.

Обнимаю Васъ и мальчиковъ,

Л. Толстой.

Ясенки 12 мая 1886.

Милый другъ Колючка! Я просилъ жену повидать Сытина и спросить у него отдалъ ли онъ Иванову — молодому человѣку написавшему разсказъ «Паска» деньги за него 30 р. И если Сытинъ не можетъ или не желаетъ то отдать ему изъ своихъ.

С. А. передъ отъѣздомъ не успѣла это сдѣлать. Голубчикъ, пожалуйста сдѣлайте это. Мнѣ это очень важно т: е: поводайте Сытина и спросите его отдалъ ли и дастъ ли онъ деньги Иванову. Если почему нибудь замѣтите что Сытину это неудобно или неприятно, то сами выдайте изъ казенныхъ денегъ Иванову 30 р. — Живетъ Ивановъ въ квартирѣ своего отца въ Бутырскомъ замкѣ (т: е: острогѣ) гдѣ его отецъ состоитъ фельдшеромъ. Я жилъ очень хорошо и особенно одинъ. Теперь начнется совсѣмъ другая жизнь и тоже очень хорошая. У васъ дома, говорятъ, хорошо и вы хороши. Очень радуюсь. Вооружайтесь терпѣнiемъ но и боритесь съ медлительностью для окончанiя дѣла рисунковъ отца.

Любящiй васъ Л. Т.

Потреплите по брюху моихъ мальчиковъ и скажите что мнѣ безъ нихъ скучно. Левино письмо получилъ и одобрилъ. Новоселовъ славный малый и радуюсь что онъ поправился. У насъ все благополучно.

Приписка рукою Софьи Андреевны:

Милый Николай Николаевичъ, пожалуйста заплатите въ Редакцiю Русск. Вѣдомостей за объявленiе, когда у васъ это потребуютъ.

Еще пошлите экземпляръ цѣлый въ 12 частяхъ: на Тверскую, домъ Гражданскаго Губерн. Василию Степановичу Перфильеву. Я съ нимъ ѣхала и онъ присталъ и я обѣшала.

1 iюня 1886.

- 1) Le tao-te-king
- Lao-tze
- St-Julien (одинъ томъ)
- Chinese classics
- Legge (3 тома)

Въ шкапу въ кабинетѣ.

Получилъ ваше письмо милый другъ. Очень былъ радъ ему. Простите что не отвѣчаю подробно. Очень много работаю руками и усталъ. Да и много посѣтителей. Пришлите мнѣ пожалуйста эти книги. Переводите Эпиктета. Очень хорошо. У меня и много работъ предстоитъ писать. Не знаю успѣю ли. *Ars longa, vita brevis. Brevis* но прекрасная. — Сначала б. сотворилъ людей вѣчными. Они все росли — стали глупые, добрые, мягкіе и все росли какъ лопухъ и ничего не дѣлали. Тогда онъ сократилъ ихъ ростъ, сдѣлалъ ихъ старѣющими, смертными, т. е: что они старѣли и умирали, какъ засыпали и опять рожались старыми и умирали и помнили откуда родились и знали поэтому куда опять родятся. Тоже б. не хорошо. Они стали лѣнны — все откладывали — послѣ. Тогда онъ скрылъ отъ нихъ откуда и куда они рожаются. Тогда они подумали что они только и живутъ здѣсь въ продолженіи короткой жизни. И тогда стали очень злы, все хотѣли для себя. Тогда нечего б. дѣлать Богу. Онъ сдѣлалъ какъ теперь — даль людямъ разумнѣе жизни — не въ прошедшемъ и будущемъ, не здѣсь и тамъ, а жизни самой въ себѣ.

6 іюля. Ясенки.

Не знаю адреса Оз. и посылаю вамъ на ихъ имя письмо. Пожалуйста перешлите О—у. Я знаю что онъ живетъ на Пятницкой у Серпух. воротъ въ переулкѣ на противъ типографіи и дома Сытина, (тамъ знаютъ его адресъ). Пожалуйста перешлите скорѣе а то они скоро уѣдутъ. У насъ все идетъ хорошо. С. А. заболѣла, но теперь болѣзнь проходитъ. Ребята все работаютъ хотя и нѣсколько ослабѣваютъ. Настроеніе у всѣхъ хорошее и у меня чего вамъ желаю. Съ радостью подумываю о томъ какъ свидимся вмѣстѣ съ старшимъ.

14 октября 1886.

Милый другъ Количка

Получилъ сейчасъ послѣ отъѣзда Сер. и Ч. письмо прилагаемое отъ Панова. Очень огарчительно что онъ сердится. Ради Бога сходите къ нему — отдайте ему сейчасъ-же деньги и успокойте его. Я ему очень благодаренъ и очень жалѣю что ввелъ его въ неприятность и чувствую что я въ этомъ виноватъ и прошу его меня простить. Обнимаю васъ. Л. Т.

Смотр. на оборотѣ.

Рукою Софьи Андреевны приписано:

А я васъ прошу вотъ о чемъ, Николай Николаевичъ. Если вы не напечатали о прекращеніи подписки въ Новомъ Времени, то напечатайте непременно. Это самая распространенная газета. Отчего вы не прибавили «печатается новое издание н. 8 р. с.». Это была бы реклама и на столько меньше пришлось бы объявлять впредь, и публика ждала бы и караулила выходъ дешеваго изданія. Когда будете имѣть дѣло съ Пановымъ, помните, что ему уже заплачено 400 р. с. Вотъ и все. Прощайте, свѣтлый человекъ *). С. Т.

Проходя однажды во время нашихъ прогулокъ по деревнѣ Грумонту, Левъ Николаевичъ разсказалъ мнѣ, что его предокъ былъ сосланъ въ эту деревню въ царствованіе Екатерины II за то, что уклонялся отъ исполненія своихъ придворныхъ обязанностей. Левъ Николаевичъ относился отрицательно къ Петру I и осуждалъ его дѣятельность.

Левъ Николаевичъ очень хорошо ѣздилъ верхомъ и мы часто совершали прогулки вдвоемъ. Онъ мнѣ иногда давалъ свою лошадь и просилъ съѣздить къ Б., мелкопомѣстному сосѣду, который самъ обрабатывалъ землю со своими сыновьями. Б. хвалилъ новыя сельскохозяйственныя орудія, а Левъ Николаевичъ отвѣчалъ ему, что они развращаютъ народъ. Сельская работа для мужика, говорилъ онъ, представляется условіемъ его жизни, въ то время какъ усовершенствованія ведутъ только къ увеличенію дохода и разрушаютъ какъ его мировоззрѣніе, такъ и его нравственность и онъ становится жуликомъ либо пьяницей.

У Льва Николаевича бывали странности, которыхъ я не могъ себѣ объяснить. Такъ, когда я ѣздилъ къ Б., онъ всегда просилъ меня ѣхать не по дорогѣ, но спуститься по склону, перескочить большую канаву внизу спуска и подняться до Грумонта. Это ему видимо доставляло удовольствіе, почему я и исполнялъ его желаніе. Мнѣ кажется, ему нравилось, что я не похожъ на людей, которые интересовались имъ, не любя его, которые были привлечены лишь его извѣстностью, которую онъ не цѣнилъ, какъ не цѣнилъ и свою литературную славу.

Въ Москвѣ мы иногда уходили гулять въ одиннадцать часовъ вечера или въ полночь и наша прогулка продолжалась часто до часу ночи. Помню, возвращаясь однажды по Хамовниче-

*) Свѣтлый, т. е. не темный, кличка толстовцевъ. — Н. Г.

скому переулку, онъ говорилъ мнѣ: «Жизнь есть ничто иное какъ нравственное усовершенствованіе и нѣтъ никакой причины думать, что это усовершенствованіе будетъ пресѣчено смертью». Въ другой разъ я ему сказала, въ отвѣтъ на осужденіе женщинъ: несмотря на то, что вы говорите, вы уважаете вашихъ дочерей. Онъ внимательно посмотрѣлъ на меня, но ничего не отвѣтилъ.

Подымаясь какъ-то по Пречистинкѣ, мы проходили мимо дома, гдѣ въ подвалѣ ставень былъ плохо притворенъ. Левъ Николаевичъ остановился и долго смотрѣлъ въ щель освѣщенной комнаты. Отходя отъ окна, онъ сказалъ: «какъ интересна настоящая жизнь». Въ немъ былъ и художникъ и ребенокъ.

Однажды онъ меня спросилъ: «что вы думаете о Ч.?» Я отвѣтилъ, что ему пристало гораздо больше забавляться гончими, чѣмъ религіей.

Ч. былъ очень странный человекъ. Когда я съ нимъ познакомился, онъ мнѣ заявилъ, что намѣренъ стать единственнымъ представителемъ Толстого. Онъ пришелъ какъ-то къ Толстымъ вечеромъ очень возбужденный и разсказалъ, что долженъ былъ три раза переходить изъ одного поѣзда въ другой, чтобы сбить съ толку преслѣдовавшихъ его людей.

Въ концѣ 1886 года отецъ мой написалъ мнѣ, прося пріѣхать и помочь ему по хозяйству. Я долженъ былъ уѣхать на Украину вѣсной 1887 года. Съ огорченіемъ я думалъ о разставаніи съ Львомъ Николаевичемъ, который, какъ это видно изъ его письма отъ 12 декабря 1887 г., не одобрялъ моего отъѣзда. Онъ считалъ, что переменна эта не имѣетъ отношенія къ нравственному усилію, которое одно важно въ жизни.

Онъ былъ совершенно правъ; но мое рѣшеніе было продиктовано болѣе скромными мотивами и тѣмъ не менѣе было для меня обязательно. Я одинъ могъ заботиться о своихъ родителяхъ, не могущихъ переимѣнить условій своей жизни и по своему возрасту нести всю тяжесть жизни мелкопомѣстныхъ помещиковъ.

Весной мы рѣшили съ Л. Н. вдвоемъ пойти пѣшкомъ отъ Москвы до Ясной, съ тѣмъ чтобы оттуда я поѣхалъ бы въ Киевъ по желѣзной дорогѣ. Мы отправились апрѣльскимъ утромъ.

Софья Андреевна и дѣвочки сшили намъ мѣшки и проводили насъ до Калужской Заставы. Когда мы разстались и остались одни, Л. Н. сказалъ: «забудемъ все, кромѣ удовольствія

этой прогулки». Онъ былъ радъ, что его никто изъ встрѣчныхъ не знаетъ.

Утро было прелестное. Листья только что распускались на березахъ. Въ глубинѣ овраговъ еще бѣлѣлъ снѣгъ. Но мнѣ было грустно при мысли, что я скоро разстаюсь съ Львомъ Николаевичемъ.

На шоссе мы то и дѣло встрѣчали паломниковъ и крестьянъ: Левъ Николаевичъ завязывалъ съ ними разговоръ. Попадались странники, исходившіе всю Россію и побывавшіе въ Сибири.

Передъ вечеромъ мы искали, гдѣ бы намъ заночевать. Но съ наступленіемъ сумерокъ хозяева не охотно пускали прохожихъ къ себѣ. Такъ, прийдя однажды въ маленькую деревушку послѣ захода солнца, намъ съ трудомъ удалось попасть въ старую лачужку. Намъ впустила старуха. Нишета была страшная: не было даже лавокъ вдоль стѣнъ. Мы попросили старуху пойти занять у сосѣдей самоваръ. Когда онъ зашумѣлъ, кто-то закашлялъ на печи и высунулась голова старика. Мы пригласили его пить чай. Чай развязалъ ему языкъ. Сказалъ, что онъ николаевскій солдатъ. Императора Николая Павловича онъ называлъ Николаемъ Палкинымъ. Онъ долго рассказывалъ намъ приключенія своей жизни и поминалъ тѣлесныя наказанія, которымъ подвергали солдатъ въ его время за всякій пустякъ.

Освѣщенный огаркомъ, Левъ Николаевичъ слушалъ насупившись и шевеля губами. Я пошелъ искать соломы и мы улеглись спать на земляномъ полу. Проснувшись ночью, вѣроятно отъ снѣга, я увидѣлъ, что Левъ Николаевичъ что-то пишетъ.

На утро онъ хотѣлъ возобновить вчерашній разговоръ, но старикъ онѣмѣлъ. Очевидно, онъ боялся, какъ бы чего не вышло. Впослѣдствіи появился рассказъ Льва Николаевича подъ названіемъ: «Николай Палкинъ».

Левъ Николаевичъ привыкъ засыпать очень поздно и потому мы пускались въ путь не рано. Тѣмъ не менѣе онъ прощелъ всѣ 215 верстъ отъ Москвы до Ясной, куда мы прибыли на пятый день задолго до захода солнца.

Это путешествие оставило у меня неизгладимое воспоминаніе. Не думалъ я тогда, что въ послѣдній разъ вижу Л. Н. свободнымъ. Когда я снова навѣстилъ его, онъ уже былъ запутанъ въ сѣть всевозможныхъ интригъ его «послѣдователей», про которыхъ онъ часто говорилъ: «я никого не знаю, кто мнѣ былъ бы столь далекъ, какъ толстовцы».

Приѣхавши домой, я получилъ слѣдующее письмо:

7 мая 1887, Ясенки.

Объщалъ вамъ милый другъ всегда отвѣчать но и безъ объ-
щанія и безъ письма, которое ѣздило за мною изъ М. въ Я
я бы писалъ вамъ только чтобы сказать какъ мнѣ пусто безъ
васъ и какъ я васъ люблю и распросить о вашемъ житьѣ. На-
пишите голубчикъ. Я пробылъ въ Москвѣ ровно недѣлю и вер-
нулся сюда. Сначала былъ одинъ. Потомъ пріѣхалъ Сережа.
Живу не совсѣмъ также. Изрѣдка хожу на работу и очень прі-
ятно. А по утрамъ пишу. Все тоже и все какъ мнѣ думается съ
пользой для дѣла. Нынче особенно б. хорошо. Ч. теперь въ
Москвѣ. Оба жалѣю что не увидимъ. Обнимаю васъ и вашего
отца и всѣхъ вашихъ. Все мечтаю побывать у васъ, можетъ и
приведется. Л. Т.

12 декабря.

Милый другъ Количка! Потребность духовнаго общенія съ
вами съ каждымъ днемъ увеличиваясь стала такъ велика, что
стала чѣмъ-то мѣшающимъ мнѣ. Думаю о чемъ нибудь: «А
Количка?» Вотъ и пишу къ вамъ. Первое пожалуйста напиши-
те милый другъ о себѣ, о своемъ душевномъ состояннн, о сво-
ихъ отношеніяхъ къ семьѣ къ жителямъ вокругъ и къ своимъ
московскимъ и тверскимъ друзьямъ. Во вторыхъ, если захочет-
ся, о томъ что въ головѣ дѣлается и думается — я представьте
себѣ ничего все это время не писалъ кромѣ продолженія и ис-
правленія можетъ быть и порченія (не думаю впрочемъ) сво-
ей книги «О жизни». На дняхъ она выйдетъ. Живу я въ Мо-
сквѣ поминая васъ безъ озлобленія — и тѣни нѣтъ — и въ
хорошія минуты съ радостью сознанія что могу служить Бо-
гу точь въ точь также какъ во всякомъ другомъ мѣстѣ.

Напишите еще гдѣ отецъ, поѣхалъ ли въ Одессу — Еще
вотъ что: Хилковъ живетъ отъ васъ въ двухъ рубляхъ разстоя-
нія по жел. дор. — Станція Новоселки, деревня Павловки. Я
лично все еще не знаю его, но писалъ ему и писалъ про васъ,
что вамъ бы надо свидѣться, чтобы помочь другъ другу. А ему
нужна помощь не на пути истины — этотъ путь одинъ и съ
него сбиться нельзя и онъ не можетъ сбиться, но нужна по-
мощь просто любви, помощь въ сознаннн того что меня любятъ,
жалѣютъ и я не одинъ. А то мы все смотримъ на него какъ
на героя, а забываемъ что онъ человѣкъ — прекрасный, теп-
лый и страдающій человѣкъ, какъ мы всѣ страдали и страда-
емъ, не въ смыслѣ мученія, а въ смыслѣ претерпѣванія (ро-
довъ). Я сдѣлалъ это заключеніе изъ его прекрасныхъ писемъ

къ Дж. Когда увидимся милый дорогой другъ? Я васъ очень люблю. Цѣлуйте всѣхъ вашихъ. Очень любящій васъ,

Л. Толстой.

Приписка рукою Л. Н. на письмѣ отца, отправленномъ изъ Ясной.

(безъ числа) 87.

Очень хорошо намъ живется съ вашимъ отцомъ. Я и такъ очень хорошо провель лѣто, много бодро и весело работаль, а теперь доживаю съ нимъ еще лучше. Меня всегда пугаетъ за васъ вашъ радикализмъ, и теперь тоже. Полегче! Безъ усилія, и безъ спѣха и безъ отдыха. Булыгинъ раза два заходилъ изъ Тулы въ свою деревню и обратно, разсказаль мнѣ свое положеніе, мы съ нимъ посовѣтовались и сблизились и вдругъ пропаль, вѣрно въ Твери. И ему трудно будетъ. Нѣтъ того чловѣка к. бы было легко осуществить правду въ жизни и намъ всегда хочѣтся свалить въ этомъ вину на особенныя обстоятельства, а это вздоръ — трудно потому что только бездѣліе и не жизнь легко, а дѣло жизни должно быть трудно по мѣрѣ нашихъ несовершенствъ. Я почти знаю это. И вамъ желаю.

Цѣлую васъ милый другъ и П. и М. В.

Л. Т.

29 мая 1888.

Спасибо милый другъ за письмо. Я хорошенько не поняль какъ вы устраиваетесь. Помогай вамъ Богъ, съ большимъ, каюсь, волненіемъ буду ждаль результатовъ. Цѣлую милаго друга Н. Н. старшаго. Это не письмо, а заявленіе въ полученіи. Мои всѣ прѣхали и Кузминскіе — полонъ домъ и все хорошо. О Б: еще не слыхаль. Ну прощайте, цѣлую васъ и Анну Петровну если позволить. Таня получила письмо отъ Кати а я завтра посылаю вамъ о жизни. Всѣ васъ всѣхъ любятъ.

Л. Т.

Мой прѣздъ въ родительскій домъ позволиль моему отцу освободиться отъ непосильнаго труда. Поручивъ мнѣ вести хозяйство, самъ онъ снова приняль за свою настоящую профессію. Съ 1887 года до смерти (1894) онъ написалъ «Что есть истина» (Христосъ и Пилать), «Иуду» (Совѣсть), «Выходъ Христа послѣ Тайной вечери въ Гефсиманскій садъ», «Судъ Синедриона», «Голгову» (неоконченную) и «Распятіе», для котора-

го онъ написалъ 18 эскизовъ; кромѣ того онъ написалъ «Милосердіе», но эту картину уничтожилъ. Она изображала нищаго, которому принесла воды напиться дѣвушка.

Я радовался тому, что творчество моего отца опять забило ключемъ.

Съ своей стороны я былъ совершенно счастливъ. Я научился сельскому хозяйству. Я нацѣль среди крестьянъ маленькаго хутора, вблизи котораго мы жили, арендатора, которому отецъ сдалъ имѣніе въ аренду. Отецъ получалъ аккуратно сумму, которую вносилъ въ банкъ, погашая ипотечный долгъ. Изъ имѣнія мы выдѣлили 8 десятинъ, съ которыхъ я получалъ хлѣбъ; мы имѣли свой молочный скотъ, лошадей и всѣ необходимые припасы. Къ концу жизни отца имѣніе было выкуплено.

12 февраля 1890 г.

Началъ длинное письмо — не дописалъ; но не хочется васъ оставлять безъ отвѣта. Спасибо за письмо. Вновь прибывшаго Ивана привѣтствую. Откуда онъ? Зачѣмъ онъ? Куда онъ? и кто онъ? Хорошо тѣмъ, для кого протоплазма составляетъ достаточный отвѣтъ на эти вопросы. Кого же не удовлетворяетъ этотъ отвѣтъ, тѣмъ неизбѣжно надо вѣрить въ то, что есть глубокий смыслъ въ появленіи и жизни Ивана и что смыслъ этотъ мы поймемъ настолько, насколько мы слѣдаемъ все что должно по отношенію къ нему къ Ивану.

Л. Толстой.

18 февраля 1890.

Спасибо, что написали милый другъ Количка. Долго очень ничего не зналъ про васъ и часто думалъ и боялся, а теперь вдругъ со всѣхъ сторонъ: и отецъ разсказалъ письмо къ Ч. онъ мнѣ прислалъ и ваше письмо. Я говорю «боялся». Это не то бояшься а дорожишь очень жизнью какъ въ себѣ такъ и въ другихъ. За незажженую свѣчку не боишься, а за зажженную и не п. ч. огонь ея не настоящій, а п. ч. таково свойство огня, что онъ можетъ потухать и разгораться. Въ вашей перепискѣ съ Ч. я на вашей сторонѣ, если только вы въ разныхъ сторонахъ, чего я не допускаю, на вашей сторонѣ въ томъ, что нельзя достаточно стремиться къ осуществленію въ своей жизни своего сознанія. Чѣмъ больше осуществленіе тѣмъ лучше не только для себя, но и для людей и для Бога. Всякое осуществленіе кромѣ удовлетворенія своей совѣсти, прокладываетъ путь, облегчаетъ его людямъ. Но я увѣренъ что вы согласны и

съ общимъ смысломъ того, что я пишу въ этомъ прилагаемомъ письмѣ одному Воробьеву к. хочеть бросивъ службу на жел. дор. перейти на землю, и узнавъ изъ газетъ что въ Яси. Пол. былъ будто бы балъ, упрекаетъ меня въ этомъ. Въ этомъ письмѣ я хотѣлъ бы прибавить еще то, что касается меня и касается васъ. Меня вотъ что. Нынче ночью меня разбудилъ въ спальнѣ плескъ воды въ тазу. Я окликнулъ жену, думалъ что это она моется. Она же спала. Это была мышь к. попала въ тазъ и билась чтобы выльзть оттуда. Съ мышами уже прежде было такое столкновение к. заставляло задумываться. Поймалась мышь въ мышеловку к. ставилъ не я. Я беру ее вынести и хочу выпустить на дворъ. Жена говоритъ: нѣтъ лучше не трогай — я сама вынесу и велю убить. Я оставляю, зная что мышь убьютъ. Но нынче, когда я лежу и хочу заснуть и слышу какъ бьётся утопая это маленькое существо я увидалъ, что это нельзя и что я дурно дѣлалъ, когда позволялъ убивать мышь, когда могъ спасти ее. Я увидалъ что я это дѣлалъ не для того чтобы не нарушить любовь, а для того чтобы избѣжать себѣ маленькой непріятности. Вотъ это и скверно въ нашемъ положеніи: позволяешь гибнуть не мышамъ, но людямъ потворствуя другихъ избѣгая себѣ непріятности и чѣмъ больше помнишь это тѣмъ лучше. И потому люди живутъ какъ вы дѣлають хорошо не для себя одного, а для другихъ, для меня указывая намъ чего и какъ много чего не хватаетъ въ нашей жизни. Кромѣ же того, главное христіанское ученіе, ученіе истины въ своемъ приложеніи прошло всѣ ступени сознанія и словеснаго выраженія и возбужденія религіознаго чувства: все это дѣлано передѣлано и новаго тутъ сказать и сдѣлать нечего, но оно только начинается требовать настоящаго жизненнаго приложенія, и вотъ тутъ то ученики этого ученія какъ норовистая лошадь съ возомъ у горы, продѣлываютъ всевозможныя штуки и вправо и влѣво и назадъ и на дыбки, только одного не дѣлають, влечь въ хомуть и везти въ гору, одного что только и нужно; исполнить ученіе не смотря на напряженіе труда, нечистоту, вшей, бѣдность, нужду. И потому нельзя дѣлать достаточныхъ усилій и жертвъ, для того чтобы изъ разговоровъ и чувствъ христіанскихъ перейти къ дѣламъ, отъ верченія подъ горой перейти къ первымъ шагамъ въ гору, какъ вы дѣлаете. Это я вижу всей жизнью своей но (теперь говорю о васъ) жертвовать для перехода къ дѣлу отъ разговоровъ можно всѣмъ только не тѣмъ чѣмъ везешь, не гужами. Т. е: не нарушите любви, не сентиментальности, но доброжелательства къ людямъ, любовной связью и людьми — съ мышами даже, —

съ Богомъ. И это въ свободныѣ отъ уилеченій минуты совѣсть указываетъ ясно. — А то я бросилъ все мірское, живу по христіански, а въ душѣ у меня мысль о человѣкѣ к. ненавидитъ меня и отъ ненависти или хотъ только нелюбви к. я страдаю, какъ было бы у меня если бы я бросилъ жену. Но это вы знаете, также какъ и я.

Другое же и главное вотъ что. Барышня пришла ко мнѣ спрашивать какъ ей жить по хорошему. Я ей и говорю: живите какъ вы считаете хорошимъ. А то если я вамъ скажу, то вы будете жить по моей совѣсти, а это не удобно. Надо каждому жить по своей совѣсти, и не выше своей совѣсти не много ниже ея. Жить самое лучшее такъ, чтобы было немножко ниже своей совѣсти и тѣмъ чтобы догонять свою совѣсть въ то время какъ она будетъ впередъ уходить, какъ фонарь к. несешь впередъ себя на палкѣ. Это самое лучшее. Тогда всегда человѣкъ недоволенъ собой не отвѣчаетъ требованіямъ своей совѣсти, кается и идетъ впередъ — живетъ. Жить много ниже своей совѣсти дурно — отчаеваешься догнать ее и замираешь; жить выше ея нехорошо п. ч. можетъ случиться то, что съ Петромъ и пѣтухомъ и что еще хуже, что если не отречешься то дойдешь до своей совѣсти и остановишься. Вотъ этого чтобы не было съ вами милый дорогой другъ. Лишу это не п. ч. замѣчаю это въ васъ, нисколько, а только п. ч. это можетъ быть. Цѣлую васъ, жену и дѣтей.

Я поминая васъ, какъ вы смѣялись, дописалъ комедію и совѣстно. Теперь много работъ хочется кончить да нѣтъ энергіи. Отна жду картину, его очень полюбили. Всѣ васъ любятъ наши.

Л. Т.

22 марта 1890.

Нѣтъ милый другъ Количка вы не правы; не въ томъ что вы говорите, а въ томъ какъ вы говорите. Что хотите, какъ хотите, а одно только нужно Богу, одно нужно людямъ и мнѣ самому это то чтобы во мнѣ было сердце чистое отъ осужденія, презрѣнія, раздраженія насмѣшки — вражды къ людямъ. И чортъ ее побери всю работу если она отдалитъ меня отъ людей сердцемъ а не приблизитъ къ нимъ. Лучше какъ будишь пойти побираться съ рубашкой. Но мнѣ не пишется это вамъ, п. ч. какъ вы мнѣ говорите, такъ я говорю вамъ, вы все это лучше меня знаете. И знаете, что у васъ недоброе чувство къ Ч. а это нехорошо и вамъ больно. Да, надо чтобы была правда это важнѣе всего. И Богъ это знаетъ и поставилъ насъ въ та-

кія условія, что отъ правды не уйдешь. Не уйдешь отъ физическихъ и еще меньше отъ нравственныхъ страданій, не уйдешь отъ смерти. И всѣ мы въ этой правдѣ и Ч. въ ней и нельзя ни про кого сказать онъ во лжи, а сказать что во лжи онъ такъ это все равно что сказать, что человѣкъ въ дермѣ и потому отбросить его. Въ дермѣ онъ такъ тѣмъ больше надо жалѣть и очистить его; любить онъ этого не можетъ такъ какъ и всѣ мы. — Вы пишете: гдѣ двое и трое во имя мое тамъ жизнь только. — нѣтъ жизнь и у того, кто 25 лѣтъ сидитъ въ крѣпости или стоитъ на столбу одинъ. Но это все ни то ни се, а хочу я сказать вамъ главное вотъ что: живи въ этой человѣкъ тотъ к. идетъ впередъ туда гдѣ освѣщено, впереди его двигающійся фонарикъ, и который никогда не доходитъ до конца освѣщенного мѣста, а освѣщенное мѣсто идетъ впередъ его. И это жизнь. И другой нѣтъ; и только при такой жизни нѣтъ смерти п. ч. фонарь освѣщаетъ туда и туда уходишь за нимъ также спокойно какъ и во все продолженіе жизни. — Если же человѣкъ заслонитъ фонарь, или станеть имъ освѣщать вокругъ себя или назадъ, а не впередъ и перестанеть идти, то будетъ остановка жизни. — Ну вотъ, простите другъ — примите съ той любовью съ к. я пишу, — я боюсь, что достигнувъ того, что вамъ такъ долго показывалъ фонарь вы перестали его нести передъ собой, помилуй Богъ. — Въдъ это вѣчный обманъ: намъ все хочется, также какъ хочется сдѣлать что-то, виѣшнее дѣло совершить, также хочется найти наилучшее положеніе и стать въ него; а также какъ совершить нельзя да и не нужно никакого дѣла, а нужно только свои силы прилагать намъ лучшимъ образомъ къ вѣчному божьему дѣлу, также и положенія ни лучшаго ни худшаго никакого не можетъ быть а всякое положеніе есть только извѣстное въ извѣстное время послѣдствіе моего отношенія къ божьему дѣлу и положенія нѣтъ и не можетъ быть одного постоянного а оно также и ваше положеніе теперешнее есть одинъ моментъ ни болѣе ни менѣе законный чѣмъ тотъ когда вы жили въ Твери и непремѣнно смѣнитса другимъ положеніемъ. Смотрите, голубчикъ, не сердитесь и не выпалите въ меня, какъ въ Ч.

А наоборотъ съ Ч. поладьте. А то больно. Цѣлую васъ. Л. Толстой.

Слышалъ что «Что есть истина» сняли съ выставки. Правда ли? Я порадовался. Признакъ значенія. А мира не можетъ быть между Хр. и міромъ. Цѣлуйте отца, мать, жену, дѣтей. На дняхъ б. Ф. изъ общины ізнах. Всѣ очень хорошо живутъ.

Я писалъ вамъ въ дурномъ слабомъ состояннн духа и потому и что написалъ то неясно и не досказалъ главнаго къ чему вель, Вель я къ тому, что для того чтобы жить надо непремѣнно идти впередъ въ такомъ дѣлѣ к. нѣтъ конца и въ совершеннн кот. нѣтъ помѣхи. И такое дѣло есть только одно: совершенство въ любви. Работа же, извѣстное положенне есть только въ и з в ѣ с т н о м ъ с л у ч а ѣ послѣдствн любви. Работа и извѣстное низкое экономическое положенне есть послѣдствн и потому провѣрка истинной любви. Отсутствн работы и высокое обезпеченное экономическое положенне обличаютъ неискренность и неправдивость и слабость человѣка, и потому имѣютъ значенн отрицательное. Но положительнаго не имѣетъ никакого значенн *Iatreia* (латрея) — идолопоклонство, *ergolatreia* будетъ идолопоклонство работы. Опасное дѣло. И самое обычное. Молитва слѣдствн стремленн обращенн къ Богу самое законное дѣйствн, ставится цѣлью и является богослуженн убивающее нравствен. жизнь; милосердн помощь ближнему какъ слѣдствн любви къ Богу самое законное дѣйствн ставится цѣлью и является филантропн. Бѣдность нищета, отсутствн собственности какъ послѣдствн непротнвленн насилнмъ и отреченн отъ обезпеченн самое законное состоянн ставится условнемъ цѣлью и является формальная бѣдность буднстовъ монаховъ. Тоже и съ работой. Если она послѣдствн отреченн отъ обезпеченности и желанн служить другимъ ставится цѣлью — она непремѣнно приведетъ къ заблужденн. Главное же главное душа въ душу. Говорю вамъ милый другъ: единственная цѣль безконечная, радостная всегда достнжимая и достойная силъ данныхъ намъ это увеличенн любви. Увеличенн же любви достнгается однимъ опредѣленнымъ усилнемъ: очищеннемъ своей души отъ всего личнаго похотливаго враждебнаго. Душа человѣка хрнстіанка, т: е: ей не только свойственно, но сущность ея есть любовь и потому чтобы усилнть, увеличнтъ любовь надо только очищать шлифовать ее, какъ стекло собирающее лучи. На сколько будетъ шлифованнѣ и чище на столько будетъ сильнѣе пропускать и изливать свѣтъ и тепло любви. И этому дѣлу нѣтъ конца, нѣтъ препятствн, нѣтъ предѣловъ радости и нѣтъ ничего добраго, того, что долженъ человѣкъ дѣлать чтобы не всходило частью въ это дѣло, т: е: въ дѣло очищенн души и вслѣдствнн того увеличенн любви. Вы это знаете, милый другъ, знаете эту радость п. ч. шли по этому пути и теперъ вѣроятно идѣте въ глубннѣ своего сознанн. — Я же чѣмъ ближе подхожу къ плотской смерти тѣмъ яснѣе это вижу и познаю не однимъ созерцательнымъ, но дѣятельнымъ

опытнымъ путемъ: учусь нетолько къ присутствующимъ живымъ людямъ, но къ отсутствующимъ, къ животнымъ, къ умершимъ подавлять въ себѣ всякій оттънокъ презрѣнія, насмѣшки, раздражительности нетолько враждебности и удивительно, по мѣрѣ достиженія получалась и награда въ ясности мысли, жизнерадостности, плодотворности и спорости работы. Въ этомъ дѣлѣ, вы вѣрно знаете это, нелюбовь къ одному человѣку парализуетъ силы жизни точно также какъ бы нелюбовь ненависть къ всему роду человѣческому. Стекло замузнится и не пропускаетъ свѣта отъ одной капли грязи также какъ и отъ бочки. Пишите пожалуйста.

Эти письма мнѣ были очень тягостны. Я видѣлъ, что Левъ Николаевичъ не понималъ, зачѣмъ я поѣхалъ къ отцу и предполагалъ, что я поѣхалъ, подобно другимъ, на выдуманную сельскую работу, и притомъ представлялъ себѣ эту работу очень тягостной и изнурительной.

Я же думалъ, что доброта внутренне присуща человѣку, что она увеличиваетъ при сотрудничествѣ съ другими, но не отъ разсужденій, которыя могутъ ее только извратить, придавъ ей характеръ личнаго, эгоистическаго самоудовлетворенія. Причѣмъ Левъ Николаевичъ ставилъ меня въ необходимость считаться съ людьми, съ которыми мнѣ не было никакой охоты связываться.

Здѣсь не мѣсто входить въ изложеніе причинъ сближенія съ Львомъ Николаевичемъ. Они были очень важны для меня и не имѣли ничего общаго со средой, которая его окружала.

12 апрѣля 1890.

Колечка, милый другъ. Какъ же это можетъ быть чтобъ я васъ не любилъ. Во первыхъ я васъ люблю какъ не ведитъ любить Хр. любящихъ насъ и просто пріятныхъ намъ, а вовторыхъ люблю за то что вы сотрудникъ сотоварищъ единомышленникъ — и за это не хорошо любить, а въ третьихъ, главное люблю для Бога для себя, чѣмъ ближе подхожу къ концу этой жизни — и я чувствую совѣмъ его близость — тѣмъ больше и больше выдѣляется для меня изъ всего, что я думалъ и чувствовалъ изъ всего что я исповѣдую одно не только главное, но единственное въ чемъ только можно жить и чѣмъ я живу теперь каждый день по многу и многу разъ я молюсь такъ: отецъ мой на небѣ, свято для меня одно въ мірѣ твое имя (т. е. сущность твоя — сущность — любовь). Ищу желаю одного,

чтобы пришло, установилось царство твое, царство любви. (Какой) Такой чтобы какъ на небѣ солнце со звѣздами ходить заходить безъ столкновения, борьбы такъ бы и здѣсь въ нашихъ человѣческихъ дѣлахъ все бы совершалось съ помощью любви; дай мнѣ жизни, жить въ томъ чтобы участвовать въ этомъ установленіи твоего царства любви сейчасъ теперь. (И сдѣлай такъ (или я желаю чтобы б. такъ) чтобы мои ошибки противъ любви (другихъ нѣтъ) сдѣланныя мною прежде не мѣшали мнѣ въ этомъ, въ жизни теперь. Я же ошибки противъ любви другихъ людей всѣ изгоняю изъ своей памяти и сознания. И избавь меня (или боюсь же я) одного это такихъ тяжелыхъ положеній, раздраженій, заблужденій, болѣзни, при которыхъ нельзя или трудно участвовать въ дѣлѣ любви. Отъ этого избавь; но пуше всего отъ злости — не любви во мнѣ самомъ, въ моемъ сердцѣ. Такъ я молюсь разумѣется всякій разъ разными условиями жизни освящая молитву и такъ стараюсь жить. И достигаю многого сравнительно съ прежнимъ. Учусь не осуждать, сейчасъ же перенестись въ него, не сердиться на животныхъ, на отсутствующихъ воображаемыхъ, не смѣяться, учусь главное тому чтобы не желать себѣ ничего если можно затѣмъ чтобы очистить то мѣсто к. должно наполниться любовью. И достигаю многого сравнительно. И съ женой и съ Серреей и съ журналистами и кореспд. пьяными. Учѣмъ ближе къ смерти тѣмъ яснѣ вижу что это одно и одно дѣло нашей жизни к. надо не переставая ставить выше всего. И дѣло огромное безконечно. Оно включаетъ въ себя все и само въ себѣ носить доказательство истинности. Ну такъ вотъ какъ же я могу не любить васъ и, простите вникать въ ваши разсужденія о воджахъ. Знаю что вы не волкъ и Ч. не волкъ, а всѣ мы слабы заблуждающіеся, текучіе какъ рѣка, гдѣ глубокіе и чистые, гдѣ мелкіе и мутные. То, что вы говорите о томъ что въ нашемъ положеніи наше дѣло есть первое отреченіе отъ богатства — правда. И непременно надо помогать другъ другу отличая о себѣ. Я знаю, что я люблю иду въ этомъ смыслѣ отличенія, люблю за него. И васъ прошу сказать мнѣ какъ вы думаете мнѣ бы въ этомъ отношеніи надо поступить. Не бойтесь ошибиться, скажите какъ думаете. Вы въ этомъ отношеніи видите ясно много такого чего я не вижу.

4 июля 1890.

Получилъ ваше письмо, милый другъ, и очень былъ радъ ему. И все понялъ и замѣтилъ то что вы — (если пишу это то

пишу обдумавъ и съ той мыслию что любя другъ друга, мы обязаны говорить правду, ту о кот. прошу всѣхъ и васъ для себя) многое объясняете себѣ такъ (къ чему мы всѣ всегда склонны) чтобы то положеніе въ кот. вы находитесь представлялось тѣмъ самымъ какое и должно быть. — Будьте въ этомъ строги и внимательны къ себѣ. — Повторяю то что я кажется писалъ вамъ, но что для меня все уясняетъ по отношенію и экономическаго участія въ трудѣ, положенія каждаго человѣка и брачнаго и всякихъ другихъ, а именно: есть жизнь злая, мірская и ученіе оправдывающее эту жизнь. Есть въ сознаніи нашемъ жизнь святая божеская и ученіе опредѣляющее эту жизнь. Всѣ люди живутъ жизнью мірскою, злою и среди ея. Но одни не знаютъ, не видятъ, не вѣрятъ въ святую божескую жизнь и исповѣдуютъ ученіе мірское и не хотятъ измѣнять своей жизни; другіе знаютъ и вѣрятъ въ святую жизнь и въ ея ученіе и ненавидятъ и жизнь и ученіе мірское. — Эти послѣдніе (я про нихъ только и говорю) для спасенія себя отъ мірскаго зла и причастія къ святой жизни дѣлаютъ самыя безконечно разнообразныя дѣла, сообразно съ своимъ характеромъ, прошедшимъ и условіями въ которыхъ ихъ застаютъ сознание мерзости мірской и блага святой жизни. И вотъ эти то дѣла начиная отъ стойнія на столбу и поселенія епископа Даміана на островѣ съ прокаженными до общины Алехиныхъ и отъ семейной жизни удовлетвореніемъ потребности потушающей похоть до борьбы аскетической, впадающей не только въ оглядываніе женщинъ но и въ онанизмъ, всѣ хороши, если имѣютъ истинномъ стремленіе отъ сатаны къ Богу. Цѣну ихъ знаетъ только Богъ п. ч. объ стороны паралелограмма длинна ихъ — стороны выражающей необходимость матеріальную, характеръ условій и стремленія къ Богу извѣстны только самому и Богу, что одно и тоже. Такого же положенія въ к. все будетъ хорошо и легко и просто какъ вамъ кажется — такого нѣтъ. И тотъ кто экономически весь живетъ чужими трудами, какъ вы положимъ жили въ Твери и въ Москвѣ и к. соблазняется на женщинъ и мучается и борется и тотъ к. живетъ какъ вы или какъ Алехинъ или какъ Ч. и еще миліоны и миліоны разныхъ положеній — всѣ равны. Неравенство только передъ людьми.

Человѣкъ борется напряженно съ своими страстями съ прошедшими со средой и измученный говоритъ себѣ: вотъ теперь я кончу, вотъ положеніе въ к. я вступлю и отдохну. (Такъ вы думаете, что живя кормясь и плодясь какъ животное оставаясь разумнымъ, вы достигнете отдыха). Но это обманъ чувствъ к.

не надо предаваться. Борьба — это самая жизнь — она только жизнь. Отдыха нѣтъ никакого. Идеаль всегда впереди и никогда я не спокоенъ пока не то что не достигну а не двинусь къ нему. Хотя бы идеаль безбрачія. Не насыщеніе физическаго чувства успокоивъ на время похоть удовлетвореніемъ меня, какъ накормленіе всѣхъ голодныхъ вокругъ меня не удовлетворяетъ меня въ экономическомъ отношеніи. Удовлетворить васъ только ясное созерцаніе идеала во всей его высотѣ, такое же ясное созерцаніе своей слабости во всей отдаленности отъ идеала и стараніе приблизиться къ идеалу. Удовлетворить только это а не поставленіе себя въ такое положеніе въ к. я прищурившись могу не видать различіе своего положенія отъ требованія идеала.

23 января 1891.

Хилковъ пишетъ мнѣ и жалуется на васъ, дорогой другъ Количка за то, что вы не заѣхали къ нему. Я отвѣчалъ ему и утѣшалъ его.

Хилковъ огорченъ что вы не заѣхали п. ч. онъ особенно дорожить общеніемъ и объ этомъ пишетъ. Предлагаетъ что то въ родѣ сѣздовъ. Я отвѣчалъ ему какъ я понимаю: прежде я бы еще колебался, а теперь для меня это ясно и несомнѣнно. Всякое оглядываніе назадъ есть остановка и отклоненіе. Какъ въ сказкахъ, чтобъ достать желтую воду и поющее дерево, надо идти и главное не оглядываться. И какая страшная непреодолимая сила каждаго изъ насъ (всѣхъ людей) могла бы, да и можетъ быть, если бы мы совсѣмъ, совсѣмъ не думали ни о себѣ ни о сужденіяхъ людскихъ, а дѣлали бы только для Бога и боговскимъ орудіемъ, любовью. А чтобы достичь этого одно изъ условій не оглядываться и впередъ не смотрѣть. — Послѣ васъ былъ Клобскій. И представьте онъ сталъ очень, очень хорошъ. Я былъ очень радъ его видѣть и особенно такимъ. Мы живемъ по старому. Я понемногу подвигаюсь и въ работѣ, хотѣлъ сказать и въ жизни, да не могу.

Что картина? Я уже боюсь, что сказалъ. Я знаю какъ въ тѣ времена когда лишь бываешь чувствителенъ ко всякимъ намекамъ. Что картина старая? Г. С. и Ч. меня навели опять на писаніе объ искусствѣ, да не объ искусствѣ одномъ, а о наукѣ и искусствѣ. И немного подвигаюсь. Не запутался еще, очень бы хотѣлось сказать.

Вы не думаете, что я спрашиваю о картинахъ, а о ягнятахъ забылъ и имъ не сочувствую. Очень сочувствую и ягнятамъ и

телятамъ и курамъ и всей этой дорогой жизни. Ну прощайте другъ не забывайте.

Пишите съ отцомъ хоть по словечку. Цѣлуйте отца, кланяйтесь женѣ, матери Г. С. З. Цѣлуйте дѣтей. Наши всѣ васъ всегда любятъ очень. Лева въ Москвѣ и писалъ оттуда хорошее письмо. Э. привѣтствую и К.

Л. Толстой.

30 января 1891.

Спасибо за письмо. Посылаю назадъ Хилковское. Я ему длинно и отъ души, не знаю удастся ли отвѣтить на то, что онъ спрашиваетъ. Меня очень радуетъ ваше письмо.

Есть эта одна линия, этотъ единый путь на кот. на одномъ получается успокоеніе и увѣренность; но трудно удержаться на немъ. Уже только бы знать когда на этомъ пути и когда соскакиваешь съ него. Для меня это такое ясное опредѣленное внутреннее ощущеніе, когда я хоть на короткое время попаду на путь. Радостно твердо спокойно и главное дружелюбность къ людямъ. Вы вѣрно знаете тоже. Спасибо за рисунокъ картины. Мнѣ очень нравится. Но разумѣется все дѣло въ осуществленіи лица, фигуры.

Жена уѣхала въ Москву и Таня — бѣдная неспокойная поѣхала слушать какую-то пѣвицу. Мы одни съ Машей — темные. Вчера было радостное какъ всегда письмо отъ Мар. Алекс. Къ нимъ прибылъ старикъ татаринъ. Онъ имъ работаетъ, онъ его обшиваютъ, обмываютъ и кормятъ. Вотъ христіанскія робинзонки. И Пятницу имъ Богъ послалъ. Хилковъ говорить — форму. Да какже мы, вы увидите и опредѣлите свою форму. Вотъ проживемъ жизнь, поремъ и добрые люди увидятъ, если захотятъ форму нашей жизни.

Поѣдете къ Хилкову?

Хорошо бы. Ему нужно. Вѣдь это такъ кажется, что онъ твердъ, а ему нужно какъ и всѣмъ намъ поддержка. Вчера Мэр. Алекс. прислала письмо къ ней Дунаева. Какъ вы говорите что мое письмо вамъ пригодилось — такъ Дунаевское письмо помогло мнѣ. Просить искать поддержку внѣ себя — не надо п. ч. нельзя, не зная, что она есть испытатъ ея дѣйствіе нельзя отказывать въ ней. Онъ зоветъ. Если есть деньги поѣзжайте. Цѣлуйте и кланяйтесь всѣмъ вашимъ. Письмо отца получилъ. Всѣ радуемся увидѣть Анну Петровну.

Ну пока прощайте. Л. Т.

Ник. Ник. (старшему).

Радуюсь всей душой на вашу работу, дорогой друг, не торопитесь. Забудьте выставку — нехорошо приписывать важность своим работам, но бѣда и пренебрегать ими. Да вы все это лучше меня знаете. Я по Количк. рисунку понялъ живописность картины. И онъ отлично пишетъ, что хорошо тѣмъ, что Иуду жалко. Это главное. Если это достигнуто, то это все. Это надо чтобы было. Что это Р. себя бранить. Его письмо ставить настоящий вопросъ. И отвѣта на него настоящего еще нѣтъ, я только пытаюсь это сдѣлать. — Ну пока прощайте. Обнимаю васъ. Л. Т.

22 февр. 1891.

Спасибо за письмо милый другъ Количка. Картина понравилась намъ, но, разумеется не такъ какъ послѣдняя. Какъ хотите — всегда у меня при видѣ такихъ большихъ картинъ — неудовлетвореніе: больше отъ меня требуется того что я могу дать. Если бы это была гравюра, маленькое, а то это что то большое, а впечатлѣніе маленькое. Я впрочемъ на живопись тупъ. Какъ вы? Я былъ очень радъ видѣть А. П. но поразительно то военное положеніе въ к. она находится всегда относительно отца. Многое я узналъ изъ того, что я знаю. Разумѣется виноваты мы. Мушина можетъ понять хотя самъ не рожать, что и носить и рожать и тяжело и больно и что это дѣло важное. Но женщина рѣдкая, да едва ли какая-нибудь можетъ понять что носить и рожать духовно новое жизнепониманіе и тяжело и дѣло важное. Онѣ поймутъ это на минуту но сейчасъ же забываютъ. И какъ только на сцену выступаютъ заботы ихнія, хоть хозяйство, наряды такъ онѣ не могутъ уже помнить о реальности убѣжденій мужчинъ. И все это кажется или выдумками не реальными въ сравненіи съ пирогами и ситчиками. Проводили ихъ третьяго дня на Козловку. Всѣ ѣздили и С. А. А Таня уѣхала въ Москву. Лева заболѣлъ и она къ нему поѣхала. У меня теперь И. И. Г., знаете ли вы его? Очень хороший, умный и серьезный. Вчера получилъ и сейчасъ отвѣчалъ въ Америку члену одному «рыцарей труда» (есть такое общество въ Америкѣ противъ земельной собственности и за организацию труда) съ вопросами и выраженіями сочувствія книгѣ Бондарева, кот. съ французскаго переведена на англійскій и нравится имъ. Спрашиваетъ правда ли что онъ мужикъ или только сынъ мужика. И не мифъ ли онъ?

Съ Хилковымъ мы договорились до согласія и такъ хорошо.

Вѣроятно и вы договорились. А въ особенности коли съѣздите къ нему, что ему кажется очень хочется.

Я все плохо работаю. Стараюсь замѣщать это тѣмъ, чтобы добрымъ хоть быть. Ну пока прощайте. Поклонъ Г., П., Р., Э. и К.

Л. Т.

Отъ Черткова получилъ письмо. Онъ ужасно радъ вашему письму. Цѣлую васъ милый другъ и всѣ наши любягъ. Пишите.

17 апр. 1891.

Очень обрадовался милый другъ Количка вашему письму и его содержанию, что вамъ нужно и хочется меня чувствовать, какъ мнѣ васъ. Не говорите милый другъ, что вамъ не хорошо (вы правда не говорите этого но говорите, что не хорошо живете) я объ васъ часто думаю и всегда съ той особенной завистью к-ой завидуешь людямъ к-ыхъ любить. Завидую я вашей суровой рабочей близкой къ природѣ законной жизни. Цѣните ее. Моя ненормальная роскошная гадкая жизнь — не подправляется теперь работой въ полѣ, къ которой не рѣшаюсь приступить всегда тяготить и мучаетъ: одно спасеніе когда пишется и вѣришь что это важно и нужно людямъ, а это бываетъ рѣдко. Вы мнѣ разъ давно сказали, что бываетъ такъ, что къ чему стремишься чего желаешь получается такъ что и не замѣтишь что получилъ. Оглянешься, вспомнишь: «Ахъ да, да у меня то самое о чемъ я мечталъ какъ о великомъ счастьи». Это очень правда, и я это много разъ испытывалъ и вы должны испытывать. Счастье, добро, благо, незамѣтно какъ чистый воздухъ. Старикъ вашъ зажился и я боюсь попортился немножко, наша порода художниковъ очень падка на тщеславіе. Я все ему это расскажу когда увижу. Жена была въ П-бургѣ и видѣла его. Онъ на отъѣздѣ и ждалъ только возвращенія Ильина. Я живу не скажу хорошо, но и не дурно. Пишу съ большимъ усиленіемъ, но очень медленно подвигаюсь: не знаю предметъ ли важень, требованія ли отъ себя велики или ослабли силы, но очень медленно работаю. За то терпѣнія, упорства много. По 20 разъ передѣлываю. Теперь всѣ собрались дѣти. Илья все хозяйничаетъ и живетъ распушено и денежные столкновения съ матерью, и рѣшили всѣ дѣлить имѣніе. Илья радъ, остальные спокойно равнодушны, Маша озабочена тѣмъ какъ бы отказаться такъ, чтобы ея часть не была ея. Я долженъ буду подписать бумагу — дарственную к-ая меня избавитъ отъ

собственности, но подписка к-ой будет отступленіемъ отъ принципа. И я всетаки подпишу п. ч. не поступивъ такъ я бы вызвалъ зло. — Получаю хорошія письма между прочимъ отъ Р., отъ Ф. Всѣ переступили ту первую ступень на которую вступали сначала и идутъ дальше и это радостно. —

Пишу нехорошимъ почеркомъ п. ч. пріѣхалъ изъ Ясенокъ и руки озябли, а не хорошо по содержанію п. ч. не совсѣмъ хорошо настроенъ, но хочется поскорѣе написать. Прощайте пока милый другъ. Непремѣнно напишу еще, когда придутъ хорошія нужныя намъ мысли, а съ отцомъ, Богъ дастъ, пришлю статьи и книги и письмо. Вы я чай отсѣялись и нѣтъ большого спѣха въ работѣ. Женѣ кланяйтесь, Р. З. Цѣлую васъ. Наши всѣ кланяются и нѣжно любятъ.

Л. Толстой.

Н. Ге.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Изъ пережитого

Печатаемые ниже воспоминанія княжны Ольги Николаевны Трубецкой представляютъ собою часть обширной работы автора, посвященной жизни ея брата, князя Сергѣя Николаевича Трубецкого (1862-1905), известнаго философа, профессора Московскаго университета, либеральнаго дѣятеля, игравшаго выдающуюся роль въ общественномъ движеніи начала девятисотыхъ годовъ. Отрывокъ, помѣщаемый здѣсь (съ большими, по необходимости, сокращеніями), относится къ послѣднему году жизни С. Н. Трубецкого, году, вознесшему его на вершину общероссійскаго признанія и такъ трагически оборвавшемуся безвременной кончиной (онъ умеръ 29 сентября 1905 г., со-всѣмъ молодымъ, всего 43 лѣтъ отъ роду).

Именно въ эти послѣдніе передъ смертью страдальныя мѣсяцы, на служеніи Россіи, раскрылась во всемъ обаяніи духовной красоты своей образная личность С. Н. Трубецкого. Вся предшествовавшая жизнь была какъ бы подготовленіемъ къ этому служенію, въ которомъ было суждено ему исполнить себя. Напомнимъ въ краткихъ чертахъ исторію его недолгой жизни.

Князь С. Н. родился въ 1862 г. въ Ахтыркѣ, фамильной подмосковной Трубецкихъ, въ просвѣщенной аристократической семьѣ. Глубокое вліяніе на образованіе характера С. Н. въ дѣтствѣ оказала его мать, женщина замѣчательная по уму, образованію и высокому моральному строю души. «Мы выросли въ понятіяхъ равенства всѣхъ людей передъ Богомъ», вспоминаетъ кн. Евг. Николаевичъ Трубецкой, братъ С. Н., — «человѣческая душа какъ таковая была предметомъ вниманія, независимо отъ рода и званія». Гармонической семейной атмосферѣ въ дѣтствѣ обязанъ С. Н. многими привлекательными свойствами его личности: душевной ясностью, вѣрой въ побѣждающую силу добра надъ зломъ, благороднымъ довѣріемъ къ людямъ, отзывчивостью къ чужому страданію. Здѣсь же, въ традиціяхъ семьи и воспоминаніяхъ дѣтства, коренился источникъ и глубокой религіозности, проникавшей все міросозерцаніе С. Н. Трубецкого. Недаромъ Ахтырка находилась въ непосредственной близости отъ народной православной святыни, Троицко-Сергіевской лавры. Завѣтъ св. Сергія Радонежскаго — «все для любви, которая собираетъ», явился, по свидѣтельству кн. Е. Н. Трубецкого, точкой опоры для всего творчества его брата.

До наступленія критической эпохи 1901-1905 гг. жизнь С. Н. Трубецкого не богата внѣшними событіями. По окончаніи гимназіи въ Ка-

лугъ, рѣшивъ посвятить себя философiи, онъ поступаетъ въ 1881 г. въ Московскій университетъ по историко-филологическому факультету. Оставленный при университетѣ, въ 1885 г. начинаетъ читать лекціи по исторiи философiи. Магистерская диссертация на тему «Метафизика въ древней Греціи» (1890 г.) и особенно докторская работа «Ученіе о Логосѣ» (1900 г.) выдвигаютъ его въ русской философской литературѣ какъ глубокаго мыслителя и оригинальнаго историческаго изслѣдователя. Здѣсь не мѣсто излагать философскія воззрѣнія С. Н. Трубецкого. Его религіозно-философская система близка по духу ученію Вл. Соловьева, съ которымъ связывала его и многолѣтняя личная дружба. Въ рѣдкомъ соотвѣтствіи теоретическое міросозерцаніе С. Н. Трубецкого находилось съ природнымъ душевнымъ складомъ его личности: «въ душѣ его жила гармонія, и онъ видѣлъ не-



С. Н. Трубецкой и Вл. Соловьевъ

Воспроизводится впервые

(Въ концѣ 90-хъ годовъ, въ Меньшовѣ, имѣніи Трубецкихъ).

сокрушимую Божественную гармонию во всемъ живущемъ», писалъ про него Л. М. Лопатинъ. Общей у него съ Вл. Соловьевымъ чертой была также исключительная цѣльность натуры: «между мыслию и дѣятельностью у нихъ не было никакого разрыва: они жили какъ върилл, а въра ихъ была высокая и вдохновляющая» (Лопатинъ).

Философія была, конечно, истиннымъ призваніемъ кн. С. Н. Трубецкого. Но свободно и полностью отдаться только философіи ему суждено было всего какихъ-нибудь десять лѣтъ (1889-1899 гг.). Сдѣланное за эти годы явилось лишь многообещающимъ введеніемъ къ тому, что хотѣлъ, могъ, но такъ и не успѣлъ дать С. Н. Трубецкой русской философіи. Иной, высшей, повелительный долгъ уводитъ его изъ міра отвлеченной мысли — къ реальной мятущейся жизни.

Приближается роковой 1905 годъ, въ Россіи назрѣваетъ революція — къ ней толкаютъ народныя массы сама власть, упорно закрывающая передъ страной пути мирнаго развитія. Вспыхиваютъ рабочія забастовки, аграрные беспорядки. Безсмысленно навязанная Россіи война съ Японіей окончательно обнаруживаетъ всю гнилость режима. Университетъ не можетъ остаться въ сторонѣ отъ народнаго движенія. Студенческія волненія приобретаютъ революціонный характеръ.

С. Н. Трубецкой — убѣжденный противникъ внесенія политики въ университетъ. Правда, онъ ясно видитъ, что только немедленныя и радикальныя реформы государственнаго строя могутъ помочь Россіи справиться съ вѣншимъ врагомъ и предотвратить революцію, которую онъ считаетъ величайшимъ бѣдствіемъ для русскаго народа. Но бороться за нихъ надо внѣ университетскихъ стѣнъ. С. Н. Трубецкой переноситъ свою дѣятельность на болѣе широкую общественную арену, примыкая къ умѣренному либеральному крылу освободительнаго движенія. Въ 1904 году онъ сблизается съ земцами-конституціоналистами и принимаетъ дѣятельное участіе въ кампаніи за осуществленіе гражданскихъ свободъ и народнаго представительства. Одновременно онъ пытается воздействовать на власть черезъ печать, — его статьи въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» и въ основанной имъ «Московской Недѣлѣ» свидѣтельствуютъ о блестящемъ публицистическомъ дарованіи. Не оставляетъ онъ и борьбы за университетскую свободу: исключительно благодаря его энергіи и личному влиянію русскіе университеты получили въ августѣ 1905 г. автономію. С. Н. Трубецкой становится первымъ выборнымъ ректоромъ Московскаго университета. Но кульминаціоннымъ пунктомъ общественной дѣятельности С. Н. Трубецкого въ эти годы безспорно явилась его знаменитая рѣчь, обращенная къ императору Николаю II на приемѣ земско-городской делегаціи. Въ патетическомъ обращеніи къ монарху прозвучала все тогъ же характерный для Трубецкого призывъ къ «внутреннему миру, объединенію, а не раздѣленію частей цѣлаго», къ «уравненію всѣхъ русскихъ граждан... чтобы не было безправныхъ и обездоленныхъ». Вызвавшая необычайный откликъ во всей странѣ, эта рѣчь явилась какъ бы политическимъ завѣщаніемъ кн. С. Н. Трубецкого. Смерть уже сторожила его... Тяжелая болѣзнь, которую все

«некогда» было лечить в горячке напряженной работы, нравственные муки от растущаго сознания тшеты всёхъ усилій предотвратить надвигающуюся катастрофу, ускорили развязку. Она наступила в сентябрь 1905 г., в Петербургъ, куда, перевозимая болъзнь, С. Н. поѣхалъ хлопотать все о томъ же дорогомъ его сердцу Московскомъ университетѣ.

Печатью глубокаго трагизма отмѣчена судьба кн. С. Н. Трубецкаго. Мыслитель, философъ, ученый, онъ въ тяжелые для Россіи годы не колеблясь пожертвовалъ и призваніемъ и самой жизнью — ради служенія своему народу. Но на этомъ пути его ждали одни горестныя разочарованія. Иллюзіей оказалась возможность для разумной воли измѣнить роковое теченіе событий. Сокрушительный ударъ былъ нанесенъ его свѣтлой вѣрѣ въ перевозмогающую силу добрыхъ нравственныхъ началъ въ человѣкѣ надъ темными стихіями раздѣленія и ненависти.

По всему душевному складу своему князь С. Н. не могъ примкнуть цѣлкомъ ни къ одному изъ двухъ враждебныхъ становъ, на которые въ девятисотъ пятимъ году распалась Россія. Убѣжденный монархистъ, онъ тѣмъ не менѣе ясно сознавалъ все зло выродившагося абсолютизма. Свободолюбивый, искренне сочувствующій всёмъ угнетеннымъ и обездоленнымъ, онъ однако питалъ отвращеніе къ свѣтлой иррациональной стихіи революціи. Ему, вѣрующему въ Божественную, гармоническую основу міра, въ конечное торжество закона любви и солидарности въ человѣческихъ отношеніяхъ, органически былъ чуждъ и неприемлемъ путь крови и насилія. Съ огромной силой нравственнаго воодушевленія онъ пытался выступить въ роли посредника, во имя блага Россіи, между упорствующимъ самовластіемъ и пришедшей въ грозное движеніе народной стихіей. Но въ ожесточеніи разгорающейся борьбы призывъ къ всеобщему примиренію остался не услышанъ тѣми, кто въ 1905 году уже стоялъ по двѣ стороны баррикады.

Искренняго примиренія съ народомъ и обществомъ не хотѣла несомнѣнно власть, отъ которой одной зависѣло избавить Россію отъ революціонныхъ потрясеній. Даже кн. С. Н. Трубецкой съ его крайне умѣренной, «антирадикальной» программой, мечтавшій о созданіи всего лишь правительственной партіи въ будущей обновленной монархіи, представлялся петербургскимъ сферамъ опаснымъ потрясателемъ основъ. Характерно, что «Московская Недѣля» Трубецкаго была задушена правительствомъ — въ то время какъ безпрепятственно выходили болѣе радикальные органы — именно въ виду политической умѣренности ея редактора: «голосъ разума, съ его отрезвляющимъ дѣйствіемъ, можетъ сильнѣе повліять, чѣмъ крайнія небылицы», откровенно объяснили причину репрессіи въ цензурномъ комитетѣ.

Но не былъ принятъ призывъ С. Н. Трубецкаго и другой стороной, съ которой у него, казалось, была общая цѣль раскрѣпощенія Россіи — радикальной интеллигенціей. Расхожденіе съ нею, въ лицѣ прежде

всего близкой ему университетской молодежи, было особенно болѣзненно для С. Н. Трубецкога. Онъ былъ по своему праву, протестуя противъ превращенія университета въ политическій клубъ. Но въ странѣ бушевала революція, и не менѣе права была молодежь, когда, въ увлеченіи борьбой за общую свободу, не соглашалась пользоваться привиллегіей свободы въ стѣнахъ университета для себя одной. Не могъ существовать свободный университетъ въ политически безправной странѣ. Не могла русская интеллигенція отказаться отъ революціонныхъ методовъ, разъ для народа были заказаны иные пути къ преобразованію устарѣвшаго, осужденнаго на сломъ режима.

Было бы неправильно, оцѣнивая роль кн. С. Н. Трубецкога въ 1904-1905 гг., подходить къ нему исключительно какъ къ дѣятелю политическому. Не эта сторона была въ немъ самая значительная духовно. Не трудно было бы указать недостатки въ его политической программѣ (хотя бы въ земельномъ вопросѣ, напр.), а положительные результаты его общественной дѣятельности были скоро сведены на нѣтъ восторжествовавшей реакціей. Значитъ ли это однако, что напрасна была жертва С. Н. Трубецкога, что несбыточенъ его общій идеалъ мирнаго устроенія Россіи, въ общенародномъ, во имя высшихъ цѣлей, единеніи?

Въ годы, когда рушилась моральная связь между народомъ и властью, дѣло Трубецкога было обречено на поражение. Но то было поражение и самой Россіи, отнынѣ на рядъ долгихъ лѣтъ осужденной на проклятіе междуусобицы. Князь С. Н. Трубецкой остается крупнѣйшимъ явленіемъ въ русской жизни, непреходящее значеніе его личности выходитъ далеко за предѣлы могущихъ быть спорными его политическихъ взглядовъ и даже его безспорныхъ общественныхъ заслугъ. Это значеніе — въ самомъ его духовномъ обликѣ. Въ какомъ-то отношеніи патетическая фигура С. Н. Трубецкога, философа-идеалиста и патріота, связаннаго въ истокахъ своего міросозерцанія съ лучшими, свѣтлыми сторонами русской народной души, явилась какъ бы символической для судебъ Россіи на рубежѣ двухъ историческихъ эпохъ. Не потому ли такъ горестно была потрясена буквально вся культурная Россія вѣстью о гибели Трубецкога, что вдругъ «все почувствовали, что въ русской жизни что-то оборвалось и ушло безвозвратно, что какая-то лучшая возможность стала не мыслимой, что вырвано знамя изъ рукъ у сторонниковъ мира» (П. И. Новгородевъ)?

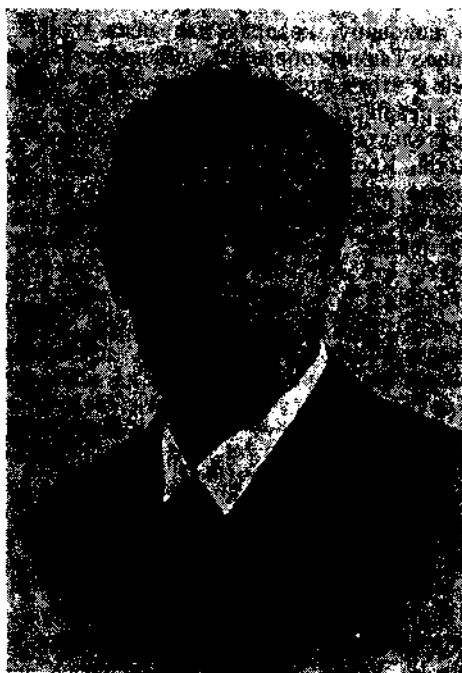
Сейчасъ, когда вотъ уже двадцать лѣтъ русскому народу стараются привить чуждый ему догматъ войны всѣхъ противъ всѣхъ, особенно ясно, что только возвращеніе къ одушевляющему кн. Трубецкога нравственному и національному идеалу, къ завѣту о «любви собирающей» способно вернуть Россію на великія ея историческіе пути. Но опять, какъ и въ 1905 г., необходимымъ условіемъ для этого является раскрѣпощеніе русскаго народа отъ новаго самовластия.

О кн. С. Н. Трубецкомъ писали многіе изъ его ближайшихъ друзей, единомышленниковъ, почитателей. Ему, въ частности, былъ по-

священъ въ 1906 г. спеціальный выпускъ журнала «Вопросы философіи и психологіи», гдѣ въ рядѣ блестящихъ статей — Л. М. Лопатина, П. И. Новгородцева, С. А. Котляревскаго, А. И. Анисимова и др. — дана характеристика его какъ ученаго, общественного дѣятеля и человѣка. О семьѣ Трубецкихъ и о дѣтствѣ С. Н. разсказала въ небольшой книжкѣ «Изъ прошлаго», вышедшей уже зарубежомъ, его братъ кн. Е. Н. Трубецкой. Среди работъ, посвященныхъ біографіи С. Н. Трубецкого, воспоминанія его сестры, княжны О. Н. Трубецкой — понынѣ здравствующей въ эмиграціи — занимають особое мѣсто. Они охватываютъ лишь небольшой, но зато въ общественномъ отношеніи важнѣйшій періодъ въ жизни С. Н. Трубецкого — 1904-1905 годы. Сама не игравшая активной политической роли, О. Н. Трубецкая черезъ брата и близкихъ родственниковъ была связана съ многими представителями московской интеллигенціи и высшей администраціи. Помѣщая, естественно, въ центрѣ своего повѣствованія яркую фигуру ея брата, на фонѣ историческихъ событій того времени, О. Н. Трубецкая вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ живую картину окружавшей его общественной среды.

Читатель увидить, что авторъ выполняетъ свою задачу особымъ образомъ. О. Н. Трубецкая почти не разсказываетъ ничего сама, по памяти, о событіяхъ уже свыше тридцатилѣтней давности и тѣмъ избѣгаетъ обычнаго у мемуаристовъ соблазна относить къ прошлому свои теперешнія сужденія и оцѣнки. Пользуясь сохранившимся у нея обширнымъ семейнымъ архивомъ, О. Н. Трубецкая заставляетъ прежде всего говорить документы того времени, въ томъ числѣ неизданную переписку С. Н. Трубецкого съ другими участниками общественнаго движенія, а также подробныя записи ея собственнаго дневника за тѣ годы и пр. Къ этимъ безпристрастнымъ документальнымъ свидѣтельствамъ авторъ скупо прибавляетъ лишь самыя необходимыя для связи повѣствованія фактическія свои комментаріи. Благодаря этому работа О. Н. Трубецкой выигрываетъ въ живой изобразительности, перенося читателя въ подлинную атмосферу революціонной эпохи 1904-1905 гг., какъ она въ свое время переживалась въ извѣстныхъ кругахъ русскаго общества, а обиліе приводимыхъ въ текстѣ ранѣе не изданныхъ матеріаловъ сообщаетъ ей и значительную документальную цѣнность.

В. Рудневъ.



Кн. С. Н. Трубецкой
(1904 г.)

1904-ый годъ *).

Проведя зиму 1903-4 г. въ Дрезденѣ, Сергѣй Ник. съ семьей вернулся въ Москву въ концѣ апрѣля. Остановился онъ на моей квартирѣ (въ Б. Афанасьевскомъ пер. д. Орлова), гдѣ вскорѣ оказалась свободной квартира по той же лѣстницѣ, противъ моей. Она подошла подъ требованья семьи брата: ему и его женѣ, Прасковѣ Владиміровнѣ, нравилось расположеніе дома, двухъэтажнаго особняка, въ тихомъ переулкѣ, во дворѣ, съ небольшимъ круглымъ палисадникомъ передъ подъездомъ. Братъ нанялъ эту квартиру, перенесъ свой кабинетъ и общую столо-

*) Помѣщая воспоминанія кн. О. Н. Трубецкой, редація подчеркиваетъ, что, конечно, не всѣ высказываемыя въ нихъ оцѣнки ею раздѣляются. — Ред.

вую на мою половину, которая для меня одной была слишком просторна. Такимъ образомъ, мы вновь соединились подъ одной кровлей и этотъ послѣдній годъ жизни брата мнѣ близко довелось переживать вмѣстѣ съ нимъ...

Это обстоятельство поневолѣ отражается на характерѣ изложенія событій. Кромѣ личныхъ воспоминаній у меня сохранилась «записная книжка», куда я съ ноября 1904 г. заносила всѣ злободневныя происшествія, изъ которыхъ сплетались событія того времени.

Надо сказать, что семья наша въ то время была въ исключительно выгодномъ положеніи для информации по текущимъ общественнымъ и политическимъ вопросамъ. Братъ Петръ Ник. Трубецкой былъ московскимъ губернск. предводителемъ дворянства, Григорій Ив. Кристи, женатый на моей сестрѣ (Маріи Ник.), былъ московскимъ губернаторомъ. Фед. Дмитр. Треповъ (моск. оберъ-полицеймейстеръ, а потомъ генер. губерн. Петербурга) только что породнился съ нашей семьей, выдавъ свою дочь за моего племянника П. В. Глѣбова. Двоюродный братъ А. А. Лопухинъ былъ директоромъ Департамента Полиціи, наконецъ Ал. Дмитр. Оболенскій (впослѣдствіи оберъ-прокуроръ Синода), двоюродный братъ моей матери, питалъ исключительное чувство дружбы къ брату Сергѣю, высоко цѣнилъ его и держалъ его въ курсѣ всѣхъ петербургскихъ настроеній.

Такимъ образомъ, не выходя изъ круга семьи, я была болѣе или менѣе въ курсѣ всего происходившаго вокругъ и, къ сожалѣнію, только не всегда успѣвала записывать все, что слышала, и поздно принялась за это дѣло.

Не задаваясь какими-либо литературными цѣлями, я вела свою запись въ надеждѣ, что она быть можетъ со временемъ пригодится брату для его воспоминаній, а мнѣ для лѣтописи семьи, для которой я уже въ то время подбирала матерьялъ... Записи мои поэтому носятъ нѣсколько семейный, домашній характеръ.

По окончаніи университетскихъ экзаменовъ, участіе въ которыхъ ему пришлось принять въслѣдствіи внезапнаго заболѣванія Л. М. Лопатина, Сергѣй Ник. съ семьей переѣхалъ на лѣто въ наше обще-семейное гнѣздо «Меньшово» (въ Подольск. уѣздѣ Моск. губ.), откуда онъ писалъ брату Евгенію въ его калужскую деревню:

«Какой огромный внутренній переворотъ у насъ на глазахъ созрѣваетъ... Многого хотѣлось бы рассказать тебѣ, но цѣлымъ томъ надо написать и о личныхъ и о публичныхъ дѣлахъ.

Видѣлъ третьяго дня А. Оболенскаго, который попрежнему не унываетъ, и предлагаетъ мнѣ самымъ настоятельнымъ образомъ мѣсто А. Столыпина, но съ содержаніемъ 12.000 по контракту... Послѣдствія сего предложенія пока отрицательныя. Какъ ни хотѣлъ бы я получить возможность говорить съ Россійскими гражданами при посредствѣ моего собственнаго органа, но, къ сожалѣнію, не вижу возможности говорить съ ними о чемъ-либо иномъ, какъ о пользѣ стекла, между тѣмъ какъ минутами самое битье стекла представляется менѣе предосудительнымъ, нежели подобное празднословіе».

А. И. Анисимовъ, въ своихъ воспоминаніяхъ («Вопр. Фил. и Псих.», 1906 г.) передаетъ, что лѣтомъ 1904 г., встрѣтивъ С. Н. въ университетской библиотекѣ, имѣлъ съ нимъ бесѣду по университетскому вопросу. С. Н. говорилъ, что страшно колеблется, не зная, оставаться ли ему дальше въ университетѣ: «Нѣтъ силъ бороться съ несовершенствомъ академическаго строя: студенчество въ лицѣ своихъ крайнихъ партій стремится къ явному разрушенію существующаго порядка вещей, правительство не поддерживаетъ прогрессивныхъ силъ, работающихъ планомерно и творчески надъ истиннымъ обновленіемъ университетовъ». А. И. Анисимовъ отмѣчаетъ крайне подавленное состояніе С. Н. при этой бесѣдѣ. Да оно и не могло быть иначе, какъ только мысль его обращалась на настоящее положеніе Россіи.

Но въ Меньшовѣ и въ кругу семьи онъ все-таки отдыхалъ. Общество вокругъ было многолюдное, и все свои — братья и сестры и ихъ многочисленная и столь дружная между собою дѣтвора. Своимъ оживленіемъ и жизнерадостностью она заражала и взрослыхъ. Сама природа Меньшова какъ бы способствовала такому настроенію. Зеленый скатъ луга отъ дома къ рѣчкѣ подъ горой, съ раскинутыми по немъ тремя-четырьмя гигантскими вѣковыми елями, за рѣчкой — широкій заливной лугъ и свѣтлый горизонтъ крестьянскихъ полей, подымавшихся въ гору пестрымъ ковромъ разнообразныхъ хлѣбныхъ злаковъ, синѣющіе вдаль лѣса, здѣсь и тамъ на горизонтѣ съ вкрапленными въ нихъ усадьбами и деревушками. Тучи, висѣвшія надъ Россіей, словно разрѣжались въ этой свѣтлой, мирной, столь родной природѣ...

Событія, однако, шли своимъ чередомъ. 15 іюня палъ Плеве отъ руки террориста Сазонова... Гнетъ режима Плеве такой тяжестью лежалъ на всѣхъ и до того тревожилъ общественное сознание опасностью принятаго имъ курса, что вѣсть о его убійствѣ принята была многими не только со вздохомъ облег-

ченія, но и съ нескрываемой радостью, которая претила нравственному чувству.

Во второй половинѣ августа, на постъ министра Внутрен. Дѣлъ, былъ назначенъ кн. П. Д. Святополкъ-Мирскій. Программная рѣчь, съ которой онъ вступилъ въ должность, говорившая объ «искреннемъ, благожелательномъ и истинно довѣрчивомъ отношеніи къ общественнымъ и сословнымъ учрежденіямъ и къ населенію вообще», радостно привѣтствовалась всѣми. Съ назначеніемъ Мирскаго въ земской средѣ оживились надежды на возможность созванія сѣзда изъ представителей губернскихъ управъ и земскихъ дѣятелей, и бюро земскихъ сѣздовъ собралось въ Москвѣ 8-го сентября для обсужденія создававшегося положенія. Программа сѣзда, выработанная имъ до рѣчи кн. Мирскаго, не затрагивала политическаго вопроса, но послѣ обнародованія этой рѣчи организационное бюро сочло возможнымъ и даже необходимымъ поставить вопросъ объ общихъ условіяхъ, неблагопріятствующихъ правильному развитію нашей земской и государственной жизни и желательныхъ въ нихъ измѣненіяхъ. Въ результатъ переговоровъ Мирскій заявилъ депутации отъ организационнаго бюро, что оффициальнаго разрѣшенія на сѣздъ съ намѣченной программой не можетъ быть дано, но онъ тутъ же далъ разрѣшеніе на частное совѣщаніе въ Петербургѣ.

Въ Москвѣ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за перипетіями переговоровъ съ Мирскимъ и радовались, что какъ-никакъ сѣздъ все-таки состоится. Настроеніе было необыкновенно приподнятое.

Какъ разъ съ этого времени я завела записную книжку, записями которой и буду пользоваться впредь.

Изъ записной книжки. — Ноябрь 1904 г. Сколько пережито за этотъ годъ, сколько переживается каждый день надежды, страховъ, мученій. Какая странная смѣсь унынія по поводу неуспѣшной войны, удручающаго сознанія безумной борьбы, которой конца края не видно, и надежды на внутреннее обновленіе... столь сильной и свѣтлой надежды, что дышется легче. Гроза еще въ полномъ разгарѣ, опустошенія вокругъ даютъ себя чувствовать съ каждымъ моментомъ острѣе, — а атмосфера яснѣе, самочувствіе бодрѣе.

Статья брата Евгенія въ № 39 «Права» «Война и бюрократія» имѣла совершенно исключительный успѣхъ. Не только со всѣхъ сторонъ сыпались ему привѣтствія и благодарности за нее, но учреждались стипендіи его имени въ университетѣ и

другихъ высшихъ учебн. заведенiяхъ. Она блестяще открыла эру новаго направленiя внутренней политики. «Эру попустительства», какъ ее называетъ здѣшнiй Треповъ, «эру довѣрiя къ общественнымъ силамъ», какъ называютъ ее земцы. Метаморфоза столь неожиданная, что всѣ словно растерялись и въ глубинѣ души мало кто вѣритъ въ ея прочность... Каждый день слухи о паденiи Мирскаго и въ преемники ему прочать Фойзъ-Валя, Клейгельса или Штюмера, заранѣе уже отпѣтыхъ или отпѣваемыхъ...

Боясь, чтобы братъ Евгенийъ не увлекся слишкомъ своимъ успѣхомъ, С. Н. писалъ ему:

«Никогда еще не было такъ трудно писать какъ теперь и никогда еще это не было въ такой мѣрѣ дѣломъ ответственнѣмъ...

Я имѣю дерзкую и смѣлую мысль основать в Москвѣ ежедневную политическую газету съ цѣлью кристаллизацiи силъ. Мнѣ дадутъ неограниченныя средства и сотрудники есть, хотя выборъ сотрудниковъ труднѣе, чѣмъ выборъ и полученiе средствъ. Нуженъ и твой авторитетъ, — не мѣняй его на мелочи.

Помимо отдѣльныхъ статей возьми на себя разработку какого-либо конкретнаго вопроса. Нужна созидательная работа. Если мы основываемъ газету, то не для того, чтобы приятно щелкать либеральныя пятки... При случаѣ будемъ говорить со всей силою и вѣсомъ... но «свистопляски» «Нашей Жизни» — ни къ чему. Мало плевать на прошлое, надо думать о реальной программѣ ближайшаго будущаго, объ образованiи «правительственной партiи будущаго», которая нужна для поддержанiя порядка и для осмысленныхъ реформъ. нужна организацiя или кристаллизацiя силъ...»

Изъ записной книжки. — 21 ноября 1904 г. Вел. кн. Сергѣй Александровичъ уѣхалъ въ Петербургъ къ 14-му *). Уѣхалъ съ намѣренiемъ погугать своей отставкой и отставкой всей московской администрацiи, но по слухамъ, подтверждающимся грустной физиономiей Г. Кристи, потерпѣлъ неудачу... Однако «Право» получило предостереженiе. Розничная продажа «Нашей Жизни» и «Сына Отечества» съ 1-го номера запрещена. Про «Нашу Жизнь» Петрункевичъ сказалъ брату Сережѣ: «Начала фальцетомъ и сразу оборвалась»...

На Сережу Петрункевичъ производитъ впечатлѣнiе серьезнаго и солиднаго человѣка, образованнаго, умнаго, и ереволюцiонера, умѣреннаго конституционалиста. Однако на

*) 14-ое ноября — день рожд. Импер. Марiи Федоровны.

сѣздѣ въ Петербургѣ, онъ разошелся съ Д. Н. Шиповымъ, который остался съ меньшинствомъ въ умѣренныхъ.

23 ноября. Вчера у брата Сережи былъ Д. Н. Шиповъ и Р. А. Писаревъ. Послѣдній рассказывалъ про сѣздъ, что Шиповъ своею рѣчью въ славянофильскомъ стилѣ чуть не погубилъ все дѣло. Положеніе спасъ Н. Н.; Львовъ блестящей рѣчью, которой остановилъ раздраженіе возражавшихъ Шипову и остановилъ отъ увлеченія ходатайствовать объ учредительномъ собраніи. Онъ указалъ, что учредительное собраніе учреждается, когда правительства уже больше нѣтъ и власть его упразднена. Умѣстно-ли сейчасъ говорить объ этомъ?..

11 Пунктъ «заключенія» редактированъ Петрункевичемъ*).

По окончаніи совѣщанія земскихъ дѣятелей положенія, къ которымъ они пришли, были представлены кн. Святополкъ-Мирскому съ пожеланіемъ его участниковъ, чтобы онъ довелъ о нихъ до свѣдѣнія Государя. Въ свою очередь Мирскій просилъ, чтобы участники совѣщанія составили для него записку съ изложеніемъ тѣхъ мотивовъ, которыми они руководствовались при составленіи своихъ «заключеній». На совѣщаніи, собранномъ по этому поводу, единодушное желаніе всѣхъ присутствовавшихъ было, чтобы этотъ трудъ взялъ на себя братъ Сергѣй Николаевичъ.

Изъ записной книжки. — Сегодня Сережа кончилъ свою записку, которую писалъ два дня по просьбѣ Шипова и Ко. Въ запискѣ говорится объ опасности дать свободу слова, свободу собраній и другія свободы, пока общество не организовано и не призвано къ активной защитѣ Престола... Далѣе въ «Запискѣ» высказывается надежда, что Престоль окажется на высотѣ своего призванія и вступитъ на спасительный путь реформъ: «Но всѣ эти реформы предполагаютъ политическую свободу, правовой строй государственной жизни и правильно организованное народное представительство»... Сегодня вечеромъ Сережа читалъ эту записку на собраніи у Шипова, и затѣмъ ее направлять въ Петербургъ къ Мирскому.

*) Принятія совѣщаніемъ земскихъ дѣятелей положенія были изложены въ одиннадцати пунктахъ, причѣмъ послѣдній, 11-ый, выражалъ надежду, что «Верховная власть призоветъ свободно избранныхъ представителей народа, дабы при содѣйствіи ихъ вывести наше отечество на новый путь государственнаго развитія въ духѣ установленія началъ права и взаимодѣйствія государственной власти и народа»...

24 ноября. «Записка» вчера имѣла полный успѣхъ. Особенно довольны Шиповъ и Петрункевичъ.

29 ноября. Вчера на Знаменкѣ, послѣ обѣда, братъ Петръ Ник. читалъ записку и адресъ, проектированные на сѣздѣ губернскихъ предводителей. Адресъ, подписанный семь ю предводителями, выражалъ вѣрноподданическія чувства, преданность самодержавію и увѣренность, что при условіи довѣрія къ обществу (а главное къ дворянству), — все пойдетъ прекрасно... этому — не дано хода.

Въ запискѣ, подписанной 11 предводителями, пространно описывается смута, царящая въ Россіи и броженіе недовольныхъ массъ. Причина тому въ произволъ администраціи, бюрократическомъ составленіи законовъ, незаконномъ дѣйствіи министровъ, искажающихъ своими инструкціями настоящей законъ, произволъ полиціи, которая плодитъ лишь недовольныхъ и т. д. Устранить всё настоящія бѣды можно, проведя въ жизнь принципы, высказанные въ Манифестѣ 26 февраля, учрежденіемъ контроля и отвѣтственности администраціи, допущеніемъ участія общества въ законодательныхъ работахъ, составленіемъ при Государственномъ Совѣтѣ особаго отдѣла для веденія земскихъ дѣлъ при участіи въ немъ земскихъ представителей, дабы голосъ народа свободно восходилъ до Царя. Соблюдая эти условія, правительство сохранить вѣрность завѣтамъ исторіи и принципамъ самодержавія...

Не понимаютъ эти люди одного, что самодержавіе въ томъ видѣ, какъ оно сложилось у насъ, есть произволъ, возведенный въ законъ. Принципомъ этимъ пропитахъ не только самъ Царь-самодержецъ, но изъ главнаго источника питаются всё происходящія ключи, начиная съ министра и кончая послѣднимъ урядникомъ и становымъ. Если даже Царь почувствуетъ и отречется отъ престола, — какъ государственный механизмъ насытитъ новымъ понятіемъ, когда всё колеса вертѣлись только при старомъ?..

30 ноября въ московскую Городскую Думу было подано заявленіе за подписью 70 гласныхъ, на основаніи котораго было выработано слѣдующее постановленіе, принятое единогласно:

«Представить высшему правительству, что по мнѣнію Московской Городской Думы неотложно необходимо: 1) установить огражденіе отъ вѣйсудебнаго усмотрѣнія; 2) отмѣнить дѣйствіе исключительныхъ законовъ; 3) обезпечить свободу совѣсти и вѣроисповѣданія, свободу слова, печати, свободу собраній и союзовъ; 4) провести вышеуказанныя начала въ жизнь, на обезпечиваю-

шихъ изъ неизмѣнность неизблемыхъ основахъ, выработанныхъ при участіи свободно избранныхъ представителей населенія; 5) установить правильное взаимодействие правительственной дѣятельности, съ постояннымъ, на законѣ основаннымъ, контролемъ общественныхъ силъ надъ законностью дѣйствій администраціи...

Изъ записной книжки. — 8 декабря. Вслѣдствіе постановленія московской Городской Думы — скверная исторія въ Университетѣ. Выслушавъ заявленіе гласныхъ въ предварительномъ чтеніи, Герье всталъ и заявилъ, что не получилъ полномочія избирателей на подписаніе такого заявленія, и такъ какъ В. М. Голипынъ предложилъ несогласнымъ выйти, — онъ ушелъ. Студенты за это сдѣлали ему скандалъ въ Университетѣ: окружили, заставили выслушать обвинительный актъ, и свистали, не давая возможности уйти. Когда бѣдный старикъ вышелъ наконецъ изъ аудиторіи, сѣро-земляного цвѣта, онъ произнесъ только: «Вотъ вамъ и свобода!».

Но студентамъ мало этого: они собираютъ подписи подъ петиціей Герье, гдѣ кромѣ вины за поведеніе въ Думѣ, ставятъ ему на счетъ всѣ личныя обиды и требуютъ его удаленія изъ университета. Какъ Сережа ни убѣждалъ, ни уговаривалъ — они слушать не хотятъ, личное чувство говорить сильнѣе.

Вечеромъ состоялось засѣданіе профессоровъ у проф. Фохта. Рѣшили, что если студенты подадутъ свою петицію, профессоръ представятъ свою контръ-петицію съ просьбой къ Герье оставаться. Студенты невмѣняемы послѣ безпорядковъ 5-го и 6-го декабря. По прокламаціямъ, разбросаннымъ въ эти дни и предшествующіе, населеніе призывалось къ демонстраціи. Въ воскресенье, на Знаменкѣ, у брата Петра Ник., Гр. Кристи рассказывалъ, что когда студенты хотѣли проникнуть на площадь (передъ генер. губернаторскимъ домомъ), чело-вѣкъ 150 полицейскихъ преградили имъ дорогу, студенты выхватили револьверы и два полицейскихъ упали раненые. Тогда другіе полицейскіе обнажили шашки, причемъ 2 студента сильно пострадали, а другіе болѣе или менѣе легко.

Въ правительственномъ сообщеніи не говорится о тяжело раненыхъ, а объ легко пострадавшихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ городѣ ходятъ невѣроятные рассказы объ «избіеніяхъ». 60 профессоровъ послали къ Мирскому телеграмму съ просьбой прекратить кровопролитіе на улицахъ Москвы. Къ брату Сережѣ прибѣгали за подписью, онъ въ ней отказалъ, говоря, что не можетъ, зная дѣло, подписаться подъ такой телеграммой и на-

ходить, что полициѣ ничего не оставалось дѣлать, какъ драть-
ся, когда въ нее стрѣляли.

Братъ Сергѣй писалъ брату Евгенію въ Кіевъ 8 декабря:

«Милый Женя! Быстро мы живемъ: въ недѣлю — мѣсяць. И
главное — писать нельзя ни о чемъ. Ты можешь быть знаешь о
нашихъ дѣлахъ... Приходится перечислять событія... Последній
разъ писалъ тебѣ недѣли двѣ тому назадъ. Съ тѣхъ поръ про-
изошли слѣдующія событія:

1) По просьбѣ Шипова и нѣкоторыхъ членовъ сѣзда мною
была написана «Записка» Мирскому «о современномъ положеніи
и программѣ реформъ».

2) Состоялось у меня первое учредительное собраніе редак-
ціоннаго комитета будущей газеты, которую пока рѣшено сдѣ-
лать еженедѣльной.

3) Я ѣздилъ съ Шиповымъ къ Мирскому и читалъ ему «Запи-
ску».

4) Въ Москвѣ состоялся рядъ банкетовъ, постановленій, мани-
фестацій.

5) Последняя изъ нихъ, устроенная социаль-революционерами
съ прямой цѣлью вызвать кровавое столкновеніе (они стрѣляли
первые), привела къ желаемому ими результату: Москва бук-
вально съ ума сошла и протесты сыпятся съ телеграммами, заяв-
леніями и т. п. отъ самыхъ мирныхъ и трусливыхъ людей на
свѣтѣ.

6) Въ университетѣ рѣзкая забастовка. Сегодня меня застави-
ли прекратить лекцію, чѣмъ я воспользовался для безплодныхъ
попытокъ защитить Герье, котораго студенты освистали, а вче-
ра постановили просить уйти изъ университета, за то, что онъ, съ
какимъ-то помомъ, оставилъ залу городской Думы въ видѣ про-
теста противъ неконституціонныхъ ея постановленій (это онъ,
бѣдный, чтобы ему женскій Университетъ разрѣшили!..).

7) У меня инфлюэнція и компрессъ на печени. Съ утра нетол-
ченная труба народу: профессора, студенты, барышни, курси-
стки, дамы, земцы, публицисты, — никогда еще ничего подоб-
наго не было. Иногда буквально весь день.

При этомъ я пишу политическія записки, доклады, статьи по
греческой философіи (одну даже по-нѣмецки) и «о безсмертіи
души»... Последняя всего полезнѣе для меня, ибо помогаетъ со-
хранять равновѣсіе...

Снизу надвигается терроръ, а наверху эти четыре дня страш-
ная растерянность: реакціонный манифестъ вмѣстѣ съ отѣной
охраны. Пораженіе Мирскаго, колебанія... Манифестъ отложенъ,
ждутъ другого или того же самаго 15 декабря.

Газету мнѣ, вѣроятно, разрѣшатъ (только, очевидно, если по-
ложене печати не измѣнится, — мы не выпускаемъ)...

Вскорѣ пришло тебѣ мою «Записку»: очень одобряютъ, имѣ-

ла большой успѣхъ, и здѣсь, и у Мирскаго. Онъ на меня произвелъ самое лучшее впечатлѣніе. Но Правительства нѣтъ и въ такой моментъ! Что-то будетъ! Надо молиться Богу. Крѣпко здѣлюю.

Слухамъ о противоестественномъ кровопролитіи не вѣрь, — раздуто страшно. Правительственное сообщеніе ближе къ истинѣ, хотя есть два-три серьезныхъ пораненія».

Изъ записной книжки. — 8 декабря. Сегодня братъ Петя вернулся изъ Петербурга gros de nouvelles. Въ воскресенье онъ оттуда телефонировалъ на Знаменку, что 6-го будетъ реакціонный адресъ и даже Г. Кристи возмущился: «Въ какое положеніе насъ (администрацію) ставятъ»...

Теперь братъ Петя рассказываетъ: 1) О Манифестѣ не было и рѣчи. 2) Государь созвалъ особое совѣщаніе изъ вел. князей Владиміра, Сергѣя, Алексѣя, Михаила, изъ министровъ (всѣхъ, кромѣ Глазова и военнаго) и нѣкоторыхъ выдающихся членовъ Государственнаго Совѣта. Петѣ назначенъ былъ пріемъ въ Царскомъ въ 2 ч. дня. Когда онъ подѣхалъ, то увидалъ массу каретъ и спросилъ у Гайдена: «Что это у васъ творится?»

— Рѣшаются судьбы Россіи, — послѣдовалъ отвѣтъ.

На обратномъ пути въ Петербургъ Петя попалъ въ кулп къ Муравьеву. Не рассказывая сущности дѣла, Муравьевъ сказалъ, что они засѣдали три дня и теперь кончили и подписали. Въ субботу выйдетъ правительственное сообщеніе и указъ Сенату. Въ сообщеніи будетъ цѣлый рядъ строгостей противъ демонстрацій и манифестацій. Въ указѣ—что-то такое, что должно удовлетворить всѣхъ благомыслящихъ и серьезныхъ людей въ Россіи (разумѣется, не революціонеровъ).

Прочитавъ всѣ поданія ему за это время «записки», Государь пришелъ къ заключенію, что многія требованія общества вполне основательны и онъ хочетъ дать на нихъ сейчасъ же отвѣтъ. По мнѣнію Муравьева, отвѣтъ превосходный. Совѣщаніе произвело на него удивительное впечатлѣніе. «Кажется, я за 20 лѣтъ привыкъ», говорилъ онъ... «Государь предсѣдательствовалъ выше всякой похвалы, вел. князь держался «джентельменами»... Были слѣданы другъ другу уступки... (??) — и вотъ вы увидите».

По пріѣздѣ въ Петербургъ Петя отправился къ Витте:

— Ну, а ваше мнѣніе какое?

Витте пустилъ воздухъ сквозь зубы и сказалъ: «Въ прошломъ году цѣна была бы миллионъ, а теперь — рубль»

Про бесѣду свою съ Государемъ Петя рассказываетъ слѣ-

дующее: Государь читалъ записку предводителей, но желалъ имѣть дополнительныя свѣдѣнія о томъ, что въ ней сказано.

Петя сказалъ, что первый вопросъ былъ о конституціи, но что всѣ они думаютъ, что въ данную минуту «то, что называется конституціей» не примѣнимо для Россіи и вовсе нежелательно. Что они за «самодержавіе»; но, должно сознаться, — самодержавіе у насъ нѣтъ!.. Между Царемъ и народомъ выросла стѣна — «бюрократія», и голосъ народа не доходитъ до Царя. Законы составляются такъ, что оказываются совершенно непримѣнимыми къ жизни и т. д., сталъ своими словами рассказывать «записку» *). Государь отвѣтилъ, что вопросъ о конституціи онъ ставилъ себѣ не разъ, «душой переболѣлъ надъ нимъ» и пришелъ къ такому заключенію: «Не для меня, конечно, не для меня — для Россіи, я призналъ, что конституція привела бы сейчасъ страну въ такое положеніе, какъ Австрію. При малой культурности народа, нашихъ окраинахъ, еврейскомъ вопросѣ и т. д. — одно самодержавіе можетъ спасти Россію. Притомъ мужикъ конституціи не пойметъ, а пойметъ только одно, что Царю связали руки, а тогда — Я васъ поздравляю, господа»!..

Послѣднюю фразу Петя произнесъ, глядя на брата Серēju съ крайней выразительностью, такъ что слегка даже вспыхнулъ, и мнѣ подумалось: «не прибавилъ ли онъ это «поздравленіе» отъ себя? (Хотя передавалъ онъ всегда съ дѣловой точностью слышанное). Далѣе братъ Петя рассказалъ, что Государь выразилъ ему свое возмущеніе по поводу телеграммы Черниговскаго земства**). На это Петя замѣтилъ, что Государь не долженъ тому удивляться, ибо въ обществѣ за послѣднее вре-

*) Въ вопросѣ о «конституціи» братья между собой расходились. Сергѣй Ник. считалъ единственнымъ выходомъ изъ создавшагося положенія организованное постоянное единеніе Верховной власти съ народомъ, единеніе, которое при настоящихъ условіяхъ могло быть осуществлено лишь при посредствѣ свободно избранныхъ представителей земли. А брату Петру Ник. конституція представлялась, какъ умаленіе и упраздненіе царской власти, а не укрѣпленіе ея.

**) 6-го декабря Черниговское губ. земское собраніе представило Государю ходатайство по цѣлому ряду вопросовъ общегосударственнаго значенія. Государь собственноручно написалъ на телеграммѣ: «Нахожу поступокъ черниговскаго земскаго собранія дерзкимъ и безтактнымъ». Заниматься вопросами государственнаго управленія не дѣло земск. собраній, кругъ дѣятельности которыхъ ясно очертанъ законами».

мя весьма и весьма было распространено убѣжденіе, что Государь желаетъ конституціи, но вел. князья и Императрица Марія Федоровна ея не желаютъ, и что онъ, лично, знаетъ многихъ предводителей, которые подписали адресъ въ полной увѣренности, что исполняютъ высочайшую волю и желаніе.

Государь на это отвѣтилъ, что онъ на-дняхъ опредѣленно выскажетъ свой взглядъ на положеніе дѣла и вмѣстѣ съ тѣмъ дастъ удовлетвореніе тѣмъ общественнымъ требованіямъ, которые считаетъ справедливыми.

10 декабря. Мало-по-малу въ мирное и тихое русло прежнихъ общественныхъ и семейныхъ отношеній начинаютъ просачиваться отголоски партійной розни. Грустно и иногда очень тяжело. Даже между дѣтymi ссоры и споры, доходящіе до драки за или противъ самодержавія.

Вслѣдствіе конституціонныхъ выступленій Думы *Ф. Д. Самаринъ* сложилъ съ себя званіе попечителя городской школы и послалъ мотивированный отказъ въ Думу. Его примѣру послѣдовала его сестра *С. Д.*, а за ней потянули и ея пріятельницы, *С. Тютчева*, *Е. Коновницина* и *Е. П. Ермолова*.

14 декабря. — Сегодня утромъ вышелъ «Указъ Сенату» *). Всего можно было ожидать, только не того, что Юльевичъ будетъ пожалованъ въ Кесари...

Фактически вся власть сейчасъ передана въ руки Витте и все теперь зависитъ отъ того, какъ е му угодно будетъ взглянуть на дѣло и какое направленіе дать разработкѣ намѣченныхъ вопросовъ. Призовутъ ли къ участию въ управленіи выборныхъ или представителей страны; затянется ли еще туже петля — все зависитъ отъ Витте... Неужели же этотъ самый указъ сочинялся въ Царскомъ и его мудрости изумлялся *Муравьевъ*? Впрочемъ, какъ понимать мудрость! Составленъ онъ такъ ловко, что его можно повернуть какъ угодно. И какъ-ни-

*) В Указѣ признавалось необходимымъ провести рядъ назрѣвшихъ преобразованій, и въ первую голову озаботиться наилучшимъ устройствомъ быта крестьянъ, обезпечивъ за ними «положеніе полноправныхъ свободныхъ сельскихъ обывателей». За симъ признавалось неотложнымъ: принять мѣры къ охранѣ полной силы законовъ; обезпечить необходимую самостоятельность судебныхъ установленій; ввести государственное страхование фабричныхъ рабочихъ; пересмотрѣть законы объ усиленной охранѣ; пересмотрѣть узаконенія о правахъ раскольниковъ и лицъ инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій; пересмотрѣть положеніе объ инородцахъ и уроженцахъ отдѣльныхъ мѣстностей Имперіи; устранить излишнія стѣсненія печати...

какъ, но для Витте этотъ указъ не рубль, а милліонъ... Жуткій онъ все-таки сейчасъ человекъ: у него, кажется, только два двигателя: личное честолюбіе и личная ненависть къ Царю...

Братъ С. Н. писалъ брату Евгенію въ Кіевъ:

«15 декабря. ...По-моему о реакціи пока говорить преждевременно. Можетъ быть завтра начнется реакція, а главное, что есть и будетъ — это все возрастающій революціонный сумбуръ Указъ правительства. Севату, или, какъ говорилъ вчера Ключевскій, «указъ Витте быть Симеономъ Бекбулатовичемъ» (замѣчательно остроумно!) — меня утѣшилъ. Уничтоженіе сословности въ Земствѣ, мелкая единица, торжественное уничтоженіе крѣпостническихъ проектовъ Плеве — все это необходимые шаги для подготовки правильного всенароднаго представительства. Витте къ тому же въ ближайшемъ будущемъ долженъ указать пути. Слава Богу, что въ указѣ ничего не было о представительствѣ, а то хотѣли было припустить нѣсколько выборныхъ отъ городовъ, отъ земства и дворянства въ Государственный Совѣтъ. Во всякомъ случаѣ это не можетъ остановить движенія, а только поддаться воды на мельницу. Тоже слѣдуетъ сказать и о «прокламаціи» правительственнаго сообщенія*), въ комъ усматриваютъ руку сознательно провокаторскую того же Симеона Бекбулатовича. Это брандеръ опасный для порядка, для власти, но не для движенія. Кромѣ того мы знаемъ, кто будетъ исполнять «Указъ», — жуликъ, — правда, но умный, и безмѣрно честолюбивый, не останавливающийся ни передъ чѣмъ. А кто будетъ исполнять «правительственное сообщеніе»?.. Есть ли въ эту минуту исполнитель? Можетъ быть сегодня есть. Вчера его не было. Подождемъ телеграммъ. Можетъ быть это сообщеніе «въ сурьезъ», — а «указъ» «нарочно», а можетъ быть и наоборотъ — сообщеніе «нарочно». Во всякомъ случаѣ, конечный результатъ одинъ. Правительству не вѣрять, ни тогда, когда оно грозитъ, ни тогда, когда оно общается...»

Изъ записной книжки. — 15 декабря. Какъ передать впечатлѣнія вчерашняго дня.. утра и вечера?.. («Указъ» появился утромъ, правительственное сообщеніе — вечеромъ). *On promène des mèches enflammées entre des barilles de*

*) Правительственное сообщеніе приписываетъ подъемъ общественаго движенія вредному вліянію лицъ, стремящихся внести въ государственную жизнь смуту, объявляетъ требованія общества «недопустимыми въ силу священныхъ основными законами Имперіи неизбѣжныхъ началъ нашего государственнаго строя» и угрожаетъ въ отношеніи нарушителей порядка примѣнять «всѣ находящіеся въ распоряженіи властей законныя средства».

roudres. Это вызовъ, брошенный провокаторской рукой и безъ послѣдствій это пройти не можетъ!

Въ Москвѣ невѣроятное возбужденіе. Вчера въ Думѣ засѣданіе не могло состояться изъ-за колоссальнаго наплыва публики, заполнившей все зданіе Думы. Шумъ царилъ необычайный. Установили барьеръ для пропуска въ залу гласныхъ и представителей печати, около этого барьера образовалась живая стѣна, черезъ которую невозможно было пробраться.

Къ началу засѣданія въ Маломъ залѣ собралось 34 гласныхъ, а для открытія засѣданія нужно было 54 чел. Но ясно было, что если и соберется законное число гласныхъ, то при создавшихся условіяхъ занятія немислимы. Можно безъ преувеличенія сказать, что подобнаго стеченія публики въ Думѣ никогда не было, и кн. Голицынъ, послѣ совѣщанія съ собравшимися гласными, рѣшилъ объявить засѣданіе несостоявшимся. Несмотря на это публика долго не вѣрила, что засѣданія не будетъ и еще въ 7½ час. громадное количество публики не покидало Думы: среди нея было много учащейся молодежи. И все это происходило еще до опубликованія «Правительственнаго сообщенія», которое вышло только къ вечеру.

Небывалое скопленіе публики было и въ Дворянскомъ Собраніи при чтеніи земскаго адреса *).

Въ воскресенье 12-го обѣдала у брата Пети на Знаменкѣ. Тамъ же обѣдали и уѣздные предводители. Мнѣ пришлось сидѣть съ Бландовымъ (подольск. предв., вмѣсто Каткова). Онъ рассказывалъ мнѣ, что на совѣщаніи, предшествовавшемъ земскому собранію и происходившемъ до обѣда, рѣшено было подать адресъ. — «Братъ вашъ, Петръ Ник., всѣми силами возставалъ противъ, но большинство заявило, что если онъ не допустить адреса, они сорвутъ собраніе и выйдутъ изъ зала:

*) Отмѣчая съ благодарностью выраженное въ «Указѣ» довѣріе власти къ общественнымъ учрежденіямъ и населенію страны, земское собраніе заявляетъ: «Мы твердо вѣримъ, Государь, что близокъ тотъ счастливый день, когда, по волѣ Вашего Величества, будетъ отмѣненъ существующій бюрократическій строй, разобщающій Верховную Власть съ народомъ, когда Царь призоветъ свободно избранныхъ представителей всей земли русской къ участию въ законодательствѣ, дабы при содѣйствіи ихъ упрочить могущество Государства, величіе Престола и процвѣтаніе родины на неизблемыхъ началахъ законности, личной неприкосновенности и равноправности всѣхъ гражданъ передъ закономъ, свободы слова и вѣронсповѣданія». — Адресъ этотъ принадлежитъ перу Кокошкина.

безъ крупнаго скандала не обойтись: московское земство должно высказаться».

13 декабря адресъ былъ прочтенъ при громѣ рукоплесканій. Въ залу набилось 600 человекъ публики и нервное напряженіе было таково, что заниматься нельзя было. Положеніе брата П. Н. было не изъ легкихъ, особенно послѣ опубликованія «Правительственнаго сообщенія», въ коемъ предсѣдатели собраній привлекались къ отвѣтственности за обсужденіе нежелательныхъ вопросовъ. Онъ вышелъ изъ положенія, написавъ слѣдующее письмо къ Мирскому:

...«По существующему убѣжденію, которое и я вполне раздѣляю, Россія находится нынѣ въ эпохѣ революціоннаго движенія и анархїи. То, что происходитъ, вовсе не одно лишь простое волненіе молодежи. Молодежь является лишь отраженіемъ того состоянія, въ которомъ находится общество. Состояніе это въ высокой степени опасно и страшно, какъ для всего отечества нашего, для всѣхъ насъ, въ особенности же для священной особы самого Государя. А посему долгъ каждаго истиннаго вѣрноподданнаго — предотвратить всѣми зависящими отъ него мѣрами непоправимое бѣдствіе. На дняхъ, я имѣлъ счастье представляться Государю Императору... Я старался объяснить ему, что то, что нынѣ происходитъ се n'est pas une simple émeute, mais une révolution. Что вмѣстѣ съ тѣмъ русскій народъ толкаютъ на революцію, которой онъ не хочетъ и которую Государь можетъ предотвратить. Но путь для этого одинъ, единственно одинъ — это путь царскаго довѣрія къ общественнымъ и сословнымъ силамъ.

Я горячо убѣжденъ, всѣми силами своей души, что пожелай Государь довѣрчиво сплотить эти силы вокругъ себя, Россія избавится отъ всѣхъ ужасовъ нависшей надъ нею кровавой смуты, поддержитъ своего Царя и его самодержавную власть и волю. При такомъ душевномъ состояніи всѣхъ людей, думающихъ о всемъ сказанномъ съ ужасомъ и отвращеніемъ, не дать этимъ людямъ возможности высказать своему Государю то, что такъ страшно и мучительно у каждаго болить — прямо выше силъ человѣческихъ. Нельзя молчать, когда отечество въ опасности, нельзя не подумать о томъ, въ какомъ состояніи находятся всѣ тѣ, у которыхъ семья, дѣти. Пусть я даже буду признанъ формально виновнымъ, какъ предсѣдатель земскаго собранія, но совѣсть моя передъ Государемъ чиста и я спокоенъ».

Среди этой накаленной и возбужденной общественной атмосферы, грянуло еще извѣстіе о паденіи Портъ-Артура... Сергѣй Николаевичъ мучительно и болѣзненно переживалъ это тяжелое событіе. Въ неоконченной и оставшейся ненапечатанной статьѣ онъ писалъ: «Свершилось!.. палъ Портъ-Артуръ, послѣ

безпримѣрной борьбы, удивившей міръ!.. И эта доблесть русскихъ героевъ, которой будетъ гордиться Россія, не спасла ее отъ пораженія и позора. И сердце полно горемъ, и болью и гнѣвомъ, и мстительнымъ стыдомъ, стыдомъ неумолимымъ, непрощающимъ, требующимъ удовлетворенія»...

Изъ записной книжки. — 29 декабря. Не записывала все это время, потому что пера въ руки брать не хотѣлось. Вспоминаая впечатлѣнія, вызванныя въ прошломъ году гибелью Петропавловска и Макарова, невольно недоумѣваешь... Трудно объяснить себѣ настроеніе общества теперь. Театры ни на одинъ день не закрылись и были полны публикой. Профессоръ В—ій въ день паденія Портъ-Артура былъ въ Художественномъ театръ и выражалъ негодованіе, что видѣлъ тамъ военныхъ... Братъ Петя (Петръ Ник.) заѣзжалъ къ намъ въ сочельникъ и негодовалъ, что въ соборахъ не служатъ панихиды. И каждый ждалъ отъ другого проявленія чувства, котораго самъ не проявлялъ... И у всѣхъ былъ одинъ вопросъ въ душѣ: что же будетъ дальше и чего теперь желать?.. Впереди — полный туманъ. А если что-нибудь ясно внутри — это растущая ненависть и жажда мшени, но не противъ японцевъ: наростаніе революціоннаго духа.

Въ самый день взятія Портъ-Артура, въ Думѣ состоялось чествованіе кн. В. М. Голицына, и В. Н. Бобринская прилетѣла оттуда къ намъ сообщить, что, несмотря на паденіе Портъ-Артура, чувствовался необычайный подъемъ духа!?

1905-ый годъ.

Изъ записной книжки. — 11 января. Извѣстіе о петербургскихъ безпорядкахъ 9-го января распространилось въ Москвѣ къ вечеру, изъ редакцій газетъ, куда сообщались свѣдѣнія по телефону.

Было воскресенье и мы, по обыкновенію, обѣдали въ этотъ день на Знаменкѣ у брата Петя. Всѣ волновались, но достовѣрнаго никто ничего не зналъ. Тогда я предложила, на свою голову, попробовать вызвать изъ Петербурга къ телефону А. Лопухина. Къ удивленію, мнѣ это удалось. На мой вопросъ: правда-ли, что въ толпу стрѣляли изъ пушекъ и убито 200 человѣкъ, онъ отвѣчалъ, что стрѣляли залпами и убито 50 человѣкъ. Подробностей передать онъ мнѣ не могъ и больше я ничего не узнала.

Только къ вечеру 10-го появилось правительственное сообщеніе и началась забастовка на московскихъ фабрикахъ.

Сегодня весь день всё въ страшномъ возбужденіи; ждуть на завтра сраженія въ Москвѣ. Среди дня говорили о забастовкѣ 25 тыс. рабочихъ. Говорятъ, что Цинделевская фабрика котла работать, но съ другихъ фабрикъ пришли рабочіе и заставили ихъ примкнуть къ движению. Слухи противорѣчивы: съ одной стороны идетъ запугиваніе, съ другой — увѣряютъ, что все завтра же придетъ въ порядокъ. Получено извѣстіе о назначеніи Трепова генераль-губернаторомъ Петербурга съ громадными полномочіями. Извѣстіе это одинаково волнуетъ и возмущаетъ людей самыхъ противоположныхъ мнѣній и съ разныхъ точекъ зрѣнія.

Интересны подробности, которыя сообщаетъ С. Глѣбова. Треповъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, былъ назначенъ дежурнымъ флигель-адъютантомъ къ Государю. Во весь день Государь ему ни слова не сказалъ по поводу покушенія на него, Трепова, только что бывшаго, и до такой степени былъ съ нимъ леденяще холоденъ, что Треповъ, какъ преданный слуга старого закала, вернулся домой совершенно этимъ убитый и уничтоженный. Жена его, Софья Сергѣевна Трепова, писала сюда своей дочери Глѣбовой, что радуется, что отъѣздъ ея мужа на войну долженъ состояться послѣзавтра... И письмо это получено было одновременно съ депешей о его назначеніи и переселеніи всего его семейства въ Зимній Дворецъ. Здѣсь на эту царскую милость многіе смотрятъ, какъ на подписаніе Трепову смертнаго приговора... Какъ объяснить психологію Государя?! Впослѣдствіи А. Лопухинъ разсказалъ намъ подробно, какъ было дѣло. (Записано съ его словъ 9-го февраля):

...Про безпорядки 9-го января А. Лопухинъ говорить, что можно только удивляться малому количеству жертвъ. Войска такъ озвѣрѣли отъ оскорбленій толпы, что трудно было сдерживать ихъ отъ массоваго истребленія этой толпы. Официальныя цифры пострадавшихъ выше, а не ниже правды. Произошла ошибка: полиція сложила убитыхъ и раненыхъ вмѣстѣ — 333, а затѣмъ показала убитыхъ отдѣльно 96 чел. Въ дѣйствительности 126 убитыхъ и умершихъ отъ ранъ, и 207 раненыхъ.

Въ ночь съ 9-го на 10-ое А. Лопухинъ и Рыдзевскій убѣждали Мирскаго до 3-хъ час. ночи ѣхать въ Царское и убѣдить Государя въ необходимости сказать свое слово. Составлено было краткое, но сильное обращеніе къ народу, гдѣ говорилось, что мятежъ есть мятежъ и во время войны еще болѣе преступный, чѣмъ въ мирное время. Кн. Мирскій наконецъ убѣдился ихъ доводами, но вмѣсто того, чтобы отвезти лично Государю это: воззваніе, препроводилъ его ему при письмѣ.

Проходитъ день, другой, третій. Изъ Царскаго ни слова... Наконецъ Мирскій туда ѣдетъ и Государь ему говорить, что воззваніе хорошо написано, и онъ его одобряетъ, но не желаетъ одного, — чтобы оно исходило отъ его имени...

Мирскій пытался ему объяснить, что отъ него, Мирскаго, оно не будетъ имѣть никакого значенія, но Царь настоялъ на своемъ. Послѣ этого послѣдовало назначеніе Трепова и черезъ нѣсколько дней воззваніе къ рабочимъ отъ Трепова и Коковцова съ объявленіемъ, что требованія и нужды рабочихъ будутъ рассмотрѣны въ особомъ совѣщаніи.

О выборѣ депутатовъ изъ рабочихъ для представленія Государю А. Лопухинъ рассказывалъ, что это выдумка Трепова, поддержанная Фредериксомъ, о которой ни одинъ министръ не былъ предувѣдомленъ.

По окончаніи перваго засѣданія о рабочемъ вопросѣ, когда многіе уже разъѣхались, Фредериксъ, закуривая сигару, вдругъ сказалъ: — «А интересно, каковъ будетъ результатъ завтрашней депутаціи».

— Какой депутаціи? — спросилъ Витте.

Тогда Фредериксъ сообщилъ, что Государь приметъ завтра депутацію отъ фабрикъ. Депутаты будутъ по назначенію отъ фабрикантовъ, — отъ каждой фабрики, имѣющей 100 рабочихъ.

Витте руками развелъ... и сказалъ Фредериксу: «Мы тутъ нѣсколько часовъ подрядъ разсуждаемъ о томъ, какъ успокоить фабрики, а вы не сочли нужнымъ сообщить намъ т а к о е извѣстіе!»

Въ тотъ годъ въ Москвѣ, въ концѣ января, должны были состояться дворянскіе выборы. И ввиду того, что московское дворянство еще не собиралось со дня рожденія Наслѣдника престола, предстояло обсудить текстъ вѣрноподданническаго адреса по случаю счастливаго событія. Рядъ земствъ и дворянскихъ обществъ уже высказались, и среди высказанныхъ ими пожеланій преобладало одно, общее, — о созывѣ народныхъ представителей. Выскажется-ли московское дворянство въ этомъ смыслѣ или осудитъ все современное движеніе какъ «смуту» и «крамолу»? — вотъ вопросъ, который занималъ и волновалъ въ то время все московское общество.

Изъ записной книжки. — 18 января. Вчера вечеромъ состоялось второе совѣщаніе по поводу дворянскаго адреса. На первомъ — много говорилъ Ф. Д. Самаринъ, защищая свою за-

писку противъ блестящихъ возраженій *Θ. Θ. Кокошкина* *). Братъ Сережа и *Д. Н. Шиповъ* намеренно молчали. Главнымъ основаніемъ всѣхъ возраженій *Ф. Самарина* была «несвоевременность» поднятыхъ вопросовъ. Очень слабо ему возражали *кн. Долгоруковъ* и *Клейстъ*. Въ заключеніе *А. Д. Самаринъ*, съ красивой вибраціей своего баритона, сказалъ, что русскій народъ не зналъ другой царской власти, кромѣ «самодержавной» и, Богъ дастъ, не узнаеть...

Вчера говорилъ Сережа. Онъ вернулся домой въ 2 часа ночи. Я не ложила, ждала его. Онъ страшно былъ утомленъ; такъ какъ съ утра былъ на пяти засѣданіяхъ. Онъ почти дословно, по его словамъ, передалъ мнѣ и своей женѣ (*Прасковѣ Владиміровнѣ*) свою рѣчь.

А. Г. Щербатовъ (изъ самаринской партіи) говорилъ на этотъ разъ первымъ и съ большимъ подъемомъ о значеніи настоящей войны, чѣмъ вызвалъ въ залѣ большое одобреніе. Сережа началъ съ того, что онъ отъ всей души присоединяется къ горячей патріотической рѣчи *кн. Щербатова* и къ мыслямъ, высказаннымъ имъ по поводу важности и значенія настоящей войны для Россіи. Но скрывать отъ себя правду нечего. Это лишь передовая стычка, первая страница, начинающейся гигантской борьбы съ монгольской расой, отъ которой зависитъ все будущее Россіи. Какъ же должны мы быть сильны и крѣпки, чтобы выйти побѣдоносными изъ такой борьбы... Возражая противъ записки *Ф. Д. Самарина*, братъ сказалъ: «Въ минуту, когда требуется необычайный національный подъемъ для одолѣнія врага и всѣхъ задачъ, поставленныхъ войной, свое время не ли взывать къ реакціи и приводить страну въ состояніе стоячаго болота? Вооруженная реакція можетъ привести страну къ молчанію, но дастъ ли она намъ силу побѣдить врага?..»

Послѣ этого адресъ Самариныхъ не получилъ 2/3 голосовъ. Но на слѣдующій день Самарины внесли кое-какія поправки въ свой адресъ и онъ получилъ 2/3, — адресъ же *Кокошкина* и *Герасимова* остался за флагомъ.

*) Записка развивала мысль, что начало общественному движенію положено земск. съѣздомъ и является плодомъ агитаціи извѣстной группы лицъ, желающихъ воспользоваться войной и настоящимъ тяжелымъ положеніемъ, чтобы исторгнуть отъ правительства согласіе на созывъ народныхъ представителей. Считаю совершенно несвоевременнымъ возбужденіе такого вопроса во время войны, записка и по существу высказывается противъ представительныхъ учреждений.

Разсужденія самаринской записки представляются непонятной слѣпотой. Казалось бы, что вся политика вовлекающая насъ въ эту несчастную войну, наглядно доказываетъ, что «самодержавная» власть не стоитъ у насъ выше всѣхъ частныхъ и партійныхъ интересовъ. Какъ же, послѣ всѣхъ вскрывшихся злоупотребленій, закрывать глаза на дѣйствительность и продолжать утверждать, что «самодержавіе» выше ихъ и не имѣетъ иныхъ цѣлей, кромѣ блага народа и страны.

При большой дружбѣ и привязанности къ семьѣ Самариныхъ, съ которыми мы были въ близкомъ родствѣ *), мнѣ тяжело бывало видаться съ ними и избѣгать опасныхъ темъ для разговоровъ, и когда ужъ слишкомъ накалило, я прибѣгала къ письменному общенію. На одно изъ такихъ писемъ Ф. Самаринъ отвѣчалъ мнѣ:

...«То разномысліе, о которомъ ты говоришь, въ сущности всегда было, только теперь перемѣнились общественныя условія. Мнѣ, при всей моей неохотѣ къ какимъ-либо публичнымъ заявленіямъ, пришлось высказаться и различіе нашихъ взглядовъ почувствовалось сильнѣе, чѣмъ прежде. Не знаю, нужно ли говорить тебѣ, какъ мнѣ было тяжело, что я не могу идти объ руку въ общественныхъ дѣлахъ съ твоими братьями. Кажется, у меня это было на лицѣ написано. Но право же это не мѣшаетъ мнѣ любить ихъ попрежнему, и никакой пропасти между нами изъ-за этого не образовалось. И это именно потому, что я цѣню прежде всего **суть человѣка**, какъ ты выражаешься, а не мифыя его, которыя могутъ быть ошибочны, могутъ мѣняться»...

А братъ С. Н. еще въ апрѣлѣ 1904 г. писалъ мнѣ изъ Дрездена: ...«Что Ф. Самаринъ? Я нѣсколько разъ писалъ ему и рвалъ письма ...главное изъ-за того, что не могу говорить съ нимъ о томъ, что переполняетъ мою душу, о моемъ патриотизмѣ, который при всей жадѣ побѣды (и даже непоколебимой увѣренности въ ней) уязвленъ и погранъ нашимъ главнымъ внутреннимъ врагомъ**).

Изъ записной книжки. 23 января. Вчера состоялось, наконецъ, открытіе Московскаго Дворянскаго Собранія. Народу — масса.

*) Ф. Д. Самаринъ былъ женатъ на моей старшей сестрѣ, Антонинѣ Ник.

***) Подъ врагомъ разумѣлось бюрократическое правительство. — «Самодержавіе у насъ», часто говаривалъ С. Н., «есть лишь штемпель бюрократическаго правительства».

Самаринскій адресъ прошелъ при дикихъ вопляхъ восторга... Но, въ общемъ, они, кажется, дорого заплатили за минуту торжества и радости. Столько оскорбленій посыпалось на нихъ со всѣхъ сторонъ на другой же день во всѣхъ газетахъ.

Въ результатъ получилось два адреса — большинства и меньшинства (219 голосовъ противъ 147). Большинство высказалось такъ:

...«Нынѣ ли, въ столь тяжелую пору думать о какомъ-нибудь преобразованіи государственнаго строя въ Россіи. Пусть минуетъ военная гроза, пусть уляжется смута, тогда направляемая державной десницей Твоей, Россія найдетъ путь для надежнаго устройства своей внутренней жизни на завѣданныхъ нами, нашей исторіей, началахъ единенія Самодержавнаго Царя съ землей».

Адресъ меньшинства гласилъ:

...«Мы жаждемъ только одного твоего слова, слова, которое дало бы намъ почувствовать, что не порвалась связь Царя съ русскимъ народомъ, что когда Ты найдешь это нужнымъ. Ты призовешь избранныхъ отъ народа людей къ участию въ государственной работѣ, дабы по мудрому примѣру Твоихъ славныхъ предковъ, въ единеніи со своимъ народомъ приготовить путь къ дальнѣйшему развитію и преуспѣванію дорогой намъ родины».

При поверхностномъ чтеніи, казалось бы, что по существу адресъ большинства тоже признаетъ необходимость реформъ и единенія Царя съ народомъ и вопросъ только «о несвоевременности» немедленнаго проведенія этого въ жизнь. Но суть въ текстѣ этого адреса заключалась въ томъ, что въ немъ предлагалось «единеніе с а м о д е р ж а в н а г о Царя съ землей», т. е. сохраненія самодержавнаго строя...

Братъ Петръ Ник. подписался подъ адресомъ меньшинства и потому вопросъ о продолженіи его службы въ качествѣ губернскаго предводителя былъ для него предрѣшенъ. Онъ всегда считалъ главною своею задачей служить объединенію дворянства и расхождение съ большинствомъ въ такомъ важномъ вопросѣ болѣзненно имъ переживалось, хотя должно сказать, что онъ не придавалъ слову «с а м о д е р ж а в і е» того принципиальнаго значенія, какое оно имѣло въ глазахъ брата С. Н. и прочихъ конституціоналистовъ. Его сбивала шиповская точка зрѣнія, видѣвшая въ титулѣ «самодержавный» лишь какое-то археологическое украшеніе къ титулу русскаго царя. Въ особомъ мнѣніи, представленномъ братомъ Петромъ Ник., онъ придерживался шиповской точки зрѣнія, къ которой его влекло и

присущее ему желаніе найти компромиссъ, на которомъ всѣ могли бы объединиться и примириться.

Но какъ разъ въ то время политическія убѣжденія начинали кристаллизоваться и отъ компромиссовъ отмахивались какъ справа, такъ и слѣва, и кучка, образовавшаяся вокругъ Шипова, не имѣла успѣха и не могла не чувствовать себя одинокою.

Когда дѣло дошло до выборовъ губернскаго предводителя, братъ Петръ Ник., чувствуя, что почва уходитъ изъ-подъ его ногъ, отъ баллотировки отказался. Выборы рѣшили отложить до болѣе благоприятныхъ обстоятельствъ, когда выяснится подходящій кандидатъ, а пока, по закону, исполненіе обязанностей губернскаго предводителя осталось за братомъ.

23 января на квартирѣ Ю. А. Новосильцева собралось 70 чел. дворянъ, изъ числа подписавшихъ адресъ меньшинства. Засѣдали до 2-хъ час. дня, и затѣмъ съ 9 до 2-хъ час. ночи, и по просьбѣ собравшихся, братъ Сергѣй Ник. составилъ «особое мнѣніе» отъ лица 147 дворянъ, которое, за исключеніемъ незначительныхъ редакціонныхъ поправокъ, всецѣло принадлежитъ его перу. Здѣсь подробно освѣщены мотивы, заставившіе «меньшинство» голосовать противъ адреса «большинства».

...«Насъ страшитъ не революціонное движеніе, которое само по себѣ, при нормальныхъ условіяхъ народно-государственной жизни, было бы совершенно безсильнымъ, насъ страшитъ общестійное, возрастающее недовольство, которое вызывается неудовлетвореніемъ насущной государственной, общественной и народной нужды... Изъ всѣхъ бѣдъ, постигшихъ Россію, мы видимъ единственный, прямой выходъ — въ организованномъ и постоянномъ единеніи верховной власти съ народомъ при посредствѣ свободно избранныхъ представителей земли.

Прочитанное въ Дворянскомъ Собраніи 2 января «Особое мнѣніе» произвело извѣстное впечатлѣніе и смущеніе, и нѣсколько человекъ отдѣлились отъ большинства и было подано еще два отдѣльныхъ мнѣнія, которыя съ ранѣе представленными и двумя адресами были совмѣстно препровождены въ Петербургъ.

9 февраля. Писала въ послѣдній разъ о Дворянскомъ собраніи. Теперь, это отошло въ область далекаго прошлаго, какъ одинъ изъ эпизодовъ зимы, о которомъ вспоминаютъ для утѣхи.

Не стану входить въ подробности убійства вел. кн. Сергѣя Александровича, — онѣ во всѣхъ газетахъ. Онѣ особенно ужасны и потрясаютъ, потому что на фонѣ этой кошмарной картины крови и убійства выступаетъ обаятельный обликъ вел. кн. Елизаветы Фед., которая за эти дни выявила себя ве-

ликой женщиной; нельзя не преклоняться передъ ея твердостью и высотой духа...

А. Лопухинъ былъ здѣсь по дѣлу слѣдствія. Разказы его навѣвають страхъ и уныніе. На-дняхъ, ночью, произвели обыски и аресты, которые дали громадные результаты. Схватили много взрывчатыхъ веществъ, по крайней мѣрѣ 8 бомбъ и массу оружія... Ежедневно хватаютъ партіи въ 60 и болѣе ружей и револьверовъ. Очень крупные и богатые купцы даютъ на это деньги. Одинъ привать-доцентъ въ Технологическомъ институтѣ или университетѣ, не помню, собралъ на сходкѣ 300 рублей на закупку оружія. Найденъ подробный планъ вооруженнаго возстанія въ Москвѣ, съ подробнымъ распредѣленіемъ и указаніемъ казенныхъ зданій и телефоновъ, которые должны быть порваны для разобщенія властей... На мой вопросъ, какой же интересъ купцамъ давать деньги на такое дѣло? А. Лопухинъ отвѣчалъ: «Желаніе сыграть роль и страхъ быть снесенными волной. Лучше стать во главѣ»...

24 февраля. Всѣ эти дни не успѣвала записывать. Самымъ крупнымъ событіемъ за это время является «рескриптъ Булыгину» 18-го февраля. Важность этого шага еще не осознана нами... Впечатлѣніе было насколько возможно ослаблено и испорчено Манифестомъ и Указомъ, обнародованными наканунѣ*).

18 февраля я завтракала у Кристи и съ трудомъ выслушивала его патетическія рѣчи о самодержавіи, о «смутѣ» и о «кучкѣ» злонамѣренныхъ подстрекателей и т. д. Вокругъ сидѣли почтительные чиновники, внимавшіе губернаторскому краснорѣчію. Видимо Г. Кристи понялъ мое впечатлѣніе, такъ какъ послѣ завтрака, отвелъ меня въ сторону и началъ говорить нѣсколько смущенно и взволнованно: — «Милый другъ, ты понимаешь, я все это такъ говорю, но очень хорошо понимаю, что кучка эта не маленькая... и положеніе очень и очень серьезное... Но я могу тебя успокоить: на-дняхъ будетъ обнародовано нѣчто такое, что вполне васъ удовле-

*) Въ Высоч. Манифестѣ, по случаю кончины вел. кн. Сергѣя Ал., «благомыслящіе» люди призывались къ искорененію крамолы, дерзновенно посягающей на устой Государства Россійскаго, полагая «учредить новое управленіе страной на началахъ Отечеству нашему несвойственныхъ». Высоч. Указомъ (отъ того же 18 февраля) на Совѣтъ министровъ возлагалось разсмотрѣніе поступающихъ на имя Государя отъ частныхъ лицъ и учреждений «видовъ и предположеній, касающихся усовершенствованія государственнаго благоустройства и улучшенія народнаго благосостоянія».

творить. Я вчера вернулся изъ Петербурга и опредѣленію это знаю. Ты увидишь!»

Въ этотъ же день, часа въ четыре, въ «Петербургскомъ Телефонѣ» мы прочли Манифестъ и Указъ и были въ полномъ ужасѣ. Я встрѣтила брата Сережу на улицѣ и онъ издала крикнуть мнѣ: — «Читала?!!»

Г. Кристи былъ въ полномъ смущеніи и повторялъ: — «Это не то, это вовсе не то!..» Всѣ съ ужасомъ ждали 19 февраля, на которое и безъ того ожидалась крупныя безпорядки.

Утромъ, я еще была въ постели, когда Сережа пришелъ съ газетой въ рукахъ объявить мнѣ: — «Сегодня по примѣру предковъ Государь вознамѣрился созвать представителей!.. Онъ радостно смѣялся и говорилъ, что какъ-никакъ, но Рубиконъ перейденъ!..»

Въ напечатанномъ въ газетѣ Высочайшемъ Рескриптѣ на имя Булыгина говорилось: «Пресмѣнно продолжая царское дѣло вѣнцесносныхъ предковъ моихъ, — собранія и устройства земли русской, я вознамѣрился отнынѣ съ Божіей помощью привлекать достойнѣйшихъ, довѣремъ народа облеченныхъ, избранныхъ отъ населенія людей къ участию въ предварительной разработкѣ и обсужденіи законодательныхъ предположеній». Въ концѣ рескрипта, для проведенія въ жизнь сего преобразования, предписывалось учредить подъ предсѣдательствомъ Булыгина «особое совѣщаніе».

Со временемъ, съ высоты исторіи, быть можетъ это покажется страннымъ, *mais, lorsqu'on fait l'histoire*, когда такъ интенсивно переживается каждый день, такія впечатлѣнія, какъ отъ вчерашняго манифеста и указа, не могутъ сразу улечься и испариться. И выходитъ, что плюсъ на минусъ — минусъ!

Земство и Дума, однако, отозвались на рескриптъ и изъявили свои восторги, которые какъ-ни-какъ знаменуютъ, что они хотятъ вѣрить! Студенты же — не хотятъ... и затѣмъ говорятъ, что этого мало: имъ нужно социальную революцію и республику... Радикалы объявляютъ, что будутъ проводить забастовку, хотя бы пришлось прибѣгнуть къ оружію въ стѣнахъ университета. И много есть отчаянныхъ головъ, способныхъ на это.

Братъ Сережа написалъ было воззваніе, приглашающее студентовъ отнестись съ довѣремъ къ «рескрипту» и приступить къ занятіямъ, но воззваніе это провалилось въ совѣтѣ университета. Профессора знаютъ, что студенты вооружаются... и при такихъ условіяхъ занятія немислимы. Сережа говоритъ, что они не возобновятся, пока не произойдетъ реакція въ об-

шествъ, которое безумствуетъ и летитъ подъ гору, очертя голову.

Страхъ передъ ожидаемымъ аграрнымъ движеніемъ выдвигаетъ на первую очередь земельный вопросъ и заставляетъ дѣлать невѣроятныя предложенія. На дняхъ у Новосильцовыхъ на совѣщаніи земскихъ дѣятелей Петръ Долгоруковъ предложилъ каждому подсчитать, сколько онъ можетъ добровольно уступить своей земли крестьянамъ, такъ какъ, если они сами не дадутъ, то все равно снизу возьмутъ!..

Петрункевичъ, о которомъ я писала въ ноябрѣ, что онъ поражаетъ умѣренностью взглядовъ, заявилъ за нѣсколько дней до появленія «рескрипта» предложеніе собрать въ Петербургѣ 600-700 чел. земцевъ и учредить изъ себя «Учредительное Собраніе» и т. д... Сережа не видитъ сейчасъ возможности издавать журналъ, такъ какъ, за исключеніемъ 3-4 чел. среди намѣченныхъ имъ сотрудниковъ, всѣ перешли въ радикальный лагерь.

Сегодня, проѣздомъ изъ Петербурга, у насъ былъ дядя С. А. Лопухинъ (въ то время прокуроръ Судебн. Палаты въ Кіевѣ). Онъ въ большемъ подъемѣ духа и оптимистически настроенъ. Такъ же, какъ и А. Лопухинъ (директоръ Департамента полиціи), онъ вѣритъ, что рескриптъ внесетъ дефференціацію въ общество и что здоровые элементы за него уцепятся. Предложеніе гласнаго Мануилова въ земск. собраніи избрать комиссію для выработки проекта отъ московскаго земства должно заставить работать, а не болтать только и должно и крайніе элементы въ земствѣ привести къ извѣстнымъ компромиссамъ и заставить призадуматься надъ трудностями осуществленія и проведенія въ жизнь реформъ, о которыхъ сплеча такъ много и легко говорится. Адресы Думы и Земства очень хорошіе признаки.

Но все же всѣ въ недоумѣніи: какъ связать этотъ «рескриптъ» съ Манифестомъ и Указомъ?.. и только руками разводять!..

Дядя С. А. Лопухинъ привезъ намъ любопытное разъясненіе. 17-го февраля онъ былъ у Манухина (министра юстиціи) и бесѣда шла о современномъ положеніи дѣлъ. Манухинъ говорилъ, что вѣроятно, вскорѣ будетъ дано что-нибудь положительное, потому что дальше такъ жить нельзя. «Будетъ, конечно, переходной моментъ».. На этомъ отворяется дверь и курьеръ подаетъ два пакета: въ одномъ былъ Указъ, въ другомъ Манифестъ...

Послѣ прочтенія оба были въ оцѣпѣннѣи. Манухинъ изъ

винился, что долженъ немедленно приступить къ распоряженію объ опубликованіи, и дядя С. А., распроставшись съ нимъ, поѣхалъ къ А. Лопухину. Когда послѣдній узналъ о МанIFESTѣ, онъ за голову схватился: «Какъ! быть не можетъ!» — и поспѣшилъ по телефону увѣдомить Булыгина. А. Г. Булыгинъ тоже ничего не зналъ о появленіи МанIFESTа. Онъ зналъ, что у Государя былъ заготовленъ МанIFESTъ еще со смерти вел. кн. Сергѣя Ал. и приблизительно зналъ его содержаніе, но надѣялся, что ему удалось убѣдить Государя его не выпускать, — и тутъ пораженіе было полное и перспектива на завтрашній день рѣзни *).

Въ пятницу 18-го февраля всѣ министры и члены Госуд. Совета съѣхались по обыкновенію въ Царскомъ. Булыгинъ взялъ съ собой заготовленный имъ проектъ МанIFESTа (о которомъ, вѣроятно, и говорилъ мнѣ Г. Кристи) и тутъ общимъ единодушнымъ напоромъ удалось склонить Государя подписать «рескриптъ», который испекли на мѣстѣ, передѣлавъ булыгинскій проектъ МанIFESTа. Сольскій, старѣйшій между присутствовавшими, торжественно скрѣпилъ подпись Государя, отвѣсивъ ему низкій поклонъ и поздравилъ съ вступленіемъ Россіи въ «новую эру», а старикъ Хилковъ стоялъ и широко крестился, пока Государь подписывалъ...

Уже къ вечеру 18-го въ Петербургѣ продавали «добавленіе» «Правительственнаго Вѣстника» съ «Рескриптомъ Булыгину» и публика не знала, какой исторической моментъ легъ между этими двумя актами... Пока Булыгинъ находился въ Царскомъ, ему, по телефону, то и дѣло передавали о новыхъ безпорядкахъ то тамъ, то здѣсь, и, главное, въ Баку. Все это подерживало единодушіе представителей бюрократіи *d'abdiquer en faveur des représentants...* Но одинъ голосъ раздался противъ — голосъ С. Ю. Витте!..

На-дняхъ у насъ завтракалъ Петрункевичъ и сообщилъ еще интересную версію (изъ достовѣрнаго источника) о томъ же «рескриптѣ». Въ день обнародованія МанIFESTа (18-го февраля) представители группы финансистовъ, съ которыми Кочетковъ велъ переговоры о заключеніи займа въ Парижѣ, явились къ нему съ тѣмъ, что при данныхъ условіяхъ: МанIFESTа и Указа, заемъ нельзя будетъ реализовать... Курсъ нашъ не упадетъ отъ неудачъ въ Манѣчуріи и даже если-бъ вспыхнула

*) 19 февраля, дата освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, была всегда излюбленной датой для политическихъ демонстрацій.

война съ Англіей, но съ «манифестомъ» Россія вступаетъ на путь смуты и цѣнности наши должны пасть до 75%... Кокковцовъ былъ противъ «представителей», но пришлось доложить Царю, что денегъ нѣтъ и заняты нельзя будетъ, если остаться при Манifestѣ. Пришлось согласиться на «рескриптъ». Такимъ образомъ on lui a forcé la main.

Въ концѣ февраля 1905 г. въ Москвѣ происходили совѣщанія группы земскихъ дѣятелей, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ Россіи и, одновременно, происходили совѣщанія и городскихъ дѣятелей. Братъ Сергѣй Ник. посѣщаль земскія совѣщанія, собиравшіяся въ д. Ю. А. Новосильцева (быв. д. кн. А. А. Щербатова, на Б. Никитской) и весьма ими интересовался.

Кромѣ вопроса о предстоящей организаціи представительства и аграрнаго вопроса, оживленныя пренія возбуждали вопросъ объ отношеніи къ Совѣщанію, образованному подъ предсѣдательствомъ А. Г. Булыгина. Всѣ признавали желательнымъ участіе выборныхъ отъ земствъ и городовъ и представителей существующихъ общественныхъ учреждений въ работахъ этого Совѣщанія, и большинство примкнуло къ мысли обратиться съ соотвѣтствующей петиціей въ Совѣтъ министровъ на основаніи «указа 18 февраля». Аналогичное представленіе было принято и на совѣщаніи городскихъ дѣятелей. Но А. Г. Булыгина было трудно подвинуть на такое дѣло.

Кн. А. Д. Оболенскій писалъ С. Н. (25 февраля 1905 г.):

«Событія идутъ съ такой головокружительной быстротой, что прямо не успѣваешь сосредоточиться, чтобы сдѣлать какое-нибудь основательное предположеніе. Послѣ «рескрипта» центральной точкой сдѣлался, по крайней мѣрѣ въ моихъ глазахъ, Булыгинъ. Я и перенесъ на него свои насѣданія. Думаю, однако, что это вотще. Если-бъ и удалось его раскачать, то время будетъ упущено. Теперь военныя событія все заслонили, и то малое спокойствіе и малое вниманіе, на которое еще можно было разсчитывать, почти что улечучиваются. Тѣмъ не менѣе, я не полагаю рукъ...

...Нечего говорить, что «рескриптъ» самъ по себѣ никого и ничего успокоить не можетъ. Но отчего его оставлять самого по себѣ? Дѣло въ томъ, что онъ все-таки есть малая брешь, маленькое отверстіе, которое надо всячески стремиться увеличить. Едва замѣтная тропинка, но почему не попробовать и по ней идти? Можетъ быть дорога и проторится. Въдь если мы этимъ не воспользуемся, поле активной дѣятельности останется за Грингмутомъ съ одной стороны, бомбами — съ другой, причемъ, безъ сомнѣнія, побѣдятъ послѣднія. Вотъ почему я и сосредоточился на

Булыгинѣ, дѣйствуя и прямо и косвенно, побуждая его собрать большую, широкую и гласную комиссію. Вѣдь ясно же, что вся наша задача теперь сводится къ тому, чтобы спасти возможно большее количество человѣческихъ жизней. Что же при такомъ положеніи дѣлать? По моему, надо выбирать депутаціи, посылать ихъ сюда, приставать къ Булыгину, убѣждать, укрѣплять, подбодрять и прочее, всѣми зависящими мѣрами. Надо притворяться, что «рескриптъ» — большая дорога и идти по его тропинкѣ, какъ по большаку. Я началъ съ того, что сказалъ тебѣ, что это вотще. Но кто знаетъ. Если одно слово «довѣріе» Мирскаго доковыряли до Указа 12 декабря, то неужели «рескриптомъ» нельзя воспользоваться и довести до настоящихъ с. и. п. (свободно избранныхъ представителей. — О. Т.). Ты скажешь, теперь времена другія, теперь уже адресовъ писать не хотятъ. Это вѣрно, но вѣдь надо же имѣть достаточно политическаго такта и чутья, чтобы ухватиться и за маленькую веревку, выброшенную съ берега въ лодку, «волнами обуреваемую». Потяни за веревку, можетъ въ концѣ окажется канатъ, и ты, взявшись за него, пристанешь къ берегу и благополучно. Но главное не надо отвращаться отъ этой веревки потому, что она попала случайно, что ее не такъ слѣдовало бросить, что она можетъ порваться и проч., и проч. Во всякомъ случаѣ людямъ благоразумнымъ, людямъ порядка нечего другого дѣлать».

Нѣсколько дней спустя, 1-го марта, А. Д. Оболенскій вновь пишетъ:

«Милѣй другъ Сережа! Сегодня есть оказія, которую упускать не хочу, а потому пишу нѣсколько словъ. Булыгина раскатать непомѣрно трудно. Однихъ ходатайствъ мало, надо депутаціи, которыя прямо бы доминировали въ двери. Здѣсь имѣются безумцы, въ числѣ ихъ С. Д. Ш., съ лѣвой у рта доказывающій, что вся смута выдумана, даже въ Петербургѣ, что Россія покойна и желаетъ лишь одолѣть врага, который все слабѣетъ и проч. Что дѣлать противъ такого сумасшествія? Но этихъ сумасшедшихъ оставляютъ на свободѣ, и даже со свободой ходитъ по дворцѣ!.. Удары, нанесенные нашей арміи, все же кажется дѣлаютъ свое дѣло, и мнѣ кажется, что поворотъ на этихъ дняхъ долженъ быть и наверху. Мы ходимъ въ большомъ уныніи; и состояніе растерянности и меня начинаетъ охватывать.»

Видно теперь находится въ хорошемъ настроеніи и съ нимъ можно разговаривать. Онъ правильно по моему смотритъ на дѣло. Къ сожалѣнію, онъ себя совершенно скомпрометировалъ во всѣхъ мѣстахъ, и у него все-таки людей не хватаетъ».

Изъ записной книжки. — Сегодня у насъ состоялось собраніе редакціи для обсужденія программы проектируемаго журнала «Московской Недѣли». Кромѣ братьевъ — Евгений прі-

ѣхалъ изъ Кіева третьяго дня — были Петрункевичъ, кн. Шаховской, Кокошкинъ, Мануиловъ, Н. Н. Львовъ, Новосильцевъ, двое Долгоруковыхъ (Петръ и Павелъ), Вернадскій, Новгородцевъ, Котляревскій, Рахмановъ, Герценштейнъ и Якушкинъ.

Я сидѣла у себя въ гостиной; дверь изъ Серезинаго кабинета въ корридоръ была отворена. Я просила Серезу не закрывать ее и сказала, что постараюсь записать для себя все, что будетъ говориться.

Сереза началъ съ того: обсуждать ли вопросъ объ организаціи журнала или, его программы? Въ вопросѣ программы касаться ли теперь вопроса о двухъ палатахъ, обсуждавшагося на съѣздѣ у Новосильцева. Всѣ согласились отложить обсужденіе этого вопроса, а теперь заняться вопросомъ о прямой или двустепенной подачѣ голосовъ. Сереза напомнилъ, что въ первомъ засѣданіи редакціи большинство высказалось противъ прямой подачи и за двустепенную.

Кн. Шаховской замѣтилъ, что это вопросъ наиболѣе важный для опредѣленія политики изданія. Онъ безусловно за прямую подачу голосовъ, такъ какъ равенство правъ можетъ быть достигнуто лишь путемъ прямой подачи. Эта идея должна объединять всѣхъ и недоверіе къ массамъ не согласуется съ основными принципами редакціи, которая именно должна стоять за равенство правъ для всѣхъ. Отступление отъ признанія прямой подачи голосовъ вызоветъ расколъ.

Кокошкинъ напомнилъ, что если остаться на почвѣ съѣзда, то тамъ вопросъ о прямой подачѣ разрѣшенъ въ томъ смыслѣ, что хотя въ принципѣ и желательно прямое голосованіе, но для первыхъ выборовъ, едва ли это осуществимо...

Кн. Петръ Долгоруковъ — убѣжденный сторонникъ прямой подачи, но для созыва учредительнаго собранія онъ считаетъ возможнымъ допустить двустепенную подачу, съ тѣмъ, чтобы послѣдующіе выборы производились бы уже посредствомъ прямого голосованія.

Якушкинъ согласенъ, что въ принципѣ прямые выборы — идеаль, но въ данную минуту приходится признать обязательность двустепенныхъ выборовъ для Учредительнаго Собранія. Прямая подача должна быть введена, какъ програмный пунктъ журнала.

Н. Н. Львовъ. Вопросъ о прямомъ избирательномъ правѣ теряетъ свою остроту при двухъ-палатной системѣ. Опасность прямого голосованія заключается въ тенденціи къ демократическому абсолютизму. Вторая палата служитъ здѣсь коррективомъ. Въ виду этого онъ предлагаетъ разсматривать вопросъ о

прямой подачѣ, не какъ въ вопросѣ догмы, а въ вопросѣ цѣлесообразности.

Кн. Шаховской съ горячностью возражалъ на это, что все русское образованное общество смотритъ на эту идею именно, какъ на догму, дорожить ею. Это вопросъ существа. Только при этомъ возможно политическое воспитаніе народа и развитіе въ немъ сознанія равноправности. Народную массу должно воспитать возможно скорѣе и это можетъ быть достигнуто только путемъ представительства всѣхъ гражданъ, а не учреждений. Опасности прямой подачи онъ не отрицаетъ, но если бояться опасностей, то и строя мѣнять нечего.

Мануиловъ заявляетъ, что онъ защитникъ двустепенныхъ выборовъ не въ силу того, что считаетъ народъ неразвитымъ и глупымъ, наоборотъ, народъ понимаетъ свою ближайшую выгоду и потому, когда дѣло дойдетъ до выборовъ, онъ скорѣе выберетъ кабатчика, отъ котораго онъ въ зависимости, чѣмъ его, Мануилова, хотя бы онъ его любилъ и уважалъ. До пониманія другихъ, болѣе общихъ выгодъ, народъ не доросъ. Вотъ гдѣ опасность, почему и нужна постепенность. Онъ не за нарушеніе демократическаго принципа, но пока за двустепенную подачу и за двѣ палаты.

Кокошкинъ не видитъ нарушенія демократическаго принципа въ двустепенной системѣ. Она система можетъ перейти въ другую — двустепенная въ прямую. Несомнѣнно, что народъ долженъ, какъ можно скорѣе, приучиться разбираться въ партіяхъ и потому прямая подача лучше, но вѣдь партіи пока не образовались и народъ ихъ не понимаетъ. Поэтому теперь, при первыхъ выборахъ для Учредительнаго Собранія, можетъ быть только рѣчь о двустепенной подачѣ, а затѣмъ, для послѣдующихъ выборовъ — прямая.

Кн. Е. Н. Трубецкой. Нужно стремиться къ идеалу прямой подачи, но такъ какъ въ данное время для осуществленія ся возникаетъ много серьезныхъ неудобствъ, то, обсуждая вопросъ, надо дать свободу высказаться за и противъ.

Кн. С. Н. Трубецкой. Надо въ журналѣ дать просторъ свободному обсужденію всѣхъ «про и контра». Болгарію нельзя одну ставить въ примѣръ достойный подражанія: надо помнить, что она прошла черезъ «стамбуловщину». Гессенъ согласился, что два года такого режима хуже всякаго самодержавія.

Петрункевичъ согласенъ съ Шаховскимъ, что отступленіе отъ принципа приведетъ къ расколу. Враги у насъ направо и нѣтъ, — мы въ центрѣ. Лѣвая сильнѣе своей фанатической вѣрой, и она организована. Если мы съ нею не сговоримся, ---

мы безсильны... и она может внести страшное разрушеніе. Поэтому я скажу: если-бъ даже мы думали иначе, если-бъ прямая подача не лежала краеугольнымъ камнемъ въ нашемъ сознаніи, мы должны были бы въ этомъ согласиться съ лѣвой. Поэтому должно настаивать, чтобы лозунгъ прямой подачи былъ открыто высказанъ, а затѣмъ можно предоставить и свободу обсуждения.

Мануиловъ и кн. Е. Трубецкой сомнѣваются, чтобы путемъ уступокъ можно было приобрести довѣріе лѣвой.

Н. Н. Львовъ. Намъ ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ идти за крайними партіями. Задача въ томъ, чтобы разгадать реальность.

Котляревскій. Едва ли хорошо для уничтоженія недоувѣрія давать нашимъ противникамъ поводъ попрекать насъ вынужденными уступками. Мы стояли до сихъ поръ и должны стоять на собственной почвѣ.

Кн. Е. Трубецкой никакъ не можетъ согласиться съ Петрункевичемъ, что «даже если мы думаемъ иначе», мы должны принять прямую подачу, чтобы идти въ ногу съ лѣвой. Это не соответствовало бы достоинству партіи, ни ея назначенію. Не должно также переоцѣнивать значенія крайней партіи. Она должна считаться съ нами и привыкнуть къ мысли, что у насъ есть принципы, на которыхъ мы твердо стоимъ и ими не поступимся. Мы должны рѣзко очертить границы и не идти на буксиръ крайнихъ партій. Напримѣръ (говорю только для примѣра): мы должны рѣзко поставить вопросъ о непрекосновенности индивидуальной собственности.

Петрункевичъ спрашиваетъ, что задача журнала литературная или политическая? Практической политикъ долженъ учитывать силы. Мы не должны дѣлать уступокъ ни правой, ни лѣвой, и въ этомъ отношеніи его не такъ поняли. Говоря объ уступкахъ, онъ разумѣлъ народную массу, а не социаль-демократическую партію. Вѣрить ли масса въ этотъ лозунгъ? Если нѣтъ пока, то все-таки мы должны учесть быстроту демократизации мнѣній. Рабочее движеніе только что доказало намъ, съ какой быстротой усваиваются политическія понятія, то же можетъ произойти и въ крестьянской средѣ.

Герценштейнъ думаетъ, что какъ рабочее, такъ и крестьянское движеніе склонны преувеличивать. Онъ не вѣритъ въ возможности рабочихъ, и что они способны сами выдвинуть вопросъ о прямой подачѣ голосовъ, какъ вопросъ догмы.

Петрункевичъ не безъ язвительности замѣтилъ, что вѣроят-

но Михаилъ Яковлевичъ (Герценштейнъ) имѣть свѣдѣнія о рабочихъ отъ рабочей инспекціи...

Кн. Шаховской. Дѣло не въ социаль-демократіи, а въ томъ, какъ велико мыслящее общество и чѣмъ оно живетъ? Кто наблюдалъ немного, тому ясно, какую роль сыгралъ «Сынъ Отечества» и «Наши Дни» въ рабочемъ движеніи, а также и банкеты... Я знаю, какое распространѣніе «Наши Дни» получили среди казаковъ, какое впечатлѣніе произвело запрещеніе этого журнала. А учительская организація, располагающая 10 тыс. учителей для пропаганды? Кн. Шаховской заключаетъ тѣмъ, что наша трезвость насъ погубить.

Н. Н. Львовъ утверждаетъ, что если сознанія нѣтъ, — есть инстинктъ равенства, присущій нашему крестьянству. Если-бъ мы могли рассчитывать на искренность нашего правительства, вопросъ стоялъ бы иначе, но на это рассчитывать нельзя. Слѣдовательно, остается опереться на народъ и на народный инстинктъ, который можетъ вспыхнуть и озарить для него вопросъ. Это не догматъ, а реальность, на которую можно опереться.

Герценштейнъ. Позволю себѣ предложить вопросъ Ивану Ильичу (Петрункевичу): будемъ ли мы идти на буксиръ крайнихъ партій и въ сферѣ экономическихъ и аграрнаго вопросовъ?..

Петрункевичъ. Дѣлать уступки можно, но не въ принципахъ. Въ вопросѣ о прямой подачѣ мы въ принципѣ сходимся съ лѣвой, вопросъ для насъ лишь въ своевременности. Въ экономическихъ вопросахъ уступки могутъ произвести страшныя потрясенія. Напримѣръ, идея чернаго передѣла: пойду ли я на это? — Да ни въ коемъ случаѣ!..

На этомъ окончились пренія по вопросамъ программы, приступили къ организационнымъ вопросамъ журнала и я, уставъ слушать и записывать, закрыла дверь...

Въ концѣ апрѣля въ Москвѣ долженъ былъ состояться аграрный съѣздъ земскихъ и городскихъ дѣятелей. Изъ всѣхъ вопросовъ, поднятыхъ въ то время, земельный вопросъ представлялся Сергѣю Ник. самымъ труднымъ и сложнымъ и, по его собственному признанію, онъ былъ неясенъ для него. Онъ писалъ брату Евгенію въ Кіевъ (апрѣль 1905 г.):

«Милый Женя! Христосъ Воскресе! Послалъ тебѣ депешу: журналъ выходитъ 1-го мая. Это я тебѣ скажу и страшно и трудно изъ-за сотрудинокъ. Экономисты прибрали къ рукамъ конституціоналистовъ. И что я съ этими конституціонъ-экономиста-

ми буду дѣлать? — не знаю... Пусть Ц. присылаетъ статью и, главное, пусть самъ прѣбываетъ къ 30-му апрѣля, на бой съ нашими экономистами, «прирѣзочниками», а то они подбираютъ исключительно свою компанію и навязываютъ свою программу земской конституціонной партіи, какъ обязательный «минимумъ», причемъ, въ циркулярѣ, прямо признаютъ «конечнымъ идеаломъ» «переходъ всей земли въ руки тѣхъ, кто ее обрабатываетъ». Все это болѣе серьезно, чѣмъ тебѣ это кажется издали.

Для моей газеты всѣ надежды на тебя. Возьми пай стоимостью въ 500 рублей (лучше два пая) и уплати за него статьями, не деньгами: если ты не будешь писать, меня массой завалятъ лѣвѣйшіе меня... Впрочемъ, и ты подѣвѣлъ незрядо, судя по резолюціи профессорскаго съѣзда: по моему, вообще политическія резолюціи писать не слѣдовало, хотя по существу съ ней можно и согласиться. Для «Московской Недѣли» нужна самая энергичная твоя поддержка.

На съѣздѣ земскихъ и городскихъ дѣятелей 29 апрѣля 1905 года аграрный вопросъ обсуждался не во всемъ объемѣ, а касался лишь вопроса о малоземельѣ.

Прослушавъ доклады М. Я. Герценштейна и А. А. Мануйлова, С. Н. высказался очень осторожно: «Въ основу программы аграрной реформы положено принудительное отчужденіе частновладѣльческихъ земель, причемъ этой мѣрѣ придается не только главенствующее, но можно сказать, исключительное значеніе. Тотъ, кто будетъ голосовать за проектъ въ предлагаемомъ видѣ, будетъ голосовать за ликвидацію частнаго землевладѣнія. Но въ проектѣ коренной аграрной реформы нельзя обходить вопроса права и, отмѣняя существующія правовыя нормы, необходимо устанавливать новыя, между тѣмъ докладчики совершенно обходятъ вопросъ о *ratio juris*, — точно такъ же, какъ они не касаются множества юридическихъ финансовыхъ и экономическихъ вопросовъ, отъ рѣшенія которыхъ зависитъ не только рѣшеніе, но и самая постановка занимающей насъ проблемы. Но и независимо отъ указанныхъ недочетовъ, проектируемая реформа возбуждаетъ сомнѣнія.

Что покупаемъ мы столь дорогой цѣною? Обезпечиваемъ ли мы надолго социальный миръ и благоденствіе? Обезпечиваемъ ли мы хотя бы агрикультурный прогрессъ, интенсификацію крестьянскаго хозяйства? Сохраняемъ ли мы общинное землевладѣніе и землепользованіе, принудительную общину? Не вводимъ ли мы мелочную, всепроникающую бюрократическую организацію землевладѣнія и земельныхъ отношеній? Говоря о безсословности, не создаемъ ли мы новое сословіе привилегированныхъ мелкихъ землевладѣльцевъ? Все это вопросы,

которые остаются открытыми, и я не вижу возможности голо-совать проект, пока они не будут выяснены».

Можно сказать, что до конца жизни вопросъ въ той формѣ рѣшенія, какая предлагалась на сѣздѣ, вызывалъ его возраженія: «Безъ соединенныхъ энергичныхъ усилій правительства и земства, направленныхъ къ интенсификаціи сельскаго хозяйства, крестьянство будетъ голодать на увеличенныхъ надѣлахъ, какъ оно голодаетъ теперь на крупныхъ надѣлахъ въ Самарской губерніи», писалъ онъ на страницахъ «Московской Недѣли», и эту мысль онъ часто высказывалъ: «Абсолютнаго и окончательнаго рѣшенія аграрнаго вопроса мы не знаемъ», писалъ онъ тамъ же, «и не ищемъ выхода изъ современнаго кризиса ни въ отвлеченныхъ идеалахъ болѣе или менѣе далекаго будущаго, ни еще менѣе въ возбужденіи массъ, съ цѣлью немедленнаго и насильственнаго примѣненія этихъ идеаловъ въ дѣйствительности. Мы будемъ имѣть въ виду реальную цѣль и реальныя средства. Для улучшения народнаго благосостоянія и мирнаго разрѣшенія аграрнаго кризиса необходима не одна какая-нибудь мѣра, а цѣлая система мѣръ. Каждая изъ нихъ въ отдѣльности, какъ бы хороша и цѣлесообразна она ни была, сама по себѣ, безъ совокупности другихъ, будетъ недостаточной». Въ числѣ этихъ мѣръ С. Н. указываетъ на податную реформу, переселеніе, расселеніе, пересмотръ аренднаго законодательства, организацію мелкаго кредита и проч. С. Н. указывалъ однако, что при условіи бюрократическаго режима, такая реформа никогда не получитъ достаточной широты и прочности, «не будетъ тѣмъ народнымъ дѣломъ, какимъ она должна быть»... и это одно уже должно служить залогомъ осуществленія той политической реформы, безъ которой немыслимо наше дальнѣйшее государственное существованіе.

Но тѣмъ не менѣе, С. Н. все-таки признавалъ, что мы «двинулись». Онъ радостно привѣтствовалъ Указъ 17 апрѣля о вѣротерпимости, признавалъ въ немъ первое доброе дѣло современнаго движенія, переходъ отъ слова къ дѣлу. Несмотря на свою неплюдоту, «великій принципъ вѣротерпимости впервые получилъ реальное, хотя еще несовершенное признаніе для инославныхъ, а политика реакціоннаго агрессивнаго націонализма и національной вражды на окраинахъ измѣнилась». Рядъ правительственныхъ актовъ и мѣропріятій свидѣтельствуютъ о совершающемся поворотѣ къ политикѣ умиротворенія, къ признанію права языковъ и національностей, входящихъ въ составъ имперіи. «Трудно и радостно вмѣстѣ жить эти дни. Встрѣтимъ ихъ бодро, безъ мало-

душныхъ страховъ, зная, что много бурь впереди, много работы и что расплата за грѣхи нашего прошлаго неизбежна и велика. Но есть сознание, что необъятное поле раскрывается передъ нами все шире и шире, что оно зоветъ работниковъ, что теперь можно жить и умереть для великаго и свѣтлаго дѣла. Есть сознание, что трудъ нашъ не пропадетъ и много насъ выйдѣтъ въ поле...»

Несмотря на такое оптимистическое настроеніе передовой статьи перваго номера «Московской Недѣли», ей не суждено было увидѣть свѣтъ при жизни С. Н. Еще въ концѣ апрѣля И. И. Петрункевичъ привезъ изъ Петербурга тревожныя свѣдѣнія. Кн. П. В. Трубецкая писала брату Евгенію въ Кіевъ:

«Цензура строить каверзы. Петрункевичъ, который сегодня вернулся изъ Петербурга и завтракалъ у насъ, говорить, что въ цензурномъ комитетѣ въ Петербургѣ очень боятся этого новаго органа, — не потому, чтобы редакторъ принадлежалъ къ крайней лѣвой, а потому что онъ къ ней не принадлежитъ и что голось разума, съ своимъ отрезвляющимъ дѣйствіемъ, можетъ сильнѣе повліять, чѣмъ крайнія нелѣпицы...»

Первый номеръ «Московской Недѣли» задержался и вмѣсто 1-го мая долженъ былъ выйти 12-го. 10-го мая инспекторъ типографіи частнымъ образомъ справлялся въ типографіи Кушнарера о томъ, когда начнется печатаніе «Московской Недѣли»: ему надо было ѣхать на дачу, а газету имѣлось въ виду арестовать, о чемъ редакція была своевременно предупреждена. На другой день, 3/4 часа послѣ отсылки въ цензуру перваго номера этой безцензурной газеты, она была арестована.

Арестъ перваго номера не заставилъ С. Н. сразу отказаться отъ изданія, онъ былъ твердо увѣренъ, что обстоятельства въ скоромъ времени измѣнятся, но за арестомъ перваго номера, послѣдоваль арестъ 2-го и 3-го...

Въ недоконченномъ письмѣ къ П. Г. Виноградову мы читаемъ:

«Дорогой Павелъ Гавриловичъ! Арестъ «Московской Недѣли» (три номера подрядъ) заставляетъ насъ воздержаться отъ изданія до перемѣны вѣванія. Ничего въ этихъ номерахъ нецензурнаго не было: все дѣло объясняется доносомъ Грингмутоасакаго агентства, вслѣдствіе котораго, по мановенію изъ Петербурга, газета арестовалась въ станкѣ, до отпечатанія. Очевидно, надо переждать.»

Какъ жаль, что васъ здѣсь нѣтъ среди этой кипучей, напряженной жизни, разомъ пробудившейся. Въ вашихъ письмахъ такъ чувствуется, что вы пишете издадека... Я самъ противникъ

«четырёхвостки», т. е. въ особенности, прямой и не могу не сочувствовать многому изъ того, что вы пишете. Вы знаете, что я никогда не былъ радикаломъ, что я анти-радикаль. И однако, я увѣренъ, будь вы среди насъ, вы бы многое иначе написали: недостаточно быть освѣдомленнымъ о движеніи, надо его чувствовать, его осязать, чтобы съ нимъ бороться, надо присутствовать при дебатахъ всѣхъ этихъ бурныхъ многочисленныхъ собраний и съѣздовъ, видѣть настроеніе массъ»...

Много труда, энергій и силъ затратилъ С. Н. на дѣло редакціи и глубоко сознавалъ значеніе и отвѣтственность печатнаго слова въ эти дни. Онъ считалъ, что печать не только должна служить принципиальному и всестороннему освѣщенію и разработкѣ вопросовъ, «но и организациі общественнаго мнѣнія, она пріобрѣтаетъ н о в о е политическое значеніе, какого раньше она не имѣла».

Ясно, что именно этого послѣдняго въ Петербургѣ нисколько не желали и съ тревогой слѣдили за «кристаллизацией силъ» вокругъ С. Н., значеніе и популярность котораго среди общественныхъ дѣятелей росли съ каждымъ днемъ.

Кн. О. Трубецкая.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Человѣческая личность и сверхличныя цѣнности *)

II.

Личность предполагаетъ существованіе сверхличнаго, трансцендированіе за предѣлы личности къ сверхличнымъ цѣностямъ, наполненіе ея универсальнымъ содержаніемъ. Личность не можетъ оставаться замкнутой въ себѣ, она должна выходить къ другому, къ другимъ людямъ, къ обществу, къ космосу, къ Богу. Личность нуждается въ общеніи съ другими живыми существами и въ служеніи тому, что она переживаетъ, какъ высшее, какъ цѣнность, какъ святыню. Тогда только жизнь ея наполняется качественнымъ содержаніемъ. Личность не есть часть общества или часть космоса, но въ ней есть социальная и космическая сторона. Человѣкъ есть не только социальное существо, но онъ есть также и социальное существо и онъ призванъ реализовать свою личность и въ обществѣ, въ общеніи съ другими людьми. Реализація личности предполагаетъ выходъ за ея предѣлы, но съ сохраненіемъ ея неповторяемаго своеобразія. Эгоцентризмъ, который и есть главный результатъ первороднаго грѣха, разрушаетъ личность. Солипсизмъ, который признаетъ реальность только собственнаго я, есть отрицаніе личности. Философскій солипсизмъ есть рѣдкое направленіе мысли и не можетъ быть послѣдовательно проведенъ, но практическій солипсизмъ очень распространенъ. Человѣкъ очень легко дѣлаетъ себя центромъ мірозданія, все относитъ къ себѣ, смотритъ на міръ изъ глубокой ямы, въ которую заключилъ себя, и потому теряетъ перспективу міра, онъ не видитъ и не различаетъ реальностей, дѣлается неспособнымъ трансцендировать къ другимъ реальностямъ. Этотъ практическій солипсизмъ или эгоцентризмъ не видитъ солнца, освѣщающаго міръ. Реализація личности въ человѣкѣ предполагаетъ способность къ различенію. Но эгоцентризмъ болѣе всего мѣшаетъ

*) См. «Совр. Зап.» кн. 63.

различенію реальностей, различенію другихъ личностей. Всѣ люди немного эгоцентрики и имъ приходится бороться съ этой своей падшестью. Но для крайняго эгоцентрика все смѣшивается въ поглощенности собой и въ этой смѣшанности теряется личность, ибо личность есть различіе себя, отличіе себя отъ другихъ реальностей. Предѣлъ эгоцентризма есть обратное каррикатурное подобіе вхожденія чловѣка въ единство божественной жизни (теозисъ). Крайній эгоцентрикъ можетъ любую идею и цѣнность превратить въ средство самоутвержденія. Любая эмоція можетъ размыкать чловѣка и можетъ замыкать его въ себѣ. Даже смиреніе можетъ оказаться худшей формой гордости и помѣшательства на себѣ. Любовь къ какой-нибудь національной или соціальной идеѣ можетъ быть формой эгоцентризма. Прилагательное «личный», «личное» можетъ быть употребляемо въ отрицательномъ и порицательномъ смыслѣ эгоцентричности. Говоря «онъ очень личный чловѣкъ», обозначаютъ этимъ не выраженность въ немъ личности, а помѣшательство на себѣ и неспособность выйти изъ себя. Открытіе личности въ «я» есть также непременно открытіе личности въ «ты», различеніе «ты», способность выйти къ «ты», къ чему не способенъ эгоцентрикъ. Трансцендированіе личности, выходъ къ другому совершается двояко — черезъ отношеніе къ другимъ личностямъ же и черезъ отношеніе къ сверхличнымъ цѣностямъ и святынямъ. Качественное содержаніе личности возрастаетъ черезъ ея творческое общеніе съ «ты», съ другой личностью и съ соединеніемъ личностей, съ личностью чловѣка и личностью Бога, и черезъ ея творческое отношеніе къ сверхличнымъ цѣностямъ и святынямъ, принимающее часто форму отношенія къ «идеямъ». Личность бѣдна и безсодержательна, если она не служитъ стоящимъ выше ея цѣностямъ и идеямъ. И личность можетъ быть подавлена и превращена въ средство цѣностями и идеями. Въ этомъ вся трудность судьбы личности. Отдавъ себя на служеніе высшей идеѣ личность можетъ достигнуть высоты и величія. Но на этомъ пути личность можетъ быть и совершенно поработана, не качественно наполнена, а опустошена. Чловѣкъ можетъ быть одержимъ идеей, потерять равновѣсіе, сознаніе его можетъ быть страшно сужено. Для осуществленія поставленной себѣ цѣли люди легко превращаютъ эту относительную по своему значенію цѣль въ абсолютную святыню, этимъ они увеличиваютъ свою энергію въ борьбѣ. Особенно часто это происходитъ съ цѣностями политическими. Это можетъ быть такъ выражено: чловѣческая личность стоитъ передъ цѣностями, которыя она долж-

на творчески осуществлять, и передъ идеями, превратившимся въ идолы. Личности въ ея стремленіи къ сверхличному содержанию подстерегають опасность идолотворенія. Въ идолы могутъ быть превращены и подлинныя цѣнности. Любая идея можетъ быть превращена въ идолъ и тогда она съѣдаетъ личность, дѣйствуетъ на нее разрушительно и дѣлаетъ людей жестокими. Люди идеи иногда бываютъ жестокими къ ближнему. Всякая абсолютизация относительнаго превращается въ идолотвореніе. Относительная и подчиненная цѣнность, если ей придать абсолютный характеръ, дѣлается пожирающимъ идоломъ. Когда частному и подчиненному предають характеръ всеобщій и верховный, то происходитъ идолотвореніе. Вся область политической жизни относится къ средствамъ, а не цѣлямъ жизни, которая духовны, и она легче всего поражаетъ идолотвореніе. Процессъ идолотворенія играетъ колоссальную роль въ человѣческой жизни. Въ современномъ мірѣ онъ принялъ характеръ настоящей демонологіи. Но идолопоклонство въ нашемъ мірѣ приняло совсѣмъ новыя формы, отличныя отъ тѣхъ, которыя оно имѣло въ мірѣ библейскомъ.

Личности нѣтъ, если нѣтъ сверхличныхъ цѣнностей, и личности нѣтъ, если она превращена лишь въ средство для сверхличныхъ цѣнностей. Личности нѣтъ, если она не служитъ никакой идеѣ, и личности нѣтъ, если идея превратила личность лишь въ свое средство. Въ этомъ вся моральная трудность проблемы. Насъ можетъ одинаково возмущать, если живая конкретная личность приносится въ жертву идеѣ и если высшая идея приносится въ жертву интересамъ личности. Возмущаетъ безпощадное отношеніе къ человѣку во имя идеи. Очевидно все дѣло въ томъ, какъ понимается идея и какое отношеніе къ ней устанавливается. Личность сама есть идея и высшая цѣнность и ее никакъ нельзя отождествлять съ тѣмъ, что называется личными интересами, хотя бы и болѣе высокими интересами. Идея же тогда лишь можетъ быть признана высокой цѣнностью, если она не есть отвлеченная идея и не подавляетъ и не уничтожаетъ личности. Самая трудная проблема этики связана съ парадоксальнымъ соотношеніемъ личнаго и сверхличнаго въ человѣческой жизни. Рѣшеніе ея предполагаетъ свободу человѣка, она не можетъ быть рѣшена автоматическимъ примѣненіемъ отвлеченнаго закона или нормы. Трагизмъ человѣческой жизни лежитъ не столько въ столкновеніи добра и зла, сколько въ столкновеніи цѣнностей, между которыми человѣкъ долженъ дѣлать свободный выборъ. Всѣ идеи и сверхличныя цѣнности, которыя превращають человѣческую личность въ средство, дѣлають

ее подчиненной частью какого-либо отвлеченнаго цѣлаго и разрушаютъ цѣлостность личности, всегда означаютъ образование идеаловъ, превращеніе относительнаго въ абсолютное. Въ этомъ случаѣ не конкретно-универсальное наполняетъ жизнь личности качественнымъ содержаніемъ, а отвлеченно-общее подавляетъ личность. Всѣ относительныя цѣнности могутъ быть превращены въ идолы, все частичное можетъ заявить претензію на значеніе всеобщее. Это играетъ огромную роль въ современной жизни. Таковы тоталитарныя притязанія современныхъ государствъ и идеологій. Государство, нація, общество, классъ, раса, наука, мораль, искусство, традиція — все можетъ сдѣлаться идоломъ и верховенствующей цѣнностью, подавляющей все остальное. Современное идолотвореніе связано не съ богами природы, а съ богами исторіи и цивилизаци. Этатизмъ, націонализмъ, коммунизмъ, расизмъ, сциентизмъ, морализмъ, эстетизмъ — все это формы идолотворенія, формы абсолютизаціи относительнаго, подмѣны Бога богами. Склонность человѣка творить себѣ идолы и терять въ этомъ идолотвореніи свободу духа такъ велики, что и къ Богу, и къ церкви можетъ быть идолопоклонническое отношеніе. Живой Богъ можетъ стать идоломъ для людей и Ему поклоняются не въ духѣ и истинѣ. Богъ дѣлается отвлеченной идеей, пожирающей живыхъ людей. Къ церкви можетъ быть идолопоклонническое отношеніе и тогда церковь перестаетъ быть жизнью въ Духѣ. Клерикализмъ есть одна изъ формъ идолопоклонства. Только идолопоклонническая форма религіи мыслить себѣ Бога, какъ цѣль, а человеческую личность, какъ простое средство, т. е. мыслить себѣ духовныя отношенія по образцу отношеній существующихъ въ природѣ, государствѣ и социальной жизни. Но въ действительности только Богъ и есть та верховная цѣнность, которая никогда не превращаетъ человеческую личность въ свое средство. Государство, общество, нація, наука, техника, мораль — все можетъ превратить человеческую личность въ свое средство. Но именно Богъ этого никогда не дѣлаетъ. Въ этомъ тайна христіанства, какъ религіи Богочеловѣчества. Это есть тайна любви и свободы, какъ высшей духовной жизни, не похожей на жизнь этого міра. Всѣ идолы требуютъ человеческихъ жертвоприношеній, они жаждутъ крови, уничижительной ихъ. Идолопоклонническія формы богосознанія отражаютъ состояніе людей и на нихъ отпечатлѣваются древніе человѣческіе инстинкты, кровожадные и мстительные. Современные идолы требуютъ кровавыхъ человеческихъ жертвоприношеній, ихъ требуютъ современные тоталитарныя государства. Это есть воз-

вратъ къ язычеству, къ до-христіанскому античному сознанию. И самое ужасное то, что идолопоклонство проникло и въ самое христіанство, христіане склонились передъ идолами, воздавали божескія почести кесарю, отказались отъ свободы духа, которая была завоевана христіанскими мучениками. Идолопоклонническое отношеніе къ Богу тоже требуетъ человѣческихъ жертвоприношеній. Но ихъ не требуетъ живой сущій Богъ. Христіанство есть религія божественной жертвы, къ которой христіане приобщаются въ любви. Христіанство не знаетъ отвлеченнаго добра и вообще какой-либо отвлеченной идеи, которой приносятся человѣческія жертвы, оно знаетъ лишь Бога и ближняго, конкретныя существа. Это значитъ, что христіанство персоналистично. Христіанская философія должна дѣлать различіе между конкретно-универсальнымъ и отвлеченно-общимъ.

Образованіе идоловъ имѣетъ свои неотвратимыя моральныя послѣдствія. Происходитъ отчужденіе совѣсти отъ личности и перенесеніе ея на гипостазированныя коллективы, на государства, народъ, классъ, расу, на церковь, понятую не какъ мистическое тѣло Христова, а какъ социальный институтъ, извѣстъ детерминирующій человѣка. Этотъ процессъ эксторіоризаціи совѣсти имѣетъ наиболѣе яркіе примѣры въ коммунизмъ и національ-соціализмъ. Отчужденіе совѣсти отъ личности и значитъ лишеніе личности свободы духа, есть возвратъ къ античной религіи рода, города, государства, т. е. къ тому партикуляристическому сознанию, которое породило гоненіе на первохристіанъ со стороны міра языческаго. Христіанскій универсализмъ, не допускающій гипостазирования коллективовъ, имѣющихъ лишь частичное и подчиненное значеніе, есть обратная сторона христіанскаго персонализма, охраняющаго глубину совѣсти и свободу духа. Это означаетъ вѣрность евангельскому различію между царствомъ Божьимъ и царствомъ кесаря. Царство кесаря, къ которому принадлежатъ всѣ коллективы, претендующіе на тоталитарное значеніе, отождествляетъ себя съ царствомъ Божьимъ и требуетъ, чтобы ему воздавали Божье. Это было уже у Ж. Ж. Руссо, который хотѣлъ создать гражданскую религію и предлагалъ изгнать христіанъ изъ совершенной республики. Противопологается этому различію между сферой духа и духовной жизни и сферой общества, сферой жизни политической. Этотъ относительный дуализмъ преодолень можетъ быть только воздѣйствіемъ духа на общество, а не воздѣйствіемъ общества на духъ. Менѣе всего это означаетъ, что верховенство личной совѣсти есть замкнутость личности въ себѣ, наоборотъ, личная совѣсть предполагаетъ универсальное рас-

ширеніе личности. Принадлежность личности къ церкви, къ духовному обществу должна означать не отсутствіе личной совѣсти, а ея пропитываніе конкретно-универсальнымъ содержаніемъ, что и есть смыслъ живой, не омертвѣвшей традиціи. Возрастаніе духовности всегда означаетъ преодоленіе замкнутости личности, трансцендированіе въ сверхличную жизнь. Но эта сверхличная жизнь не можетъ означать гипостазированія какого-либо коллектива, принадлежащаго къ царству кесаря, и не дѣлаетъ личность подчиненной частью какого-либо внѣ ея находящагося цѣлаго. Богъ и божественное ближе къ глубинѣмъ человѣческой личности, чѣмъ она сама. Поэтому она совѣсть не экстеріоризируется, а еще болѣе интеріоризируется въ своемъ расширеніи. Въ этомъ тайна духовной жизни, отличной отъ жизни міра. Все принадлежащее къ царству кесаря можетъ быть лишь частичнымъ, не можетъ претендовать на всеобщее значеніе, на подчиненіе себѣ духовнаго начала въ человѣкѣ. Поэтому личность въ своей духовной борьбѣ неизбежно противостоитъ тоталитарнымъ притязаніямъ окружающаго міра. Тоталитарно лишь царство Божье, царство же кесаря, какъ и все въ этомъ мірѣ, лишь частично по своему значенію и не вмѣщаетъ полноты. Только человѣческая личность можетъ наполняться универсальнымъ содержаніемъ, какъ стоящая передъ ней безконечной задачей, это универсальное содержаніе непосильно для государства, для общества, для природныхъ реальностей, которыя не несутъ въ себѣ образа Божьяго. Въ этомъ смыслѣ церковь не можетъ быть мыслима, какъ коллективная личность, не можетъ быть гипостазирована. Церковь есть духовная реальность, связанная съ выходомъ человѣческой личности къ другимъ человѣческимъ личностямъ и къ Богу, съ духовной общностью, но не есть личность. Экзистенціальнымъ центромъ совѣсти остается личность, стоящая передъ Богомъ и ближнимъ. Максимальныя достиженія цѣнностей возможны лишь въ личности, а не въ реальностяхъ окружающаго міра, качества которыхъ зависятъ отъ качества личностей. Метафизически нужно сказать, что человѣчество и космосъ находятся въ личности, а не личность въ человѣчествѣ и космосѣ. Съ этимъ связана тайна личности, которая не можетъ быть выражена въ детерминирующемъ и генерализирующемъ мышленіи о природныхъ реальностяхъ. Въ этомъ вся трудность построенія философіи личности или персоналистической философіи.

Въ каждомъ человѣкѣ есть много безличнаго, безличнаго въ мышленіи, въ эмоціяхъ. Личность же во мнѣ есть мое цѣлостное мышленіе, мое цѣлостное чувствованіе, моя единая во-

ля. Личность есть я цѣлостный, единый во множественности, неизмѣнный въ измѣненіи. Личность есть отвѣтственность, она беретъ на себя отвѣтственность не только за себя, но и за другихъ, за міръ. Личность во мнѣ сопротивляется идущимъ извнѣ попыткамъ превратить меня въ простую функцію какого-либо нечеловѣческаго цѣлаго. Личность несогласна быть простымъ органомъ какого-либо организма, винтикомъ какой-либо машины, слугой какого-либо смысла, не имѣющаго никакого къ ней отношенія и съ ея судьбой несоизмѣримаго. Было бы очень грубой ошибкой отождествлять эту точку зрѣнія съ индивидуализмомъ. Индивидуумъ можетъ бунтовать противъ общества, противъ окружающаго міра, но онъ вполне однороденъ съ тѣмъ, противъ чего бунтуетъ. Личность же иного рода, несетъ въ себѣ иной образъ и имѣетъ въ себѣ иную силу. Индивидуализмъ есть эгоцентрическое замыканіе человѣка въ себѣ и онъ существенно противоположенъ всякому универсализму. Персонализмъ же не только совмѣстимъ съ универсализмомъ, но даже предполагаетъ универсальное содержаніе личности. Христіанство есть персонализмъ, но не есть индивидуализмъ. Въ своей соціальной проэкции индивидуализмъ связанъ съ капиталистическимъ строемъ, съ господствомъ личнаго интереса и конкуренціи въ хозяйствѣ. Онъ соціально скомпрометированъ. Персонализмъ же долженъ имѣть совершенно иную соціальную проэкцію, онъ какъ разъ благопріятенъ социализирующей тенденціи въ хозяйствѣ, такъ какъ требуетъ права на достойную жизнь и на трудъ для каждой человѣческой личности. Вмѣстѣ съ тѣмъ классовое общество находится въ противорѣчій съ верховнымъ достоинствомъ личности. Въ классовомъ обществѣ человѣкъ оцѣнивается не потому, что онъ есть, а потому, что у него есть, т. е. оцѣнивается не персоналистически и не въ силу своихъ личныхъ качествъ занимаетъ положеніе въ обществѣ. Достоинство человѣка опредѣляется или въ силу его рожденія, т. е. по родовымъ, а не личнымъ признакамъ, или въ силу его собственности, его богатства, т. е. опять-таки не по личнымъ признакамъ. Этика персонализма требуетъ вовсе не механическаго равенства личностей, которое невозможно и нежелательно. Личность есть различіе. Равенство въ сущности есть отрицательная и пустая идея, она предлагаетъ смотрѣть не на достоинство и возвышеніе человѣка, а на сосѣда. Но персонализмъ требуетъ утвержденія достоинства cadaго человѣческаго существа и оцѣнки cadaго человѣка по личному достоинству. Личныя неравенства людей всегда будутъ и они даже еще болѣе должны быть выявлены, духовно-аристократиче-

ское начало не можетъ быть уничтожено. Но не должно быть классовыхъ неравенствъ, подавляющихъ личность. Классовые признаки можетъ имѣть только индивидуумъ, какъ часть общества, онъ можетъ быть дворяниномъ, буржуа, крестьяниномъ, пролетаріемъ. Но личность есть духовное существо, она не есть часть общества и не можетъ имѣть классовыхъ признаковъ. Личность есть духовное противодѣйствіе всякому классовому положенію, всякой классовой психологіи, всякой попыткѣ ее социальнo классифицировать. Индивидуализму соответствуетъ классовое общество, персонализму соответствуетъ безклассовое общество, въ которомъ будетъ раскрыта болѣе чистая человечность. Марксисты хотятъ безклассоваго общества, но они вносятъ въ него рѣзко классовыя черты. Въ этомъ ихъ противорѣчіе, которое объясняется тѣмъ, что марксизмъ не знаетъ принципа личности, какъ принципа духовнаго. Личность связана не съ классомъ, а съ призваніемъ и съ профессіей. Персонализмъ не можетъ не быть социальнымъ, онъ предполагаетъ общеніе людей и хочетъ такого общенія людей, при которомъ признается верховная цѣнность всякой человѣческой личности и человѣкъ человеку не волкъ, какъ въ современномъ мірѣ, а братъ, если не братъ въ радости жизни, то братъ въ несчастьи и страданіи. Это предполагаетъ побѣду надъ властью денегъ въ человѣческой жизни, которая подвергаетъ людей въ царство фикцій. Персонализмъ хочетъ возвращенія къ подлиннымъ реальностямъ. Персонализмъ долженъ признать, что существуютъ цѣнности, которыя могутъ быть названы демократическими, и цѣнности, которыя могутъ быть названы аристократическими. При этомъ ошибочно было бы сказать, что первая низшаго порядка, вторая же высшаго порядка. Цѣнности социально-экономическія, связанныя съ правомъ на жизнь, на хлѣбъ, на трудъ, могутъ быть названы демократическими, но также и цѣнности религиозныя, связанныя со спасеніемъ. Культурныя цѣнности, связанныя съ философійей, съ искусствомъ, съ утонченностью души, а также цѣнности, связанныя съ мистикой, могутъ быть названы аристократическими.

Отношеніе между человѣческой личностью и тѣми общностями, въ которыхъ приходится жить на землѣ, всегда парадоксально и противорѣчиво. Тутъ невозможна полная гармонія и приспособленность. Никогда трагической конфликтъ между личностью и обществомъ не будетъ вполнѣ преодоленъ. Преодоленіе возможно лишь въ царствѣ Божьемъ. Человѣкъ живетъ въ своемъ народѣ и несетъ въ себѣ черты своего народа, онъ связываетъ свою судьбу съ судьбой своего народа. Это

есть индивидуализация, безъ которой нѣтъ многообразія и богатства жизни. Человѣкъ не есть абстрактное существо, отвлеченное отъ всѣхъ индивидуальных ступеней бытія, онъ вкореенъ въ конкретномъ. Но человѣкъ есть также личность, несущая въ себѣ свою цѣнность и свою высшую цѣль; онъ принадлежитъ не только природѣ и обществу съ происходящей въ нихъ борьбой за преобладаніе, онъ принадлежитъ также духовному міру, въ которомъ все по иному, не такъ, какъ въ этомъ мірѣ. Поэтому народъ, національность есть относительная, а не абсолютная цѣнность, и всякая попытка увидать тутъ верховную и абсолютную цѣнность есть идолотвореніе: Богъ не можетъ воплощаться въ народъ, Онъ воплотился въ человѣкъ. Нѣтъ эллина и нѣтъ іудея — это истина высшая и исповѣданіе этой истины можетъ привести къ конфликту личности съ народомъ, съ націей, если потребуютъ отреченія отъ этой истины. Богъ и божья правда, Божье царство выше народовъ съ ихъ партикуляристическими интересами. Богу нужно всегда повиноваться болѣе, чѣмъ людямъ. Человѣкъ выходитъ изъ природнаго материнскаго лона и естественна любовь всякаго къ своей родинѣ. Но какъ личность, осуществляющая Божью идею, человѣкъ имѣетъ также духовную родину и онъ не можетъ потерпѣть отреченія отъ этой родины. На этой почвѣ возможны конфликты, конфликты цѣнностей разнаго порядка. Въ этомъ сложность человѣческой жизни. Отношенія между человѣческой личностью и государствомъ могутъ быть еще болѣе трудными и опасными, хотя эмоционально и аксиологически они проще. Государство имѣетъ функціональное значеніе въ человѣческой жизни. Государство не есть реальная индивидуальность, какой можетъ быть признанъ народъ, государство не есть существо, призванное къ вѣчной жизни, какъ человѣческая личность и конкретно - индивидуализированныя общенія между человѣческими личностями. Государство кончается передъ царствомъ Божимъ. Оно претендуетъ на всеобъемлющее и всеохватывающее значеніе, ему свойственна воля къ могуществу и къ экспанси, но оно менѣе всего можетъ быть признано высшей сверхличной цѣнностью, это цѣнность подчиненная и всегда требующая ограниченія. Она необходима въ судьбахъ человѣческихъ обществъ, но наиболѣе необходимое не есть наиболѣе цѣнное. Скорѣе наоборотъ. Люди могутъ обойтись безъ Бога, т. е. они думаютъ, что могутъ обойтись безъ Бога, и они пытаются устроить свою жизнь безъ Бога. Богъ не есть необходимость, Онъ можетъ казаться роскошью. Но люди не могутъ обойтись безъ государства, всѣ самыя револю-

ціонныя направленія кончають організаціей государства и даже государства деспотическаго. Это можно видѣть на примѣрѣ коммунизма, который приходитъ къ тоталитарному государству. Государство, не обладающее никакой высшей цѣнностью и по существу принужденное остановиться передъ царствомъ духа, претендуетъ не только на организацію политической и экономической жизни, но и на организацію душъ людей, ихъ духовной и умственной жизни. Это и есть то, что я называю диктатурой міросозерцанія, къ которой міръ сейчасъ все болѣе и болѣе склоняется. Но это создаетъ великій конфликтъ личности и государства, духа и государства, христіанства и государства, царства Божьяго и царства кесаря. Тутъ міръ стоитъ передъ выборомъ. Человѣческая личность лишь частично, а не всецѣло принадлежитъ царству кесаря и можетъ ему воздавать лишь кесарево, не Божье. Эта свобода духа навѣки добыта кровью христіанскихъ мучениковъ. Человѣческая личность не должна склоняться передъ идолами. Въ прошломъ христіане нерѣдко склонялись передъ кесаремъ и воздавали ему божескія почести. Нынѣ они за это расплачиваются. И можетъ быть значительность нашей эпохи въ томъ, что она ставитъ человѣка передъ обнаженными реальностями и передъ неизбѣжностью выбора. Исчезаетъ та нейтральность, которая все прикрывала, и человѣку трудно жить въ иллюзіяхъ и самообманахъ. Человѣкъ принужденъ вернуться къ самому себѣ, къ своей духовной свободѣ, полученной отъ Бога. Въ этомъ смыслѣ персонализма.

Безспорно, культура есть великая цѣнность. Культура въ іерархіи цѣнностей должна занимать болѣе высокое мѣсто, чѣмъ политика и политическія формы, она болѣе относится къ цѣлямъ жизни. Культура относится къ внутренней, духовной жизни людей, она связана съ качествами людей и потому ей долженъ принадлежать приматъ надъ внѣшними формами жизни. Культура народа болѣе говоритъ о его достиженіяхъ, о его призваніи, о мѣстѣ, которое онъ занимаетъ въ мірѣ, чѣмъ формы государства или хозяйства. Приматъ культуры есть приматъ духовнаго. Музыка какого-нибудь народа передъ лицомъ Божиимъ важнѣе его пушекъ и авіонозовъ. Но и цѣнности культуры могутъ быть предметомъ идолотворенія. Культуропоклонство есть также одна изъ формъ идолопоклонства. Культура не есть послѣднее, она не можетъ претендовать на абсолютное и всеобщее значеніе. Есть сфера, которая стоитъ выше культуры и къ которой человѣкъ долженъ возвышаться. Человѣческая личность не есть средство для реализаціи культурныхъ цѣнно-

стей. Живыя существа, призванныя къ вѣчной жизни, стоятъ выше культурныхъ цѣнностей. Нельзя себѣ дѣлать идолы изъ науки и искусства и ставить ихъ выше живой человѣческой личности. Науки и искусства суть качественныя достиженія человѣческой личности, а не внѣ ея находящіеся предметы, не реальности, поставленныя надъ человѣческой личностью. Надъ культурой, превратившейся въ самоцѣль, культурой ставшей формальной, будетъ страшный судъ. Какъ ни велика, напр., цѣнность науки, но обоготвореніе науки въ сциентизмъ есть величайшая ложь, аналогичная обоготворенію государства въ эгизмъ. Наука есть лишь одна изъ функций человѣческаго духа, а не высшее начало, опредѣляющее всю жизнь человѣка. Такая же ложь получается, когда литература подмѣняетъ жизнь, когда жизнь отождествляется съ литературой и видна лишь изъ литературы. Это одна изъ болѣзней культурнаго человѣчества, она всего сильнѣе чувствуется въ утонченной культурѣ Франціи.

Въ сущности столкновение живой, конкретной человѣческой личности съ міромъ цѣнностей, превратившихся въ идолы и подавляющихъ личность, есть столкновение съ исторіей. Личность поставлена передъ исторіей и ввергнута въ нее. Исторія есть судьба человѣческой личности и невозможно избѣжать этой судьбы. Но существуетъ глубокой трагической конфликтъ личности и исторіи. Личность активна въ исторіи, осуществляетъ въ ней свое призваніе. Но исторія равнодушна къ личности, смотритъ на нее какъ на свой матеріалъ и причиняетъ ей величайшія страданія. Это особенно чувствуется въ нашу эпоху, когда исторія наиболѣе вторгается въ жизнь человѣка, требуетъ отъ человѣка служенія своимъ цѣлямъ и не оставляетъ для человѣка даже свободы его интимной жизни. Сейчасъ никуда нельзя укрыться отъ исторіи, какъ можно было въ прежнія эпохи. Исторія осуществляетъ свои сверхличныя и сверхчеловѣческія цѣли, пользуясь человѣкомъ лишь какъ своимъ орудіемъ. Она дѣйствуетъ путемъ хитрости разума (выраженіе Гегеля). Она пользуется склонностью человѣка творить миѳы и создавать себѣ идолы и этимъ путемъ осуществляетъ своя цѣли. Человѣкъ падаетъ жертвой своего миѳотворчества и идолотворенія. Наша эпоха полна миѳовъ и идоловъ — миѳъ избранной расы, миѳъ избраннаго класса, миѳъ о могуществѣ, миѳъ о счастьѣ, миѳъ о техникѣ, какъ властителѣ жизни, миѳъ о войнѣ, страшной и прекрасной, и мн. другіе. Происходитъ какъ бы разрывъ между человѣкомъ и исторіей, и исторія естественно оказывается сильнѣе человѣка. Самое могущество человѣка на-

правлено противъ него. Исторія дѣлается для большого числа и она порождаетъ конфликтъ между личностью и массой. Исторія не можетъ разрѣшить конфликта между человѣческой личностью, индивидуальной человѣческой судьбой и своимъ жестокимъ, внѣчеловѣческимъ путемъ, основаннымъ на господствѣ общаго, большого числа. И потому христіанство учить, что исторія должна кончиться, она не можетъ быть безконечной, она не есть вѣчность. Смыслъ исторіи въ томъ и заключается, что она должна кончиться, что надъ ней будетъ судъ. Объ этомъ забываютъ даже христіане. Дѣланіе человѣческой исторіи есть также уготовленіе конца. Это есть истина христіанскаго персонализма, который требуетъ не пассивности человѣка, а еще болѣшей его активности, но иной, чѣмъ въ современномъ активизмѣ.

Принято говорить, что міръ сейчасъ идетъ въ разныхъ формахъ къ коллективизму, враждебному человѣческой личности и желающему ее себѣ окончательно подчинить. Центръ нравственнаго сознанія переносится на коллективы. Но такъ ли это ново? Форма новая, но самый принципъ подчиненія личныхъ сужденій коллективнымъ очень старый, исконный. Въ сущности во все времена, съ первобытныхъ клановъ большая часть людей опредѣлялась въ своемъ сознаніи, въ своихъ сужденіяхъ и оцѣнкахъ той соціальной группой, къ которой они принадлежали, городомъ, національностью, сословіемъ, классомъ, полкомъ, профессиональной группой, господствующимъ общественнымъ мнѣніемъ. Лишь немногіе были способны къ личнымъ сужденіямъ, къ личной оригинальности, къ подлинной духовной свободѣ. Принципъ личности, принципъ свободы въ духовномъ смыслѣ аристократическій и большее число, всегда господствовавшее въ исторіи, мало было способно опредѣляться лично и свободно. Ново то, что въ нашу эпоху общество унифицируется и коллективное сознаніе универсализируется. Современный человѣкъ разомъ и социализированъ, принужденъ быть существомъ общественнымъ, почти лишены права на уединеніе и на внутреннюю жизнь, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ глубоко одинокъ, болѣе одинокъ, чѣмъ въ прежнія эпохи. Было уже сказано, что личность можетъ реализовать себя лишь въ общеніи съ другими. Она глубоко нуждается не столько въ *Gesellschaft*, къ которой она часто принадлежитъ по принужденію, сколько въ *Gemeinschaft*. Ошибка коммунизма, равно какъ и фашизма, заключается въ предположеніи, что можно такими же путями внѣшней принудительной организаціи создать братство людей, *Gemeinschaft*, какими создается внѣшнее об-

щество. Соціально болѣе справедливое общество можно создать путемъ внѣшней переорганизациі общества, но такъ нельзя создать братство людей, общество духовное. Братство всегда предполагаетъ отношеніе личности къ личности, оно персоналистично. Совершенно ошибочно раздѣлять личные акты и акты соціальныя. Всякій личный актъ въ человѣческой жизни имѣетъ соціальную прозекцію и связанъ съ отношеніемъ чловѣка къ другимъ людямъ. И за всѣми соціальными актами стоятъ личные акты и качество соціальныхъ актовъ определяется качествами личностей ихъ совершающихъ. Нельзя создать совершеннаго общества изъ плохого человѣческаго матеріала, отвлекаясь отъ личностей, которыя стоятъ за всякимъ обществомъ. И нельзя достигнуть личнаго совершенства, творя соціальную неправду, поработавъ или эксплуатируя своихъ ближнихъ въ соціальныхъ отношеніяхъ. Персонализмъ не можетъ не быть соціальнымъ, комюотарнымъ, соціальность же не можетъ не быть персоналистической. Но никогда тайна человѣческой личности не можетъ окончательно изойти въ общество. Личность лишь частично соціальна, лишь частично принадлежитъ царству кесаря.

Существованіе личности есть разрывъ въ мірѣ, перерывъ въ процессѣ, происходящемъ въ мірѣ, есть свидѣтельство о томъ, что міръ не самодостаточенъ. Въ міръ вторгается существо, несущее въ себѣ не образъ міра, а образъ высшаго бытія, образъ Божій, существо призванное къ активной жизни во времени, но предназначенное къ вѣчности, существо противорѣчивое, пересѣченіе двухъ міровъ. Поэтому существуетъ несоизмѣримость между личностью и міромъ. Соотношеніе между личностью и міромъ не можетъ быть измѣрено математическимъ числомъ, не можетъ быть выражено какъ отношеніе части и цѣлаго. Никакія сверхличныя цѣнности не могутъ быть признаны цѣлью, въ отношеніи которой личность есть средство. Съ этимъ связана діалектика идолотворенія. вмѣстѣ съ тѣмъ реализація личности въ чловѣкѣ свидѣтельствуетъ о томъ, что чловѣкъ есть существо себя трансцендирующее, трансцендирующее къ высотѣ, къ тому, что больше, чѣмъ чловѣкъ и чловѣческое. Трансцендированіе принадлежитъ къ существеннымъ признакамъ личности. Реализація личности не допускаетъ самодовольства и самодостаточности. Этимъ определяется сложная діалектика личнаго и сверхличнаго. Ложь гуманизма заключалась въ признаніи самодостаточности чловѣка, въ допущеніи, что чловѣкъ можетъ реализовать полноту своей чловѣчности безъ сверхчловѣческаго, безъ Бога. Но ложному гума-

низму противоплагается истинный интегральный гуманизмъ, который мыслить осуществленіе и полноту челоѣчности въ соотношеніи съ высшимъ духовнымъ началомъ. Окончательная интегральная челоѣчность, окончательная интегральная реализація личности не могутъ быть мыслимы въ предѣлахъ этого міра и предполагаютъ трансцендированіе къ міру иному. Но верховная цѣнность всякой челоѣческой личности, какъ принципъ не только индивидуальный, но и социальный, указываетъ путь въ этомъ мірѣ, цѣль борьбы. Это требуетъ спиритуализаціи и этизаціи тѣхъ процессовъ, которые происходятъ въ мірѣ и слишкомъ часто носятъ характеръ скорѣе bestiальный, чѣмъ челоѣческій. Правда не зависитъ отъ того, побѣждаетъ ли она въ этомъ мірѣ, она остается правдой и тогда, когда она распинается.

Николай Бердяевъ.

Война и прогрессъ

Der Krieg ist die natürliche, letzte Entwicklungsstufe in der Geschichte der Menschheit.

General v. Seekt.

Тридцать лѣтъ назадъ, когда хотѣли осудить какое-либо явленіе, говорили, что оно «недостойно нашего времени». Подобная ссылка не нуждалась ни въ какомъ поясненіи: считалось само собой разумѣющимся, что наше время — просвѣщеннѣе, гуманнѣе, вообще совершеннѣе всѣхъ прежде бывшихъ временъ.

Притомъ, однако, европеецъ довоенной эпохи вовсе не считалъ себя достигшимъ высшей ступени совершенства. Его основной и непоколебимой вѣрой была вѣра въ прогрессъ, воспринимаемый какъ нѣчто постоянное и неизбѣжное, стоящее внѣ человѣка, какъ явленіе природы или точнѣе, какъ основной ея законъ. Возносясь надъ прошлымъ, человѣкъ преклонялся передъ будущимъ.

За послѣдніе десятки лѣтъ эта оптимистическая вѣра, казавшаяся столь твердой, рассыпалась. Любимой темой нашихъ дней является посрамленіе ученій о прогрессѣ и вообще ученій о предустановленномъ пути развитія человѣка (или вселенной и человѣка). Нѣтъ ничего легче этой разрушительной работы: великолѣпныя построенія, неотразимо приковывавшія къ себѣ мысли и чувства нѣсколькихъ поколѣній, основывались вообще не на твердой положительной наукѣ, какъ обольщали себя строители и ихъ послѣдователи, но на вѣрѣ. Когда эмоциональная оболочка исчезла, на мѣстѣ грандіозныхъ эсхатологическихъ видѣній оказались лишь прахъ и пепель. Спорить въ сущности не съ чѣмъ: остается пожимать плечами и самодовольно улыбаться — какъ можно было все это принимать всерьезъ!

Однако, нынѣшній самодовольный скептицизмъ ничуть не менѣе навзень, чѣмъ прежній безбрежный оптимизмъ. Четверть вѣка назадъ человѣкъ вѣрилъ, что завтра должно быть лучше, чѣмъ сегодня: все неуклонно движется по прямой къ свѣтлому будущему». Теперь онъ убѣжденъ, что никакого движенія нѣтъ, развѣ только толчея по кругу (Шпенглеръ), и

что вообще ничего новаго на свѣтѣ не бываетъ; «въ сущности» — ничто не мѣняется.

Схема всегда искажаетъ дѣйствительность, мѣшаетъ конкретно видѣть мѣръ. Любопытно отмѣтить, что практическія послѣдствія этой деформации почти одинаковы, какую бы изъ обѣихъ схемъ мы ни приложили. Колеблется чувство цѣнности существующаго, отвѣтственности за его сохранность; развивается квіетизмъ: не стоитъ бороться за будущее, если оно и безъ того обезпечено непреложными законами развитія; но также бессмысленно бороться, если по существу ничего въ мѣрѣ улучшить нельзя.

Поистинѣ удивительно, что теоріи круговращенія и отрицаніе поступательнаго движенія приобрѣли вѣсь именно въ наше время, т. е. въ эпоху, явно представляющую собой переломъ въ жизни человѣчества. Казалось бы, совершенно очевидно, что по многимъ очень существеннымъ признакамъ послѣднія десятилѣтія кореннымъ образомъ отличаются отъ тѣхъ 40 или 50 столѣтій, которыя для насъ составляютъ исторію: достаточно одного явленія — воздухоплаванія — чтобы чисто позитивно и натуралистически оправдать раздѣленіе всего пройденнаго пути на двѣ фазы — до и послѣ. Наша слѣпота объясняется, конечно, только тѣмъ, что даже въ позитивистической и матеріалистической оболочкѣ идея прогресса всегда была идеей этической: движеніемъ впередъ мы органически способны считать лишь измѣненія, направленные къ нравственному совершенствованію людей, къ умноженію человѣческаго счастья. Мы упорно отрицаемъ наличіе движенія, разъ оно приводитъ къ инымъ результатамъ.

Предвзятыя схемы мѣшаютъ воспринимать и оцѣнивать развертывающіяся передъ нами перемѣны. Въ этомъ отношеніи особенно показательно современное отношеніе къ войнѣ. Интеллигентъ 19-го и начала 20-го вѣка склоненъ былъ разсматривать войну, какъ явленіе отмирающее, пережитокъ прошлаго, связанный съ остатками феодализма, старой монархіей, привилегированными сословіями и т. д. Казалось очевиднымъ, что при (неминуемомъ!) утверженіи демократіи, война должна исчезнуть.

Въ настоящее время подобныя вѣрованія кажутся наивными. Только наивные способны еще слушать рѣчи о всеобщемъ разоруженіи, о вѣчномъ мирѣ и т. д. Напротивъ, люди благомыслящіе и разумные утвердились въ печальномъ сознаніи, что война есть неотвратимое бѣдствіе: она всегда была и всегда будетъ;

такое представлѣніе совершенно гармонируетъ съ общей идеей о неизмѣнности основъ человѣческаго общежитія.

Между тѣмъ, на нашихъ глазахъ произошла трансформация самого объекта этихъ размышленій. Какъ всегда бываетъ, перемѣна сложилась изъ множества рядовъ количественныхъ измѣненій, каждый изъ которыхъ въ отдѣльности поддается болѣе или менѣе точному учету. Но приходитъ моментъ, когда количественныя измѣненія, въ своей совокупности, вызываютъ качественное перерожденіе: наступаетъ мутация. Именно это произошло съ войной. Явленіе, существующее съ незапамятныхъ временъ, неожиданно перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ было до сихъ поръ и превращается въ нѣчто иное.

Измѣнились не только способы и приемы веденія войны. Мѣняются ея цѣли. Кореннымъ образомъ измѣняется соотношеніе между войной и всѣми иными формами социальной жизни людей.

Хотя мы обычно недооцѣниваемъ глубину происшедшей перемѣны, все же новизна явленія настолько очевидна, что вызвала потребность въ новомъ терминѣ. Говорятъ о т о т а л и т а р н о й войнѣ, противопоставляя ее прежней, ограниченной войнѣ. Эта новая тоталитарная война, которую мы пока еще только предвидимъ, но вліяніе которой ощущаемъ на каждомъ шагѣ, представляется намъ уклоненіемъ отъ нормы, вырожденіемъ и извращеніемъ стараго почтеннаго института. Между тѣмъ, если освободиться отъ этическихъ оцѣнокъ, нельзя не признать, что тоталитарная война гораздо логичнѣе и естественнѣе, чѣмъ ограниченная. Несмотря на вѣковую привычку, мы начинаемъ смутно сознать всю странность и искусственность порядка, въ которомъ сосуществуетъ нѣкоторое число государствъ, полагающихъ своей основной задачей очень мирныя занятія — примѣненіе правосудія, охрану безопасности, просвѣщенія, и т. д., и т. д., но отъ времени до времени ведущихъ между собой войны для того, чтобы потомъ, какъ если бы ничего не случилось, вернуться къ прежнимъ дѣламъ. Этотъ строй, при которомъ существуетъ военное вѣдомство какъ обособленная отрасль администраціи — притомъ даже далеко не важнѣйшая отрасль — внутренне противорѣчивъ и незаконченъ, основанъ на множествѣ условностей и недоговоренностей, какъ весь тотъ старый, безалаберный и уютный міръ, въ которомъ мы родились, но изъ котораго непреодолимая сила выносятся насъ въ новый, еще невиданный свѣтъ, съ его страшными напряжениями энергіи, рѣзкими, четкими формами и безжалостной логикой.

Общепризнано и несомнѣнно, что основной причиной перехода къ тоталитарной войнѣ является развитіе техники. При этомъ, однако, понятіе техники надо брать въ самомъ широкомъ смыслѣ. Вопросъ не только въ томъ, что пушки, вмѣсто пяти километровъ, стрѣляютъ на 50, или что бомбовозы даютъ возможность нападенія на любое мѣсто страны. Сущность перемѣны заключается въ общей рационализациіи человѣческаго поведенія.

Школьные примѣры твердятъ, что одинъ изъ показателей культуры—возрастающее разстояніе между средствами и цѣлью. Дикарь выходитъ на охоту, когда онъ голоденъ. Крестьянинъ пашетъ землю, чтобы черезъ годъ собрать жатву. Просвѣщенный человѣкъ ставитъ себѣ задачи, далеко превышающія длительность его жизни.

Совершенно очевидно, какая разительная перемѣна произошла въ этомъ отношеніи на протяженіи немногихъ поколѣній. Еще совсѣмъ недавно подавляющее большинство людей занималось трудомъ, имъ совершенно понятнымъ и приносящимъ скорые, очевидные плоды. Лишь рѣдчайшіе чудачки, вроде Кеплера или Линнея, посвящали жизнь подвигамъ, направленнымъ на далекую и туманную цѣль.

Въ настоящее время міръ устроенъ иначе. Милліонныя массы проводятъ свою жизнь въ совершеніи дѣйствій, смыслъ которыхъ имъ почти непонятенъ, и которыя въ нихъ не возбуждаютъ ничего, кромѣ отвращенія. Связь между работникомъ и объектомъ его работы рационализирована до конца, и цѣль усилій сведена къ сухой абстрактной формѣ заработной платы.

Не менѣе глубока перемѣна, происшедшая въ жизни элиты. Все ничтожиѣе число людей, способныхъ всесторонне охватить и осмыслить объектъ своей дѣятельности. Тысячи инженеровъ бьются надъ деталями машины, никогда за всю свою жизнь не задумавшись надъ нею въ цѣломъ. Тысячи ученыхъ поглощены архивными изысканіями, мелкими лабораторными опытами, измѣреніями, вычисленіями, и находятъ удовольствіе въ томъ, что ихъ труды какъ-то связаны съ великими задачами науки, хотя подумать объ этихъ задачахъ и объ этой связи у нихъ нѣтъ ни времени, ни охоты.

Цѣль всегда, по существу своему, иррациональна; средства полностью подлежатъ законамъ логики. Современный человѣкъ живетъ въ мірѣ средствъ, т. е. чистой техники; оттого его дѣятельность все строже подчиняется критеріямъ цѣлесообразности и экономіи. Упорное и рациональное усиліе, ради исчезаю-

шей въ дали и неподлежащей обсужденію цѣли — вотъ основная норма нашего времени.

Несмотря на непрерывное усовершенствованіе вооруженій, область военнаго дѣла оставалась вплоть до Великой войны старомодной, построенной традиціоналистически, а не рационалистически. Организациа арміи, ея бытъ, ея виѣщность, доктрина войны — все питалось корнями, далеко уходящими въ прошлое. Армія жила унаслѣдованнымъ идеаломъ, сильнымъ не своей логикой, а своей этической цѣльностью.

Еще меньше логики было въ томъ, какое мѣсто удѣлялось военному дѣлу въ экономіи человѣческаго общества. Основной потокъ жизни давно уже пошелъ по другому руслу, символомъ нашего времени стали фабрика, лабораторія, училище. Армія была запятана въ дальній уголокъ, безъ связи съ остальными формами организованной дѣятельности, какъ револьверъ, который современный человѣкъ любитъ держать въ ящикѣ письменнаго стола, но о которомъ ему никогда и вспоминать не приходится въ сутолокѣ каждодневнаго глубоко мирнаго существованія.

Волна рационализациа военнаго дѣла нахлынула даже не съ началомъ войны, а лишь послѣ первыхъ ея опытовъ, когда опредѣлилось, что возникшія задачи не могутъ быть разрѣшены традиционными приемами и въ прежнихъ масштабахъ. Когда новый духъ, систематическій и упорядочивающій духъ новаго времени, проникъ въ эту чуждую ему до тѣхъ поръ область, оказалось, что именно здѣсь-то открываются безпредѣльныя возможности рационализациа. Современный человѣкъ, всецѣло преданный технике и боящійся размышлять о ея смыслѣ, привыкшій къ упорному слѣпому труду ради непонятной цѣли, наконецъ-то напалъ на достойную его цѣль: недопускающую никакихъ сомнѣній, оправдывающую всѣ жертвы и безъ отказа поглощающую любое количество усилій.

Неудавшіяся попытки закончить войну въ ничью были въ сущности послѣдними опытами проведенія прежнихъ взглядовъ, согласно которымъ война являлась инструментомъ для разрѣшенія ограниченныхъ задачъ, и при употребленіи этого инструмента слѣдовало взвѣшивать, насколько результаты могутъ оправдать положенныя усилія. Неизбѣжная неудача опытовъ ограниченія явилась окончательнымъ торжествомъ принципа — все для войны.

Первымъ приложеніемъ этого принципа является рациональное использованіе всего человѣческаго матеріала. Въ настоящее время кажется само собой разумѣющимся (хотя еще въ 14-омъ году представлялось чудовищнымъ), что воюющее государство располагаетъ всѣмъ мужскимъ и женскимъ населеніемъ страны.

Использованіе для войны всего населенія находится въ кажущемся противорѣчій съ весьма распространенной теоріей, по которой на смѣну миллионнымъ полчищамъ должны придти небольшие армии высоко-квалифицированныхъ воиновъ, сражающихся механическимъ оружіемъ. Книга ген. Геруа («Полчища», 1923 г.), популяризовавшая эти воззрѣнія въ русской средѣ, явилась отраженіемъ распада русской арміи. Но еще за сорокъ лѣтъ до него то же самое предрекалъ фонъ-деръ-Гольцъ и также ссылался на фалангу Александра. Извѣстно, какое широкое распространеніе получила эта теорія въ Германіи послѣ войны, въ связи съ созданіемъ наемнаго Рейхсвера; все же и понынѣ это ученіе почитается ересью: господствующая доктрина придерживается мудраго отзыва французскаго генерала, который напомнилъ, что никогда еще ни одинъ разбитый военачальникъ не жаловался на чрезмѣрное обиліе солдатъ, а напротивъ, всегда всѣ объясняли свое пораженіе недостаточностью войскъ.

Однако, какъ бы ни былъ рѣшенъ этотъ профессиональный споръ, измѣнилось бы не количество людей, потребныхъ для веденія войны, а только ихъ распредѣленіе, съ фронта они были бы отведены въ тылъ: для того, чтобы два бойца могли выѣхать на танкѣ, ихъ должны обслуживать въ тылу 46 человѣкъ; для обслуживания одного аэроплана нужно 60 человѣкъ.

Если въ военное время все безъ остатка должно быть принесено въ жертву ради успѣха войны, было бы въ высшей степени нелогичнымъ не требовать такихъ же жертвъ и въ мирное время, для предварительной подготовки успѣха. Очевидно, каждый долженъ быть обученъ и воспитанъ для предначинанной ему во время войны роли. Развитіе этого начала приводитъ не только къ различнымъ формамъ «военизаціи» молодежи, но и къ твердому профессиональному распредѣленію населенія согласно наиболѣе рациональнымъ нормамъ, применимымъ къ военнымъ нуждамъ.

Отсюда прямой переходъ къ перестройкѣ всего хозяйства на началахъ замѣны экономическаго принципа принципомъ военной пользы.

Нѣтъ нужды распространяться, какъ далеко зашла эта реорганизация уже теперь въ рядѣ странъ, поскольку рѣчь идетъ о

производствѣ. Искусственное выращиваніе индустрій, не имѣющихъ ни рынка, ни сырьевой базы, ожесточенная таможенная война, бросовый экспортъ и цѣлый рядъ другихъ мѣръ могли бы заставить усомниться въ умственныхъ способностяхъ людей, управляющихъ современными государствами, если бы дѣйствія ихъ разсматривать со стороны хозяйственной выгоды; напротивъ, эти дѣйствія пріобрѣтаютъ опредѣленный смыслъ, будучи оцѣниваемы съ точки зрѣнія военной готовности. Разумѣется, не надо сводить вопроса къ производству оружія или къ прокормленію населенія на случай войны. Проблема гораздо шире и многообразнѣе: она охватываетъ добычу сырья, ориентацию экспорта, пріобрѣтеніе девизовъ, и т. д. Извѣстенъ примѣръ англійской фабрики корсетовъ, объявленной во время войны предприятиемъ, работающимъ на оборону, такъ какъ она обслуживала аргентинскую кліентуру и давала девизы, служившіе для оплаты зерна.

Такъ какъ приспособленіе производства къ требованіямъ войны естественно уменьшаетъ его хозяйственную полезность, т. е. понижаетъ количество производимыхъ благъ, то и другая сторона хозяйства — потребление — также неминуемо должна быть приспособлена къ военнымъ нуждамъ и оцѣниваться съ точки зрѣнія не интересовъ потребителя, а обороноспособности государства. Временный и частичный опытъ организаціи потребления, продѣланный во время войны, явился лишь слабымъ прообразомъ будущаго. Руководство потребленіемъ со стороны власти и рациональное опредѣленіе ею надлежащаго жизненнаго уровня различныхъ слоевъ населенія организуется въ настоящее время въ Германіи какъ длительное установленіе. Логика вѣщей неминуемо слѣдуетъ этотъ институтъ постояннымъ и распространить его на всѣ государства, озабоченныя успѣхомъ въ будущей войнѣ.

Организованное такимъ образомъ хозяйство избавлено отъ кризисовъ: равновѣсіе въ немъ обеспечивается абсолютнымъ подчиненіемъ всѣхъ элементовъ одной цѣли, стоящей внѣ хозяйства. Каждое сокращеніе побочныхъ расходовъ на содержаніе населенія освобождаетъ новыя средства для основной цѣли хозяйства — укрѣпленія военной мощи. Разумѣется, каждый шагъ, сдѣланный на этомъ пути однимъ изъ конкурентовъ, съ желѣзной необходимостью вынуждаетъ и остальныхъ слѣдовать за нимъ, подѣ страхомъ гибели. Поэтому естественно, что при такомъ строѣ нужды потребителя должны удовлетворяться лишь поскольку это необходимо для обезпеченія суще-

ствования населенія и для его воспроизведенія въ достаточномъ количествѣ.

Одной изъ многихъ проблемъ, связанныхъ съ военной реорганизацией хозяйства, является территориальное распределение производства. Въ элементарной формѣ эта проблема, конечно, очень стара (опасность нахождения военныхъ фабрикъ у границы, и т. д.), но только теперь она возникаетъ во всей своей цѣльности. Въ Россіи создается западно-сибирская промышленная база; въ Польшѣ проектируется сосредоточеніе важнѣйшихъ предприятий въ центральномъ районѣ, между Брестомъ и Люблиномъ. Въ Германіи вопросъ ставится гораздо шире, какъ систематическое ученіе объ организациіи территоріи.

Рациональное рѣшеніе задачи для западно-европейскаго государства, не располагающаго такими пространствами, какъ Россія, находятъ въ систематическомъ распределеніи промышленности между различными областями страны и возможномъ удаленіи ея отъ городовъ и другихъ пунктовъ, могущихъ легко стать объектами воздушнаго нападенія. Ближайшими практическими мѣрами въ этомъ направленіи должны быть: запрещеніе расширенія крупныхъ предприятий, существующихъ въ большихъ центрахъ; кредитныя и налоговыя облегченія для тѣхъ промышленниковъ, которые перенесутъ свои заводы вдаль отъ большихъ городовъ и децентрализуютъ ихъ, и т. д. Естественно, что передвиженіе предприятий должно повлечь такое же переселеніе и диффузію промышленнаго пролетаріата, за которымъ послѣдуетъ обслуживающее его ремесленное населеніе; но въ новыхъ мѣстахъ не будетъ допускаться скопленіе значительныхъ массъ, и поселки не должны превращаться въ города.

Издержки производства въ искусственно локализованномъ и децентрализованномъ предприятии будутъ выше, чѣмъ въ предприятии построенномъ исключительно по требованіямъ хозяйственной выгоды. Повышеніе издержекъ производства ложится тяжестью на народное хозяйство, т. е. въ конечномъ счетѣ опять-таки понижаетъ уровень жизни населенія. Но эти доводы нисколько не могутъ поколебать основнаго принципа, вытекающаго изъ необходимости національной обороны.

Полное подчиненіе хозяйства, т. е. всей матеріальной жизни людей, интересамъ войны, вовсе не есть фантастическая угроза, а непосредственная дѣйствительность, среди которой мы живемъ. Въ Германіи, Россіи, Италіи это подчиненіе очевидно. Въ Японіи только что провозглашена программа народной обороны, включающая реорганизацию индустріи, переработку та-

моженного тарифа, и т. д. Въ Англии, крѣпости традиционализма, «Таймсъ», олицетвореніе умѣренности и основательности, помѣстилъ недавно три статьи объ «Отечественномъ фронтѣ» *). Авторъ, въ высшей степени практической человѣкъ, завѣдывавшій продовольствіемъ страны во время войны, трактуетъ вопросъ чисто дѣловымъ образомъ, безъ громкихъ фразъ и предвзятыхъ теорій. И вотъ, идя этимъ путемъ, онъ приходитъ къ такому выводу: «Отнынѣ, и до тѣхъ поръ, пока опасность войны не будетъ окончательно уничтожена на землѣ, вся экономическая дѣятельность страны, государственная и частная, должна быть пересмотрѣна съ точки зрѣнія лучшей подготовки къ войнѣ. Расположеніе всякаго рода складовъ и фабрикъ, развитіе портовъ, регулированіе транспортовъ, планировка городовъ и устройство домовъ, земледѣльческая политика, организація полицейскаго и пожарнаго дѣла, больницъ и водопроводовъ: всѣ эти вопросы не могутъ болѣе рѣшаться согласно старымъ критеріямъ большаго богатства или большаго удобства въ мирныхъ условіяхъ. Оборона важнѣе, чѣмъ достатокъ... Причина не въ томъ, что война близка или вѣроятна, а въ томъ, что она стала тоталитарной».

Конкретные выводы, дѣлаемые въ Англии, въ значительной мѣрѣ совпадаютъ съ тѣми, которые уже сдѣланы на континентѣ. Въ частности, сэръ Вильямъ Бевериджъ также настойчиво указываетъ на опасность большихъ городовъ и требуетъ децентрализаціи хозяйственной жизни.

Переустройство хозяйства и возвращеніе населенія изъ городовъ въ мелкія селенія означаютъ переходъ къ новой формѣ цивилизаціи, т. е. переломъ не одного лишь матеріальнаго, но и духовнаго быта.

Однако, не только эти косвенныя послѣдствія мѣръ государственной обороны должны отразиться на духовной жизни. Она подвергается прямому воздействию въ цѣляхъ рациональнаго переустройства соответственно съ военными нуждами государства. Власть, опредѣляющая, въ интересахъ государственной безопасности, гдѣ долженъ жить гражданинъ, что дѣлать, чѣмъ питаться и во что одѣваться, неминуемо должна опредѣлить и ежедневную порцію его духовныхъ благъ.

Необходимо установить, какія именно вѣрованія, убѣжденія, чувства наиболѣе полезны для повышенія боевыхъ ка-

*) Sir William Beveridge, «The Home front in war»; «Times», 22-23-24 Febr. 1937.

чество населенія — разумѣется, не только для непосредственнаго участія въ бою, но вообще для поддержанія военно-государственнаго аппарата, обслуживаніе котораго является единственной жизненной задачей гражданина. Эти убѣжденія должны неукоснительно прививаться и, напротивъ, всё върванія и чувства, которыя могли бы препятствовать движенію къ основной цѣли, или хотя бы отвлекать отъ нея, должны быть безжалостно истребляемы. Этотъ единственный критерій прилагается ко всему безъ изъятія. Нѣтъ ничего удивительнаго, что съ такой точки зрѣнія, напр., христіанство опредѣляется, какъ пропагандное ученіе, преслѣдующее опредѣленную цѣль — ослабить боевую сопротивляемость вражескихъ народовъ *).

Изъ различныхъ областей духовной жизни, прежде всего подлежитъ унификаціи и рационализациі все, что относится къ политикѣ. Государство должно являться максимально цѣлесообразной организацией наличныхъ средствъ въ интересахъ войны. Безсмысленна всякая иная оцѣнка режима, кромѣ чисто технической: въ какой степени способствуетъ онъ концентраціи физическихъ и духовныхъ силъ, ради единой цѣли. Какъ бы ни былъ непривлекателенъ извѣстный политическій строй, всякій разумный человѣкъ долженъ его предпочесть, если онъ даетъ хоть одинъ лишній шансъ успѣха въ борьбѣ.

Рационализациі подвергаются не только средства (физическія и духовныя) веденія войны, но и приемы использования этихъ средствъ, и цѣли войны. Разумѣется, ведя войну, люди всегда руководствовались принципами цѣлесообразности и,

*) Gen. Ludendorff, Der totale Krieg, 1935, s. 18... «Christenlehre nichts anderes, als die geeignetste Propagandalehre ist». Людендорфа объявляютъ сумасшедшимъ, и дѣйствительно, есть соблазнъ уловить нотки душевной болѣзни, напр., въ описаніяхъ, какъ передъ его женой раскрылась книга «исторіи, естественныхъ знаній, человѣческой и народной души», и какъ благодаря этому т-жа Людендорфъ предначертала пути германскаго народа. Но — за исключеніемъ нѣсколькихъ темныхъ точекъ — великолѣпный логическій аппаратъ знаменитаго полководца сохранилъ всю свою мощь. Въ частности, проникновенна и въ своемъ родѣ послѣдовательна его критика христіанства; солдатъ-христіанинъ опасенъ своей върой въ то, что онъ самъ, послѣ краткаго земнаго существованія, будетъ вести вѣчную жизнь на небѣ или въ аду». Эта въра создаетъ ему особую душевную жизнь, совершенно отдѣльную отъ его собратьевъ... Трудно короче и ярче формулировать несовмѣстимость между христіанствомъ и всякимъ тоталитарнымъ режимомъ.

напр., этическія нормы, торжественно устанавливаемыя для ограниченія военныхъ дѣйствій, имѣли лишь весьма относительное значеніе. Тѣмъ не менѣе, способы войны опредѣлялись не одной цѣлесообразностью, но и многими другими факторами: и этическими нормами (только иного порядка, болѣе глубоко укорененными и не нуждающимися въ провозглашеніи: запретъ антропофагіи, убійства безоружныхъ, и т. д.); и всевозможными правилами этикета (формальное объявленіе войны — даже въ 14-омъ году!); и различными эмоціями (желаніе показать свою храбрость въ глазахъ непріятеля) и т. д.

Въ нынѣшнихъ условіяхъ и въ этомъ отношеніи рационализація неминуемо должна быть доведена до конца. Напр., бомбардировка и отравленіе большихъ городовъ съ цѣлью сломить духъ сопротивленія вражескаго народа не есть новизна исключительно техническаго порядка, явившаяся какъ результатъ развитія авіаціи. Хотя въ иныхъ формахъ, аналогичные способы воздѣйствія на противника были технически возможны и раньше (напр., путемъ уничтоженія населенія на захваченной части непріятельской территоріи). Но, разумѣется, этотъ приемъ есть значительный шагъ «впередъ» съ точки зрѣнія цѣлесообразности, такъ какъ уничтоженіе женъ и дѣтей является наиболѣе «раціональнымъ» средствомъ для разложенія воли противника.

Рационализація цѣлей войны заключается въ томъ, что въ моментъ побѣды все меньшее значеніе имѣетъ приобрѣтеніе непосредственной выгоды, т. е. захватъ такихъ непріятельскихъ благъ, какія могутъ служить для улучшенія или украшенія жизни побѣдителей. Напротивъ, выдвигается болѣе далекій расчетъ: усилить побѣдителя и ослабить побѣжденнаго, т. е. ухудшить его позиціи въ слѣдующей войнѣ. Сюда относится: отнятіе оружія, проведеніе такъ наз. стратегическихъ границъ; контрибуціи, имѣющія цѣлью не столько обогатить берущаго, сколько разорить дающаго; запрещеніе вооруженій, и т. д. Нѣтъ нужды напоминать, какъ широко были поставлены эти задачи въ 1918-19 годахъ. Если ихъ разрѣшеніе оказалось неудачнымъ, то это лишь значить, что въ слѣдующій разъ должны быть примѣнены еще болѣе совершенные приемы для достиженія желательнаго результата. Однако, единственнымъ дѣйствительно «раціональнымъ» способомъ окончанія войны можетъ быть только совершенное истребленіе враждебной націи *).

* Эту задачу со всей конкретностью ставитъ Людендорффъ (тамъ же, стр. 106): «При борьбѣ съ духовно сильнымъ народомъ рѣшеніе

Отступление передъ этой задачей, по этическимъ или инымъ соображеніямъ, было бы «измѣной своему народу», такъ какъ поставило бы его передъ излишнимъ рискомъ такого же уничтоженія въ близкомъ или далекомъ будущемъ.

Въ нашемъ мѣрѣ, перегруженномъ техникой и техническими навыками, на каждомъ шагу орудія, созданныя для определенной цѣли, эмансипируются и начинаютъ вести самостоятельное существованіе. Напрасно было бы искать смысла въ войнѣ, т. е. разсматривать ее, какъ средство для достиженія какой-то цѣли. Война перестала быть орудіемъ политики; политика — и внѣшняя и внутренняя — стала ея орудіемъ.

Старые наивные публицисты строили радужные прогнозы вѣчнаго мира на томъ основаніи, что война перестала себя оккупать. Дѣйствительно, въ тоталитарной войнѣ народъ рискуетъ всѣмъ — вплоть до своего физическаго существованія; выиграть же онъ ничего не можетъ: каждое завоеваніе превращается лишь въ средство для наилучшей подготовки слѣдующей войны. Неумолимыя правила соревнованія заставляютъ всегда использовать эти средства до послѣдней возможности и, слѣдовательно, какія бы богатства ни собрали человѣкъ, какой бы степени могущества ни достигъ, ему суждено вѣкъ владѣть рабское и нищенское существованіе, отъ рожденія до смерти служа лишь одному — войнѣ, дабы предохранить свой народъ отъ истребленія.

Какой бы чудовишной ни казалась эта конечная ситуація, современная дѣйствительность совсѣмъ не такъ далека отъ нея, и обречена съ все возрастающей быстротой къ ней приближаться. Тщетно надѣяться, что на этомъ пути возможны остановки или обратное движеніе. Отъ тоталитарной войны такъ же немислимо перейти къ ограниченной, какъ отъ автомобиля къ дилижансу. Тоталитарная война есть конечная ступень рационализаціи, завершеніе прогресса.

Это положеніе возвращаетъ насъ къ первоначальной проблемѣ — о сущности прогресса.

Крушеніе космогоническихъ и исторіософическихъ схемъ XIX в. не означаетъ, что въ исторіи нѣтъ прогресса, какъ одной постоянной линіи развитія: она заключается въ усовершенствованіи тѣхъ сторонъ культуры, которыя носятъ техническій

можетъ быть найдено лишь на полѣ битвы, въ уничтоженіи вражескаго, но сохранившаго силу духа войска и твердаго духомъ народа.

характеръ, т. е. могутъ быть безъ остатка разложены на рациональные элементы. Разумѣется, это развитіе не носитъ непрямѣнно «прямолинейнаго» характера: бываетъ, что болѣе цѣлесообразныя навыки или орудія, при социальныхъ катаклизмахъ и иныхъ сочетаніяхъ обстоятельствъ, исчезаютъ и уступаютъ мѣсто менѣе совершеннымъ; но тенденція объективно существуетъ и остается неизмѣнной. Не слѣдуетъ, на зло Спенсеру, вопреки очевидности отрицать существованіе «прогресса» отъ пещернаго человѣка до нашихъ дней, тѣмъ болѣе, что утвержденіе его вовсе не содержитъ въ себѣ признанія, что современный человѣкъ «выше» или «лучше» пещернаго.

Естественно, что тенденція постепеннаго усовершенствованія техническихъ элементовъ культуры проявляется съ тѣмъ большимъ постоянствомъ, чѣмъ большее значеніе объекту усовершенствованія имѣетъ для обезпеченія успѣха въ борьбѣ человѣческихъ группъ.

Достиженія побѣжденной или уничтоженной группы могутъ легко исчезнуть и быть забыты; достиженія побѣдителя сохраняются и распространяются. Побѣждаетъ же та группа, которая лучше вооружена: это сужденіе становится тавтологическимъ, если брать понятіе вооруженія достаточно широко, охватывая и такіе факторы, какъ прочность организаціи группы, ея численность и т. д.

Объектомъ подражанія также становятся скорѣе всего техническія усовершенствованія, которыя облегчаютъ побѣду: ихъ замѣстоуваніе вынуждается соревнованіемъ.

Въ итогѣ, наиболѣе постоянны и непрерывны прогрессъ тѣхъ техническихъ элементовъ культуры, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ военному дѣлу. Разумѣется, полной непрерывности и тутъ нѣтъ, рѣчь идетъ всегда лишь о тенденціи. Однако, эта тенденція ясно сказывается какъ въ области чисто матеріальной техники (оружіе), такъ и въ области техники духовной (организація общества).

Изъ тупика, созданнаго перерожденіемъ прежняго института войны въ тоталитарную войну, можетъ быть только одинъ выходъ: полное уничтоженіе войны. Какъ бы это ни казалось утопическимъ, все же легче уничтожить войну, чѣмъ вернуться къ прежнимъ ея формамъ. Пока существуетъ возможность или вѣроятіе войны, совершенно неизбѣжно принятіе тѣхъ предохранительныхъ мѣръ, которыя, при настоящемъ уровнѣ рационализациі, съ неизбѣжностью приводятъ къ

совершенному поглощенію индивида и общества единой цѣлью самозащиты.

И все же человекъ, по природѣ своей, есть существо свободное. Не исключена возможность, что на краю гибели онъ найдетъ въ себѣ новыя силы, произведетъ огромное душевное усиленіе, нужное для побѣды надъ войной.

Движеніе, направленное на освобожденіе отъ войны, было бы совсѣмъ не похоже на прежній пацифизмъ. Старый добрый пацифистъ былъ сродни вегетарианцу, эсперантисту и всѣмъ прочимъ улучшателямъ міра. Конечно, очень недурно было бы отказаться отъ жестокаго и неэстетичнаго обычая поѣданія животныхъ; хорошо было бы также создать способъ общенія между всѣми людьми; прекрасно было бы прекратить войны и употребить военные бюджеты на дѣла благотворительности.

Но рѣчь теперь идетъ совсѣмъ не объ этомъ, не о созданіи рая на землѣ, не о счастья грядущихъ поколѣній, и т. д. Вопросъ и не въ гаданіяхъ, наступитъ ли война, неизбежна ли она, когда она можетъ наступить и т. д.: разсуждать объ этомъ бесполезно, такъ какъ ничего на свѣтѣ предсказать нельзя. Проблема заключается въ томъ, что самое наличие института тоталитарной войны (независимо отъ того, будетъ ли эта война осуществлена) разрушаетъ всѣ основы человѣческаго общенія. Это есть проблема не будущаго, а настоящаго, не улучшения міра, а спасенія его.

Три года назадъ Арнольдъ Тойнби въ замѣчательной статьѣ писалъ *): «мѣръ, позволившій чудовищу тоталитарной войны овладѣть имъ, обрекъ себя на политическое объединеніе въ близкомъ будущемъ. Можетъ быть оно будетъ достигнуто путемъ общаго согласія... если же нѣтъ, мѣръ будетъ объединенъ новымъ взрывомъ войны, въ которомъ всѣ существующія 60 или 70 суверенныхъ государствъ, одно за другимъ, жестокими ударами будутъ выбиты изъ строя и остатки человечества останутся на милости единственной господствующей военной державы».

Ю. К. Рапопортъ.

*) Arnold J. Toynbee, *New Wine in Old Bottles*, — «Index» (Stockholm), N° 104, 1934.

Америка идет вперед

Наблюдателя американской жизни поражает, как быстро мѣняется здѣсь политическая обстановка. Послѣ страстной избирательной борьбы наступила полоса всеобщаго примиренія и благодушія. Послѣ драки полагается закопать въ землю «топоръ вражды» — до ближайшихъ выборовъ. Но маниловскія послѣвыборныя настроенія продержались недолго, мѣсяца два, а то и меньше. Затѣмъ начали возникать затрудненія. Забастовки, захватъ предприятий рабочими, столкновенія ихъ съ гражданской милиціей...

И вдругъ разорвалась бомба: президентъ внесъ въ конгрессъ предложеніе о предоставленіи ему права расширить Верховный Судъ путемъ назначенія дополнительныхъ новыхъ судей. Поднялась буря негодованія, разыграннаго съ такимъ искусствомъ, что при большомъ желаніи его можно было принять всерьезъ. Покушеніе на конституцію! Конецъ законности! Первый шагъ къ диктатурѣ! Измѣна святымъ завѣтамъ «отцовъ конституціи»!

Загорѣлась междуусобная борьба внутри правящей партіи. Въ сенатѣ, въ печати, въ радіо противъ президента выступили его вчерашніе союзники и друзья. Борьба шла по неожиданной новымъ линіямъ: за или противъ «сидячихъ» забастовокъ? за или противъ реформы суда?

Положеніе Рузвельта и въ палатѣ и въ странѣ казалось колебленнымъ... И вдругъ новый поворотъ колеса. Верховный Судъ, опровергая созданные имъ же самимъ прецеденты, принялъ рядъ рѣшеній, идущихъ навстрѣчу желаніямъ президента и требованіямъ рабочихъ. Забастовки пошли на убыль. Всѣ, какъ-будто, довольны: тучи разсѣялись и страна вернулась почти къ тѣмъ «весеннимъ» настроеніямъ, которыя царили здѣсь въ декабрѣ, сразу послѣ выборовъ. Пожалуй, единственное серьезное различіе — въ непрекращающейся междуусобицѣ въ демократической партіи.

Чтобы понять эту быструю смѣну настроеній въ Соединенныхъ Штатахъ, мы должны вернуться нѣсколько назадъ, къ недавней избирательной кампаніи и ея результатамъ.

Избирательная борьба велась минувшей осенью съ необыкновенной страстностью, но содержаніе ея съ трудомъ укладывается въ рамки нашихъ обычныхъ представлений.

Формально это была традиціонная борьба за власть между республиканцами и демократами. Но многие демократы поддерживали республиканскаго кандидата и наоборотъ. Обѣ партіи выступили со своими платформами. Но эти платформы мало кого интересовали, о нихъ рѣдко вспоминали въ ходѣ борьбы. Официально борьба велась между двумя кандидатами. Но въ дѣйствительности противникъ Рузвельта былъ подставной фигурой: его почти никто не зналъ до того дня, какъ Хёрстъ открылъ его въ захолустномъ степномъ Канзасѣ, и послѣ шумихи, окружавшей его имя въ теченіе избирательной кампаніи, его позабыли сразу послѣ выборовъ. Фактически вся борьба велась вокругъ одного имени. Страна была призвана судить Рузвельта. Противники обвиняли его въ попраніи конституціонныхъ законовъ, въ узурпированіи непринадлежащей президенту власти, въ нарушеніи обѣщаній 1932 г., въ дезорганизациі хозяйственной жизни страны, въ расточеніи народнаго богатства на помощь безработнымъ и т. п. Въ отвѣтъ на эти обвиненія Рузвельтъ предлагалъ избирателямъ сравнить положеніе, которое оставилъ ему Хуверъ, съ нынѣшнимъ положеніемъ. Онъ принималъ на себя полную отвѣтственность за происшедшія перемѣны! На упрекъ въ расточеніи государственныхъ средствъ на борьбу съ нуждой и голодомъ Рузвельтъ отвѣчалъ напоминаніемъ о томъ, какъ республиканская партія, когда она была у власти, расточала средства на финансированіе грядущихъ войнъ въ Европѣ. На упрекъ въ нарушеніи предвыборныхъ обязательствъ 1932 г. президентъ отвѣчалъ торжественнымъ обѣщаніемъ идти и впредь тѣмъ же путемъ, какимъ онъ шель въ первое 4-лѣтіе управленія страной. Никакихъ конкретныхъ програмныхъ обязательствъ Рузвельтъ на этотъ разъ не давалъ. Онъ требовалъ отъ страны довѣрія и поддержки. И народъ поддержалъ его. Со времени Вашингтона ни одинъ кандидатъ въ президенты Соединенныхъ Штатовъ не получалъ такого большинства, не одерживалъ такой полной побѣды, какъ Рузвельтъ въ ноябрѣ 1936 г.: онъ получилъ большинство въ 46 штатахъ изъ 48.

По существу, страна голосовала за Рузвельта, какъ выразителя опредѣленной философіи государства и управленія. Въ томъ, что такая философія у президента имѣется, едва ли возможны сомнѣнія. Страна знаетъ о ней по его западающимъ въ душу словамъ о томъ, что нѣтъ свободы тамъ, гдѣ человѣкъ не

увѣренъ въ завтрашнемъ днѣ; что нѣтъ демократіи тамъ, гдѣ права собственности стоятъ выше правъ личности; что въ Америкѣ не должно быть «забытаго человѣка»; что Соединенные Штаты должны хранить вѣрность завѣтамъ отважныхъ пионеровъ, вступая въ новую, неизслѣдованную область социальныхъ преобразований...

Хороши ли такія идеи, пригодны ли онѣ для управления капиталистической страной, или нѣтъ, во всякомъ случаѣ политическіе афоризмы не могутъ замѣнить политической программы. И потому какъ въ 1932 г. послѣ побѣды Рузвельта никто не зналъ, что будетъ онъ дѣлать, такъ и теперь послѣ его новой побѣды политическіе круги гадали, какой выберетъ онъ курсъ. Одни ожидали поворота вправо, въ сторону уступокъ хозяевамъ-капиталистамъ. Другіе предвидѣли поворотъ влѣво, въ сторону радикальнаго социального законодательства. Третьи предвидѣли полоборота вправо на экономическомъ фронтѣ и полоборота влѣво на фронтѣ социальной политики. Разноголосица въ оцѣнкѣ ближайшаго будущаго была поразительная. Но въ двухъ пунктахъ сходились всѣ наблюдатели: всѣ они предвидѣли подъемъ въ рабочемъ движеніи и новое размежеваніе партійно-политической карты Соединенныхъ Штатовъ.

Подъемъ рабочаго движенія представлялся неизбѣжнымъ какъ въ силу экономическихъ причинъ, такъ и по причинамъ политическимъ. Экономическія условія, вызывающія оживленіе рабочаго движенія, чрезвычайно просты. Америка переживаетъ полосу хозяйственнаго подъема.

Индексъ объема производства американской промышленности былъ, въ среднемъ за годъ:

въ 1929 г.	100	въ 1933 г.	64
« 1930 г.	81	« 1934 г.	66
« 1931 г.	68	« 1935 г.	76
« 1932 г.	54	« 1936 г.	88

Въ декабрь 1936 г. промышленный индексъ дошелъ до 102. Въ настоящее время онъ перешелъ и эту черту.

При этомъ, вотъ любопытная особенность нынѣшняго промышленнаго подъема въ Соединенныхъ Штатахъ: производство средствъ потребления обгоняетъ производство средствъ производства. По сравненію съ среднимъ годовымъ уровнемъ 1929 года (= 100) соответствующіе индексы въ декабрь 1936 г. были: для средствъ производства 98, для средствъ потребления 107, въ частности, для текстильной промышленности 123.

Оживленіе промышленности естественно вызвало сокращеніе безработицы. Правда, никто здѣсь не знаетъ въ точности, сколько имѣется въ странѣ безработныхъ. Но число рабочихъ, занятыхъ на фабрикахъ и заводахъ, уже превышаетъ цифры 1929 г. Равнымъ образомъ, процентъ безработныхъ среди членовъ профессиональныхъ союзовъ въ настоящее время ниже, чѣмъ былъ передъ кризисомъ.

Это не значитъ, что проблема безработицы разрѣшена окончательно. Но часть безработныхъ (больше 2½ миллионѣвъ) занята на общественныхъ работахъ. Другіе получаютъ пособие отъ государства. Безработица перестала давить на рабочій классъ, и, естественно, рабочіе поднимаютъ голову. Недаромъ оживленіе рабочаго движенія считается постояннымъ спутникомъ промышленнаго подъема.

Но въ Америкѣ къ этимъ экономическимъ причинамъ присоединились особыя политическія условія. По мѣрѣ того, какъ развивалась избирательная кампанія, становилось все яснѣе классовое раслоеніе страны: за Рузвельтомъ стояли фермеры, рабочіе и демократическая интеллигенція; противъ него были силы банковъ и биржи, могущественные промышленные тресты, капиталистическая пресса. Демократическій блокъ побѣдилъ. И не подлежитъ сомнѣнію, что въ крупнѣйшихъ промышленныхъ штатахъ (Нью-Йоркѣ, Пенсильваніи, Иллинойсѣ, Калифорніи) и въ главныхъ городахъ (Нью-Йоркѣ, Филадельфій, Чикаго, Санъ-Франциско, Лосъ-Анжелосѣ) исходъ борьбы былъ рѣшенъ голосами рабочихъ. Если-бы рабочіе голосовали вразсыпную, за того и другого кандидата, какъ въ прежнія кампаніи, Рузвельтъ, все равно, побѣдилъ бы. Но, конечно, онъ не собралъ бы большинства въ 46 штатахъ!

Естественно поэтому, что рабочіе и, въ частности, пролетарскія группы, наиболѣе дѣятельно выступавшія въ избирательной борьбѣ, ощутили переизбраніе Рузвельта, какъ свою побѣду. Политическій успѣхъ рабочаго движенія долженъ былъ усилить его активность и на экономическомъ фронтѣ. Какую же ближайшую цѣль для своего наступленія должны были избрать рабочіе союзы?

За время кризиса заработная плата въ Соединенныхъ Штатахъ была понижена. Средній заработокъ фабричнаго рабочаго составлялъ здѣсь:

	Въ недѣлю въ долл.	За часъ рабо- ты въ цент.
въ февралѣ 1929 г.	28,84	58,7
« 1930 г.	27,68	59,2
« 1931 г.	24,15	57,3
« 1932 г.	19,63	52,8
« 1933 г.	16,23	46,2

Но сокращеніе почасовой платы уравновѣшивалось паденіемъ цѣнъ на предметы потребленія. Реальная почасовая плата была въ годы кризиса выше, чѣмъ въ годы хозяйственнаго расцвѣта. Въ долларахъ и центахъ 1929 г. (по среднимъ цѣнамъ за 1929 г.) рабочіе получали:

	Въ недѣлю въ долл.	За часъ рабо- ты въ цент.
въ февралѣ 1929 г.	28,89	58,9
« 1930 г.	27,95	59,7
« 1931 г.	26,80	63,6
« 1932 г.	24,45	65,5
« 1933 г.	22,49	64,0

Такимъ образомъ средній реальный заработокъ американскаго рабочаго былъ урѣзанъ не пониженіемъ расцѣнокъ, а сокращеніемъ часовъ работы: вмѣсто 49 часовъ въ недѣлю, какъ въ 1929 г., на рабочаго въ среднемъ выходило въ 1933 г. всего 35 часовъ.

Съ преодоленіемъ кризиса заработная плата начала подыматься. При этомъ почасовая плата подымалась быстрее, нежели росла дороговизна, а недѣльный заработокъ увеличивался еще вслѣдствіе возвращенія къ полному рабочему времени.

Заработная плата на фабрикахъ составляла въ среднемъ:

Въ февралѣ:	Въ недѣлю		За часъ работы	
	въ дол- ларахъ	въ долл. 1929 г.	въ цен- тахъ	въ цент. 1929 г.
1934 г.	19,86	25,30	55,8	71,1
1935 г.	22,14	27,00	59,5	72,6
1936 г.	23,14	27,95	60,8	72,8
1937 г.	26,64	30,55	64,3	73,7

Такимъ образомъ и реальная почасовая заработная плата, и недѣльный заработокъ фабрично-заводскихъ рабочихъ стоять въ настоящее время выше, чѣмъ въ 1929 г. (средній недѣльный заработокъ на 6 процентовъ, а часовая плата на 25 процентовъ).

При таких условиях рабочее движение в Америке не могло вылиться в формы широкого массового наступления с требованием общего повышения заработной платы. Перед ним стояли иные задачи.

При высоком среднем уровне заработной платы в Соединенных Штатах, оплата различных видов труда распределена здесь настолько неравномерно, что миллионы рабочих и служащих не получают самого скромного прожиточного минимума. Вообще говоря, заработок чернорабочего наполовину меньше, чем заработок квалифицированного рабочего. Но это — в среднем. В отдельных профессиях контрасты в оплате гораздо резче. Так, в 1929 г. в Нью-Йорке рабочий каменщик зарабатывал 20 долларов в день, тогда как его подручный получал всего 2 доллара.

На очереди задача — выравнивать ставки оплаты труда, поднимать низшие слои пролетариата до «американского» уровня жизни.

Другая не менее насущная задача — создать механизм, регулирующий заработную плату и рабочее время согласно с требованиями экономического равновесия. Рабочие в Америке больше всего боятся повторения кризиса и считают, что кризис станет неизбежен, если потребление широких народных масс не будет расти в соответствии с ростом производительности труда, с прогрессом техники.

Третья задача — добиться для рабочих того положения в предприятии, которое соответствовало бы их достоинству, как свободных граждан. Трудно представить себе, как далека Америка от этого идеала! Здесь нерядкость — акционерные компании, которые содержат своры шпионов, проводят своих агентов из местных отделов рабочих союзов, ведут картотеки смутьянов и агитаторов. Во многих предприятиях заводская стража не только вооружена револьверами, но имеет в запасе газовые бомбы и пулеметы. Штрейкбрехерские организации поставлены на широкую коммерческую ногу, среди их руководителей числятся люди с богатым уголовным прошлым, — бывшие полицейские, выгнанные со службы за взятки, и бывшие каторжники, освобожденные на «честное слово» за шпионаж за другими арестантами. В отдельных случаях заводская администрация организует вооруженные налеты на рабочие союзы, поджоги, избиения и даже убийства организаторов и должностных лиц союзов. Больше всего страдают от этого режима безправия и террора неквалифи-

цированные и полуквалифицированные рабочие в провинциальных городах.

Таковы три задачи, перед которыми жизнь поставила американских рабочих. Естественно, что подъем рабочего движения пошел по этим трем линиям. Это предопределило его характерную черту: движение прошло мимо Американской Федерации Труда, официально представляющей рабочий класс в Соединенных Штатах.

Дело в том, что Американская Федерация Труда, по природе своей, есть объединение квалифицированных рабочих. Это не значит, что федерация не принимает в свои союзы и полуквалифицированных и неквалифицированных рабочих. В известных пределах, включение чернорабочего плебса в трэд-юнионы пролетарской аристократии необходимо для успеха этих трэд-юнионов. Но не может быть речи о том, чтобы чернорабочие определяли политику Федерации!

Защита низших слоев пролетариата, регулирование всей системы расценок, борьба с терроризмом хозяев, направленным против неорганизованных рабочих, — все эти задачи требовали объединения профессий и производств, лежащих вне деловых интересов Федерации. А в иных случаях Федерация даже не сочувствовала постановке на очередь этих задач (напр., поскольку речь шла о сглажении контрастов в оплате различных категорий труда).

Таким образом руководство движением перешло к бывшей оппозиции Американской Федерации Труда, возглавляемой Луисом. Об этом человеке и о движении связанном с его именем надо рассказать подробнее.

Бывший углекопь-шахтер, Луис еще до войны был известен в своем союзе, как энергичный организатор и недюжинный митинговый оратор. После войны он был избран председателем союза. На этом посту он заставил говорить о себе. Выдвинулся он как особо надежный партнер при заключении договоров с хозяевами: для него и для его союза его подпись под договором была свята. Притом он был ярким республиканцем, агитировал за Кулджа, а позже за Хувера, так что капиталистическая печать не могла им нахвалиться.

Союз углекопов влачил в то время довольно жалкое существование (так как угольная промышленность переживала затяжной кризис, несмотря на общий расцвет американ-

скаго хозяйства). Но все знали, что во главе этого захудалато-союза стоит крупный и властный человек.

Кризис многому научил Луиса. Он понял всю живость показного благополучия, которым морочили страну биржевики и банкиры. Он понял, как легкомысленно управляли они хозяйственной жизнью страны. Возможно, что в его душе говорило и чувство горькаго разочарования в недавних политических кумирах.

Когда Рузвельт начал весной 1933 г. свою политику борьбы с кризисом, Луис одним из первых в рядах американскаго рабочаго движенія понял смысл предпринимаемых «экспериментов». Пока другіе профессионалисты покачивали головами, опасаясь, какъ бы не вышло чего-нибудь плохого из усиленія центральной государственной власти, Луис с головой окунулся въ борьбу. «New Deal» былъ для него попыткой ограничить самовластіе капитала во имя правъ и интересовъ народныхъ массъ, прежде всего рабочихъ.

Въ значительной степени благодаря Луису угольная промышленность стала однимъ изъ первыхъ объектовъ правительственныхъ опытовъ. И даже противники президента не отрицаютъ успѣха его мѣропріятій въ этой области.

Съ установленіемъ государственнаго контроля надъ угольной промышленностью, союзъ углекоповъ пошелъ въ гору и въ короткое время занялъ одно изъ руководящихъ мѣстъ въ Американской Федерациі Труда, гдѣ онъ былъ однимъ изъ немногихъ «вертикальных» союзовъ, т. е. союзовъ, охватывающихъ в сѣ профессии въ данной промышленности.

Но пытаясь укрѣпить свои позиции, союзъ углекоповъ натолкнулся на явленіе, хорошо знакомое изъ практики рабочаго движенія въ Европѣ: ни одинъ рабочій союзъ не можетъ свободно маневрировать, если рабочіе смежныхъ отраслей промышленности и смежныхъ профессій не организованы. Угольная промышленность въ Соединенныхъ Штатахъ сплетена съ концернами желѣза и стали; желѣзная промышленность тѣсно связана съ автомобильными компаниями; производство автомобилей неотдѣлимо отъ резиновой и стекольной промышленности. Такъ Луисъ и его соратники по угольному союзу пришли къ мысли покрыть Америку сѣтью «вертикальных» союзовъ въ основныхъ отрасляхъ массоваго производства. Идея эта нашла откликъ въ союзахъ квалифицированныхъ рабочихъ, которые не принадлежатъ къ рабочей аристократіи (портные, шапочники и т. п.). Такъ внутри Американской Федерациі Труда образовался «Советъ для индустриальной организациі рабо-

чихъ», поставившей своей задачей вывести американское рабочее движение изъ рамокъ цеховой исключительности. Логика развитія, требованія момента, духъ «New Deal'я» — все было на сторонѣ Луиса. Но противъ него была бюрократія Американской Федерациі Труда. Какъ могли квалифицированные каменщики и плотники примириться съ тѣмъ, что большинство въ ихъ трэдъ-юніонахъ должно было перейти къ подручнымъ рабочимъ, — къ тому же съ примѣсю черныхъ! Предложенія Луиса систематически саботировались правленіемъ Федерациі подъ предлогомъ, что широкая организационная кампанія требуетъ денегъ, а финансы союзовъ подорваны кризисомъ. Въ концѣ 1935 г. союзъ углекоповъ рѣшилъ принять на себя всѣ расходы по организациі металлстовъ и для начала ассигновалъ на это дѣло 10 милліоновъ франковъ. Правленіе Американской Федерациі Труда отвѣтило на это рѣшеніе ультимативнымъ требованіемъ, обращеннымъ къ Луису и его единомышленникамъ, распустить «Совѣтъ для индустриальной организациі». За ультиматумомъ послѣдовало исключеніе изъ состава Федерациі 10 союзовъ, охватывавшихъ 1½ милліона членовъ (изъ общаго числа 4 милліоновъ, значущихся въ Федерациі).

Окончательно или временно исключены они? Кто виноватъ въ расколѣ? Законно-ли было рѣшеніе правленія? Этими вопросами заниматься мы не будемъ. Существованіе самъ фактъ глубокаго раскола въ рядахъ рабочаго движенія въ моментъ, когда всѣ внѣшнія условія благоприятствовали его подъему.

Конечно, расколъ въ рабочихъ союзахъ всегда подрываетъ ихъ силы. Но все же необходимо признать, что при томъ, какъ сложились обстоятельства въ Соединенныхъ Штатахъ, движеніе впередъ шло черезъ расколъ. Лунсъ стоялъ передъ дилеммой: подчиниться требованіямъ цеховыхъ старѣйшинъ и отказаться отъ объединенія широкихъ массъ неквалифицированныхъ рабочихъ, или же, продолжая начатое дѣло объединенія, поставить цеховые трэдъ-юніоны передъ фактомъ созданія новыхъ, болѣе мощныхъ союзовъ и потомъ, на этой новой почвѣ, искать соглашенія съ остатками Американской Федерациі Труда. Онъ выбралъ второй путь. Возможно, что при этомъ онъ учитывалъ, что главой новаго объединенія, охватывающаго весь рабочий классъ Америки, будетъ онъ, Лунсъ, а не Вильямъ Гринъ. Но что намъ до его личныхъ мотивовъ? Судить его слѣдуетъ по объективнымъ результатамъ его политики.

Любопытная черта, которой не можетъ отрицать ни одинъ безпристрастный наблюдатель американской жизни: послѣ рас-

кола въ Американской Федерациі Труда, «Совѣтъ» Луиса сталъ выразителемъ настроеній и желаній широкихъ слоевъ организованныхъ и еще не организованныхъ рабочихъ. Это сказалось во время президентскихъ выборовъ. Тогда какъ Федерациа, подъ давленіемъ правыхъ элементовъ движенія, проводила политику нейтралитета, т. е. фактически самоустранилась изъ борьбы, Совѣтъ мобилизовалъ всѣ силы своихъ 10 союзовъ на поддержку Рузвельта. Стремленія пролетаріата связывались въ его пропагандѣ съ общенациональными задачами, съ общечеловѣческими идеалами. А главное, онъ будилъ самодѣятельность рабочихъ массъ, вовлекалъ въ движеніе незатронутыя организацией профессіи. Короче, при полной бездѣятельности Американской Федерациі Труда, Луисъ и его соратники завоевали Рузвельту Пенсильванію, Нью-Йоркъ, Чикаго и Санъ-Франциско.

Противники президента учли создавшееся положеніе. Сразу послѣ выборовъ поползли слухи о томъ, что президентъ попалъ въ зависимость отъ Луиса, что глава углекоповъ подготавливаетъ свою кандидатуру для выборовъ 1930 г. Его грузная фигура съ косматыми бровями совершенно затмила будничнаго, привышгагося газетамъ предсѣдателя Федерациі. Всѣ знали заранѣе, что скажетъ въ каждомъ данномъ случаѣ Гринъ, но нелегко было угадать, что станетъ дѣлать Луисъ.

Въ февралѣ внезапно вспыхнула забастовка на предприятияхъ General Motors. Руководили движеніемъ Луисъ и его помощникъ по «Совѣту индустриальной организациі», глава молодого союза автомобильныхъ рабочихъ Мартинъ. Въ первый же день забастовки они объяснили представителямъ печати, что для нихъ General Motors — только начало. Цѣль движенія — заключить во всѣхъ отрасляхъ массоваго производства коллективные договоры на основѣ признанія хозяевами новыхъ рабочихъ союзовъ. Именно это требованіе и было предъявлено администраціи General Motors. Такъ молодой, еще не окрѣпшій союзъ, созданный при поддержкѣ углекоповъ, бросилъ вызовъ могущественнѣйшему концерну автомобильной промышленности.

Сравнительной слабостью союза объяснялась избранная имъ тактика. Бастовали не всѣ предприятия концерна, а лишь отдѣльные заводы и мастерскія, занимающіе ключевое положеніе въ производствѣ. При этомъ, чтобы обезпечить эффектъ забастовки, рабочіе оставались въ предприятияхъ. Быть можетъ, въ этомъ выборѣ тактики сказался примѣръ забастовокъ, прокатившихся лѣтомъ 1936 г. по Франціи. Но со-

знательного подражания, повидимому, не было, несмотря на внешнее сходство тактических приемов. Не только большая печать, но и Американская Федерация Труда обрушились на забастовщиков. Захват предприятий изображался, как недостойная американских рабочих насильническая тактика. Оспаривалось и право нового союза говорить от имени рабочих. Федерация открыто просила правление General Motors не признавать нового союза единственным представителем рабочих и служащих, занятых в предприятиях компании.

Компания отказывалась вести переговоры с рабочими, пока они не очистят занятых помещений. Рабочие отказывались выйти из заводов, пока компания не признает их союза.

Число непосредственных участников «сидячей забастовки» было не очень велико, едва ли оно превышало 10.000. Но забастовка парализовала предприятия, в которых работало свыше 100.000 человек. В этом и заключалась тактика Луиса и Мартина. Само собой разумеется, что предпосылкой для такой тактики было единодушное сочувствие широких слоев рабочих тем группам, которые непосредственно проводили захват заводов, намеченных генеральным штабом движения.

Очень скоро к забастовке у General Motors присоединились новые «сидячие забастовки» в металлообрабатывающей промышленности и в других производствах. Движение явно начало перерастать замыслы руководителей. Хозяева не сдавались. Они готовы были вести переговоры о заработной плате, о рабочих часах, о других экономических вопросах, но отказывались заключать коллективные договоры с Луисовскими союзами.

Так как местная администрация отказывалась пустить в ход вооруженную силу для освобождения захваченных заводов, началась мобилизация обывательских дружин. Кое-где возникли беспорядки с револьверными выстрелами, с убитыми и ранеными на той и другой стороне. Вообще говоря, такая столкновения при обширных забастовках в Америке дело обычное: от перебранки между забастовщиками и штрейкбрехерами один шаг до камней, а от камней так легко перейти к револьверам. Но на этот раз газеты усердно раздували известия о столкновениях. Общественное мнение все больше возставало против забастовщиков, которых обвиняли в том, что они перенесли в Америку «московские» приемы борьбы.

Таково было положение, когда Луис напечатал в газетах заявление о том, что рабочие рассчитывают на вмеща-

тельство президента, переизбранію котораго они содѣйствовали. Само собой разумѣется, это не улучшило положенія забастовщиковъ и не облегчило задачи президента: не могъ же онъ выступить теперь въ порядкѣ уплаты долговъ по избирательной кампаніи! Повторныя попытки посредничества, предпріятыя Департаментомъ Труда и губернаторомъ Иллинойса, молодымъ и талантливымъ демократомъ Морфи, оставались безплодны. Рабочіе сидѣли въ захваченныхъ заводахъ; хозяйева, опираясь на поддержку общественнаго мнѣнія и на новые судебныя приговоры противъ «сидячихъ забастовокъ», все настойчивѣе требовали отъ администраціи рѣшительныхъ дѣйствій. Конечно, они не рассчитывали на вооруженныя силы федеральнаго правительства. Мало надеждъ возлагали они и на мѣстныхъ губернаторовъ-демократовъ. Но въ Соединенныхъ Штатахъ полицейская власть крайне децентрализована и можно было опереться на мѣстныя гражданскія милиціи или путемъ формальной присяги превратить въ добровольную полицію наемныя банды штрейкбрехеровъ.

Дѣло явно шло къ кровавой развязкѣ. Тогда правые круги сдѣлали послѣднее усиліе, чтобы сломить движеніе. Въ конгрессѣ была внесена резолюція, осуждавшая захватъ предпріятій рабочими. Газеты требовали, чтобы и президентъ, со своей стороны, выразилъ свое неодобреніе «сидячимъ забастовкамъ». Равнымъ образомъ требовали отъ Рузвельта, чтобы онъ дезавуировалъ ссылки Луиса на его сочувствіе движенію, «Совѣтъ для индустриальной организаціи», вербуя новыхъ членовъ, подчеркивалъ въ своихъ циркулярахъ: «Президентъ желаетъ, чтобы вы стали членомъ нашего союза».

Газеты чрезвычайно убѣдительно доказывали, что президентъ не можетъ долше молчать. Если онъ не выступитъ противъ Луиса, это будетъ понято, какъ выраженіе его сочувствія забастовщикамъ.

И все же Рузвельтъ не сдѣлалъ въ эти тревожные дни ни одного заявленія, которое могло бы быть истолковано или использовано противъ рабочихъ. Всѣ усилія его были направлены къ тому, чтобы не допустить кровопролитія и побудить обѣ стороны къ переговорамъ.

Въ полномъ согласіи съ политикой Бѣлаго Дома, сенатъ принялъ резолюцію, въ которой краткое осужденіе «сидячихъ забастовокъ» было соединено съ разоблаченіемъ политики терроризма, шпіонажа и самовластия со стороны предпринимателей, которая ведетъ къ забастовкамъ. Этимъ были сорваны попытки хозяевъ потопить движеніе въ крови рабочихъ. Огромное

впечатлѣніе произвело на общественное мнѣніе выступленіе сенатской комиссіи Лафалетта. Въ разгаръ забастовки у General Motors комиссія вызвала рядъ свидѣтелей, которые должны были освѣтить общую политику штрейкбрехерскихъ и шпіонскихъ конторъ. Такъ раскрылось, что и компанія General Motors не гнушалась обращаться къ этимъ предпріятіямъ за услугами особаго рода и платила имъ немалыя деньги.

Позиція компаніи была скомпрометирована безвозвратно. Идти послѣ этого на кровопролитіе, лишь бы настоять на своемъ, было для концерна явно невыгодно. Благоразуміе требовало искать компромисса. Такъ, послѣ 6-недѣльной, крайне острой, борьбы рабочіе добились отъ General Motors признанія ихъ союза (правда, съ нѣкоторыми оговорками). Точно такъ же закончилась упорная, хотя и менѣе драматичная, «силая забастовка» у Крайслера. Безъ общей забастовки то же требованіе «Совѣтъ» для индустриальной организациі рабочихъ провель и въ крупнѣйшихъ концернахъ желѣзнодорожной промышленности. Эта побѣда была особенно показательна, такъ какъ желѣзная промышленность до сихъ поръ не признавала трудъ-юніоновъ и отстаивала свое право договариваться «свободно» съ каждымъ отдѣльнымъ рабочимъ. Спротивленіе предпринимателей требованію признанія союзовъ и заключенія съ ними коллективныхъ договоровъ было сломлено.

И вдругъ новая сенсація, почище «силячихъ забастовокъ»: Верховный Судъ призналъ конституционность изданнаго еще въ 1935 г. «акта Вагнера». Этотъ актъ является своего рода хартіей вольности для американскихъ рабочихъ и создаетъ юридическія рамки для развитія промышленной демократіи, на подобіе заводскихъ комитетовъ въ республиканской Германіи. За рабочими признается право свободного объединенія въ союзы. Рабочимъ каждаго предпріятія предоставляется право тайнымъ голосованіемъ рѣшить, какому изъ существующихъ союзовъ, или какимъ союзамъ они поручаютъ защиту своихъ интересовъ. Союзъ, за который высказалось большинство, eo ipso становится представителемъ всѣхъ рабочихъ предпріятія при заключеніи коллективныхъ договоровъ съ хозяевами. Но это право не можетъ быть признано за организациями, дѣятельность которыхъ ограничена даннымъ предпріятіемъ и которая зависитъ отъ администраціи предпріятія. вмѣстѣ съ установленіемъ этихъ правъ рабочихъ актъ Вагнера воспрещаетъ предпринимателямъ дѣйствія, которыя могли бы ограничить или затруднить организацию рабочихъ въ ихъ предпріятіяхъ. Съ 1935 г. до сихъ поръ этотъ законъ оставался мертвой буквой, такъ какъ

суды первой и второй инстанціи признали его противорѣчающимъ принципамъ конституціи. Теперь, послѣ рѣшенія Верховнаго Суда, оказалось, что рабочіе боролись «сидячими забастовками» за свои законныя права, тогда какъ хозяева, отказываясь признавать рабочіе союзы, какъ сторону при заключеніи коллективныхъ договоровъ, дѣйствовали противъ закона!

Послѣ утверженія акта Вагнера Верховнымъ Судомъ «сидячія забастовки» пошли на убыль. Путь для строительства «вертикальныхъ» союзовъ былъ расчищенъ. Переговоры о коллективныхъ договорахъ пошли полнымъ ходомъ.

Побѣда Луиса была вмѣстѣ съ тѣмъ политическимъ успѣхомъ президента. Его усиліями было предотвращено обостреніе конфликта и кровопролитіе, — какъ тѣ, которыми въ прошломъ кончалось столько забастовокъ въ Америкѣ. Президентъ въ тяжелые дни остался вѣренъ своему союзу съ трудящимися, онъ отказался выступить противъ нихъ въ защиту капиталистовъ. Такъ преломляется урокъ недавнихъ событій въ сознаніи миллионовъ рабочихъ, независимо отъ того, принадлежатъ ли они къ Американской Федерациі Труда, или къ индустриальнымъ союзамъ, или стоятъ внѣ тѣхъ и другихъ.

Но само собой разумѣется, «сидячія забастовки» — лишь эпизодъ въ многокрасочной и бурной политической жизни Америки. На тактической побѣдѣ президента борьба противоположныхъ силъ въ Соединенныхъ Штатахъ не кончилась. Еще недавно Рузвельтъ напомнилъ представителямъ печати, что говорилъ онъ въ своей заключительной предвыборной рѣчи: «Мы всего лишь начали борьбу!» То же самое съ такимъ же правомъ могутъ сказать про себя и противники президента: и они еще далеки отъ того, чтобы сложить оружіе.

Успѣхъ «вертикальныхъ» союзовъ рабочихъ обѣщаетъ ростъ организованныхъ демократическихъ силъ. Опытъ Рузвельта прочно связалъ съ политической демократіей широкіе слои фермеровъ. Теперь на политическую арену выступаетъ новая организация, которая рассчитываетъ располагать къ президентскимъ выборамъ 1940 г. десятью миллионами голосовъ. Если этотъ расчетъ оправдается — судьба Америки будетъ въ рукахъ рабочихъ и крестьянъ.

Но это означаетъ устраненіе отъ власти тѣхъ дѣльцевъ, которыми обросъ весь политическій аппаратъ Соединенныхъ Штатовъ за 150 лѣтъ ихъ существованія. Въ этомъ отношеніи

Америка раздѣляетъ судьбу всѣхъ демократическихъ странъ. Нигдѣ бонзы, бюрократы отъ демократіи, не уступали безъ борьбы свои мѣста. Не сдадутся они безъ боя и въ Соединенныхъ Штатахъ. Недаромъ растетъ уже теперь въ рядахъ демократической партіи оппозиція противъ Рузвельта.

Въ этомъ смыслѣ эпизодъ съ «сидячими забастовками» сыгралъ роль мощнаго катализатора. Позиція, занятая президентомъ, взбудоражила правое крыло его партіи. Въ сенатѣ и въ нижней палатѣ оказалось достаточно демократовъ, которые одобряли рѣчи Рузвельта о социальной справедливости во время избирательной кампаніи, но не могутъ примириться съ политикой, направленной къ увеличенію доли трудящихся въ національномъ доходѣ и въ управленіи страной.

Президентъ показалъ, какъ понимаетъ онъ мандатъ, полученный имъ въ ноябрѣ отъ народа. Не можетъ быть никакихъ недоразумѣній въ толкованіи его намѣреній. Вторая 4-хлѣтка Рузвельта будетъ посвящена строительству социальной и экономической демократіи, строительству, опирающемуся на организованныя силы трудящихся. И чѣмъ ярче, чѣмъ послѣдовательнѣе будетъ эта политика, тѣмъ болѣе будетъ вызывать она протестовъ справа, тѣмъ ярче будетъ вскрываться неподготовленность демократической партіи къ тѣмъ задачамъ, передъ которыми поставила ее исторія.

Процессъ новой размежки уже начался открытымъ бунтомъ части партійныхъ вождей въ конгрессѣ противъ проекта судебной реформы, предложеннаго президентомъ. Но объ этой сторонѣ американской политической жизни надо рассказать особо.

Вл. Войтинскій.

З б о р о в ь

(Къ двадцатилѣтнему юбилею битвы).

Битва у Зборова (2 июля 1917 г.) была результатомъ революціоннаго подъема и, поскольку въ исторіи можно вообще говорить о возможностяхъ, она стала возможна лишь послѣ русской революціи. Великая русская революція не только освободила русскій народъ, но дала и чешскому революціонному движенію въ Россіи необходимыя предпосылки для свободнаго творческаго развитія.

Сначала зимы 1916-17 года какъ русское, такъ и чешское общественное движеніе терпѣли ударъ за ударомъ.

Надежда русской общественности, что придетъ отвѣтственное министерство, не осуществилась. Историческій вопросъ Милюкова — «Что это — глупость или измѣна?», ставившій под сомнѣніе все поведеніе русскаго правительства, былъ заданъ почти при абсолютномъ сочувствіи Думы и всей страны; однако, онъ уже не могъ остановить хода событій. Демократическіе и социалистическіе круги, пріавшіе въ свое время войну, не только уже не мечтали о возможности сотрудничества съ царскимъ правительствомъ, но, наоборотъ, сосредоточили все вниманіе на борьбѣ съ тѣми, кто по эгоистическимъ мотивамъ стремился, даже цѣной проигранной войны, сохранить самодержавіе. Национальная идея, въ началѣ войны привлекавшая къ себѣ и социалистическіе элементы, была убита и на ея мѣсто пришла вѣра въ спасительную силу социалистическаго интернаціонала. Вѣра въ побѣдоносный конецъ войны была утеряна и рѣчь Керенскаго, произнесенная за нѣсколько дней до революціоннаго взрыва, показываетъ, что внутреннія проблемы вытѣснили у русской общественности все, что волновало остальную Европу.

Въ весьма тяжеломъ положеніи находилось въ это время чешское освободительное движеніе. Союзъ чехословацкихъ обществъ въ Россіи вынужденъ былъ уступить подъ давленіемъ русскаго правительства и уже готовъ былъ принять руководство новаго органа — Чехословацкаго Национальнаго Совѣта во главѣ съ Дюрихомъ. Миссія Штефаника, стремившагося

спасти единство чехословацкаго движенія, руководимаго Масарикомъ, окончилась неудачей: отвѣтомъ на всѣ шаги, предпринятые Штефаникомъ передъ министромъ Иностранныхъ Дѣлъ Покровскимъ, было признаніе русскимъ правительствомъ Дюрковскаго Чехословацкаго Национальнаго Совѣта, настроеннаго враждебно къ Масарику. Съ этого момента опредѣлять идеалы и направленіе чехословацкихъ руководителей должны были не независимые чехословаки, а русское министерство Вн. Дѣлъ. Даже самое созданіе чехословацкаго войска возможно было лишь при условіи признанія Чехословацкаго Национальнаго Совѣта. Положеніе было отчаянное.

Въ этой душной атмосферѣ недалковидность царской исполнительной власти сыграла рѣшающую роль. Въ мартѣ 1917 года полиція спровоцировала въ Петроградѣ голодные бунты надѣясь, что послѣ ихъ подавленія у нея явится возможность связать русский народъ по рукамъ и ногамъ. Чаша, однако, была переполнена. Голодные бунты перешли въ побѣдоносную революцію.

О революціи нелегко висать и тому, кто былъ ея очевидцемъ, кто самъ ее пережилъ. Всякая революція является дѣйствіемъ коллектива; до сихъ поръ еще не нашлось историка, который сумѣлъ бы изобразить смѣсь настроеній, круговоротъ страстей, силу напряженія и разнообразіе явленій столь пластично, чтобы читатель могъ представить себѣ всю красоту и весь ужасъ революціи. Еще труднѣе постичь революцію русскую, въ которой съ самаго начала политической моментъ переплетался съ социальнымъ, гдѣ дѣло шло о переворотѣ на территоріи, занимающей одну шестую часть всей земной суши, гдѣ дѣятели, организующіе революцію, оказались въ конфликтѣ съ массами, гдѣ мессіанская вѣра массъ въ немедленное осуществленіе рая на землѣ боролась съ благоразуміемъ сравнительно нѣбольшихъ группъ, гдѣ уже въ первые дни революціи яростно столкнулись элементы государственности и анархіи.

Хотя русская революція во многихъ основныхъ чертахъ отличалась отъ чехословацкй, однако, между обѣими была и глубокая внутренняя связь: у обѣихъ была одна общая основная мысль — самоопредѣленіе народовъ.

Правда, дѣятелями русской революціи эта идея не была до конца продумана, но даже и въ формѣ лозунга она была достаточно сильна, чтобы въ міровой борьбѣ поддержать тенденцію, стремящуюся спустя сто лѣтъ послѣ французской революціи дополнить идею освобожденія личности идеей освобожденія на-

родовъ. Революція, происходившая въ такомъ огромномъ государствѣ, пробивала — сознательно или безсознательно — дорогу взглядамъ на необходимость новой организаціи міра.

Моральное вліяніе русской революціи на чехословацкое революціонное движеніе въ этомъ отношеніи было огромно. Оно оказалось неожиданнымъ въ атмосферѣ, которая соотвѣствовала ему въ основныхъ идеологическихъ чертахъ, и поддерживала его горѣніе своимъ революціоннымъ темпераментомъ и демократическими идеалами.

Освободивъ русскую жизнь отъ бюрократическихъ оковъ, положивъ въ основу каждой общественной организаціи принципъ свободнаго избранія и отказавшись отъ какого бы то ни было вмѣшательства во внутреннія чехословацкія дѣла, русская революція принесла и въ практическомъ отношеніи не малую пользу чехословацкому движенію. Диктаторское поведеніе отдѣльных лицъ по отношенію къ массѣ чехословацкихъ солдатъ и плѣнныхъ стало невозможно безъ ихъ на то согласія и дальнѣйшая организація чехословацкаго движенія въ Россіи могла строиться исключительно на началахъ избирательнаго права и при участіи всѣхъ участниковъ движенія. Русская революція дала возможность созвать историческій съѣздъ всѣхъ чехословаковъ въ Россіи; происходилъ онъ въ маѣ 1917 г. въ Кіевѣ при участіи представителей чехословацкаго войска, плѣнныхъ чехословаковъ и чехословаковъ, живущихъ въ Россіи. Та же революція дала возможность всѣмъ участникамъ чехословацкаго движенія настолько осознать свою силу, что съѣздъ призналъ за собой право издать манифестъ «Къ землямъ чешскимъ и къ словакамъ», съ призывомъ всего народа къ революціи. Далѣе, русская революція предоставила свободу слова и печати, позволила включить чехословацкое движеніе въ Россіи въ общій строй нашей заграничной революціонной организаціи и, наконецъ, дала возможность пріѣзда въ Россію всѣми признаннаго вождя Масарика.

Наконецъ, русская революція отдѣлила чехословацкое движеніе въ Россіи отъ внутреннихъ политическихъ событій самой Россіи и наша организація, наше войско постепенно стали пріобрѣтать значеніе государства въ государствѣ, арміи въ арміи. Поэтому на насъ могли вліять лишь положительные стороны русской революціи; ея же отрицательныя явленія не оказывали на движеніе никакого вліянія. Поскольку русская революція ставила вопросы переустройства общества и экономической организаціи, она не могла найти отвзвукъ въ рядахъ чехословаковъ уже потому, что, оторванные отъ родины, мы были сво-

бодны отъ необходимости рѣшать внутренніе вопросы, связанные съ нашей территоріей. Въ русской арміи, гдѣ отрицательныя стороны революціи выявили себя катастрофически, чехословацкія военныя части тѣмъ менѣе могли подпасть подъ ихъ влияніе.

Русская армія, состоявшая изъ милліоновъ мобилизованныхъ, въ большинствѣ случаевъ несознательныхъ солдатъ, которымъ не были понятны ни причины, ни сущность и цѣль войны, изъ числа которыхъ еще до революціи дезертировало свыше милліона человекъ, была охвачена стихійнымъ стремленіемъ къ миру, тоской по своему дому въ тылу. Чехословацкія военныя части имѣли совершенно иную психологію. Созданныя изъ добровольцевъ, правда, не столь многочисленныхъ, зато глубоко сознательныхъ, они ясно видѣли цѣли войны, горѣли революціоннымъ пыломъ, тосковали по дому, дорогу къ которому преграждали ненавистные притѣснители. Въ этомъ пунктѣ чехословацкая революція должна была разойтись съ русской, что и произошло въ конечномъ счетѣ. Случилось это на пятый мѣсяцъ русской революціи — въ іюль 1917 года.

Въ потокѣ русской революціи съ самаго начала можно было наблюдать два основныхъ теченія: одно — сознательное, основанное на ясныхъ и точныхъ партійныхъ программахъ, другое — стихійное, не связанное ни съ традиціями, ни съ понятіемъ о должной организаціи государства и общества, живущаго вѣр-р въ новую свѣтлую жизнь.

Первое теченіе было представлено политическими партіями, вошедшими въ русскую революцію (кромѣ партіи большевиковъ), второе — коллективомъ народныхъ массъ. Первое — стремилось къ скорому миру, но заключенному въ согласіи съ союзниками; второе — мечтало о мирѣ, который былъ бы заключенъ немедленно и какою угодно цѣною. Первое — хотѣло изъ арміи создать могущественную организацію, которая, въ крайнемъ случаѣ, могла бы принудить человечество заключить миръ; второе — видѣло въ арміи лишь наслѣдіе царскаго правительства. Первое — сознательно стремилось къ усовершенствованію арміи, чтобы она была способна произвести организованное революціонное наступленіе на непріятеля, отвергающаго миръ; второе — вѣрило врагу, браталось съ нимъ. Кромѣ этихъ двухъ теченій существовалъ большевизмъ, который тогда солидаризировался еще съ движеніемъ массъ, иногда даже сливался съ нимъ и, главное, — стремился использовать это движеніе въ своихъ политическихъ цѣляхъ.

Это противорѣчіе въ пониманіи цѣлей революціи неизбѣжно вело къ катастрофѣ, которая и разразилась, какъ только руководящее теченіе русской революціи попыталось провести въ жизнь свои идеи, какъ только былъ отданъ приказъ о наступленіи на фронтѣ. Катастрофа должна была произойти еще и потому, что Врем. Правительство перваго состава, возникшее въ пору энтузіазма первыхъ революціонныхъ дней, пропустило удобный для наступленія психологическій моментъ. Правительство же втораго состава, пришедшее къ власти послѣ апрѣльскихъ безпорядковъ и стоявшее уже лицомъ къ лицу съ все нарастающими проблемами внутренней политики (экономической кризисъ, аграрный, рабочій и національный вопросы), работало уже въ атмосферѣ растущаго разложенія арміи и упадка готовности ея къ революціонной борьбѣ съ внѣшнимъ врагомъ. У него не было возможности проявить власть, когда состояніе государственнаго и военнаго аппарата того требовали, поскольку оно не располагало достаточнымъ для управленія страной количествомъ вооруженныхъ силъ. Наконецъ, будучи связано теоріей правовой преемственности власти, оно допустило ошибку, отказавшись отъ проведения неотложныхъ социальныхъ преобразованій, откладывая ихъ до будущаго Учредительнаго Собранія. Тылъ былъ боленъ, армія же безъ здороваго тыла переставала быть силой, способной къ достиженію великихъ цѣлей.

Правда, была сдѣлана попытка поднять настроеніе арміи и тыла при помощи убѣжденій. Керенскій, военный министръ, былъ посланъ въ армію, дабы при помощи своего краснорѣчія устранить препятствія, лежавшія на пути наступленія. Къ психологической подготовкѣ наступленія были приложены совершенно нечеловѣческія усилія. Казалось, что духъ арміи окрѣпнеть, если хотя бы на одномъ участкѣ фронта удастся добиться успѣха. Казалось, что удастся преодолѣть психологію массъ и пораженческую агитацію, ведущуюся противъ наступленія.

Чехословацкое движеніе въ это время переживало какъ разъ обратный психологическій процессъ. Въ то время, когда солдаты чехословацкой бригады торжественно объявили Чехію, Моравію, Силезію, Словакію и Лужицу объединеннымъ и независимымъ государствомъ, организація плѣнныхъ чехословаковъ бомбардировала представителей русской революціи просьбами о признаніи Чехословацкаго Национальнаго Совѣта съ Масарикомъ во главѣ руководящимъ органомъ чехословацкой революціи. Добровольцы все прибывали и чехословацкая бригада по-

немногу разворачивалась въ дивизию. Киевскій съездъ устранилъ внутреннiя тренiя въ самомъ движенiи, а приѣздъ въ Россiю Масарика въ половинѣ мая 1917 года далъ, наконецъ, объ единенному движенiю вождя, авторитетъ котораго былъ неоспоримъ. Теперь всѣ силы были направлены на созданiе подлинной чехословацкой армiи; первый шагъ въ этомъ направленiи былъ слѣланъ прежде всего тѣмъ, что разбросанные отдѣлы первой бригады были сконцентрированы вмѣстѣ и затѣмъ, какъ одно цѣлое, были приданы сначала къ ударной группѣ 7 армiи, а затѣмъ къ 49-му армейскому корпусу 11-ой армiи; наконецъ, тѣмъ что былъ объявленъ наборъ среди плѣнныхъ.

Уже изъ этого краткаго обзора видно, насколько внутреннее состоянiе чехословацкаго войска было прочтѣе, чѣмъ русскаго. Цѣль была ясна, а о программѣ и способахъ осуществленiя не могло быть споровъ, такъ какъ эти вопросы рѣшалъ Масарикъ. Всѣ были охвачены однимъ стремленiемъ: ударить на врага, что въ скоромъ времени и должно было осуществиться.

Въ июнѣ состоялись съезды делегатовъ войскъ юго-западнаго и румынскаго фронтовъ, которые должны были подгото-вить почву для наступленiя; сами делегаты особенно подчеркивали его необходимость. Что наступленiе будетъ — было ясно. Будетъ ли, однако, оно успѣшнымъ? Не измѣнятся ли войска свои взгляды въ послѣднiй моментъ? Все это были вопросы, которые волновали каждаго, кто былъ ближе знакомъ съ положенiемъ дѣла. Въ пользу наступленiя высказались также Всероссийскiй съездъ совѣтовъ рабочихъ и солдатскихъ депута-товъ и Исполнительный Комитетъ Всероссийскаго совѣта крестьянскихъ депутатовъ. Съ формальной стороны всѣ пригот-вленiя были закончены, по причинамъ политическаго характера начать наступленiе нужно было какъ можно скорѣе.

Наступленiе было назначено на 28-ое июня, въ этотъ день началась артиллерiйская подготовка; наступленiе чехословацкой бригады началось 2-го iюля.

Успѣхъ чехословацкой бригады у Зборова былъ событiемъ, которое произвело сильное впечатлѣнiе на всѣхъ. Дѣйствительно, всѣ сужденiя объ ея поведенiи, которыя мы слышали и читали, исходящiя какъ отъ военныхъ специалистовъ, такъ и отъ простыхъ наблюдателей, полны похвалъ. (Вспоминается мнѣ, напримѣръ, какъ на слѣдующiй день послѣ опубликованiя извѣстiй о побѣдѣ нашей бригады, звонилъ телефонъ у Масарика. Итальянскiй посолъ сообщалъ ему по телефону о своемъ намѣренiи посѣтить его. Послѣ разговора Масарикъ съ гордой

улыбкой рассказывалъ мнѣ, что послу казалось невѣроятнымъ, чтобы такая небольшая воинская часть могла выполнить столь огромное задание).

Какъ же принялъ извѣстіе о Зборовѣ самъ Масарикъ?

Онъ зналъ, что чехословацкая бригада будетъ участвовать въ бояхъ при наступленіи русской арміи; зналъ также, что отъ результата этихъ боевъ зависитъ многое, очень многое. 2-го іюля пришли извѣстія о первыхъ побѣдахъ русскихъ войскъ, о чехословацкой бригадѣ никакихъ сообщений не было... Масарикъ пережилъ тяжелую бессонную ночь. На другой день послѣ обѣда онъ отправился отдохнуть. Я одинъ пошелъ въ редакцію «Чехословака». На Невскомъ, у витрины газеты «Русская воля», я увидѣлъ толпу народа: только что были вывѣшены послѣднія телеграммы съ фронта. Я сталъ читать, но, когда дошелъ до мѣста, гдѣ стояло: «...солдаты... чехословацкой бригады», меня охватило неопишное волненіе. Ноги какъ бы одеревѣли, къ горлу подкатилъ комокъ. Я хотѣлъ бѣжать, но вмѣсто того снова и снова перечитывалъ все тѣ же строки, которыя такъ много значили въ нашей революціонной борьбѣ съ Австро-Венгріей. Наконецъ, я все же оторвалъ глаза отъ текста телеграммы, бросилъ взглядъ на окружающую меня толпу и, не обращая вниманія на удивленные взгляды гулявшей по проспекту публики, бросился бѣжать домой. Прибѣжалъ туда, задыхаясь отъ волненія, сразу же протелефонировалъ въ редакцію «Чехословака» и отправился сообщить радостную вѣсть Масарику.

Масарикъ, утомленный бессонной ночью, взглянулъ на меня озабоченнымъ взоромъ. Но какъ только я смогъ выкрикнуть, въ чемъ дѣло, онъ молча схватилъ пальто и мы-выскочили на улицу. Тамъ онъ заставилъ меня еще разъ повторить извѣстіе, а затѣмъ самъ прочиталъ его въ «Вечернемъ времени», которое уже продавали на улицѣ. Но всего этого ему было мало:

— Я хочу видѣть извѣстія, вывѣшенные въ редакціи, — кратко сказалъ онъ и зашагалъ впередъ.

Лишь чтеніе вывѣшенныхъ телеграммъ, наконецъ, успокоило его. Онъ еще разъ осмотрѣлъ толпу, не перестававшую прибывать къ помѣщенію редакціи, дабы убѣдиться, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти извѣстія. Потомъ онъ позвалъ:

— Извозчикъ!.. Бассейная 6.

Когда мы усѣлись въ экипажъ, Масарикъ повернулся ко мнѣ и сказалъ съ незабываемой улыбкой, въ которой столько было счастья и вѣры:

— Изрѣдка это можно себѣ позволить!

Привѣтствія въ редакціи «Чехословака» весьма походили на встрѣчу людей, потерявшихъ послѣдній разумъ. Всѣ обнимали Масарика, танцевали, кое-кто прыгалъ на столы и всѣ кричали наперебой. Масарикъ только улыбался — онъ былъ счастливъ.

Когда буря восторговъ немного улеглась, онъ сѣлъ въ сосѣдней комнатѣ къ столу и началъ писать. Писалъ онъ долго. Черезъ часъ я несъ на главный почтамтъ его обширныя телеграммы: войску, во Францію Бенешу, въ Англію дочери Ольгѣ и Брожу, въ Америку Тврзицкому. Въ этихъ телеграммахъ было не меньше счастья, чѣмъ въ улыбкѣ, съ которой онъ посмотрѣлъ на меня, когда мы ѣхали на извозчикѣ.

Зборовъ прежде всего имѣлъ большое военное значеніе. Кроме того, доказательство нашихъ военныхъ способностей, данное у Зборова, предопредѣлило разрѣшеніе русскаго правительства на дальнѣйшія формированія чехословацкихъ отрядовъ и даже цѣлой арміи. Чехословацкіе добровольцы доказали, что они обладаютъ качествами превосходныхъ солдатъ. Среди хаоса, который чѣмъ дальше, тѣмъ больше охватывала русскую армію, чехословаки обнаружили дисциплину, геройскую отвагу и творческую инициативу въ положеніяхъ весьма сложныхъ и опасныхъ. Проявленіе всѣхъ этихъ свойствъ имѣло также большое значеніе и въ дѣлѣ развитія военныхъ качествъ арміи, которую мы начали создавать послѣ этого. Чехословацкая военная исторія въ прошломъ дала нѣсколько примѣровъ великолѣпной боевой традиціи, о которой добровольцы вспоминали чуть ли не каждый день; однако, было необходимо, чтобы возрождающаяся армія снова практически связалась съ этой традиціей. Эту задачу чехословацкая бригада выполнила съ честью; она вплела въ вѣнокъ будущей арміи подвигъ, о которомъ такъ прекрасно выразился главнокомандующій русской арміи, обращаясь къ Масарику: «Войско, обладающее такой традиціей, можетъ дѣлать чудеса».

Значеніе всѣхъ операций чехословацкой бригады возрастаетъ на фонѣ происходившаго въ то время развала русской арміи. Въ то время, когда 1-го іюля на фронтѣ были отданы первые приказы о наступленіи, въ тылу, особенно въ Петроградѣ, происходили шумныя тысячныя демонстраціи. Плакаты съ надписями «Долой войну», «Вся власть совѣтамъ», «Долой буржуазное правительство», «Требуемъ мира», «Долой политику наступленія» — явно показывали, что рабочія массы, несмотря на призывы и постановленія рабочихъ и крестьянскихъ совѣтовъ, отвращаются отъ событій на фронтѣ и всецѣло поглоще-

ны внутренними политическими вопросами. Правда, побѣды первыхъ дней до такой степени подняли настроеніе, что были организованы также и демонстраціи противоположнаго характера; онѣ привели въ восторгъ тѣхъ, кто понималъ, что на фронтѣ рѣшаются судьбы русской революціи, что дѣло идетъ о престижѣ Россіи въ международномъ отношеніи на многіе грядущіе годы. Фраза Плеханова: «Сегодня не, понедельникъ, сегодня — воскресенье», — показываетъ, что и социалисты-оборонцы считали извѣстія объ успѣхахъ на фронтѣ событіемъ необычайной важности. Радость и восторгъ были, однако, преждевременны. Событія на фронтѣ развивались совершенно въ иномъ направленіи, хотя успѣхи арміи ген. Корнилова давали еще надежду, что психологическій кризисъ въ арміи можетъ быть изжитъ.

Было бы излишнимъ описывать наступленіе русскихъ войскъ, возбуждившее столько надеждъ и такъ несчастливо окончившееся; достаточно прочесть воспоминанія Станкевича, взволнованными словами рисующаго эту картину, на фонѣ которой особенно ярко выступаетъ героизмъ чехословацкой бригады.

«Въ штабѣ 11-ой арміи въ общемъ были довольны результатами наступленія. На нѣкоторыхъ участкахъ было замѣтное продвиженіе войскъ. Австрійцы, по обыкновенію, сдавались цѣлыми полками... Нѣсколько иныя впечатлѣнія были въ 7-ой арміи, гдѣ Керенскій наблюдалъ за наступленіемъ у Бржезанъ. Картина первоначальнаго момента атаки была великолѣпной: атакующія войска дружно, по приказу, съ красными знаменами бросились впередъ. Но потомъ остановились. Кое-гдѣ задержались въ передовыхъ окопахъ противника, въ большинствѣ же случаевъ вернулись въ свои окопы.

19 іюня (2 іюля) я отправился на Бржезанскій участокъ убѣждать какую-то дивизію оставаться въ окопахъ, занятыхъ у противника. Наибольше огорчительное впечатлѣніе производили солдаты. Часть хмуро молчала. Многіе просились въ тылъ, «хоть на недѣлю, хоть на нѣсколько дней, хоть на день»... На слѣдующій день мнѣ пришлось опять имѣть дѣло съ 1-ымъ гвардейскимъ корпусомъ. Въ очередной новой атакѣ на фронтѣ 11-ой арміи онъ долженъ былъ играть большую роль. Но получивъ приказъ двинуться къ позиціи, корпусъ отказался подчиниться ему и остался на мѣстѣ. На слѣдующій же день, когда корпусу предстояло занять исходныя позиціи передъ боемъ, гренадерскій полкъ повернулъ и отправился верстъ на 25 въ тылъ, а за нимъ нѣсколько сотъ солдатъ изъ другихъ полковъ. Они были окру-

жены, разоружены, а Дзевалтовскій преданъ суду, причемъ при-
сѣжные изъ солдатъ обрвали его.

Я поспѣлъ къ штабу гвардейскаго корпуса къ моменту, когда
неудача наступленія выяснилась вполнѣ... Вечеромъ я при-
соединился къ Керенскому... Онъ воспринималъ событія, какъ
неудачу революціи».

Всѣ эти факты должны были дѣйствовать на поднятіе пре-
стижа чехословацкаго войска, а потому неудивительно, что рус-
ская печать долгое еще время вновь возвращалась къ той же
темѣ.

Если успѣхъ чехословацкой бригады былъ аннулированъ си-
лой обстоятельствъ, то значеніе его, какъ возбудителя боевыхъ
качествъ у добровольцевъ, было длительно. Тоже самое можно
было наблюдать и въ области политической пропаганды.

Чехословацкіе плѣнные дѣлились на три основныя группы:
радикальную, умѣренную и враждебно настроенную противъ
движенія. Численность приверженцевъ этихъ группъ время отъ
времени мѣнялась. Брусилловское наступленіе и разрѣшеніе пер-
ваго набора въ чехословацкое войско въ концѣ 1916 г. сильно
радикализовало плѣнныхъ. Русская революція, приведеніе въ
порядокъ всѣхъ внутреннихъ разногласій и, наконецъ, пріѣздъ
Масарика еще усилили этотъ процессъ. Зборовъ его завершилъ.
Какъ умѣренные, такъ и многіе изъ числа состоявшихъ во вра-
ждебномъ лагерѣ послѣ Зборова осознали свой долгъ; и это
шло тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ больше приходило извѣстій съ роди-
ны, откуда довольно прозрачно намекали, что соблазнительная
перспектива чехословацкой независимости не можетъ уже боль-
ше почитаться лишь романтической мечтой Сазонова, что, въ
случаѣ сотрудничества народа, побѣда несомнѣнна. Эта мысль
начинала овладѣвать военноплѣнными и приливъ тридцати ты-
сячъ новыхъ добровольцевъ лучше всего показываетъ агитаци-
онное значеніе Зборова.

Зборовъ сыгралъ, однако, большую роль и въ дѣлѣ общей
пропаганды. Чехословацкое движеніе въ Россіи было неизвѣ-
стной величиной какъ для Западной Европы, такъ и для широ-
кой русской общественности. Единственной личностью, которая
привлекала къ себѣ вниманіе русскихъ демократическихъ
и социалистическихъ круговъ, былъ Масарикъ. Переводъ
его «Соціального вопроса» можно было найти въ бібліотекахъ
многихъ социалистовъ и демократовъ. Его книга «Россія и Евро-
па» возбуждала вниманіе и о ней были написаны многочисленные

отзывы и статьи, несмотря даже на то, что дореволюціонное правительство сдѣлало ее недоступной для русскаго читателя. Однако, необходимо было еще доказать, что не только вождь, но и идущія за нимъ массы близки, а вовсе не враждебны новой Россіи, какъ это представляли себѣ очень многіе. Необходимо было пробудить интересъ русской общественности.

Эта задача была выполнена чехословацкой бригадой у Зборова. Сразу былъ сломенъ ледъ и русская печать нашла надлежащій тонъ. И если послѣ революціи еще возможенъ былъ фактъ существованія въ Россіи такой демократической газеты («День»), которая упрекала Милюкова за то, что онъ якобы хочетъ освободить австрійскихъ славянъ вопреки ихъ собственному желанію, то послѣ Зборова это стало невозможнымъ. Зборовъ, конечно, не могъ вознаграждать за все то, что въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ забывалось, не могъ онъ предотвратить и того, чтб случилось позднѣе, когда въ горячкѣ революціи забыли о насъ, но тѣмъ не менѣе онъ положилъ начало измѣненію нашего положенія къ лучшему и, что было особенно важно въ настоящій моментъ, — открылъ для насъ двери гражданскихъ и военныхъ учреждений. Зборовъ привлекъ всеобщее вниманіе къ чехословацкому войску.

Всѣ эти отдѣльныя стороны Зборовской побѣды (военная, агитаціонная и пропагандная) закладывали фундаментъ послѣдующей чехословацкой политики. Впервые по прошествіи трехсотъ лѣтъ на театрѣ военныхъ дѣйствій появился чехословацкій военный отрядъ; впервые послѣ трехъ вѣковъ свободный военный отрядъ доказалъ, что чехословацкій народъ хочетъ и можетъ добиться своихъ правъ, тѣхъ правъ, которыя у него были насильно отняты и въ которыхъ ему продолжали отказывать. Впервые послѣ начала войны чехословацкіе заграничные представители при политическихъ переговорахъ могли ссылаться на силу, готовую сражаться до полной побѣды. Наше стремленіе къ свободѣ, воля народа добиться во что бы то ни стало независимости были доказаны дѣйствіемъ. Сила этой воли могла быть оцѣнена Россіей, иностранными державами и Австро-Венгеріей лишь послѣ Зборовской битвы. Съ этого момента уже нельзя было больше въ печати, выходящей на родинѣ, умалчивать о размѣрахъ чехословацкаго движенія за границей. Народъ, жившій на родинѣ, извѣстіемъ о Зборовской битвѣ впервые былъ ознакомленъ съ тѣмъ, что дѣлается за границей.

Мы здѣсь дали вкратцѣ оцѣнку значенія Зборова, подводящаго итоги и составляющаго кульминаціонный пунктъ опредѣленнаго этапа чехословацкаго освободительнаго движенія. Но Зборовъ не былъ только завершеніемъ извѣстнаго періода, онъ въ то же время былъ исходной точкой дальнѣйшаго революціоннаго пути, фундаментомъ дальнѣйшаго строительства. Его продолженіемъ были послѣдующіе бои, во время июльскаго отступленія русской арміи, когда, по словамъ генерала Брусилова, «чехословаки, вѣроломно брошенные у Тарнополя, дрались такъ, что всѣ должны были бы преклонить передъ ними колѣни. Одна бригада задержала нѣсколько дивизій». И дальнѣйшимъ продолженіемъ Зборовской традиціи былъ походъ къ Тихому океану.

«Зборовъ и Тарнополь стали моральной основой для формированія нашего корпуса», писалъ Масарикъ во вторую годовщину Зборовской битвы. Онъ былъ моральной опорой для всѣхъ насъ въ дальнѣйшихъ бояхъ. Въ этомъ смыслѣ Зборовъ является центральнымъ моментомъ чехословацкой революціи.

Ярославъ Папоушекъ.

Т. Масарикъ

1850—1937

Настоящая книга журнала уже заканчивалась печатаніемъ, когда пришло печальное извѣстіе о кончинѣ Т. Масарика, Президента-Освободителя возрожденной Чехословакии.

Редакция отъ всей души присоединяется къ скорби чехословацкаго народа, раздѣляемой всѣмъ цивилизованнымъ міромъ.

Жизни и дѣятельности Масарика будетъ посвящена особая статья въ ближайшей книгѣ «Современныхъ Записокъ».

Редакция.

О социализмѣ, совѣтскомъ и иномъ

«Кто хочетъ итти къ социализму по другой дорогѣ, помимо демократизма политическаго, тотъ неминуемо приходитъ къ нелѣпымъ и реакціоннымъ, какъ въ экономическомъ, такъ и въ политическомъ смыслѣ, выводамъ».

Ленинъ: «За 12 лѣтъ». — СПб. 1908.

Въ старомъ словарѣ Литтрэ приведены 24 опредѣленія слова б о д ы. Сколько можно привести опредѣленій социализма?

Е. Д. Кускова напомнила недавно слова родоначальника «научнаго социализма» въ Россіи Плеханова, съ пристрастіемъ допрашивавшаго народолюбцевъ: — «О какомъ социализмѣ вы говорите? Возьмемъ социализмъ Родбертуса... А социализмъ Фурье? А социализмъ Кабе? Мабли?...» Къ этимъ социализмамъ нетрудно прибавить и другіе, связанные съ именами Мура, Компанеллы, Оуэна, Сенъ-Симона, Маркса-Энгельса, Лассалья, Жореса.

Всѣ эти авторы, не исключая и самыхъ скептическихъ по отношенію ко всякимъ идеологическимъ надстройкамъ, вводили въ представленія о социализмѣ моментъ правовой, психологической, моральной, даже религіозной. Это самоочевидно въ распространеннѣйшемъ опредѣленіи социализма—строй чуждой эксплоатации чело в ѣ ка чело в ѣ ко м ѣ. Это менѣе очевидно въ тривиальномъ опредѣленіи социализма, какъ — о б о б щ е с т в л е н і е средствъ и орудій производства. Но и «обобществленіе», или изыятіе изъ частнаго оборота и упраздненіе права частной собственности, — тоже понятіе правовое!

Даже въ курьезномъ опредѣленіи Ленина: «социализмъ это электрофикація плюсъ совѣтская власть», — моментъ техническій (даже не экономическій!) восполненъ политико-правовымъ: совѣтская власть, или диктатура партіи профессиональныхъ революціонеровъ.

По нынѣшней официальной доктринѣ, то, что у марксистовъ называется «первой или низшей фазой коммунизма», «уже осуществленный въ СССР социализмъ», имѣетъ своей форму-

лой: «Отъ каждаго по его способностямъ, каждому по его труду». «То же, что еще не осуществлено въ СССР и что должно быть осуществлено въ будущемъ», — «высшая фаза коммунизма», — будетъ имѣть своимъ господствующимъ принципомъ формулу: «Отъ каждаго по его способностямъ, каждому по его потребностямъ» (См. докладъ Сталина о проектѣ конституціи СССР. «Правда» № 325).

Нетрудно замѣтить, что представитель русскаго марксизма, въ сущности, только воспользовался обѣими, задолго до Маркса извѣстными и соперничавшими формулами социалистовъ-утопистовъ. Менѣе гуманную формулу онъ сообщилъ дисквалифицированному до ранга «низшей фазы коммунизма» — социализму; болѣе же гуманная приписана коммунизму. Но и та, и другая одинаково покоются на индивидуально-психологическомъ признакѣ и критеріи: на «способности» и «потребности».

Марксисты не-большевики въ этомъ отношеніи еще болѣе категоричны и выразительны. Каутскій уже полтора десятка лѣтъ тому назадъ (въ «Демократія или Диктатура») имѣлъ мужество заявить, что «строго говоря, не социализмъ составляетъ нашу конечную цѣль, а устраненіе всякаго рода эксплуатаціи и угнетенія, будутъ ли они направлены противъ какого-либо класса, партіи, пола или расы». И съ полной послѣдовательностью, подчиняя ближайшую цѣль болѣе отдаленной и болѣе высокой, онъ придавалъ домогательству социализма условный характеръ. «Если бы намъ доказали, что освобожденіе пролетаріата и человѣчества вообще или плѣсообразнѣе всего можетъ быть достигнуто на основѣ частной собственности на средства производства, какъ это допускалъ Прудонъ, то мы должны были бы выбросить социализмъ за бортъ, насколько не отказываясь отъ нашей конечной цѣли. Мы обязаны были бы это сдѣлать какъ разъ въ интересахъ этой конечной цѣли».

Каутскій готовъ былъ отказаться отъ социализма, готовъ былъ перестать быть социалистомъ, — ибо абсолютнымъ для него было не требованіе объ упраздненіи частной собственности на средства производства, а освобожденіе пролетаріата и человѣчества.

И въ такомъ марксистски-выдержанномъ органѣ, какъ «Соціалистич. Вѣстникъ», можно встрѣтить рѣшительный отказъ отъ утвержденія социализма, какъ только экономическаго порядка, имѣющаго наступить съ природной необходимостью. «Социализмъ немислимъ безъ «новаго человѣка», своимъ социальнымъ инстинктомъ такъ же отличающагося отъ человѣ-

ка капиталистической эпохи, какъ самъ капитализмъ съ его звѣриной «войной всѣхъ противъ всѣхъ», съ его индивидуалистическимъ эгоизмомъ, конкуренціей и классовой борьбой за существованіе, — отъ строя социальной гармоніи и солидарности, какимъ является (долженъ являться въ нашемъ представленіи) социализмъ» (Р. Абрамовичъ въ «С. В.» отъ 10 янв. 1936).

Не только новый строй, но и новый человекъ необходимы для того, чтобы получился социализмъ, или «строй социальной гармоніи и солидарности»... Что можетъ быть яснѣе и вѣрнѣе? И тѣмъ удивительнѣе встрѣтить въ томъ же «Соц. Вѣстникѣ» повтореніе сталинской нелѣпости о томъ, что «стабилизирующей (въ Россіи) строй — строй первоначальной стадіи социализма» (О. Доманевская въ № 1-2 за текущій годъ)!

Одного признанія связанности социализма съ «новымъ человекомъ» и социальными инстинктами, чуждыми звѣриной борьбы за существованіе, достаточно для того, чтобы а priori и a limine отвергнуть за строемъ, стабилизовавшимся въ Россіи, качество и свойство социализма. Этого признанія достаточно и для того, чтобы а priori и a limine отвергнуть самую возможность введенія социализма. Поскольку никакому «Гиганту», «Комбинату» или «ГЭЗ»-у не дана еще способность изготовлять въ массовомъ масштабѣ новаго человека, нельзя и социализмъ завести или учредить путемъ декретовъ или технико-экономическихъ мѣропріятій.

Можно спорить о степени совпаденія во времени двухъ параллельныхъ процессовъ: не является ли ускореніе технико-экономическаго процесса условіемъ и гарантіей ускореннаго творчества «новаго человека», и наоборотъ? Возможно и болѣе глубокое сомнѣніе въ принципиальной осуществимости въ рамкахъ исторіи социальной гармоніи человечества: не являются ли радикальное перерожденіе человеческой природы и социальная гармонія своего рода «Синей птицей», за которой человечеству суждено вѣчно гоняться безъ того, чтобы когда-либо ее настичь и ею овладѣть? Не является ли социализмъ такой же регулятивной идеей социального освобожденія, какой въ отношеніи ко всѣмъ видамъ и формамъ освобожденія и, въ частности, къ политической демократіи является болѣе общая идея свободы?

Теоретически — и исторически — возможно различеніе формъ и видовъ освобожденія человека и общества. Социально-экономическое можетъ быть сопоставлено и противопостав-

лено, какъ особая модальность свободы, — политическому, національному, религіозному, освобожденію женщины и др. Но практически каждая изъ этихъ сферъ вліяетъ на другую и, отдѣленная отъ нея, обусловливаетъ, съ своей стороны, ея неудачу.

Опытъ XIX-го вѣка убѣдительно показалъ недостаточность одного политическаго, національнаго и религіознаго раскрѣпощенія. Упразднивъ сословныя привиллеги дворянства и духовенства, французская революція пріобщила къ «третьему сословію» новые слои, усилила и возвеличила буржуазію. Но различія въ «синей», благородной крови и неблагородной, въ наслѣдственномъ рангѣ, въ образованности, въ социальныхъ функціяхъ между «верхами» и «низами» съ революціей не исчезли. На мѣсто божественнаго права унаслѣдованныхъ по рожденію привиллегій утвердилось новое право унаслѣдованныхъ состояній, пріобрѣтавшихъ все большее значеніе въ судьбахъ страны, невзирая, часто, на ихъ непродуцируемость, праздность и социальную ничтожность. Противорѣчія интересовъ, ненависть и презрѣніе трудящихся къ командующимъ господамъ положенія, и обратно, социальная борьба противостоящихъ другъ другу классовъ съ противоположными интересами и взаимно чуждыми взглядами и устремленіями, приняли болѣзненный характеръ.

Міровая война явилась производнымъ отъ капиталистическаго строя, приведшаго къ борьбѣ на уничтоженіе конкурирующихъ капиталистовъ въ каждой странѣ и къ борьбѣ национальныхъ «капитализмовъ» другъ съ другомъ. Капитализмъ оказался главнымъ побѣжденнымъ въ міровой войнѣ. Выродившись въ откровенное, уже ничѣмъ неоправдываемое хищничество и спекуляцію, онъ не только обострилъ социальное неравенство и классовые антагонизмы, онъ утратилъ, вмѣстѣ съ вѣрой въ себя, и свою вѣковую устойчивость.

Правда, анонимныя общества уже давно пробрили брешь въ индивидуально-капиталистическомъ хозяйствованіи. Картели и тресты давно уже проложили пути къ сокращенію предѣловъ свободной конкуренціи и «нормированію» рынка путемъ организованнаго вмѣшательства и соглашенія заинтересованныхъ лицъ и группъ. Государственные интересы все чаще вынуждали къ ограниченію суверенитета частной собственности а, иногда, и къ прямой экспроприаціи объектовъ собственности. Но когда, вмѣстѣ съ другими денежными системами, пошатнулся и рухнулъ англійскій фунтъ, — колонна капиталистическаго храма, по выраженію Люсьена Ромье, — сомнѣніе относительно устой-

чивности самого «храма» стало, можно сказать, всеобщимъ. После того какъ Англійскій банкъ (Англійскій банкъ!) «сломалъ» свой фунтъ, самъ Монтегю Норманъ, директоръ банка, допускалъ: еще шесть мѣсяцевъ капиталистическаго хаоса, и конецъ самому капитализму...

Что въ такихъ условіяхъ должны были чувствовать, думать и говорить не творцы, а жертвы этого хаоса? Анти-капиталистическія настроенія и тенденціи стали торжествовать по всей линіи — и въ доктринахъ, и въ жизни. На мѣсто выгоды и доходности выдвинулось требованіе удовлетворенія потребностей въ порядкѣ ихъ срочности и социальной необходимости. Былой либеральный капитализмъ оказался превзойденъ и растерялъ почти всѣхъ своихъ защитниковъ. Необходимость рационализаціи хозяйства и планового начала вошли прочнымъ элементомъ въ жизнь и сознаніе.

Извративъ социальныя задачи, которыми исторически онъ могъ быть оправдываемъ, капитализмъ пришелъ къ самоотрицанію. Дойти до признанія правды социализма онъ, конечно, былъ не въ состояннн. Но изблнчавшіяся социализмомъ ложь и зло капиталистической стихіи стали, можно сказать, общепризнаны. Социализмъ оказался оправданнымъ исторически и по существу въ своей критикѣ. Негативная его побѣда была несомнѣнна. А положительная, конструктивная?

*

**

Что «выводы» — или результаты, — къ которымъ привели Россію тѣ, кто, вмѣстѣ съ Ленинымъ и по его слову (см. эпиграфъ), «захотѣли итти къ социализму по другой дорогѣ, помимо демократизма политическаго», оказались «нелѣпы и реакціонны въ политическомъ смыслѣ», — это какъ будто уже не требуетъ больше доказательствъ. Даже Отто Бауэръ, все еще не рѣшившій для себя вопросъ: не является ли все происшедшее въ Россіи «неизбѣжнымъ развитіемъ всякой диктатуры, даже пролетарской», или для пролетарской общіе законы вырожденія диктатуръ не писаны, — и онъ, по его признанію, «вотъ уже годъ какъ сначала съ сомнѣніемъ, затѣмъ съ ужасомъ и, наконецъ, съ отчаяніемъ переживаетъ то, что Сталинъ натворилъ въ Россіи».

Но что и въ экономическомъ смыслѣ результаты, къ которымъ пришли большевики, идя путемъ диктатуры, не менѣе печальны, нелѣпы и реакціонны, — это продолжаетъ

многимъ казаться предвзятостью и несправедливостью. Это, къ сожалѣнію, все еще продолжаетъ требовать доказательствъ. Ибо не одинъ О. Бауэръ полагаетъ, что, хотя «въ лицѣ Сталина мы имѣемъ сейчасъ уже не пролетарскую, а самое большее — анти-капиталистическую диктатуру», тѣмъ не менѣе — «безмѣрно значеніе, которое Совѣтскій Союзъ исторически имѣлъ и еще сохранилъ, несмотря ни на что (!), для развитія пролетарской мощи и социализма». Для Бауэра продолжаетъ оставаться подъ вопросомъ: «является ли большевистскій путь вообще путемъ къ социализму?» и — «Воплощаетъ ли совѣтская диктатура волю рабочаго класса или же она насилуетъ его?» Не зная самъ, какъ на это отвѣтить, Бауэръ ваваливаетъ отвѣтственность на Сталина: не онъ, Бауэръ, а — «Сталинъ виноватъ, что на этотъ вопросъ нельзя дать отвѣта».

Къ счастью, австро-марксистское, или извилисто-двойственное отношеніе къ большевистскому продвиженію къ социализму, все явственнѣе утрачиваетъ свой авторитетъ и убѣдительность. Все чаще появляются за послѣднее время свидѣтельства иностранныхъ наблюдателей и очевидцевъ, доказывающихъ, что большевистскій путь не привелъ ни къ росту «пролетарской мощи», ни къ «социализму». И не только наблюдатели со стороны, аристократы духа или рафинированные эстеты, какъ Андрэ Жидъ и Селингъ, Паскаль и Эрбаръ, но и простые рабочіе, какъ французскій шахтеръ-туристъ Легэ, или на собственномъ опытѣ продѣлавшіе совѣтскую каторгу: 11 лѣтъ — французъ Ивонъ; 6 лѣтъ — американская еврейка, родомъ изъ Россіи, Сара Гранова; 3 года — американецъ Эндрю Смисъ; и др.

Всѣ они, естественно, интересуются социально-экономическимъ строемъ СССР и, въ первую очередь, — условіями, въ которыхъ живетъ совѣтскій рабочій: въ чемъ выражается его матеріальная и морально-политическая «пролетарская мощь». Прискорбно, но неотмѣнимо, что въ обозначившемся переломѣ передового общественнаго мнѣнія въ отношеніи къ совѣтской диктатурѣ едва ли не главную роль сыграло отталкиваніе не отъ безчеловѣчной жестокости и аморальности режима, даже не отъ насильственной «коллективизаціи» громаднаго большинства русскаго народа, крестьянства, а разочарованіе въ достиженіяхъ «гегемона» СССР — рабочаго класса.

Въ теченіе долгихъ лѣтъ передовые круги Европы и Соединенныхъ Штатовъ готовы были все принять и все простить большевистской диктатурѣ, если въ итогѣ, несмотря на террористическій режимъ, могло получиться усиленіе матеріальной и моральной мощи пролетаріата. Только убѣдившись въ небла-

гополучи и рабочего класса, многие — в томъ числѣ и благоденствующіе снобы — взглянули открытыми глазами и по иному на все прочее творящееся въ Россіи и открыли для себя и для другихъ, что большевистскій путь ведетъ не къ социализму.

Всѣ новѣйшіе наблюдатели и очевидцы единодушно отмѣчаютъ невыносимое положеніе совѣтскаго рабочаго. По официальнымъ даннымъ, скорѣе преувеличеннымъ въ сторону оптимизма, средній мѣсячный заработокъ рабочаго въ 35 г. не превышалъ 170 р., что при стоимости килограмма чернаго хлѣба въ 1 р., равнялось 170 килогр. чернаго хлѣба въ мѣсяцъ. Въ 36-мъ году, по даннымъ совѣтской статистики, средній заработокъ рабочаго поднялся до 190 р. въ мѣсяцъ, а стоимость хлѣба упала до 85 к. за килограммъ. Тѣмъ самымъ, при пересчетѣ на хлѣбъ, заработокъ повысился будто бы до 225 килограммовъ хлѣба.

На самомъ дѣлѣ этотъ расчетъ неправиленъ, потому что «средняя» вычислена путемъ прямого арифметическаго дѣленія общей суммы всѣхъ заработанныхъ платъ на число рабочихъ и безъ учета того, что дѣлимое возросло благодаря несоразмѣрному увеличенію заработковъ «верхушки» и пониженію покупательной способности громаднаго большинства трудящихся, подлиннаго «средняка» *). Изъ номинальнаго заработка необходимо вычесть и удерживаемые ex officio членскіе взносы, подписки на займы и прочіе виды прямого обложенія, которые понижаютъ рабочій заработокъ на 15-21%. Но если брать реальный заработокъ совѣтскаго рабочаго, даже въ высшемъ его официальномъ выраженіи, и сравнить его съ реальнымъ заработкомъ въ царское время, то окажется, что первый, примерно, въ три раза меньше второго. При старомъ режимѣ рабочій получалъ въ среднемъ около 30 р. въ мѣсяцъ, но и килограммъ чернаго хлѣба тогда стоилъ всего 5коп., что давало среднему рабочему за мѣсяцъ труда 600 килогр. хлѣба!

Ядовитый и ѣдкій авторъ «Путешествія вглубь ночи» справедливо формулируетъ создавшееся въ СССР положеніе: рабочій тамъ — суверенъ, царь; но царь этотъ голодаетъ!.. Царь и ницъ и голь.

Пара башмаковъ стоитъ въ СССР 250 р., т. е. стоимость ея превышаетъ мѣсячный заработокъ средняго рабочаго въ то

*) См. сводку «Советскій Рабочій», сдѣланную Б. Суваринимъ въ новомъ, очень живомъ и поучительномъ двухнедѣльникѣ — «Nouveaux Cahiers» № 9.

время, какъ рабочій въ капиталистической Франціи можетъ на свой заработокъ купить 15 паръ башмаковъ! Костюмъ изъ шерсти стоитъ совѣтскому рабочему 2 мѣсяцевъ труда, тогда какъ французскій рабочій въ мѣсяцъ вырабатываетъ на 3 костюма. Чтобы купить фунтъ сахара, совѣтскій рабочій работать полтора часа, часъ три четверти, тогда какъ англійскій рабочій, по даннымъ Ситрина, зарабатываетъ фунтъ сахара въ полчаса. И т. д.

Особенно поражаетъ — и возмущаетъ — наблюдателей огромное неравенство въ матеріальномъ положеніи трудящихся. Отъ прославленной когда-то «уравниловки» — всякій трудъ почтененъ и равноцѣненъ — не осталось и слѣда. Существуютъ до 80 различныхъ ставокъ. Прачка зарабатываетъ всего 50 р. въ мѣсяцъ; средній рабочій — 100-150 р.; стахановецъ — 1.200-1.500 р.; повсюду поспѣвающій спецъ, по совмѣстительству, — до 7 и 10 тысячъ; а особо удачливый дѣлецъ или литературныхъ дѣлъ мастеръ, — вроде горьковского мѣстоблюстителя Алексѣя Н. Толстого, — даже 20, 30 и больше тысячъ въ мѣсяцъ. Если отвлечься отъ крайностей, зарплата совѣтскаго рабочаго варьируетъ на 1.000-1.500 и больше процентовъ.

То же относится и къ пенсіоннымъ ставкамъ: отъ 25 до 80 руб. въ мѣсяцъ для рабочихъ и отъ 250 до 1.000 р. для совслужащихъ, — не учитывая различій въ ихъ дополнительныхъ «натуральныхъ» благахъ: въ пайкахъ, жильѣ, способѣ передвиженія и проч. При этомъ пенсія представляется не автоматически, а въ результатѣ длительныхъ хлопотъ и тщательныхъ анкетъ. По закону всѣ трудящіяся, физически или умственно, на заводѣ или въ полѣ, имѣютъ право на пенсію по достиженіи преклоннаго возраста. Фактически же во всемъ Союзѣ имѣются лишь 125 тысячъ человекъ, пользующихся этой пенсіей. Корреспондентъ «Нью Йоркскаго Таймса» Дени, приводя эту цифру, сопоставляетъ ее съ 2 миллионами стариковъ, пользующихся пенсіей въ Англии, и 2.391.000 пользовавшихся ею въ до-гитлеровской Германіи.

За комнату въ 15 кв. метровъ, въ которой послѣ 20 лѣтъ социалистическаго строительства вынуждена ютиться цѣлая семья, — рабочій платитъ отъ 12 до 15 р., если онъ зарабатываетъ 150 р. въ мѣсяцъ, и за ту же комнату взимается 40 р., если заработокъ достигаетъ 1.000 р. Такое неравенство имѣетъ только видимость выгоды для средняго рабочаго, ибо у него квартирная плата составляетъ 10% зарплаты, тогда какъ у болѣе состоятельныхъ она составляетъ всего 4%.

Если равенство еще сохранилось въ СССР, оно сказывается

въ уравненіи женщинъ съ мужчинами въ трудѣ, отъ котораго онѣ избавлены почти во всѣхъ не-соціалистическихъ странахъ. Работницы наравнѣ съ рабочими спускаются въ шахты для выполненія самыхъ тяжелыхъ, отвѣтственныхъ и рискованныхъ операций. На недоумѣнный и негодующій вопросъ французскаго углекопа Легэ, какъ это возможно, почему допускается женскій трудъ на днѣ колодна, — председатель профсоюза въ Горловкѣ Шмитъ спокойно замѣтилъ:

«— Предпочтительнѣе, чтобы онѣ тамъ трудились, нежели чтобы занимались проституціей!»

Подземелье шахты или проституція, — такова дилемма, къ которой, по признанію коммунистовъ, сводится удѣлъ работницы на «родинѣ всѣхъ трудящихся».

Тому же Легэ, протоколировавшему всѣ свои встрѣчи и бесѣды съ совѣтскими заправилками, въ отвѣтъ на указаніе на невозможность низкую зарплату углекоповъ, пришлось услышать отъ директора совѣтскаго угленепромышленнаго треста: «Различія въ зарплатѣ необходимы, чтобы вызвать рвеніе (ardeur) въ работѣ... Н е с п р а в е д л и в о стремиться къ обезпеченію равнаго куска хлѣба всѣмъ. Коммунистическая формула: каждому по его заслугамъ, а не по его нуждамъ».

Какъ и во Франціи послѣ Блюма, рабочій въ СССР имѣетъ право на оплаченный 2-хнедельный отпускъ, — въ тяжелыхъ для здоровья отрасляхъ труда отпускъ удваивается. Оплата отпуска составляетъ 4% приходнаго бюджета рабочаго, тогда какъ обязательные вычеты сѣдлаютъ 10% его заработка. Общее матеріальное положеніе таково, что многіе предпочитаютъ не пользоваться отпускомъ, а работать и въ отпускное время, лишь бы удвоить свой заработокъ, хоть на короткій срокъ. Такъ же обстоитъ дѣло и съ пенсіями для стариковъ. Многіе предпочитаютъ работать, невзирая на возрастъ, чтобы получить свои 100 р. въ мѣсяцъ, нежели, послѣ томительныхъ формальностей, выйти, наконецъ, на пенсію въ 25 или 50 р., которые не дадутъ возможности ни сносно жить, ни быстро умереть.

Рабочій день в СССР пониженъ до 7 час., — въ шахтахъ и вредныхъ для здоровья отрасляхъ даже до 6 час. Работаютъ безъ перерыва и съ обязательствомъ выработать «норму». Недовыработка идетъ за счетъ зарплаты: рабочіе получаютъ «пропорціоноально выработкѣ», — пояснили Легэ и въ московскомъ мясокомбинатѣ, и на шахтахъ въ Горловкѣ. При введенной въ СССР «шестидневкѣ», 35-часовая рабочая недѣля (5 дней по 7 часовъ) требуетъ отъ совѣтскаго рабочаго все же

большей затраты труда, нежели 40-часовая рабочая недѣля отъ французскаго при обычной семидневкѣ. Даже не учитывая выпаденія въ СССР религиозныхъ и иныхъ праздниковъ, — въ СССР празднуются официально всего 2 дня въ году: 1-ое мая и 7-ое ноября, — экономія рабочаго времени составитъ приблизительно 50 час. въ годъ въ пользу труденика буржуазной Франціи*). Легко подсчитать, что совѣтскій углекопъ работаетъ на 200 часовъ, или на 30 рабочихъ дней въ году больше, чѣмъ французскій!.

Оборвемъ нашу краткую характеристику матеріальныхъ условий «пролетарской мощи» въ СССР, чтобы столь же кратко коснуться морально-политическихъ условий, общихъ совѣтскому рабочему со всѣмъ прочимъ населеніемъ Россіи.

Какъ и всякій совѣтскій житель, рабочій не въ правѣ ни говорить что думаетъ, ни молчать о томъ, о чемъ не думаетъ или къ чему относится несочувственно. Онъ долженъ проявлять активность — говорить и молчать, веселиться и печалиться — въ соответствии съ видами и предназначеніями власти. «Въ Россіи опасно быть грустнымъ», — свидѣтельствуетъ Андра Жидъ въ своихъ «Ретушахъ», или поправкахъ, къ «Возвращенію изъ СССР», гдѣ онъ еще находилъ одно «несомнѣнное» и огромное совѣтское достиженіе: отсутствіе эксплуатаціи чело-вѣка чело-вѣкомъ. Грустный видъ въ СССР — подозритель-ленъ, заставляетъ предполагать крамолу: грустенъ — значитъ недоволенъ декретированной счастливой и веселой жизнью! «Въ Россіи жалобы неумѣстны», продолжаетъ тотъ же Жидъ, открывшій, наконецъ, давно открытую Америку: «для жалующихся мѣсто — Сибирь»; а то и дальше...

Жаловаться на свою долю совѣтскій рабочій не можетъ ни въ Россіи, ни за ея рубежомъ. Онъ не въ правѣ легально эмигрировать. Покушеніе на оставленіе «отечества трудящихся» карается, по декрету 8 іюня 32 г., смертной казнью. Осуществившій же свое намѣреніе подставляетъ подъ жесточайшія репрессаліи родныхъ и близкихъ. И на время совѣтскій рабочій не въ правѣ покинуть СССР безъ спеціального разрѣшенія: статистика посѣтителей парижской выставки зарегистрировала пріѣзжихъ, изъ всѣхъ странъ міра, въ томъ числѣ и изъ странъ «тоталитарной» диктатуры, кромѣ — «Одной шестой».

*) Расчетъ очень простъ: при 52 семидневныхъ рабочихъ занятъ 40 час. \times 52 = 2.080 час. въ годъ; а при 61 «шестидневкѣ» (365 дн. : 6) онъ занятъ въ году 35 час. \times 61 = 2.135 рабочихъ часовъ.

Въ смыслѣ прикрѣпленія къ странѣ и мѣсту жительства, совѣтскій рабочій раздѣляетъ общую судьбу всего подсовѣтскаго населенія. Что его отличаетъ, это — прикрѣпленіе къ «орудіямъ производства» и мѣсту труда, къ заводу или мастерской. Съ февраля 31 г. совѣтскій рабочій прикрѣпленъ къ трудовой книжкѣ, какъ военно-обязанный къ свидѣтельству объ отношеніи къ воинской повинности. Трудовая книжка обязательна и слѣдуетъ за совѣтскимъ рабочимъ, какъ неразлучная съ нимъ тѣнь. Въ нее вносятся всѣ свѣдѣнія необходимыя власти для бдительнаго и неустаннаго учета и надзора. Всѣ совершенные рабочимъ проступки слѣдуютъ за держателемъ книжки, какъ мстительныя фуріи, препятствующія ему сплошь да рядомъ найти новую работу и заработокъ.

Къ трудовой книжкѣ съ декабря 32 г. прибавился старый знакомый — паспортъ. Все отличіе новаго отъ документа царскаго времени — въ томъ, что, помимо личнаго и семейнаго положенія, въ немъ регистрируется и социальное происхождение, и партійно-политическое прошлое. Паспортъ и трудовая книжка зачастую наглухо закрываютъ доступъ на заводъ и фабрику.

За неоправданный пропускъ рабочаго дня, какъ и послѣ троескратнаго оштрафованія за опозданіе на работу, совѣтскій рабочій рискуетъ быть уволеннымъ, согласно ноябрьскому декрету 32 г., какъ дезертиръ труда и саботажникъ-вредитель. Увольненіе влечетъ за собой и утрату крова, такъ какъ заводскіе бараки и фабричныя казармы находятся въ вѣдѣніи и на учетѣ администрацій. Лишенный работы и крова лишается и льготъ по харчеванію, — «воды и огня». Отмѣтка въ трудовой книжкѣ о причинѣ увольненія можетъ фатально обречь на бродяжничество и нищество, тюрьму и гибель.

Для нѣкоторыхъ категорій рабочихъ условія дисциплины — сугубо суровы. Нарушеніе дисциплины на транспортѣ карается 10-лѣтнимъ лишеніемъ свободы; оно можетъ повлечь за собой, по декрету 23 января 31 г., и «высшую мѣру». Именно на этомъ «легальномъ» основаніи и производятся сейчасъ массовые разстрѣлы несчастныхъ желѣзнодорожниковъ.

Смерть грозитъ рабочему и за незаконное присвоеніе перевозимыхъ товаровъ — собственности государства, колхозовъ, кооперативовъ (декретъ 7 августа 32 г.). И возрастъ не спасаетъ дѣтей рабочаго: достигшіе 12 лѣтъ уже подлежатъ разстрѣлу, въ силу декрета 7 апрѣля 35 г., за кражу чужой и «священной» социалистической собственности — государства или колхозовъ. Только что минулъ пятилѣтній «юбилей» этого декрета, и «Правда» отмѣтила его «громкую историческую

роль». Прокуроръ Вышинскій обѣщаетъ, что «законъ будетъ дѣйствовать и впредь», хотя и признаетъ, что въ прошломъ — «троцкистско-бухаринскіе отщепенцы» и «пашуканисовскіе вредители умышленно неправильно примѣняли законъ 7 августа, стараясь этимъ вызвать недовольство и озлобленіе противъ правительства и партіи»...

Въ принципѣ или въ теоріи рабочей — хозяинъ всего російскаго достоянія, и отстаивать ему свои права обычными во всемъ мѣрѣ средствами, путемъ стачекъ, было бы равносильно забастовкѣ противъ самого себя. Во избѣжаніе такой нелѣпости и абсурда совѣтское законодательство ставитъ подъ уголовный запретъ стачки и всякую приостановку работы рассматриваетъ и караетъ, какъ дѣяніе контръ-революціонное и анти-совѣтское, вредительское по отношенію къ рабоче-крестьянскимъ интересамъ.

Совѣтскій пролетаріатъ не знаетъ сейчасъ бича капиталистическаго строя — безработицы. Въ безкрайней, «на шесть морей», и непроѣзжей Россіи на долгіе годы обезпечена нужда въ рабочихъ рукахъ. Совѣтская власть упразднила биржи труда и вмѣстѣ съ ними вспомоществованіе безработнымъ. Но отсутствіе безработицы еще не означаетъ и отсутствіе безработныхъ, бездомныхъ и нищенствующихъ, — въ частности, безъ призорныхъ дѣтей.

Совѣтскій рабочей не обладаетъ неотчуждаемымъ правомъ на трудъ. Онъ не можетъ требовать, чтобы ему предоставили возможность работать и жить. Трудъ въ нынѣшней Россіи сталъ орудіемъ управленія, *instrumentum regni*: трудъ даютъ и трудъ отнимаютъ въ зависимости отъ благонадежности трудящагося.

Человѣкъ работаетъ въ СССР, какъ рекрутъ въ арміи, — и онъ остается рекрутомъ всю жизнь; кромѣ надеждъ на будущее, у него нѣтъ ничего, — замѣчаетъ Селинъ...

Въ СССР нѣтъ безработицы. Но можетъ ли она быть въ казармѣ или тюрьмѣ?

**

«Пролетарская мощь» въ СССР оказалась вымысломъ и фикціей. Это было большой неожиданностью и крупнымъ разочарованіемъ для многихъ, искренне увѣровавшихъ въ возможность «большевистскаго пути» къ социализму — черезъ пролетарскую диктатуру.

Установивъ, что совѣтскій пролетаріатъ немощенъ и мате-

риально, и морально, бывшие энтузиасты большевистскаго социализма отвернулись отъ него и отъ прославленія совѣтскаго строя обратились къ его обличенію. Ихъ представленіе о социализмѣ было искреннимъ, но примитивнымъ. Положеніе рабочаго класса служило для нихъ единственнымъ мѣриломъ социализма. При всей односторонности и примитивности такого представленія, въ его основаніи все же лежитъ правильное убѣжденіе, что социализмъ — для людей, а не обратно: не люди — и, можетъ быть, цѣлья поколѣнія — для социализма!

Справки съ реальностью, съ дѣйствительнымъ положеніемъ совѣтскаго рабочаго, было достаточно, чтобы эти социалисты-примитивисты — или «утилитаристы» — осудили нынѣшній «социализмъ» въ Россіи. Гораздо болѣе непрístupной оказывается позиція тѣхъ защитниковъ и сторонниковъ социализма — и совѣтскаго строя, которые подходятъ къ тому и другому доктринерски, или «идеологически».

Для нихъ высшая цѣнность не въ «освобожденіи пролетаріата и человѣчества», а въ социализмѣ, какъ таковомъ. Социализмъ, какъ измѣненіе структуры существующаго экономическаго строя въ сторону «обобществленія», для нихъ не условенъ, не подчиненъ болѣе высокой цѣли и цѣнности, онъ себѣ довлѣетъ. Не важно какъ происходитъ или произошло «обобществленіе», существенно лишь то, что обобществленіе произошло! «Обобществленіе» принимаетъ здѣсь очертанія идола или фетиша, ради котораго не жаль никакихъ «издержекъ производства», никакихъ жертвъ людьми или принципами. На всякій случай имѣются въ запасѣ штампованныя въ вѣкахъ утѣшенія: всякое движеніе впередъ требуетъ «жертвъ искупительныхъ»; революція не дѣлается въ «бѣлыхъ перчаткахъ», съ «незапятнанными ризами» и т. п. Если нынѣшнему поколѣнію трудящихся приходится тяжело, суждены страданія и преждевременная гибель, — тѣмъ осмысленнѣе его существованіе: умирая, оно можетъ привѣтствовать зарю новой и свѣтлой жизни для будущихъ поколѣній.

Морально - политическій споръ съ социалистами этого типа бесплоденъ и невозможенъ: нѣтъ общей почвы, общихъ понятій и цѣнностей, при которыхъ аргументы могли бы дойти другъ до друга и, встрѣтившись, столкнуться. Даже когда слова — социализмъ, свобода, трудящіеся — тѣ же, внутренній смыслъ ихъ разный.

Но безотносительно къ спору, на самомъ дѣлѣ, всякое ли изъятіе властью изъ частной собственности можетъ рассматриваться, какъ «обобществленіе» и плюсъ для социализма?

Всякое ли регулирование есть положительное вмѣшательство разума въ анархическій хаосъ и произволь частныхъ отношеній?

Подобное представленіе исходитъ изъ ошибочнаго отождествленія личнаго съ индивидуалистическимъ и частнаго съ эгоистическимъ: всѣ личныя отношенія въ хозяйственной сферѣ воспринимаются и расцѣниваются, какъ анти-коллективистическія, а все частное, — какъ противоположность и отрицаніе общественнаго. Съ другой стороны, видѣть социализмъ во всякомъ измѣненіи технико-правовой структуры экономическаго строя, во всякомъ огосударствленіи частной собственности, укрупненіи производства, централизациі распредѣленія, регулированіи обмѣна и т. д., — значитъ повторить ошибку, которую социалисты всѣхъ странъ въ теченіе многихъ десятилѣтій изобличали и за которую справедливо корили своихъ противниковъ.

Доктринальный либерализмъ въ свое время усматривалъ «социализмъ» и «посягательство» на естественную и свободную игру экономическихъ отношеній почти во всѣхъ социальныхъ реформахъ новаго времени: въ фабричномъ законодательствѣ, ограничивавшемъ рабочее время и устанавливавшемъ обязательный минимумъ гигиены, безопасности и проч.; въ подоходномъ налогѣ; въ социальномъ страхованіи; въ выкупѣ и строительствѣ государствомъ желѣзныхъ дорогъ; въ монопольномъ изготовленіи и торговлѣ спиртомъ, табакомъ, спичками и проч., и проч. Теперь ошибку доктринальнаго либерализма повторяетъ доктринальный социализмъ, и вся разница лишь въ томъ, что поле наблюденія безмѣрно увеличилось и самые случаи всяческаго вмѣшательства, регулированія и «обобществленія» перестали быть «случаями», а стали обыденщиной.

Государственное предпринимательство и торговля давно уже вошли неотмѣннымъ элементомъ въ новѣйшую социально-экономическую дѣйствительность. И до войны ихъ знали даже экономически отсталыя капиталистическія страны: имѣла и царская Россія свою «государственную» сѣть желѣзныхъ дорогъ и свою «монополию» изготовленія и продажи питій. За время войны этотъ процессъ чрезвычайно развился и окрѣлъ. Однако, государственная или иная публично-правовая формы промышленной или торговой эксплуатаціи не утрачиваетъ свойственнаго всякой «эксплуатаціи» — поиска выгоды и барыша за счетъ и въ ущербъ эксплуатируемымъ.

И гитлеровская Германія установила максимумъ дивиденда въ промышленности; и она контингентировала сел.-хозяйствен-

ные продукты, которые должны сдаваться публично-правовымъ органамъ по нормированной цѣнѣ; наконецъ, сейчасъ Герингъ съ Гитлеромъ націонализировали всю желѣзодѣлательную промышленность въ Германіи, дабы хоть частично восполнить дефицитъ въ 50%, образуемый отходомъ всей высококачественной шведской руды къ Великобританіи. Приблизили ли эти мѣры третей рейхъ къ социализму? Съ точки зрѣнія доктринальнаго социализма и согласно завѣреніямъ наци — несомѣнно. По существу и реально — ни на йоту!

Или Японія, собирающаяся объявить народнымъ достояніемъ и «государствити» наиболѣе существенныя отрасли народнаго хозяйства: финансы, промышленность и торговлю для обезпеченія своего захвата сѣвернаго Китая и разгрома Шанхая. Можно ли утверждать, что путемъ осуществленія возвращенныхъ націонализаций Японія хоть на шагъ будетъ ближе къ социализму? Для свободолюбиваго социалистическаго сознанія достаточно поставить этотъ вопросъ, чтобы его со всей рѣшительностью отвергнуть. Откровенно - милитаристическія цѣли и методъ партійно-групповаго и диктаторіальнаго осуществленія компрометируютъ въ корнѣ всякую націонализацию: не приближаютъ страну, народъ и человѣчество къ социализму, а отдаляютъ отъ него.

На примѣрѣ нынѣшней Германіи и Японіи совершенно наглядно дана наличность мнимаго или фальшиваго социализма. Какъ въ политической области Лассаль установилъ наличность мнимаго, или лже-конституціонализма, который является пріобрѣтеніемъ не для народа, а для абсолютизма, такъ и въ социальной области существуетъ лже-социализмъ, полезный для деспотической власти, но отнюдь не для подвластныхъ ей трудящихся.

Чувствуя наступленіе на свои прерогативы, власть въ былое время откупалась дарованіемъ мнимой конституціи: она отсрочивала этой цѣной часть своей капитуляціи. Аналогичную задачу пресѣдуетъ и «введеніе» мнимаго социализма, при которомъ социализмъ обращался изъ идеи-силы въ слово-силу. Сосредоточивая въ свихъ рукахъ ключевыя и инныя отрасли хозяйства, безотвѣтственная власть безмѣрно увеличиваетъ свои возможности давленія и контроля за трудящимися. Имъ зато предоставлено довольствоваться сознаніемъ, что ихъ трудъ и потъ идутъ на пользу не индивидуальнаго обогащенія, а служить коллективу и социализму, какъ ихъ дискреціонно понимаетъ и толкуетъ предрержащая власть.

Не приходится преуменьшать отталкиваніе, которое вызы-

васть въ трудящемся индивидуально-эгоистическая форма эксплуатации. Это не значитъ, что замѣщающій конкретно-даннаго хозяина анонимный и невидимый акціонеръ или облигаціонеръ присваиваетъ въ свою пользу продуктъ труда рабочаго въ меньшей мѣрѣ. Это лишь ослабляетъ силу и горечь прямого отталкиванія эксплуатируемыхъ. Однимъ психологическимъ удовлетвореніемъ, однако, не опредѣляется ихъ бытіе.

Совѣтская власть безпощадно уничтожила капиталистовъ и упразднила индивидуально-капиталистическую форму хозяйствования. Но упразднила ли она систему капитализма или, иначе, является ли существующій нынѣ въ Россіи порядокъ въ какой-либо мѣрѣ социалистическимъ?

20 лѣтъ практиковала власть вмѣшательство во всѣ сферы хозяйственной жизни, осуществляла интенсивнѣйшее и экстенсивнѣйшее «регулированіе» хозяйства въ городѣ и въ деревнѣ: монополизировала деревню, организовала снабженіе предметами первой необходимости и т. д. Власть произвела «обобществленіе средствъ и орудій производства», передавъ ихъ въ руки техно-бюро-кратическаго аппарата, подконтрольнаго единой и единственной партіи съ безотвѣтственнымъ и несмѣняемымъ генсекомъ во главѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она вынуждена была сохранить, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и огрубить и ухудшить навыки, порядки и учрежденія капиталистическаго строя. Сохранилась возможность извлеченія прибыли и дивидендовъ, узаконенная денежной и платной системой съ обложеніемъ прибыли, налогомъ на зарплату, подоходнымъ налогомъ и проч., — какъ во всѣхъ иныхъ приличныхъ и неприличныхъ капиталистическихъ странахъ. Продукты не утратили своей «товарности», или способности служить предметомъ индивидуальнаго и групповаго обогащенія.

Самый рабочий трудъ не только не пересталъ быть объектомъ купли и продажи, но сталъ объектомъ спекуляціи: одно правительственное вѣдомство конкурируетъ съ другимъ въ стремленіи удешевить производство путемъ повышенія производительности труда («большевистскіе ударные темпы») и сниженія зарплаты, сдѣлщины и т. п. Измѣнилась технико-правовая форма и оболочка, характеръ и наименованіе хозяйственной эксплуатации трудящихся, но осталась безъ измѣненія или даже стала суровѣй, безжалостнѣй и безсхонднѣ самая эксплуатация труда. Она не стала мягче даже въ отношеніи къ номинальному господину положенія — къ совѣтскому рабочему.

Сохранилось главное и опредѣляющее для не-социалистическаго хозяйственнаго строя — сохранился с а л а р і а т ъ,

или эксплуатація наемнаго труда, переставшаго быть свободнымъ даже въ той мѣрѣ, въ какой онъ былъ «свободенъ» въ условіяхъ классическаго капитализма. Трудъ сталъ, какъ выше было показано, орудіемъ государственнаго управленія, — т. е. тѣмъ, чѣмъ онъ пересталъ быть со времени прихода капитализма на смѣну рабству и крѣпостничеству.

Въ до-совѣтскую эпоху и до «соціализма въ наши дни» въ Германіи рабочій «свободно» располагалъ своимъ трудомъ. Въ этомъ былъ и минусъ, и плюсъ по сравненію съ предшествовавшими эпохами. Никто не могъ заставить рабочаго работать: юридически свободный, онъ вынуждался къ продажѣ своего труда лишь условіями рынка. Но, съ другой стороны, никто — ни власть, ни хозяинъ — не обезпечивали ему и того минимума существованія, который считалъ выгоднымъ предоставить своему рабу или крѣпостному плантаторъ и феодалъ.

Большевистскій соціализмъ заимствовалъ у различныхъ хозяйственныхъ системъ ихъ своеобразныя отрицательныя стороны, не всегда заимствуя ихъ положительныя. Это дало основаніе тому же Карлу Каутскому охарактеризовать хозяйственную систему совѣтской Россіи, какъ систему государственнаго рабства.

Стабилизовавшійся въ Россіи строй менѣе всего можно назвать социалистическимъ. Въ немъ борются и сочетаются элементы государственнаго капитализма и государственнаго рабства и крѣпостничества; точнѣе формулируя, это — строй государственнаго рабства и крѣпостничества, оживленныхъ и оснащенныхъ аппаратурой повоеннаго капитализма.

*
**

Въ опытѣ послѣднихъ десятилѣтій обнаружилось, что соціализмъ въ одно и то же время проще и сложнѣе, ближе и недоступнѣе того, какимъ онъ представлялся и рисовался раньше. Онъ ближе и проще, если довольствоваться негативной стороной, отождествлять соціализмъ съ антикапитализмомъ и сводить его къ технико-юридическому измѣненію хозяйственнаго строя. И онъ много сложнѣе и недоступнѣе, если понимать соціализмъ не какъ отрицаніе отрицательнаго (капитализма) только, а какъ положительное утвержденіе и творчество.

Соперничавшіе другъ съ другомъ «капитализмы» привели въ коненномъ счетѣ къ торжеству большевизма и фашизма. А

одинаково отрицающіе капиталистическую систему большевизмъ и фашизмъ привели къ частичной реабилитаціи классическаго, или либеральнаго капитализма. И очень показательно, что въ нынѣшнихъ «планахъ», которые большею частью исходятъ отъ социалистовъ и синдикалистовъ, уже нѣтъ былого программнаго требованія «глобальнаго» обобществленія всего народнаго хозяйства и всѣхъ орудій производства. «Планы» проводятъ различіе между хозяйствомъ крупнымъ, среднимъ и мелкимъ, между видами промышленности и торговли, между сельскимъ хозяйствомъ и инымъ. Они не только на словахъ озабочены судьбой среднихъ классовъ и ограждаютъ интересы всякаго труженника, хотя бы занятаго и не на заводѣ или фабрицѣ. «Планы» предусматриваютъ, конечно, націонализацію, но лишь опредѣленныхъ отраслей производства, рядомъ съ которыми остаются и частно-хозяйственные секторы, неотчуждаемые до того скрытаго отъ насъ времени, когда людская энергія будетъ приводиться въ движеніе не личными интересами.

Конечно, и сейчасъ позволительно мечтать, что черезъ 200-300 лѣтъ, когда «небо будетъ въ алмазахъ»,—и на землѣ люди станутъ настолько сознательными и жертвенными, что въ потѣ лица трудящіеся станутъ добродотливо и радостно отчуждать свой трудъ во имя всеобщей солидарности и мировой гармоніи. Но до этихъ блаженныхъ и райскихъ временъ, въ рамкахъ человѣческой исторіи, социализму суждено быть и оставаться регулятивной, или ориентировочной идеей и жизненной тенденціей къ возможно болѣе полному социально-экономическому освобожденію. Это не отмѣняетъ того трагическаго факта, что поставленный передъ дилеммой: мнимый и фальшивый, но немедленный «социализмъ», «социализмъ» въ наши дни», или социализмъ, какъ жизненная, историческая тенденція, — измученный и обезкураженный труженникъ часто хватается за лже-социализмъ, жестоко за то поздне платясь.

Реальное приближеніе къ социализму, не какъ финальной стадіи человѣческой исторіи, — кто знаетъ, чѣмъ кончится исторія?! — а какъ утвержденія принципа личности въ хозяйственныхъ откошеніяхъ, измѣняется мѣрой матеріальнаго благоденствія и духовной свободы большинства.

Социализмъ, или социальная демократія не выше и не ниже демократіи политической: будучи одинаково модальностями свободы, онѣ равны другъ другу.

Социализмъ — производное не отъ однихъ только экономическихъ условий, а отъ многосложнаго процесса и устремленія челоуѣчества, — многообразны и формы его возможной экс-

плуатации и освобожденія. Не отрицая классовъ и классовой борьбы, какъ факта соціальной дѣйствительности,—въ процессѣ преобразованія дѣйствительности социализмъ можетъ руководиться лишь н а д классовыми интересами и устремленіями трудящихся.

Учитывая многообразіе (плюрализмъ) противоборствующихъ въ человѣкѣ и обществѣ началъ, социализмъ не можетъ не признать первенства э т и ч е с к а г о начала, приоритета г у м а н и т и ч е с к а г о надъ техническимъ, г е р о и ч е с к а г о надъ природнымъ.

Таковъ и былъ социализмъ многихъ изъ утопистовъ и социализмъ Лассалля и Жореса. Таковъ былъ и социализмъ народничества. Въ томъ же направленіи развивается социализмъ и въ другихъ странахъ. Достаточно назвать новѣйшую Эволюцію скандинавскаго социализма, социализма Англии и образовавшуюся въ июнѣ с. г. на конвентѣ въ Питсбургѣ Соціалъ-демократическую федерацію Соединенныхъ Штатовъ.

М. В. Вишнякъ.

Музыкальное творчество въ эмиграціи

Можетъ быть точнѣе было бы озаглавить эту статью: музыкальное творчество заруѣежной Россіи. Менѣе цнхъ группъ русскаго разсѣянія композиторы имѣютъ право именоваться «эмиграціей». Многіе и въ юридическомъ смыслѣ вовсе не представляютъ собою эмигрантовъ. Какой же эмигрантъ Стравинскій, живущій во Франціи съ 1912 года и нынѣ благополучно французскій гражданинъ? Среди нихъ есть и «невозвращенцы» и просто «бѣженцы». Но съ другой стороны, куда же зачислятъ всѣхъ ихъ? Вѣдь все-таки никто не согласится съ тѣмъ, что Стравинскій — «французскій» композиторъ, какъ и съ тѣмъ, что онъ совѣтскій авторъ. Итакъ, въ наше искусственное объединеніе входятъ русскіе композиторы, которыхъ никакъ нельзя зачислить въ совѣтскіе.

Если оцѣнить художественный активъ заруѣежья, то первое впечатлѣніе несомнѣнно — въ пользу заруѣежья. Музыка въ этомъ смыслѣ угѣшительна для внутренняго самочувствія эмиграціи. Одно міровое въ подлинномъ смыслѣ слова имя Стравинскаго чего нибудь да стоитъ. А кромѣ Стравинскаго у заруѣежья есть Рахманиновъ и Метнеръ и несомнѣнно чрезвычайной популярный Гречаниновъ. Есть тутъ и Н. Черепнинъ, на нынѣшнемъ фонѣ музыкальнаго искусства вырастающій въ величину едва ли не первоклассную. Есть и относительная молодежь, болѣе или менѣе удачно изображающая «подрастающее поколѣніе», которому впрочемъ въ среднемъ около 30-40 лѣтъ. Настоящей, совсѣмъ юной молодежи, правда, нѣтъ, и это трагично и заставляетъ задуматься надъ музыкальной судьбой заруѣежья. Впрочемъ, не будемъ очень задумываться, — ибо мы уже приближаемся къ предѣльнымъ срокамъ жизни всякой эмиграціи, послѣ чего она или впитывается обратно въ свою страну или ассимилируется въ чужой. Излишне надѣяться на то, что русская жизнь такъ и будетъ вѣчно дѣлиться на два состава — внутренній и заруѣежный. Да эта перспектива вовсе и не такъ увлекательна...

Въ общемъ надо сказать, что нашему композиторскому зарубежью все время сопутствовало фатальное невезеніе. Оно имѣло опредѣленныя и логическія причины, которыхъ просто не учили. Прежде всего, композиторы оставили въ Россіи всю свою публику, которая не послѣдовала въ эмиграцію. Ее не было такъ много: вѣдь публика, интересовавшаяся новинками музыкальнаго творчества, образовывалась только въ самые послѣдніе годы предъ войной. Средній типъ эмигранта оказался вовсе не музыкальнымъ въ томъ смыслѣ, какъ это нужно для композитора. Правда, въ эмиграціи музыку безспорно любятъ, но какую и какъ? Въ подавляющемъ большинствѣ это любовь дилетантская, любовь совсѣмъ не къ той музыкѣ, которую производитъ какой бы то ни было композиторъ. Въ меньшинствѣ, когда мы имѣемъ дѣло съ любителями серьезной музыки (и такихъ не много), это все-таки любители прежней музыки. Имъ важенъ (какъ и большинству въ эмиграціи) моментъ воспоминанія, для нихъ желательная музыка — это — «патетическая» Чайковскаго или «девятая» Бетховена; вообще то, съ чѣмъ они уѣзжали изъ Россіи. Но ихъ мало интересуеетъ дальнѣйшее движеніе музыкальнаго творчества. Чтò съ этой аудиторіей дѣлаетъ композитору, котораго музыка не только «ничего не напоминаетъ», но даже и была бы очень плоха, если бы что-нибудь чрезмѣрно напоминала? Наконецъ послѣдній факторъ: вся эта публика въ массѣ бѣдствующая (богатая эмиграція насчитывается единицами), концертныхъ залъ наполнить не въ силахъ — ея трагически мало. На публичныхъ выставкахъ Россійскаго Музыкальнаго О-ва Зарубежомъ, гдѣ исполнялись новыя произведенія — набиралось до... 200 человѣкъ и то на двѣ трети бесплатныхъ. И это въ центрѣ музыкальной эмиграціи — въ Парижѣ, куда стекались почти всѣ композиторы зарубежья, за единичными исключениями...

Можно было и должно конечно предполагать, что эмигрировавшіе композиторы и не рассчитывали на эту аудиторію: ихъ взорамъ рисовалась, конечно, европейская публика или американская, а не бѣженская. Но тутъ мы имѣемъ другое «невезеніе». Наши композиторы попали въ Европу именно тогда, когда тутъ произошелъ огромный и повидимому и для европейской музыки роковой сдвигъ: въ ней погасли послѣдніе огни музыкальнаго просвѣщеннаго меценатства. А безъ меценатства вообще музыкальное творчество въ Европѣ никогда не могло обойтись: нѣжное и тепличное искусство, не выдерживающее открытой экономической конкуренціи, оно гибнетъ, выпущенное на экономическую волю; точнѣе, выживаютъ только гру-

бья и общедоступнѣйшія формы ея. Въ Россіи прежнихъ лѣтъ, странѣ естественнаго и безпримѣрнаго меценатства и сравнительно «богатыхъ» композиторовъ, всѣ эти матеріальныя предпосылки творчества были незамѣтны. Но и тамъ — и необходимо это вспомнить теперь — званіе композитора ничего само по себѣ не давало, и композиторы обычно жили на побочный заработокъ. Но мало одного затуханія меценатства — зарубежомъ русскій композиторъ засталъ уже Европу погруженной въ практическую дѣловую жизнь — музыка стала тутъ однимъ изъ производствъ, утратила атрибуты искусства, ведущаго культуру, которой она была въ 19 вѣкѣ. Музыка стала необходимымъ атрибутомъ цивилизованнаго житія, наравнѣ съ ванной и водопроводомъ, но тотъ почти религіозный пафосъ, та «содержимость мелосомъ», которая нѣкогда вызвала къ жизни всю европейскую музыку, уже изсякли, подсохли — стали анахронизмомъ. Теперешній культурный и музыкальный европеецъ интересуется музыкой, особенно новой и любопытной, но онъ не влюбленъ въ нее, и для его суховатаго и эстетскаго взора вовсе не тѣ стороны музыки представляютъ значимость и цѣнность, какъ для русскаго, еще неизжившаго романтику въ своей душѣ композитора. Русскій композиторъ засталъ въ Европѣ иное музыкальное «пониманіе», иное звукоосозерцаніе, несравненно болѣе урбанизированное, потерявшее послѣднія связи съ этническими родниками.

Прибавимъ къ этому, что не такъ то легко было «предъявить» себя европейскому музыкальному міру. Въ капитализированномъ безъ остатка европейскомъ мірѣ для этого представленія существуютъ строго опредѣленные пути и опредѣленные стоимости этихъ путей. Притомъ музыкальный міръ тутъ распадается на враждующіе кружки, своего рода музыкальныя политическія партіи, и для самовнѣдренія въ этотъ міръ надо примкнуть къ одной изъ этихъ оріентацій, а не быть «дикимъ». Но какъ легко видѣть изъ предыдущаго, русскіе авторы, при всемъ различіи ихъ художественныхъ оріентацій, плохо подходили къ этимъ европейскимъ классификаціямъ. Именно большинство и осталось «дикими», конечно, въ ущербъ себѣ. Не такъ то дружелюбно встрѣчали тутъ новыхъ гостей (особенно даровитыхъ) — а главное, для того, чтобы себя показать, нужны были немалыя матеріальныя средства, которыхъ не было.

Люди бывалые знали, конечно, положеніе музыкальныхъ европейскихъ дѣлъ: для нихъ не было секретомъ, что мировая репутациі многихъ композиторовъ, въ томъ числѣ Стравинскаго, Прокофьева, да и всѣхъ русскихъ прежнихъ авторовъ, уже при-

явшихъ посмертную славу — Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, созданы были не столько непосредственнымъ обаяніемъ ихъ творчества, сколько нѣкогда имѣвшимъ мѣсто ихъ гениальнымъ преподнесеніемъ Европѣ, что было дѣломъ мага и волшебника этой области — покойнаго Дягилева, великаго мастера созданія міровыхъ шумовъ и успѣховъ. Не случайно, что тѣ современные же авторы, которые не попали въ орбиту Дягилева — такъ и остались безъ славы. Не будь Дягилева, не было бы Стравинскаго, и Римскій-Корсаковъ не сталъ бы міровымъ именемъ. Но наши зарубежные авторы застали Дягилева уже уставшимъ и его нѣкогда вѣщую зоркость притупленной. Другого Дягилева не было, а кустарный методъ составленія репутаций, единственно примѣнявшійся въ Россіи, тутъ вовсе не давалъ результатовъ. Въ итогѣ, очень скоро зарубежные авторы почувствовали, что ихъ положеніе менѣе выгодно, чѣмъ оставшихся въ СССР совѣтскихъ композиторовъ, даже въ разсужденіи европейской извѣстности. Все «совѣтское» попало такъ или иначе въ сферу нѣкотораго снобическаго интереса, эмигрантское же осталось въ сторонѣ.

Къ сожалѣнію, музыкальное творчество имѣетъ такую природу, что самый процессъ ознакомленія съ нимъ несравненно болѣе громоздокъ, чѣмъ, напр., съ литературнымъ творчествомъ. Поэтъ можетъ просто прочесть свои стихи — композиторъ долженъ «устраивать» дорого стояющій концертъ, никогда не оправдывающій затратъ. Хорошо, если его творчество имѣетъ интимныя формы, если оно камерное — фортепианное или вокальное, композиторъ-піанистъ самъ можетъ «показать» свои сочиненія. Но если композиторъ — симфонистъ, то затраты становятся непреодолимыми для частнаго и небогатаго лица. Издавать литературное произведеніе иногда возможно и въ эмигрантскихъ ресурсахъ, но издавать произведеніе музыкальное требуетъ затратъ непосильныхъ. Несмотря на то, что вмѣстѣ съ композиторами эмигрировали четыре русскихъ издательства (Бѣляева, Бесселя, Кусевицкаго и основанное уже зарубежомъ Рахманинова), фактически зарубежный композиторъ издаваться не можетъ. Нѣкоторыя изъ издательствъ основывались въ свое время какъ меценатскія (Кусевицкаго, Бѣляева), но утрата свободныхъ капиталовъ повлекла то, что они вынуждены были перейти на самоокупаемость а, практически, на издаваніе въ гомеопатическихъ дозахъ и преимущественно уже извѣстныхъ авторовъ. Остальные авторы печатались изрѣдка и случайно.

Композиторъ, попавъ въ зарубежье, вынужденъ быть тво-

рить безъ резонанса слушателя, безъ исполненія, безъ изданія, безъ отклика критики (между прочимъ и русская зарубежная критика, по правдѣ сказать, необычайно рѣдко обмолвливалась словомъ о зарубежныхъ авторахъ). Я уже не говорю о томъ, что никакихъ благъ отъ этого творчества онъ не получалъ. Если при этихъ условіяхъ все-таки оказалось, что въ зарубежьи не перевелись композиторы, что они все-таки пишутъ музыку, то нельзя иначе квалифицировать это явленіе, какъ проявленіе подлиннаго художественнаго героизма, внѣ всякихъ оцѣнокъ ихъ творчества по существу.

Конечно, съ годами этого героизма становится меньше и меньше. Многіе писали въ началѣ эмиграціи, одни надѣялись пробиться, было больше надеждъ и иллюзій, да и не всѣ предвидѣли столь долгую эмигрантскую Одиссею. Потомъ многіе поотстали и замолкли. Всякому героизму есть предѣлъ и чтобы продолжать бороться за свое творчество въ такихъ условіяхъ, необходима абсолютная увѣренность въ своемъ значительномъ дарованіи (а отъ отсутствія резонанса эта увѣренность неминуемо гаснетъ), и необходима еще увѣренность въ нужности вообще музыкальнаго творчества въ наше странное и антимузыкальное, начиненное иными интересами и энергіями, время. Этой увѣренности у очень многихъ было еще меньше, чѣмъ увѣренности въ своемъ дарованіи. Вѣры въ нужность сверхъестественнаго подвига не было, не было обычной для композитора прежнихъ эпохъ «ставка на потомство» и этимъ наша эра трагически отличается отъ прежнихъ и положеніе зарубежныхъ авторовъ (внѣ оцѣнки ранга дарованій) отъ положенія «великихъ нищихъ» прошлыхъ эпохъ.

Писать о зарубежныхъ авторахъ трудно для критика. Трудно прежде всего по причинамъ вышеизложеннымъ. Въ такихъ условіяхъ отъ критика ждуть только одного — ободренія. Но обстоятельства не даютъ поводовъ для ободренія, потому что и критику вѣдь ясно, что русскіе зарубежные композиторы, пересаженные изъ черноземной музыкальной почвы Россіи въ суховатый и экономный европейскій садъ, просто задыхаются отъ отсутствія всего того, что только можетъ быть нужно композитору. И сами они себя чувствуютъ тутъ чужими, ненужными, париями, какой-то сорной травой, и европейское мнѣніе, прिवыкшее считаться только съ «любѣдителями», игнорируетъ ихъ. Что не все благополучно въ этомъ европейскомъ музыкальномъ саду, показываетъ бѣгство въ СССР такого все-таки признаннаго и имѣвшаго успѣхъ автора, какъ Прокофьевъ: и ему не хватало воздуха и русскаго пониманія, и ему захотѣлось

къ своей публикѣ. Въдѣ русскій міръ музыкальнаго «пониманія» былъ и есть огромный и совершенно самобытный міръ, равноправный съ европейскимъ — онъ имѣлъ глубокой, уже давно утраченный европейскимъ, народный этнической резонансъ.

Композиторъ обычно «закладывается» въ раннемъ дѣтствѣ, годамъ къ 10-ти, и складывается и образовывается въ годы отъ 15 до 20, становится дѣйствительно композиторомъ примѣрно къ 25 годамъ. Такъ бываетъ нормально. Иными словами, тѣ авторы, которые имѣютъ сейчасъ отъ 20 до 30 лѣтъ, должны были складываться и музыкально воспитываться какъ разъ въ годы гражданской войны и самые тяжкіе годы совѣтской жизни. Болѣе того — къ этому сроку надо присчитать еще лѣтъ 5-6, потому что и годы мировой войны не были благоприятны для музыкальнаго мирнаго образованія. И дѣйствительно, мы видимъ, что въ «урожаѣ» композиторовъ имѣется перерывъ, особенно замѣтный въ зарубежьи: композиторы почти всѣ старше 40 лѣтъ, и очень мало, почти нѣтъ настоящей молодежи — это поколѣніе музыкантовъ почти начисто разрушено политическими событіями. Она не успѣла получить музыкальное образованіе, для композитора болѣе специальное и необходимое, чѣмъ для поэта и писателя. Тутъ, конечно, сказались многочисленныя причины: и необеспеченность родителей и до-роговизна музыкальнаго образованія, непрактичность самой карьеры композитора, и наконецъ тотъ простой расчетъ, что композиторы рождаются рѣдко даже среди музыкантовъ, что въ Россіи довоенной, «у себя дома», и при полномъ спокойствіи и 125 милліонномъ населеніи рождалось примѣрно по композитору въ годъ. Пропорціонально зарубежье должно было имѣть по этому расчету за 20 лѣтъ — около 0,02 композитора. На самомъ дѣлѣ положеніе лучше теоретическаго: мы имѣемъ двухъ или трехъ. Но опять-таки, при такой малой продукціи развѣ возможно ожидать отъ всего этого немногочисленнаго композиторскаго населенія какой-то особенной, «руководящей» гениальности? Годы политическихъ и военныхъ потрясеній никогда не бывають годами урожая на композиторовъ (вспомнимъ пустоту, которая создалась въ музыкальномъ мірѣ Европы въ эпоху 1775-1800 гг., когда не родилось ни одного значительнаго композитора)... Самое утѣшительное, что они все-таки, несмотря ни на какія отрицательныя соображенія, — имѣются и пишутъ. Спору нѣтъ — это не дарованы изъ типа дѣлающихся эпохи и руководящихъ — это честные художественные работники, работающіе по мѣрѣ силъ въ усвоенныхъ ими

направленіяхъ и культурная функція которыхъ — поддержи-
вать то горѣніе музыкальнаго творчества, безъ котораго насту-
пить бы перерывъ въ музыкальной культурѣ. На большее врядъ
ли многіе изъ нихъ и претендуютъ сами. Положительнымъ фе-
номеномъ въ ихъ бытіи зарубежомъ является и то обстоятель-
ство, что все-таки многіе изъ нихъ такъ или иначе котируются
на міровой европейской биржѣ, исполняются, иногда и из-
даются — и тѣмъ поддерживаютъ идею о неразрывности рус-
ской и европейской музыкальныхъ культуръ.

Но все-таки положеніе ихъ тяжело. Причина этой тяжести
и этой, если угодно, шаткости и неопредѣленности заключае-
тся въ самой «метеорологіи» современной музыки. Музыка въ
последніе годы (съ 1910 г.) переживаетъ періодъ исканій
(какъ ихъ называютъ друзья) или блужданій (какъ говорятъ
враги) — во всякомъ случаѣ достижениями ихъ мало кто счи-
таетъ. Сущность этихъ исканій аналогична тѣмъ, которыя ца-
рили еще недавно въ поэзіи и въ живописи — это конструктив-
ный теоретизмъ, который сталъ направлять творчество.
Музыка всегда нѣсколько отстаеъ въ своихъ «модахъ» отъ
иныхъ искусствъ, и кубизмъ, уже сланный въ архивъ въ жи-
вописи, пока еще не сдаль своихъ позицій въ современной му-
зыкѣ, хотя уже сильно поблекъ и стусебался. Не породивъ въ
сущности ничего великаго, музыкальный «конструктивизмъ»
имѣлъ то неизгладимое вліяніе, что послѣ него стало невозмож-
но писать музыку въ прежней манерѣ, но одновременно и самъ
этотъ стиль надобѣлъ и опротивѣлъ до крайности. Получилась
творческая пустота. Натуральный музыкальный міръ, «широкая
публика», мститъ этому періоду музыкальнаго обнищанія тѣмъ,
что какъ бы молчаливо признаетъ музыку окончившейся лѣтъ
20-25 тому назадъ. Программы живыхъ концертовъ наполня-
ютъ нынѣ классики, великіе романтики — и можетъ быть еще
прежніе русскіе авторы. Остальныхъ не играютъ. Ими интере-
суются въ моментъ ихъ появленія, чтобы потомъ забыть на-
всегда.

Зарубежный русскій авторъ долженъ былъ поставить себя
въ какое-то отношеніе къ этимъ теченіямъ — или отвергая ихъ
или принимая. Старшее поколѣніе авторовъ, естественно, оказа-
лось неприемлющимъ этого рода новизны. Среднее, къ которо-
му относятся руководящія фигуры зарубежнаго горизонта, ока-
залось разбитымъ на двѣ отчужденныя взаимно секціи.

Одна примкнула къ самому передовому направленію музы-
кальной мысли или точнѣе создала это самое направленіе. Это
были Стравинскій и С. Прокофьевъ. Я не буду

сейчасъ писать о Прокофьевѣ, такъ какъ онъ выпадаетъ изъ нашего разсмотрѣнія по чисто формальнымъ причинамъ, — нынѣ онъ совѣтскій авторъ и въ качествѣ такового былъ нами въ свое время разсмотренъ (см. «Совр. Зап.» кн. 57). Стравинскій же по своей значительности заслуживалъ бы болѣе подробнаго разсмотрѣнія, чѣмъ то, которое возможно въ настоящемъ по необходимости сжатомъ очеркѣ. Но о немъ все-таки необходимо сказать нѣсколько словъ.

Стравинскій занимаетъ сейчасъ первенствующее положеніе не только среди русскихъ композиторовъ, но и среди композиторовъ всего міра — это признанный «властитель музыкальныхъ думъ» современности, авторитетъ почти непререкаемый. Русское національное самолюбіе должно было бы быть максимально удовлетворено сознаніемъ, что на долю русскаго композитора выпало такое положеніе, сравниться съ которымъ могло бы развѣ въ свое время положеніе Рихарда Вагнера. Если однако многіе русскіе музыканты не испытываютъ этого чувства «національной гордости» по поводу Стравинскаго въ чистомъ и безпримѣсномъ видѣ — то это происходитъ именно потому, что главная масса русскихъ музыкантовъ зарубежья далеко не увѣрена въ томъ, что Стравинскій подлинно представляетъ собою объектъ національной гордости. Какой-то англійскій критикъ недавно назвалъ его «Ленинымъ» музыки. Въ этомъ много правды. И по той же причинѣ, почему русскій зарубежный житель не испытываетъ прилива гордыхъ чувствъ отъ сознанія, что Ленинъ всемірно знаменитъ и если угодно «признанъ» — по тѣмъ же мотивамъ русскій музыкантъ часто скорѣе испытываетъ неловкость за славу своего безспорно замѣчательнаго современника. Если откинуть небольшое количество крайнихъ лѣвыхъ въ композиторской зарубежной семьѣ, то окажется, что слава и популярность Стравинскаго питаются главнымъ образомъ европейскими кругами. Этотъ холодный и суховатый, расчетливый звуковой пиротехникъ (недаромъ его первое сочиненіе и называлось «Фейерверкъ»), сдѣланъ изъ совершенно иного психическаго матеріала, чѣмъ вся серія предшествовавшихъ русскихъ композиторовъ. Я бы сказалъ, что люди подобнаго склада во всякомъ случаѣ ранѣе музыкой обычно не занимались. Тѣмъ не менѣе ему было суждено стать величайшимъ композиторомъ нашего антимузыкальнаго и антилирическаго вѣка. И я думаю, что въ этомъ нѣтъ случайности, ибо безусловно есть какое-то стилевое соотвѣтствіе между обликомъ музыки Стравинскаго и нашей эрой. Если такъ можно выразиться, Стравинскій историченъ — онъ попадаетъ во

время и его холодная и бездушная музыка послѣднихъ лѣтъ, музыка «безчеловѣчная» — есть подлинно звуковое отображеніе психики людей нашей радіо-авіо-спортивной эпохи. Впрочемъ, слава Стравинскаго создавалась еще въ эпоху, когда его музыка была «человѣчнѣе», когда онъ казался (и былъ) достойнымъ преемникомъ русскаго національнаго романтическаго импрессионизма. Но и тогда она была не столь выразительной, сколько изобразительной, красочной, остроумной, эффектной и не лишенной своеобразнаго динамическаго темперамента («Жарь-Птица», «Петрушка»). Блестящій звуковой нарядъ и небывалое звуковое мастерство увлекли слушателей и заслонили несомнѣнную бѣдность его лирической стихіи. Впрочемъ, я до сихъ поръ держусь мнѣнія, что только эти произведенія Стравинскаго переживуть его и нашу эпоху. Начиная съ «Весны священной» (1913) Стравинскій становится вождемъ самаго лѣваго максималистскаго теченія музыки, подлиннымъ «Ленинымъ и Троцкимъ» музыки, законодателемъ музыкальныхъ модъ передовой элиты. Его роль въ музыкѣ вполне аналогична роли Пикассо въ живописи. Онъ подлинно явился тѣмъ великимъ «искусителемъ», который твердой, но едва ли не коварной рукой велъ корабль музыкальныхъ исканій, за извилистымъ и безпринципнымъ ходомъ котораго не поспѣвали многочисленные сателлиты и эпигоны. Какъ Протей, онъ былъ неуловимъ, измѣнчивъ и неутомимъ въ исканіи принциповъ, которымъ сейчасъ же измѣнялъ. Единственнымъ принципомъ, который проходилъ чрезъ все его творчество, оказывается отрицаніе въ музыкѣ примата «выразительности» — музыка для Стравинскаго есть родъ «серьезной игры», звуковая «конструкція», и всякое проявленіе психологизма онъ квалифицируетъ какъ манифестацию дурнаго вкуса. Сначала онъ «конструируетъ» въ области гармоническихъ и колористическихъ возможностей и на этомъ пути дѣйствительно становится величайшимъ колористомъ эпохи. Потомъ пышность звуковыхъ одѣяній ему надѣдаетъ и онъ обращается къ детализованному звуковому конструктивизму. Съ полнымъ сознаніемъ и рѣдкимъ мастерствомъ онъ преподноситъ слушателю тщательно организованные «слуховыя непріятности», которыя воспринимаются пресыщенной музыкальной элитой міра какъ шедевры звуковой изобрѣтательности и остроумія. Начиная съ «Фортеціаннаго концерта» стиль его музыки становится все суше и «бездушнѣе», звуковая ткань — формальнѣе — въ этомъ повидимому сказывается выявленіе его личнаго стиля, освобождающагося отъ прежнихъ воздѣйствій русской «кучки» и западнаго неоромантизма. Коммента-

торы квалифицируютъ этотъ періодъ какъ «возвращеніе» къ Баху». Это конечно — только эффектный лозунгъ. Во всякомъ случаѣ, если это Бахъ, то дурно и неполно понятный. Его послѣднія произведенія, каждое изъ которыхъ производитъ музыкальную сенсацію — «Соната», «Царь Эдиль», «Скрипичный концертъ», «Симфонія псалмовъ» — даютъ картину постепенной мумификаціи его музыки. Повидимому, знаменитый мастеръ, пресыщенный роскошью своихъ же прежнихъ звуковыхъ міровъ, ищетъ простоты, но не находитъ ея, ибо, овладѣвъ всѣми тайнами мастерства, онъ не имѣетъ ключей къ святой святыхъ музыки — къ подлинному музыкальному чувству и мелодіи. Теперь Стравинскій сталъ уже академикомъ, типичнымъ «безсмертнымъ» и его послѣднія произведенія встрѣчаются скорѣе уже съ почетнымъ успѣхомъ, чѣмъ съ энтузіазмомъ. Какъ ни мало симпатично лично мнѣ его направленіе и какъ ни велика отвѣтственность его въ дѣлѣ разложенія музыкальной «морали» и эстетики, но все-таки, оглядываясь кругомъ, я не вижу другой столь значительной и столь оставившей слѣды фигуры на современномъ музыкальномъ горизонтѣ, хотя бы даже по ширинѣ и глубинѣ тѣхъ опустошеній, которыя онъ произвелъ въ музыкальной культурѣ. Это подлинно демоническій талантъ, «великій инквизиторъ» музыкальнаго горизонта, но фигура импозантная и повидимому исторически необходимая, хотя я очень скептически отношусь къ вопросу о жизненности его послѣднихъ «достиженій» — все это повидимому обречено быть сланнымъ въ архивъ исторіи, вмѣстѣ со всѣми явленіями кубо-футуристически-конструктивной эпохи. Музыка тоже «возвращается на круги своя».

Что касается до другой группы, составленной изъ Рахманинова, Метнера и Гречанинова, то напротивъ, ея представители твердо и убѣжденно стояли на своихъ позиціяхъ старозавѣтной музыки, на которыхъ они пребывали уже въ прежней Россіи.

По отношенію къ первымъ двумъ никакъ и нельзя было ожидать никакого сдвига. Рахманиновъ — авторъ, пользовавшійся колоссальной популярностью въ Россіи, за границей оказался въ тѣни какъ композиторъ, выдвинувшись какъ гениальный пианистъ. Органическія черты его медлительнаго и слишкомъ русскаго творчества мѣшаютъ его проникновенію въ плоть европейской музыки. Его манера слишкомъ связана съ прошлой музыкой, а его психологической генезисъ отъ Чайковскаго, слишкомъ открытая эмоциональность его музыки служатъ скорѣе факторами мѣшающими его признанію. Болѣе чѣмъ

кто-либо Рахманиновъ стоитъ въ противорѣчїи со всѣмъ теченіемъ современной европейской музыки. Одно время Рахманиновъ, казалось, замолкъ и пересталъ писать. По этому поводу выражались предположенія — видѣли въ этомъ трагическій результатъ разомкнутости съ родиной или съ «родной публикой», видѣли и признаніе своей анахронистичности. Но Рахманиновъ «проснулся» и вновь сталъ писать (3-ью симфонію, 4-й концертъ), очевидно причины молчанія были проще (занятость пианистической концертной карьерой). Въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ Рахманиновъ, какъ и надо ожидать, не мѣняетъ своего уже сложившагося стиля — это все та же насыщенная лиризмомъ, страстная и глубоко пессимистическая музыка, надъ которой нависъ колоритъ какой-то мрачной пышности. И при томъ это музыка — глубоко русская, русская не столько по этнографическому использованию народныхъ темъ (этого у Рахманинова почти никогда и не было), сколько по общему настроенію — Рахманиновъ является полнѣйшимъ антиподомъ Стравинскаго — и по эстетикѣ своей и по обращенію съ музыкальнымъ матеріаломъ и по той предѣльной душевной обнаженности, которая въ глазахъ современности является едва ли не его наибольшимъ порокомъ, а въ оцѣнкѣ людей, для которыхъ музыка еще не закрыла своего «второго смысла» — его самымъ большимъ достоинствомъ.

Еще менѣе склоненъ считать себя анахронизмомъ вполне и убѣжденно консервативный Н. Метнеръ — одинъ изъ самыхъ послѣдовательныхъ и непримиримыхъ враговъ новыхъ направлений. Онъ ненавидитъ священной ненавистью всѣхъ современныхъ новаторовъ, и убѣжденъ въ ихъ прехолящести. Замкнутое и изолированное, какъ и онъ самъ, его творчество стоитъ особнякомъ въ средѣ русскихъ авторовъ, примыкая къ старымъ и ѣм е ц к и м ѣ романтикамъ, и почти не обнаруживая генетического родства съ русскими теченіями музыки. Это — музыка вдумчивая и философическая — вдохновителями ея являются Ницше, Гете, Тютчевъ, Фетъ и Пушкинъ. Композиторъ рѣдкаго формального совершенства, Метнеръ имѣетъ много преданныхъ друзей, но этотъ кругъ замкнуть и не сливается съ обычной музыкальной публикой — широкая публика его почти не знаетъ (тѣмъ болѣе что онъ пишетъ въ интимной сферѣ фортепiano и вокальной музыки), и вообще это музыка изъ породы той, которая, по словамъ Листа, «требуетъ, чтобы къ ней шли, а не сама идетъ къ слушателю». Интересно, что даже среди музыкантовъ консервативнаго направленія есть много лицъ, которыхъ это творчество не удовлетворяетъ —

его считают сухимъ и разсудочнымъ. Точнѣе было бы приписать ему иной типъ эмоциональности, непривычный въ русской музыкальной культурѣ. Еще менѣе онъ привыченъ во Франціи, гдѣ все музыкальное созерцаніе основано на совершенно иныхъ принципахъ. Въ послѣдніе годы Метнеръ, упорно пишущій все время и довольно плодовитый, переселился въ Англию, музыкальный климатъ которой ему несомнѣнно болѣе по духу. Трагически переживая современный ему «упадокъ» музыки, онъ тѣмъ не менѣе бодрости не теряетъ и вѣритъ, что кончится «царство музыкальнаго антихриста» и наступитъ новая свѣтлая эра. Учитываетъ-ли онъ при этомъ тѣ новые факторы, которые такъ мощно направляютъ нынѣ нашу и міровую жизнь? Учитываетъ-ли онъ то, что стиль нашей жизни болѣе отличается отъ стиля излюбленной имъ эпохи романтизма, чѣмъ она въ свое время отличалась даже отъ эры египетскихъ фараоновъ? Видитъ-ли онъ, что какъ бы ни относиться къ стилю музыкальной современности, между ней и эпохой есть нѣкое соотвѣтствіе и что въ нашъ вѣкъ радіо и авіонозъ германская романтика становится не только анахронизмомъ, но и диссонансомъ, какъ лошадиная упряжка, запутавшаяся среди автомобилей на парижской улицѣ? Но трудно не преклониться передъ цѣльностью и непоколебимой вѣрой этой глубоко художественной природы, несмотря на утопичность ея идеаловъ.

Напротивъ, Н. Н. Черепнинъ оказывается несравненно болѣе гибкимъ и оттого какъ-то укладывающимся въ самую свѣжую современность. Превосходный мастеръ композиціи, владѣющій блестяще всѣми ресурсами композиторской техники, Черепнинъ, подобно Стравинскому, уже неоднократно мѣнялъ свой музыкальный стиль. Возникшій и взросшій въ художественной средѣ, онъ всегда былъ не лишенъ извѣстнаго «эстетскаго» уклона и всегда любовно слѣдилъ за смѣняющейся модой. Въ эру зарубежья онъ созидаетъ новую манеру, возникающую отчасти изъ ранняго Стравинскаго («Петрушка»), но имѣющую корни въ еще болѣе раннихъ проявленіяхъ русской школы: у Даргомыжскаго. Пѣсенность Даргомыжскаго и его бытовая реалистическія симпатіи онъ сочетаетъ со свободой и гармонической непринужденностью, даваемой современными ресурсами. Въ такомъ духѣ имъ написаны его послѣднія короткія оперы — «Свать» (на сюжетъ Островскаго) и «Ванька Ключникъ» — партитуры во всякомъ случаѣ чрезвычайнаго интереса.

Старѣйшій изъ композиторовъ зарубежья Гречаниновъ занимаетъ особое положеніе. Въ сущности, всегда Гречаниновъ

работалъ на нѣкотораго «средняго» слушателя, того, который не ищетъ въ музыкѣ ни новизны, ни откровений, ни трагедій и глубинъ, а просто музыки пріятной, легко усваиваемой и легко исполнимой. Такого рода средней слушатель имѣется повсюду: Гречаниновъ имѣлъ его (и навѣрное имѣетъ по сю пору) въ Россіи, онъ безъ труда нашелъ его и во Франціи, въ Англии и въ Америкѣ, гдѣ успѣлъ снискать себѣ авторитетъ и популярность, ибо дѣйствительно его музыка обладаетъ всѣми вышеперечисленными качествами. Въ зарубежьи имъ написаны между прочимъ новые симфонія и скрипичный концертъ.

Главнѣйшія и наиболѣе извѣстныя фигуры зарубежья этимъ исчерпываются. Потомъ уже идутъ тѣ, которымъ менѣе по-счастливилось, которые не успѣли, даже относясь иногда къ старшему поколѣнію, составить себѣ извѣстность въ довоенной Россіи. Большая часть изъ нихъ примыкаютъ къ консервативнымъ группамъ. Изъ нихъ Винклеръ и Арцыбушевъ (†) уже давно были извѣстны какъ периферическіе члены «Бѣляевского кружка», Акименко до войны уже создалъ свою манеру, изящную и нѣсколько салонную, Юферовъ продолжаетъ писать въ стилѣ «кучки», Шамье культивируетъ музыку, навѣянную мыслями ранняго Скрябина, Ф. Гартманъ, тонкій и элегантный авторъ, обнаруживаетъ меньше консервативности, чѣмъ остальные: ему принадлежатъ написанные въ зарубежьи симфонія и балетъ. Къ сожалѣнію, его, какъ и даровитаго Левина, отвлекаетъ современное кино, все болѣе поглощающее композиторовъ талантливыхъ и способныхъ къ быстрому и легкому творчеству. Къ категоріи замолкшихъ или замолкающихъ относятся Штримеръ (авторъ извѣстнаго переложенія «Шмеля» Р.-Корсакова), Вл. Польш и Е. Гунстъ. Наконецъ П. Ковалевъ, композиторъ съ большой техникой нѣмецкаго типа, только недавно написалъ тріо, премированное на конкурсѣ Бѣляева. Всѣ перечисленные авторы — прекрасные музыканты, съ глубокой и подлинной культурой, но въ ихъ творчествѣ особенно трагично сказывается то роковое положеніе, которое вызвано современнымъ кризисомъ стилиа: писать по старому уже нельзя, а новый стиль разлагается, не успѣвъ дать ничего геніальнаго, и они имъ не владѣютъ.

Авторы, примкнувшіе въ той или иной мѣрѣ къ текущей модѣ, были просто счастливы по внутреннему самочувствію, ибо они хоть одно время думали и имѣли къ тому полное основаніе, что плывутъ къ новымъ берегамъ искусства и способствуютъ его прогрессу. Правда, это первичное бодрое ощущение

ніе скоро смѣнилось растерянностью, которая усугубилась, когда и сами вожди (Стравинскій) повернули руль и стали возвращаться къ Баху и Глинкѣ, хотя и по довольно корявымъ дорогамъ. Среди этой группы были и совершенно «дикие», своего рода анархисты, шедшіе своими путями. Такъ, Обуховъ начиналъ музыку на путяхъ музыкальнаго теоризма, родственнаго скрябинскому (построеніе музыкальной ткани на основѣ 12-ти-звучныхъ аккордовъ, что давало впечатлѣніе аморфной и густой, вязкой звуковой массы), а въ области «идеологіи» — на путяхъ мистицизма, граничащаго съ психопатологіей. Его «Книга Жизни» — родъ ораторіи, сюжетъ коей сводится къ спасенію Россіи и Міра путемъ новаго Мессіи, который есть никто иной, какъ императоръ Николай, предполагающійся живымъ и «грядущимъ». Я бы не останавливался на этомъ творчествѣ, болѣе любопытномъ для психіатра, чѣмъ для музыкальнаго критика, если бы его «Книга Жизни» не была торжественно исполнена, при протекціи снобизированныхъ парижскихъ музыкальныхъ круговъ, въ Грандъ Опера — фактъ очень характерный для уясненія современныхъ блужданій.

Несравненно болѣе симпатіи вызываетъ обликъ друго крайняго новатора и искателя — И. Вышнеградскаго, поборника музыки «четвертитонной». Вышнеградскій религіозно преданъ своей идеѣ — для нея онъ построилъ на свои счетъ дорогого стоившіе спеціальныя инструменты съ 24 клавишами въ октавѣ, для нея составилъ теорію и разработалъ знакоположеніе и наконецъ единолично написалъ цѣлую бібліотеку музыки. Можно быть разныхъ мнѣній объ этой затѣѣ съ точки зрѣнія музыкальной эстетики — лично я когда-то очень интересовался этой проблемой, возникновеніе которой относится еще къ очень старому времени — но нельзя отрицать того, что музыкально-культурныя явленія не создаются по прихоти теоретиковъ. Созданіе новаго музыкальнаго языка, къ чему сводится проблема Вышнеградскаго, напоминаетъ проблему созданія международныхъ языковъ. Это будетъ всегда своего рода музыкальнымъ эсперанто для удовольствія нѣсколькихъ любителей, но никогда не сможетъ стать общекультурнымъ феноменомъ, потому что не считается съ исторіей развитія. Тѣмъ не менѣе надо отдать должное упорству и преданности, съ которыми Вышнеградскій борется за свои мысли. Музыкальное содержаніе его композицій обнаруживаетъ извѣстное родство ихъ со Скрябинскими, только безъ творческой силы послѣдняго. Во всякомъ случаѣ, среди своихъ собратьевъ по идеѣ (ибо въ Европѣ есть и иные поборники «24-ступенной музыки») Выш-

неградскій является самымъ теоретически сильнымъ и самымъ музыкальнымъ.

Изъ младшаго поколѣнія болѣе плодовитъ и интереснѣе даровитый и музыкальный Александръ Черепнинъ (сынъ). Онъ поставленъ въ сравнительно благоприятныя условія творчества и его портфель насчитываетъ массу композицій. Тамъ уже имѣется рядъ симфоническихъ произведеній и нѣсколько оперъ. Стилъ творчества Черепнина эклектиченъ — въ немъ отражены смѣшанныя влiянія, преимущественно новыхъ германскихъ авторовъ и Прокофьева — отъ Стравинскаго онъ очень далекъ. Несмотря на присутствiе опредѣленныхъ методовъ составленiя музыкальной ткани (у Черепнина есть излюбленная имъ «гамма», въ которой онъ иногда пишетъ свои мелодiи и гармонiи), это бодрое и дѣятельное, многозвучное и подвижное, но бездумное творчество нѣ представляется лишеннымъ того, что можно было бы именовать личностiю въ музыкѣ и что безспорно присутствуетъ у всѣхъ авторовъ старшаго поколѣнiя (независимо отъ ихъ направленiя). Въ итогѣ оно сводится къ исканiю и нахожденiю любопытныхъ и пикантныхъ звуковыхъ комбинацiй. Примерно въ этомъ же стилѣ оказывается и творчество другого тоже одареннаго композита — Набокова, въ которомъ впрочемъ влiянiя Прокофьева сильнѣе выражены. Къ этой же генерации относятся Горчаковъ (послѣдователь и ученикъ Прокофьева), Вѣра Виноградова (единственная женщина-композиторъ въ зарубежьи) — при всемъ дарованiи и музыкальности во всѣхъ ихъ не видно личности, и творчество сводится къ изобрѣтенiю, а не къ «отпечатлѣнiю». Здѣсь конечно имѣется общее вѣянiе эпохи, боящейся психологическаго и эмоциональнаго содержанiя. Несмотря на свое нежеланiе имѣть какую бы то ни было психологию и несмотря на боязнь ея, вся эта музыка все-таки имѣетъ нѣчто психологически общее — бодрость, отсутствiе лирики и мелодизма, склонность къ пикантности и гротеску и общую «бездумность». Не всегда соответствуя личному облику своихъ авторовъ (часто очень интересныхъ и любопытныхъ психологически), она въ какой-то степени очень точно соответствуетъ общему неувловимому тону ихъ поколѣнiя.

Самый, быть можетъ, одаренный и самый молодой изъ зарубежьи — Игорь Марковичъ оказывается болѣе втянутымъ въ европейскiй, даже болѣе точно — парижскiй стилъ музыки. Онъ — не «дикiй», напротивъ онъ является уже всецѣло дѣтищемъ «европейскаго мiра» и парижской культуры и

одно время подавалъ такія надежды, что его уже звали «Игоремъ II-мъ» (Игорь I-й — это Стравинскій). Ему, какъ и всѣмъ попавшимъ въ этотъ планъ, угрожаетъ опасность быть навсегда плѣннымъ той манерой, которая сама наканунѣ крушенія. Если его музыкальность сможетъ преодолѣть эти влиянія, то онъ сможетъ выдвинуться, ибо у него есть качество рѣдкое въ наше время — настоящая звуковая фантазія.

Другой изъ этой категоріи акклиматизированныхъ вполне относится къ старшему поколѣнію, это — бывший музыкальный министръ Сов. Россіи Артуръ Лурье, оказавшійся въ зарубежьи. Умный и культурный, тонкій эстетъ, по типу напоминающей литературную передовую богему предреволюціоннаго Петербурга (куда онъ и относился), Лурье является полнымъ выраженіемъ того, что можетъ дать культура и вкусъ при отсутствіи чисто музыкальнаго дара. Его композиціи представляются скорѣе рядомъ умозаключеній и выводовъ культурнаго и тонкаго человѣка изъ окружающихъ его явленій музыки, чѣмъ творчествомъ въ подлинномъ смыслѣ слова.

Наконецъ, Требинскій и Константиновъ представляютъ собою авторовъ эклектическаго типа, въ сущности лишенныхъ руководящихъ принциповъ. Ихъ творческій даръ безспоренъ, они незаурядно музыкальны и обладаютъ приличнымъ мастерствомъ. Но писательство имъ дается слишкомъ легко и безъ достаточной самокритики. Въ особенности это относится къ талантливому Константинову, у котораго наблюдается извѣстнаго рода звуковая болтливость, точно ему всегда мало уже написанныхъ звуковъ и онъ вѣчно рассыпается въ каскадахъ неоправданныхъ звучаній. Это могло бы быть извиненнымъ молодостью автора, но, увы, онъ уже перешелъ грань подлинной юности.

Закончимъ нашъ обзоръ упоминаніемъ двухъ авторовъ, относящихся къ специальному отдѣлу еврейской музыки. Это — *осколки плыши* распѣвавшей въ Россіи передъ войной «еврейской національной школы», дальнѣйшее развитіе которой внутри Россіи было задержано событіями — Саминскій и Ахронъ, изъ которыхъ первый — очень плодовитый и по своему очень передовой композиторъ, бывший однимъ изъ основателей этого направленія въ Россіи. Оба, выкинутые эмигрантской волной въ Соединенные Штаты, тамъ продуктивно продолжаютъ свою работу въ національномъ еврейскомъ направленіи.

Нашъ очеркъ возможно, и даже навѣрное, неполонъ. Неполнота его обуславливается той трудностью, съ которой связано въ условіяхъ зарубежнаго творчества ознакомленіе съ новыми

произведениями. Обычно, если авторъ не Стравинскій, и не Рахманиновъ, и не Метнеръ (которые всегда издаются), — то знакомство съ его творчествомъ возможно только при непосредственномъ контактѣ — надо услышать произведенія отъ самого автора. Оттого почти всѣ авторы, не проживающіе въ Парижѣ, оказываются величинами почти теоретическими. Правда, ихъ мало, этихъ живущихъ въ иныхъ странахъ. Но при общемъ паденіи изданія и исполненія ознакомленіе съ произведеніями часто немислимо даже при наличіи горячаго желанія. На этотъ дефектъ и надо было бы прежде всего обратить вниманіе. Если невозможно сейчасъ претендовать на изданіе крупныхъ произведеній, то долгъ музыкальныхъ круговъ зарубежья — организовать исполненіе и ознакомленіе. Не такъ много пишутъ эмигрантскіе авторы, чтобы дѣло шло о какихъ-то циклахъ концертовъ: достаточно наличія одного симфоническаго концерта въ годъ и двухъ-трехъ камерныхъ, чтобы въ эти рамки помѣстить всю зарубежную музыкальную продукцію, включая всѣ направиленія. Къ сожалѣнію, дружбы въ музыкально-композиторскомъ мірѣ среди зарубежья мало — отчего нѣтъ и возможности совмѣстныхъ организаций. А между тѣмъ такая «внѣпартійная» организациія съ цѣлью смотра сдѣланнаго и свершеннаго могла бы не только окрылить авторовъ, показавъ имъ хоть призракъ нѣкоей перспективы, но и встряхнуть болѣе широкіе круги публики. Правда, сейчасъ положеніе таково, что спроса на новую музыку вообще нѣтъ — это фактъ. Но въ жизни не только спросъ рождаетъ предложеніе, но и предложеніе пріучаетъ къ спросу. Въ искусствѣ это всегда такъ. Если бы удалась такая организациія, то это самое означало бы, что композиторы имѣютъ корни въ эмигранціи, что художественно тошная ея почва все-таки можетъ ихъ растить. Если же окажется, что нѣтъ, что зарубежное творчество не встрѣчаетъ резонанса за рубежомъ, что для эмигрантской среды нужны только воспоминанія о прекрасномъ прошломъ, но не попытки созиданія прекраснаго въ настоящемъ — тогда это должно означать, что функция-композиторовъ въ зарубежьи только консервирующая — донести остатки свободной музыкальной культуры, находящіяся за рубежомъ до того момента, когда они смогутъ быть влиты въ общій резервуаръ русской уже единой культуры.

Леонидъ Сабанѣвъ.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Нѣскольکو иллюстрацій
къ Пушкинскому юбилею въ Совѣтской Россіи

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХЪ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я
Свободу
И милое к людям правосудіе!

А. Пушкин

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ,

ПОСВЯЩЕННАЯ

СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

ПУШКИНА

1837—1937

13, 14, 15 февраля 1937 г.
в КОЛОДЦОМЪ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ

Рис. Н. С. Ильинъ.

(Изъ программы юбилейной сес-
сін Академіи Наукъ).



Пушкинъ лицестъ
В. А. Фаворскій, грав. по дереву



«Повѣсти Бѣлкина»
Н. И. Пискаревъ, грав. по дереву



«Египетскія ночи»
А. Я. Кравченко, грав. по дереву



«Повѣсти Бѣлкина»
Н. И. Пискаревъ, грав. по дереву



1837 — 1937

Рис. Н. В. Кузьминъ.

(Изъ программы юбил. спектакля въ Большомъ Московск. Театрѣ).

Смерть Евгенія и Татьяны

Въ недавно появившейся книгѣ Б. Эйхенбаума, «Пушкинъ и Толстой», проведена параллель между «Евг. Онѣгинимъ» и «Анной Карениной»: толстовская героиня, по предположенію автора, выросла изъ пушкинской. Возможно, что самъ Пушкинъ предчувствовалъ подобный вариантъ. Последняя глава «Онѣгина» написана въ тотъ-же періодъ, что и «Маленькія трагедіи». Если принять это во вниманіе, то сопоставленіе Анны Карениной съ Татьяною наведетъ насъ на сопоставленіе Татьяны съ другой, пушкинской Анной, доной-Анной. «Меня съ слезами заклинаній молила

мать; для бѣдной Тани всё были жребіи равны...» Ср. слова доной-Анны: «...нѣтъ: мать моя велѣла мнѣ дать руку донъ-Альвару...» Дона-Анна посмертно измѣняетъ мужу, убитому донъ-Жуаномъ. Татьяна остается тверда противъ искушеній со стороны челоуѣка, отвергшаго нѣкогда ея любовь, и съ которымъ ее «еще одно разлучило» — убійство Ленскаго, «окровавленная тѣнь» котораго «являлась каждый день» Онѣгину («Каменный гость!»). Избранный Татьяною путь, такъ принято считать, былъ для нея, «идеальной русской женщины», единственнымъ мыслимымъ. Татьяна, какъ

«идеальная» женщина, не могла изменить мужу. Оставаясь вѣрно ему, она остается вѣрна — самой себя. Такъ-ли это? Перечтемъ безъ предвзятостей иѣкоря, съ гимназическихъ временъ всякому извѣстныя, мѣста изъ «Евг. Он.».

— Скажи, которая Татьяна? — Да та, которая грустна и молчалива какъ Свѣтлана, вошла и сѣла у окна... Значитъ, при первомъ свиданіи Овѣгинъ и двумя словами не обмѣнялся съ Татьяной. Послѣ этого, — скажу я словами Пушкина, — «вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступить съ печальной Таней нашъ пріятель», попытаться образумить ее своей благородной «исповѣдью». Но Татьяна эту исповѣдь восприняла какъ проповѣдь (...стынетъ кровь, какъ только вспомню взгляды холодный и эту проповѣдь...), ловя, впрочемъ на словѣ самого Пушкина (...такъ проповѣдовалъ Евгений...). Правда, свою отповѣдь ему она начинаетъ съ весьма высокой оцѣнки его проповѣди, но прислушаемся къ тону и намъ станетъ ясно, что это — очень ловкій, къ классической риторикѣ восходящій пріемъ приступа къ инвективѣ: воздать должное противнику, чтобы тѣмъ разительнѣе оказался ударъ по нему. Вѣдь вся послѣдняя рѣчь Татьяны построена по схемѣ «урока», выслушаннаго ею отъ Евгения. «Урокъ» начинается обмѣщаніемъ «отплатить» ей за ее «спризнаніе» его «спризнаніемъ». А Татьяна: «...сегодня очередь моя...» Затѣмъ у Евгения начинается собственно исповѣдь. Этой главной «темѣ» рѣчи Евгения и соответствуетъ то, что составляетъ главную тему татьянин-

скаго объясненія. Онъ обвинялъ себя самого. Она — высказываетъ на его счетъ рядъ подозрѣній весьма некрасиваго свойства, и въ заключеніе восклицаетъ: А нынче что къ моимъ ногамъ васъ привело? Какая малость!.. Разговоръ, конечно, велся по французски. Послѣднія слова — *quelle petitesse!* — ей слѣдовало-бы обрратить — къ себѣ самой.

Обвинять «бѣдную Таню» за то, что она уступила «смелкому чувству», потребности «отплатить» въ свою очередь за плохо понятый, но навсегда ранившій ея дѣтскую душу «урокъ», не приходится. Но только — гдѣ-же здѣсь, въ такомъ случаѣ героизмъ, величіе «русской души» и тому подобное? Такъ-ли ужъ велика ее заслуга въ томъ, что она отвергла домогательства чело-вѣка, преслѣдующаго ее своими «письмами и слезами», по яв-предположенію, оттого, что она «богата и знатна» и что ее «позоръ» могъ-бы принести ему въ обществѣ «соблазнительную честь»?

Наконецъ, будемъ слѣдовать гелльямъ. Овѣгинъ кончаетъ свою проповѣдь-исповѣдь признаніемъ, что онъ вовсе не равнодушенъ къ Татьянѣ, но не позволяетъ себѣ дать волю своему чувству. И въ этомъ отношеніи схема перваго объясненія выдержана во второмъ: Я васъ люблю, къ чему лукавить? — и т. д. Если это — героизмъ, то чѣмъ не героиченъ поступокъ Овѣгина? Если Татьяна «идеаль» русской женщины», то почему Евгений не «идеаль» русскаго мужчины? Правда, позже онъ уступаетъ своему чувству, но чего онъ добивается? Единственно, права видѣть Татьяну.

Такъ или иначе, Татьяна не по-

няла Онѣгина. Сперва онъ былъ для нея «идеальнымъ любовникомъ», потомъ—послѣ того какъ она пробралась въ его усадьбу и стала читать его книги — тѣмъ, чѣмъ онъ изображается у всѣхъ русскихъ историковъ, критиковъ — отъ Ключевского и до авторовъ пособій «для учащихся и самообразования»: «пародія», «Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ», «безповенникъ», «первый лишній человекъ», «прототипъ Рудина» и т. д., и т. д. Пушкинъ какъ-будто самъ это подсказалъ: «И начинается, слава Богу, моя Татьяна понимать...» Иронія Пушкина не замѣчаютъ, не замѣчаютъ, что онъ здѣсь только ставитъ вопросы.

Чѣмъ былъ Онѣгинъ для Татьяны въ первую пору, тѣмъ въ сущности онъ для нея и остался. Методъ ея подхода къ Онѣгину былъ всегда одинъ и тотъ же: посредствомъ романовъ. Въ ея глазахъ онъ — типъ; сперва «положительный», позже — «отрицательный». Это — методъ русской критики. То, чему Татьяна научила — и не только Скабичевскихъ, но и Достоевскаго, было использовано по отношенію къ ней-же самой. Достоевскій, чтобы доказать, что только русская женщина способна на такой подвигъ, какой совершила Татьяна, отказавшись отъ «адюльтера», сопоставляетъ ее съ—героинями иностранныхъ романовъ. Забавно, кстати сказать, то, что онъ забылъ, какіе романы читались въ татьянинѣ время. Въ этихъ романахъ, почтенныхъ, чувствительныхъ романахъ XVIII в., возвеличиваются семейныя добродѣтели. Но Достоевскій думалъ о жоржандовскихъ героиняхъ.

Есть нѣкій символическій смыслъ въ композиціи «Евг. Онѣгина». Евгенийъ «отплачиваетъ» Татьянѣ, подъ конецъ Татьяна, въ свою очередь, «отплачиваетъ» Евгению. Этимъ какъ-бы предуказана ихъ посмертная, литературная, судьба. Татьяна убила Онѣгина, обратила его изъ живого человека въ «препаратъ», «типъ» — и то, что она сдѣлала съ нимъ, другіе сдѣлали съ нею. И она стала типомъ, «прототипомъ», и ее заспиртовали и помѣстили въ стеклянную банку, и изъ нея вынули ея живую душу, и ее обезличили. Пушкинъ не удалось спасти ее отъ этого. «Простите мнѣ, я такъ люблю Татьяну милую мою... Любить можно только живого человека, со всѣми, всякому живому человеку присущими слабостями, недостатками. Но увидѣть въ Евгении и Татьянѣ живыхъ людей не захотѣлъ никто, — кромѣ, м. б. дѣйствительно, одного лишь Толстого. Это потому, что самъ Пушкинъ никогда не жилъ въ русскомъ сознаніи. Судьба Евгения и Татьяны — его судьба. Показательно и полно символическаго значенія, что *сoup de grâse* былъ нанесенъ Татьянѣ — и ему — юбилейной рѣчью, произнесенной великимъ Достоевскимъ. Нигдѣ такъ, какъ на юбилеяхъ, не слышывается общечеловѣческая, увя, склонность: обращаться съ человекомъ какъ съ предметомъ пользованія, нарушая запретъ Канта: человекъ человекъ долженъ быть цѣлью, а не средствомъ. И какъ разъ: чѣмъ ярче человѣческая личность, чѣмъ болѣе выражено въ ней человѣческое начало — единственности, неповторимости, — тѣмъ сильнѣе стремятся другіе ее обезличить,

«опредметить», на ней такъ или иначе «заработать». Неуваженіе къ другому обусловлено отсутствиемъ собственного достоинства. Англичане, у которыхъ вѣковыя традиціи политической свободы воспитали это чувство, не любятъ «юбилеевъ». Они чтутъ Шекспира, но не «гордятся» имъ. Но англичане — исключеніе. Пушкинь, кажется, крайній случай «юбилейнаго» обращенія съ творческой личностью. Пушкинь — мѣра «талантливости русскаго человѣка», Пушкинь — лучшее выраженіе «русской души», Пушкинь — залогъ «величія Россіи», Пушкинь

— «нашь», Пушкинь — это мы и т. под. Другими словами, Пушкинь это капиталъ, процентами съ котораго мы всѣ вправѣ пользоваться.

Единственнымъ утѣшеніемъ остается то, что среди «нашь» нашелся все-таки одинъ, кто отъ участія въ томъ знаменитомъ пушкинскомъ юбилеѣ, сыгравшемъ роль окончательной расправы съ Пушкиньмъ, уклонился. Не случайно это былъ тотъ самый, кто, единственный, увидѣлъ Татьяну такую, какою показала ее Пушкинь.

П. Бицилли.

Мысли о „русской душѣ“

Иностранецъ этихъ словъ въ ковычки не поставитъ и рассуждать на обозначенную ими тему будетъ непринужденнѣе, чѣмъ мы. Такъ и намъ говорить о национальныхъ чертахъ нѣмцевъ или англичанъ легче, чѣмъ о своихъ, а о собственной душѣ и упоминать неловко; однако, за нѣмнѣемъ болѣе удобнаго выраженія можно воспользоваться и этимъ, самой же темѣ все равно не избѣжать. Всѣ мы о ней думаемъ, почему же кому-нибудь не подумать вслухъ? Всѣ мы въ нашихъ мысляхъ о себѣ, о своемъ народѣ, исходимъ изъ нѣкотораго общаго представленія о томъ, что приходится называть слишкомъ расплывчато его душой или слишкомъ узко его характеромъ. Почему же не попытаться представить эти провѣрять, хотя бы частично, и хоть что-нибудь разглядѣть въ притягивающей глубинѣ?

Мнѣніемъ иностранцевъ при этомъ отнюдь не слѣдуетъ пренебрегать. Конечно, русскій человѣкъ изнутри знаетъ кое-что о себѣ и о Россіи, что другому узнать трудно; но сколько-нибудь ясно высказать то, что подсказывается этимъ смутнымъ знаніемъ, тоже вѣдь очень не легко. Чужія ошибки въ этой области ничего не стоить указать, но какъ трудно выразить въ словахъ нашу собственную, чувствуемую, однако, правду. Тутъ-то и помогаютъ сужденія иностранцевъ, наблюденія со стороны; благодаря имъ становится легче разобраться въ полувнятномъ нашемъ самосозерцаніи. Неоцѣнимо полезны съ этой точки зрѣнія бывають не только писанія въ общемъ дружественныя Россіи, какъ недавняя книга профессора Легра, но и книги наблюдателей, настроенныхъ враждебно, если только они талантливы и умны, какъ Кюстинъ, или

особенно какъ Викторъ Генъ (Hehn), балтійскій вѣмедь, авторъ замѣчательныхъ книгъ о Гете и объ Италіи, прослужившій пожизни въ петербургской Публичной библиотекѣ, страстно ненавидѣвшій все русское, включая музыку и литературу, и все же оставившій записи (изданныя профессоромъ Шиманомъ въ 1892 году посмертно), которымъ трудно найти что-либо равное по зоркости и остротѣ.

Случай Гена — крайній: прозрѣніе, анушенное злобой, ясно видѣніе вопреки несправедливости; общее у него съ другими только то, что и онъ «со стороны». Именно такъ, все равно что чужими глазами, надо и намъ посмотреть на себя, чтобы себя понять, и, пожалуй, сейчасъ, когда мы отдѣлены отъ Россіи чѣмъ-то большимъ еще, нежели только версты или годы, намъ легче видѣть многія изъ тѣхъ чертъ, что составляютъ ея единственность и неповторимость. Конечно, глядя на нее, думая о ней, мы не можемъ быть только стороной, мы также и она сама; только раздвоясь угадаемъ мы даже самую ничтожную ея черту; это раздвоеніе какъ разъ и стало доступнѣе, чѣмъ прежде. Впрочемъ, пусть оно трудно и сейчасъ... Что же дѣлать въ эмиграціи, если не думать о Россіи? Какъ не возвращаться къ мысли о ней тѣмъ чаще, чѣмъ дальше мы, казавлось, отходимъ отъ нея, насыщаясь европейскимъ опытомъ?

Въ Эрмитажѣ, когда-то, я всегда останавливался передъ картиной Юрданса «Семейный портретъ», напоминавшей мнѣ почему

то Россію Петра, — или Европу, какъ ее долженъ былъ видѣть русскими глазами Петръ, — хотя написана она на полявкѣ раньше и ничѣмъ не связана съ петровскимъ временемъ. Позднѣе я понялъ, что ошибался: въ картинѣ есть что-то не отъ петровской Россіи, а отъ Россіи, вообще. Съ той ее связываютъ лишь случайныя ассоціаціи, съ этой — одна черта, только одна, но безъ которой не представляешь себѣ образа Россіи. Кажется, съ этой черты и надо начинать, когда думаешь о ней.

Въ эрмитажномъ портретѣ, какъ и во всей живописи Юрданса, есть какое-то необычайно острое чувство семьи, взаимной близости, связанности ея членовъ, нераздѣльности человѣческихъ особей въ лонѣ вскормившаго ихъ рода. Людямъ въ его картинахъ тѣсно, но тепло; они заполняютъ весь холстъ; они живутъ вмѣстѣ, сообща, одною жизнью, одною душой; одинъ начинается тамъ, гдѣ кончается другой, одинъ заканчивается, доживаетъ въ самомъ себѣ тѣлесно-душевную цѣлостность другого. Если у него, въ собственномъ смыслѣ слова, изображена семья, то дѣти и въ самомъ дѣлѣ соединяютъ въ себѣ отца и мать, братья и сестры — развѣтвленія одного ствола, и какой-нибудь старшій дѣдъ корнями уходитъ въ глубь родовой жизни. Вотъ въ этомъ именно чувствѣ семейной связанности, домашняго тепла и тѣсноты есть что-то русское, сохранившееся въ русскомъ быту, хотя, конечно, не повсюду одинаково — и хотя отъ него, какъ отъ многихъ другихъ характерно русскихъ чертъ, можетъ ничего не остаться въ бу-

душемъ. Чувство это съ огромной силой отражено русской литературой, и больше всего Толстымъ, который, быть можетъ, именно въ этомъ отношеніи, больше, чѣмъ во всѣхъ другихъ, — самый русскій изъ русскихъ писателей. Воплотилась эта черта не только въ его творчествѣ, но и въ жизни, что особенно ясно видно изъ воспоминаній Александры Львовны, идѣ Толстой, да и Софья Андреевна рядомъ съ нимъ, неизмѣнно присутствуютъ, зримо или незримо, какъ священные прашурь, какъ домашніе боги въ мірѣ простыхъ смертныхъ — дѣтей, домочадцевъ и гостей. Подростая, жениясь, выходя замужъ, дѣти все же остаются нераздѣльными съ семьей, если не въ реальномъ бытѣ, то въ душѣ, въ памяти, или, вѣрнѣе, въ крови: ихъ радость и горе, ихъ различныя судьбы, даже ихъ любви различаютъ ихъ, но не разъединяютъ. Множество эпизодовъ и подробностей, рассказанныхъ Александрой Львовной, устанавливаютъ необычайно крѣпкую связь Толстого съ женой и дѣтьми, сказывающуюся въ его остромъ (все равно сочувствующемъ или враждебномъ) переживаніи любовныхъ увлеченій дочерей, въ его вчувствованіи въ семейную жизнь сыновей, въ собственной, не пикиней только, но и внутренней опутанности теплыми семейными отношеніями. Можно думать, что и предсмертный его уходъ былъ не только результатомъ давно уже назрѣвавшего рѣшенія покинуть обстановку, обременявшую его вести не ту жизнь, какая вытекала изъ его ученія, но и чѣмъ-то большимъ: попыткой бѣжать отъ себя, того семейственного начала въ себѣ самомъ,

что всегда сосуществовало и глухо боролось въ его душѣ съ чисто индивидуальнымъ, не знающимъ ни чадъ, ни домочадцевъ усмотрѣніемъ его разума и совѣсти.

Въ книгахъ Толстого живетъ такое чувство семьи, какого не знала европейская литература со временъ патриархальныхъ и которое въ эти патриархальные времена не могло быть выражено такъ, какъ его выразилъ Толстой. «Война и миръ» — повѣствованіе о семьяхъ, больше, чѣмъ о людяхъ, и «Анна Каренина» не случайно начинается знаменитой фразой о счастьи и несчастьи семействъ, а не людей. Нигдѣ не показана такъ, какъ у Толстого, та совмѣстность души, что внутренне объединяетъ даже и очень разнствующихъ между собою — умственными способностями, характеромъ, талантомъ — членовъ одной семьи. Единство это стихійно, до-разумно; въ изумительной сценѣ предложенія Левина на другой день послѣ счастливаго объясненія его съ Кити, старые князь и княгиня не просто сочувствуютъ дочери, не радуются ея счастью, а участвуютъ въ немъ, въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова: дочь не до конца отъ нихъ отдѣлена; въ ея любви, въ ея будущемъ материнствѣ они съ ней, ея замужество — событіе не личное, а родоное. Стоитъ сравнить эту сцену съ той, что происходитъ у Анны съ Вронскимъ послѣ ея «паденія», чтобы понять, насколько для Толстого истинна и даже просто художественно образима лишь та любовь, что неразрывна съ материнствомъ и семьей; отсюда и различіе всего отношенія его къ любви Анны и

Вронского, сравнительно съ любовью Левина и Кити, различіе, внушенное въ конечномъ счетѣ (какъ и весь замыселъ романа) не отвлеченно-моральныхъ принципомъ, а ощущеніемъ жизни, болѣе глубокимъ, чѣмъ всякая мораль. Любовь признается Толстымъ только родовая. Иную онъ отвергаетъ, какъ чловѣкъ; и даже какъ художникъ способенъ изобразить ее только подчеркивая ее разрушительную силу (какъ въ романѣ Анатоля и Наташи), обнаживъ ее устремленность въ небытіе. Ни въ чемъ такъ не проявилась глубина толстовскаго чувства семьи, какъ въ томъ, что самая любовь окрашивается у него семейно и знаетъ только эту одну родовую «сублимацию». Чувство это принадлежитъ, однако, не ему одному, а въ какой-то мѣрѣ всей Россіи, и имъ самымъ переживается именно такъ: какъ самоочевидное и всеобщее. Онъ его выразилъ всего сильнѣй, но его легко найти какъ бы въ предварительномъ очеркѣ у Пушкина, потомъ у Аксакова, у Тургенева, даже у Достоевскаго, (хотя ему лично оно скорѣе чуждо), и характерно, что розановское обожествленіе пола имѣетъ въ виду первобытную дѣтородную стихію и этимъ противоплагается, напримѣръ, проповѣди Лауренса, вполне совѣстимой съ восхваленіемъ противозачаточныхъ средствъ.

Именно этой близостью эротическаго и семейнаго, исконной нераздѣльностью семьи съ природной, дочеловѣческой ея основой Россія и отличается отъ Запада. Семейные устои очень сильны, напримѣръ, во Франціи, но здѣсь семья—учрежденіе, которое долж-

но уважать, которое охраняется закономъ: она не дана, а задана. Семью здѣсь основываютъ, какъ новую, отдѣляющуюся отъ дѣлаго. единицу; ея члены какъ бы граждане малаго государства, управляемые неписанной конституціей. Она основана на правѣ больше, чѣмъ на морали, и на морали больше, чѣмъ на первичномъ, непровѣренномъ разумомъ влеченіи. Ей присуща прочность хорошо построеннаго зданія, но не гибкость и обновляемость живого организма. Это различіе простирается за предѣлы собственно семьи, устанавливаемой по принципу единокровности. Если во Франціи, и на Западѣ вообще, семья тяготеетъ къ государству и публичному праву, то въ Россіи и сама государственная, публично-правовая жизнь какъ бы стремилась всегда къ состоянію жизни семейственной. Наши семьи не замыкались, а распространялись. Домочадцы и даже гости участвовали въ семьѣ. «Дворовые и слуги чрезвычайно много раздѣляли интересовъ частной, духовной и умственной жизни своихъ господъ въ былое время», говоритъ Версильовъ у Достоевскаго, и достаточно одной русской литературы прошлаго вѣка, чтобы увѣрить насъ, что онъ говоритъ правду. Лакей—не только не русское слово, но и не русское понятіе; зато всевозможные нахлѣбники и приживалки, а также бывшія кормилицы, отставныя няни и окончившіе службу денщики всегда составляли пограничную стражу русской семьи, оберегавшую ее отъ слишкомъ четкаго чертежа внѣшней, жесткой, несемейной жизни.

Дѣла тутъ даже не въ одной лишь семейной традиціи, самой по

себя. Чувство, близкое къ семейному, могло выработаться въ любой не слишкомъ обширной социальной группѣ, ибо личность въ Россіи не до конца выдѣлялась изъ своей среды, оставалась связанной съ тѣмъ, что лучше называть общиной, а не обществомъ. Это положеніе имѣетъ въ виду Генъ, когда говоритъ, что въ Россіи «личность погружена въ субстанцію семьи». Но онъ склоняетъ смѣшивать его съ патріархальностью, въ строгомъ смыслѣ слова, хотя patria potestas съ римскимъ оттѣнкомъ государственнаго властвованія вовсе не характерна для Россіи. Покойный французскій критикъ Жакъ Ривьеръ, въ своей книгѣ о Германіи, рассказываетъ о томъ неизгладимомъ впечатлѣніи, какое произвели на него русскіе солдаты, видѣнные имъ въ нѣмецкомъ плѣну, своей странной сплоченностью, какъ бы прилепленностью другъ къ другу. Быть можетъ даже та особая форма групповаго помѣшательства, какая поразила тѣхъ русскихъ солдатъ, что уже много лѣтъ содержатся, какъ о томъ не разъ сообщали газеты, въ одной изъ итальянскихъ лѣчебницъ для душевно-больныхъ, стоитъ въ нѣкоторой связи съ этой особенностью русскаго душеванаго уклада. Люди эти молчаливо и безпрекословно подчиняются вожаку, какъ бы сосредоточившему въ себѣ всѣмъ имъ общую душу, — волю и разумъ всей этой скончательно сросшейся внутреннею общиной. Можно истолковать это, какъ ненормальное обстрѣненіе той невывѣденности лица изъ народа, общины, артели, семьи, которую иные наблюдатели называли стадностью; однако стадное чувство въ извѣстныхъ усло-

віяхъ можетъ овладѣть скопленіемъ людей любой національности, любой толпою, тогда какъ для русскихъ людей характерно нѣкоторое постоянное ощущеніе своей связанности съ близкими, какими бы признаками ни опредѣлялась эта близость.

Легко намѣтить отсюда переходъ къ еще болѣе русской чертѣ: преобладанію личныхъ отношеній надъ отношеніями профессиональными, служебными, вытекающими изъ общественныхъ нормъ и государственныхъ установленій. «Русскій кулець», говоритъ Генъ, съ неохотой уплѣчивается по векселю, даже если онъ миллионеръ. Ему трудно разстаться съ деньгами, а главное его тѣснить точно установленный срокъ. Ему хочется устроить дѣло любовно, въ дружеской бесѣдѣ, путемъ просьбы, уговариванья, общанья, лести, умненья, отказа, уступки, словомъ въ порядкѣ личнаго общенія. Подмѣчено это вѣрно, хотя и односторонне оценено. Бюрократическая механизация человѣческихъ отношеній никого такъ не пугала, какъ русскихъ людей; объ этомъ свидѣтельствуетъ, среди многихъ другихъ, Гоголь въ «Шинели» и Гончаровъ въ «Обыкновенной исторіи». Пусть иногда безтолково и невпопадъ, но въ «должностномъ лицѣ» у насъ всегда склонны были искать человѣка, и не находя впадали въ отчаяніе или въ негодованіе. Толстой не терпѣтъ Каренина прежде всего за то, что онъ исполнительный петербургскій чиновникъ, а самый Петербургъ, за тѣ-же его качества, за упорядоченную холодность и «официальность» недолюбливали провинціалы и москвичи. Въ конеч-

номъ счетъ это сводится къ отрицанію того, что такъ почитается на Западѣ: моральнаго долженствованія, вообще долга. Русскій человѣкъ, если творить добро, то не по долгу, а по любви, и вообще дѣлать, творить, работать онъ хочетъ — какъ совершенно правильно замѣтилъ и Лейба — только если трудъ ему по сердцу, а не въ силу того, что онъ долженъ, обязанъ, хотя бы это долженствованіе ему предписывала собственная выгода или необходимость. Конечно, это нерѣдко приводитъ къ пассивности, легко переходящей въ простую лѣнь, а лѣнливомъ бываетъ и моральное чувство; однако Гончаровъ не совсемъ неправъ, когда, восхваляя Штольца, онъ тайно предпочитаетъ ему Обломова. Въ отрицаніи долга, въ выведеніи всей морали изъ любви и въ предпочтеніи этой морали праву заключается также и вѣра въ положительное, дѣйственное добро, тогда какъ юридическая мораль приводитъ къ системѣ запрещеній, къ пониманію добра, какъ простаго воздержанія отъ зла или какъ вѣщнаго, изсушающаго сердце исполненія закона.

Первенство личныхъ отношеній въ русской его формѣ, отрицательная сторона котораго выражается специфически русскимъ понятіемъ кумовства, не должно быть смѣшиваемо съ персонализмомъ англійскаго типа, — прежде всего потому именно, что у насъ личность остается недоочерченной, невыдѣленной изъ семьи и общины. Этому содѣйствуетъ, съ отнимъ сливается слабое чувство собственности, другая нерѣдко отмѣчавшаяся особенность русскаго человѣка. Въ

частномъ разговорѣ нѣмецъ, жившій въ Россіи до войны, долго хвалилъ русскихъ, но затѣмъ прибавилъ, что они, къ сожалѣнію, «*dieblich angelegt*», склонны къ воровству. Почти такое же мнѣніе высказалъ было и проф. Лейба, но вскорѣ добавилъ, что склонность къ захватыванью чужого добра соответствуетъ готовности разстаться со своимъ добромъ; русскій человѣкъ отдастъ свое такъ же легко, какъ беретъ чужое. Не всегда отличая свое отъ чужого, русскій человѣкъ тѣмъ болѣе не будетъ склоненъ отличать собственность отъ владѣнія. Смѣшеніе это несомнѣнно проникло весь русскій бытъ столь противорѣчащій твердымъ опредѣленіямъ римскаго права, ставшимъ какъ бы второй натурой западнаго человѣка, особенно человѣка латинской цивилизации. Какъ правило, мелкій должокъ не слишкомъ тревожитъ русскую совѣсть, но зато и самъ давая въ долгъ русскій человѣкъ зачастую просто даетъ, а не ссужаетъ, недаромъ этогъ глаголъ рѣже употребляется у насъ чѣмъ *prêter, leihen, to lend* и другіе западные его синонимы. Я увѣренъ даже, что русское моральное сознаніе оцѣниваетъ всѣ имущественныя отношенія съ точки зрѣнія не вѣшной, а личной, принимаетъ во вниманіе не убытокъ, а ущербъ, оправдываетъ вора по бѣдности (или даже по богатству того, кого онъ ограбилъ), что съ великимъ негодованіемъ отмѣчаетъ въ своихъ запискахъ Генъ и что конечно имѣетъ свои опасности, и ужъ во всякомъ случаѣ находится въ рѣзкомъ противорѣчій съ логикой римскаго, да и всякаго вообще права.

Логика права враждебна русской совести, как и русскому уму; интеллектуальные и моральные особенности русского человека тут неразличимы. В самом деле, благодаря логической и юридической недисциплинированности мышления, стираются границы между тем, чего хочется и тем, что есть, между обещанным и осуществленным, между утверждением и предположением. Конечно, ворует и лжет и европеец, а не только русский человек, но различающий отбнокъ заключается в том, что сь одной стороны чаще преобладает голый расчет и явная корысть, сь другой — известная текучесть представлений о собственности и об истинѣ; не даромъ и русское слово правда означает не столько интеллектуально — отчетливое соответствие икса игреку, сколько нечто среднее между мудростью и добромъ. Неточенъ вѣдъ и самъ русский языкъ по сравнению, напримеръ, съ французскимъ, и не только въ смыслъ меньшей логической строгости въ словоупотребленіи и построеніи фразы, но даже и въ самой фонетикѣ: неударныя гласныя звучатъ неопредѣленно, концы словъ проглатываются. Неотчетливая артикуляція — наша главная ошибка, когда мы говоримъ по французски, болѣе замѣтная для французозъ, чѣмъ всѣ наши отдѣльныя погрѣшности. Зато насколько нашъ языкъ выразительнѣй, конкретнѣй, а главное задумчивѣй и горячѣй не только французскаго, но и всѣхъ другихъ западныхъ языковъ, насколько ближе къ чувствамъ и вешамъ, во сколько разъ живѣй передается въ немъ бленіе чело-

вѣческаго взволнованнаго сердца.

Ничто такъ не раздражаетъ последователя западнаго человека въ русскомъ, какъ пренебреженіе логикой ради чего-то, что можетъ быть ниже, а можетъ быть и выше логики, какъ подмѣна права и справедливости милосердіемъ и любовнымъ снисхожденіемъ къ слабостямъ — своимъ и чужимъ. Генъ рассказываетъ о томъ, какъ нѣмецкій врачъ не нашель никакой болѣзни у многосемейнаго пняницы псаломщика и съ негодованіемъ прибавляетъ, что этотъ безспорный діагнозъ вызвалъ всеобщее недоновство, такъ какъ дѣтямъ псаломщика нечего было вѣсть, а по болѣзни ему выдавали-бы казенную субсидію. Кто правъ? Вѣроятно и сейчасъ большинство русскихихъ людей захочеть, чтобы врачъ солгалъ и чтобы дѣти были сыты. *Le œuf a ses raisons.*, которыхъ не знаетъ не только разумъ, но и запрещающая, регулирующая нравственность. Постоянное преобладаніе этихъ «доводовъ сердца» надъ разумомъ и моралью, ничего не знающихъ о нихъ, разумѣется опасно, легко приводитъ къ хаосу, гдѣ гибнуть одновременно и милосердіе, и справедливость. Угроза хаоса означаетъ известную перобытность культуры; культурѣ поздней угрожаетъ не хаосъ, а чрезвычайный порядокъ улья или муравейника. Даже Генъ прекрасно повималъ ту прелесть Россіи, что зависить отъ ея молодости и широты, отъ отсутствія стѣсняющихъ перегородокъ. Въ Россіи, по крайней мѣрѣ въ старой Россіи, было нечто, чего можетъ быть уже нигдѣ на свѣтѣ нѣтъ: ощущение очень большой свободы, — не полити-

ческой конечно, не охраняемой законом, государством, а со-вѣсьмъ иной, происходящей отъ тайной увѣренности въ томъ, что каждый твой поступокъ твои ближние будутъ судить «по чело-вѣчеству», исходя изъ общаго ощущенія тебя, какъ чело-вѣка, а не изъ соответствія или несо-ответствія твоего поступка зако-ну, приличію, категорическому императиву, тому или иному фор-мально установленному правилу.

Недостаточно, однако, настаи-вать на вѣсѣхъ этихъ чертахъ; на-до указать и связанную съ ни-ми трагическую антиномію, впер-вые подчеркнутую Викторомъ Ге-номъ, увидѣвшимъ оба ея полю-са и описавшимъ ихъ съ неизмѣн-нымъ своимъ отвращеніемъ и гнѣ-вомъ. Онъ не устаетъ укорять Россію за невидѣнность лич-наго изъ общаго, за отсутствіе твердо очерченныхъ границъ, въ которыхъ могла бы утвердиться личность; существованіе артелей, напримѣръ, представляется ему «признакомъ еще не пробудив-шейся индивидуальности»; по его словамъ, «нравственный міръ рус-скаго чело-вѣка начинается и кон-чается семьей»; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ считаетъ, что тотъ же русский чело-вѣкъ цѣнить боль-ше всего порядокъ, «въ механи-ческомъ смыслѣ слова». «Нигдѣ, — говоритъ онъ, — не господ-ствуетъ такъ, какъ здѣсь, отвле-ченно-механическое отношеніе къ дѣлу, какъ если бы культура по-коилась на извѣстномъ количествѣ формъ и формулъ, вводимыхъ посредствомъ декретовъ». Слова эти звучатъ пророчески; однако напоминаютъ о нихъ не толь-ко нынѣшніе способы управленія Россіей, но и военныя поселенія

Аракчеева, напримѣръ, о кото-рыхъ не такъ давно одинъ со-вѣтскій авторъ отзывался не безъ одобренія. Можно сказать, что тамъ, гдѣ кончаются «личные от-ношенія», начинается сразу ими же вызванная антитеза: царство сугубо - механическаго государ-ственного устройства, «военщи-ны», «казенщины», того, за что проклинали Петра и ненавидѣли Николая I, за что, въ частности, такъ «ненавидѣлъ его Толстой. Противоположность нужно ви-дѣть здѣсь не между самоде-ржавіемъ и свободой, а между бездушіемъ государственной ма-шины и безгосударственной, без-форменной душевностью, къ ко-торой тяготѣтъ русский чело-вѣкъ. Нельзя не вспомнить и тутъ Тол-стого, описанія того, какъ Каре-нинъ, пріѣхавшій въ Москву съ ясными намѣреніями и твердыми рѣшеніями, весь размягчается, рас-творяется, теряетъ какъ бы ду-ховный свой скелетъ, поглощен-ный стихійнымъ добродушіемъ Стивы Облонскаго.

Антиномія здѣсь касается не только «быта и нравовъ», но че-го-то гораздо болѣе глубокаго: устройства самой души. Въ мысли и дѣятельности того же Толстого первичное чувство жизни борет-ся съ разудочнымъ схематиз-момъ, проявляющемся уже въ раз-сужденіяхъ «Войны и мира», а за-тѣмъ и въ поздней толстовской философіи. Отвлеченное мышленіе у него тѣмъ болѣе стремится къ какой-то арифметической нагляд-ности, чѣмъ оно, по существу, протекаетъ затрудненнѣе и тяже-лѣе. Борьба, которая происходитъ въ душѣ Толстого, родственна той, что раздѣляетъ Россію на Облонскихъ и Карениныхъ, на

дремотное добродушие семейственного совѣснаго нутра и насылюющія его жестокиа схемы желѣзнаго государства и свинцовой логики. Россія, однако, все же больше въ творчествѣ, чѣмъ въ отвлеченномъ мышленіи Толстого; больше въ Облонскомъ, чѣмъ въ Каренинѣ, по крайней мѣрѣ та Россія, которую мы знали и о которой только и можемъ судить. Самое глубокое слово о ней сказано, быть можетъ, митрополитомъ Филаретомъ (запись его найдена въ бумагахъ Гоголя). О русскомъ народѣ митрополитъ ска-

залъ: «съ немъ свѣта мало, но теплоты много». Недаромъ, «свѣтитъ, да не грѣетъ» чисто русская поговорка, которой никакое «грѣетъ, да не свѣтитъ» не противостоятъ. И развѣ могъ бы не русскій человекъ сказать о себѣ, какъ Розановъ въ «Уединенномъ»: «Я похожъ на младенца въ утробѣ матери, но которому вовсе не хочется родиться. Миѣ и тутъ тепло», — слова, которыя едва ли не вся Россія готова за нимъ ежедневно повторять.

В. Вейдле.

Стоять — негасимую свѣчу

памяти Евгенія Ивановича Замяткина

1884-1937.

— — — море-могила, мшистая кочка, крестная дорога разошлась по Россіи — Россія, какой она мнѣ снится, весенняя въ муравѣ моей суздальской родины, то кукушачья — подмосковный звенигородскій лѣсъ въ вечерній часъ, или галочье ненастье — Петербургъ, куда ни обернусь: кресты.

Первый крестъ — наше послѣднее прощаніе: Блокъ; памятно, какъ кровь: это было и наше «спрошайте» — послѣднее — русской землѣ. За Блокомъ Гумилевъ... Розановъ, Брюсовъ, Гершензонъ, Сологубъ, Есенинъ, Добронравовъ, Андрей Бѣлый, а въ прошломъ году Кузминъ, Горькій, а вотъ и Замяткина похоронили.

И остался одинъ Пришвинъ — бѣлый, какъ луна, съ ружьемъ и собакой, вижу, приставилъ ладони къ ушамъ: трепаніе ласточекъ, или гдѣ-то осина трепещется, или

въ еще «нераздѣвшейся» ночи слышно-чутко мои предразсвѣтныя прощальныя мысли?

«Стоять — негасимую свѣчу», такъ въ старину о канонникахъ, читавшихъ псалтырь, такъ мнѣ сказалося о Замятинѣ, о его словесной работѣ. Только Андрей Бѣлый такъ сознательно строилъ свою прозу, а положилъ «началь» Гоголь, первый Флоберъ въ русской литературѣ, а за Гоголемъ Слѣпцовъ... Ахсаковъ, Гончаровъ.

Я лежалъ въ жару. Только газета, перо и кисточка. Въ память Пушкина я хотѣлъ изобразить его сны. — шесть сновъ; рисованіе помогаетъ моему глазу различать въ темнотѣ сновидній, чего не схватить словомъ; а температура

сочиняет краски. В сумерки мнѣ сказали, что произошла «большая неприятность». Сказано было голосомъ, я знаю всё его отъѣки, и я почувствовалъ очень тревожное. Миллионъ мыслей пронеслось: налогъ, молочница, газъ, электричество—кому только не должны! — и, наконецъ, насъ выгнали съ квартиры и наступилъ послѣдній безпризорный пропадъ...

«Е. И. Замятинъ померъ!»

Въ ту ночь вижу: сижу на кухнѣ у стола, а ко мнѣ лицомъ, у плиты примостилась, подбородкомъ на плитку и правую руку такъ, торчмя надъ головой держитъ, какъ когъ лапу, когда ищетъ, но это была не канонница Нестерова, «негасимая свѣча», блондинка «Львовъ» Печерскаго, а очень худенькая, совсемъ еще подростокъ, костлявая, съ неправильнымъ лицомъ, я понимаю, носъ переломанъ, и не прямо, изъ-подъ лобья трудно — въки ея до кирпича воспалины — съ болью смотреть на меня — — «...за пять лѣтъ заграничной жизни, — продолжаю думать о Замятинѣ, — все онъ куда-то торопился... или это его сценарии отнимали все его время?—кинематографическій сценарий! какое отношеніе къ словесному искусству? и который и легче и въ цѣль илишнется у Осина Дымова. Или хлопоты объ устойчивѣ своего по-французски, переводы? — Но до верховъ все равно не добратья: подлинныя словесныя конструкціи непереводимы, а архитектурныя при ихнемъ-то богатствѣ, вѣдь мы на родинѣ Буало! не удивили; смысли и «вознаи» — извороты и

тайники человѣческой души... надо что-то отъ Толстого, Достоевскаго, или хотъ бы отъ Салтыкова. Или надо было добиваться, поддерживать связи съ ихъ пустыми обѣщаніями и ожиданіемъ — вродѣ миллионной лотереи-самообманомъ «а вдругъ да...?» И вотъ все некогда. И такъ мало было сказано за эти годы. И только разъ на Маршѣ д'Отэй, на нашемъ базарѣ, я за картошкой, онъ съ почты, и почему-то я сталъ говорить, вспоминая Петербургское, о его разсказахъ, какъ хорошо онъ пишетъ: «...когда же заговорите своимъ голосомъ?» А хотѣлъ я сказать, и онъ понялъ, я хотѣлъ сказать, что во всёхъ его прекраснѣйшихъ строкахъ я не чувствую музыки и надо что-то — но что еще надо? — чтобы распечатать его сердце, — «когда же?» И онъ мнѣ отъѣтилъ: «будетъ», — и напомнилъ, что уже разъ я его спрашивалъ и тѣми же словами въ Петербургѣ. И я подумалъ: нѣтъ, это у него не отъ математики. «Вы понимаете, откуда серебряная пѣсня Гоголя, раздумная печаль у Толстого, огненная боль у Достоевскаго, тоска у Чехова, изступленіе въ подгоголевскомъ, и пусть иногда фальшивомъ (ошибся на одну сотую) у Андрея Бѣлаго, антифоны Кузмина въ искусственинѣйшихъ стилизаціяхъ, лирика «природы» съ отголоскомъ поэзии Некрасова у Слъщова, «смыслящаго реалиста», этого ученика экономическаго сахара Чернышевскаго, по чертвосту сравнимаго только съ блестящимъ гигиеническимъ бискотомъ Анатолемъ Франсомъ?» И вдругъ я понялъ... мнѣ почувалось: «будетъ», какъ сказалъ когда-то Замятинъ, но какой это была стран-

ный скрипящий голосъ, такіе никогда не поютъ, я понялъ, что это она — съ переломаннымъ носомъ и торчащей, какъ лапа, рукой, съ болью смотрящая на меня... душа Замятина, и что больше никогда не «будеть». И мнѣ было трепетно смотрѣть на нее.

*

Оттого ли, что словесное Замятина такъ неразрывно съ нами и наша общая любовь къ русскому «старому пѣнію» (потомъ ужъ я узналъ: послѣднее, что унесъ онъ на тотъ свѣтъ, слышалъ незадолго до смерти, былъ Мусоргскій), съ Замятиннымъ у меня связаны сны. Самъ онъ закрытъ отъ этого міра и не было у него двойной памяти.

Когда я писалъ отчетъ о его «Огняхъ св. Доминика» (1920) — Замятинъ по природѣ не лирикъ, и только строитель, не могъ создать трагическаго театра, — и вышло подъ оперу, я много объ этомъ думалъ и мнѣ приснилось. Я увидѣлъ одно изъ самыхъ страшныхъ по сказаніямъ: его видѣніе было заслонено еще двумя, стоящими одинъ за другимъ, и черезъ ихъ глаза я проныкъ и увидѣлъ: въ его глазахъ кипѣлъ нестерпимо щемящій огонь — это былъ «демонъ пустыни» — демонъ одиночества, безпризорности и отчаянья.

*

Въ пасмурное «петербургское» утро похоронили Замятина.

Не пришлось проводить его на далекое кладбище, гдѣ хоронятъ русскую безпризорную бѣдноту. Но мнѣ казалось, я все вижу, и подѣждемъ и вѣтромъ мнѣ очень забко, — я видѣлъ, какъ вынесли досчатый гробъ, въ та-

комъ Брлдырева тоже на Тѣ похоронили и Поплавскаго, двухъ русскихъ — писатель и поэтъ, и я вспомнилъ Нѣкрасова, нашу традицію и жестокою судьбу «сочинителя», и увидѣлъ, по тѣснымъ мосткамъ между готовыхъ узкихъ могилъ — Ивановъ-Разумникъ, Постниковъ и Пришвинъ: петербургскіе «Завѣты». И какимъ ненужнымъ показался мнѣ дурацкій кинематографъ — работа послѣднихъ лѣтъ Замятина; вѣдь дѣло его жизни, всё эту словесныя конструкціи русскаго лада — это наше русское, русская книжная казна! И мастерство. Вы думаете, сълъ и написали, и напечатали, нѣтъ: взять готовый наборъ и — разсыпать, и ужъ голыми руками за эти раскаленные дѣбѣла буквы, чтобы закрѣпить изъ тысячи одно слово! И моя была горстка земли въ его могилу, мое послѣднее прощайте, мое признаніе за его трудъ, его работу и мастерство.

*

Замятинъ изъ Лебедяни, тамбовскій, чего руссе, и стихія его словъ отборно русская. Прозвище: «англичанинъ». Какъ будто онъ и самъ повѣрилъ, — а это тоже очень русское. Вѣдь было «прилично» и до Англии, гдѣ онъ прожилъ всего полтора года, и никакое это не англійское, а просто подѣ нижемерскую грбенку, а разоидется — смотрите: лебедянскій молодець съ пробормы! И читалъ онъ свои рассказы подѣ «простака».

Такимъ вотъ англичаниномъ подѣ простака я увидѣлъ его въ день похоронъ: къ книжной полкѣ у окна стоялъ онъ прислоненъ.

Видать его или нѣтъ, я не знаю, но я вижу: онъ въ смокингѣ, глаза закрыты и лицо розоватое, очень чистое, и только руки, онъ описалъ ихъ въ «Миз», покрыты шерстью, онъ висятъ. Въ комнатѣ горитъ электричество. И вдругъ я увидѣлъ, какъ механически онъ опустился на полъ, ноги, не разгибаясь, вытянулись, и онъ съѣлъ. А вокругъ поднялись мои «чудовища», Фейерменкены въ колпачкахъ и цверги, сучки, рогатини и спотыкушки, и я замѣтилъ, онъ съѣдалъ такъ — ртомъ. «Смотрите, онъ дышетъ!» Но въ это время электричество стало гаснуть. «Я подолью!» — не сказала я «кросина», но это понятно. А свѣтъ ужъ погасъ. И вошелъ Горькій, узнать нельзя, какъ отъ куафѣра, андефризэбл — такая африканская шевелюра. Я поздоровался. А онъ, не отвѣчая, и очень дѣловито ногой отпихнулъ моихъ цверговъ, поднялъ Замятину себѣ на руки и понесъ подъ мышкой, какъ книгу.

*

Замятинъ не болтунъ литературный и безъ разглагольствований: за 29 лѣтъ литературной работы осталось — подъ мышкой унесешь; но всё — свинчатка.

Въ революцію стали поговаривать: справедливо ли литературные произведенія на версты мѣрять? Но писатель по преимуществу болтунъ и на простой глазъ чѣмъ толще книга, тѣмъ умнѣе, — и въ революцію ничего не вышло и, какъ прежде, гонораръ рассчитывается по количеству типографскихъ знаковъ. Замятину не много перепало.

Выступая Замятинъ впервые у Арцыбашева осенью 1908 въ «Об-

разованія». На годъ позже Пришвина и на шесть Андрей Бѣлаго и меня. Что это за разказъ, написанный по слову Замятина, «однимъ духомъ» во время экзаменовъ при окончаніи Политехническаго Института, легко судить по редактору: пристрастіе къ женскимъ грудямъ — повторяющійся и очень яркій образъ у Замятина («Разказъ о самоѣ главномъ», «Ела», «Наводненіе»), вотъ гдѣ его начало, а отъ стиля — Арцыбашевскій лрѣймъ подъ Толстого съ безконечными «потому что» — слѣдовъ не осталось.

А стали знать Замятина съ «Уздного» (1912), появившагося въ майскихъ «Завѣтахъ» 1913 г. у Иванова-Разумника. Одновременно выступилъ Леонидъ Добролюбовъ, авторъ «Новой Бурсы»; и имена: Замятинъ и Добролюбовъ, связанныя съ «Завѣтами», присосединились къ имени: Пришвинъ.

«Почему вы взяли себѣ псевдонимъ «Замятинъ»?» — педагогически выговаривая всѣ буквы, спросилъ меня Сологубъ.

Отзывъ Сологуба былъ общимъ литературнымъ мнѣніемъ, называли «Неуѣный бубень», какъ образецъ. Одинъ извѣстный редакторъ, ближайшій къ Горькому, а впоследствии близкій и съ Замятинымъ, рассказывалъ мнѣ, какъ онъ бросалъ въ корзину рукописи, въ которыхъ словесно былъ отзывъ отъ моего: «такихъ рукописей Горькому посылалось немало», — и что Замятина онъ признавалъ только съ «Островитянъ». Очень мнѣ было это странно слушать; точно я изъ воздуха проктунулся на бѣлый свѣтъ русской литературы... мой «Неуѣный бубень» идетъ отъ Лѣскова и Гого-

ля, моя «Посолонь» отъ Печерскаго, а по пѣсенности и поэзии «прозы» мнѣ такъ близокъ Слѣповъ; и тѣ несчастные, обреченные на выбросъ, — вся ихъ вина только въ томъ, что они въ кругѣ русскаго лада и «сприродной» рѣчи. Критика осѣнила «Уздное», какъ обличіе «провинціальной тины».

Мартовская книжка «Завѣтовъ» 1914 г. была конфискована за повѣсть Замятинъ «На куличкахъ»: цензура усмотрѣла обличіе офицерства. Замятинъ не Купринъ, знать военный быть со словъ, и нечего искать въ повѣсти «этнографіи», это было то же «Уздное» съ введеніемъ «рефреновъ» изъ «Симфоній» Андрея Бѣлаго и извѣстнаго пріема «неоконченной фразы». Но для общей критики это не важно; важно было: конфисковано.

А покорилъ Замятинъ Горькаго «Островитянами» («Скифы», 1918, II): произвело впечатлѣніе: Англія. Что было англійскаго въ сатиру, кромѣ туристическихъ словъ, не разбирались: Англія. У Достоевскаго въ «Селѣ Степанчиковѣ» галстукъ Видюпясова «Аделаидинъ цвѣтъ»; «Аграфейнинъ» было бы непримѣнимъ! И это тоже такое русское: такъ было у Брюсова въ «Всѣхъ», у Анненскаго и Маковского въ «Аполлонѣ».

Замятинъ не революціонеръ, никакихъ словесныхъ прорывовъ и излетовъ Андрея Бѣлаго; онъ оставался въ кругѣ «Узднаго», облюбовывая каждый камушекъ и застраивая до сложнѣйшаго «Мы». Высшее достиженіе словеснаго искусства: «Сѣверъ» (1918), «Русь» (1923) и «Пещера» (1923). Но лучшимъ остается «Уздное».

Словесно Замятинъ Гоголевска-

го корня; пріемъ нѣкоторыхъ его рассказовъ — чеховскій: «Старшина» (1914), «Землемѣръ» (1915); рассказъ испорченъ зайкой, который повторится въ «Встрѣчѣ» (1935). Въ деревенскомъ «Чрево» (1913), «Письменно» (1916), «Кряжи» (1915) и до петербургскаго «Наводненія» (1930) — переодѣваніе, что наивно называется «перевоплощеніемъ» и неизбежно навязанныя мысли; темъ: стихійное, а съ отзвукомъ Толстого. Въ сказкахъ или, точнѣе, басняхъ — Сологубъ, самъ же Сологубъ отъ «сказокъ» Салтыкова, требующихъ комментарий, про что и про кого. Въ сказаніи «О томъ, какъ изцѣленъ былъ отрокъ Эразмъ» (1920): бытовое монастырское «Узднаго». «Знаменія» (1918), «Споручницы грѣшныхъ» (1918) съ галантною — чуть-чуть не Кузминъ. Единственная попытка выйти изъ бытового и стать Андреемъ Бѣлымъ: двухплановый «Рассказъ о самомъ главномъ» (1923) далъ только аллегорію по Леониду Андрееву: тутъ дѣло не въ лирикѣ и не въ какой-то другой памяти, которыхъ нѣтъ у Замятинъ, и никакимъ искусствомъ не изять, а потому что Андрей Бѣлый — огонь. При всей словесной изощренности Замятинъ всегда долженъ былъ подписываться подъ своимъ.

*

«Стоять — негасимую свѣчу»... канонница не только читала псалтырь, а и учила грамотѣ дѣтей. Въ революцію славилась: Гумилевъ и Замятинъ. Замятинъ училъ прозу; и не одинъ изъ современныхъ писателей обязанъ его науку. Замятинъ незамѣнимый педагогъ, и если матеріалъ оказывался неблагодарнымъ, не его вина.

Хочу помянуть друга и приятеля Замятиня, вместе учились, занимаясь васнецостровского, пёсельника и библиотечка Я. П. Гребенщикова («Непутевый» (1913), «Малый» (1920): тоже незамыслимый, служил втрой и правдой в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, а погналы в ссылку в Сибирь (за что?), там и померь в прошлом году. «Бдлый горемыка, говорю словом протопопа Аввакума, Яковь Петрович, каково это было вамъ — послдние дни — безъ вашихъ побныхъ книгъ, за книгу готовому положить душу!»

Въ революцію «Мы» (1920), Замятинъ блеснулъ своей математической и своимъ Уэлсомъ — сатира на «Завты принудительнаго спасеня» «Островитяны». А судьба «Куличекъ»: усмотрно было обличеніе, говоря по «московски», вульгарнаго социологизма и лѣвацкаго загиба, и это въ такомъ словесномъ стальномъ переплетѣ, неискусенному никакъ не добратья до уголька.

Въ революцію—театръ, съ нимъ Замятинъ прѣхалъ за границу «удивлять Европу».

Трагедія «Атилла» (1928), о которой самъ Алексѣй Максимовичъ отозвался, какъ о «геронческой» — «высокоцѣнная и литературно и общественно», получившая одобреніе такихъ знатоковъ и цѣнителей литературнаго мастерства, какъ представители 18-ти ленинградскихъ заводовъ. И про которую самъ Замятинъ пишетъ: «дошелъ до стиховъ, дальше итти некуда». И игра «Блоха» (1925) — композиція на сюжетъ Лѣскова «Лѣвшя»; составлена изъ сценъ и лицъ безконечной интермедіи къ «Царю Максимилиану» съ ки-

тайскимъ рефреномъ «хотя-хоть» и остроловіемъ народнаго творчества невысокаго требованія и на дурной вкусъ, въ которомъ Замятинъ не повиненъ; четыре сезона прошла съ успѣхомъ въ МХАТ-ѣ 2-омъ.

Занимаясь исторіей Атиллы, Замятинъ еще въ Россіи началъ романъ «Атилла»; закончена 1-ая часть.

*

Замятинъ померь отъ грудной жабы смертью Акакія Акакіевича Башмакина, героя Гоголевской «Шинели». Какая же такая пропавшая шинель или каково огорченіе сравнило долю Замятиня съ участіемъ Башмакина?

Послднее слово Акакія Акакіевича значительному лицу:

«Но, ваше превосходительство... я, ваше превосходительство, осмѣлился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народъ...»

И Замятинъ:

«Организована была небывалая еще до тѣхъ поръ въ совѣтской литературѣ травля. Сдѣлано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнѣйшей работы. Меня стали бояться вчерашніе мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были къ выдачѣ изъ библиотеки. Моя лѣса снята съ репертуара. Печатаніе моихъ сочиненій приостановлено. Послдняя дверь къ читателю была закрыта: смертный приговоръ опубликованъ. Въ совѣтскомъ кодексѣ слѣдующей ступенью послѣ смертнаго приговора является выселеніе преступника изъ предѣловъ страны. Если я дѣйствительно преступникъ и заслуживаю кары, то все же, думаю,

не такой тяжелой, как литературная смерть, и потому я прошу замѣнить этотъ приговоръ высылкой изъ предѣловъ СССР. Если же я не преступникъ, я прошу разрѣшить мнѣ вмѣстѣ съ женой временно, хотя бы на одинъ годъ, выѣхать за границу — съ тѣмъ, чтобы я могъ вернуться назадъ, какъ только у насъ станетъ возможно служить въ литературѣ большимъ идеямъ безъ прислуживанія маленькимъ людямъ...»*)

*) Въ *La Revue de France*, 1936, VIII Замятинъ въ своей памяти о Горькомъ рассказываетъ, какъ благодаря Горькому получилъ онъ разрѣшеніе выѣхать за границу. Слѣдуетъ добавить, что Горькій перелалъ Сталину письмо Замятинна.

*

И въ третій разъ я увидѣлъ его во снѣ. Это когда я сталъ перечитывать его книги и думалъ, какъ напишу о немъ. Одновременно я читалъ Пришвина «Журавлиную родину», меня поразило его зрѣніе и слухъ: такъ описать разсвѣтъ — какая поэзія! и сказка про ежика! И опять я думалъ о Замятинѣ, вотъ кто бы оцѣнилъ.

Я его увидѣлъ у калитки сада — чудесный садъ! — и онъ былъ не тотъ затравленный, озирающийся, съ запечатаннымъ сердцемъ и запечатанными устами, какимъ онъ появился въ Парижѣ, а тотъ Замятинъ, какимъ пришелъ онъ къ намъ на Таврическую послѣ «Узднаго». И я подумалъ тогда: «какой онъ умный!» И мы вошли въ садъ.

Алексѣй Ремизовъ.

Послѣ Оксфорда

1.

Однимъ изъ самыхъ яркихъ показателей глубины современного кризиса является участіе или, по крайней мѣрѣ, заинтересованность въ немъ христіанской Церкви. Въ однихъ странахъ, какъ жертва, въ другихъ, какъ сороботница, въ третьихъ, какъ гелось оцѣнивающей совѣсть, но Церковь повсюду вовлечена въ политику, вовлечена въ узелъ кажущихся неразрѣшимыми экономическихъ, социальныхъ, национальныхъ проблемъ. Это дается Церкви не легко. Мы очень далеки отъ тѣхъ теократическихъ временъ, когда Церковь брала на себя отвѣт-

ственность за все, совершающееся въ мірѣ. За послѣдніе четыре вѣка — вѣка индивидуалистической культуры, — религія привыкла удовлетворяться отведеннымъ ей мѣстомъ и кругомъ вопросовъ личнаго спасенія. Сдѣлавши «изъ неволи добродѣтель», она даже полюбила эту свободу отъ міра, эту жизнь въ разрѣженномъ воздухѣ чистой молитвенной духовности. Правда, платой за эту «чистоту» духа было безоговорочное принятіе сложившихся общественныхъ отношеній въ міру. Никогда въ своемъ героическомъ прошломъ Церковь не была такъ связана съ господствующими группами и формами общественной

жизни, какъ въ эти вѣка духовнаго индивидуализма. Цѣна казалась не слишкомъ дорогой: отъдать «кесарево кесарю», отказавшись отъ мечты о христіанскомъ его перевоспитаніи, и ограничиться его дѣломъ спасенія. Въ той или иной степени это относится ко всѣмъ христіанскимъ исповѣданіямъ, хотя по разному понимается ими спасеніе и не похожи чеканящіяся на динаріяхъ облічія Кесаря. Аполитизмъ въ Церкви нарушался обыкновенно лишь тогда, когда приходилось защищать кесаря отъ его противника: абсолютную монархію отъ либерализма и демократіи, капиталистическую систему отъ социализма. Эта защита совершалась по наивной увѣренности въ прочности, «богоустановленности» сложившихся порядковъ и не столько, быть можетъ, изъ чувства серпизма, сколько въ интересахъ — конечно, ложно понятыхъ — все той же духовной свободы. Какими безконечно далекими отъ насъ кажутся эти времена, хотя въ Россіи ихъ отдѣляютъ отъ насъ какихъ-нибудь два десятилѣтія.

Въ міръ нѣтъ уже ни одной абсолютной монархіи и ни одной страны, гдѣ капитализмъ представлялъ бы живую, дѣйствующую систему, а не ея хаотическія обломки. Уже и демократія, побѣдившая повсюду монархическое самодержавіе, стоитъ предъ собственнымъ грознымъ кризисомъ. Уже и социализмъ, «побѣдившій въ одной странѣ», раскрылъ свои глубокія внутреннія противорѣчія. Стало триумфомъ повторять, что мы живемъ въ эпоху одной изъ величайшихъ соціальнахъ и культурныхъ революцій, какія когда-либо переживалъ міръ, а въ эти

годы, въ шумѣ политическихъ событій, все чаще слышится голосъ христіанскихъ церквей, защищающихъ не только вѣчную жизнь противъ посягательствъ временнаго, но и само временное, самую человѣческую исторію отъ угрожающаго уничтоженія. Замѣчательно, что эти голоса Церкви, за рѣдкими исключениями, перестали быть чисто охранительными. Что защищать? Какого кесаря стоитъ еще оборонять отъ враговъ? Всѣ законные кесари впади въ полное безсиліе, а сильные и новые, узурпаторы — тѣ ненавидятъ Церковь и не ждутъ отъ нея — слава Богу — ни благословенія ни опоры. Если міръ будетъ существовать — міръ культуры, скажемъ точнѣе: міръ европейской культуры, — онъ долженъ быть перестроенъ заново; въ этомъ, кажется, никто не сомнѣвается. Бѣда лишь въ томъ, что точный планъ новаго зданія никому не извѣстенъ.

Только что (12-25 июля) состоялся въ Оксфордѣ всемірный конгрессъ христіанскихъ церквей, посвященный вопросу: «Церковь, народъ и государство». Этотъ съѣздъ, наряду съ Эдинбургскимъ того же мѣсяца, является послѣдней и самой мощной манифестаціей того, что принято называть христіанскимъ экуменическимъ движеніемъ. Движеніе это можно было бы, въ порядкѣ пародіи, назвать христіанскимъ Интернаціоналомъ, хотя участники его съ негодованіемъ отвергаютъ такое сравненіе. Дѣйствительно, есть глубокое внутреннее отличіе между всѣми анѣшими формами сотрудничества народовъ и движеній, которыя именуются интернаціональными и религіозными

встрѣчами людей, связанныхъ обшей молитвой прежде общаго дѣла. Но, съ другой стороны, экуменическія собранія не вселенскіе соборы, даже вообще не соборы Церкви, ибо въ нихъ отсутствуетъ само единство церковнаго общенія, такъ какъ участники ихъ принадлежать къ разнымъ, часто безконечно далекимъ другъ отъ друга религиознымъ общинамъ. Это не соборы, но новый опытъ соборованія — совершенно небывалый въ христіанской исторіи. Трагическое раздѣленіе церквей остается. Никто не пыгается умалять его значенія, или преуменьшать предѣлы вѣроисповѣдныхъ отличій. Разногласія существуютъ попрежнему. Чего нѣтъ, — это атмосферы вражды и подозрѣнія, съ которыми относились дониндѣ другъ къ другу христіане разныхъ церквей и толковъ. Соединеніе церквей — еще безконечно далекая задача, едва различимая въ историческихъ перспективахъ, но соединеніе христіанъ въ любви надеждѣ (если не въ вѣрѣ) — въ молитвѣ и общемъ дѣлѣ есть уже осуществляющийся фактъ. Но, вѣдь, это уже большая половина пути къ конечной цѣли. И когда думаешь о томъ, какъ быстро пройдена она, достигнутое кажется почти чудомъ.

Въ 1925 году въ Стокгольмѣ, по почину покойнаго архіепископа Седерблума, состоялся первый мировой экуменическій съѣздъ. Конечно, ему предшествовала большая подготовительная работа. Экуменическія встрѣчи, особенно миссіонерскія, происходили и раньше со времени войны и даже передъ самой войной. Но Стокгольмъ былъ первымъ экуменическимъ конгрессомъ, на кото-

ромъ присутствовали представители всѣхъ церквей и хоть сколько-нибудь значительныхъ христіанскихъ общинъ, кромѣ римской. Стокгольмскій съѣздъ, собравшійся въ юбилейную годовщину перваго вселенскаго (Никейскаго) собора (325), по замыслу устроителей долженъ былъ служить первымъ шагомъ въ дѣлѣ соединенія церквей. Такимъ образомъ онъ ставилъ себѣ по существу экуменическую, а не социальную задачу. Но для того, чтобы этотъ первый шагъ могъ быть сдѣланъ, устроители не могли найти лучшей конкретной темы, чѣмъ тема социальнаго служенія. Раздѣленные догматами и канонами, христіане могли прежде всего объединиться на общемъ дѣлѣ. Пслѣвоенная Европа, взволнованная и еще не вошедшая въ берега, требовала большой работы — умиротворенія, строительства, организации. Христіанской жертвенности было въ чемъ проявить себя. Такъ создалось широкое экуменическое движеніе социальнаго христіанства подъ именемъ «Жизни и дѣла», — короче «Стокгольмъ» со своимъ журналомъ, своимъ постояннымъ бюро, исследовательскимъ институтомъ въ Женевѣ. Наряду съ этой социальной вѣтвью экуменической работы выростали и другія. Черезъ два года послѣ Стокгольма былъ съѣздъ въ Лозаннѣ, посвященный догматическимъ вопросамъ, тоже оставившій послѣ себя постоянную организацию («Вѣра и строй»). Образовались и инныя вѣтви экуменическаго движенія: Миссіонерскій Совѣтъ, «Дружба народовъ черезъ церкви» и т. п. — Особенно дѣятельны юношескія организации, студенческія и об-

ція, возникшія еще въ прошломъ столѣтіи.

Судьбѣ угодно было, чтобы Стокгольмское движеніе («Жизнь и Дѣло») оказалось наиболѣе актуальнымъ. Изъ средства для экуменическаго сближенія, изъ удачно выбранной темы для общей мысли и работы, движеніе социальнаго христіанства приобрѣло, въ жестокихъ условіяхъ времени, самодовлѣющее значеніе. Какъ много измѣнилось за эти двѣнадцать лѣтъ, протекшихъ между Стокгольмомъ и Оксфордомъ — вторымъ всемірнымъ конгрессомъ социальнаго христіанства. Стокгольмъ былъ временемъ всеобщаго оптимизма, вѣры въ близкое и безболѣзненное разрѣшеніе всего узла послѣвоенныхъ проблемъ: время Бриана и Штресемана, Локкарно, пакта Келлога, братанія вчера враждовавшихъ народовъ. Соціальный вопросъ не вставалъ еще въ своей остротѣ въ эпоху послѣвоенной горячечной prosperity. Россія, съ кровавой революціей, казалась единственной раной на тѣлѣ Европы. Но Россія была далеко — да и въ Европѣ ли? Русская бѣда казалась наказаніемъ за чисто русскіе грѣхи, да и сама эволюція большевизма въ эпоху Напа дѣйствовала успокоительно. Двѣнадцать лѣтъ, — и вся картина измѣнилась. Экономическій кризисъ разразился и, углубляясь, принялъ структурную форму, обнаруживъ обреченность старой хозяйственной системы. Въ половинѣ европейскихъ странъ, на развалинахъ демократіи, установилась болѣе или менѣе тираническая диктатура. Разговоры о разоруженіи смѣнились всеобщимъ усиленнымъ вооруженіемъ. Въ раздѣленной на два военныхъ

лагеря Европѣ растутъ національные антагонизмы, зрѣетъ ненависть, — наконецъ, и война уже вспыхиваетъ то тамъ, то здѣсь на міровой картѣ — Китай, Абиссинія, Испанія — угрожая каждый день общимъ пожаромъ. Гитлеровская революція была рубежомъ двухъ эпохъ. Это былъ обвалъ не только молодой германской демократіи, это былъ обвалъ цѣлой культуры.

Соціальный вопросъ, или комплексъ вопросовъ, пересталъ быть однимъ изъ многихъ, онъ сталъ вопросомъ жизни и смерти. Измѣнилась и связь его, для христіанства, съ вопросомъ экуменическимъ. Теперь онъ уже не столько даетъ пищу для слабо разгорающагося экуменическаго движенія, сколько требуетъ отъ этого, нынѣ уже мощнаго движенія мобилизаціи всѣхъ силъ для своего собственнаго рѣшенія, т. е. для спасенія человечества отъ непосредственно угрожающей гибели.

2.

Отъ Стокгольма — къ Оксфорду. Рѣзкой переимѣнъ всей исторической обстановки соотвѣтствуетъ возросшая зрѣлость, содержательность и рѣшительность отвѣтовъ или формулировокъ. Въ Стокгольмѣ формулировались общія мѣста социальнаго христіанства; удареніе ставилось скорѣе на этической необходимости социальнаго служенія въ разнообразныхъ его формахъ. Въ Оксфордѣ — это конкретные отвѣты на трагическіе вопросы жизни. Дѣло идетъ уже не о социальномъ воспитаніи христіанъ, а о немедленномъ, организованномъ воздѣйствіи ихъ на міръ. Какъ,

въ какихъ направленияхъ, въ какихъ цѣляхъ, какими средствами? Ясно, что среди тысячи собравшихся христіанъ разныхъ странъ, разныхъ партій и общественныхъ положеній не могло быть полного единства въ этихъ отвѣтахъ.

Въ социальной жизни вбрующіе какъ и невбрующіе далеко расходятся во взглядахъ, нерѣдко вступаютъ въ борьбу между собою, оказываясь на разныхъ сторонахъ военныхъ и революціонныхъ фронтовъ. Трагическій примѣръ — Испанія. Невозможность общезначимаго отвѣта заставляетъ опасаться подмѣны подлинныхъ рѣшеній искусными формулами, прикрывающими пустоту содержанія блескомъ фразы, въ религиозной мысли особенно отвратительной. Многое заставляло отнестись скептически къ успѣху подобнаго съѣзда. Готовиться много дѣтъ собрать тысячу людей со всѣхъ материковъ для того, чтобы въ результатъ двухнедельныхъ дебатовъ отдѣлаться ничемъ не говорящими резолюціями, — это ли не катастрофа, могущая погубить все молодое социально-христіанское движеніе?

Этого не случилось. Резолюція или тезисы Оксфорда очень содержательны, очень конкретны и даже радикальны при всей своей ивнѣшней слержанности. Эти тезисы принимались единогласно. Это можетъ показаться невѣроятнымъ. Руководители конгресса, отвѣтственные редакторы комиссій, избрали слѣдующій путь. Они стремились всюду добиться наибольшей конкретности, содержательности, остроты. Но тамъ, гдѣ граница единодушія была достигнута и начинались разногласія, редак-

ція тезисовъ честно указываетъ ихъ. Такимъ образомъ четко опредѣляются границы единства христіанскаго общецерковнаго мнѣнія. Если это мнѣніе болѣе или менѣе точно отразилось въ Оксфордѣ, то приходится удивляться, какъ велика область этого единства, несмотря на серьезность разногласій. Въ этомъ самый отрядный итогъ Оксфорда.

Въ 1937 году конгрессъ сосредоточилъ несъ широкій кругъ социальныхъ проблемъ вокругъ одной, самой острой и болѣзненной для Церкви темы современности. Эта тема «Церковь и государство» (или, точнѣе, «Церковь, народъ и государство») опредѣлилась для мирового христіанства, конечно, опытомъ германскаго расизма. Для насъ, русскихъ, она поставлена давно; но едва ли есть страна христіанскаго міра, которая, въ той или иной степени, не чувствовала бы на себѣ его исторической тяжести. Вопросъ, конечно, не поный, вопросъ тысячелѣтній. Все западное средневѣковое истекло кровью въ борьбѣ за его рѣшеніе. Но свѣтское, тоталитарное государство есть совершенно новый фактъ въ исторіи міра. Этотъ фактъ связанъ съ проваломъ демократическаго гуманизма послѣдняго столѣтія и со всѣмъ сложнымъ комплексомъ современнаго духовно - социального кризиса. Было бы слишкомъ легко для христіанства ограничиться самообороной, обличать виновителей, предъявлять свое непререкаемое (хотя столь часто въ исторіи отрицаемое) право на свободу содѣян. Но это было бы лишнимъ воплемъ утопающаго, S. O. S. съ гибнущаго корабля въ океанѣ разбушевавшагося Левіаѳана. Ка-

кая, чедовѣческая рука можетъ остановить преслѣдованіе христіанъ въ Россіи, въ Германіи, въ столькихъ другихъ мѣстахъ? Да и христіанская совѣсть не мирится съ подобнымъ ограниченіемъ. Спасать нужно не страдающія христіанскія общины, а весь погибающій или угрожаемый міръ. Вотъ почему тема «Церковь и Государство», оставаясь центральной на съѣздѣ, была лишь точкой кристаллизаціи цѣлаго ряда социальныхъ и политическихъ проблемъ. О широтѣ этикъ темъ свидѣлствуютъ секціи, на которыя разбился съѣздъ, и выработанные ими доклады. Эти секціи слѣдующія: 1. Церковь и народъ; 2. Церковь и государство; 3. Церковь, народъ и государство въ ихъ отношеніяхъ къ экономическому строю; 4. Церковь, народъ и государство въ отношеніи къ воспитанію; 5. вселенская Церковь и міръ народовъ. Последняя секція (международныхъ отношеній) выдѣлила изъ себя подсекцію по самому ягучему и трудному вопросу — о войнѣ.

Каждая изъ секцій представила съѣзду обширный докладъ, въ видѣ тезисовъ, суммарно и единогласно принятыхъ съѣздомъ. Познакомимся ократѣ съ содержаніемъ важнѣйшихъ изъ нихъ.

Два общихъ предварительныхъ замѣчанія. Доклады всѣхъ секцій предворяются догматическими обоснованіями. Съ первыхъ же строкъ мы чувствуемъ, что передъ нами не резолюція политическаго или общественнаго собранія, но что политически звучащія формулы идутъ изъ совершенно иной глубины. Это лишь социальная проекція религіознаго опыта церкви. Потребность въ догматиче-

скомъ обоснованіи тезисовъ была велика—у всѣхъ членовъ конгресса. Но въ то же время эти обоснованія, несомнѣнно, его самое слабое мѣсто. При догматическомъ разномысліи и пестротѣ, господствовавшихъ въ Оксфордѣ, было, конечно, немислимо найти удовлетворяющія всѣхъ формулы. Приходилось ограничиваться догматическимъ минимумомъ, и этотъ минимумъ, естественно, оказывался звучащимъ по протестантски. Вліянія православныхъ и англиканъ было достаточно, чтобы устранить чисто протестантскія доктрины; но остался особый тонъ обще-христіанскихъ мѣстъ, который окрашиваетъ скорѣе проповѣдь пастора, чѣмъ священника. Замѣчательно, все же, что этотъ искомый минимумъ былъ все же догматическимъ. Одна секція нашла его въ ученіи о «суверенности» Бога, другая — въ догматѣ воплощенія. Часто этическое обоснованіе, даже въ терминахъ Нагорной проповѣди, сознавалось недостаточнымъ. Въ этомъ сказался догматизмъ нашего времени. Насколько упрощеніе было подходъ къ тѣмъ же самымъ проблемамъ у христіанъ XIX столѣтія!

Другой красной нитью, проходящей черезъ тезисы всѣхъ секцій, былъ призывъ къ покаянію — призывъ, обращенный не къ міру, не къ безбожникамъ, а къ самимъ себѣ, къ христіанамъ, къ Церкви. Всѣ почти доклады подчеркивали вину христіанъ и ихъ отвѣтственность за грѣховную и трагическую дѣйствительность. Духъ фарисейства и обвинительства какъ нельзя болѣе былъ чуждъ Оксфордскому собранію. Въ дальнѣйшемъ мы опустимъ

эти религиозныя и этическія предпосылки, ограничившись лишь социальными проекціями.

Докладъ III-ей, экономической, секція дала очень суровую критику современной хозяйственной системы и этическія предпосылки системы будущаго. Конгрессъ отказался отъ предрѣшенія техническихъ проблемъ (націонализація, денежная система и проч.), и въ этомъ смыслѣ не далъ никакой экономической программы. Но онъ далъ персоналистическія предпосылки для нея, исходя изъ оцѣнки положенія въ хозяйственномъ обществѣ человѣческой личности. Въ критикѣ капитализма въ наше время трудно быть оригинальнымъ. Однако конгрессъ въ умѣренной формѣ, но очень радикальной по существу отвергъ самыя основы современного общества. Онъ призналъ «препятствіями для социальной жизни»: 1. самое существованіе классовъ; 2. тѣ формы неравенства, которыя выражаются въ различіи «возможностей образованія, отдыха, гигиены, обстановки», обезпеченности труда; 3. «безответственную власть» лицъ и корпорацій въ экономической жизни. Присоединяя къ этому господствующій стимулъ наживы, конкуренціи и трудность осуществленія личнаго профессиональнаго призванія, мы получаемъ полностью социалистическую критику капитализма, но не съ классовой, а человѣческой точки зрѣнія. Слово социализмъ нигдѣ не упомянуто. Да въ наше время оно скорѣе плодитъ недоразумѣнія, чѣмъ содѣйствуетъ опредѣленности. И положительный строй рисуется тѣми же персоналистическими чертами: «Общество, старающееся преодолѣть

барьеры классовъ», социальное обезпеченіе слабыхъ, равенство образованія, возможность осуществлять личное призваніе. Безклассовое общество, постулируемое въ Оксфордѣ, есть, несомнѣнно, главное достиженіе современнаго социального христіанства. Это — черта, отдѣляющая опредѣленно Оксфордскую тенденцію отъ папскихъ энцикликъ, напр., и отъ традиціоннаго моральнаго богословія, учащаго о гармоніи классовъ.

Впрочемъ, Оксфордскіе тезисы проникнуты духомъ разумнаго реализма. Именно поэтому они отказываются предрѣшать конструкцію будущаго общества и предостерегаютъ отъ утопизма строителей земнаго рая. Характеренъ во всѣхъ отношеніяхъ §, осуждающій коммунизмъ — не какъ социальную систему, а какъ выраженіе материалистическаго и утопическаго міровоззрѣнія. Въ виду особаго интереса этого доклада, приведу его цѣликомъ:

«Несправедливости существующаго экономического строя вызвали къ жизни политическія движенія, напр., коммунизмъ, которыя приняли въ нѣкоторыхъ странахъ чисто антирелигіозный характеръ. Предъ лицомъ проблемъ, поставленныхъ современнымъ экономическимъ строемъ, и позиціей этихъ движеній, которыя являются отвѣтомъ на нихъ, Церковь должна изучать эти движенія въ духѣ лояльной и строгой критики, въ свѣтѣ Слова Божія. Христіане признаютъ со скорбью, что ихъ слѣпота и неспособность разобратъ въ неправдѣ современнаго положенія въ значительной степени повинны во рвѣ, вырваномъ между Церковью и револю-

ционными движениями, целью которых является социальная справедливость. Церкви не будет думать, что нападение на нее есть нападение на Бога. Какъ заявляли многие выдающиеся дѣятели Церкви за послѣдніе годы, требованія, выставленныя этими движениями въ интересахъ справедливаго социального и экономическаго строя, имѣютъ общіе пункты съ Евангеліемъ. Однако Церковь должна отвергнуть ихъ утопическую и материалистическую форму. Судьба массъ, отторгнутыхъ отъ вліянія христіанства, является въ настоящее время для Церкви предметомъ самыхъ мучительныхъ заботъ.

Какъ видимъ, моментъ церковнаго покаянія явно преобладаетъ здѣсь надъ моментомъ осужденія.

Опуская подробный, конечно, тоже важный докладъ, педагогической секціи, переходимъ къ основной и тѣсно связанной группѣ тезисовъ, посвященныхъ современному государству.

Спеціальное выдѣленіе вопроса о націи, конечно, объясняется постановкой его въ германскомъ раѣсизмѣ. Интересно, что въ англійскомъ языкѣ не нашлось и слова, точно передающаго нѣмецкое Volk (народъ), который поэтому сопровождается въ скобкахъ блѣдное англійское community. Для насъ имѣетъ особое значеніе тотъ фактъ, что создаваемая «нѣмецкими христіанами» богословскія теорія кое въ чемъ позитивно переключаются съ русскимъ славянофильствомъ и мессіаниззмомъ. Неудивительно, что Оксфордская отвѣдь имѣ мѣстами напоминаетъ Владиміра Соловьева. Съ большою силой под-

черкивается положительное значеніе многообразія національныхъ и расовыхъ характеровъ, въ которыхъ заложено различіе призваній. Любовь къ своему народу и служеніе ему является долгомъ и отдѣльнаго христіанина и Церкви. Но это служеніе не есть служеніе интересамъ націи: это «чистая проповѣдь Евангелія» въ предѣлахъ національныхъ обществъ. «Всякая форма національнаго эгоизма, приводящая къ угнетенію другихъ народовъ и меньшинствъ или даже къ недостатку уваженія къ ихъ дарамъ, есть грѣхъ и возмущеніе противъ Бога, какъ Творца и Господа всѣхъ народовъ». Равно грѣховно «собожествленіе собственнаго народа» или признаніе за нимъ особаго «спасительнаго откровенія» (мессіаниззмъ).

Анти-еврейская постановка расоваго вопроса въ Германіи вызвала необходимость особой декларациі конгресса объ антисемитизмѣ. Но многіе расовые параграфы доклада имѣютъ въ виду цвѣтныхъ христіанъ и доложеніе христіанскихъ общинъ въ Америкѣ и Африкѣ, вооружаясь, напр., противъ внесенія въ богослужебную жизнь какихъ-либо различій по расѣ и цвѣту кожи (особые храмы для негровъ).

Тезисы о государствѣ составлены съ сугубой осторожностью. Приняты во вниманіе, какъ вселенскій, такъ и помѣстный характеръ христіанскихъ церквей, — послѣдній, обязывающій къ лояльности по отношенію къ народамъ и государствамъ. Государство объявляется богоустановленнымъ учрежденіемъ, хотя и способнымъ, по грѣховности человѣческой природы, само становиться «орудіемъ

зла: у Церкви и Государства разныя сферы, но есть и общее поле экономической, культурной и др. работы, гдѣ эти сферы скрещиваются. Государство, имѣющее «высшій авторитетъ» въ своей области, не является однако «высшимъ источникомъ закона, но скорѣе его гарантомъ, служителемъ, а не господиномъ справедливости». Псалмдній авторитетъ для христіанъ — воля Божья. Въ силу этого государство не является носителемъ истиннаго суверенитета. Обязанности христіанъ по отношенію къ государству заключаются не только въ повиновеніи ему и молитвѣ за него, но и въ критикѣ его, поскольку оно уклоняется отъ справедливости, опредѣленной Словомъ Божиимъ, и даже въ неповиновеніи государственному приказу. Вместе съ тѣмъ «проникновеніе во все законодательство и управленіе принциповъ, согласныхъ съ достоинствомъ человека, какъ образа Божія», является также долгомъ христіанъ и Церкви. Необходимая свобода Церкви включаетъ и свободу воспитанія и свободу исповѣданія для меньшинствъ, даже враждебныхъ господствующей національной церкви, и «свободу, для всѣхъ гражданъ, тѣхъ возможностей, которыя обезпечиваютъ осуществленіе непосредственно религиозныхъ цѣлей».

Государство, связанное внутри закономъ справедливости, во внѣ связано тѣмъ же закономъ по отношенію къ семьѣ народовъ или государствъ. «Безусловный суверенитетъ націй есть зло». Международнй лорядокъ составляетъ предметъ особаго попеченія Церкви, какъ вселенскаго цѣлаго. Церковь поддерживаетъ всѣ учрежде-

нія, направленныя къ поддержанію мира и справедливости между народами (особо оговаривается значеніе Лиги Націй при всѣхъ ея несовершенствахъ). Работа въ пользу моральнаго разоруженія и экуменическаго «воспитанія», конечно, есть первый церковный долгъ въ этой области.

Когда всѣ усилія людей доброй воли оказались тщетными, и разразилась война, каково должно быть поведеніе христіанна? Таковъ былъ самый мучительный вопросъ для собравшихся въ Оксфордѣ, какъ и для всѣхъ насъ, живущихъ все время подъ знакомъ войны. Въ осужденіи войны конгрессъ былъ единодушенъ. Не было допущено никакихъ извиненій или смягченій, никакихъ романтическихъ иллюзій, которыми еще недавно старались спасти фасадъ войны даже въ христіанскихъ кругахъ. «Война предполагаетъ принудительную вражду, дьявольское надругательство надъ человѣческой личностью и безграничное искаженіе истины. Война представляетъ особенное выраженіе власти грѣха въ этомъ мірѣ, вызовъ правдѣ Божіей, окрovenной въ Иисусѣ Христѣ Распятомъ. Никакое оправданіе войны не смѣетъ скрывать или уменьшать значенія этого факта».

Единодушные въ осужденіи войны, оксфордскіе богословы разошлись между собою, въ опредѣленіи поведенія предъ лицомъ войны. Удивляться этому не приходится. Будь это иначе, мы могли бы заподозрить ихъ въ легкомысленномъ и словесномъ прикрытіи трагической проблемы. Докладъ подсекии указываетъ на три теченія внутри конгресса, не упоминая о численномъ ихъ соот-

ношеніи. Во-первыхъ, чистые пацифисты, которые при всѣхъ условіяхъ отказываются принимать участіе въ войнѣ. Во-вторыхъ, условные пацифисты, участвующие въ «справедливой войнѣ». Эта оправданность войны для однихъ опредѣляется международнымъ закономъ, для другихъ оборонительными и освободительными цѣлями войны: «защита жертвъ дерзкаго нападенія или обезпеченіе свободы угнетеннымъ». Третьи, пессимисты, считаютъ войну неустранимой, и участвуютъ въ ней, повинаясь приказу государственной власти. Но даже и эта группа дѣлаетъ исключеніе для тѣхъ случаевъ, гдѣ «существуетъ абсолютная увѣренность, что отечество сражается за неправо дѣло (напр., въ случаѣ неоправданной завоевательной войны)»; тогда отказъ гражданъ отъ войны будетъ являться законнымъ. Нѣкоторые изъ пріемлющихъ войну идутъ дальше, и готовы видѣть въ отказѣ отъ военной службы отдѣльных лицъ «особое призваніе отъ Бога, обращающее вниманіе на извращенную природу міра, гдѣ возможны войны».

Религиозно чрезвычайно значителенъ и духовно безупреченъ призывъ молиться за враговъ во время войны. «Во время войны, какъ и во время мира, Церковь должна молиться не только за тотъ народъ, въ которомъ Богъ поставилъ ее, но и за враговъ этого народа». Сообразуясь съ указаніемъ молитвы Господней, христіане «не будутъ молиться противъ другъ друга». Проведеніе этого требованія въ жизни означало бы цѣлую духовную революцію.

Вспоминая наши собственныя

иррациональныя колебанія въ 1914 году, легко замѣтить, что отношеніе къ войнѣ современными христіанъ очень напоминаетъ отношеніе тогдашнихъ социалстовъ. Какой огромный и тяжелый опытъ долженъ былъ быть пройденъ за эти 23 года, чтобы сдѣлать это сходство возможнымъ! Съ увѣренностью можно сказать, что тогда нельзя было найти официальныхъ представителей перживей, которые стояли бы на точкѣ зрѣнія даже самыхъ увѣренныхъ пацифистовъ Оксфорда. Въ 1914 г. было простительно раздѣлять иллюзію, что война приведетъ къ установленію болѣе справедливыхъ отношеній между народами. Сейчасъ для всѣхъ становится яснымъ, что война — всеобщая, «экуменическая» война — можетъ закончиться только уничтоженіемъ цивилизаціи.

3.

Перечитывая оксфордскіе тезисы, прежде всего спрашиваешь себя: каковы ихъ удѣльный вѣсъ? Въ какой мѣрѣ люди, собравшіеся въ Оксфордѣ, представляютъ духовное состояніе современнаго христіанскаго міра, и какое значеніе ихъ идеи, ихъ воля могутъ имѣть въ хаосѣ катастрофическихъ событій?

Здѣсь мы должны тщательно остерегаться всяческихъ иллюзій. Слишкомъ пылкія надежды сулить жестокаго разочарованія. Уже и сейчасъ какой-нибудь скептикъ, читая эти превосходныя декларации, можетъ усмѣхнуться про себя: «*trou beau pour être vrai*». Но и скептицизмъ такъ же вреденъ, какъ и слѣпая довѣрчивость.

Сначала о представительствѣ. Полноправные делегаты представляли въ общемъ довольно большое число хр. церквей и общинъ. Но многія изъ этихъ общинъ, особенно американскихъ, имѣютъ весьма скромные размѣры. Изъ крупныхъ національныхъ церквей нужно прежде всего отмѣтить англиканскую церковь, которая является не только государственной церковью Англии, но и широко распространеннымъ исповѣданіемъ по всему англо-саксонскому міру. За нею слѣдуетъ протестантскія церкви Швейцаріи, Голландіи, Швейцаріи и другихъ странъ и православныя церкви на Балканахъ.

О православномъ представительствѣ скажемъ особо. Въ общемъ, подавляющее большинство делегатовъ принадлежало протестантскому міру. Даже если не включать въ него цѣликомъ англиканства, съ его вліятельными каволическими теченіями. Около половины делегатовъ прислала Америка, которая въ значительной мѣрѣ и опредѣлила оптимистическій и волевой характеръ конгресса. Оксфордъ желалъ бы быть съѣздомъ подлинно экуменическимъ — вселенскимъ. Это ему не удалось — конечно, не по его винѣ. Обратимъ вниманіе на отсутствующихъ. Объ одномъ изъ нихъ мы уже упоминали. Римская церковь принципиально отказывается принимать участіе въ какихъ-либо собраніяхъ съ иновѣрцами, создавая свои параллельныя, униональное и социальное, движенія. Для нея христіанское единство рождается не въ соборованіи, а въ повинновеніи верховному первосвященнику, а пути социальнаго служенія указываются его эн-

цикликами. Это печальный фактъ, и фактъ неустрашимый. Вторымъ отсутствующимъ, о которомъ много говорилось на съѣздѣ, съ сочувствіемъ и сожалѣніемъ, была германская лютеранская церковь, делегаты которой не получили отъ правительства паспортовъ въ самый послѣдній моментъ. Какъ разъ накануне Оксфордскаго конгресса Гитлеръ арестовалъ популярнаго пастора Нимейера и рядъ другихъ церковныхъ дѣятелей. Отсутствующая германская церковь все время стояла предъ лицомъ конгресса въ нимбѣ исповѣдничества, вдохновляя его резолюціи; мы видѣли, что она опредѣлила самую тему конгресса. Третьимъ великимъ отсутствующимъ, о которомъ, къ сожалѣнію, мы не слышали ничего, кроме холодной официальной резолюціи послѣдняго дня, была Русская церковь. Для русскихъ делегатовъ это умолчаніе о Россіи было горько. Конечно, кровавыя страданія русскихъ христіанъ безмѣрно превышаютъ тяжесть испытаній христіанской Германіи. Но къ нимъ привыкли (20 лѣтъ!), къ нимъ подходятъ съ другими мѣрками, да христіанская Россія никогда и не была участницей экуменическаго движенія; ея отсутствіе не такъ, потому, и замѣтно. Наша горечь усугублялась еще одной мыслью. Съ какимъ правомъ представители другихъ христіанскихъ церквей могли бы возвысить свой голосъ противъ гоненій на русскую церковь, глава которой торжественно отрицаетъ самый фактъ гоненій. Русская дѣйствительность и такъ трудно доступна для пониманія иностранцевъ.

Эти отсутствующіе вмѣстѣ со-

ставляют большинство христианского мира. Их отсутствие и дѣлаетъ экуменическое движеніе, если не по идеѣ, то въ дѣйствительности, движеніемъ прежде всего протестантскимъ. Позволительно спросить себя, насколько участіе другой, отсутствующей, половины измѣнило бы характеръ съѣзда и содержаніе его рѣшеній.

Германія прислала бы представителей «исповѣднической» церкви, которые горячо поддерживали бы ими же вдохновленные тезисы Оксфорда. Но вмѣстѣ съ ними пріѣхали бы «нѣмецкіе христиане» и то центральное «болото», которое всегда ищетъ компромисса и приспосабливается къ требованіямъ власти. Мы знаемъ, что «исповѣдническая» церковь представляетъ лишь меньшинство самыхъ стойкихъ и вѣрныхъ христианъ среди протестантовъ Германіи. Расистское движеніе имѣетъ много приверженцевъ среди пасторовъ и теологовъ, какъ и вообще среди нѣмецкой интеллигенціи. Опора на государственную власть, богоустановленность которой такъ сильно подчеркивалъ Лютеръ, составляла всегда отличительную черту нѣмецкаго протестантизма. Новый воинствующій націонализмъ вызвалъ къ жизни богословскія теоріи германскаго мессіанства, кое въ чемъ созвучныя русскому славянофильству, но этически очень отличныя отъ него. Словомъ, безъ полицейской предусмотрительности Гитлера, къ Оксфордъ появилась бы небольшая числомъ, но сильная качествомъ оппозиція, защищающая идеи христианскаго націонализма.

О настроеніи отсутствующей Римской церкви извѣстно по папскимъ энцикликамъ: *Quadragesi-*

mo anno, противъ коммунизма, національ - социализма и др. Въ сущности, ихъ содержаніе не отличается сильно отъ оксфордскихъ тенденцій, хотя конечно, имѣетъ не столь радикальный характеръ. Римская церковь въ наши дни сознательно перестала быть опорой стараго порядка (или безпорядка). Она прекрасно отдаетъ себѣ отчетъ въ смыслѣ и направленіи: социальной революціи нашей эпохи. Но она желаетъ сохранить позицію центра — не неподвижнаго, но медленно двигающагося, — сохраняя до поры до времени позицію примирительницы между борющимися классами и народами, — съ тѣмъ, чтобы въ послѣдній моментъ, безъ труда и противорѣчій съ собой, благословить побѣдителя. Въ социальной борьбѣ нашихъ дней протестанты выступаютъ борцами, нерѣдко революционерами, католики скорѣе дипломатами, но участниками того же общаго дѣла. Оксфордъ и Ватиканъ — въ одной и той же линіи историческаго движенія, хотя Ватиканъ надежный союзникъ въ повседневной борьбѣ. Его широкія и благородныя энциклики, обращенныя ко всему католическому миру, не мѣшаютъ терпѣть или вести реакціонную или фашистскую политику въ отдѣльных странахъ: въ Испаніи, въ Австріи и, конечно, въ Италіи. Зато, на католическую совѣсть міра слова римскаго первосвященника ложатся болѣе вѣско, чѣмъ націоналистическія выходки итальянскихъ или испанскихъ епископовъ.

Наконецъ, Россія и православіе. Ибо, среди православныхъ отсутствовала не одна Россія. Ихъ представительство вообще было чрез-

вычайно слабымъ. Тридцать делегатовъ не соответствуютъ даже численному значенію балканскаго христіанства. Правда, среди этихъ делегатовъ были ответственные представители національныхъ церквей, высокіе іерархи, и даже главы помѣстныхъ церквей. Экзархъ вселенскаго патріарха, митрополитъ Германосъ, занималъ постоянное мѣсто въ президіумѣ. Но православное представительство носило слишкомъ официальный характеръ. По признанію авторитетныхъ дѣятелей балканскаго экуменическаго движенія, за ними не стоитъ церковнаго народа. Широкая масса вѣрующихъ не имѣютъ никакого понятія о томъ, что происходитъ на міроныхъ сѣздахъ. Главы церквей считаютъ своимъ долгомъ поддерживать экуменическую инициативу. Это уже очень много. Но, конечно, это не даетъ никакихъ оснований предполагать съ ихъ стороны, — ихъ и ихъ паствы, полного сочувствія принявшимся резолюціямъ. Многие православные іерархи въ Оксфордѣ пріѣхали поздно (другіе изъ обѣщанныхъ не явились вовсе), въ выработкѣ тезисовъ участія не принимали. Лишь небольшая группа профессоровъ, изъ которыхъ особо сѣдуетъ упомянуть болгарскаго дѣятеля, извѣстнаго прот. Панкова и парижскихъ русскихъ богослововъ во главѣ съ прот. Булгаковымъ, принимали дѣятельное участіе въ сѣдѣяхъ. Самое большее, что можно сказать о православной делегации, это то, что она не возражала, не нарушивъ единогласія въ голосованіи. Этими самымъ она, конечно, взяла на себя моральную ответственность, но эта ответственность ни въ какой мѣ-

рѣ не является ответственностью національныхъ церквей. Ибо, согласно уставу экуменическихъ сѣздовъ, ихъ резолюціи не связываютъ никого изъ участниковъ. Говоря точно, это не резолюціи, а тезисы. Они предлагаются всѣмъ церквямъ для внимательнаго изученія, а не для руководства къ дѣйствию. Только этимъ и объясняется возможность единогласія въ голосованіяхъ. Если въ однихъ случаяхъ, напр., для большинства протестантскаго міра, они дѣйствительно соответствуютъ среднему или общему состоянію христіанскаго общественнаго мнѣнія, то въ другихъ этого соответствія можетъ не быть. Его несомнѣнно имѣть въ большинствѣ православныхъ странъ, гдѣ социальныя проблемы стали передъ церковнымъ сознаніемъ слишкомъ недавно, гдѣ массы слишкомъ мало культурны, гдѣ историческая традиція слишкомъ тѣсно связала національныя іерархи съ судьбой отдѣльныхъ государствъ и националистическимъ движеніемъ. Соціальная идея глубоко и органически присуща духу православія. Ея раскрытіе хотя бы въ русской религіозной мысли даетъ основаніе для многихъ надеждъ. Но въ настоящемъ дѣйствительность не очень радуетъ. Въ котлѣ шовинистическихъ и классовыхъ ненавистей, который представляетъ собою восточная Европа — географическая территория православія — фашизмъ разныхъ типовъ и наименованій можетъ долго еще питаться религіозными вѣртіями православныхъ народовъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь все въ борьбѣ, въ неопредѣленности. Въ настоящемъ, на Востоку лучше не возлагать соци-

альных и политических надежд.

Въ итогѣ, оксфордскія тенденци довольно точно отражаютъ настроеніе протестантскаго міра и менѣе точно, но безъ прямыхъ искаженій, — міра католическаго. Лучше всего онѣ соответствуютъ духу и активности англо-саксонскаго христіанства. Географически, съ точки зрѣнія Европы (Рима) это Западъ и Сѣверъ, политически это страны старой демократіи, ея родина, гдѣ она имѣла и имѣетъ религиозное освященіе, гдѣ она не собирается умирать. Римская церковь, при всей универсальности своей, главнымъ образомъ опирается на народы центральной Европы, съ ихъ очень различными, мѣняющимися политическими режимами. Удѣлъ православія — Восточная Европа, нынѣ преимущественно страна диктатуръ.

Эти политико-географическія соображенія помогаютъ отчасти отвѣтить на послѣдній и самый важный вопросъ: о непосредственномъ историческомъ значеніи и дѣйствительности оксфордскихъ постановленій. Наибольшую дѣйственность они, безусловно, имѣютъ въ странахъ англо-саксонскаго міра, въ странахъ мощныхъ демократій. Это какъ разъ тѣ страны, гдѣ влияние христіанства на политическую и общественную жизнь еще не исчезло, гдѣ религиозная концепція міра, несмотря на вѣка секуляризаціи, еще вдохновляетъ политика-реформатора (Рузвельтъ, Макдональдъ). И это какъ разъ тѣ страны, отъ социальной энергіи и доброй воли которыхъ сейчасъ зависятъ судьбы міра. Восточная Европа обвали-

лась первой, и съ Востока на Западъ, какъ лѣсной пожаръ, распространяется отомъ разрушенія. Центральная Европа сейчасъ представляетъ неустойчивую арену борьбы противоположныхъ силъ. Предоставленная сама себѣ, она явно обречена гибели. Сейчасъ послѣднія надежды — на Западъ, на христіанскій Западъ. Если Америка справится съ труднѣйшей проблемой социальной реконструкціи, если Англія выйдетъ изъ своего, уже не величаваго, покоя и постарается догнать упущенное не въ безнадежномъ охраненіи, а въ творческой работѣ, тогда не все потеряно. Новыя формы жизни, созданныя на Западѣ, подобно новымъ техническимъ изобретеніямъ, или новымъ лозунгамъ, на которыя такъ надко измученное человечество, могутъ произзвать своимъ лучеспусканіемъ весь міръ. Была же красная Москва въ теченіе столькихъ лѣтъ прizrачнымъ маякомъ для стараго міра, тоскующаго о чудѣ избавленія и готоваго принять отовсюду протянутую руку. Съ Востока шли лучи смерти. Теперь это стало ясно для всѣхъ. Жизнь, настоящая человѣческая, теплая жизнь сохраняется на Западѣ, гдѣ не зашло еще на культурномъ и общественномъ небѣ солнце христіанства. Говоря языкомъ политикъ, совершенно трезвымъ и нѣсколько циничнымъ, на Западѣ сейчасъ христіанскій интернационалъ сильнѣе рабочаго и всякихъ иныхъ. Но влияние его, какъ всякой религиозной силы, не поддается точному учету, не выщелается въ формы никакихъ организацій. Оно разливается въ воздухъ, которымъ дышитъ всякій, который составляетъ невѣсомую и не-

уловимую атмосферу духовно-национальной жизни.

Конечно, въ наши дни христіанство — религія меньшинства. Такой она является по существу и въ англо-саксонскомъ мірѣ. Но меньшинствомъ оно было и во дни Константина, когда побѣдило Римскую Имперію. Весь вопросъ въ томъ, каково его качество, какова сила его вѣры. Исторія міра не разъ переживала глубочайшіе перевороты и движенія, вызванныя активнымъ религіознымъ меньшинствомъ. Сейчасъ дѣло идетъ о чемъ-то болѣе трудномъ, чѣмъ завоеваніе Гроба Господня или низверженіе Стюартовъ. Дѣло идетъ не о взрывчатомъ, фа-

натическомъ, революціонномъ разрядѣ, скорѣе разрушительномъ, чѣмъ созидательномъ. Намъ нужно планомѣрное и организованное усиліе нѣсколькихъ поколѣній миллионовъ работниковъ объединенныхъ общей вѣрой и дисциплиной. Можетъ ли дать ихъ сейчасъ христіанскій міръ? Прямого отвѣта быть не можетъ. Но тѣ огромныя энергіи, которыя пробуждаются къ жизни въ экуменическомъ и социальномъ христіанскомъ движеніи, даютъ основанія для надежды. Во всякомъ случаѣ это послѣдняя надежда стараго, «европейскаго» человечества.

Г. Федотовъ.

На службѣ Россіи

(*Alexandre Istvolsky. Au service de la Russie. Correspondance Diplomatique. 1906-1911. Tome I. Paris, 1937. Edit. Internationales.*)

Этому сборнику личной секретной переписки министра Иностр. Дѣлъ А. П. Извольскаго съ русскими посланцами въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Парижѣ и Лондонѣ (съ графомъ Остенъ-Сакеномъ, княземъ Урусовымъ, Н. В. Муравьевымъ, А. Нелидовымъ и графомъ Бенкендорфомъ) можно было бы дать подзаголовокъ: Европа на пути къ великой войнѣ.

Нужно сразу оговориться. При всемъ своемъ захватывающемъ интересѣ, «На службѣ Россіи» книга не для большой публики и, къ сожалѣнію, не для послѣвоенныхъ поколѣній. Письма министра и посланца являются какъ

бы подстрочникомъ, ключемъ къ дипломатическимъ нотамъ, декларациямъ и встрѣчамъ того времени. Ихъ нужно знать, помнить или изучать, для того чтобы оцѣнить, какое значеніе имѣетъ публикуемая переписка для пониманія далекой уже, но воистину судьбоносной эпохи, для опредѣленія доли участія правительствъ отдельныхъ великихъ державъ въ совместной подготовкѣ общей катастрофы; для оцѣнки роли отдельныхъ государей и государственныхъ дѣятелей въ качествѣ «организаторовъ мира» или «свисточниковъ войны». Правда, сборнику переписки А. П. Извольскаго предпослано толковое введеніе профессора Института Международныхъ Наукъ въ Парижѣ Г. Г. Шклявера, но этотъ краткій очеркъ дипломатической дѣятельности А. П. Извольскаго далеко конечно не

захватываетъ всего круга затрагиваемыхъ въ перепискѣ международныхъ событій.

Часто говорятъ: «Дипломату данъ языкъ, чтобы скрывать свои мысли». Демагогически извращая ч. наввно преувеличивая «тайну» дипломатической работы, общественное мнѣніе, въ особенности лѣвое, часто изображало дипломатовъ «империалистическихъ» великихъ державъ какой-то международной Маффіей заговорщиковъ, жаждавшихъ, для наживы разнаго рода Крупновъ, Шнейдеровъ, Шкодовъ, Виккерсовъ и т. д., «бойни народовъ». Изъ этого представленія во время великой войны совершенно послѣдовательно вышло требование — «долгой тайную дипломатію»... Однако, уже послѣ войны, явняя на площади дипломатія Лиги Наций показала, что сама природа международныхъ дипломатическихъ отношеній требуетъ чрезвычайно осторожнаго и бережнаго подхода, строго предопредѣляя долгую кабинетную, тайную, часто съ глаза на глазъ подготовку всякаго серьезнаго дипломатическаго акта. Самое существованіе разныхъ борющихся между собою національно-государственныхъ интересовъ такъ же требуетъ особаго метода дипломатической работы, какъ и особые приемы работы имѣютъ генеральные штабы армій. Въдѣ дипломатическая служба это органъ государственной обороны (а иногда и наступленія) мирнаго времени. Перефразируя Клаузевица, можно сказать, что дипломаты продолжаютъ работу военнначальниковъ, когда пушки молчатъ. И основное условіе успѣха у военнаго вождя и у дипломата одно и то же: соответствіе по-

ставленной вѣшней задачи внутреннимъ возможностямъ государства. Однако, въ государственной іерархіи дипломатъ стоить, или во всякомъ случаѣ долженъ стоять, выше воина, ибо армія только послѣднее средство дипломатической борьбы, котораго даже самая «империалистическія» правительства избѣгаютъ, и къ которому прибѣгаютъ только по крайней нуждѣ. (Это положеніе можетъ бтъ спорнымъ только въ идеократическихъ государствахъ).

И все-таки войны случаются. Случаются и «смалыя», такъ сказать, обиходныя, и «послѣднія», — великіе катаклизмы, войны-революціи, переламывающія судьбы народовъ, цѣлыхъ устоявшихся и застоявшихся социальныхъ міровъ.

Почему? Отчего? Какъ? Здѣсь не мѣсто останавливаться на этомъ. Философія и психологія войны — тема особая. Одно можно только утверждать навѣрное: «послѣднія», кладущія рубежи цѣлымъ эпохамъ войны, возникаютъ внѣ воли человѣческой, а часто и наперекоръ намѣреніямъ отдѣльныхъ правительствъ, и тѣмъ болѣе народовъ.

Для доказательства этого положенія переписка А. П. Извольскаго даетъ превосходный и первоклассный матерьялъ. Именно потому, что это переписка министра со всѣми (кромѣ Зиновьева въ Константинополѣ) русскими посланцами въ Европѣ — тайная, строго личная, въ ней нѣтъ «языка скрывающаго истину», а напротивъ, въ ней раскрывается истинный смыслъ русской дипломатической работы того времени, и дается по существу оцѣнка общаго международнаго положенія,

могивовъ дѣйствія того или иного иностраннаго правительства, настроенія того или иного парламента, психологій и взглядовъ того или иного монарха или министра. И мы ощущаемъ весь этотъ воздухъ, или, какъ теперь говорятъ, «климатъ» мирной, провѣтающей Европы предвоенныхъ лѣтъ, гдѣ идетъ такое напряженное соревнованіе равнозаконныхъ, но разныхъ государственныхъ интересовъ, гдѣ буйный ростъ прогрессу все время толкаетъ всѣ парламенты и правительства расширять сферу «экономическаго вліянія», гдѣ малѣйшая слабость и промашка одного партнера сейчасъ же превращается въ выигрышичъ другого, болѣе сильнаго или удачнаго.

Мы чувствуемъ, какъ въ этой Европѣ дипломатъ, подобно военнопачальнику на фронтѣ, долженъ быть всегда на чеку, долженъ заранѣе черезъ своихъ вѣрныхъ людей, свѣтскихъ осведомителей, платныхъ агентовъ (настоящая дипломатическая развѣдка) загодя узнавать намѣренія сосѣда, во время раскрывать настоящий смыслъ съ виду совсѣмъ невинныхъ предложеній. И очень часто только «тайная» дипломатической подготовительной работы предотвращаетъ рискъ войны.

Въ теченіе многихъ лѣтъ, пока не созрѣли времена, дипломатамъ удавалось уравнивать естественныя противорѣчія интересовъ великихъ державъ соответствующимъ сложениемъ международныхъ силъ. И сейчасъ, какъ всѣ это уже видятъ, Лига Націй ничего въ существѣ и методахъ дипломатической работы не измѣнила.

Перелиска А. П. Извольскаго (въ особенности съ посломъ въ Лондонѣ) съ очевидностью раскрываетъ передъ нами мѣсто, гдѣ была «невралгическая точка» въ организмѣ предвоенной Европы — англо-германскія отношенія.

Вообще по перепискѣ можно точно нащупать три узла во взаимоотношеніяхъ великихъ державъ: австро - русскій (на Балканахъ), франко - германскій (по формѣ колониальный, по существу альзасъ - лотарингскій), германо-англійскій (морская гегемонія). Послѣ японской побѣды надъ Россіей, франко - русскій союзъ утерять свой прежній смыслъ. Россія должна была перестроиться или въ Германіи (Бьерке), или въ Англии. Для Франціи выбора не было — Англія изъ наслѣдственнаго врага становится опорнымъ союзникомъ. Англія Эдуарда VII-го, Грея и лорда Холдена, одна имѣетъ совершенную свободу рукъ въ выборѣ союзниковъ и попутчиковъ. Исторія Европы была бы иной, если бы Россія Николая II-го, Столыпина и Извольскаго поддержала послѣднюю попытку Берлина возстановить «консервативный» союзъ трехъ императоровъ. По свидѣтельству самого Извольскаго и посла въ Берлинѣ Остенъ-Сакена, только англо-русскіе переговоры (приготовившіе блестящее соглашеніе 1907-го года) привели Вильгельма II-го въ бѣшенство. И переписка русскихъ дипломатовъ въ полной мѣрѣ подтверждаетъ основное, проявленное въ перепискѣ Вильгельма и князя Бюлова настроеніе тогдашней правящей Германіи: страхъ передъ Англійей, манія видѣть вступоу коварную руку короля Эдуарда VII-го,

«изолирующего» Германию. По целому ряду причин, национально-государственных и, что еще важнее, общественно - психологических, императорская Россия должна была, не без борьбы в сферах, выбрать английскую ориентацию. А. П. Извольский и Бенкендорф видели в этом решительном повороте на Англию средство продлить эпоху мира на время перевооружения России и ее преобразования в державу конституционную и умеренно - либеральную.

Отмечу кстати, что русские дипломаты «профессионалы» гораздо лучше понимали совершенную потребность мира для России, чьмъ наша либерально - консервативная общественность, столь несвоевременно въ 3-ей и 4-ой Государственных Думах увлекшаяся «новымъ славянофильствомъ» и «крестомъ на Св. Софiи».

Что касается Константинополя, писалъ значительно позже А. П. Извольский, то я всегда придерживался точки зрѣнія тѣхъ русскихъ государственныхъ дѣятелей, которые полагали, что обладанiе этимъ городомъ было бы опасностью для Россiи. «Россiя никогда не переварила бы (digéré) Константинополя, если бы даже его захватила» добавлялъ онъ въ разговорахъ.

Внутренняя слабость Россiи въ годы назрѣвающаго передѣла сферъ влiянiй между великими державными дѣлала для нея еще невозможной самостоятельную внѣшнюю политику, о которой уже давно мечталъ съ гениальной прозорливостью С. Ю. Витте, и предопредѣлила ея ориентацию на Англию. И опять-таки, исторiя Европы пошла бы по другому рус-

лу, если бы долги и настойчивыя попытки Англии сговориться съ Германией объ ограниченiи морскихъ вооруженiй и границахъ проникновенiя германскаго влiянiя въ Турciю на путяхъ къ Персидскому заливу и къ Индiи увѣнчались успѣхомъ (что было одно время не совсемъ невѣроятно). Кстати, сейчасъ, въ приближительно-подобныхъ условiяхъ Муссолини долженъ доказать, обладаетъ ли онъ «латинской мѣрой вещей» и гениальной дипломатической интуицiей, которой не оказалось въ тѣ предвоенные годы у Вильгельма II-го и Бюлова, людей далеко не заурядныхъ и отнюдь не жаждавшихъ войны «во что бы то ни стало».

Упомянувъ о Муссолини, нельзя не отмѣтить разсужденiй въ письмахъ къ Извольскому посла въ Римѣ Н. В. Муравьева объ итальянской внѣшней политикѣ. Востину, вотъ уже гдѣ «въ новизнѣ» дуче такъ ясно слышится «старина» Титтони и Джюлиитти, а отъ нихъ рукой подать до Криспи.

«Претензiя» на великодержавность — (вызывавшая иронiю у Н. В. Муравьева), балансированiе между Берлиномъ съ Вѣной и Лондономъ съ Парижемъ на поискахъ своего мѣста подъ солнцемъ — какую старую, почвенную традицiю проводитъ въ своей международной политикѣ «новый Цезарь», и въ этомъ его сила. Между Титтони и Муссолини такая же прямая связь, какъ между Грѣемъ и Иденомъ. И тамъ и здѣсь мѣняются партнеры, — цѣли дипломатической игры остаются тѣ же.

Письма изъ Лондона графа Бенкендорфа раскрываютъ вообще методъ английской дипломатiи, кото-

рому несомнѣнно слѣдуетъ учиться. Этотъ поворотъ всей русской политики англійскаго кабинета сейчасъ же вслѣдъ за японской войной на 180 градусовъ въ кратчайшій срокъ является классическимъ образцомъ для политика и дипломата, способнаго дѣйствительно быть на службѣ только своей страны. Но для такой смѣлой, отчетливой работы дипломатин, и страна — власть и народъ — должна быть на высотѣ предъявляемыхъ ей исторіей требованій.

Еще разъ переписка А. П. Извольскаго (особенно письма его самого и Бенкендорфа) напоминать намъ, что вся внѣшняя политика только производное отъ внутренняго состоянія страны, отъ ея матеріальной организованности и духовной налаженности.

Въ тѣ блаженныя времена, когда не было «тоталитарныхъ режимовъ» лѣваго и праваго образца, Россія почиталась самой реакціонной страной въ Европѣ (конечно, Турціи не считая). И то же самое общественное мнѣніе, которое нынѣ включаетъ Сталина въ авангардъ «защитниковъ демократіи и мира», тогда почитало Россію очагомъ военной опасности и при малѣйшемъ оказательствѣ полицейскаго произвола «царизма» поднимало неутраченный шумъ на всю Европу... Для русскихъ пословъ въ Лондонѣ, Парижѣ, Римѣ и даже Берлинѣ, это было очень неприятно, хлопотливо, иногда оскорбительно.

Но не это ихъ дѣйствительно волновало, беспокоило и приводило въ отчаяніе. Графъ Бенкендорфъ, просвѣщенный европеецъ, на тогдешній русской аршинъ человекъ очень умѣренный (глѣ-

го между В. А. Маклаковымъ и графомъ Гейденомъ), всякихъ лѣвыхъ, конечно, начисто отрицалъ. Однако, ясно видѣлъ въ эксцессахъ революціи 1905-6 года послѣдствія неспособности власти справиться съ внутреннимъ положеніемъ, ея упорное нежеланіе опереться на умѣренно - либеральныя круги общества. Онъ осторожно подсказывалъ Петербургу, что тактика: «сначала успокоеніе, потомъ реформы» устарѣла, нецѣлесообразна, а нужно дѣйствовать по-англійски: «сначала реформы», и тогда обязательно приходитъ и успокоеніе. А въ другомъ письмѣ Бенкендорфъ прямо пишетъ, что главное зло, наносящее великій уронъ международнымъ интересамъ и достоинству Россіи, не бѣшеная въ Европѣ противъ російскаго правительскаго пропаганда по поводу погромовъ (которыми онъ самъ, конечно, возмущенъ), разстрѣловъ, безпорядковъ и т. п. Вся эта агитація играетъ въ паденіи русскаго престижа «второстепенную роль»... «Лишаетъ наше правительство всѣхъ симпатій самая его неспособность ни предупредить, ни пресѣчь во время эти кровавыя проявленія религіозной, расовой войны, классовою вражды; неспособность пресѣчь во время призывы ко всевозможнымъ фанатизмамъ»... Выводъ: честный переходъ къ конституціонному режиму.

Самъ А. П. Извольскій съ грустью пишетъ Остенъ-Сакену, Бенкендорфу, Урусову (однѣ Н. В. Мураньевъ опредѣленно человекъ стараго режима), что всѣ его настоянія идти на примиреніе съ первой Государственной Думой, на отставку кабинета, ни-

как не вліяють на Горемыкина, на его сотрудников, и на самого Государя. Извольскій даже пытался уйти въ отставку, но задержанный государемъ, остался, почитая, что международная обстановка слишкомъ серьезна.

По письмамъ послѣвъ мы видимъ, каково было отношеніе тогдашней Европы къ внутреннему положенію въ Россіи. Я говорю сейчасъ не объ общественномъ мнѣніи, а о правительствахъ. Оказывается, у тогдашнихъ министровъ и монарховъ (письма Н. В. Муравьева о «радикальныхъ» совѣтахъ итальянскаго короля, и письма графа Бенкендорфа о волненіяхъ по поводу русской внутренней политики Эдуарда VII-го) было гораздо болѣе трезвое, а потому, если угодно, и болѣе человѣческое отношеніе къ внутреннимъ русскимъ потрясеніямъ, чѣмъ у нынѣшней послѣвоенной демократіи. Друзья Россіи хотѣли, конечно, по своимъ національнымъ побужденіямъ, видѣть Россію, какъ постоянно повторялъ король Эдуардъ, «процвѣтающей и мощной». А потому старались «посоветовать» правительству и самому государю внутреннюю политику съ народомъ власть примиряющую, конституционную. Даже Вильгельмъ II вознегодовалъ на «лживые слухи» о томъ, что онъ совѣтуетъ Николаю II-му реакціонный курсъ, и въ минуту крайняго раздраженія по поводу русско-англійскихъ переговоровъ воскликнулъ: «Вы бы лучше занялись внутренними преобразованіями, а интригъ въ Европѣ и безъ васъ достаточно».

И конечно, если время съ 1905 года было бы посвящено въ Россіи по настоящему «внутреннимъ

преобразованіямъ» и введенію въ Россію отвѣтственного правительства, то страна могла бы вести устойчивую, самостоятельную международную политику, и иностранные дипломаты, какъ это дѣлалъ баронъ Эренталь, не могли бы вести борьбу съ русскимъ министромъ Иностранныхъ Дѣлъ, находя поддержку не только въ Вѣнѣ, но и въ Петербургѣ. Какъ это вскрываетъ письмо русскаго посла въ Вѣнѣ, баронъ Эренталь велъ свою двойную игру съ Россіей (Бухлау), можно сказать навѣрное, слишкомъ хорошо освѣдомленный своими петербургскими друзьями (министръ Шванебахъ, напр., даже пріѣзжалъ къ нему на свиданіе).

Именно дипломатическую службу Россіи больше всего разрушила независимость министра Иностранныхъ Дѣлъ отъ парламентскаго контроля. Ибо, какъ это видно изъ переписки Извольскаго, министръ Иностранныхъ Дѣлъ несъ передъ международнымъ и русскимъ общественнымъ мнѣніемъ всю формальную отвѣтственность за иностранную политику, а на самомъ дѣлѣ не только этой политикой часто не руководилъ, но и самъ не былъ освѣдомленъ о томъ, что уже хорошо знати иностранцы черезъ своихъ освѣдомителей и свои придворныя связи. Поэтому, — пишетъ графъ Бенкендорфъ А. П. Извольскому: — «одни обвиняютъ насъ въ недобросовѣстности, думаю, такихъ ничтожное меньшинство, другіе объясняютъ все болѣе или менѣе организованнымъ потрясающимъ безначаліемъ, каковое и существуетъ. Итогъ: недовѣріе по всей линіи... Я убѣжденъ, что они (иностран-

пм. — А. К.) были лучше. насъ освѣдомлены о нашей политикѣ, и повидимому знали о вашей неосвѣдомленности. Вотъ она, раковая опухоль» (Voilà, le cancer)...*).

Переписка Извольскаго невольно вызываетъ самыя мрачныя мысли о судьбахъ россійской международной политики въ нынѣшнихъ сталинскихъ условияхъ, гдѣ всѣ «маленькіе недостатки» нашего стараго правительственнаго механизма развернулись въ планетарномъ масштабѣ.

Объемъ этой замѣтки даетъ возможность только намѣтить темы, которая рвется подъ перо при чтеніи переписки русскихъ дипломатовъ. Но одну тему я обошла сознательно. Переписка А. П. Извольскаго публикуется подъ заглавіемъ «На службѣ Россіи». Сейчасъ же вспоминаешь тома «На службѣ Франціи» Реймон-

*) По обычаю того времени послы (за исключеніемъ Н. В. Муравьева) и министръ переписывались по-французски.

да Пуанкаре, и вспоминаешь не напрасно. Опубликованіе дипломатической переписки Извольскаго, какъ это видно изъ введенія проф. Шклявера, должно очистить память русскаго министра Иност. Дѣлъ, а затѣмъ посла въ Парижѣ отъ весьма распространеннаго толкованія его работы, какъ сознательной подготовки войны. Весьма удобное толкованіе для тѣхъ, кто теперь, когда послѣдствія Юльскихъ дней 1914 г. продолжаютъ разрушать Европу, ищутъ козловъ отпущенія подалше отъ своихъ собственныхъ грѣховъ, на службѣ которыхъ состоятъ, и легко находятъ оныхъ въ выморочномъ «наслѣдіи царизма».

Если матерьялы II-го тома переписки будутъ столь же убѣдительны, то не только память А. П. Извольскаго, но и прошлое Россіи будетъ освобождено отъ нѣкоего излишняго и можетъ быть другимъ въ болѣе мѣрѣ принадлежащаго груза великой и тяжелой отвѣтственности.

А. Керенскій.

Литература эмигрантскаго сепаратизма

Россійскій сепаратизмъ явленіе не сегодняшняго дня. Но прежде онъ не носилъ сколько-нибудь серьезнаго характера. Это были высказыванія чисто теоретическаго, принципиальнаго характера: такъ въ пятидесятыхъ годахъ девятнадцатаго столѣтія у петрашевцевъ уже была мысль объ отдѣленіи Сибири; молодой Потанинъ тоже мечталъ о сибирской независимой республикѣ. Можно также изрѣдка найти отдѣльныя мысли о сепаратизмѣ и въ преж-

ней украинской литературѣ. Однако идеи сепаратизма не захватывали широкихъ интеллигентскихъ круговъ различныхъ народностей, населяющихъ Россію. Изъ всѣхъ многочисленныхъ народовъ Россійской имперіи лишь поляки и финны заявляли свое право на отдѣленіе и самостоятельность. Но какъ разъ историческую неизбежность отдѣленія этихъ народовъ признавали и русскія радикальныя партіи. Въ программахъ политическихъ наці-

ональных партий, существовавших в России до войны, за исключением указанных двух народов, не было требования отделения от России и можно найти в них лишь требование автономии. Даже в 1917 году, в эпоху февральской революции, когда безнаказанно высказывались самые радикальные требования, максимальным требованием народностей в национальном вопросе была автономия и, реже, федеративное устройство государства. Даже латыши и эстонцы, теперь живущие самостоятельной государственной жизнью, тогда довольствовались только автономией или федерацией. Украинцы также в своих универсалах не шли дальше автономии, поскольку дело шло о российской Украине. Впервые требование об отделении Украины от России было заявлено во время мировой войны «Союзом» вызволения Украины, который был организован при содействии немцев из украинских элементов в Вильне. Но сепаратистическая литература «Союза», имевшая специфическую цель, не сыграла той роли, которая ей предназначалась, не встретив отклика среди украинцев в России. И только после октябрьской революции, в четвертом универсале (22 января 1918 года) украинская рада провозгласила полное отделение от России, и тут же обратилась к Германии с просьбой о защите территории Украины.

Но если в прежнее время сепаратизм резко не проявлялся, то с первых же дней гражданской войны одновременно с начавшимся распадом империи обострился в России и националь-

ный вопрос во всей его сложности и широте. Без преувеличения можно сказать, что теперь проблема межнациональных отношений в России является одной из самых трудных и острых. Если революция 1917 года прошла под знаком разрешения аграрного вопроса, то ближайшее будущее России пойдет под знаком вопросов национальных.

Но если внутри Советской России в этом отношении еще только «выкристаллизовываются» тенденции нового государственного и межнационального развития, то все ясно и бесспорно в суждениях и устремлениях представителей эмиграции различных народов бывшей Российской империи. Теория сепаратизма в эмиграции категорична и не допускает никаких компромиссов. Если же принять во внимание крайне сложное послевоенное международное положение, при котором отдельные государства ищут себя не только настоящих, но и будущих всевозможных союзников, то неудивительно, что развитие русского сепаратизма встречает большую моральную и материальную поддержку со стороны государств, враждебных России. Даже самые ничтожные, а иногда и курьезные сепаратистические эмигрантские группы находят себя покровителей, старающихся умалить силу того огромного союза народов, который господствует на Востоке. Конечно, деятельность сепаратистов эмигрантов не представляет в настоящее время реальной угрозы целостности России. Но поскольку они в той или иной мере могут быть связаны с вышшими враждебными России силами, они

заслуживаютъ вниманія, такъ какъ въ своей литературѣ выражаютъ не только свои мнѣнія, но нерѣдко и дѣйствуютъ въ интересахъ своихъ «покровителей». О томъ же, что по крайней мѣрѣ часть изъ нихъ имѣютъ «покровителей», субсидирующихъ ихъ дѣятельность и литературу, сепаратисты сами часто не скрываютъ, упокая другъ друга въ измѣнѣ этимъ «покровителямъ», въ расхищеніи отпускаемыхъ средствъ и пр. Сиредѣленное исключение надо сдѣлать для части украинской, грузинской и армянской литературы.

Поражаетъ въ литературѣ сепаратистовъ прежде всего ея изобиліе, не находящееся ни въ какомъ соотношеніи съ численностью отдѣльныхъ национальныхъ группъ въ эмиграціи. И въ самомъ дѣлѣ, понятна и неувидимельна большая русская зарубежная литература, такъ какъ русскихъ живетъ за рубежомъ много болѣе милліона, если принять во вниманіе русское меньшинство во лимитрофахъ и на Дальнемъ Востока. Точно такъ же неувидительно большое число украинскихъ изданій. Издавна существуетъ армянская литература, такъ такъ какъ этотъ народъ разсѣянъ по всему свѣту. Но вотъ, напр., маленькая группа такъ называемыхъ «вольныхъ казаковъ», которая, по заявленію самихъ казаковъ, не собираетъ на своихъ собраніяхъ въ Парижѣ больше тридцати человекъ, девять лѣтъ издаетъ сравнительно дорогой журналъ. Небольшая группа горцевъ Кавказа, которыхъ можно перечесть по пальцамъ, въ теченіе десяти лѣтъ издаетъ тоже дорого стоящій свой журналъ. Три года,

регулярно каждый мѣсяцъ, выходитъ въ Парижѣ журналъ «Кавказъ», ведущій наиболѣе яростную кампанію противъ Россіи и всего русскаго, — хотя и издается этотъ органъ все же на русскомъ языкѣ. Казанскій татаринъ Исхаки, раньше сотрудничавшій въ русскихъ журналахъ, недавно вернувшійся изъ Японіи, издаетъ свою литературу на татарскомъ, польскомъ, французскомъ и русскомъ языкахъ. Въ Харбинѣ сибиряки-сепаратисты имѣютъ свою ежедневную прессу. Азербейджанцы также не отстаютъ отъ другихъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Парижѣ сталъ издаваться и регулярно выходить турецкій журналъ «Прометей», органъ объединенныхъ национальностей, борющихся за отдѣленіе отъ Россіи.

Общей чертой всѣхъ сепаратистовъ является рѣзко-отрицательное отношеніе ко всей русской культурѣ, къ прошлому и настоящему Россіи, нескрываемое желаніе войны противъ СССР со стороны сосѣднихъ государствъ и, конечно, отказъ отъ его обороны. Но обратимся къ разсмотрѣнію къ каждой изъ этихъ литературъ.

Наиболѣе непримиримой по своей политической идеологіи группой являются украинскіе сепаратисты. Въ вопросѣ отдѣленія отъ Россіи въ ихъ средѣ нѣтъ колебаній и разногласій. Есть разномысліе только въ ориентировкѣ на союзниковъ и въ вопросѣ о будущемъ самой независимой Украины, о формѣ ея государственнаго и социальнаго устройства. Наболѣе сильная украинская эмигрантская группа, петлюровцы, ориентрируется на Польшу. Въ то время, какъ другія украинскія эми-

грантскія группы говорят о соборной Украинѣ, т. е. объ объединеніи всѣхъ украинскихъ земель, находящихся въ составѣ какъ Россіи, такъ и Польши, петлюровцы добиваются независимости только одной ея части, т. е. той, которая теперь находится въ составѣ Совѣтскаго Союза. Центръ группы находится въ Парижѣ, гдѣ уже 12 лѣтъ издается ихъ еженедѣльникъ «Тризубъ», основанный Симеономъ Петлюрой. Представительный органъ этой украинской группы называется «Урядъ Украинской Народной Республики». Это — остатокъ быв. петлюровскаго правительства, возглавляемаго послѣ убійства Петлюры Андреемъ Левинскимъ. Идеология и дѣятельность Уряда въ эмиграции подробно и документально изложена въ книгѣ Олександера Шульгина «Безъ территории» (изд. «Мечъ», Парижъ, 1934 г.). Урядъ находится въ самыхъ тѣсныхъ союзническихъ отношеніяхъ съ эмигрантскими сепаратистскими представителями другихъ народовъ СССР, но по тактическимъ соображеніямъ старается держаться въ сторонѣ отъ бѣлорусскихъ самостійниковъ, — на территоріи Польши живетъ около двухъ милліоновъ бѣлоруссовъ.

Въ Берлинѣ проживаетъ другой осколокъ бывш. украинскаго правительства — «гетманъ» Скоропадскій. При немъ имѣется Гетманская Управа, которая издаетъ небольшой свой Бюллетень. Кроме того въ Лондонѣ на англійскомъ языкѣ въ 1932-33 гг. издавался другой гетманскій журналъ «The Investigator». Въ Чикаго выходитъ «Нашъ Стигъ». Въ послѣдніе годы дѣятельность гетманцевъ сильно упала, но вмѣсто это-

го народились новыя правыя политическія группы фашистскаго типа. Въ первую очередь сюда нужно отнести группу молодежи, издававшей въ Прагѣ въ 1928-34 годахъ журналъ «Розбудова Нація». Въ Черновицахъ издается фашистская «Самостійна Думка». Къ этому же типу литературы можно отнести «Украинское Слово» въ Парижѣ, «Вістникъ» во Львовѣ и др.

Въ сторонѣ отъ подобныхъ группировокъ стоятъ украинскіе социалисты - революціонеры и социаль - демократы. Они являются сторонниками соборной Украины и, не дѣлая ставки на какое-либо иностранное государство, возлагаютъ надежды на внутреннее движеніе въ самой Украинѣ. Стоя за полную независимость и самостоятельность Украины, они не питаютъ къ Россіи того чувства отталкиванія, какое есть у другихъ группъ, и не исключаютъ союзныхъ отношеній съ ней, признавая наличие общихъ экономическихъ и другихъ интересовъ. Эти социаль-демократы издаютъ въ Подебрадахъ свой небольшой литографированный бюллет. «Социаль-Демократъ», а социалисты-революціонеры въ Прагѣ выпускаютъ «Трудовую Украину».

Украинцы, какъ и другіе сепаратисты - эмигранты, возлагаютъ большія надежды на возможную войну противъ СССР и, конечно, среди нихъ совершенно исключена какая-либо мысль объ оборонѣ СССР. Даже социалисты считаютъ оборону Совѣтскаго Союза отъ возможнаго нашествія Гитлера дѣломъ для нихъ чужимъ. Въ то время, какъ въ русской эмиграции вопросъ относительно обороны Россіи горячо обсуждается

и большинство высказывается за необходимость содѣйствовать этой оборонѣ, въ средѣ украинской эмиграціи этотъ вопросъ ставится совсѣмъ иначе. Не говоря уже о фашистскихъ группахъ, для которыхъ вопросъ объ оборонѣ СССР, въ составъ котораго входитъ и Украина, совсѣмъ отбрасывается, даже социалисты-революционеры воздерживаются высказываться по этому поводу. Социал-демократы въ сентябрьскомъ номерѣ за 1936 г. своего журнала пишутъ, что если бы на территории Украины произошла империалистическая борьба чужихъ силъ, то обязанность украинцевъ встать на защиту интересовъ своего народа, какъ противъ старыхъ своихъ ноработителей (подъ этими подразумеваются русскіе), такъ и противъ новыхъ претендентовъ на украинскія земли.

Большую и политически организованную группу представляетъ изъ себя эмиграція народовъ Кавказа. Она имѣетъ какъ организационныя отдѣльныя народова, — армяне, грузины, азербейджанцевъ и горцевъ, такъ и объединенный комитетъ независимости Кавказа. Каждая группа имѣетъ литературу на своемъ языкѣ, а такъ же общій печатный органъ «Прометей» на франц. языкѣ, часто дѣйствуютъ согласованно и въ 1934 году въ Брюсселѣ подписали особый пактъ о будущей конфедерациіи Кавказа. Въ виду огромнаго политическаго значенія Кавказа, по самому географическому его положенію и колоссальному природному богатству, кавказскій сепаратизмъ пользуется сочувствіемъ нѣсколькихъ европейскіхъ государствъ.

Одной изъ самыхъ характер-

ныхъ чертъ кавказскихъ сепаратистовъ является не только отказъ отъ государственнаго сожителства съ Россіей, но и ненависть къ русской культурѣ вообще. Въ журналѣ «Горды Кавказа» говорится, что «общечеловѣческая цѣнность русской культуры спорна». Учитывая «агрессивную» сущность русской культуры не только въ исторической перспективѣ, но и въ настоящемъ, указанный журналъ отказывается даже отъ терпимаго отношенія къ русской культурѣ, не говоря уже о признаніи за ней какой-то положительной роли въ судьбѣ кавказскихъ горцевъ (журналъ однако печатается на русскомъ языкѣ). Другой эмигрантскій журналъ «Кавказъ» — органъ независимой національной мысли — (тоже на русск. яз.) современную Россію называетъ страной нищихъ рабовъ, полуидиотовъ и полудрепупниковъ.

Но на ряду съ отталкиваніемъ отъ Россіи, въ кругахъ закавказской эмиграціи существуютъ большія симпатіи къ Турціи. Лидеръ азербейджанской эмиграціи Расулъ-Заде, въ своей книгѣ «О пантюранизмѣ въ связи съ кавказской проблемой» (изд. по-русски) пишетъ, что только содружество съ Турціей гарантируетъ независимость кавказскихъ народовъ. Онъ утверждаетъ, что цѣль основанія боягся «пантюркизма» Кемала и партіи «Мусаватъ», а, наоборотъ, слѣдуетъ защищаться противъ «панруссизма». На ту же тему, объ отношеніи къ Турціи журналъ «Кавказъ» пишетъ, что Кавказской конфедерациіи ни въ комъ случаѣ не грозитъ ничего со стороны Турціи. Но для полнаго единенія закавказской эмигра-

ции въ отношеніи Турціи не хва-
таетъ армянъ, которые никакъ не
могутъ примириться съ политикой
гурокъ во время мировой полити-
ки. Въ 1936 году заключенъ но-
вый «Армяно - Грузинскій Уни-
онъ», въ цѣляхъ сближенія эми-
гранци этихъ двухъ народовъ.
«Кавказъ» рѣзко протестуетъ про-
тивъ него, такъ какъ существованіе
его можетъ быть понято, какъ союзъ
не только противъ СССР, но и противъ
Турціи.

Но кавказцы не ограничиваютъ
ся симпатіями къ Турціи. Не мене
сильны эти симпатіи и къ
Японіи. Вотъ какъ, напр., жур-
наль «Сѣверный Кавказъ» харак-
теризуетъ японское наступленіе на
Азіатскій материкъ: «ниппонское
наступленіе на азіатскій континентъ
существенно разнится отъ
обычныхъ империалистическихъ
предпріятій... оно не несетъ наро-
дамъ угнетенія... не исходитъ изъ
эгоистическихъ стремленій... экспан-
сія Ниппона въ Азію выполняетъ
высокую миссію по устрой-
ству азіатскихъ народовъ и освобо-
жденію ихъ отъ чужероднаго
(русскаго) засилія, несетъ съ со-
бою свободу..., она стремится уда-
лить Россію изъ Азіи». И въ той
же статьѣ роль Россіи въ Азіи
характеризуется такъ: «Россія въ
Азіи является факторомъ деструк-
тивнымъ и угрожающимъ. Ея путь
сюда залить потоками крови и
ознаменованъ гибелью цѣлыхъ на-
родовъ и цивилизацій. Разроста-
ясь по линіи наименьшаго сопроти-
вленія, Россія шла въ Азію вле-
комая неудержимой жаждой на-
живы, неуживныхъ захватовъ и
разрушеній. Нынѣ этому поло-
женъ предѣлъ и это является дѣ-
ломъ усилій Ниппона».

Кавказскіе журналы выражаютъ

большія симпатіи и къ политикѣ
Гитлера. Тотъ же «Сѣверный Кав-
казъ» въ статьѣ «Значеніе милли-
таризаціи Прирейнской зоны» цѣ-
ликомъ одобряетъ всю междуна-
родную политику Гитлера и счита-
етъ, что вступленіе нѣмецкихъ
войскъ въ Прирейнскую зону, яв-
ляется событіемъ, которое «для
насъ имѣетъ свою высокую цѣн-
ность», такъ какъ этимъ уничто-
жена послѣдняя преграда, огра-
ничивающая обороноспособность
Германіи. Журналь «Кавказъ»
также пишетъ панегирики гитле-
ровской Германіи.

Что же касается позиціи кавказ-
цевъ въ возможную будущую
войну, то «Кавказъ» формулируетъ
ее слѣдующимъ образомъ:
«Заключающіе союзъ съ СССР
государства должны твердо помни-
ть, что во всякомъ грядущемъ
военномъ столкновеніи Москвы съ
любой иностранной державой всѣ
порабощенные Великобританіей на-
роды окажутся не на сторонѣ
угнетающей ихъ власти, а на сто-
ронѣ тѣхъ, кто, нанося удары
Москвѣ, разбиваетъ ихъ оковы и
несутъ имъ освобожденіе и неза-
висимость».

Въ 1928 году въ эмигранціи объ-
явились новые сепаратисты — тер-
риториальные сосѣди украинцевъ
и кавказцевъ, казаки. Прежде на-
ука въ Россіи такого народа не
знала. Теперь же казаки объяв-
ляются самостоятельнымъ наро-
домъ, особой вѣтвью славянской
расы, на ряду съ русскими, поля-
ками, чехами и др. Теорія о но-
вомъ народѣ развивается пока
только въ литературѣ самого
«вольнаго» казачества. Но что
представляютъ изъ себя «вольные
казаки»? Это очень небольшая
группа казачковъ эмигрантовъ, въ-

дѣлвшаяся изъ общей эмигрантской казачьей массы. Цѣль и задача «вольныхъ казаковъ» — создание новаго казачьяго государства «Казакія». Границы этого государства опредѣлены очень широко и захватываютъ огромныя пространства юга и востока Россіи, причѣмъ границы эти оспариваютъ и кавказцы и украинцы. Группа «вольнаго казачества», пользующаяся сочувствіемъ одного изъ иностранныхъ государствъ, уже въ теченіе 9 лѣтъ имѣетъ періодическій органъ «Вольное Казачество». Отколовшіеся отъ основной группы нѣсколько человекъ теперь издаютъ въ Софіи другой печатный органъ «Казакія». Казаки - націоналисты въ отношеніи СССР являются ничѣмъ неприкрытыми пораженцами. Они со всѣми, кто будетъ бить и ослаблять власть Москвы, — такъ они заявляютъ въ своей парижской газетѣ «Единство и независимость». Еще болѣе рѣзкую и совсѣмъ примитивную формулировку своего отношенія къ Россіи даетъ журналъ «Вольное Казачество»: «Чѣмъ легче Россіи, тѣмъ тяжелѣ казачеству. Чѣмъ тяжелѣ Россіи, тѣмъ легче казачеству. Такъ было, такъ есть, такъ будетъ».

За казаками слѣдуютъ заволжскіе татары. Эти самостоятели претендуютъ еще на большую часть территоріи Россіи, чѣмъ казаки, причѣмъ у послѣднихъ они хотятъ захватить немалую часть земли. Свои земли тюрко - татары называютъ Идель-Ураль и включаютъ въ него территорію между Волгой и Туркестаномъ, начиная отъ рѣки Суры до Каспійскаго моря. Авторъ брошюры «Идель-Ураль» Аясъ Исхаки постоянно про-

живаетъ въ Варшавѣ, издаетъ свой органъ «Ваня милли Вуль» въ Берлинѣ, а послѣдніе два года провелъ на Дальнемъ Востока. На своемъ докладѣ, сдѣланномъ имъ по возвращеніи оттуда, онъ сообщалъ объ успѣхахъ своей работы, которая, по его заявленію, пользуется большимъ благорасположеніемъ Ниппона.

Въ Румыніи проживаютъ сепаратисты Крыма. Въ 1934 году состоялся конгрессъ тюрко - татаръ Крыма, живущихъ въ Добруджѣ. Въ Констанцѣ выходитъ ихъ журналъ «Емель Медимуаса». На включеніе Крыма въ свою республику претендуютъ и украинцы.

Въ Берлинѣ выходятъ органъ азербейджанцевъ «Кртулушъ», въ Парижѣ органъ туркестанцевъ «Вахъ Туркестанъ», тамъ же органъ калмыковъ «Ковыльница вольны». И всѣ они требуютъ самостоятельности своимъ народамъ, ждутъ войны и угрожаютъ Россіи.

Наконецъ, за послѣднее пятилѣтіе въ средѣ дальневосточной русской эмиграціи опредѣлился сибирскій сепаратизмъ. Еще до революціи среди сибиряковъ было такъ называемое областническое движеніе, но оно не было политической концепціей, а общественно культурнымъ теченіемъ. Со времени гражданской войны нѣкоторые сибиряки стали говорить объ автономіи Сибири. Но только за послѣдніе годы инопдѣ оформилось въ Харбинѣ теченіе, которое стоитъ за полное отдѣленіе Сибири отъ Россіи, переключеніе ея въ схему Азіатскихъ государствъ и ориентируется на союзъ съ Японіей. Наиболѣе яркими представителями этого теченія являются нѣкоторые

бывшіе министры сибирскаго правительства періода гражданской войны. Идеологія и тактика сибирскаго сепаратизма изложены въ вышедшей въ Харбинѣ, на правахъ рукописи, брошюрѣ Головачева «Сибирское движеніе и международное положеніе». Тактика сепаратистовъ исходитъ изъ того положенія, что было бы безуміемъ въ настоящее время рассчитывать сибирскому движенію на реальное содѣйствіе западной Европы въ его борьбѣ за создание независимаго Сибирскаго государства. Но такъ какъ въ дѣлѣ отстаиванія Азии въ наступающую тихоокеанскую эру руководящая роль принадлежитъ Японіи, то вполне естествененъ союзъ сибиряковъ съ японцами. Роль сибирскаго движенія, заявляетъ Головачевъ, твердо и окончательно закрѣпленъ въ сторону сближенія съ Ниппономъ. Моментъ столкновенія между Ниппономъ и Россіей будетъ днемъ начала сибирскаго движенія.

Сибирская литература обильна и разнообразна. Выходитъ много брошюръ и всевозможныхъ журналовъ, главнымъ образомъ въ Харбинѣ. Въ большинствѣ политическое ея направленіе чисто-фашистское, цѣлкомъ окрашенное ориентацией на Японію и идеями пан-азиатскаго движенія.

Мы дали обзоръ, какъ бы въ видамъ эмигрантскаго сепаратизма. Какъ бы ни были различны эти группы между собою по своему возможному влиянію на родину и численному ихъ составу, мы не будемъ опредѣлять ихъ политическаго удѣльнаго вѣса. Во-

просы сепаратизма не носятъ абсолютнаго характера и не имѣютъ какого-либо опредѣленнаго своего рѣшенія, обязательнаго при всякихъ обстоятельствахъ и во всякое время. Конкретная политическая и экономическая жизнь создаетъ такіе моменты во взаимоотношеніяхъ народовъ, которые то обостряютъ, то ослабляютъ у отдѣльныхъ народовъ сепаратистскія тенденціи. Нормальная государственная жизнь менѣе всего располагаетъ къ какимъ-либо разрывамъ и отблещеніямъ. И только въ моменты, когда весь сложный государственный организмъ начинаетъ лихорадить, въ результатъ вѣншей или внутренней гражданской войны, отдѣльныя его части могутъ отпадать. Особенно, если этому содѣйствуютъ вѣншіе враги. Именно съ этой стороны мы считали небезинтереснымъ сдѣлать обзоръ разнообразной сепаратистской русской литературы. Уже одинъ фактъ существованія этой литературы въ теченіе многихъ лѣтъ заслуживаетъ всяческаго вниманія и изученія. Разсматривая эту литературу, убѣждаешься, что во всемъ этомъ движеніи, на первый взглядъ, какъ бы хаотичномъ, случайномъ, полномъ политическихъ капризовъ и неожиданно, въ цѣломъ есть опредѣленный и выдержанный планъ, который примѣрно съ 1928 года проводится въ жизнь съ особой настойчивостью и съ затратой немалыхъ средствъ.

С. Постниковъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Георгій Ивановъ. Отплытіе на островъ Цитеру. Избранные стихи. 1916-1936. Петропольсь, 1937.

Вообразимъ, что человекъ умеръ и очнулся въ царствѣ тѣней. Онъ снова живетъ, но живетъ уже какъ тѣнь — и вся прежняя прожитая жизнь теперь представляется ему тоже нереальной, бывалой и все-таки бывшей и незабываемой.

...Должно быть, сквозь свинцовый мракъ,
На мѣрѣ, что навсегда потерявъ,
Глаза умершихъ смотреть такъ...

Мнѣ кажется, что это жизнеощущеніе — сейчасъ общее не только для насъ, эмигрантовъ, но для всѣхъ сознательныхъ людей, пережившихъ смерть Европы, увидѣвшихъ, что мѣръ вступилъ въ какой-то совершенно новый — и, надо сказать, довольно таки отвратительный — «эонъ», въ которомъ человеку, какъ онъ понимался со временъ Христа и Марка Аврелія, нѣтъ мѣста. Это жизнеощущеніе — источникъ всей поэзіи Г. Иванова. Подлинность ея — вѣдь сомнѣній, такъ какъ въ ней выражено переживаніе, которое въ отличіе отъ столькихъ другихъ переживаній, составлявшихъ въ теченіе вѣковъ темы для поэгическаго творчества, обыкновенной рѣчью выражено быть никакъ не можетъ. Читая «Отплытіе», мы понимаемъ — въ полномъ значеніи этого слова — то, что лишь смутно ощущалось нами. Какъ это достигнуто? Въ чемъ состоитъ это тайнодѣйствіе поэзіи? Конечно-же только въ одномъ — въ проникновеніи въ тайну слова, состоящую въ какой-то несомнѣнной, хотя необъяснимой связи между его «внѣшней» и «внутренней» формой. Реальность поэзіи — неопровержимое свидѣтельство наличия этой связи. «Сейчасъ садовникъ говоритъ: насилу столкнулся. Не правда-ли — странно? Куются якоря, а не столы. Какъ-же связаны эти глаголы — ковать и толковать?.. Мы говоримъ словами, которыхъ не понимаемъ. Вотъ, напримѣръ, какъ образовались глаголы просить и бросить?» Чья это слова? Андрея Бѣлаго? Цветаевой? Нѣтъ, — венавистника новѣйшей поэзіи и поэтики символистовъ, однако, величайшаго поэта, т. е. художника слова, Толстого (изъ записей М. Горькаго). Можно было бы привести изъ сборника Г. Иванова множество примѣровъ переосмысленія словъ, усугубленія ихъ смысловъ путемъ подчеркиванія ихъ «внѣшней» формы, что достигается сочетаніемъ сродно звучащихъ словъ: голубокъ — клубокъ — глубокъ..., снова уснуть... и

слишком устали и слишком мы стары... и т. д. *)). Къ «внѣшней» формѣ относится также и ритмическая структура словъ и словосочетаній. Въ ея использованіи Г. Ивановъ проявляетъ неменьшее мастерство. Особенно удачно въ этомъ отношеніи стихотвореніе «Ужъ рыбаки вернулись съ ловли...», гдѣ постоянное нарушеніе основного размѣра удивительно гармонируетъ съ образами «тревожныхъ волнъ», «безпокойныхъ вѣтвей», за которыми «приподнимается (ЗВ: *че — поднимается*, какъ сказать-бы всякій; надо почувствовать этотъ смысловой отгѣнокъ) луна». Съ этой точки зрѣнія мнѣ кажется неудачей 1-ая строфа стихотворенія «Я не пойду искать измѣнчивой судьбы...», гдѣ съ судьбы рѣшуетъ ...и я похвалъ-бы, такъ что акцентъ падаетъ на это *бы*. Такой непривычный переносъ акцента на грамматическую частицу здѣсь незаконенъ, потому что не требуется смысломъ. Кстати, еще одна придирка: въ послѣдней строкѣ стихотворенія «Такъ иль такъ...», одного изъ удачнѣйшихъ (и удивительно напоминающаго Анненскаго), сказано: Но тому, кто тихо плачетъ..., ничего уже не значить, что... и т. д. Съ этимъ новшествомъ можно было бы помириться, если-бы значить здѣсь было бы употреблено въ своемъ первичномъ смыслѣ — обозначать (signifier), а не въ привычномъ производномъ: имѣть значеніе (importer, avoir de l'importance). Въ такомъ случаѣ допустимо только: но для того, кто... Долженъ замѣтить, что этотъ lapsus у Г. Иванова, такъ-же, какъ и всѣ отмѣченныя мною его словесныя удачи, были мной усмотрѣны далеко не сразу. У Г. Иванова ничто не «бросается въ глаза», потому что каждое его стихотвореніе — больше того, всѣ они вмѣстѣ — воспринимаются какъ одно цѣлое, какъ одно слово, чѣмъ и былъ, по предположенію лингвистовъ, первый человѣческій языкъ, языкъ по своей природѣ чисто-поэтической, — самопроизвольное и адекватное выраженіе цѣлостнаго переживанія, а не «орудіе», не «средство» сообщенія «отваденной», — общей и ничьей — мысли.

П. Бяццилла.

Софія Прегель. Солнечный произволь. Изд-во «Современныя Записки». Парижъ, 1937.

Второй сборникъ стиховъ Софіи Прегель лиричнѣе и разнообразнѣе перваго. Въ первомъ, «Разговоръ съ Памятью», стихи, дѣйствительно, казались построенными на воспоминаніяхъ. И такъ какъ поэтесса обладаетъ цѣлкой зрительной памятью и наблюдательностью, это дѣлало книгу похожей на альбомъ зарисовокъ художника. Въ «Солнечномъ Произволѣ» средства выраженія остались тѣ же: красочные «мазки», мѣтко и неожиданно наблюденные штрихи. Чувство никогда не выражается прямо, это не музыка, а живопись, но нѣтъ сомнѣній, что

*)). Позволю себѣ привести аналогичный примѣръ замѣчательнаго, такъ сказать, поэтического каламбура у другого выдающагося поэта нашихъ дней, Л. Червинской: Ничего не принимая, принимая все за всѣхъ («Разсвѣты», 1937).

это живопись лирическая. Все полно страстного и напряженного чувства.

Первая часть сборника почти цѣликомъ отдана путевымъ впечатлѣнιάмъ. Поэтессу привлекаетъ

Духъ путешествій сафьяново-кожаный,
Шумы вокзаловъ, гостиницы, пристани...

и мы вмѣстѣ съ ней наблюдаемъ яркія и живыя картины Венеціи, Генуи, Барселоны... Прежде всего, живыя! Въ ея стихахъ нѣтъ ничего условнаго, книжнаго. Въ нихъ нѣтъ музеевъ и памятниковъ. Въ Генуѣ видитъ она дѣтей въ лохмотьяхъ, въ Венеціи смотритъ, какъ въ лавкѣ старьевщика

Хрустальные люстры запыли
Перетячато и свѣтло.

Она любитъ бродить по

Переулкамъ, гдѣ жили, стяжали,
Засыпая въ бреду фіолетовомъ,
Гдѣ любили, пѣли, рожали,
Хоронили въ гробу глазетовомъ.

Вотъ на улицѣ мать кормитъ грудью своего ребенка

Задыхаясь отъ наслажденія.
И лежали косяя тѣни
У коричневаго соска.

Поэтесса заходитъ на Кампо Санто и — странно! — итальянское кладбище въ ея стихахъ чѣмъ-то напоминаетъ южное еврейское.

Но какъ ни любитъ Софія Прегель путешествія, ей не нужна экзотика, для того чтобы поэтически воспринимать (и преобразовать) дѣйствительность. Зимній Петербургъ, ярмарку въ Россіи

Заката крутой завитокъ
И подъ нимъ балдахинъ карусели,

южный портъ, гдѣ

Сіяли арбузные корки
На подкрашенной солнцемъ волнѣ,

еврейскія мѣстечки, синагоги съ молящимися, у которыхъ

Не кончается съ Богомъ бесѣда,

все это страстно и напряженно видитъ и описываетъ поэтесса. И отъ всѣхъ этихъ впечатлѣній и переживаній она стремится прочь, къ какой-то небывалой простотѣ, къ тихой несложной жизни, къ «безхитростнымъ сердцамъ», къ «простѣйшей радости». Кажется, что это ея самая сокровенная и любимая мечта. Для нея находить она нѣжныя и ласковыя слова (такъ утро она называетъ «домотканнымъ»). Ей нравятся «міръ священныхъ, домашнихъ заботъ». Она часто повторяетъ одно и то же:

О, если бъ въ эту возвратиться
Страну любви и мирныхъ путь,
Гдѣ люди лѣнятся, а птицы
Въ людскомъ безмолвіи поютъ.

Софія Прегель талантлива, ея стихи неподражательны, у нея есть свое лицо. Ритмы ея нѣсколько однообразны; у нея есть пристрастіе къ строфѣ изъ пяти стиховъ. Не оттого-ли нѣкоторые стихи ея кажутся написанными для чтенія вслухъ? Пятистрочная строфа даетъ возможность лучше подготовить эффектъ при чтеніи, отгнать паузу.

Къ недостаткамъ книги можно отнести нѣкоторую небрежность языка. Словарь С. Прегель разнообразенъ, но далекъ отъ пуризма. Она описываетъ, какъ, вслѣдъ мороженщику,

Налетала воробьемъ и за крошками
И звенѣла сдачею и дождями
Лѣтняя лихая дѣтвора.

Это видишь, но можно ли сказать «воробьемъ» вмѣсто «какъ воробьи»? Можно ли сказать «городъ въ словомъ сяннѣ», допустимо-ли употребленіе слова «только» не въ прямомъ его смыслѣ, а для того чтобы противопоставить нѣкоторыя черты пейзажа и отгнать этимъ словомъ его фонъ!

Только растетъ надъ крестами
Праздничная синева,
Только лежитъ подъ мостами
Въ свѣтломъ нарядѣ Нева.

Но эта, изрѣдка проскальзывающая, небрежность тѣсно связана съ «импрессионизмомъ» и яркою выразительностью языка Софіи Прегель.

Мих. Цетлинъ.

Борисъ Зайцевъ. Путешествіе Глѣба. I. Заря. Петрополисъ. 1937.

Въ первой части «Путешествія Глѣба» рассказывается о дѣтствѣ и отрочествѣ «небольшого, большоголового и довольно важнаго мальчика съ бѣлобрысыми залысинами» — Глѣба. Онъ — сынъ инженера, завѣдующаго рудниками Мальцовскихъ заводовъ, живетъ въ усадьбѣ въ селѣ Усты на рѣкѣ Жиздрѣ; у него мать «красивая, съ холодноватымъ выраженіемъ правильнаго, тонкаго лица, спокойная и небыстрая въ движеніяхъ»; сестра Лиза, кузина Соня, прозвищемъ Собачка, бабушка Франя, полька и католичка — «гоноровая пани Франиска Ивановна», няня Дашенька съ благообразно-увядшимъ лицомъ, кроткими, безцвѣтными глазами, запахомъ лампаднаго масла» и гувернантка — «балтійская свѣтловолосая Лота». Простая русская семья, простая русская деревня, спокойное и ровное теченіе обычной жизни, внѣшне ничѣмъ не замѣчательной, съ ея немногими и нехитрыми событіями.

Тихое и счастливое дѣтство, гармонія котораго не нарушена ничѣмъ. Въ чемъ она? Что просвѣтляетъ и одухотворяетъ это, казалось бы, столь обыденное существованіе — безъ блеска и грохота событій? Въ чемъ загадка того очарованія, которое окватываетъ съ первыхъ же страницъ зайцевскаго романа? Авторъ пишетъ о мѣрѣ, исчезнувшемъ безвозвратно, о той помѣщицѣй, деревенской Россіи, лицо которой мы не перестаемъ разглядывать съ мучительной любовью. Столько о ней было написано: намъ казалось, что мы такъ хорошо ее помнимъ и знаемъ. Но чѣмъ больше читаемъ и вспоминаемъ, тѣмъ яснѣе чувствуемъ: нѣтъ, тогда мы ее не знали; только теперь, отдѣленные отъ нея пространствомъ и временемъ, мы научились видѣть ее настоящую. И Зайцеву дано это. Ясновиднѣе любви. Онъ описываетъ съ поразительной простотой и сдержанностью; его рисунокъ несложенъ, краски неярки; онъ боится эффектовъ, пафоса, идеализаціи; его скорѣй можно упрекнуть въ прохладности, чѣмъ въ излишней чувствительности. Но онъ изображаетъ мѣрѣ, который онъ любить — и въ свѣтѣ этой любви самые обыкновенные люди и самыя незатѣйливыя вещи становятся прекрасными.

Рассказъ начинается съ одного «июльскаго утра, ничѣмъ отъ другихъ не отличавшагося». Но на это утро смотрятъ чистые и строгіе глаза маленькаго Глѣба — и все, привычное и «не разъ виданное»: — дворъ, конюшня, огородъ, дуга, ровное взгорье, зубчатый лѣсъ; — вдругъ преобразается. «Какой невѣроятный, ослѣпительный свѣтъ, что за жаворонки, голубизна неба, горячее, душное съ луговъ вѣяніе... Благословенъ Богъ, благословенно имя Господне! Ничего не слыхалъ еще ни о раѣ, ни о Богѣ маленькій человекъ, но они сами пришли, въ ослѣпительномъ деревенскомъ утрѣ...»

А вотъ другой примѣръ этого двойного зрѣнія. Зимній день. Дѣти возвращаются съ катанія на салазкахъ. Въ господскомъ домѣ освѣщаются окна. Послѣ чая, подѣ висящей надъ столомъ лампой отецъ читаетъ дѣтямъ «Гараса Бульбу».

И этотъ вечеръ, тоже «ничѣмъ отъ другихъ не отличающійся», обычный зимній вечеръ въ деревнѣ переживается Глѣбомъ, какъ рѣшающее событіе его внутренней жизни. «Впервые онъ переживалъ поэзію, касался міра выше обыденнаго. Эта поэзія была и въ окружающемъ, не только въ книгѣ. Но младости не могъ онъ, разумѣется, уловить всей благодатности того дыханія любви, заботы, иѣжности, которыми былъ окруженъ. Лампа надъ столомъ, Гоголь, близкіе вокругъ, большой уютный домъ, поля, лѣса Россіи — счастья этого онъ не могъ еще понять, но и забыть такого пещера уже не могъ».

Серьезный, задумчивый и мечтательный «большоголовой мальчикъ» Глѣбъ только смутно чувствуетъ поэзію и счастье, которыми окружено его дѣтство. Второе зрѣніе растетъ и обостряется отъ разлуки, испытаній, тоски. Авторъ знаетъ будущее своего героя: онъ съ печальнымъ умиленіемъ смотритъ на его счастье; его личный голосъ, голосъ «изъ настоящаго» по временамъ врывается въ хрупкое благополучіе міра прошлаго; этимъ послѣдовательно примѣнен-

нымъ приемомъ создается двупланиость повѣствованія. Исчезнувшій миръ дѣйствительно становится «повзрѣя», такъ какъ на него падаетъ рѣзкій трагическій свѣтъ отъ настоящаго. Этотъ незбылемый бытъ, спокойное благоденствіе, мирная, налаженная жизнь, на которой лежатъ печать такого изящества и благородства, — все это погнбло навсегда. Зайцевъ вызываетъ своимъ искусствомъ тѣни прошлаго; намъ такъ легко полюбить ихъ, сжиться съ ними, почувствовать ихъ живыми и близкими; но голосъ автора постоянно напоминаетъ о томъ, что эти люди, эта жизнь, эта прекрасная страна стояли подъ знакомъ гибели, что уже тогда, въ «невѣроятномъ, ослѣдительномъ свѣтѣ», въ «благодатности дыханія любви» — всѣ они были обреченные.

Въ концѣ книги мотивъ судьбы звучитъ съ огромной силой; это одна изъ самыхъ замѣчательныхъ страницъ во всемъ творчествѣ писателя. Разсказавъ объ охотѣ, на которой Глѣбъ убиваетъ лоску, о смерти бабушки Франциски Ивановны и о торжественной встрѣчѣ губернатора, авторъ заканчиваетъ первую часть романа такими словами: «И отецъ, и мать, и Глѣбъ и другіе совершали таинственно длиннѣйшій путь жизни, приближаясь — одна къ старости и послѣднему путешествію, другой — къ отрочеству и юности. Никто ничего не зналъ о своей судьбѣ. Глѣбъ не зналъ, что въ послѣдній разъ увидитъ Людиново. Отецъ не зналъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ будетъ совсемъ въ другихъ краяхъ Россіи. Мать не знала, что переживетъ отца и увидитъ крушеніе всей прежней жизни. Губернаторъ не могъ себѣ представить, что черезъ тридцать лѣтъ вынесутъ его больного, полупарализованнаго, изъ родного дома въ Рязанской губерніи и на лужайкѣ парка разстрѣляютъ».

Немногочисленные дѣйствующія лица романа — Глѣбъ, его отецъ, мать, бабушка, сестра и кузина, пріятели отца, подруги сестры, учителя гимназій, — изображены немногими простыми чертами, но ихъ образы не забываются. Съ особенной любовью изображаетъ герой книги — маленькій Глѣбъ. Черты, его характеризующія, типичны для всего творчества Зайцева: замкнутость въ себѣ, стыдливая сдержанность въ проявленіи чувствъ, «тихость» и задумчивость, любовь къ уединенію и внутренней жизни, изящество и мягкость — таковы Глѣбъ.

Въ Людиново мальчику «особенно нравилась тишина, чистота и свѣтъ верхнихъ комнатъ. ..Онъ проводилъ здѣсь много времени, читалъ и рисовалъ... За окнами холодный зимній день... Ему нравилось, что онъ одинъ, что снизу доносится музыка, а онъ со временемъ будетъ художникомъ...»

Въ этихъ словахъ о Глѣбѣ слышится какое-то личное признаніе автора. Тишина, чистота и свѣтъ большой комнаты, заснѣженный садъ за окномъ, музыка, рисованіе, уединеніе... Это — «пейзажъ души».

К. Мочульскій.

Иванъ Бунинъ. Освобожденіе Толстого. УМСА-Press. Парижъ, 1937.

На дняхъ въ совѣтской Россіи было впервые опубликовано письмо Максима Горькаго къ критику Б. М. Эйхенбауму. Въ этомъ письмѣ Горькій пишетъ къ Толстому: «Я привыкъ думать, что подлинная драма Л. Н. была въ непрерывной борьбѣ его огромнѣйшаго и прекраснаго таланта съ умомъ его — сравнительно — небольшимъ, очень назойливымъ и суевливымъ. Гениальный художникъ не любилъ чужого ума, потому что свой былъ враждебенъ ему. Едва ли среди большихъ людей міра можно найти еще одного, въ которомъ различіе ума и таланта восходило бы до различія между львомъ и крысой».

Что на это сказать? Комичнѣе всего (если можно тутъ говорить о комизмѣ), что Горькій явно щадитъ Толстого: вѣдь все-таки «большие люди міра». Если бы онъ не щадилъ, то сказалъ бы то же, но еще грубѣе: Толстой былъ неумный человѣкъ. Почему умъ у Толстого былъ «очень назойливый и суевливый», не знаю. Какимъ бы, изъ всѣхъ человѣческихъ словъ эти подходить къ Толстому? Не подходят они даже къ самому Горькому, хоть во всемъ и правду денн, отъ «я привыкъ думать» (вотъ бы въ самомъ деле думать) до «льва и крысы», есть нѣчто нестерпимо развѣсившее Толстой успокоился на копѣчныхъ ленинскихъ брошюркахъ и вложилъ въ нихъ всю правду жизни, его умъ не былъ суевливымъ и назойливымъ, очень назойливымъ и суевливымъ. Послѣ появленія «Мира» Шелгуновъ выражалъ радость по тому поводу, что у нея автора нѣтъ большаго таланта, что онъ «живописецъ военныхъ пейзажей и солдатскихъ сценъ» и что его романъ былъ тотчасъ всѣми забытъ, а Навалихинъ писалъ: «Читая военныя сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но рѣчистый унтеръ-офицеръ рассказываетъ о своихъ впечатлѣніяхъ въ глухой наивной деревнѣ». Послѣ появленія «Анны Карениной» Ткачевъ, высмѣивая Толстого, совѣтовалъ ему написать новый романъ, изображающій любовь Левина къ его коровѣ Павѣ и ревность Кити. Это каждаго писателя должно было бы отучить (но не отучаетъ) отъ чрезмѣрной чувствительности къ брани. Все же тутъ «опускаются руки», — къ Горькому не тѣ требованія, что къ Навалихинымъ: выдающійся писатель, знаменитый писатель, очевидно, думалъ, что «Войну и Миръ», «Анну Каренину», «Воскресеніе» можно было создать, будучи неумнымъ человѣкомъ!

Никакъ не могу это отнести насчетъ «естественной реакціи одной яркой индивидуальности противъ другой»: ужъ слишкомъ эти индивидуальности не равны и несоизмѣрны. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Толстой въ столько же разъ превосходилъ Горькаго по уму, въ сколько — и по таланту (добавлю: и по учености, хоть марксистскій самоучка, не знавшій ни одного иностраннаго языка, до конца своихъ дней говорившій «Берлинъ» и «Жоресъ» съ удареніемъ на первомъ слогѣ, прочелъ много книгъ). Будемъ надѣяться, что Горькій въ письмѣ къ Эйхенбауму выразился такъ по какимъ-либо

побочнымъ соображеніямъ. Его воспоминанія о Толстомъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, въ высшей степени интересны, — Бунинъ едва ли справедливо называетъ ихъ «безмярно лживыми чуть не на каждомъ шагу». Сдѣлаемъ и надлежащую оговорку во избѣжаніе недоразумѣній. Викторъ Гюго какъ-то сказалъ: «Il faut tout accepter de Shakespeare comme une brute». Мы отнюдь (ни въ малѣйшей мѣрѣ) не требуемъ такого же отношенія къ автору «Войны и Мира» и противъ такого отношенія всячески возражали бы.

Теперь книгу о Толстомъ выпустилъ художникъ гораздо болѣе крупный, чѣмъ Горькій. Надо ли говорить, что она написана въ совершенно иномъ тонѣ. Какъ писатель, Бунинъ не слишкомъ многимъ обязанъ Толстому: очень они различны. Своей книгой онъ и выполнилъ долгъ читателя, благоговѣнно признательнаго за лучшія, вѣроятно, въ жизни часы художественнаго наслажденія, и внесъ въ Толстовскую литературу чрезвычайно цѣнный вкладъ (непріятно употреблять затасканныя слова, но что же дѣлать, если нѣтъ другихъ?).

Книга поистинѣ превосходна. Не знаю, что въ ней лучше всего. Вѣроятно глава VI, — та, въ которой Бунинъ рассказываетъ свои личныя впечатлѣнія о Толстомъ. Эти страницы навсегда войдутъ въ исторію русской литературы. Приведу лишь одну страницу:

«Была черная мартовская ночь, дулъ весенній вѣтеръ, раздувая огни фонарей. Мы бѣжали наискось по снѣжному Девичью Полю, онъ прыгалъ черезъ канавы, такъ что я едва успѣвалъ за нимъ, и опять говорилъ — отрывисто, строго и рѣзко:

— Смерти нѣту, смерти нѣту!

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого я видѣлъ его еще разъ. Какъ-то въ страшно морозный вечеръ, среди огней за сверкающими, обледѣнными окнами магазиновъ, шелъ въ Москвѣ по Арбату — и неожиданно столкнулся съ нимъ, бѣгущимъ своей пружинной походкой прямо навстрѣчу мнѣ. Я остановился и слернулъ шапку. Онъ сразу узналъ меня:

— Ахъ, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надѣвайте, пожалуйста, шапку... Ну, какъ, что, гдѣ вы и что съ вами?

Старческое лицо его такъ застыло, посинѣло, что имѣло совѣтъ несчастный видъ. Что-то визаное изъ голубой песцовой шерсти, что было на его головѣ, было похоже на старушечій шлыкъ. Большая рука, которую онъ вынулъ изъ песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговоривъ, онъ крѣпко и ласково пожалъ мою, опять глядя мнѣ въ глаза горестно, съ поднятыми бровями:

— Ну, Христось съ вами, Христось съ вами, до свиданья... (стр. 89).

За эту страницу можно отдать не одну книгу о Толстомъ. Необыкновенная изобразительная сила Бунина утраиваетъ цѣнность и чужихъ воспоминаній, которая онъ какъ будто лишь воспроизводитъ. Такъ вся глава VIII книги отведена воспоминаніямъ о Толстомъ Е. М. Лопатиной. Я немного ее зналъ, она въ самомъ дѣлѣ рассказывала очень хорошо (самый говоръ ея больше, чѣмъ чей бы то ни было другой, напоминать говоръ Льва Николаевича, — запечат-

дѣнный на грамофонныхъ пластинкахъ). Но... «И вотъ онъ вдругъ вошелъ своей легкой, молодой походкой, въ мягкихъ беззвучныхъ сапогахъ, въ сѣрой блузѣ съ тонкимъ ремешкомъ-поясомъ, со своей большой бородой и непередаваемымъ, рѣзко-неправильнымъ, совершенно незабываемымъ лицомъ, съ пронзительно-острыми, умными глазами. И глаза эти сразу (и уже на всю жизнь) показались мнѣ жесткими, недобрыми — такими, какъ опредѣлялъ ихъ мой отецъ: «волчьи глаза». Потомъ уже всегда, когда онъ вдругъ входилъ, мнѣ дѣлалось не по себѣ и жутко: будто въ яркій солнечный день открыли мнѣ дверь въ темный погребъ» (стр. 108-9). По этимъ стродамъ прошла рука Бунина, — при всей вѣрности и правдивости передачи не могъ же онъ стенографически записать рассказъ, — и, разумѣется, слава Богу! Много другихъ, не менѣе прекрасныхъ и блестящихъ передачъ есть въ «Освобожденіи Толстого». «Покойный Боборыкинъ рассказывалъ мнѣ: — «Некрасовъ, котораго, кстати сказать, Толстой считалъ однимъ изъ самыхъ умныхъ людей, какихъ онъ когда-либо встрѣчалъ, Некрасовъ называлъ Толстого великимъ сластоугодникомъ, и я Толстому это не разъ напоминалъ. Какъ только начнетъ онъ меня допекать, какъ мы всѣ гадко живемъ, какъ мало о душѣ думаемъ, я ему сейчасъ: это вамъ, Левъ Николаевичъ, надо спасаться по великимъ грѣхамъ вашимъ, а мнѣ что? Меня и такъ съ распростертыми объятіями въ рай примутъ: Петръ Дмитриевичъ, дорогой, пожалуйста, вы за всю жизнь лишняго сакана не выпили, не то, что Толстой! Я, Левъ Николаевичъ, подобно вамъ и Буддѣ, не отрекался ни отъ жены, ни отъ царства, зато, надѣюсь, и не умру, какъ Будда, который, достигнувъ всеяческой святости, восьмидесяти лѣтъ отъ роду, вдругъ объялся однажды въ жаркій день свиной у знакомаго кожевника, а послѣ того не удержался еще и отъ другого искушенія, — искупался въ рѣчкѣ, за что и отдалъ въ тотъ же вечеръ Богу душу...» (стр. 160).

Я позволю остановливаюсь на отдѣльныхъ чертахъ книги. Только Бунина могъ ее написать, и едва ли нужно пояснять, почему всѣ сужденія о Толстомъ столь большого писателя имѣютъ цѣнность исключительную. Не могу входить въ подробности, почти наудачу укажу лишь на удивительныя страницы о ночи въ Арамазѣ (206-9), о «Дѣтствѣ» (221-2), о портретахъ Толстого (135), объ его языкѣ (137), — обрывкомъ перечисленіе, слишкомъ много надо было бы перечислять.

Что до основной мысли Бунина, связанной съ заглавіемъ «Освобожденіе Толстого», то она мнѣ не вполне ясна, хоть книгу я прочелъ — съ одинаковымъ вниманіемъ — два раза. Не вполне ясно и существо спора автора съ В. А. Маклаковымъ, со мной. Книга начинается съ параллели между Толстымъ и Францискомъ Ассизскимъ. Думаешь ли Н. А. Бунинъ, что Толстой «освободился» въ такомъ же точномъ смыслѣ, какъ Францискъ Ассизскій или Іовъ? Что же онъ можетъ тогда отвѣтить хотя бы на воспоминанія Лолатиной: «У одного изъ нашихъ общихъ съ Толстыми знакомыхъ умеръ братъ, и вотъ рассказывали, что онъ тоже все твердилъ передъ смертью въ бреду, что его свали въ этотъ страшный мѣшокъ. Это прекрасно, разумѣется,

что Иванъ Ильичъ все-таки видѣлъ впереди эту свѣтлую точку, которая «все ширилась», но вѣрилъ ли самъ Толстой въ нее? По моему, онъ вѣрилъ только въ «черный мѣшокъ» (стр. 125). Я въ своей давней книгѣ «Загадка Толстого» высказалъ такое же сомнѣніе, пожалуй, въ менѣе рѣшительной формѣ. В. А. Маклаковъ дѣйствительно называетъ Толстого «позитивистомъ», но едва ли и онъ придавалъ этому слову тѣсный смыслъ (послѣдователь Огюста Конта и т. д.), вообще какой бы то ни было другой смыслъ кромѣ того, въ которомъ Толстой можетъ и долженъ быть все же противопоставленъ Франциску Ассизскому.

По существу, думаю, между нами большого разномыслія нѣтъ. Толстой «освобождался» всю жизнь и всю жизнь освобождался по разному, иногда въ настроеніяхъ неожиданныхъ. Уже придя къ непротивленію злу, онъ писалъ: «У насъ все благополучно и очень тихо... Во всей Россіи и Европѣ также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба противъ анковскаго пирога (такъ въ Ясной Полянѣ шуточно обозначалось матеріальное благополучіе. — М. А.) не только не прекращается, но растетъ и слышны уже кое-гдѣ раскаты землетрясенія, разрывающаго пирога. Я только тѣмъ и живу, что вѣрю въ то, что пирогъ не вѣченъ, а вѣченъ разумъ человѣчскій... Многое можно было бы сказать и о вѣрѣ его въ разумъ. Но это было, пожалуй, самое прочное изъ его «освобожденій». «Смерть уничтожается тѣмъ, что если моя жизнь слилась съ дѣятельностью внесенія разума и добра въ міръ, то придетъ время, когда физическое уничтоженіе моей личности будетъ содѣйствовать тому, что стало моей жизнью — внесенію добра и разума въ міръ». Едва ли этотъ отвѣтъ можетъ удовлетворить И. А. Бунина. Въ концѣ своей книги онъ приводитъ слова Толстого: «Какъ-то спросилъ себя: вѣрю ли я? И невольно отвѣтилъ, что не вѣрю въ опредѣленной формѣ» — и добавляетъ: «Но вѣдь такъ говорилъ онъ только въ тѣ минуты, когда «спрашивалъ себя». Не эти минуты спасали его: спасали тѣ, когда онъ не спрашивалъ». Да онъ всегда «спрашивалъ», и въ этомъ его драгоцѣннѣйшая черта, и именно ее онъ ставилъ въ особую заслугу другому знаменитому писателю. Не очень ясно мнѣ, въ устахъ Бунина, и слово «спасали». Но споръ на такую тему потребовать бы книги. Правъ ли или неправъ Бунинъ въ своемъ пониманіи освобожденія Толстого, чрезвычайно цѣнно и интересно его освѣщеніе жизни и мысли величайшаго изъ всѣхъ писателей.

М. Алдановъ.

В. Ф. Ходасевичъ. О Пушкинѣ. «Петропольскъ». 1937.

Измѣненное и дополненное изданіе «Поэтического хозяйства Пушкина» конечно не та книга о Пушкинѣ, которой отъ Ходасевича ждали, — и продолжаютъ ожидать. Такую книгу, гдѣ жизнь и творчество были бы поняты совместно, гдѣ Пушкинъ былъ бы весь (чѣмъ еще не отрицается, конечно, неисчерпаемость генія, и даже всякой личности), только Ходасевичъ и могъ бы намъ дать, потому что у

него одного въ должной мѣрѣ сочетается знаніе предмета съ проикновеніемъ въ его внутреннюю жизнь, въ его смыслъ. Если онъ этой книги не напишетъ, неизвѣстно кто и когда сумѣетъ ее написать: знающіе найдутся, но понимающихъ мало и сейчасъ; остается надѣяться, что онъ это сдѣлаетъ, а книгу, вылуценную имъ, принять какъ напоминаніе о томъ, что онъ это сдѣлать можетъ.

Если бы мы не знали другихъ его писаній о Пушкинѣ, она послужила бы тому достаточнымъ залогомъ. Самыя бѣглыя, кажущіяся на первый взглядъ лишь техническими замѣчанія обличаютъ въ ней то знаніе *изнутри*, котораго не замѣняютъ никакія картотеки. Жить долгіе годы въ непрестанномъ духовномъ общеніи съ поэтомъ, это не то-же, что копить, хотя бы самымъ усерднымъ образомъ, свѣдѣнія о немъ. Занимающее всего страничку сопоставленіе тѣхъ мѣстъ, гдѣ у Пушкина подчеркивается проворство, быстрота, какъ основныя качества живописца или рисовальщика, даетъ больше для пониманія нѣкоторыхъ очень важныхъ пушкинскихъ чертъ, чѣмъ глубокомысленныя разсужденія иныхъ критиковъ; вмѣстѣ съ замѣтками объ «Отъѣздахъ, отлетахъ, исчезновеніяхъ» и о восклицаніи «Пора!» оно позволяетъ намъ коснуться самаго ритма пушкинской жизни. О связи этой жизни съ творчествомъ, всегда сложной, извилистой и трудно условимой особенно хорошо говорятъ главы «Ссора съ отцомъ» и «Дворъ — снѣгъ — козочка», говорятъ такъ — особенно вторая — что заставляють почувствовать несказанное (ибо отношеніе жизни къ творчеству можетъ быть описано, опознано, но отнюдь не «научно» опредѣлено). Для пониманія общаго душевнаго уклада Пушкина особенно существенной представляется глава «Кошунства», такъ вѣрно указывающая на недемоничность «Гавриілады», гдѣ «сквозь соблазнительную оболочку кошунства» можно увидѣть «равномѣрно и широко разлитое сіяніе любви къ міру, благоволеніе и умиленіе». Послѣднія двѣ главы, «Прадѣл и правнукъ» и «Амуръ и Гименей» относятся къ трагическому узлу пушкинской судьбы, къ его женитбѣ; но постоянное переплетеніе жизни и творчества показано и въ нихъ.

Эти двѣ главы, прекрасныя сами по себѣ, нѣсколько отличаются по своему тону и вѣсу отъ остальной книги, которой вообще можно поставить въ упрекъ «резмѣрную разнородность собраннаго въ ней матеріала. Соображенія о связи «Когда за городомъ...» съ «Пора, мой другъ, пора...» (кстати сказать, совершенно убѣдительныя) представляютъ собой нѣчто отдѣльное, не приводящее насъ непосредственно, какъ это дѣлають перечисленныя выше главы, къ центру пушкинской личности. Замѣтка о словахъ «примой», «важный» и «пожалуй» лишь разъясняетъ пушкинскій языкъ (или языкъ пушкинскаго времени), а въ наблюденіяхъ надъ самоповтореніями Пушкина не всегда подчеркнута различіе между тѣми изъ нихъ, что значать что-либо особое, и тѣми, что лишь подтверждаютъ обиліе самоповтореній. Впрочемъ, это упрекъ, такъ сказать, педагогическій: тѣ, кто въ педагогикѣ не нуждается, сами разберутъ, что болѣе важно, и убѣдятся при этомъ, что интересно все.

В. Вейдле.

П. Милоковъ. Живой Пушкинъ. Парижъ, 1937. Стр. 132.

Въ основу книги авторъ положилъ докладъ, сданный имъ на одномъ изъ вечеровъ «Современныхъ Записокъ». Характеръ устнаго доклада въ значительной мѣрѣ и сохранился. Этимъ авторъ далъ себѣ свободу въ выборѣ матеріала. Опасностей тутъ много: свободный выборъ легко можетъ превратиться въ произвольный, общая картина можетъ оказаться не только неточной, но и искаженной, тенденціозной. Но авторъ, извѣстный ученый, безъ труда избѣгъ этой опасности. Въ его книгѣ мы видимъ дѣйствительно живого Пушкина въ основные моменты его жизни. И личность Пушкина отъ школьныхъ лѣтъ и до могилы, и среда, его окружавшая, и глубокий трагизмъ его существованія послѣ женитьбы — представлены съ достаточной полнотой, яркостью и убѣдительностью.

Только никакъ нельзя согласиться съ толкованіемъ, которое авторъ даетъ основной идеѣ «Мѣднаго Всадника». По его мнѣнію, Пушкинъ отразилъ въ этой повѣсти личныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ изученія матеріаловъ по исторіи Петра и рѣзко измѣнившія его отношеніе къ великому реформатору: «Это какъ бы бунтъ противъ попытки возвеличить деспота — бунтъ отдѣльной безпомощной личности противъ тяжелой поступи реформатора-тирана». Основная идея «Мѣднаго Всадника» достаточно выясняется антитезой «великихъ думъ» Петра и думъ Евгенія. Эта антитеза какъ бы намѣренно подчеркнута словами: «И думалъ онъ»... (Петръ) и «О чемъ же думалъ онъ?» (Евгеній).

Вѣдныи чиновникъ съ ограниченными мечтами о мѣщанскомъ счастьѣ гибнетъ, и косвенной причиной его гибели является одно изъ дѣлъ Петра. Если Пушкинъ удѣляетъ нѣкоторую, вполне понятную съ общечеловѣческой точки зрѣнія, долю сочувствія Евгенію, то преклоненіе его передъ Петромъ, какъ государственнымъ дѣятелемъ, отъ этого не умалается. Пусть Петръ порою жестокъ, но все-таки онъ не только тиранъ: «могущий властелинъ судьбы» великъ въ своихъ стремленіяхъ къ благу государства. Поэтому былъ правъ Бѣлинскій, видя въ поэмѣ «апопеезу Петра». Въ «Мѣдномъ Всадникѣ», дѣйствительно, изображенъ безилный бунтъ мало замѣтной личности противъ Петра, но въ этомъ бунтѣ нельзя видѣть бунта самого Пушкина «противъ попытки возвеличить деспота». Если даже образъ царя, какъ чловѣка, нѣсколько и потускнѣлъ въ его представленіи послѣ изученія архивныхъ матеріаловъ, то отъ этого еще было далеко до «окончательнаго отрицанія», какъ предполагаетъ П. Н. Милоковъ: «вѣчный работникъ на тронѣ», можетъ быть, пересталъ быть любимымъ героемъ, но героемъ, вызывающимъ восторженное изумленіе, все-таки остался.

Зато надо всецѣло присоединиться къ мнѣнію автора по оstromу до сихъ поръ, какъ это ни странно, вопросу о стихотвореніяхъ «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская Годовщина». Эти стихотворенія, какъ извѣстно, встрѣчены были рѣзкимъ осужденіемъ даже со стороны нѣкоторыхъ ближайшихъ друзей Пушкина (кн. П. А. Вяземскаго,

А. И. Тургенева), иные же прямолинейно утверждали, что Пушкинъ «огадился» ради честолюбія и златолюбія, намекали на то, что въ «Клеветникамъ Россіи» чувствуется «продажный языкъ» и т. п. П. Н. Милюковъ правильно замѣчаетъ, что патріотизмъ Пушкина тутъ былъ не «квасной», а просто «русскій, объединившій Пушкина съ декабристами и съ послѣдующими поколѣніями». Пушкинъ былъ въ данномъ случаѣ выразителемъ русскаго общественнаго мнѣнія, возмущеннаго взрывомъ ненависти въ нѣкоторыхъ странахъ Европы къ Россіи въ связи съ польскимъ возстаніемъ, и обнаружилъ большую смѣлость собственнаго мнѣнія. Свободное мнѣніе Пушкина совпало съ взглядами правительства, но это совпаденіе въ намѣренія Пушкина, конечно, не входило. — Такое толкованіе и исторически вѣрно, и вполне соответствуетъ нравственному облику Пушкина.

Въ концѣ своей книги Милюковъ говоритъ: «Чтобы понять, какъ живой Пушкинъ дошелъ живымъ и до насъ, надо прослѣдить его посмертную жизнь въ жизни слѣдующихъ за нимъ поколѣній», т. е. изучить дѣла Пушкина «не къ могилѣ, а къ безсмертію». Это уже другая, большая и сложная задача, Милюковъ ея не касается, но все-таки отмѣчаетъ одну изъ причинъ этого безсмертія: «Пушкинъ прость и ясенъ въ свѣтѣмъ величій — и потому онъ великъ. Онъ не связалъ своей посмертной судьбы ни съ какою изъ тѣхъ доктринъ, которыя возникали и отживали свой вѣкъ въ зависимости отъ мѣнявшихся условий жизни и состояній нашего знанія. И потому онъ не смертенъ. Онъ описалъ жизнь, какъ она есть, и человѣческія чувства, какъ они были, есть и будутъ. Поэтому онъ всемъ понятенъ и классиченъ... Вотъ почему и къ теперешнему юбилею Пушкина его личность и творчество, свободныя отъ наносныхъ толкованій, истинно-национальныя, стоятъ передъ нами во всей своей первоизданной красотѣ; вотъ почему, наконецъ, поэтъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ прошлаго вѣка является къ концу тридцатыхъ годовъ нашего столѣтія нашимъ современникомъ, быть можетъ, въ болѣе истинномъ смыслѣ, чѣмъ онъ былъ для препиравшихся о немъ, но не успѣвшихъ его понять и оцѣнить во всю мѣру его значенія современникомъ его жизни».

Второю, найдутся читатели, которымъ покажется, что П. Н. Милюковъ далъ далеко не все, что можно и должно было бы сказать о Пушкинѣ. Они будутъ правы до известной степени, но пусть вспоминаютъ слова Ключевскаго: «О Пушкинѣ всегда хочется сказать слишкомъ много, всегда наговоришь много лишняго и никогда не скажешь всего, что слѣдуетъ».

Если П. Н. Милюковъ и не сказалъ всего, что слѣдуетъ, то и лишняго не наговорилъ, а то, что сказалъ, сказалъ хорошо, съ большою любовью къ поэту и увлекательно. Его Пушкинъ вышелъ, дѣйствительно, живымъ, и его книга — лучшее и наиболѣе интересное, что появилось въ эмигрантской литературѣ о цѣломъ Пушкинѣ.

Позволю себѣ отмѣтить двѣ опечатки изъ разряда тѣхъ, которыя принято называть «досадными»: «Воспоминанія о (вмѣсто въ) Царскомъ Селѣ» (стр. 12) и «Всадникъ» вмѣсто «Плѣнникъ» (стр. 33).

Н. Кульманъ.

Александръ Шикъ. Женатыи Пушкинъ. Парабола. 1937.

Авторъ не сообщаетъ новыхъ данныхъ о послѣднемъ періодѣ жизни Пушкина, не даетъ новыхъ толкованій уже давно извѣстнаго матеріала. Только — сводку выдержекъ изъ писемъ и записей самого Пушкина и близкихъ людей, цитируя въ большинствѣ случаевъ все дословно. Никакого психологизированія, никакихъ попытокъ «воскресить» прошлое по методу авторовъ *biographies romancées* (за исключеніемъ одного мѣста: «...Ташенька... вѣроятно, топала ножкой отъ нетерпѣнія или-же снова поддразнивала мужа...», 62). Тѣмъ эта книга и хороша. Используя, какъ говоритъ авторъ въ предисловіи, «мозаику», образуемую сохранившимися матеріалами, авторъ дѣйствительно достигъ цѣли, какую онъ себѣ поставилъ и какую онъ удачно сформулировалъ тамъ-же: «Какъ мотылекъ на огонь, стремился влюбленный Пушкинъ къ своей женьтибѣ на Нат. Ник. Гончаровой». Авторъ съ большимъ тактомъ, не отвлекаясь ничѣмъ къ дѣлу не идущимъ, подобралъ тексты, говорящіе объ этой обреченности Пушкина своей судьбѣ, — и отошелъ въ сторону. Тѣмъ сильнѣе впечатлѣніе. Непосредственно чувствуется то, что чувствовалъ самъ Пушкинъ: не случайно мотивъ имманентной судьбы (здѣсь средство Пушкина съ Гете) постоянно навязывался ему — «и всюду страсти роковыя и отъ судьбы защиты нѣтъ». На немъ построены величійшія его созданія. Одно возраженіе автору: онъ называетъ воспоминанія Осиповой «апокрифическими» (50), а между тѣмъ пользуется ими.

П. Бицилли.

Wladimir Weidlé. «Les Abeilles d'Aristée», Paris. 1936.

Эта книга русскаго ученаго посвящена проблемѣ умиранія искусства въ наши дни. Авторъ изслѣдуетъ ее, опираясь на огромный матеріалъ, всесторонне и съ рѣдкой проникновенностью. Особенно тонки и оригинальны наблюденія надъ эволюціей «героя» въ современномъ романѣ, въ связи съ этимъ — остроумнѣйшій анализъ того нынѣшняго писательскаго метода, который авторъ зоветъ «механизацией безсознательнаго»; весьма убѣдительно показана также связь этого метода въ литературѣ съ аналогичными приемами творчества въ музыкѣ и въ изобразительномъ искусствѣ. Какъ понимаетъ авторъ духовный источникъ кризиса искусства, — хорошо извѣстно русскимъ читателямъ, ибо онъ неоднократно высказывался объ этомъ въ своихъ статьяхъ въ «Совр. Зап.», «Звентѣ», «Встрѣчахъ» и «Посл. Новостяхъ». Историческая дѣйствительность столь сложна, является результатомъ дѣйствій столькихъ и столь различныхъ по своему происхожденію и свойству фактовъ, что вогнать ее въ формулу, которая являлась-бы исчерпывающимъ выраженіемъ ея сущности и вмѣстѣ истолкованіемъ ея генезиса, едва-ли возможно — въ особенности для современниковъ. Глубоко правъ авторъ, когда самое важное въ ны-

нѣшнихъ художественныхъ тенденціяхъ онъ объявляетъ, въ согласіи съ Ортега-и-Гассетомъ, «обезчеловѣченіемъ искусства» и когда онъ ставитъ это въ связь съ «обезчеловѣченіемъ» самой жизни, съ угасаніемъ столь характернаго для европейскаго духа съ момента возникновенія «Европы» и вплоть до нашего времени гуманизма, укорененнаго въ христіанствѣ. Но все-ли сводится къ этому? Ученость и исследовательская добросовѣстность автора спасаютъ его отъ односторонности. Въ главѣ о «Чистой поэзіи» онъ вполне правильно указываетъ, что языковыя исканія, метанія и — срывы представителей этого направленія обусловлены въ первую очередь тѣмъ, что «новые» языки стали давно уже «старыми», что они черезчуръ зафиксировались, такъ что ихъ слова и словосочетанія уже могутъ быть въ гораздо большей степени средствами коммуникаціи абстрактной, всеобщей и ничьей, мысли, нежели выраженіемъ индивидуальнаго состоянія сознанія. Значитъ, — если бы и не было культурнаго кризиса, все равно — поэзіи угрожала-бы опасность банкротства, въ силу «паденія курса» тѣхъ цѣнностей, что составляютъ ея «средства». Авторъ, кажется, видитъ это, однако, не высказываетъ этого вполне отчетливо.

Впрочемъ, это, разумѣется, побочный факторъ, опредѣлившій лишь одинъ изъ аспектовъ нынѣшнихъ тенденцій въ поэзіи. Главное дѣло — авторъ здѣсь глубоко правъ — въ кризисѣ сознанія, что повлекло за собою то, въ чемъ авторъ видитъ основную черту современнаго искусства, романтическаго искусства, какъ выражается онъ: оно лишено общаго стіля, который отражалъ бы жизненный стиль. Романтизмъ — «болѣзнъ вѣка», — терминъ удачно найденный самими романтиками въ нач. XX столѣтія. Современный культурный человекъ въ этомъ смыслѣ — тоже романтикъ: больной, «ненормальный» человекъ, поскольку онъ живетъ, такъ сказать, внѣ своей эпохи, внѣ «жизни». Нѣтъ поэтому никакого общаго художественнаго романтическаго стіля подобнаго такимъ, каковы романскій стиль, готика, Ренессансъ, Барокко. И въ этомъ авторъ правъ; но мнѣ кажется, что, идя въ этомъ направленіи, онъ освѣщаетъ лишь одну сторону проблемы. Готика, Ренессансъ, Барокко, Романскій стиль — это, въ исторіи искусства, преимущественно архитектурные термины. Есть два основныхъ, т. е. наиболѣе «чистыхъ», глубоко сродныхъ (это увидѣлъ Поль Валери), но «полярныхъ» одно по отношенію къ другому (объ этомъ Валери умолчалъ) искусства: Архитектура и Музыка. Было время, когда архитектура была искусствомъ вообще, вѣрнѣе, когда существовало одно лишь, синтетическое, искусство, котораго архитектура была преобладающимъ элементомъ. Готическій Соборъ не былъ только архитектурнымъ произведеніемъ — въ общепринятомъ смыслѣ слова: архитектура, скульптура, живопись, музыка, поэзія, мимика, сочетались въ стѣнахъ собора въ моменты, когда его идея реализовалась, въ моменты собранія вѣрующихъ, въ одно цѣло. Позже начало соборности улетучивается, испаряется. Культура сосредоточивается при дворахъ королей и князей, и Соборъ уступаетъ свои функціи Дворцу. Въ новое время культура шагъ за шагомъ

утрачивает свой пространственный характер; культурное общение осуществляется вне пространства — как и вне времени — и никакой людской конгломерат не является культурным центромъ. Фабрика, Банкъ, Кооперативный Домъ, Палата депутатовъ, даже Театръ, — не имѣютъ ничего общаго ни съ Дворцомъ, ни тѣмъ болѣе съ Соборомъ. Архитектура какъ искусство, въ сущности, давно уже умерла. Ея угасаніе хронологически совпадаетъ съ расцвѣтомъ музыки. Самое социальное искусство замѣняется другимъ, столь же «чистымъ»; т. е. столь же загадочнымъ, столь же «нензьяснымъ», но — самымъ индивидуальнымъ. Понятно, почему Вагнеръ замыслилъ создать на основѣ музыки такое-же синтетическое искусство, «какимъ была Готика, — но также понятно и то, почему онъ потерпѣлъ крушеніе. И все-же: вслѣдъ за отмираніемъ архитектуры, поэзіи, живописи, скульптура начинаютъ тяготѣть къ другому «полюсу», Музыкѣ, — и можно было-бы прослѣдить эволюцію художественныхъ стилей отъ момента кризиса «классицизма» и до недавняго времени, пользуясь терминологіей науки о музыкѣ. Вопреки утверженію автора, что для художника-романтика возможенъ лишь его собственный, личный стиль, можно было-бы, думается мнѣ, установить стилистическое средство произведеній различныхъ художественныхъ категорій въ пору собственно романтизма, затѣмъ декадентства, символизма, равно какъ и то, что съ точки зрѣнія стиля объединяетъ искусство всѣхъ этихъ періодовъ, поскольку такъ или иначе всѣ виды искусства были проникнуты духомъ музыки. Фатальнымъ для нашего времени было то, что сама музыка, подчиняясь тенденціи къ «механизации бессознательнаго», какъ это, повторяю, подмѣчено авторомъ, стала обращаться въ «технику», тяготя, такимъ образомъ, къ «искусству машинны», т. е. въ сущности — къ анти-искусству.

П. Биццли.

Прот. С. Булгаковъ. Утѣшитель. О Богочеловѣчествѣ. Ч. II. УМСА-Press. Парижъ, 1936.

Новая книга прот. С. Булгакова, посвященная догматическому изслѣдованію о Св. Духѣ, является второй частью задуманной имъ «софіологической трилогіи». Какъ и первая его книга («Агнецъ Божій»), новое изслѣдованіе о С. Булгакова имѣетъ большое значеніе и цѣнность для философіи вообще. Тема о Св. Духѣ, трактуемая авторомъ во всей полнотѣ ея догматической проблематики, даетъ ему поводъ касаться цѣлага ряда общихъ вопросовъ: о С. Булгаковъ строитъ въ своихъ работахъ не только софіологическую догматику, но и софіологическую метафизику. Это и сообщаетъ работамъ о С. Булгакова общій интересъ.

Первая часть новой книги о С. Булгакова даетъ историческій обзоръ всей догматической литературы о Св. Духѣ. Эта часть написана очень тщательно, поражаетъ ученостью автора, но грѣшитъ «гиперкритикой», иногда огорчаетъ — тѣмъ тономъ, въ какомъ авторъ излагаетъ различныя ученія о Св. Духѣ. Прочитать книгу до конца,

убѣждаешься, что рядъ критическихъ замѣчаній, которыми заполнена эта часть книги, со всей силой падаютъ и на самого автора въ его положительныхъ построеніяхъ. Что касается второй части книги (глава III-V), то она болѣе доступна для неспеціалистовъ, такъ какъ далеко выходитъ за предѣлы чистаго богословія и касается вопросовъ космологій, антропологій, философіи культуры. Съ обычнымъ своимъ мастерствомъ о. С. Булгаковъ трактуетъ эти вопросы, нерѣдко возвращаясь къ своей ранней книгѣ «Свѣтъ Невечерній» (1917). Въ этихъ главахъ есть много неожиданнаго и новаго, не мало страшище написано съ истиннымъ вдохновеніемъ. Но надо признать, что самыя замѣчательныя мѣста въ этой части книги относятся какъ разъ къ не богословской ихъ сторонѣ, — богословскія же построенія автора — послѣ того остраго анализа, который развитъ въ первыхъ двухъ главахъ — не удовлетворяютъ читателя, богословски мыслящаго. Не могу не отмѣтить и того, что центральное понятіе всей софіологической системы о. С. Булгакова — понятіе Софіи — получаетъ въ новой книгѣ нѣсколько иную трактовку, чѣмъ это было въ «Лицѣ Божіемъ». Въ краткой рецензій невозможно входить въ подробности, но чтобы быть понятнымъ, укажу на то, что въ «Лицѣ Божіемъ» Софія совпадаетъ съ «сущностью» въ Богѣ, т. е. является, какъ говорятъ богословы, «непостаснымъ» началомъ (и именно потому присуща всѣмъ Лицамъ Св. Троицы). Въ «Утѣшителѣ» же провозвѣщена идея «діалекческаго» (двойственнаго) самооткровенія Отца, что и есть софійность по существу (по «Утѣшителю»); это значитъ, что начало софійности, хотя бы и частично, связано здѣсь уже съ илостаснымъ Божественнымъ бытіемъ (и именно съ Сынномъ и Св. Духомъ). Если перевести эти богословскія опредѣленія въ сферу софіологической метафизики, то центральное понятіе Божественной Софіи становится вновь неяснымъ и расплывчатымъ... Дѣлая эти краткія и, боюсь, невразумительныя по краткости замѣчанія, хочу все же подчеркнуть, что новая книга о. С. Булгакова является огромнымъ вкладомъ не только въ русскую, но и общехристіанскую литературу о Св. Духѣ.

В. В. Зъньковскій.

Marc Vichniac, Léon Blum. Ed. Flammarion, 1937.

Книга М. Вишняка о Л. Блюмѣ читается съ большимъ интересомъ и совсѣмъ не потому, — или, во всякомъ случаѣ, не только потому, — что Блюмъ играетъ такую роль и во французской, и въ международной политикѣ, и естествененъ интересъ къ первой появившейся біографіи этого выдающагося политическаго дѣятеля, писателя и юриста: М. Вишнякъ сумѣлъ увлекательно рассказать эту жизнь, охарактеризовать эпоху, литературную среду, общественно-политическія событія, въ которыхъ развивался и дѣйствовалъ Блюмъ, и дать — часто яркіе — портреты многихъ наиболѣе крупныхъ дѣя-

телей этого времени, съ которыми Блюмъ сталкивался, вліянію которыхъ подвергался. Несмотря на то, что предъ авторомъ стояли особыя трудности — онъ не могъ, по совершенно понятнымъ причинамъ, использовать рядъ матеріаловъ, которыми обычно пользуются биографы (интимныя дневники, письма и т. д.) — ему все же удалось дать всестороннюю характеристику Блюма.

При чтеніи всякой биографіи естественно встаетъ вопросъ совершенно ли объективно отношеніе автора къ человѣку, жизнь котораго онъ описываетъ? Тотъ же вопросъ задаемъ мы себѣ и въ данномъ случаѣ. Вѣдь сомнѣній, конечно, одно: М. Вишнякъ пытался быть максимально объективнымъ; каждое свое утвержденіе онъ старается подкрѣпить фактами. Но каждый биографъ такъ тѣсно духовно сживается со своимъ «персонажемъ», такъ «переживаетъ» его психологию, мысли и дѣйствія, что невольно устанавливаетъ нѣкоторое интимно личное отношеніе къ нему. Поэтому, каждый биографъ, какъ бы ни старался онъ быть объективнымъ, въ концѣ концовъ поминувольно становится въ какой-то мѣрѣ или «панегиристомъ» своего «героя», или его «хулителемъ». М. Вишнякъ не избѣгъ общей участи биографовъ. На нашъ слухъ, онъ — биографъ скорее перваго типа: тотъ «шармъ» Блюма, о которомъ авторъ много говоритъ, и которымъ Блюмъ, несомнѣнно, обладаетъ, подѣйствовалъ, повидимому, и на него самого. Отсюда нѣкоторая, быть можетъ, идеализація Блюма, особенно, какъ прозорливаго политика.

Было бы, разумѣется, совершенно несправедливо упрекать М. Вишняка въ томъ, что онъ не далъ критики нѣкоторыхъ политическихъ положеній и тактическихъ шаговъ Блюма, которую онъ съ своей точки зрѣнія, конечно, могъ бы дать. Задача М. Вишняка не критика его «персонажа», а изображение, показъ его. Авторъ излагаетъ, тоже не критикуя, и литературно-философскіе взгляды Блюма, и даже его довольно — на нашъ взглядъ — наивные домыслы по разрѣшенію женскаго вопроса. Естественно, что и въ области политической онъ остается въ той же роли «изобразителя».

За всѣмъ тѣмъ, хотѣлось бы болѣе углубленнаго изображенія, анализа и объясненія тѣхъ или иныхъ политическихъ выводовъ Блюма, его политическаго поведенія и нѣкоторыхъ его тактическихъ поворотовъ. При такихъ условіяхъ ярче и, можетъ быть, ближе къ дѣйствительности выступилъ бы и обликъ Блюма, какъ человѣка и политика.

Чтобы не удлиннять этой краткой замѣтки, ограничимся однимъ примѣромъ: отношеніемъ Блюма къ коммунистамъ и коммунистической партіи.

Блюмъ — ученикъ Жореса. Естественно, поэтому, что социализмъ для него «мораль и почти религія», а не только доктрина. Коммунизмъ русскій, какъ и коммунизмъ французскій, неприемлемы для него прежде всего съ точки зрѣнія аморальности ихъ полнѣйшаго и развращающаго вліянія на рабочій классъ. «Коммунизмъ, — писалъ онъ, — не только извратилъ основныя идеи социализма, онъ извратилъ и моральное его направленіе. Мы стремимся апеллировать къ наиболее благороднымъ требованіямъ разума, къ самымъ «чистымъ» чувствамъ

человѣческой души, а онъ эксплуатируетъ наиболѣ низменные инстинкты. Мы стремимся поднять, — онъ роняетъ; мы стремимся облагородить, — онъ низводитъ на низшую ступень. Его средства — ложь, двойная игра, клевета; страсти, культивируемая имъ, — зависть, ненависть, жестокость». Блюмъ видѣлъ и понималъ не только развращающее вліяніе коммунистовъ на рабочій классъ, — онъ клеймилъ преступность ихъ политическаго поведенія. Онъ видѣлъ ясно, что ихъ тактика — сверхъ-революціонная на словахъ — на дѣлѣ въ теченіе лѣтъ поддерживала и во Франціи, и въ другихъ странахъ самыя реакціонныя партіи и теченія. Когда, поэтому, французскіе коммунисты подняли вопросъ о «единомъ фронтѣ», онъ понималъ, что это — лишь новая военная хитрость по отношенію къ ненавистнымъ «соціаль-предателямъ». «Мы будемъ, — говорили коммунисты, — за единый фронтъ до тѣхъ поръ, пока оказываемся болѣе слабыми». На всѣ предложенія о созданіи «единаго фронта» Блюмъ, поэтому, отвѣчалъ или отказомъ, или требованіемъ, выполненіе котораго невозможно для коммунизма, ибо упразднить его въ его теперешнемъ видѣ: «Мы будемъ въ состояніи говорить о единомъ фронтѣ въ тотъ день, когда для русской тиранніи социалисты не будутъ жертвами, когда въ Россіи будутъ восстановлены демократическія свободы и всеобщее избирательное право, — но и тогда мы будемъ говорить объ осуществленіи его, само собою разумѣется, въ международномъ масштабѣ».

Однако, несмотря на то, что эти условія не осуществились, а внутренняя сущность коммунизма осталась прежней, — Блюмъ измѣнилъ свою тактику и изъ критиковъ «единаго фронта» въ томъ видѣ, какъ его предлагали коммунисты, сталъ главнымъ творцомъ его — и притомъ во французскомъ, а совсѣмъ не въ международномъ масштабѣ.

Какъ и почему это случилось? М. Вишнякъ причину такого измѣненія видитъ, насколько мы понимаемъ, только въ реакціонной угрозѣ, обнаружившейся 6-го февраля 1934 года. Несомнѣнно, вѣншній поводъ таковъ. Но насъ, какъ читателей *биографіи* Блюма, желающихъ понять Блюма въ его эволюціи, интересуетъ болѣе глубокій анализъ метаморфозы, которая произошла, очевидно, съ нимъ самимъ, метаморфозы, которая дала бы ключъ къ пониманію его и какъ человѣка, и какъ политическаго дѣятеля.

Событія 6-го февраля не могли быть неожиданными для прозорливаго политика. Они лишь обнаружили реакціонную угрозу, которая, очевидно, уже существовала и не должна была остаться незамѣченной имъ **раньше**. Раньше долженъ былъ онъ принять противъ нея мѣры, которыя предотвратили бы, быть можетъ, и самое ея проявленіе. И какъ при свѣтѣ этихъ событій оцѣнить выработанную Блюмомъ «субтильную и сложную» теорію объ отношеніи «власти и партіи», которую онъ заставилъ практиковать свою партію и которая опредѣлила въ значительной мѣрѣ всю политическую исторію Франціи послѣднихъ лѣтъ?

А измѣненіе отношенія къ коммунистамъ? Какова здѣсь внутрен-

няя эволюция Блюма? Блюм во всей своей деятельности никогда не хотѣлъ за временнымъ и случайнымъ забывать основныя задачи социализма, какъ «мораль». «Нашъ долгъ, — писалъ онъ, — въ одно и то же время и въ настоящемъ, и въ будущемъ; онъ и въ самомъ близкомъ, и въ самомъ далекомъ». Какъ же думаетъ Блюмъ идти теперь къ осуществленію этого далекаго, этого социализма, — «почти религіи» — съ людьми, «эксплуатирующими наиболее низкіе инстинкты»? Не такъ давно Блюмъ писалъ, обращаясь къ коммунистамъ: «Какъ будемъ мы строить новое общество, если ко дню побѣды окажется, что вы пролитали гнилью весь нашъ человѣческой матеріаль?» Оказавшись теперь, «по соображеніямъ момента», «защитниками демократіи», коммунисты по существу остались прежними. Или Блюмъ вѣрить въ ихъ перерожденіе, или надѣется ихъ переродить?

Л. Блюмъ стремился къ «идеалистическому реализму» или «реалистическому идеализму». М. Вишнякъ, повидному, находить въ жизни и деятельности Блюма осуществленіе этого стремленія. Не въ томъ ли, однако, Ахиллесова пята Блюма и какъ человѣка, и какъ политическаго дѣятеля, — несмотря на достиженіе имъ иногда тѣхъ или иныхъ успѣховъ, — что въ дѣйствительности онъ часто оказывался слишкомъ «реальнымъ политикомъ» для «идеалиста» и слишкомъ «идеалистомъ» для «реальнаго политика»?

Н. Авксентьевъ.

Violet Conolly. Soviet trade from the Pacific to the Levant. Oxford University-Press. London, 1936.

Трудъ ирландской экономистки, уже зарекомендовавшей себя въ 1933 г. интересной работой о торговыхъ сношеніяхъ Сов. Россіи съ Монголіей и иракко-туранскихъ азіатскихъ народовъ, посвященъ проблемѣ торговыхъ сношеній СССР съ Японіей, Маньчжуріей, Китаемъ, Британскою Индіей и Левантомъ, въ связи съ проблемой хозяйственнаго развитія совѣтскаго Дальняго Востока. Авторъ подвелъ итоги почти всему, что по этой части сдѣлано до сихъ поръ въ скудной литературѣ о совѣтской торговой политикѣ на Востокахъ и вмѣстѣ, опираясь на спеціальныя совѣтскія изданія, пополнить нѣкоторые существенныя пробѣлы, давши объективную информацію о проникновеніи совѣтской торговли даже въ столь далекія и малоизвѣстныя страны, какъ Сирія, Геджасъ, Іемень и Месопотамія. Съ задачей, поставленной себѣ, Коноли справилась весьма успѣшно. Значительная часть разбираемаго нами труда, посвященная экономикѣ совѣтскаго Дальняго Востока, представляетъ, пожалуй, наибольшій интересъ. Къ сожалѣнію, изслѣдованіе Коноли въ этой области не можетъ быть признано исчерпывающимъ; для этого не хватаетъ болѣе подробной информации о новѣйшемъ развитіи желѣзнодорожнаго строительства и обрабатывающей промышленности въ важнѣйшихъ областяхъ почти дѣятельнаго дальне-восточнаго края. Недостаточность болѣе поздней информации компенсируется у автора правильностью постановки основной проблемы, ибо Коноли изучаетъ хозяйственную дѣятельность

Дальнего Востока въ связи съ эволюціей японо-совѣтскихъ торговыхъ сношеній. Авторъ былъ въ состояніи прослѣдить тѣсную экономическую связь, существующую между Восточной Сибирью и японо-маньчжурскимъ хозяйственнымъ блокомъ, ставшимъ реальностью въ 1934 году. Коноли не преувеличиваетъ, когда утверждаетъ, что всѣ важнѣйшіе продукты дальне-восточнаго хозяйства (дѣсь, нефть, уголь, пушнина и рыболопродукты) вывозятся не въ совѣтскую Сибирь, а въ Японию и Маньчжу-Ти-Го, причемъ эти сосѣднія и по существу враждебныя совѣтамъ государства снабжаютъ Дальній Востокъ продуктами не только питания (зерно, мясо, сахаръ, рисъ и проч.) и изделиями легкой промышленности, но и насущными средствами производства (въ особенности оборудованіемъ для нефтяной промышленности, рыболовства и консервныхъ фабрикъ). Въ виду столь тѣсной хозяйственной зависимости совѣтскаго Дальняго Востока отъ Японіи и Маньчжури экономической политика СССР въ Восточной Сибири состоитъ въ планомерной борьбѣ за достиженіе искусственной самодостаточности (почти изоляціи) края, которая дала-бы возможность Дальнему Востоку сбросить съ себя японскіе экономическіе путы. И тутъ сама Японія помогаетъ большевикамъ оборудовать на Дальнемъ Востоке большіе рыболовные и нефтяные промыслы, отстранявая (нерѣдко въ кредитъ) совѣтскій торговый флотъ и помогая организовать консерпированіе рыбы и крабовъ, имѣющихъ хорошій сбытъ въ Англии и Америкѣ. Столь двойственные результаты экономического проникновенія Японіи въ Восточную Сибирь, благоприятствующіе въ конечномъ итогѣ закрѣпленію совѣтской власти на Дальнемъ Востоке, нѣсколько компенсируются не менѣе двойственными результатами совѣтской колонизаціонной политики въ Амурскомъ бассейнѣ, которая, ставя себѣ цѣлью привлечь на Дальній Востокъ русскихъ поселенцевъ, способствуетъ на самомъ дѣлѣ заселенію края корейскимъ пролетариатомъ.

Если изслѣдованіе дальне-восточной проблемы является наиболѣе актуальной частью разбираемаго нами труда, то и главы, посвященныя проблемѣ эволюціи совѣтскихъ торговыхъ сношеній съ Восточной Азіей, Индіей и Левантомъ, не лишены для русскаго читателя актуальности и интереса. Коноли видитъ главную причину неблагоприятнаго развитія совѣто-левантинскихъ торговыхъ сношеній въ принципиальномъ нежеланіи СССР пріобрѣтать кофе, какао, пряности, шелкъ, шерсть и хлопокъ, являющіеся важнѣйшими экспортными продуктами Ирака, Сиріи, Йемена и Геджаса.

Б. С. Ижболдинъ.

(По техническимъ причинамъ рядъ замѣтокъ — М. Алданова, П. Вицилли, Л. Зурова, М. Вишняка, Н. Кульмана, Н. Мельниковой-Папоушковой, В. Руднева, Т. Чернавиной, М. Цетлина — отложены до слѣдующей книги «С. З.»).

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ»

- Русскія Записки. № 1. Шанхай-Парижъ. 1937.
Новый Градъ. № 12. Парижъ. 1937.
Новая Россія. № № 25-29. Парижъ. 1937.
Наше Слово. № 8. Парижъ. 1937.
Соціалистическій Вѣстникъ. № № 7-16. Парижъ. 1937.
Законъ и Судъ. № № 3-7. Рига. 1937.
Бюл. Эконом. Кабинета проф. Прокоповича. № № 134-137. Прага. 1937.
Путь. № 53. Парижъ. 1937.
С. Прегель. Солнечный произволь. Стихи. Изд. «Совр. Зап.». Парижъ.
П. Аксъ. Улицы. Стихи. Таллинъ. 1937.
А. Ачанръ. Лакоизмы. Стихи. Харбинъ. 1937.
Скиръ. Стихи. Сборникъ IV. Прага. 1937.
Б. Зайцевъ. Путешествіе Глѣба. Романъ. Изд. Петрополисъ. 1937.
М. Юрчаневичъ. Каролина. Романъ. Изд. автора. Ужгородъ. 1937.
А. Ладикскій. XV-ый легионъ. Романъ. Изд. Русская книга. Парижъ.
А. Ладикскій. Путешествіе въ Палестину. Софія. 1937.
К. Матвѣева. Алуштинна жизнь. Повѣсть. Изд. автора. Бѣлградъ. 1937.
В. Ходасевичъ. О Пушкинѣ. Изд. Петрополисъ. 1937.
П. Милюковъ. Живой Пушкинъ. Изд. Родникъ. Парижъ. 1937.
А. Плешкинъ. 8, 9 и 10 гл. «Евг. Овѣгина». Со статьей В. Бурцева.
Россія и Пушкинъ. Юбилейный сборникъ статей. Харбинъ. 1937.
Въ защиту русскаго языка. Бѣлградъ. 1937.
И. Бунинъ. Освобожденіе Толстого. Изд. YMCA-Press. Парижъ. 1937.
Д. Мережковский. Павелъ. Августинъ. Изд. Петрополисъ. 1937.
Живое Преданіе. Сборникъ статей. Изд. YMCA-Press. Парижъ. 1937.
Н. Бердяевъ. Духъ и реальность. Изд. YMCA-Press. Парижъ. 1937.
Прот. Г. Флоровскій. Пути русскаго богословія. Изд. YMCA-Press.
Парижъ. 1937.
И. Ильинъ. Пути духовнаго обновленія. Изд. Рус. Библ. Бѣлградъ.
Всев. Ивановъ. Рерихъ-художникъ, мыслитель. Рига. 1937.
Л. Закутинъ. О чувствахъ и чувственности. Изд. Космосъ. Парижъ. 1937.
Н. Реймерсъ. Ледушкія понятія движенія. Парижъ. 1937.
И. Коджась. Соціософія. Т. т. I и II. Харбинъ. 1937.
Юбилейный сборникъ Рус. Археолог. Общ. въ Югославіи. Бѣлградъ.
М. М. Винаверъ и русская общественность нач. XX в. Сборн. статей.
Парижъ. 1937.
С. Дубновъ. Исторія евреевъ въ Европѣ. Т. IV (17-18 вв.). Рига. 1937.
Б. Никитинъ. Роковые годы. Парижъ. 1937.
А. Маклецовъ. Бракъ и семья въ Сов. Россіи. Люблина. 1937.
С. Масловъ. Колхозная Россія. Изд. Крест. Россія. 1937.
Б. Солоневичъ. Молодежь. Изд. Голосъ Россіи. Софія. 1937.
Н. Базили. Россія подъ совѣтской властью. Изд. Домъ Книги. 1937.

(Окончаніе въ слѣд. номерѣ).

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведения: М. Алданова, Л. Андреева, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенщикова, Юр. Данилова, Г. Евангулова, Е. Замитина, Л. Зурова, Б. Забцева, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мережковского, С. Минцлова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, Н. Рошина, В. Сирина, Д. Скобцова, И. Соколова-Микитова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темирязева, Гр. А. Толстого, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волощина, А. Герцыкъ, И. Голенищева-Кутузова, А. Головиной, Вяч. Иванова, Георгія Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладинскаго, С. Маковского, Ю. Мандельштама, Н. Оцупа, Б. Поплавскаго, Г. Раевскаго, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Соллогуба, Ю. Софьева, Ю. Терапиано, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Л. Червинской и др. — Дневники и воспоминанія: И. Билибина, Е. Брешковской, О. Грузенберга, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцовой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Ф. Шаляпина, Н. Шкляевой и др. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философіи, политики, экономическимъ и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Биццли, М. Брайевича, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водозова, кн. С. Волконскаго, В. Войтинскаго, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гефдингга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго (А. Свѣрлова), К. Гузькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, В. Ельашевича, С. Загорскаго, С. Завадскаго, К. Зайцева, В. Звѣнковского, Ст. Ивановича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Каршевскаго, К. Качаровскаго, А. Керенскаго, А. Кизветтера, С. Кобякова, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайняго, М. Кроля, К. Крофты, Н. Кульмана, Е. Кусковой, А. Левинсона, З. Лескаго, А. Леонтьева, Г. Ловцкаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, Н. Мельниковой-Папоушекъ, С. Метальникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, В. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, В. Мякотина, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, Д. Однина, М. Осоргина, Я. Папоушекъ, А. Петришева, П. Пильскаго, С. Полякова-Литовцева, А. Пѣхехонова, Ф. Родичева, В. Рябушинскаго, М. Ростопцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Сянтупольк-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цвѣтаской, М. Цетлина, Т. Чернавиной, Б. Шапкаго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шлецера, Е. Юрьевскаго и др.

Членовъ редакціи и конторы:

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelins 48-87